
РУССКИЕ
МЕМУАРЫ
1826–1856


ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

РУССКИЕ МЕМУАРЫ

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ
1826–1856 гг.

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990

84 Р I
Р 89

Составление,
вступительная статья,
биографические очерки и примечания
И. И. Подольской

Р $\frac{4702010100-1996}{080(02)-90}$ 1996—90

ISBN 5—253—00071—2

НИКОЛАЕВСКАЯ ЭПОХА В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ МЕМУАРИСТОВ

«...ибо и власть самодержцев имеет свои пределы».

Н. М. Карамзин

Рассказывают, что, узнав о заговоре будущих декабристов, Александр I сказал И. Васильчикову: «Если все эти мысли так распространились, то я первый тому причиной» [1]. И отказался преследовать вольнодумцев. Как ни плох был конец Александрова царствования в сравнении с его «прекрасным началом» (слова Пушкина), ему было далеко до того мрака, который окутал Россию с воцарением нового императора.

Николай I был первым в России, кто решился наказать людей за помысел, тем самым приравняв его к поступку. На протяжении царствования Николая мысль действительно осознается как поступок, но уже не только самодержцем, а силами молодой России, противостоящими его самовластью. Негласный запрет налагается как бы на самое мысль, и все, что молчит и не славословит, вызывает раздражительное подозрение.

Герцен, ненавидевший Николая с той испепеляющей душу силой, с какой можно ненавидеть только тирана, утверждал, что император постоянно пробовал, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи — останавливать кровь в жилах. Кажется, дочь Николая выдерживала это испытание, зато под его мертвящим взглядом затихла и замерла вся Россия. Недаром царствование Николая так бедно событиями: парализованная страна бездействовала, «народ безмолвствовал», общество, по выражению А. В. Никитенко, быстро погружалось в варварство, «тиран гремел, грозили казни» (Лермонтов). Николай I «ничего не создал, кроме *самодержавия для самодержавия*» [2].

М. Е. Салтыков-Щедрин в своем Угрюм-Бурчееве, градоначальнике города Глупова, сконцентрировал, как в фокусе, главные черты Николая: «Он был ужасен. <...> Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту

---

[1] Соллогуб В. А. Повести и воспоминания. Л., 1988, С. 364.
[2] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 12. С. 130.

личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще»[1].

Все, что происходило при Николае, носило репрессивный, подавляющий, удушающий характер: казнь декабристов, расправа с петрашевцами, обуздание просвещения и, наконец, Крымская война — трагический апофеоз этого царствования.

«Он у нас оригинален, ибо мыслит»,— сказал Пушкин о Баратынском, закрепив в этой точной формуле и основную черту поэта, и особенность эпохи, когда эта черта стала отличительным признаком «оригинальности». Пушкину принадлежит и другое, более развернутое, определение того времени. 19 октября 1836 г. он написал П. Я. Чаадаеву: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние»[2].

Отправив на виселицу пятерых декабристов, Николай ввел в России смертную казнь, отмененную в 1754 г. императрицей Елизаветой Петровной. Прошло еще шесть лет, прежде чем эта кара была официально закреплена в своде законов Российской империи.

В августе 1826 г. Николай ехал короноваться в Москву «под триумфальными воротами пяти виселиц» (Герцен). После коронации, вспоминал А. И. Кошелев, император «...был чрезвычайно мрачен; вид его производил на всех отталкивающее впечатление; будущее являлось более чем грустным и тревожным»[3]. Герцен, видевший Николая в день коронации, писал: «Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза»[4].

Таков был человек, под властью которого России предстояло прожить тридцать лет. Мрачные предчувствия не только оправдались, но и превзошли ожидания. Царствование Николая, затаившего мутный, физиологический страх перед всяким проявлением свободной мысли, прошло под знаком духовного гнета, который нарастал с каждым годом. Николай затягивал «понемногу петлю России — с немецкой выдержкой и аккуратностью»[5].

После разгрома декабристов русское общество, казалось, впало в состояние оцепенения. С исторической арены на три десятилетия ушли «апостолы свободы», те, кто был цветом Рос-

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Л., 1934. Т. 9. С. 401, 402.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 867—868.

[3] Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884. С. 18.

[4] Герцен А. И. Указ. соч. Т. 8. С. 62.

[5] Герцен А. И. Т. 6. С. 417.

сии, ее совестью, нравственной и духовной опорой общества, ферментом настоящего и залогом будущего страны.

В 1834 г. профессор А. В. Никитенко записал в дневнике: «Сначала мы судорожно рвались на свет. Но когда увидели, что с нами не шутят; что от нас требуют безмолвия и бездействия; что талант и ум осуждены в нас цепенеть и гноиться на дне души, обратившейся для них в тюрьму, что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка, когда, одним словом, нам объявили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями; что оно приемлет в свои недра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основании которого позволено действовать,— тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело» [1].

Молчание при Николае I стало одним из знаков политического протеста. Гласность изгонялась отовсюду — снизу доверху. Критика, даже не властей предержащих, а мелких чиновников, считалась преступлением, ибо каждый чиновник олицетворял власть.

На фоне запретов и пресечений происходили вещи совершенно в щедринском духе. Как-то «Северная пчела» упомянула о том, что в Петербурге извозчики дороже и грубее, чем в Павловске. Власти усмотрели в этом намек на деятельность петербургского губернатора, а Николай I, прослышав об этом случае, велел указать цензуре, чтобы в печати не допускались никакие, даже косвенные порицания действий или распоряжений правительства и «установленных властей, к какой бы степени сии последние ни принадлежали» [2].

Немудрено, что при таком паническом страхе перед всем, что может пошатнуть «устои», совершенно особенную, исключительную роль в полицейском режиме Николая I играла цензура. Третье Отделение своей всесильной рукой схватило за горло цензурное ведомство, главной целью которого сделалось «предупреждение и пресечение» вольномыслия. Крамола искоренялась «огнем и мечом», началась планомерная, как в средние века, охота на ведьм.

Старый адмирал А. С. Шишков, этот ходячий анахронизм, по возрасту принадлежавший екатерининским временам, был убежденным реакционером. При этом чувство чести, усвоенное им с младых ногтей, было развито в нем так сильно, что он имел смелость выступить против казни декабристов, состоя членом Следственной комиссии. В последние годы царствования Александра I он был назначен на пост министра просвещения и, все еще занимая его в 1826 г., предложил новому императору цензурный устав, столь нелепый и чудовищно жестокий, что современники прозвали его «чугунным». Задачей этого устава, поспешно утвержденного Николаем еще до коронации, в июне 1826 г., было направлять общественное мнение в соответствии «с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства». Характер устава был пресекающим и карательным. Цензорам вменялось в обязанность проникать в цель и дух не

---

[1] Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. [М.], 1955. Т. 1. С. 143.
[2] История русской литературы: В 5 т. М., 1911. Т. I. С. 223.

только литературных и исторических, но даже географических и других научных сочинений, зорко следя за тем, чтобы не пропустить ничего неблагоприятного монархическому правлению. Все, что имело хоть тень «двоякого смысла», а тем более то, что могло ослабить чувство преданности и «добровольного повиновения» высшей власти и законам, должно было безжалостно и неукоснительно изгоняться из печати. При этом было сделано еще одно нововведение, свидетельствующее о неусыпной бдительности составителя закона: все места, зачеркнутые цензурой, запрещено было заменять точками, чтобы никто из читателей не впал в соблазн размышлять и строить догадки о возможном содержании купюры.

По остроумному замечанию П. И. Полетики, дипломата и государственного деятеля, «в России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». К счастью, эта формула срабатывала повсеместно, реализуясь часто опять-таки в щедринском духе. В 1828 г., например, появился циркуляр, запрещающий излагать содержание иностранных книг, не дозволенных к обращению в России. Некоторые иностранные книги все же печатались, правда, с большими купюрами, сделанными цензурой. По какой-то необъяснимой причине места, изъятые цензурой, сообщались губернаторам. И вот один из них — то ли от недомыслия, то ли по рассеянности — начал регулярно публиковать эти запрещенные выдержки в «Губернских ведомостях», так что подписчики могли свободно знакомиться с ними, не читая самой книги.

«Запрещенный товар — как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения» [1]. В полузадушенной России ходили по рукам привезенные с Запада книги, распространялись в списках стихи и антиправительственные статьи, из-под удавки вырывались слова протеста и обличения. Один из самых ярких тому примеров — «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, опубликованное в 1836 г. журналом «Телескоп». Да, Чаадаев был высочайше объявлен сумасшедшим, да, «Телескоп» был закрыт, но не обозначены ли этим письмом и актом его публикации границы николаевского самовластия? Те границы, за пределами которых человеческой мыслью уже не властны распорядиться ни виселицы, ни сибирские рудники. М. С. Лунин писал: «В России два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга» [2]. Но, уже осужденный, лишенный всех прав, кроме права существовать, он все-таки продолжал писать, хорошо сознавая, что на этот раз перо заведет его намного дальше Шлиссельбурга.

В атмосфере запрета, распространившегося почти на все сферы духовной жизни, прошли юность и зрелые годы летописцев николаевской эпохи. Вопреки всем запретам эта эпоха дала миру величайших поэтов и писателей, замечательных мемуаристов, сберегла такие бесценные человеческие документы, как дневники и эпистолярные свидетельства. Свободная мысль, загнанная в подполье, упорно искала и в конце концов находила выход из него. Но поиски истины больше, чем когда-либо, тре-

---

[1] Давыдов Д. Сочинения. М., 1962. С. 34.

[2] Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1988. С. 163.

бовали жертв, и Герцен впоследствии составил мартиролог тех, кто был погублен Николаем.

Протест против николаевского режима проявлялся в самых разнообразных формах. То, что он был тайным, не делало его ни менее сильным, ни менее опасным. Актом протеста была великая русская литература, разговоры в кружках и салонах, даже изучение Гегеля и славянофильство, лишь позднее принявшее охранительный характер. Все это были разные формы, уровни и проявления мысли, стремящейся разорвать оковы. Сама мысль, едва созрев, становилась инакомыслием. Так было с участниками кружка Н. В. Станкевича, кружка, не ставившего перед собою никаких политических целей, стремившегося к чистому познанию философии, а значит, истины. Однако в николаевскую эпоху чистое познание не могло долго оставаться самоцелью. Потому-то из кружка Станкевича вышли Белинский, Бакунин, К. Аксаков, и каждый из них, едва оперившись, искал способа применения своих сил, реализации в действительной жизни своих идей, еще связанных с «чистой» философией, но уже далеко от нее ушедших.

Общественная мысль России, зажатая тисками деспотической власти, вопреки ей мужала и крепла. Французская революция 1848 г. окрылила ее; дыхание свободы, пришедшее с Запада, вселило надежды на близкие перемены. Петрашевцы были первой жертвой этих преждевременных для России мечтаний о социальном переустройстве общества. Эти мечтания не претворились в дело, но мысли, как известно, бывают долговечнее дел. Брешь, пробитая петрашевцами в полицейском режиме, так и не затянулась, а лишь расширила ту, которая осталась после декабристов. Правда, реакция еще более усилилась. Недаром годы, последовавшие за этими событиями, называют в России «мрачным семилетием». Как говорил министр иностранных дел К. В. Нессельроде, революция в Европе заставила Россию поддерживать власть везде, где она существует, подкреплять ее там, где она слабеет, и защищать там, где на нее нападают. Но, несмотря на все ужесточения режима, влияние европейских событий на русские умы было необратимо.

«Горячее дыхание больной, выбившейся из сил Европы, веет на Русь переворотом. Царь отгородил вас забором, но в казенном заборе есть щели и сквозной ветер сильнее вольного»,— писал Герцен [1].

* * *

В первой половине 50-х годов И. И. Панаев беседовал с С. С. Уваровым о строгостях цензуры. Уваров, недавно оставивший пост министра просвещения, был известен своими крайне реакционными взглядами. Он слушал Панаева молча, но в конце его рассказа заметил: «Наше время особенно тем страшно, что из страха к нему, вероятно, никто не ведет записок о нем» [2].

---

[1] Герцен А. И. Т. 12. С. 85.

[2] Анненков П. В. Литературные воспоминания. 1960. С. 535.

К счастью, граф беспокоился напрасно. Мемуары писали везде: в Москве и Петербурге, в провинции и даже «во глубине Сибирских руд». Свидетельства о николаевской эпохе оставили многие владеющие пером — от литераторов, ученых и военачальников до мелких департаментских чиновников. Через много лет, конечно, уже после смерти Николая, записки буквально наводнили журналы «Русский архив», «Исторический вестник», «Русская старина» и др. Осознав связь своей личности с историей, с судьбой своего народа, люди записывали все, что представлялось им важным, характерным, интересным. Своеобразным кредо русской мемуаристики второй четверти XIX столетия могли бы стать пушкинские слова: «чему, чему свидетели мы были».

Но если небывалый расцвет художественной литературы приходится на время николаевского царствования, то бурное развитие мемуаристики начинается позднее, когда уже можно не страшась писать о прошлом, когда появляется ретроспективное осмысление ушедшей эпохи. Записки о первой и второй четверти XIX в. нередко создавались в одно или почти одно время. Но писали их люди разных поколений, а значит, разных уровней сознания, люди разных исторических эпох. Кроме того,— и это очень важно,— авторы записок, создававшихся в конце XIX столетия, располагали уже опытом, методом, художественными открытиями и всем арсеналом средств, добытых русской литературой на трудном полувековом пути ее развития и становления. Поэтому мемуаристика, охватившая события первой половины XIX в., по своей структуре качественно отличается от записок предшествующих времен, более архаических, по преимуществу стремившихся закрепить в памяти потомков определенные события и поведать о своем отношении к ним.

Для людей XVIII и отчасти начала XIX в. мемуары — это прежде всего история. Для человека второй половины XIX в. или конца столетия, повествующего о николаевском времени, мемуары еще и литературный жанр, выполняющий особые задачи.

Не только гениальная книга Герцена «Былое и думы», замечательные воспоминания Б. Н. Чичерина, П. М. Ковалевского, П. П. Семенова-Тян-Шанского, Д. Д. Ахшарумова, но и другие, более простодушные записки (например, А. В. Щепкиной) внутренне ориентированы на художественную литературу. Одна достоверность, это главное и неотъемлемое свойство мемуаристики, уже не удовлетворяет авторов; она словно требует какого-то подкрепления, как «тьма низких истин» — «возвышающего обмана». Этот «возвышающий обман» является в мемуарной литературе, конечно, не в виде вымысла (хотя бывает и это), не только в игре фантазии, корректирующей «низкую» прозу жизни, не в сознательных смещениях акцентов, но в той структурной организации материала, которая поднимает действительность, во всех проявлениях единичного и случайного, до уровня всеобщего, общечеловеческого масштаба. Именно в этом более всего проявились хорошо усвоенные мемуаристами уроки художественной прозы с ее мастерством портретных и речевых характеристик, психологическим анализом и пр.

Мемуарист, пишет Л. Я. Гинзбург, «...не может творить события и предметы, самые для него подходящие. События ему да-

ны, и он должен раскрыть в них латентную энергию исторических, философских, психологических обобщений, тем самым превращая их в знаки этих обобщений. Он прокладывает дорогу от факта к его значению. И в факте тогда пробуждается эстетическая жизнь; он становится формой, образом, представителем идеи. Романист и мемуарист как бы начинают с разных концов и где-то по дороге встречаются в единстве события и смысла» [1].

Благодаря тщательному отбору фактов, художественной точности детали, выразительности жеста, психологической убедительности мотивировки поведения человека мемуары обретают эстетическую значимость. И это одна из задач, к осуществлению которой стремятся мемуаристы второй половины XIX в. Мемуарист записывает не то, что вспомнилось, но из того, что вспомнилось, выбирает то, что соотносится с его концепцией жизни и той конкретной личности, о которой он пишет.

М. И. Глинка, Некрасов, Александр Иванов, Крамской у П. М. Ковалевского в равной мере и реально существовавшие люди, и художественные образы, ибо в каждом случае автор воспоминаний не просто перечисляет факты встреч, разговоров и т. д., но творит концепцию личности Она тем интереснее, чем гармоничнее соединяются в ней объективное и субъективное начала.

Лев Толстой у Чичерина — это и человек, соответствующий нашим о нем представлениям, но вместе с тем и совершенно иной. Это происходит вовсе не оттого, что мы узнаем от Чичерина какие-то новые, прежде неведомые нам факты биографии Толстого (хотя есть, разумеется, и это), но потому, что нам предложена автором воспоминаний определенная и отличающаяся от нашей концепция личности великого писателя.

Много лет спустя Марина Цветаева назовет этот феномен восприятия «Мой Пушкин». При этом не важно, что Цветаева Пушкина никогда не видела, а Чичерин хорошо знал Толстого. Не важно потому, что осмысление личности может идти через биографию и интерпретацию творчества писателя в такой же мере, как через самую личность.

Мемуары, этот документальный жанр, усвоивший уроки художественной прозы, вместе с тем явно стремится сохранить свою независимость, четко обозначить свои контуры, свою неслиянность с литературой вымысла. Так возникает «документ в документе» — письма, отрывки из дневников, выписки из протоколов и т. п., приводимые авторами записок с разными целями, но всегда подчиненные общей задаче — структурной организации материала. Этим методом широко пользовался Б. Н. Чичерин. Рассказывая, например, о своем уходе из университета, он полностью привел обращенную к нему приветственную речь студентов на прощальном обеде, устроенном в его честь. Чичерин вводит в свое повествование также множество писем Л. Толстого, историка Ф. М. Дмитриева, К. Д. Кавелина и др.— как для характеристики этих лиц и достоверности того или иного эпизода, так и для общей структуры замысла.

У мемуаристов этого времени портретные характеристики значительно углубляются; более подробными и дифференциро-

---

[1] Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971. С. 11.

ванными становятся описания внешности человека, но главное, внешнее, конкретное соотнесено с представлением о личности, ее внутреннем мире, со всей системой поведения в самых многообразных его проявлениях. Как знаменитое чеховское ружье, которое, по законам жанра, обязательно должно выстрелить в финале, если в начале пьесы оно находится на сцене, так и описание внешности у мемуаристов конца прошлого века непременно должно «сработать», открыв внутренний мир человека. Ибо это описание таит в себе гораздо больше, чем простое перечисление индивидуальных черт. На протяжении всего повествования эти черты и «работают» на создание психологического портрета, изображенного в разных ракурсах.

Фет, пишет П. М. Ковалевский, «...держался прямо и выступал твердою военною поступью» [1]. И затем шаг за шагом мемуарист подводит нас к восприятию разительного несоответствия «военной» и простоватой внешности Фета с его «нежнейшим и воздушным» стихом. Все в поведении Фета совпадает с нашим представлением о военном человеке, но совершенно не вяжется с обликом поэта.

Если сопоставить у Ковалевского изображение Фета и Некрасова, с его отнюдь не поэтическими проявлениями характера, то мы подойдем вплотную к общему замыслу мемуариста, стремившегося избежать традиционных методов характеристики человека как совокупности более или менее однородных свойств. Ибо, по собственным словам Ковалевского, он показывает великих людей без «высокого подножия» и «праздничного убранства». Ковалевский словно ведет съемку скрытой камерой: те, о ком он пишет, находятся в будничной обстановке и ведут разговоры, вполне обычные для них, тоже будничные, нимало не похожие на те, которые происходят при трепетно внимающих им посторонних лицах. Все атрибуты «избранности» намеренно удалены Ковалевским из повествования, оставлены «за кадром». И Е. П. Ковалевский, и Глинка, и Фет, и Тургенев, и Некрасов у Ковалевского — люди сложные и противоречивые, но отнюдь не олицетворения идеи о том, каким должен быть поэт, музыкант, писатель, общественный деятель, художник.

В соответствии с этим факты, сообщаемые мемуаристом об исторических лицах, тоже чрезвычайно избирательны. Это не обычный поток информации, а тщательно отобранный материал, подчиненный общей, заранее поставленной задаче — показать необычность человека в самых обычных его проявлениях, «великое» в «малом».

Мемуарист второй половины XIX в. берется за перо тогда, когда у него уже сложилась концепция человека, и повествование безусловно ей подчинено.

П. П. Семенов-Тян-Шанский, не питавший симпатии к М. В. Петрашевскому, рассказывает о нем то, что может внушить читателю мысль о странностях этого человека, о том, что прежде всего этими странностями объясняется характер его общественной деятельности. Сами политические убеждения Петрашевского, как бы вытекая из этих странностей, отчасти ставятся

---

[1] Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания. Спб., 1912. С. 269.

под сомнение, несколько затушевываются. Соответственно этому Семенов-Тян-Шанский пишет о собраниях Петрашевского как о кружке «петербургской интеллигентной молодежи того времени» и о том, что Петрашевского молодежь эта посещала главным образом потому, «что он имел собственный дом и возможность устраивать подобные, очень интересные для нас вечера».

Что это, стремление придать политическому кружку вид невинного литературного салона? Не исключено, что в этом отражена определенная традиция изображения кружка, возникшая, вероятно, после ареста петрашевцев, в период следствия по их делу. Это кажется тем более правдоподобным, что Семенов-Тян-Шанский, посещавший кружок и подвергшийся в связи с этим обыску, опасался ареста. Тогда-то, по-видимому, и возникла эта версия как подготовка к возможным ответам на следствии.

Эта тенденция отразилась и в описании внешности Петрашевского, вполне согласующемся с тем, о чем сказано выше: «...сам Петрашевский казался нам крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным. <...> Будучи крайним либералом и радикалом того времени, атеистом, республиканцем и социалистом, он представлял замечательный тип прирожденного агитатора... <...> Он проповедовал, хотя и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь антимонархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями Городской думы. <...> В костюме своем он отличался крайней оригинальностью: не говоря уже о строго преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами...» И далее вывод — такой, какой мог быть предложен следствию: «Весь наш приятельский кружок, конечно, не принимавший самого Петрашевского за сколько-нибудь серьезного и основательного человека, посещал, однако же, его по пятницам...»

Интересно, что версия Семенова-Тян-Шанского вполне совпадает с показаниями на следствии Достоевского: «Об эксцентричностях и странностях его говорят очень многие, почти все, кто знают или слышал о Петрашевском... <...> Трудно сказать, чтоб Петрашевский имел какую-нибудь свою особенную систему в суждении, какой-нибудь определенный взгляд на политические события. Я заметил в нем последовательность только одной системе; да и та не его, а Фурье» [1].

Совершенно иначе изображает Петрашевского Ахшарумов.

Достоевский давал показания о Петрашевском на следствии. Семенов-Тян-Шанский опасался, что ему придется давать показания. Ахшарумов писал о Петрашевском в старости, и он, по своему душевному складу, психологически не мог сказать о Петрашевском так, как Достоевский и Семенов-Тян-Шанский. Для Ахшарумова, человека несколько восторженного, это означало бы признать бесполезным и бессмысленным то, во имя чего он

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 118, 119.

готов был жертвовать собою и подвергал свою жизнь реальной опасности. И хотя Ахшарумов сознается, что «не мог заглушить в себе досаду на Петрашевского и не упрекнуть его в случившемся с нами несчастьи», он, преодолевая непосредственное чувство, все-таки пишет так, как велит ему нравственный долг. Поэтому в его воспоминаниях Петрашевский предстает перед нами как личность значительная и серьезная, как человек, объединивший вокруг себя все самое благородно-мыслящее в России.

Создается впечатление, что Ахшарумов и Семенов-Тян-Шанский словно рассказывают о разных людях, поэтому сопоставление этих мемуарных свидетельств особенно интересно.

Ахшарумов: «...разговор его <Петрашевского.— *И. П.*> был всегда серьезный, часто с насмешливым тоном; во взоре более всего выражались глубокая вдумчивость, презрение и едкая насмешка. Это был человек сильной души, крепкой воли, много трудившийся над самообразованием, всегда углубленный в чтение новых сочинений и неустанно деятельный». И, как заметил читатель, ни слова о странностях. Ибо странности, особенно так искусно соединенные, как у Семенова-Тян-Шанского, дискредитируют и личность человека, и его дело.

Здесь не место обсуждать вопрос о том, насколько соответствуют действительности характеристики личности Петрашевского у Семенова-Тян-Шанского, Достоевского и Ахшарумова. Это уже установлено историками. Поэтому скажем только, что между концепцией мемуариста и отбором материала существует прямая связь, что именно концепция и организует материал и, не будь ее, мемуары распались бы на ряд эпизодов, почти не связанных между собою.

Кстати сказать, менее всего зависимы от концепции мемуары хроникального типа, цель которых передать последовательность определенных событий. Но такие мемуары в России второй половины XIX столетия встречаются все реже и реже. Из того, что собрано в этой книге, к ним можно, пожалуй, только с оговорками и частично отнести воспоминания В. И. Барятинского, показывающего в отдельных частях своих записок театр военных действий в Крыму — день за днем, сражение за сражением.

Как в художественной прозе второй половины XIX в., так и в мемуарной литературе меняются основные принципы изображения человека. Мемуаристы отказываются от идеализации и абсолютизирования, а вместе с этим уходят однозначность и одиоплановость, обнажаются внутренние механизмы, движущие поведением людей, возникает (после Л. Толстого) представление о «диалектике души» и появляется возможность (после Достоевского) показать, как совмещаются в одном человеке самые противоречивые, как бы взаимоисключающие черты, не нарушая при этом ни его цельности, ни его «типичности».

В Некрасове, одном из лучших созданий П. М. Ковалевского, соединены качества игрока и поэта, демократа по убеждениям и эстета по литературным вкусам, дельца и расточителя. Ковалевский идет не от «внешнего» к «внутреннему», как простодушно поступали многие русские мемуаристы прежних времен; напротив, он исследует механизмы поведения своего героя и, имея завершенное представление о его личности, словно

подкрепляет это представление своими наблюдениями, конкретными деталями, строя портрет на контрастах и сопоставлениях.

«Панаев еще жил на общей с Некрасовым квартире; но в ней он занимал уже одну комнату во дворе, а ряд больших комнат на улицу принадлежал Некрасову. У последнего была шапка-боярка <...> из такого темного и седого соболя, что бедный Панаев <...> готов был, по его собственному сознанию, отдать несколько лет жизни за эту шапку. Самый модный англичанин-портной облекал теперь в самые отборные изделия английских мануфактур тело Некрасова, когда-то довольствовавшегося произведениями с толкучего рынка, и самые тонкие обеды подавались по несколько раз в неделю самому разнообразному составу гостей когда-то голодавшим Некрасовым...»[1].

Здесь все построено на контрасте между настоящим Некрасова и его прошлым, а ассоциации, формируемые мемуаристом в начале повествования, к середине и особенно к концу его заставляют читателя воспринимать новую информацию в общем контексте рассказа, в пересечении и скрещении ассоциативных рядов. Благодаря этому Ковалевскому удается показать, как трансформируется самый характер Некрасова под влиянием новой для него обстановки, новых, благоприятных для него условий жизни. При этом точность реалий у Ковалевского соперничает с психологической точностью осмысления их значения.

Мемуары о николаевской эпохе в сравнении с предшествующим периодом заметно «постарели». Если об Отечественной войне 1812 г. писали по свежим следам совсем молодые еще люди, то теперь, как и в XVIII в., их создают в зрелом возрасте или даже на склоне лет (как Кошелев, Чичерин, Семенов-Тян-Шанский), и потому, что только тогда появляется возможность рассказать о прошлом, и по внутреннему состоянию освободившейся из долгого плена души, и в силу интенсивного развития общественного сознания, неуклонно нараставшего к концу столетия и властно требовавшего осмысления пройденного пути, сопоставления эпох.

По характеру ближе всего к концу XVIII столетия были мемуары декабристов, перебросившие мост между первой и второй четвертью XIX в., словно для того, чтобы контраст между эпохами ощущался не так разительно.

Для декабристов, людей действия, силою обстоятельств выброшенных на тридцать лет из общественной жизни, воспоминания о прошлом осмыслены как дело, серьезный акт гражданского служения. Обширная и чрезвычайно многообразная по составу мемуаристика декабристов более всего объединена представлением о роли человека в истории. Декабрист, человек, наделенный «римскими» добродетелями, изображен в мемуарах, как правило, так же крупно, как «екатерининские орлы» и другие деятели XVIII в.

Ю. М. Лотман пишет: «Весь облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоинства. Оно базировалось на

---

[1] Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания. С. 278.

исключительно развитом чувстве чести и на вере каждого из участников движения в то, что он — великий человек. <...> Это заставляло *каждый* поступок рассматривать как имеющий значение, достойный памяти потомков, внимания историков, имеющий высший смысл» [1].

Воспоминания о декабристах доктора Белоголового, написанные им на закате дней, во всех этих отношениях сознательно противопоставлены мемуаристике самих декабристов. Белоголовый пишет о них как человек другой эпохи, эпохи, когда самое упоминание о «римских» добродетелях способно вызвать лишь ироническую улыбку. Но чувства такта и справедливости подсказывают Белоголовому, что по отношению к декабристам неуместны обычные приемы дегероизации. Поэтому, хотя он встречался с декабристами уже взрослым, а не только ребенком, много слышал и читал о них, он все же решился осуществить свой трудный замысел — показать их глазами мальчика, не ведавшего «о доблестях, о подвигах, о славе», а, напротив, с детской чуткостью подмечавшего все то, что составляет незыблемую основу человека, доброту, отзывчивость, ум, благородство души.

Белоголовый писал: «...все крупное и рельефное проходило для меня незамеченным, а врезывались в память все такие впечатления, которые более были доступны моему детскому пониманию». Это правда, но вместе с тем и литературный прием, граничащий с мистификацией. В детстве, без сомнения, так оно и было, но Белоголовый работал над воспоминаниями тогда, когда хорошо уже знал обо всем «крупном и рельефном», что он, как и его современник П. М. Ковалевский, показал через малое, незначительное, бытовое, повседневное. Чтобы ввести более широкую информацию о декабристах, Белоголовый часто пользовался формулой: «Как я узнал уже впоследствии». И даже тогда, когда Белоголовый пишет о декабристах, меняя угол зрения, «как взрослый», его воспоминания все равно овеяны непередаваемым ароматом детских впечатлений.

Понятно, что вместе с новым представлением о личности человека и новыми принципами его изображения меняется и отношение автора к собственному Я, а также и то, насколько глубоко он раскрывает себя в воспоминаниях. Если прежде мемуаристы, как правило, создавали лишь внешнюю свою биографию (были, конечно, исключения; одно из самых ярких — протопоп Аввакум), основанную на событиях и фактах собственной жизни, то в записках о николаевской эпохе проявляется уже углубленный самоанализ, изображается жизнь души. В отличие от записок А. Т. Болотова, Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева, Н. Н. Муравьева-Карского, Л. Беннигсена, мемуаристы второй половины XIX в. не только фиксируют факты, но стремятся к их интерпретации в соответствии со своим общим замыслом. По общему же замыслу, мемуарист создает характер, специфический для данной эпохи, но при этом наделенный совершенно конкретными, индивидуальными чертами.

---

[1] Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни: Бытовое поведение как историко-психологическая категория // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 69.

Все это претворяется у мемуаристов по-разному. Чичерин создает подробную историю своей жизни, шаг за шагом показывая становление характера и убеждений человека определенной эпохи. В его воспоминаниях отчетливо проявился принцип, сформулированный несколько позднее В. Г. Короленко в предисловии к «Истории моего современника».

«В своей работе,— писал Короленко,— я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел. И все же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из «Истории моего современника», человека, известного мне ближе всех остальных людей моего времени...» [1]

Тот же принцип движет и воспоминаниями Д. Д. Ахшарумова. Ахшарумов в своих записках — это и определенный «тип» петрашевца, потенциального преобразователя общества, тип, сложившийся в сознании современников мемуариста. Это исторический характер, а вместе с тем человек, отличающийся от других петрашевцев своими ярко индивидуальными чертами. В конечном же счете воспоминания Чичерина, Кошелева, Аксакова, Берга, Эвальда, Семенова-Тян-Шанского — это все истории их современников, людей николаевской эпохи.

В воспоминаниях Ковалевского почти нет автора, он словно исчезает в рассказах о тех замечательных людях, с которыми свела его судьба, прячется, осознавая свою «малость» в сравнении с ними. Но автор и в этих воспоминаниях всегда ощутим в своем отношении к изображаемому, в своих оценках лиц и событий, в своей, не схожей ни с чьей другой, точке зрения, выражающей его, авторскую, нравственную позицию.

* * *

Ф. И. Тютчев написал:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

(«Цицерон»)

Понятно, не все чувствовали себя счастливыми, став свидетелями «роковых минут», но, без сомнения, каждый мемуарист знал цену этим минутам и стремился со всею возможной полнотой поведать о них потомкам. Роковые минуты второй четверти XIX столетия, общие для всей России,— это казнь декабристов, суд над петрашевцами и Крымская война. Повествуя об этом, мемуаристы понимали, что, хотя опыт каждого из них индивидуален, он отражает общие процессы и закономерности, а не только данный конкретный жизненный опыт. Поэтому в конце

---

[1] Короленко В. Г. История моего современника. М., 1948. Кн. 1—2. С. 10.

XIX в. интерес к личности и событию сопровождается пристальным вниманием к тому, что окружает человека и сопутствует событию.

Доктор Белоголовый очень подробно рассказывает о быте декабристов в Сибири и об их бытовом поведении — и потому, что считает это важным для их биографии, но еще больше потому, что стремится показать величие духа этих людей, неподвластных ни каторжным работам, ни повседневному труду, ни унижающему достоинство человека трудному быту.

Ахшарумов скрупулезно восстанавливает в памяти «обстановку» тюремной камеры — с железной кроватью, жесткой подушкой, грязными стенами и драным казенным халатом. Он сознает, что этот антураж столь же неизменен, как и общие во все времена переживания узника. Ахшарумов очень точно передает психологические признаки растерянности и смятения человека, внезапно оказавшегося в одиночном заключении. Снедаемый внутренним беспокойством, он ищет себе места и не находит его, он все время перемещается в пятиметровом пространстве камеры: «...я то стоял, то садился на табуретку, то подходил к окну или к двери...»

И у Белоголового, и у Ахшарумова приметы материального мира соотнесены с душевной жизнью человека, с его поведением, с самым типом его реакции на то, что происходит вокруг него. Психологическое состояние Ахшарумова в камере — это отчасти реакция на обстановку камеры.

Но совершенно по-иному претворяется мысль Тютчева в мемуарных свидетельствах о событиях большого исторического масштаба. В записках о Крымской войне чудятся отголоски поступи самой Истории, вершителем которой, хотя и в разной мере, осознает себя каждый участник событий.

Крымская война вызвала в русском обществе необычайный подъем патриотических чувств, событию этому придавали огромное значение, связывая с ним судьбы России и Западной Европы. Особенно явственно это прозвучало у славянофилов. 22 ноября 1854 г. С. Т. Аксаков писал И. С. Тургеневу: «В каком напряженном состоянии теперь живу я! Борьба в Крыму — сама по себе великая драма, но, по-моему, это только пролог к великой всемирной драме, на чью бы сторону ни склонилась победа» [1]. С таким же захватывающим интересом следили за этим событием люди западной ориентации. А. В. Дружинин называл Севастополь «нашей Троей». Некрасов называл смерть адмирала Корнилова одним из эпизодов «этой колоссальной эпопеи» и утверждал, что «ни один из существующих ныне талантов, не в одной России, но и во всей Европе, не в состоянии произвесть что-либо равняющееся величию совершающихся перед нами событий» [2].

Если бы воспоминания о Крымской войне создавались сразу, по свежим следам, то, вероятно, героика войны выступила бы в

---

[1] Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу. М., 1894. С. 113.

[2] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1952. Т. 9. С. 263.

них на первый план. Однако мемуары о Крымской войне во многих случаях написаны значительно позднее, когда за завесой порохового дыма, за великими ратными подвигами русского воинства обнажились истинные причины поражений. Поэтому приподнятый, взволнованный, иногда мажорный тон писем, в которых люди делятся друг с другом своими мыслями о войне, заметно отличается от рассказов мемуаристов, где события прошлого осмыслены в исторической ретроспекции и где наряду с подвигами показаны трагические причины неудач и просчетов.

В воспоминаниях А. В. Эвальда нарисованы будни подготовки к войне. Он пишет о непригодности устаревшего оружия, об отсыревших пороховых погребах — обо всем, что подготовило крах и было непосредственным следствием николаевского режима.

Но особенно интересны в этом смысле написанные в разное время части воспоминаний В. И. Барятинского. Одна из этих частей была продиктована им в 1855 г., и в ней явственно отражена героика военных будней, тот же подъем духа, что и в письмах людей того времени. Сквозь призму «угара» непрерывных боев показаны кровь и смерть, победы и поражения. Но за всем этим стоит еще непреклонная вера в победу и уверенность в величии событий. Совершенно иной характер носит другая часть воспоминаний, написанных непосредственно о Севастополе в 1888 г. Здесь тоже будни войны и сама война, показанная как «дело», но тон уже иной, совсем не приподнятый. Хотя князь Барятинский не пишет о причинах неудач, но самый характер рассказа о потерях неумолимо свидетельствует о полной исчерпанности государственной системы, уже не способной предотвратить трагического хода событий.

Николаевская эпоха, время «нравственного душегубства» (по словам Герцена), закончилась с Крымской войной. Вопреки дотоле неслыханной силе давления на умы, вопреки запретам и преследованиям свободной мысли, люди этой эпохи сумели рассказать о ней правду. И это одно из самых убедительных подтверждений пророческих слов Н. М. Карамзина о том, что «и власть самодержцев имеет свои пределы». Словно перекликаясь с Карамзиным, уже в начале нашего века русский философ писал: «В самодержавном полицейском государстве духовная культура есть контрабанда, своим существованием она только доказывает, что есть фактический предел полицейскому гнету даже самого сильного и самого реакционного правительства, что духа нельзя угасить окончательно, что он все-таки восстанет и заявит о своих правах» [1].

* * *

В настоящее издание вошла лишь небольшая часть воспоминаний о николаевской эпохе. Составитель стремился не нарушать хронологических рамок указанного периода, сделав исключение лишь для очерка П. М. Ковалевского об А. Иванове, охватывающего события и более позднего времени.

---

[1] Бердяев Н. Sub specie aeternitatis: Опыты философские, социальные и литературные (1900—1906). Спб., 1907. С. 139.

Книга открывается записками Н. А. Белоголового о декабристах, ибо судьба их — пролог к событиям николаевского царствования.

Воспоминаниям славянофилов К. С. Аксакова и А. И. Кошелева сознательно, по принципу контраста, противопоставлены записки «западника» Б. Н. Чичерина, следующие в книге непосредственно за ними. Читатель увидит столкновение разных идеологических позиций, разных точек зрения на события, происходившие во второй четверти XIX в.

В настоящее издание включены отрывки из книги маркиза де Кюстина «Николаевская Россия» Взгляд иностранца на николаевское царствование существенно дополняет свидетельства русских мемуаристов.

Составитель по-прежнему стремился познакомить читателя с лучшими среди забытых или давно не переиздававшихся мемуаров. Отступление от этого принципа — воспоминания К. С. Аксакова, Б. Н. Чичерина, П. М. Ковалевского, А. де Кюстина и Д. Д. Ахшарумова, которые были напечатаны в советское время.

Тексты, вошедшие в книгу, печатаются с соблюдением современных орфографических и синтаксических норм.

Все даты в книге приведены по старому стилю.

И. Подольская



РУССКИЕ МЕМУАРЫ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ БЕЛОГОЛОВЫЙ

(1834—1895)

Николай Андреевич Белоголовый не был профессиональным литератором, но русская литература бережно хранит о нем благодарную память. Не будь доктора Белоголового, бесследно исчезло бы очень важное звено в цепи наших представлений о ссыльных декабристах, о Н. А. Некрасове, М. Е. Салтыкове-Щедрине, И. С. Тургеневе. Белоголовый родился в Иркутске. Его отец был купцом, человеком просвещенным и начитанным. Направление его ума в большой степени определилось дружескими отношениями с декабристами, сложившимися к концу 30-х годов. Как раз в эту пору декабристов стали расселять неподалеку от Иркутска.

«Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, приобрели необыкновенную любовь народа. Они имели громадное нравственное влияние на сибиряков: их прямота, всегдашняя со всеми учтивость, простота в обращении и вместе с тем возвышенность чувств ставили их выше всех, а между тем они были равно доступны для каждого, обращающегося к ним за советом ли, с болезнию ли, или со скорбию сердечною. Все находили в них живое участие, отклик сердечный к своим нуждам» [1],— писала мемуаристка М. Д. Францева.

О первоначальном образовании, полученном им в семье декабриста А. П. Юшневского, Н. А. Белоголовый рассказал в своих записках. Впрочем, декабристы дали Николаю Андреевичу нечто значительно большее, чем начальное образование. Они пробудили

[1] Францева М. Д. Воспоминания // Исторический вестник, 1888, № 5. С. 398—399.

в нем живую мысль и дали ей определенное направление, развили понятия о чести, добре, благородстве, долге перед отечеством, то есть все то, что составляет нравственную основу человека и что легче и прочнее всего усваивает он в общении с людьми высокого строя души. Это были те представления, от которых Николай Андреевич никогда не отступал впоследствии и, храня неколебимую верность заветам своих учителей, даже годы спустя смотрел на многое глазами декабристов. Именно их взгляды на жизнь стали для него мерой всех вещей, критерием оценки своих и чужих дел, слов, поступков. Им руководила не только память о них, но и чувство неоплатного долга перед ними, личного и гражданского.

В 1846 г. А. В. Белоголовый определил сына в пансион Эннеса, в ту пору считавшийся одним из лучших в Москве. Учился Николай Андреевич вместе с С. П. Боткиным, тоже купеческим сыном, и сохранил дружбу с ним на всю жизнь. Узы этой дружбы были столь сильны, что в 1861 г. Белоголовый специально поехал из России в Вену, чтобы присутствовать на бракосочетании молодого Боткина. Правда, по окончании пансиона их дороги чуть было не разошлись: Сергей Петрович не помышлял ни о чем, кроме медицины, его друг мечтал о занятиях литературой.

Обстоятельства помешали Николаю Андреевичу осуществить свои планы. Николай I, как известно, до крайности не любивший просвещения, пожелал ограничить в России число лиц с высшим образованием. Из частных гимназий (а пансион Эннеса был частным) разрешено было поступать только на медицинский факультет, на другие брали лишь из казенных. Потому-то Николай Андреевич, против своей воли, оказался на медицинском факультете вместе со своим другом Боткиным.

Между тем литературные способности были у него несомненно. На экзамене по русской словесности известный ученый, профессор Федор Иванович Буслаев, выслушав ответы Белоголового, сказал о нем коллегам: «Вот жаль, что не поступает на филологический факультет!»

Теперь уже и не сосчитаешь, сколько талантов загубил указ императора.

Что же касается Белоголового, то его живой интерес к литературе все-таки не угас. Поселившись через несколько лет в Петербурге, он перезнакомился со всей редакцией «Отечественных записок», лечил Некрасова, Салтыкова, Тургенева и позднее создал нечто в новом и вполне оригинальном жанре, написав литературную историю болезни каждого из них. Доктор Белоголовый справедливо полагал, что такая история болезни может быть интересна для будущих биографов этих писателей. И, надо сказать, не ошибся.

Окончив в 1855 г. университет, Николай Андреевич уехал в родные места, где получил должность иркутского городового врача. По единодушным отзывам современников, Николай Андреевич поднял эту должность на высоту, дотоле небывалую. Три года он без устали лечил горожан, стремился, насколько от него это зависело, улучшить быт ссыльных и каторжных, спасал их от тяжелых телесных наказаний.

Рассказывают, что однажды доктор Белоголовый прослушивал молодого преступника, приговоренного к наказанию плетьми. С каждой минутой лицо Николая Андреевича становилось все более серьезным. Выслушав и простукав пальцами грудь пациента, доктор объявил, что у него слабое сердце и что он скорее всего не выдержит наказания. Он говорил так убежденно, что ему поверили не только врачи, но и сам преступник, который, улучив минуту, спросил Белоголового: «Видно, у меня такое больное сердце, что я долго не протяну?» Надо ли прибавлять, что от плетей он был избавлен.

Так же как доктор Федор Петрович Гааз, о котором с такой проникновенной симпатией рассказал в «Былом и думах» Герцен, Николай Андреевич был свято уверен в том, что главное назначение врача — быть гуманным. Именно эту мысль, простую, как заповедь, Белоголовый без устали внушал молодым врачам, регулярно собиравшимся для обсуждения научных вопросов в основанном Николаем Андреевичем в Иркутске медицинском обществе.

Популярность доктора Белоголового возрастала с каждым днем, и когда он в конце своего пребывания в Иркутске заразился тифом, все врачи города поочередно дежурили у его постели, а простые люди стекались к его дому, чтобы узнать о его здоровье.

Чтобы совершенствовать свои медицинские знания, Белоголовый уехал за границу, слушал лекции в германских университетах, потом отправился на остров Рюген в Балтийском море и там, в тишине и уединении, написал докторскую диссертацию. Защитив ее в 1862 г., Николай Андреевич думал снова вернуться в Иркутск, но С. П. Боткин и другие друзья уговорили его остаться в Петербурге, настаивая на том, чтобы он занялся научной деятельностью, а это было возможно только в столице.

Впрочем, Николай Андреевич был врачом-практиком по призванию. К концу 60-х годов его знал уже весь Петербург. Двери его приемной были открыты для всех: к нему приходили искать помощи и утешения богатые и бедные, писатели и мелкие чиновники, купцы и артисты, рабочие и фабриканты. Отказа не получал никто. Доктор Белоголовый был не только прекрасным диагностом и врачом, не только добрым и бескорыстным человеком, но и проницательным психологом, знатоком человеческой души. Он лечил, утешая, потому так велика была его популярность.

Он был высокого роста, крупный, как многие сибиряки, носил небольшую бороду. Глаза его выражали ум, доброту и какое-то особое лукавство. Он был застенчив и поэтому часто подшучивал над самим собой. Николай Андреевич был милосерден и любил благотворительность: помогать людям было его непреложным правилом, а от правил своих он никогда не отступал. Самое слово это выговаривал он протяжно и слегка усмехаясь, словно чувствуя в нем какой-то скрытый, недоступный другим смысл.

Нередко во время обедов, на которых встречались известные петербургские врачи, Николай Андреевич вдруг предлагал собрать в складчину деньги на какую-нибудь благотворительную цель. Руководствуясь тем же «правилом», он содержал на свой счет нескольких стипендиатов в Петербургском университете. Когда скоропостижно умер его брат, он тотчас усыновил двух племянников и щедро помогал остальным, оставшимся сиротами. Он собирал у русских в Ницце деньги, когда начался голод в России, и отдал в помощь голодающим свой гонорар за книгу о С. П. Боткине, вышедшую в библиотеке Павленкова.

В середине 70-х годов Николай Андреевич почувствовал признаки сильного переутомления. Он сокра-

тил количество приемных часов, но, верный себе, по-прежнему принимал всех — независимо от сословия и имущественного ценза. Так продолжалось до лета 1879 г., когда Белоголовый решил уехать на год за границу — полечиться и отдохнуть. Он уезжал с надеждой, что этого года будет ему достаточно, за границей скучал о привычных занятиях и, едва дождавшись назначенного срока, вернулся в Петербург. Однако, принявшись за дела, понял, что работать как прежде уже не может. По его собственным словам, он «безвозвратно утерял то нравственное равновесие, которое необходимо врачу для добросовестного исполнения его обязанностей...» [1]

Через год он оставил практику и поселился с женой за границей. Жили они в основном в маленьких городах Швейцарии. Его постоянно посещали русские эмигранты: по духу они были ему ближе всех остальных, ибо их волновало то же, что и его. Он встречался с Герценом, Огаревым, Тургеневым, подолгу живущим за границей. В эти двенадцать лет, проведенные вдали от родины, вопросы, связанные с общественной и политической жизнью России, по-прежнему составляли главное содержание интересов Белоголового. При всем том он писал брату Андрею Андреевичу: «В Россию ни в каком случае не возвратимся, потому что чем дальше, тем положение там делается более невозможным. Что говорить! Не весела и наша эмигрантская, оторванная от почвы жизнь; чувствуешь себя каким-то вечным жидом, скучаешь без дела, но по крайней мере остаешься при своем человеческом образе и достоинстве...» [2]

И на чужбине он искал дела, полезного для России. Такое дело нашлось. Еще с конца 70-х годов, ежегодно приезжая за границу лечиться, Николай Андреевич стал помещать свои статьи и корреспонденции в журнале «Общее дело», органе русской либеральной эмиграции. С осени 1883 г. Белоголовый стал фактическим, хотя и негласным, редактором этого издания. Он печатал в журнале антимонархические статьи, материалы в защиту сосланного Черны-

---

[1] Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Спб., 1901. С. 158.

[2] Цит. по ст. Мещеряков Н. Н. А. Белоголовый и газета «Общее дело». // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1939. Вып II. С. 68.

шевского, запрещенные в России произведения Салтыкова-Щедрина. По словам К. Арсеньева, журнал «Общее дело» занимал совершенно особенное положение среди тогдашних органов нелегальной прессы: «он мечтал о соединении всех оппозиционных элементов и стремился не к насильственному ниспровержению, а к мирному, по возможности, обновлению русского государственного и общественного строя. Обстоятельства не благоприятствовали такому стремлению: «Общее дело» прекратилось в 1891 г., не достигнув широкого распространения»[1].

В шутку Николай Андреевич называл себя постепеновцем. Он не ждал скорых революционных перемен в России и, вероятно, даже не желал их. Но он твердо верил в исторический прогресс, в большое благо от малых, посильных каждому, дел. Одним из таких дел и было для него издание журнала. Когда оно прекратилось, Николай Андреевич понял, что ему незачем более оставаться на чужбине. Чувствуя к тому же, что дни его сочтены, Николай Андреевич решил вернуться на родину.

Он умер в Москве на руках Сергея Сергеевича Боткина, сына своего покойного друга и тоже врача.

Воспоминания, в которых так самобытно проявилось литературное дарование Белоголового, не увидели света при его жизни. Появившись в печати, они ввели в заблуждение современников Николая Андреевича своей удивительной простотой: в ней увидели «безыскусственность» непрофессионального литератора, но не разглядели высокого художественного мастерства. По-настоящему воспоминания Белоголового не оценены и по сей день и до сих пор служат как бы второстепенным, вспомогательным справочным материалом. Как увидит читатель, эти живые, яркие страницы заслуживают самого пристального внимания к себе, равно как и личность Николая Андреевича, о которой, пожалуй, лучше и точнее всех написал в статье-некрологе его коллега доктор В. Крылов. Близость к Белоголовому, утверждал он, «была всегда благотворна всякому, и много его душевной деятельности перешло в общественную жизнь через других. Теперь, конечно, уследить это и указать мудрено,

[1] Арсеньев К. Н. А. Белоголовый и Г. А. Джаншиев // Юбилейный сборник Литературного фонда. Спб., 1910. С. 347.

но пройдут годы, и рано или поздно, в какой-нибудь переписке, в каких-нибудь воспоминаниях, несомненно, выплывет наружу то благое значение, которое имел для своего отечества Николай Андреевич Белоголовый»[1].

ЛИТЕРАТУРА

Д ж а н ш и е в Г. Вместо предисловия к 1-му изданию // В кн.: Б е л о г о л о в ы й Н. А. Воспоминания и другие статьи. Спб., 1901.

Д ж а н ш и е в Г. Доктор Белоголовый. Там же.

К р ы л о в В. Памяти Н. А. Белоголового // Исторический вестник, 1895, № 11.

[1] К р ы л о в В. Памяти Н. А. Белоголового // Исторический вестник, 1895. № 11. С. 580.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СИБИРЯКА О ДЕКАБРИСТАХ

I

В один светлый майский день 1842 года отец за обедом обратился к старшему моему брату Андрею и ко мне со словами: «Сегодня после обеда не уходите играть во двор; мать вас оденет, и вы поедете со мной». Отец не объяснил, куда он хочет везти нас; мы же, в силу домашней субординации, расспрашивать не смели, а потому наше детское любопытство было очень возбуждено. Старшему брату было в это время 10 лет, а мне 8; жили мы в Иркутске в своей семье, состоявшей, кроме отца, матери и нас, еще из двух меньших братьев; учились мы дома, и для занятий с нами являлся ежедневно какой-то скромный и угреватый канцелярист, а так как мы оба были мальчики прилежные и способные, то программа элементарного обучения, какую мог дать наш учитель, была исчерпана, и старший брат начал уже ходить в гимназию, и отец поговаривал, что пора и меня отдать туда же. Отец мой был купец, далеко не богатый, очень деятельный, замечательно умный и не останавливавшийся ни перед какими жертвами, чтобы доставить нам наивозможно лучшее образование, что было тогда в Иркутске крайне трудной, почти неисполнимой задачей.

Когда мы, вымытые, приглаженные и одетые в наше лучшее платье, уселись на долгушу (длинные безрессорные дрожки, которые, кажется, и до сих пор в большом употреблении в Сибири), запряженную парой сытых лошадок, и быстро покатили по городу, то отец стал объяснять нам, что везет нас в деревню Малая Разводная, к декабристам Юшневским [1], у которых мы начнем учиться и для этого скоро совсем переберемся на житье к ним; просил нас, как водится, держать себя умниками и не ударить лицом в грязь, если нас сегодня же вздумают проэкзаменовать. Мы были еще так юны и неопытны, что название «декабристы» не имело для нас решительно никакого смысла, а потому мы с самым невинным любопытством ждали предстоящего свидания.

Деревушка Малая Разводная лежит всего в 5 верстах от Иркутска, причем дорога вначале версты три

идет по Забайкальскому тракту, а потом сворачивает вправо по узкому проселку, поросшему по бокам молодым, корявым березняком, и приводит к названной деревушке, заключавшей в себе тогда домов 25 или 30. Мы миновали несколько вытянутых в улицу крестьянских домов и подъехали к тесовым воротам, а через них попали в довольно обширный двор, среди которого стоял небольшой одноэтажный домик Юшневских, обращенный главным фасадом на Ангару, протекавшую под крутым обрывом, на котором была раскинута деревушка. <...>

У Юшневских мы пробыли недолго, ибо отцу, к немалому нашему удивлению, надо было сделать в этой крохотной деревушке целый ряд визитов. Сначала Юшневский повел нас в соседний дом, двор которого прилегал к двору Юшневского и был отделен частоколом, в котором была прорезана калитка. Здесь в небольшом доме с мезонином, стоявшем также среди двора, проживал другой декабрист — Артамон Захарьевич Муравьев[2]. Это был чрезвычайно тучный и необыкновенно веселый и добродушный человек; смеющиеся глаза его так и прыгали, а раскатистый, заразительный хохот постоянно наполнял его небольшой домик. Кроме ласковости и веселых шуток, он нас расположил к себе, помню, еще и оригинальным угощеньем; сидя по-турецки с сложенными ногами на широком диване, он нам скомандовал: «Ну, теперь, дети, марш вот к этому письменному столу, станьте рядом против правого ящика; теперь закройте глаза, откройте ящик, запускайте в него руки и тащите, что вам попадется». Мы исполняли команду в точности, по мере того, как она производилась, и объемистый ящик оказался доверху наполненным конфетами. Как видно, он сам был охотник до сладкого, и вообще, как я узнал впоследствии, любил поесть и пользовался репутацией тонкого гастронома.

На этом же дворе у ворот стояла еще небольшая крестьянская изба с окнами, выходившими на деревенскую улицу, и в ней помещались декабристы — два брата Борисовы; отец прошел с нами и к ним. Старший брат, Петр Иванович[3], был необыкновенно кроткое и скромное существо; он был невысокого роста, очень худощав; я до сих пор не могу позабыть его больших вдумчивых глаз, искрившихся безграничной добротой и прямодушием, его нежной, привлека-

тельной улыбки и тихой его речи. Он представлялся совершенною противоположностью только что оставленному нами А. З. Муравьеву: насколько последний был шумен, неудержимо весел и экспансивен, настолько первый казался тих, даже застенчив в разговоре и во всех своих движениях, и какая-то сосредоточенная, глубоко засевшая на душе грусть лежала на всем его существе. О П. И. Борисове мне придется говорить еще не раз, так как он вскоре сделался также нашим наставником. Жил он вместе со своим братом Андреем Ивановичем [4], у которого развилась в ссылке психическая болезнь, что-то вроде меланхолии; он чуждался всякого постороннего человека, тотчас же убегал в другую комнату, если кто-нибудь заходил в их избушку, и Петр Иванович был единственным живым существом, которое он допускал до себя и с которым свободно мог разговаривать — и взаимная привязанность этих братьев между собой была самая трогательная. Из России они ни от кого помощи не получали и жили скудно на пособие от товарищей-декабристов; кроме того, П. И. зарабатывал ничтожные крохи рисованием животных, птиц и насекомых и был в этом искусстве, не находившем в то время почти никакого спроса в России, тонким мастером. А. И. тоже не оставался без дела: он научился переплетному ремеслу и имел небольшой заработок.

Но этим визиты наши еще не кончились, и от Борисовых мы перешли через улицу еще в одну крестьянскую избу, где жил декабрист Якубович [5]. Странное дело! Когда недели через две мы сделались совсем обитателями Малой Разводной, мы Якубовича там, кажется, уже не застали; то ли я забыл, то ли за этот короткий промежуток он переселился в другое место *, только мне помнится, что я его видел всего один раз, и тем не менее его внешность сильно врезалась в мою детскую память: это был высокий, худощавый и очень смуглый человек, с живыми черными глазами и большими усами; все движения его были полны живости и энергии; детей, видно, он очень любил, потому что тотчас же занялся с на-

* Впоследствии из печатных источников я узнал, что Якубович жил на поселении в Усолье, верстах в 60-ти от Иркутска, и, вероятно, временно находился в Малой Разводной, приехав навестить своих товарищей. *(Прим. автора.)*

ми с великой охотой и, будучи большим любителем живописи, скоро и бойко нарисовал карандашом два рисунка и подарил нам каждому на память. Наконец, от Якубовича мы поехали домой — и тут дорогой отец старался нам объяснить, какого рода людей мы посетили, и хотя главное в его словах оставалось для нас темным, но мы теперь уже с бо́льшим смыслом отнеслись к названию «декабристы» и связали его с определенным типом наших новых знакомцев; так картинки в книге часто объясняют ребенку многое, что в прочитанном тексте оказалось выше детского понимания. Все вместе, и наши личные приятные впечатления, полученные от недавних знакомцев, и теплый, симпатичный тон, с которым отзывался о них отец, сразу вызвали в наших восприимчивых сердцах благоговейное уважение к этим таинственным людям, которое потом росло с нашим ростом и крепло по мере того, как мы более и более входили в их круг.

II

Последующие дни у нас совсем были поглощены сборами отца и матери в Россию. <...>

В описываемое мною лето мать вздумала и сама съездить в первый раз посмотреть Петербург и Москву, оставивши нас, двух старших детей, на житье и ученье у Юшневских, а двух младших — дома, на попечении старой бабушки, жившей у нас постоянно. <...>

Ранее нас еще был помещен на воспитание к Юшневским мальчик лет 12-ти, сын разбогатевшего крестьянина, по фамилии Анкудинов. Поместил его к Юшневскому не отец, самый ординарный кулак из мужиков и притом горький пьяница, а дядя, тоже крестьянин, но на редкость умный и предприимчивый, и состояние Анкудиновых принадлежало ему и было нажито на почтовой гоньбе [6]. Этот дядя имел в Иркутске большой дом, носил городской костюм, с трогательным благоговением относился к образованию и горячо мечтал сделать из своего племянника и единственного наследника — по возможности образованного человека. <...> Я слышал, как Юшневский в разговоре с кем-то о безуспешности своей вышлифовать Анкудинова, раз выразился так: «Да, из редьки трудно сделать мороженое». И действительно,

так-таки Юшневский с ним ничего и не добился. Не могу сказать наверное, оставило ли какой-нибудь нравственный след воспитание Юшневского на нашем товарище, потому что потом я потерял его совсем из виду, а когда, много лет спустя, я, в качестве врача, увидал его однажды уже 30-летним человеком, главой семьи и всего обширного хозяйства умершего дяди, то он ни житейскими взглядами, ни всей обстановкой своей жизни, ничем не отличался, как мне показалось, от заурядного зажиточного мужика. Случайно и болезнь, ради которой я к нему был позван, развилась как следствие алкоголизма, унаследованного им от своего отца. Когда же мы с ним познакомились у Юшневских, то по натуре это был мальчик добрый, а потому мы с ним сошлись и прожили все время вместе очень дружно.

Как ни резок был для нас переход из теплого родного гнезда, от шума большой семьи и городской жизни — в тихий деревенский домик пожилой четы, однако мы с ним как-то скоро освоились и не очень скучали. Вероятно, этому способствовал прежде всего сам Юшневский, который так умело н тепло взялся за нашу дрессировку, что мы не только сразу ему подчинились, но и привязались к нему со всею горячностью нашего возраста. К сожалению, я был слишком ребенок тогда, чтобы теперь с возможными подробностями обрисовать выдающуюся личность Юшневского, склад его жизни и отношение его к окружающей обстановке, а потому невольно должен ограничиваться только смутными воспоминаниями, которые у меня сохранились, причем все крупное и рельефное проходило для меня незамеченным, а врезывались в памяти все такие впечатления, которые более были доступны моему детскому пониманию.

III

В небольшом своем домике, состоявшем из 4-х и самое большее, из 5 комнат, Юшневские отвели для нас одну, выходившую окнами на двор; она нам служила и спальнею и учебною. Алексею Петровичу — так звали Юшневского — было тогда за 50 лет; это был человек среднего роста, довольно коренастый, с большими серыми навыкате и вечно серьезными глазами; бороды и усов он не носил и причесывался

очень оригинально, зачесывая виски взад и вверх, что еще более увеличивало его и без того большой лоб. Ровность его характера была изумительная; всегда серьезный, он даже шутил не улыбаясь, и тем не менее в обращении его с нами мы постоянно чувствовали, хотя он нас никогда не ласкал, его любовное отношение к нам и добродушие. На уроках он был всегда терпелив, никогда не поднимал своего голоса, несмотря на то, что Анкудинов своею тупостью нередко задавал пробу этому неистощимому терпению. Только однажды за все время он вспыхнул и крикнул на нас, а потому, вероятно, этот единственный случай так и врезался в моей памяти. Как-то раз после обеда мы втроем пошли играть в огород, спускавшийся перед домом по откосу к Ангаре; от нее огород отделялся забором с небольшою калиткою, через которую нам запрещено было выходить на берег, чтобы как-нибудь по неосторожности не свалиться в стремительно несущуюся реку. На этот раз что-то соблазнило нас нарушить запрещение, но только что мы стали возиться около калитки, чтобы отодвинуть тугую задвижку, как А. П., увидав из окна, чем мы занимаемся, крикнул нам: «Зачем вы это делаете, дети? оставьте калитку в покое!» — и мы тотчас отошли, но когда через несколько минут заметили, что А. П-ча не видно более в окне, снова принялись за ту же работу и, открыв наконец калитку, готовились выскочить на берег; вдруг из окна раздался тот же голос, на этот раз гневный и повелительный: «Как же вы это не слушаетесь? Марш сейчас же в комнаты!» Мы повиновались, и А. П. встретил нас сердитый в передней, горячо распек за непослушание и в наказание приказал нам тотчас же идти в свою комнату. Нас очень смутил этот необычный с его стороны окрик, и мы, робко прокравшись к себе, стали только что рассуждать о постигшей нас беде, как через минуту или две дверь отворилась и А. П., спокойный и ласковый, как всегда, вошел к нам и весело спросил: «Ну, дети, кто из вас скажет, как пишется «несколько», через *ять* или через *е*?» Мне теперь далеко за 50 лет, но, мне кажется, я до сих пор помню, как забилось мое сердце от радости, что А. П. более на нас не сердится, и как мне хотелось броситься к нему с обещанием, что я постараюсь впредь не вызывать его справедливого гнева.

К наказаниям Юшневский вообще никогда не прибегал; правда, брат и я были мальчики способные и оба из кожи лезли, чтобы заслужить одобрение своего наставника, так что едва ли ему часто давали поводы быть нами недовольным, но и Анкудинов, которому туго давались и русская грамматика, и французский язык, подвергался только усовещениям и вразумлениям и по временам жалобам на него его старому дяде.

Жена Юшневского, Марья Казимировна, была миловидная, толстенькая старушка небольшого роста; в образование наше она не вмешивалась, но мы ее не особенно любили, потому что она строго заботилась о наших манерах и легко раздражалась всякими нашими промахами. Она была полька и ревностная католичка, и самыми частыми ее посетителями были два ксендза, не раз в неделю приходившие пешком из Иркутска. Один из них, по фамилии Ганицкий, худенький, веселый и очень юркий человечек, не прочь был повозиться с нами, несмотря на свой почтенный сан и не менее почтенный возраст. Уже будучи взрослым, я узнал от декабристов, что Марья Казимировна была замужем в Киеве за каким-то помещиком[7], от которого имела детей, потом увлеклась Юшневским и после формального развода вышла за него замуж и покорно разделила с ним его тяжелую участь в Сибири. Во время нашего прожития в Малой Разводной приезжала навестить ее из России и осталась на несколько лет в Иркутске ее дочь с мужем, по фамилии Рейхель, очень недурным портретистом, и с целой кучей детей.

Юшневский кроме того был хороший музыкант и слыл чуть ли не лучшим учителем для фортепиано в Иркутске, но искусство это в нашей глухой провинции в те времена не пользовалось большим распространением и не могло прокормить учителя. На свои городские уроки А. П. уезжал раза три в неделю утром и возвращался часу в первом к обеду; в отсутствие его для занятий с нами математикою являлся Петр Иванович Борисов, с которым у нас также и тотчас установились наилучшие отношения. Если Юшневский нам импонировал своим обширным умом и сдержанностью и мы питали к нему благоговейное уважение, не лишенное некоторого трепета, то с Борисовым у нас завязалась прямая и самая бесхитро-

стная дружба, так как при своей непомерной безобидности и кротости он нам был больше по плечу. Не знаю, был ли он хорошим математиком, знаю только, что во мне он ни способностей к этой науке, ни любви к ней не развил, но зато он нас увлекал большою своей страстью к природе и к естественным наукам, которые изучил недурно, особенно растительное и пернатое царства Сибири; рисовал же он птиц и животных, как я упоминал выше, с замечательным мастерством. По окончании уроков он, если день был хороший, тотчас же брал нас с собой на прогулку в лес, и для нас это составляло великое удовольствие; в лесу мы не столько резвились на просторе, сколько ловили бабочек и насекомых и несли их к Борисову, и он тут же определял зоологический вид добычи и старался поделиться с нами своими сведениями. Иногда приводил он нас к себе в свой крохотный домик, и тогда, лишь только мы переступали порог комнаты, несчастный брат его, никогда не снимавший с себя халата и не выходивший на воздух, порывисто вскакивал из-за переплетного станка и убегал в соседнюю комнату, так что мы никогда не видали его лица. В жилище Борисова нас всегда манила собранная им небольшая коллекция сибирских птиц и мелких животных, а также великое множество его собственных рисунков, за работой которых он просиживал все часы своих досугов. В этой страсти он находил для себя источник труда и наслаждения в своей однообразной и беспросветной жизни, а товарищи старались сделать из нее ресурс для материального улучшения обстановки братьев, но довольно безуспешно, потому что тогда интерес к естественноисторическому изучению Сибири еще не проснулся в России. <...>

Рассказывал иногда нам во время отдыха Борисов и о своем прошлом, о житье в Чите, в Петровском заводе и т. п., и делал это, конечно, в форме, применительной к нашему возрасту; рассказы эти, к сожалению, давно мною перезабыты, и у меня осталось от них разве то общее впечатление, что когда он своим тихим голосом передавал тяжелые испытания свои и своих товарищей, то нам становилось чрезвычайно жаль этих добрых и симпатичных людей, так много выстрадавших на своем веку; едва ли нужно прибавлять, что он при этом никогда не обвинял правитель-

ство и не развивал в нас никаких злобных чувств. Из его рассказов в моей памяти почему-то сохранился следующий. Когда Артамон Захарович Муравьев был доставлен фельдъегерем из Петербурга в Читу, то, прежде помещения его в каземат, у него, по установленному обычаю, сделан был приставом осмотр вещей; Муравьев был большой щеголь и между прочим любил прыскаться духами, а потому в его чемодане было несколько склянок с одеколоном; пристав не имел понятия о таких потребностях, а потому, не удовлетворившись объяснением, что это одеколон, откупорил одну бутылку и взял глоток жидкости в рот; понятно, он поперхнулся, закашлялся и, насилу отплевавшись, произнес наконец с раздражением: «Помилуйте, это Бог знает что такое! Как же можно употреблять такой горлодер? Да я думаю, сам Е. И. В. великий князь Михаил Павлович не разрешает себе таких крепких напитков!» И я помню, как Борисов, рассказывая этот эпизод, благодушно смеялся над наивностью захолустного чиновника, полагавшего, что великий князь, по своему высокому положению, должен употреблять не иначе, как самые крепкие напитки.

IV

Время для нас проходило незаметно в уроках с Юшневским и Борисовым, в прогулках и играх, а вечерами, когда наступили длинные осенние вечера, и если у Юшневских не было гостей, А. П. или рассказывал нам что-нибудь, то поучительное, то забавное, или заставлял нас по очереди читать вслух разные рассказы и путешествия достаточно удобопонятные, чтобы заинтересовать наше вооображение. Я хотя и учился с большим старанием, но в детстве был порядочный разгильдяй и очень рассеянный мальчик, и Юшневский прозвал меня почему-то «рахманным», и эта кличка оставалась за мной в продолжение всего пребывания в их доме. Чтобы иллюстрировать степень моей тогдашней сообразительности, могу привести следующий образчик. Как-то в начале осени я схватил насморк; Юшневская заметила это за ужином и приказала мне, когда я буду ложиться спать, намазать хорошенько подошвы свечным салом. Я и исполнил приказание буквально, а так как в то

время признавал существование подошв только у обуви, то, улегшись в постель, взял свои сапоги и очень добросовестно начал мазать их подошвы салом. За этой работой застал меня Юшневский и с большим изумлением спросил: «Коля, что за глупости ты это делаешь?» — и когда я ему с деловитою озабоченностью ответил: «Марья Казимировна мне приказала от насморка намазать подошвы»,— то даже он, этот почти никогда не улыбавшийся человек, не мог удержаться и разразился громким смехом. И долго мне доставалось за эти подошвы и за этот первый опыт моей медицинской практической деятельности! При этом я был очень застенчив и легко терялся с мало знакомыми мне людьми, а потому всякий наезд гостей, когда в зале накрывали к обеду большой стол, обращался для меня в немалую пытку. Особенно боялся я декабриста Панова[8], который довольно часто приезжал к обеду и любил потешаться надо мной. Это был небольшого роста плотный блондин, с большими выпуклыми глазами, с румянцем на щеках и с большими светло-русыми усами; за обедом он начинал стрелять в меня шариками хлеба и, должно быть любуясь моим конфузом, приставал ко мне с вопросами обыкновенно все в одном и том же роде: «А зачем у тебя мои зубы? когда ты у меня их стащил? давай же мне их тотчас же назад!». Следующие разы повторялись те же вопросы по поводу носа, глаза; я краснел до ушей, готов был провалиться под стол и был чрезвычайно рад, когда по окончании обеда мог удалиться в свою комнату. Гости бывали вообще нередко, заезжали большею частью товарищи-декабристы из ближайших деревень, чаще же всех приходил, отдуваясь и запыхиваясь, сосед А. З. Муравьев; он был всегда весел, всегда хохотал, и его приход составлял для нас праздник: он, бывало, расшевелит даже сдержанного Юшневского, перебудоражит всех в нашем тихом домике, а нам, детям, наскажет с три короба разных смешных анекдотов из разряда «не любо — не слушай». Его все любили за беззаветную и деятельную доброту: он не только платонически сочувствовал всякой чужой беде, а делал все возможное, чтобы помочь ей; в нашей деревушке он скоро сделался общим благодетелем, потому что, претендуя на знание медицины, он разыскивал сам больных мужиков и лечил их, помогая им

не только лекарствами, но и пищею, деньгами — всем, чем только мог. Между прочим он изучил и зубоврачебное искусство и мастерски рвал зубы, что я имел случай лично испытать впоследствии на себе, когда мне было лет около 11. И замечательно, его необычайная тучность не делала его ни апатичным, ни малоподвижным, хотя, при его хлопотливости, причиняла ему немало бед; так, на моей памяти он при падении из экипажа раз сломал себе ногу, а в другой раз — руку. Чуть ли он и умер не вследствие одного из этих падений, а умер он или в самом конце 40-х годов, или в начале 50-х. Впоследствии он из Малой Разводной переселился в Большую Разводную, лежавшую на 5 верст выше по Ангаре, где выстроил себе небольшой домик. В этом домике одно время гостили декабристы Бестужевы, Николай [9] и Михаил Александровичи [10]. По отзывам товарищей, Николай принадлежал к числу умнейших и образованнейших людей своего времени; средний же брат Александр, известный под литературным именем Марлинского [11], оставался на поселении недолго и уехал на Кавказ, где ему позволено было поступить в военную службу рядовым, а вскоре был убит. Братья Бестужевы были переведены на жительство за Байкал в Селенгинск, где оставили по себе отличную память, так как много содействовали поднятию этого небольшого городка как в умственном, так и в экономическом отношении. Их труды и участие в обучении детей дали впоследствии таких хороших и образованных сибирских купцов, каковы были Старцевы и Лушниковы. Н. А. Бестужев и умер в Селенгинске; М. А., женившись на селенгинке, дожил до амнистии и умер в Москве по возвращении.

Кроме товарищей нередко посещали Юшневских в качестве гостей и кое-кто из образованных городских обывателей. Юшневский был большой хлебосол и очень любил угощать малорусскими и польскими блюдами, а потому гости эти нередко оставались к обеду. Во время нашей жизни у него он отвел на дворе небольшое место под окнами, огородил его частоколом и посеял кукурузу, нянчился он с ней с удивительным старанием, сам поливал, укрывал от утренников [12] и добился-таки своего; я помню, с каким торжеством он потом угощал за обедом своих гостей разваренной кукурузой. Гости ели этот неизвестный

до того в Сибири продукт, и хозяин был очень доволен своей победой над суровым климатом. Вообще за довольно обширным своим огородом он следил сам, хотя поддерживал его исключительно для своей домашней потребности; сельским же хозяйством вовсе не занимался. <...>

V

Лето 1842 г., которое мы прожили у Юшневских, прошло очень тревожно для Иркутска. Оно ознаменовалось эпидемией страшных пожаров, вследствие поджогов сначала в восточной России, а потом в Сибири: сначала в несколько приемов горела Казань, затем чуть не до тла выгорела Пермь, сильно пострадал Томск и, наконец, очередь дошла до Иркутска. В городе одновременно во многих местах были подняты подметные письма, в которых население предупреждалось приблизительно за неделю вперед, что такого-то числа июля город будет зажжен с разных концов и предназначается к полному истреблению огнем. Ввиду дошедших уже известий о том, какие ужасные бедствия причинили поджоги, обративши названные выше города в груды пепла и оставивши тысячи жителей без крова и без средств, невозможно было пренебречь такими предостережениями, а потому весь Иркутск всполошился и был охвачен паникой; не только полиция усилила свой надзор, но и домохозяева сами образовали из себя патрули, обходившие денно и нощно свои участки. Как всегда бывает в таких случаях, паника порождала появление ложных слухов о найденных будто бы в разных местах приготовлениях для поджога в виде смоленых стружек, пакли, о поимке каких-то подозрительных людей и т. п.— и возросла до того, что накануне предсказанного для пожара дня более зажиточная и трусливая часть населения стала складывать пожитки на воза и выезжать в разных направлениях из города за реки, благо город с 3-х сторон окружен водою; многие выбирались на ближайшие к Иркутску горы, Верхоленскую и Кайскую, рассчитывая, что это самые удобные обсерватории для наблюдения за ходом пожара в городе. Грозный день наступил и прошел без всяких приключений, так же благополучно миновали и последующие дни, и население стало успокаиваться

и понемногу возвращаться на свои места. Для нас, детей, эти дни общей тревоги, напротив, в Разводной прошли шумнее и веселее обычных, потому что один из иркутских знакомых Юшневских, купец Баснин, прислал к нам своих сыновей, чтобы удалить их в безопасное место на случай пожара — и это увеличение нашей компании немало способствовало большому оживлению наших игр и шалостей, но дня через два гости наши вернулись в отчий дом, и у нас снова воцарились прежний порядок и благочиние.

С началом осени мы стали поджидать возвращения отца и матери из Нижнего, и у меня живо сохранился в памяти тот момент, когда мы, в ожидании их оставаясь в Иркутске, дождались, как в конце сентября, в светлое солнечное утро, часу в 10-м отворились ворота нашего дома и вкатил пузатый тарантас, покрытый грязью и пылью, и мы бросились с крыльца в объятия прибывших.

Мы продолжали ездить к Юшневскому и оставались у него с понедельника до субботы, и не могу наверное припомнить, но, кажется, в январе 1844 г. нашим занятиям суждено было внезапно прерваться. Случилось, что в это время умер в деревне Оёк (верстах в 30 от Иркутска) поселенный там декабрист Вадковский [13]; Юшневский отправился на похороны товарища и сам там скончался совершенно неожиданно для своих друзей; во время заупокойной обедни, при выходе с Евангелием, он поклонился в землю, и когда стоявшие подле него товарищи, удивленные, что он долго не поднимается на ноги, решились тронуть его, то он уже был мертв. Известие это тотчас же дошло до нас, и мы много горевали о смерти учителя, к которому успели сильно привязаться.

Я очень хорошо понимаю, что из моих поверхностных штрихов, набросанных под руководством детской памяти и сильно затертых временем, читатель не в состоянии будет сделать себе ясное представление о личности Юшневского; тем не менее я решил отдать в печать свои воспоминания, отчасти в надежде, что они могут все-таки со временем пригодиться, как источники, а отчасти смотря на них, как на свой нравственный долг в отношении наставника. Если я не в силах показать теперь точно и в деталях пе-

дагогические приемы Юшневского и тайну его влияния на наши детские умы и души, то уж одно то глубокое благоговение, какое сохранилось во мне к его памяти, доказывает, что Юшневский, не будучи педагогом по профессии, был воспитатель далеко не заурядный. Впоследствии я слышал от декабристов, что он и в их кругу выделялся, наряду с Николаем Бестужевым, Никитой Муравьевым [14] и Луниным [15], своим необыкновенно светлым умом и образованностью и пользовался общим уважением за благородство характера и непоколебимость убеждений; притом же он и по возрасту был одним из старших из них и во время открытия заговора состоял уже в звании интенданта южной армии и в чине действительного статского советника. Вдова его вернулась до общей амнистии в Россию и умерла в 60-х годах, кажется, в Киеве, в глубокой старости.

VI

Через несколько дней отец снова сам повел нас в Малую Разводную, предупредив, что мы увидим там своего нового будущего учителя. С сжатым сердцем вошел я в знакомый домик и почти не узнал самой большой комнаты — залы: все стены ее были обтянуты черным, в переднем углу между двумя окнами помещался католический алтарь, убранный также черным коленкором и уставленный длинными восковыми свечами; в комнатах пахло ладаном. Марья Казимировна вышла к нам заплаканная, тоже вся в черном, и при виде нас разразилась рыданиями; понятно, и наши нервы не могли выдержать такого испытания, и мы тоже горько разрыдались. Но тут вскоре подошел к нам будущий наш учитель, увел нас за руки в ту комнату, которая во время пребывания нашего в Разводной служила нам классной, и подверг легкому экзамену наши сведения во французском языке. Благоговение и привязанность, какие внушил нам к себе покойный Юшневский, были так глубоки, что я помню, с каким недоброжелательством и даже враждебным чувством смотрели мы на человека, который должен был заменить его для нас, и как неохотно ему отвечали. Учитель этот был Александр Викторович Поджио [16], также декабрист, но которого мы до сих пор ни разу не видали у Юшневских.

С этим наставником связали меня впоследствии самые теплые и дружеские отношения, продолжавшиеся до самой его смерти, постигшей его в 1878 году, а потому я имею возможность привести о нем более подробные сведения.

Длинные черные волосы, падавшие густыми прядями на плечи, красивый лоб, черные выразительные глаза, орлиный нос, при среднем росте и изящной пропорциональности членов, давали нашему новому наставнику привлекательную внешность и вместе с врожденною подвижностью в движениях и с живостью характера ясно указывали на его южное происхождение. Под этой красивой наружностью скрывался человек редких достоинств и редкой души. Тяжелая ссылка и испорченная жизнь только закалили в нем рыцарское благородство, искренность и прямодушие в отношениях, горячность в дружбе и тому подобные прекрасные свойства итальянской расы, но при этом придали ему редкую мягкость, незлобие и терпимость к людям, которые до конца его жизни действовали обаятельно на всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Я много странствовал по свету, много знавал хороших людей, однако другого такого идеального типа альтруиста мне не приходилось встречать, хотя, веруя в человечество, не сомневаюсь, что, быть может, пока в редких экземплярах, он существует везде. С безукоризненной чистотой своих нравственных правил, с непоколебимой верностью им и последовательностью во всех своих поступках и во всех мелочах жизни, с неподкупною строгостью к самому себе — он соединял необыкновенную гуманность к другим людям и снисходительность к их недостаткам, и в самом несимпатичном человеке он умел отыскать хорошую человеческую сторону, искру добра и старался раздуть эту искру; делал он это как-то просто, безыскусственно, в силу инстинктивной потребности своей прекрасной натуры, не задаваясь никаким доктринерством, никакою преднамеренною тенденциозностью. Оттого-то, будучи человеком среднего, невыдающегося ума, он производил сильное впечатление на окружающих, главное — своею нравственной чистотой и духовной ясностью, и всякий в беседе с ним ощущал, как с него постепенно сходила черствая кора условных привычек и ходячей морали, и в его присутствии всякий чувствовал себя чище

и становился примиреннее с людьми. Зато все знавшие его не только к нему сильно привязывались, но у многих любовь эта доходила до боготворения. Таким вспоминается мне Поджио и в своей сибирской обстановке, в сношениях с темным миром сибирского населения, таким же я знал его впоследствии вольным человеком, и в Швейцарии, и в Италии, родине его предков, куда он попал уже дряхлеющим стариком; но и в этот последний период своей жизни, когда старость и недуги часто приковывали к постели его изнуренное тело, он продолжал сохранять юношескую веру в человека, чуткую отзывчивость к чужому горю и живо интересоваться мировыми событиями. Хотя в жилах его текла итальянская кровь и к Италии он чувствовал естественную нежность, однако в душе он был чисто русский человек и безгранично любил Россию, но не тою слепою любовью, которая закрывает глаза на теневые стороны и на кричащие недостатки и возводит грубость понятий и нравов в идеал самобытности, а тем просвещенным чувством истинного патриота, которое видит первое условие для благоденствия родины в правильном и постепенном прогрессе, жертвует собственною личностью для достижения этого благоденствия и не разочаровывается и не падает духом, когда его самопожертвование не приносит явного результата. Казалось бы, этому полуитальянцу следовало возненавидеть Россию, где лучшая половина его жизни прошла в тюрьме и в сибирском изгнании, в борьбе с суровым климатом, невежеством и чуть не бедностью, но тот духовный патриотизм, который обыкновенно противопоставляется квасному, только растет и закаляется от всяких лишений и личных жертв, принесенных для блага родины,— и 75-летний Поджио был искренен, как всегда, когда, любуясь со мной изумительной панорамой Флоренции с S. Miniato, говорил мне: «Что за роскошь, что за рай! И мечтал ли я, что когда-нибудь увижу все это собственными глазами? Но не думайте, любезный друг, что я желал бы здесь закрыть навеки мои глаза и быть похороненным в этой чудной и живописной могиле: нет, я желал бы умереть непременно в России и там оставить мои кости». Он сдержал и это свое слово; на следующее же лето его умирающим перевезли в Россию, где он через несколько недель и скончался [17]. <...>

VII

В описываемое время, т. е. в 40-х годах, иркутские декабристы пользовались уже значительной свободой; большинство из них жило в окрестных деревнях с правом время от времени приезжать в город, а вскоре многие из них и совсем перебрались в Иркутск, по крайней мере на зимние месяцы, и первый пример тому подали, помнится, Волконские. Кроме названной мною разводинской колонии, в окрестностях Иркутска проживали еще следующие декабристы: Трубецкой [18], Волконский [19], Никита и Александр Муравьевы, оба брата Поджио, Сутгоф [20], Муханов [21], Панов, доктор Вольф [22], Бечаснов [23] — и разместились они в таком порядке: Трубецкой с семьей, Сутгоф с женой, Вадковский и Лунин жили в большом селе Оёк, в 30 верстах от Иркутска; но эта колония в 40-х годах совсем уже рассеялась, потому что Вадковский, как мы сказали выше, умер, Сутгоф получил разрешение вступить рядовым в кавказскую армию, а Лунин, если не ошибаюсь, еще в 1841 г. за написанное им возражение против «донесения следственной комиссии» по делу декабристов и дошедшее до сведения императора Николая, был внезапно арестован и сослан в Акатуевский рудник [24] нерчинских заводов, где через несколько месяцев и умер. Волконские жили в деревне Урик в 17 верстах от Иркутска, где у них был свой поместительный дом и обширное сельское хозяйство, которым занимался с большим увлечением старик Волконский. В Урике же жили Никита и Александр Михайлович Муравьевы, Николай Алексеевич Панов и доктор Фердинанд Богданович Вольф. Никита Михайлович Муравьев в это время был вдов, похоронив свою самоотверженную жену, которую все декабристы боготворили как своего ангела-хранителя; любовь эту они перенесли на оставшуюся после нее дочку Софью, которую все называли не иначе, как Нонушка. В половине 40-х годов Нонушку увезли для воспитания в Москву, я уже не застал ее в Урике и только помня, как часто и с какою нежностью произносилось ее имя стариками декабристами, я впоследствии, будучи в Москве студентом, воспользовался случаем ее видеть и нашел ее чрезвычайно симпатичной. Тогда она была уже замужем за Бибиковым и умерла в Москве в 1892 г. Сам

Никита Михайлович Муравьев вскоре же умер в Урике, где и похоронен рядом с Пановым. Другой брат, А. М. Муравьев, женился на гувернантке детей Волконских и еще в конце 40-х годов получил разрешение поступить на государственную службу в Западной Сибири и дослужился в Тобольске до звания советника губернского правления. Доктор Вольф умер тоже в первой половине 40-х годов, а потому я его не помню, но память о нем долго сохранялась в иркутском обществе, как о весьма искусном и гуманном враче; вера в него была такая, что и двадцать лет спустя мои иркутские пациенты мне показывали его рецепты, уже выцветшие от времени и хранимые с благоговением, как святыня, спасшая некогда их от смерти. Наконец, братья Поджио и Муханов приютились в 7 верстах от Урика, в глухой деревушке Усть-Куда, да Бечаснов жил особняком в Смоленщине, в 12 вер. от Иркутска.

Двумя главными центрами, около которых группировались иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских, так как они и имели средства жить шире, и обе хозяйки — Трубецкая и Волконская[25] своим умом и образованием, а Трубецкая — и своею необыкновенною сердечностью, были как бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружескую колонию; присутствие же детей в обеих семьях вносило еще больше оживления и теплоты в отношения. Нельзя не пожалеть, что такие высокие и цельные по своей нравственной силе типы русских женщин, какими были жены декабристов, не нашли до сих пор ни должной оценки, ни своего Плутарха[26], потому что, если революционная деятельность декабристов мужей, по условиям времени, не допускает нас относиться к ним с совершенным объективизмом и историческим беспристрастием, то ничто не мешает признать в их женах такие классические образцы самоотверженной любви, самопожертвования и необычайной энергии, какими вправе гордиться страна, вырастившая их, образцы, которые без всякого зазора и независимо всякой политической тенденциозности могли бы служить в женской педагогии во многих отношениях идеальными примерами для будущих поколений. Как не почувствовать благоговейного изумления и не преклониться перед этими молоденькими и слабенькими женщинами, когда они, выросшие

в холе и в атмосфере столичного большого света, покинули, часто наперекор советам своих отцов и матерей, весь окружавший их блеск и богатство, порвали со всем своим прошлым, с родными и дружескими связями, и бросились, как в пропасть, в далекую Сибирь с тем, чтобы разыскать своих несчастных мужей в каторжных рудниках и разделить с ними их участь, полную лишений и бесправия ссыльно-каторжных, похоронив в сибирских тундрах свою молодость и красоту! Чтобы еще более оценить величину подвига Трубецкой, Волконской, Муравьевой[27], Нарышкиной[28], Ентальцевой[29], Юшневской, Фонвизиной[30], Анненковой[31], Ивашевой[32] и др., надо помнить, что все это происходило в 20-х годах, когда Сибирь представлялась издали каким-то мрачным, ледяным адом, откуда, как с того света, возврат был невозможен и где властвовал произвол таких легендарных жестокосердых воевод, какими были только что сошедшие со сцены правители: Пестель, Трескин и другие. <...>

VIII

В 1845 г. Трубецкие, как я сказал выше, жили еще в Оёкском селении в большом собственном доме. Семья их тогда состояла, кроме мужа и жены, из 3-х дочерей — старшей Александры, уже взрослой барышни, двух меньших прелестных девочек, Лизы — 10 лет и Зины — 8 лет, и только что родившегося сына Ивана. Был у них еще раньше сын Лева, умерший в Оёке в 9-летнем возрасте, общий любимец, смерть которого долго составляла неутешное горе для родителей, и только появление на свет нового сына отчасти вознаградило их в этой потере. Сам князь Сергей Петрович был высокий, худощавый человек с некрасивыми чертами лица, длинным носом, большим ртом, из которого торчали длинные и кривые зубы; держал он себя чрезвычайно скромно, был малоразговорчив и вследствие этого считался человеком ума рядового. О княгине же, Катерине Ивановне, урожденной графине Лаваль, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я видал ее очень мало и мне пришлось бы повторять только банальности, и то с чужих слов; помню только, что она была небольшого роста, с приятными чертами лица и большими кроткими глазами, и иного отзыва о ней не слыхал,

как тот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего оёкского населения, находившего всегда у нее помощь словом и делом. Князь тоже был очень добрый человек, а потому и мудреного ничего нет, что это свойство перешло по наследству и к детям, и все они отличались необыкновенною кротостью. В половине 1845 года произошло открытие девичьего института Восточной Сибири в Иркутске, куда Трубецкие в первый же год открытия поместили своих двух меньших дочерей, и тогда же переселились на житье в город, в Знаменское предместье, где купили себе дом.

Мое сближение с семьей Волконских было более короткое, а потому я могу рассказать о ней сравнительно больше; она состояла тогда из мужа, жены, сына-подростка и дочери. Старик Волконский — ему уже тогда было около 60 лет—слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. Когда семья переселилась в город и заняла большой двухэтажный дом, в котором впоследствии помещались всегда губернаторы, то старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени наезжал к семейству, но и тут — до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями — он не останавливался в самом доме, а отвел для себя комнатку где-то на дворе — и это его собственное помещение смахивало скорее

на кладовую, потому что в нем в большом беспорядке валялись разная рухлядь и всякие принадлежности сельского хозяйства; особенной чистотой оно тоже похвалиться не могло, потому что в гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапогов. В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков; в городе носился слух, что он был очень скуп. Так как мне едва ли придется далее возвращаться к старику Волконскому, то я здесь, кстати, расскажу мое последнее свидание с ним, бывшее несколько лет после амнистии, в 1861 или в 1862 году. Я был тогда уже врачом и проживал в Москве, сдавая свой экзамен на доктора; однажды получаю записку от Волконского с просьбою навестить его. Я нашел его хотя белым, как лунь, но бодрым, оживленным и притом таким нарядным и франтоватым, каким я его никогда не видывал в Иркутске; его длинные серебристые волосы были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и заметно выхолена, и все его лицо с тонкими чертами и изрезанное морщинами делали из него такого изящного, картинно красивого старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись этой библейской красотой. Возвращение же после амнистии в Россию, поездка и житье за границей, встречи с оставшимися в живых родными и с друзьями молодости и тот благоговейный почет, с каким всюду его встречали за вынесенные испытания — все это его как-то преобразило и сделало и духовный закат этой тревожной жизни необыкновенно ясным и привлекательным. Он стал гораздо словоохотливее и тотчас же начал живо рассказывать мне о своих впечатлениях и встречах, особенно за границей; политические вопросы снова его сильно занимали, а свою сельскохозяйственную страсть он как будто покинул в Сибири вместе со всей своей тамошней обстановкой ссыльнопоселенца. <...>

IX

Но если старик Волконский, поглощенный своими сельскохозяйственными занятиями и весь ушедший в народ, не тяготел к городу и гораздо больше интересовался деревней, то жена его, княгиня Марья Николаевна, была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни. Говорят, она была хороша собой, но, с моей точки зрения 11-летнего мальчика, она мне не могла казаться иначе, как старушкой, так как ей перешло тогда за 40 лет; помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, с небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя с большим достоинством, говорила медленно и вообще на нас, детей, производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы всегда несколько стеснялись в ее присутствии; но своих детей, Мишеля [33] и Нелли [34], она любила горячо и хотя и баловала их, но в то же время строго следила сама за их воспитанием. Мишель был на два года старше меня, и в 1845 г. ему минуло 13 лет. Нелли же была на 2 года моложе своего брата. Зимой в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем, и только генерал-губернатор Руперт [35] и его семья и иркутский гражданский губернатор Пятницкий избегали, вероятно из страха, чтобы не получить выговора из Петербурга, появляться на многолюдных праздниках в доме политического ссыльного. В описываемое мною время оживлению Иркутска немало содействовало присутствие в нем ревизии сенатора Толстого [36], назначенной в 1844 г., и в состав которой входило человек 15 молодежи из лучших знатных фамилий; тут были кн. Львов, кн. Голицын, кн. Шаховской, гр. Сиверс, барон Ферзен, Безобразов и др.— и все они постоянно вращались у Волконских, потому что, кроме этого дома и дома Трубецких, тогдашняя иркутская жизнь мало могла дать для развлечений светской молодежи, а у Волконских же бывали и балы, и маскарады, и всевозможные зимние развлечения. Мой старший брат и я, сделавшись учениками А. В. Поджио, тотчас же попали в этот круг и стали часто бывать в нем; та-

ких сверстников для компании Мишелю, большею частью из воспитанников губернской гимназии, собиралось постоянно человек 15, и это посещение светского барского дома не могло не влиять на нас в хорошую сторону, исподволь шлифуя наши нравы и манеры, оставлявшие желать многого по причине глухой обстановки тогдашней провинциальной жизни.

Однажды задумано было устроить домашний спектакль из мальчиков, собиравшихся в доме Волконских; не помню, кто был распорядителем и кого угораздило выбрать для этого фонвизинского «Недоросля», пьесу, меньше всего подходившую для домашнего театра и во всяком случае бывшую далеко не по силам юных артистов. Волнение и суета поднялись в нашем кружке великие; роли были розданы и переписаны; Мишель должен был изображать Митрофана, живший у них в доме и учившийся с ним мальчик Зверев — Простакову, мой брат — Правдина и т. д.; на мою долю досталась небольшая роль Простакова, которую я исправно отзубрил, но все боялся, что сробею перед публикой, и меня бросало то в холод, то в жар при мысли, что вдруг, выйдя на сцену, я перезабуду все и не в состоянии буду произнести ни одного слова; даже просыпаясь ночью, я старался пробежать в голове всю роль, начиная с выходной фразы «Ме...мешковат немного».— Уже заказаны были декорации, и репетиции у Волконских шли довольно часто в полном составе нашей труппы, но то ли из игры нашей ничего путного не выходило, то ли по другим причинам, затея эта вскоре рухнула, и нам так и не удалось дебютировать на сценических подмостках. Надо полагать, что актеры мы были самые первобытные, потому что ни один из нас ни разу не видал до того никаких образцов, которым мог бы подражать, так как только около этого времени в Иркутске чуть ли не впервые появилась драматическая труппа, дававшая публичные спектакли, да и то такая горемычная, что ее лицедейством трудно было воспользоваться нам для руководства. <...>

Уж одна открытая жизнь в доме Волконских прямо вела к сближению общества и зарождению в нем более смягченных и культурных нравов и вкусов. Но и помимо того, как ни старались остальные декабристы не слишком выдаваться вперед и сохранять свое скромное положение ссыльнопоселенцев, но едино-

временное появление в небольшом и разнокалиберном обществе 20-тысячного городка 15 или 20 высокообразованных личностей не могло не оставить глубокого следа. Некоторые из них, как например Николай Бестужев, Никита Муравьев, Юшневский и Лунин, оказывали неотразимое влияние своими выдающимися умами, большинство же — тем глубоким и разносторонним просвещением, пробелы в котором они тщательно восполнили во время своей замкнутой от мира, но дружно сплоченной жизни в Чите и Петровском заводе. Истинное просвещение сделало то, что люди эти не кичились ни своим происхождением, ни превосходством образования, а, напротив, старались искренно и тесно сблизиться с окружавшей их провинциальной средой и внести в нее свет своих познаний; все пройденные ими в жизни испытания наложили на них печать не озлобления, не человеконенавистничества, а безграничной гуманности, необыкновенного благодушия и скромности и создали из них тот своеобразный и редкий в России тип, который с таким высоким художественным тактом и так верно воспроизводил гр. Л. Толстой в отрывке из романа «Декабристы». Естественно поэтому, что они скоро завоевали себе общую любовь и уважение в Иркутске, и благотворное влияние их на окружающую среду было глубоко, хотя, быть может, и не легко уловимо, потому что достигалось медленно и незаметно, не громкими фразами и не блестящими делами, а разумной и всегда согретой гуманными наклонностями беседой и личным примером безукоризненной честности во всех проявлениях своей будничной жизни, бывшей на виду у всех. Каждый из них в отдельности и все вместе взятые — они были такими живыми образцами культуры, что естественным образом поднимали значение и достоинства ее в глазах всякого, кто с ними приходил в соприкосновение, и особенно в тех, в ком бродило смутное сознание чего-то лучшего в жизни, чем то животное прозябание и самоопошливание, какими отличалась жизнь тогдашнего провинциального захолустья. И нет сомнения, что весьма многие из иркутских чиновников и купцов, только в силу этого непосредственного обаяния просвещения, почувствовали большую потребность в духовных наслаждениях жизни, стали больше читать и особенно стали заботиться о том, чтобы дать своим

детям по возможности совершенное образование. Недаром же с этого именно времени, т. е. с конца 40-х годов, которые считаются в России самым глухим и неблагодарным периодом в истории русского просвещения XIX века, в иркутском обществе обнаруживается первое стремление молодежи в русские университеты, которое, получив тогда первый толчок, продолжало с тех пор только прогрессивно расти и развиваться.

X

Но возвращаюсь к рассказу о моем воспитании у А. В. Поджио, продолжавшемся около двух лет до мая 1847 года. Зимой для уроков — первую зиму старший брат мой и я, а вторую — я и третий мой брат,— ходили на городскую квартиру Поджио, жившего в двух шагах от нашего дома, на Большой же улице, а на лето мы переезжали с ним вместе в его домик в деревне Усть-Куда. Учились мы у него французскому и русскому языкам, а для математики к нам в дом раза два в неделю продолжал приезжать кротчайший П. И. Борисов из Малой Разводной. Несмотря на то, что Поджио никак не принадлежал к присяжным педагогам и принялся за воспитание детей, когда ему уже перешло за 40 лет, но это отсутствие навыка и правильного метода окупалось у него чрезвычайной добросовестностью и терпением, так что мы скоро сделали заметные успехи в ученье и стали бойко болтать по-французски. Но главная суть не в этом, а в том, что нравственное влияние на нас Поджио, как воспитателя, было огромное. Я уже раньше сказал о его редкой доброте и прекрасных качествах, а потому, чтобы не повторяться, прибавлю только, что при всей страстности и живости своего южного темперамента, которых из него не могли вытравить ни крепость, ни ссылка, он не был ни раздражителен, ни вспыльчив, и его обращение с нами отличалось большою ровностью и чисто женственною нежностью, так что мы не могли не привязаться к нему и не стараться отплатить ему нашим послушанием; кроме того он всегда был искренен в своих поступках и не допускал ни малейшей фальши даже в словах. Зимой, когда мы только на несколько часов прибегали на уроки в его квартиру, это воспитательное его влияние на нас было более поверхностное и легко

могло изглаживаться всей нашей остальной обстановкой грубоватого провинциального быта, но другое дело — летом, когда мы жили с ним под одной крышей и совсем поступали под его наблюдение, и тогда неизбежно подчинялись цельному обаянию его личности и проникались тою чистою и нравственно здоровою атмосферою, какая его постоянно окружала.

В полном расцвете весны, примерно около половины мая, Поджио увозил нас с собой в деревню Усть-Куда, где у него были свой домик и свое огородное и полевое хозяйство, и там мы оставались до половины сентября. Деревня эта лежит в 23—24 верстах от Иркутска, немного в стороне от Ангарского тракта, при впадении реки Куды в Ангару. В город для свиданья с родными мы приезжали не чаще одного или двух раз в месяц, большею частью вместе с Поджио, когда ему нужно было сделать покупки в городских лавках или повидаться с кем-нибудь по делам, и для нас эти поездки составляли большое наслаждение. Подавалась так называемая тележка или фаэтон на длинных дрогах, запряженный парой лошадей; обыкновенно кучера не брали вовсе, а Поджио правил сам лошадьми, надевши в рукава свою камлотовую шинель[37] и серую шляпу с широкими полями, из-под которой развевались его длинные черные волосы. На возвратном пути из Иркутска мы особенно любили подъем на Верхоленскую гору, на который требовалось около получаса времени; тогда мы вылезали из экипажа и рыскали по окраинам дороги, углубляясь понемногу в придорожный лес, то в погоне за бабочками и насекомыми, то в поисках за ягодами, грибами и цветами, и, бывало, успевали так избегаться, что, когда А. В., взобравшись на гору, позовет нас, мы, утомленные, бросались в экипаж и крупной рысцой ехали дальше. За станцией Урик, где до разрешения жить в городе жили Волконские, мы сворачивали с Ангарского тракта на узкий проселок, и на этом переезде к дому надо было переезжать вброд реку Куду, где нас ожидало новое удовольствие: в жаркие дни А. В. позволял нам выкупаться, а сам, сидя на берегу, курил из своего длинного чубука и только поторапливал, чтобы мы не чересчур долго злоупотребляли этим перерывом нашего путешествия. Наконец, вот и наша резиденция Усть-Куда, где протекли два памятных лета моего детства, о ко-

торых я всегда вспоминал с любовью, и где с того времени мне не пришлось побывать ни разу.

Деревенька была небольшая, вытянувшись в одну улицу из полусотни домов. Дом, занимаемый Поджио, был небольшой и отличался от прочих крестьянских только тем, что был обшит тесом и потому казался опрятнее; небольшое крылечко со двора вводило в обширные темные сени, откуда поднималась широкая лестница на чердак, служивший сенным сараем; из сеней вход был в большую комнату с окнами на деревенскую улицу, игравшую роль и салона и столовой; потом следовали две комнаты, выходившие в огород, из них одну занимал А. В., а другую я с братом. К дому примыкал обширный двор, на котором мы большею частью резвились во время отдыха от занятий; деревьев кругом не было, зато перед нашими окнами тянулся ряд парников и гряд, где Поджио с большими заботами выращивал всякую редкую в Сибири зелень и особенно ухаживал за дынями и канталупами[38], которыми очень гордился. Как итальянец по привычкам, он предпочитал мясу хорошие овощи и фрукты, и отсутствие последних в Иркутске составляло для него чувствительное лишение. Мне до сих пор памятен его рассказ, как радостно был он изумлен, когда по переселении в Усть-Куду из Забайкалья, пришедшая к нему на другой же день крестьянка предложила, не хочет ли он у нее купить «яблочков»? — «Как? да откуда же вы их привозите?» — «Зачем привозить, батюшка, сами выводим здесь».— «Почем же вы их продаете?» — «Да положите рублика два за мешок».— Для Поджио это был великий сюрприз, он не верил своим ушам: как? яблоки в Сибири, да еще продаются мешками? и он приказал бабе немедленно принести ему мешок, но разочарование наступило скоро, когда продавщица доставила ему мешок самого неказистого картофеля, и тут он впервые узнал, что за отсутствием яблоков в Сибири, их громким именем титулуется простой картофель. <...>

XI

Под мягким, хотя и неослабным наблюдением Поджио привольно и весело протекала наша деревенская жизнь. Уроки наши оставляли нам много сво-

бодного времени, которое наполнялось самыми разнообразными развлечениями, но главным притягательным для нас пунктом и источником всяких увеселений был Камчатник, летняя резиденция Волконских, отстоявший в 2-х — 3-х верстах от нашей деревни. Первоначально открыл это место О. В. Поджио и, прельстившись его величественной красотой и безлюдьем, выстроил для себя маленький домик, а впоследствии местность эта сманила и Волконских, и в годы, описываемые мною, они имели там уже давно обжитой двухэтажный дом, с разбросанными кругом него службами, но все это имело характер временного жилья и даже не было обнесено забором. Местность была действительно очень живописна; передний фас дома был обращен к Ангаре, протекавшей своими быстрыми, хрустально чистыми струями в 30 — 40 саженях от него и в этом месте дававшей весьма широкий плес, но сейчас же влево река разбивалась на два или три протока, огибавшие большие зеленые острова, поросшие молодым кустарником, березняком, боярышником и другими лиственными породами северной природы; сзади дома непосредственно тянулась цепь лесистых гор, и одна из них, самая высокая и ближайшая к дому, с вершины которой открывался превосходный вид на дремучую даль с прорезывавшею ее Ангарой, носила название в память декабриста доктора Вольфа — Вольфсберг. Вокруг дома столетние лиственницы и сосны образовали тенистый природный парк, а сибирское лето, так щедро вознаграждающее за свою кратковременность, развело богатый и роскошный цветник своей разнообразной, дикой флоры. Большое достоинство этой дачи заключалось еще в том, что близость холодной и быстрой реки значительно умеряла жар знойного лета и делала вечера даже прохладными.

А как весело жилось в этом прелестном, хотя глухом и так страшно удаленном от европейской жизни уголке! И не только это казалось мне тогда, в моей наивности и в детском незнакомстве с таинственным прошлым этих почтенных людей, которых судьба, насильственно нарушив весь нормальный строй их жизни, забросила на Камчатник, но впоследствии мне не раз приходилось слышать от самих декабристов, уже по возвращении их в Россию, с какой благодарной памятью и с каким наслаждением вспоминали они

о своем пребывании как в этой, так и в других сибирских дебрях. Конечно, все же это была жизнь подневольная, а известно, что даже золотая клетка, и тем менее сибирская, не в состоянии заменить свободы, но в этом-то и состояла замечательная характерная черта декабристов, коренившаяся в их солидном образовании и культурности, что они, казалось, легко примирялись со своей участью. Этою культурностью достиглось прежде всего то, что они, проведя несколько лет все вместе на каторге, сплотились между собой в тесный кружок, в большую братскую семью, среди которой находилось несколько человек с выдающимся умом и в которой члены, обладавшие наибольшею нравственною силою н большими материальными средствами, поддерживали своею энергией менее устойчивых, а небогатым давали возможность и средства расширять круг своих познаний. Притом они не замкнулись в своей кружковщине и при переходе на поселение тотчас же постарались найти себе практическую деятельность по душе и пристроиться к какому-нибудь делу на пользу края, где они были обречены искупать свою вину, а эта деятельная жизнь не позволяла им расплываться в бесплодных сокрушениях о загубленной судьбе и ожесточаться, и, привлекая к ним глубокие симпатии и уважение со стороны туземного населения, которых они не могли не замечать на каждом шагу, напротив, более или менее примиряла большинство из них с их сибирским настоящим.

На Камчатник мы отправлялись пешком или вместе с А. В. Поджио, или одни, иногда с утра, но большею частью пообедавши дома, и обыкновенно находили там шумную и веселую компанию. Кроме Волконской, муж которой часто отлучался по своему сельскому хозяйству в Урик, детей, товарища сына — Паши Зверева, гувернера, m-r Милльер, и гувернантки, там жил О. В. Поджио [39], и постоянно кто-нибудь гостил или из декабристов, или из городских знакомых. Несколько раз в лето приезжала семья Трубецких, зачастую привозя с собой двух барышень Раевских. Раевский [40] тоже был политический сосланный, проживший также десятки лет в Сибири, и хотя был сослан одновременно с ними, но не считался принадлежащим к их кругу и, кажется, на каторге с ними не был. О нем и его семье я мало могу ска-

зать; жил он в селе Олонках, в 60 верстах от Иркутска, и имел, кроме жены, двух дочерей и двух сыновей; дочерей он оставил при себе, а сыновей отправил для воспитания в Россию. Сам Владимир Федосеевич Раевский держал себя как-то особняком и, должно быть, редко выезжал из Олонок, потому что мне ни разу не пришлось его видеть ни у декабристов, ни в городе; репутацию он имел человека весьма умного, образованного и строгого, но озлобленного и ядовитого. Дочерям его в описываемое время — старшей Александре[41] было уже около 16-ти лет, и она держала себя с нами взрослой, серьезной барышней, а меньшей Елизавете[42] — лет двенадцать. Когда приезжали они и Трубецкие со своими тремя дочерьми[43], то из Камчатника тотчас же посылали за нами и устраивались танцы, petits jeux *, игра в горелки на лужайке перед домом и т. п., и обыкновенно праздник заканчивался фейерверком, до которого Мишель Волконский был большой охотник и любил устраивать его сам. Во всех этих увеселениях нередко принимали участие и сенаторские чиновники, приезжавшие также группами в 2, 3, 4 человека повеселиться в гостеприимном доме. <...>

XII

Кроме того, за это же время я пристрастился к чтению, и эта страсть, только возраставшая с годами, доставила мне в жизни самые чистые и высокие наслаждения, а потому я не могу не вспомнить с благодарностью, что этой страстью я в значительной степени был обязан времени, проведенному у А. В. Поджио. Впрочем я должен прибавить, что и отец мой, будучи весьма занятым своими торговыми делами, любил постоянно читать и следить за литературой, выписывал журналы, имел хорошую для того времени библиотеку и своим примером тоже поощрял во мне зарождавшуюся страсть. Отец сам по себе давал такую высокую цену хорошему образованию, что, вероятно, и без влияния декабристов не остановился бы перед трудностями дать нам его, а трудности эти были весьма существенны и, помимо удаленности Иркутска от образовательных центров,

* Развлечения (*фр.*).

заключались и в том, что отец пользовался только весьма умеренным достатком, а никогда не считался богачом. Несомненно однако, что знакомство и общение с декабристами еще более укрепило его в намерении относительно нашего воспитания и очень облегчило ему выполнение этой задачи. Он не замедлил ее выполнить и, отправляясь ежегодно по делам на нижегородскую ярмарку, в Москву и Петербург, он в 1840 году увез с собою старшего моего брата и поместил его в пансион Эннеса, один из лучших иностранных пансионов, бывших тогда в Москве; мне же было объявлено, как второму сыну, что на следующий год очередь будет за мной. <...>

Промелькнула и последняя зима моего привольного и беззаботного детства дома. Я все продолжал заниматься у А. В. Поджио, к которому на смену выбывшего старшего брата поступил теперь мой третий брат. Наступила весна. Недели за две до отправления в Москву меня уволили от всех занятий и в течение этого времени баловали до отвалу, исполняя все мои желания и прихоти, вроде того, как баловали в те годы сыновей, сдаваемых в рекруты. Мать старалась не отпускать меня от себя, в голосе отца слышались в обращении со мной необычайно ласковые ноты, братья великодушно уступали мне во всем и дарили мне свои любимые вещи, разные бабушки и тетушки, а у нас их было немало, носили меня на руках. Словом, я чувствовал себя калифом на час, и мое упоение этим именинным настроением смущалось только частыми слезами бедной матери и набегавшим на меня смутным представлением о предстоящей мне перемене в жизни. Тяжесть разлуки со мной усиливалась для родителей еще тем обстоятельством, что в этом, 1847 году, отец никак не мог ехать сам в Москву, а потому приходилось меня даже на дорогу сдать на попечение посторонним людям, и в спутники или, как говорится в Сибири, в попутчики мои до Москвы найдены были интендантский чиновник Галенковский, ехавший в отпуск, и иркутский мещанин Стрекаловский, молодой человек, отправлявшийся в Москву для изучения стеклянного и фаянсового производства, и которому отец специально поручил меня во время путешествия. Накануне назначенного к отъезду дня мать позвала меня к себе и уложила мой чемодан при мне, чтобы я знал, где и что из

моего белья и платья лежит, и не перерывал по-пустому весь чемодан, и в заключение дала мне особенную книжечку, в которой записан был весь мой гардероб, с наказом беречь все и не растеривать, так как ходить за мной больше уж будет некому. Потом я перешел в кабинет к отцу, и он мне прочитал составленное им для меня и написанное на большом листе бумаги наставление, как я должен вести себя в дороге и по приезде в Москву, наполненное не банальными сентенциями, а с тем ясным здравым смыслом, который его отличал, и с тою попечительною любовью, которая старалась предусмотреть до мелочей все затруднения и дотоле неведомые мне положения, какие могли встретиться на чужбине при дебютах в самостоятельной жизни; эту инструкцию он отдал мне, приказал почаще в нее заглядывать и советоваться с нею во всех затруднительных случаях.

Утро отъезда прошло в больших суетах; в последний раз я пообедал в своей семье и тотчас же после обеда все родные и близкие разместились в разных экипажах и поехали провожать меня до Вознесенского монастыря, лежащего в 4-х верстах от города по московскому тракту и служащего обычным местом последнего расставанья с едущими в Россию; впереди, на долгуше, ехал я с родителями и братьями. В монастыре был отслужен, по всегдашнему обыкновению, напутственный молебен у мощей иркутского святителя Иннокентия, потом все перешли в монастырскую гостиницу, напились чаю, и затем наступил последний момент прощания. Отец чуть не насильно вырвал меня из объятий матери и подсадил в тарантас, по бокам моим поместились товарищи моего путешествия; все обнажили головы, перекрестились, и при словах: «Ну трогай, ямщик; с Богом!» застоявшаяся тройка весело двинулась, унося меня в неведомую даль. В последний раз мелькнуло у меня в глазах побледневшее, заплаканное лицо матери и неестественно веселое лицо отца с судорожно подергивавшимися губами, и я залился горькими слезами, уткнувшись лицом в свою дорожную подушку; мои спутники не пытались даже меня утешать и оставили свободно выплакаться. Этими слезами я оплакивал первый период моего детства, веселый, счастливый; впереди меня ждало что-то новое, особенное и, главное, совсем чужое.

Здесь я обрываю последовательный рассказ о моей личной жизни и далее коснусь ее лишь настолько, насколько в нее входят позднейшие мои воспоминания о декабристах. Чувствую опять-таки, что эти воспоминания и мелки и скудны, и если тем не менее пишу их, то в надежде, что и они могут со временем пригодиться как достоверный материал.

XIII

В Москве я тотчас же поступил в пансион Эннеса, где уже находился мой старший брат, и так как подготовлен я был хорошо, то и был принят в 3-й класс, а продолжая учиться старательно, через три года, т. е. в 1850 году, когда мне не исполнилось еще 16 лет, был в состоянии выдержать вступительный экзамен в Московский университет на медицинский факультет. В университете мои занятия шли так же успешно, и я надеялся в 1855 году окончить курс и вернуться на родину, но Крымская война совсем перепутала мои планы, когда правительство предложило нам, еще студентам 4-го курса, поступить военными врачами до окончания полного медицинского образования. Во мне началась сильная борьба: с одной стороны, всеми помыслами меня тянуло неудержимо домой в Иркутск, страстно хотелось повидать отца и мать, которых я не видал 7 лет, хотелось отогреться в тепле родной семьи после многолетнего пребывания среди чужих; а с другой, мое 19-летнее сердце не могло оставаться равнодушным к героическим усилиям русской армии, и я рвался туда — на эти севастопольские укрепления, где лилась родная кровь и валялись тысячи раненых, которым, в качестве врача, я мог принести посильную пользу. Узел этих колебаний я разрубил тем, что решил воспользоваться летней вакацией 1854 года и, сдавши переходные экзамены с 4-го курса на 5-й, прокатиться в Иркутск, повидаться с родителями и проститься с ними, быть может, снова на долгий срок, так как тогда я бы мог с более покойной совестью и с удовлетворенными чувствами отправиться по окончании курса врачом в действующую армию.

Тут же, весьма кстати для меня, подошло, что вакации в университете в этот год были продолжительнее обыкновенных, вследствие того, что, по случаю

войны, вышло распоряжение, ввиду недостатка военных врачей, ускорить выпуск казеннокоштных студентов 4-го курса, а также и всех своекоштных, добровольно пожелавших обойтись без 5-го курса; таких добровольцев нашлось немало и только 50 человек, в числе которых был и я, хотели во что бы то ни стало отслушать 5-й курс; тем не менее и нас пристегнули к товарищам и заставили сдать переходные экзамены к началу мая; таким образом, мои вакации должны были продлиться около четырех месяцев. Однако мое намерение воспользоваться этим длинным отдыхом, чтобы съездить в Иркутск, т. е. отмахать 10 000 верст, считая туда и обратно, и притом в раннее весеннее время, когда не установилась летняя дорога и не сбыли весенние разливы рек, имеющие место обыкновенно в мае, не могло не казаться очень опрометчивым и безрассудным, а потому, когда я сообщил мое намерение приятелю моего отца, купцу П. И. Куманину, у которого я проживал все время моего пребывания в Москве, то этот весьма умный и почтенный человек, очень любивший меня, уставился на меня своими глазами, выражавшими недоумение, в здравом ли я уме и не чересчур ли перезубрил во время экзаменов. Но я так горячо и в то же время убедительно развил мои мотивы, что старик тут же обнял меня, сказавши: «Ну, что же? в добрый час, валяй, друг любезный, а если твой отец осерчает на тебя за твою поездку и найдет ее сумасшедшей, то ему ты так-таки и скажи, что, значит, и я на старости лет сошел с ума, потому что я план твой одобрил и благословил тебя на дорогу». Я успел подыскать себе и двух попутчиков, ехавших до Тюмени и, сдав 3-го мая последний экзамен, на следующий же день выехал из Москвы в родные края. <...>

XIV

Я долго бы не кончил, если бы дал волю своим лирическим воспоминаниям и принялся бы подробно описывать, как я проблаженствовал и расцвел душевно, проживя этот месяц, после 7-летней разлуки, в кругу дорогих своих родных, и притом в самый лучший период роскошного сибирского лета на берегу грандиозного Байкала. Для моих родных, а особенно для меня, этот месяц промелькнул так быстро,

что мы и не заметили, как подошло время моих обратных сборов в Москву. Дней за десять до предположенного отъезда отец, мать и я перебрались с приисков в Иркутск. Это короткое мое пребывание в городе посвящено было мной между прочим и посещению тех лиц, которые знали меня ребенком и к которым я являлся теперь студентом-юношей; в числе этих лиц декабристы занимали первое место.

За мое отсутствие кружок их несколько поредел, вследствие смерти А. З. Муравьева, О. В. Поджио и П. А. Муханова (12 февраля 1854 года), а в положении живых произошла заметная перемена. Они еще более упрочились в городе и пользовались еще более теплыми симпатиями от всех, что было естественным последствием продолжительного влияния их на общество своим образованием и личными достоинствами. Много также их улучшенному положению содействовало и то, что тогдашний восточносибирский генерал-губернатор Н. Н. Муравьев [44] (впоследствии граф Амурский), человек далеко недюжинный по уму и по административным взглядам, тотчас же оценил этих редких людей, стал искать их дружбы, и вскоре они сделались частыми и почетными гостями в его доме; притом жена Муравьева была француженка, уроженка По, не говорившая по-русски, и для нее декабристы и их жены представляли в глухой Сибири как бы счастливый оазис, где она могла найти и язык, и нравы, и вкусы, напоминавшие ей далекую родину. Волконские и Трубецкие имели теперь в городе собственные дома и жили еще более свободно и открыто, так как Муравьев не стеснялся, как предшественник, бывать у них часто, а за начальством смело тянулось и все общество. Между тем и дети декабристов уже выросли и были пристроены: Мишель кончил курс в иркутской гимназии, и Муравьев тотчас же принял его к себе в чиновники особых поручений, а Нелли, лишь только ей исполнилось 16 лет, вышла замуж за одного из наиболее приближенных к Муравьеву чиновников — Молчанова, которого вскоре разбил паралич, затем он лишился рассудка и умер в Москве, оставивши молоденькую вдову с малолетним сыном. У Трубецких две старшие дочери были тоже замужем: старшая — за кяхтинским градоначальником Ребиндером, вторая — за сыном декабриста же Давыдова, а меньшая, помнит-

ся, тогда была уже помолвлена за генерал-губернаторского чиновника Свербеева.

В судьбе А. В. Поджио также произошла капитальная перемена: в 1851 или 1852 году он женился на классной даме иркутского девичьего института Ларисе Андреевне Смирновой[45], девушке лет 26-ти, урожденной москвичке и без всякого состояния, но чрезвычайно доброй, и эта доброта и большой здравый смысл сглаживали разницу, которая была заметна в образовании, вкусах и самых натурах обоих супругов, и сделала брак этот счастливым. В этот мой приезд в Иркутск я его нашел уже отцом грудной дочки — Вари[46], на которой и сосредоточил А. В. всю страсть своей любящей натуры. Средства, получаемые им из России, были невелики, чтобы содержать семью, а потому А. В. должен был отыскивать новые источники доходов для удовлетворения самых скромных потребностей своей жизни. Он между прочим арендовал у иркутского приказа общественного призрения принадлежавшее ему угодье, известное под названием «Рупертовской заимки». Это был небольшой участок земли верстах в 2-х от города, с пашней, покосом и огородом, а главное, с небольшим жилым домом, в одной половине которого жил сам Поджио с семьей, а другую сдавал на лето в виде дачного жилья кому-нибудь из иркутских знакомых. Но аренда эта давала только небольшое подспорье для жизни и едва ли вся выгода ее не заключалась в том, что ею окупалась квартира; уроков тоже было мало — и А. В. поддался всеобщему туземному увлечению — попробовать свое счастье в золотопромышленности; для этого он решил даже затратить свой небольшой капиталец, хранившийся на руках у старшего племянника, сына О. В., в России. Мое короткое пребывание в Иркутске совпало как раз с тем временем, когда он был увлечен речкой Элихтой, верстах в трехстах от Иркутска, и самолично производил на ней изыскания, так что я его едва успел повидать, когда он приезжал ненадолго для свидания с семьей, и тотчас же вернулся опять к своей разведочной партии. Нечего и говорить о том, что он встретил меня горячо и нежно, как родной, повел тотчас же знакомить с своей молодой женой, еще кормившей тогда маленькую Варю, и с самым искренним участием расспрашивал о моих занятиях

и дальнейших планах. С годами его итальянская пылкость нисколько не улеглась, а нашла теперь новую пищу в своей маленькой семье, за которой он ухаживал с самой трогательной заботливостью; эта-то заботливость и заставила его удариться в золотопромышленность для того, чтобы обеспечить будущность жены и дочери, потому что сам он по личным свойствам был человеком без всяких любостяжательных наклонностей и привык довольствоваться только самым необходимым. Но привыкши ко всякому делу относиться горячо, он и теперь засыпал меня подробностями о золотоносных прелестях своей Элихты и прежде всего столь чуждыми его языку рассказами о «породах», «шурфах», «шлифах» и тому подобными выражениями, смысл которых для меня был бы совсем непонятен, если бы я не прожил перед этим месяц у отца на прииске и не успел войти в курс этих работ и усвоить весь этот своеобразный приисковый жаргон. На прощанье, обнимая меня, он сказал со своим всегдашним добродушным юмором: «Эх, братец, ну что вы там возитесь со своей ученой медициной, мертвых все-таки не воскресите; кончайте там с ней поскорее, да спешите сюда, здесь мы с вашим отцом покажем вам, как загребают золото лопатами».

Не менее радушная встреча ожидала меня и у П. И. Борисова, продолжавшего жить все в той же Малой Разводной, но только в другом домике, нарочно построенном для братьев Борисовых А. З. Муравьевым среди большого пустынного двора. Но если у Поджио все кипело новой жизнью, и сам он преобразился, даже помолодел и чувствовал себя блаженнейшим человеком в заботах о семье, то здесь, наоборот, во всех мелочах чувствовалось, как отчужденность от мира и людей, и старая холостая затхлость все более и более суживала рамки существования и затирала в них жизнь этого удивительно кроткого и чрезвычайно любящего человека. Из записок М. А. Бестужева (Русская Старина, 1881, ноябрь) я узнал только, что и у П. И. Борисова некогда был свой роман, и он надеялся обзавестись собственной семьей, заручившись согласием на брак молоденькой и хорошенькой вдовушки Ильинской, муж которой был все время до своей смерти казематным врачом при декабристах и в Чите, и в Петровском заводе, но

родные невесты напугали ее до того совместным сожительством с сумасшедшим братом, что она потом взяла свое обещание назад. Теперь он окончательно погреб себя заживо в малоразводинском домике, из окон которого только и был виден мертвый двор, поросший крапивой, лебедой и лопухом, и где он доживал свои дни вместе со своим помешанным братом Андреем и старым котом «Грушиным», к которому был привязан, как к давнему члену семьи; другой компании у него почти не было, потому что все его товарищи, жившие в Разводной, померли, а декабристы, переселившиеся в Иркутск, были заняты каждый своим делом и могли только изредка навещать его. Петр Иванович[47] старался наполнить свой день чтением и живописью и, казалось, совсем помирился с таким могильным одиночеством, только взгляд его больших, глубоких и задумчивых глаз и все грустное выражение маленького, изрезанного преждевременными морщинами лица показывали и без слов, что не легко ему живется на свете. О себе он, по обыкновению, ничего не говорил, а все время расспрашивал меня до мельчайших подробностей о моем московском житье, о занятиях, об университете,— и вот теперь, когда я пишу эти строки, как упрекаю я себя за юношеский эгоизм, позволивший мне увлечься этими расспросами и сделавший то, что все это мое последнее свидание с Борисовым я только и говорил, что о себе, и не попробовал своим участием дать ему высказаться искренно о его собственном внутреннем мире и тем хоть сколько-нибудь согреть его убийственное одиночество; но ведь мне тогда было только 19 лет, и едва ли он стал бы разоблачаться откровенно перед таким незрелым юношей. К счастью, судьба вскоре, несколько месяцев спустя после моего посещения, положила быстрый и трагический конец тяжелому существованию обоих братьев; в воспоминаниях декабриста Беляева[48] (Русская Старина, 1881 г., апрель) рассказывается, что больной брат[49] поджег свой дом в Разводной[50], и оба брата сгорели; до меня же дошел рассказ об их смерти в таком виде: женщина, приходившая каждый день прибирать комнаты и готовить обед братьям, однажды не могла достучаться у дверей и слышала только жалобное мяуканье голодного кота и, предвидя что-то недоброе, дала знать сельским властям;

староста распорядился выломать дверь, и тогда нашли Петра Ивановича мертвым, в кровати, и в той же комнате, подле этой кровати, висел в петле, тоже уже безжизненный, его несчастный брат. Петр Иванович умер ночью от разрыва аневризмы, и невозможно было определить, пришел ли старший брат ночью, услыхав стоны умиравшего, или же только утром, чтобы узнать, почему П. И. не встает, и, увидав его мертвым, понял, что он без брата и его ухода совсем погибший человек, и решил тут же покончить с собой. Да и действительно, как мог бы далее существовать этот одичалый и полупомешанный человек, как чумы избегавший людей, потеряв единственное живое существо, связывавшее его с миром и так самоотверженно нянчившееся с ним в течение почти всех 30-ти лет.

При краткости времени, оставшегося у меня до отъезда, я точно так же только по разу мог заехать к Трубецкому и Волконским. В доме Трубецких я нашел всех в каком-то угнетенном настроении: княгиня давно похварывала, давно уже не выезжала и приняла меня, лежа на кушетке; князь заметно был озабочен ее положением и казался еще угрюмее и сосредоточеннее, чем всегда. Все это побудило меня сократить мой визит елико возможно; кроме хозяев и меня, в гостиной находилось еще лицо, которое я видел в первый раз: это был худенький старичок, сидевший в кресле у окна, с вытянутой и закутанной пледом ногой и по временам судорожно вздрагивавший от боли; оказалось, то был декабрист И. Д. Якушкин [51], приехавший тогда из Западной Сибири, чтобы повидаться со своими товарищами по каторге. На меня он сделал впечатление желчного и брюзжащего старичка только от того, что как раз в этот день он страдал припадком подагры и вмешивался в общий разговор с явным раздражением; лишь впоследствии я узнал от его товарищей, какой в сущности это был добрый и превосходный человек. Между прочим, у меня осталось в памяти, что разговор зашел о тогдашних университетских порядках, и я жаловался на непомерные строгости, с какими преследовало начальство нас, студентов, за всякое нарушение формы. Якушкин заметил, что все это та же столь памятная в их молодости аракчеевщина, и по поводу ее вспомнил и тут же рассказал случай

с их товарищем-декабристом Луниным, отличавшимся, как известно, всегда необузданностью своих протестов против таких распоряжений. Лунин был гвардейским офицером и стоял летом с своим полком около Петергофа; лето было жаркое, и офицеры и солдаты в свободное время с великим наслаждением освежались купаньем в заливе; начальствовавший генерал-немец неожиданно приказом запретил, под строгим наказанием, купаться впредь на том основании, что купанья эти происходят вблизи проезжей дороги и тем оскорбляют приличие; тогда Лунин, зная, когда генерал будет проезжать по дороге, за несколько минут перед этим залез в воду в полной форме, в кивере, мундире и ботфортах, так что генерал еще издали мог увидать странное зрелище барахтающегося в воде офицера, а когда поравнялся, Лунин быстро вскочил на ноги, тут же в воде вытянулся и почтительно отдал ему честь. Озадаченный генерал подозвал офицера к себе, узнал в нем Лунина, любимца великих князей и одного из блестящих гвардейцев, и с удивлением спросил: «Что вы это тут делаете?» — «Купаюсь,— ответил Лунин,— а чтобы не нарушить предписание вашего превосходительства, стараюсь делать это в самой приличной форме». Конца рассказа не помню, даже, может быть, Якушкин его и не досказал, но и в приведенном виде анекдот этот достаточно характеристичен для Лунина, которого беспокойный дух не могла угомонить и ссылка в Сибирь; за свои протесты он был отделен от товарищей и отправлен с жандармами в Акатуевский завод, где через непродолжительное время и умер в совершенном одиночестве. По возвращении моем через год в Иркутск я уже не застал княгини Трубецкой в живых, она умерла после продолжительных страданий от внутреннего рака, оставив самую теплую память по себе не только в семье, но и среди всех, имевших случай знать эту умную и необыкновенно кроткую женщину.

Волконские жили в новом выстроенном ими доме у Успенской церкви, красивом снаружи, хотя и деревянном, и богато убранном внутри. Старика Волконского я не застал в городе; он, как ревностный агроном, по случаю наступившего страдного времени уехал наблюдать за работами в д. Урик; сына Мишеля тоже не было, он по званию генерал-губернаторско-

го чиновника особых поручений находился где-то в командировке; так что я нашел дома только княгиню, конечно, немного постаревшую, и дочь, обратившуюся из 12-летней девочки в изящную, стройную и красивую женщину. Как раз в это время у них гостила вдова министра двора императора Николая, светлейшего князя Петра Михайловича Волконского[52], приходившаяся родной сестрой декабристу Серг. Григ. Волконскому; она очень любила брата, и когда со смертью мужа с нее спали оковы и стеснения придворной жизни, то ничто ее не могло удержать от поездки в Иркутск на свидание с братом после 30-летней разлуки — ни неудовольствие императора, ни трудности пути, и она пустилась в далекое путешествие. Она пожелала меня видеть и вышла также в гостиную; это была очень оригинальная старушка, весьма живая и подвижная и, несмотря на свои чуть ли не 70 лет, она, добравшись до Иркутска, и здесь не оставалась спокойно на месте, а разъезжала беспрестанно, успела побывать и за Байкалом и с замечательной любознательностью интересовалась всеми особенностями края. В обществе рассказывали, что княгиня Волконская уговорила мужа, по случаю предстоявшего приезда сестры, занять одну из лучших комнат нижнего этажа и отделать ее поприличнее; он добродушно подчинился этому желанию, но не замедлил в этот богато убранный кабинет натаскать кос, подков и тому подобных принадлежностей сельского своего хозяйства и придать ему, к большому огорчению домашних, характер, никак не соответствующий роскоши помещения.

XV

В конце июля я расстался с родными и Иркутском, предполагая, что покидаю их снова на много лет, но судьба устроила иначе. Последний мой год в университете прошел в усиленных занятиях чрезвычайно быстро, ознаменовавшись двумя событиями — торжественно отпразднованной годовщиной столетия Московского университета в январе и смертью императора Николая в феврале. Чтобы не отвлекаться от прямой моей задачи — о декабристах, я воздержусь от личных моих воспоминаний об этих двух событиях и о том, как они отозвались на наших сту-

денческих кружках и в тогдашнем обществе, в котором я вращался. По случаю продолжавшейся войны нашему выпускному курсу предписано было сдать экзамены в марте, и я в четверг на Страстной неделе кончил мое последнее испытание из оперативной хирургии у профессора Иноземцева и вскоре имел в руках диплом на звание лекаря с отличием.

Желание ехать на войну и помогать раненым во мне нисколько не поколебалось, но под влиянием геройских страданий Севастополя сосредоточилось целиком на мысли попасть непременно в этот город, где кипела горячая и самоотверженная работа врачей. Пирогов [53] уже действовал там несколько месяцев с отрядом, снаряженным великой княгиней Еленой Павловной из десяти врачей, привезенных им с собой из Петербурга, а как раз в начале мая было объявлено в Правлении университета, что он вербует новый отряд врачей, который вскоре предполагается великою княгинею послать туда же, и желающим вступить в эту вторую экспедицию предлагалось немедленно записаться. Я с радостью ухватился за этот, так кстати подоспевший вызов, потому что, кроме завидного преимущества поработать под руководством великого Пирогова, он не связывал меня необходимостью поступать в военное ведомство и тем давал возможность по окончании войны тотчас же возвратиться в Иркутск в свою семью, где теплая и нежная заботливость отца и матери и вся жизнь в родном кругу приобрели для меня новую прелесть с тех пор, как я побывал там временным гостем. Я и еще двое из моих товарищей немедленно заявили наше желание ректору Альфонскому. Он послал нас к попечителю; генерал Назимов принял нас очень любезно, расхвалил за намерение и, записав наши фамилии и адреса, сказал, что на днях сообщит о нас в Петербург и чтобы мы были наготове к выезду, ибо нас могут потребовать внезапно. Но на этом дело и стало; наступило лето, прошли май и июнь, а нас все не вызывали; мы тяготились и своим бездельем и тем, что проживали наши скудные ресурсы (я еще в этом отношении находился в сравнительно лучших условиях), все наши однокурсники мало-помалу пристроились к работе и разъехались из душной Москвы, а мы все не предвидели конца нашим ожиданиям. Наконец, нужда заставила обоих моих товарищей от-

казаться от севастопольского плана и искать средств к существованию в провинции; я остался один и стал скучать еще больше; в начале июля я в последний раз сходил за справкой к попечителю и, узнав от него, что нет ни слуху ни духу о втором Пироговском отряде, отказался также ждать долее и уехал в Иркутск, к большой радости моих родителей.

В кругу декабристов не произошло ничего нового, кроме убыли вышеозначенных членов, братьев Борисовых и княгини Трубецкой, но уже сама по себе смерть императора Николая I значительно изменила их положение к лучшему и заставляла надеяться на близкую перемену в их участи. Дом Волконских не только оставался главным центром общественной жизни, но заметно приобрел еще большее влияние; все высшие чины усердно посещали его, с одной стороны поощряемые дружбой с Волконским главного начальника края, Муравьева, а с другой, зная, что Волконские, при своих больших связях в Петербурге, могут помочь и дальнейшей карьере, и открыть доступ в столичные гостиные. Дом Трубецких, напротив, со смертью княгини, стоял как мертвый; старик Трубецкой продолжал горевать о своей потере и почти нигде не показывался; дочери его все вышли замуж, сын же находился пока в возрасте подростка. Мой старый учитель, А. В. Поджио, весь поглощен был своей маленькой дочкой Варей, которую любил до безумия и с которой готов был бы нянчиться с утра до вечера, если бы не хлопоты и наблюдение за золотым прииском на р. Элихте, требовавшие его частых отлучек из города. А золото все не давалось ему, как клад и, как это большею частью случается, неделями промывалось в достаточном количестве, а неделями россыпь скрывалась куда-то под землю, и промывка шла самая скудная, далеко не окупавшая затрат, так что Поджио постоянно переходил от надежды на обогащение к отчаянию, что прииск разорит его окончательно и лишит его и семью последних средств к существованию. Во время своих приездов в город он очень часто забегал к нам, чтобы поделиться с отцом своими сомнениями или посоветоваться о той или другой мере в своем золотопромышленном хозяйстве. Живой, необыкновенно отзывчивый на все и искренно сердечный, он был всегда желанным гостем в нашем доме, где все от мала до велика его любили как родного,—

и даже бабушка, жившая у нас, ветхая и совсем сгорбленная старушка лет 85, с большим трудом выползала из своей комнаты, чтобы повидать А. В-ча и пожаловаться ему на свои старческие недуги. «Хоть поскучусь Ал. В-чу, все как будто легче станет»,— говорила она. С генерал-губернатором, гр. Муравьевым, Поджио сдружился очень коротко, хотя, несмотря на все настояния Муравьева, никогда не показывался на его официальных приемах и балах; но в тесном кружке своих семейств они бывали друг у друга беспрестанно, а летом, когда Муравьев уезжал из Иркутска обыкновенно на Амур, жена его переезжала как бы на дачу в небольшой домик Поджио и ютилась там в одной комнатке.

В этот период я редко бывал у декабристов, потому что, с одной стороны, чуждался посещать такие дома, в которых собиралось зачастую высшее провинциальное общество, а с другой стороны, и потому, что мне было некогда, ибо, по приезде в Иркутск, мне немедленно поручено было исправлять одновременно три должности: иркутского городового, окружного и ветеринарного врачей, и у меня при беспрестанных командировках в громадный по размерам округ (тогда Верхоленский и Балаганский округа составляли еще нераздельные части Иркутского) едва хватало времени, чтобы управиться с работой.

А время было крайне живое, и иркутское общество, несмотря на громадное пространство, отделявшее его от России, с лихорадочным интересом следило за крупными событиями, совершавшимися там: за падением Севастополя, окончанием войны и заключением Парижского мира [54]. Много было обиды для национального самолюбия во всех этих фактах, но это тяжелое чувство значительно умерялось явными признаками поворота к лучшему в русской жизни,— признаками, с которыми знакомила нас каждая почта, приходившая из России. Наступил и день коронации Александра II в Москве, т. е. 26-е августа 1856 года, а вместе с ним и объявление милостивого манифеста, всегда столь жадно ожидаемого в Сибири несколькими тысячами лиц, попавшими в нее не по своей доброй воле. Дождались наконец и декабристы конца своей 30-летней ссылки. Они угадывали заранее, что после смерти императора Николая им позволено будет вернуться в Россию, а благодушный характер нового

императора и высказываемые им суждения об участи декабристов вскоре сделали то, что догадки эти перешли в уверенность, в подтверждение чего могу привести следующее доказательство. Перед моим отъездом из Москвы в июле 1855 г. меня пригласила к себе Е. С. Молчанова, дочь Волконских; она около этого времени привезла из Иркутска своего разбитого параличом мужа и поселилась в Москве для его лечения. Узнав о том, что я собираюсь ехать в Иркутск, она предложила мне совершить этот переезд в отличном дормезе, устроенном со всеми удобствами и предназначавшемся для возвращения ее матери в Россию после амнистии.

XVI

Вестником радостной для декабристов вести об их освобождении из 30-летней ссылки был сын Волконских, Мишель, находившийся в день коронации в Москве, и его-то генерал Муравьев, с свойственной ему сердечной чуткостью, выбрал курьером для доставления в Иркутск милостивого манифеста и дабы он первый мог сообщить своим родителям и их товарищам конец их сибирских испытаний и позднюю зарю их новой жизни. Вечером того самого дня, как обнародован был манифест, молодой Волконский пустился в путь, стремглав промчался по осенней распутице в 17 дней огромное пространство, отделяющее Москву от Иркутска, и привез старикам столь давно жданную весть об их освобождении. Но в Иркутске и в Восточной Сибири только весьма немногим счастливцам довелось дожить до конца ссылки; кости большинства из них давно уже покоились на скромных погостах сибирских сел и деревень. Старики Волконские и Трубецкой с сыном тотчас же воспользовались правом возвращения и, едва дождавшись зимнего пути, покинули Иркутск. Поджио же не хотел расставаться первое время с Сибирью; он все надеялся, что его приисковое дело оправдает себя и даст ему возможность обеспечить семью, но чем дальше, тем надежды эти все более слабели, и кончилось тем, что прииск не только не обогатил его, а, напротив, поглотил и тот скромный капиталец, которым он владел; словом, повторилась история, столь зачастую случающаяся в Сибири. Будущность не могла не представляться старику в мрачных красках; ему уже перешло за 60 лет, и он

ясно понимал, что в Иркутске уроками нельзя добыть порядочного куска хлеба, а тем менее обеспечить жену и ребенка на случай своей смерти. В это время он получил от старшего своего племянника А. О. Поджио, сына декабриста Осипа Викторовича, предложение переехать к нему в петербургское имение, где ему представлялись и спокойное доживание своего века и материальное довольство для семьи. Племянник писал, что это не есть благодеяние с его стороны, а прямой долг, так как он считает, что еще не совсем расквитался в той доле имущества, которая ему досталась вследствие ссылки дяди в Сибирь,— и Александр Викторович, не видя перед собой другого выхода, решил принять это предложение.

В 1859 году 3-го мая он пустился в обратный путь из того мрачного края, где ему суждено было прожить около половины своей жизни; ехал он в него в цвете молодости и здоровья, но с загубленною будущностью, с разбитыми надеждами, без малейшего просвета на лучшее, а возвращался обратно седым стариком, но с тем же вечно юным, любящим сердцем, заставлявшим его глубоко горевать от разлуки с Сибирью, к которой он искренно привязался и где нажил много дорогих друзей и даже собственную семью, но, с другой стороны, он не мог не радоваться, что вывозил эту семью на вольный свет и на простор европейской цивилизации.

Из декабристов, не воспользовавшихся амнистией и оставшихся доживать свой век в Сибири, было, кажется, только двое: Горбачевский [55] и Бечаснов, если не считать Д. И. Завалишина [56], который за свои статьи, печатавшиеся в «Морском сборнике» и обличавшие в разных административных промахах генерал-губернатора Восточной Сибири, был, по ходатайству графа Муравьева-Амурского, выслан из Сибири, против его желания, и поселился в Москве, где и умер в конце 80-х годов. Горбачевского я никогда не видел; он жил безвыездно в Петровском заводе, за Байкалом, и умер там в 60-х годах, оставив по себе прекрасную память как среди товарищей, так и среди населения завода. Но Владимира Александровича Бечасного я видал часто, и он теперь, как живой, стоит передо мной. Это был маленький, добродушный и необыкновенно юркий толстяк; особенно крупным умом он не отличался и не выдавался своим образо-

ванием над общим уровнем провинциального общества, как его товарищи, но тем не менее это был чрезвычайно добрый и честный человек. С отцом моим у него было общее промышленное предприятие, а именно, отец дал деньги, а Бечаснов устроил в 12-ти верстах от Иркутска, в деревне Смоленщине, небольшую маслобойню, на которой приготовлялось конопляное масло. Предприятие было грошовое, а потому отец мало им интересовался, но Бечаснов, по понятной причине, что других материальных ресурсов у него для жизни не было, был весь поглощен им и, будучи по натуре крайне суетливого характера, постоянно, когда приезжал в город, забегал к нам, всегда запыхавшийся, всегда озабоченный, и допекал отца разными мелочами. Он вечно куда-то торопился и не ходил, а бегал по улицам, быстро семеня своими короткими ножками; в разговорах никогда не усиживал на одном месте, беспрестанно вскакивал, пересаживался, страшно жестикулировал руками, то и дело нюхая табак и размахивая клетчатым фуляром. Отцу пришлось однажды сделать с Бечасновым небольшую поездку по губернии, и он по возвращении говорил: «Я всегда считал, что маленькие люди гораздо более непокладисты в жизни, чем большие, но Бечаснов в дороге — это что-то ужасное: тарантас у нас был отличный, вещи уложены в нем превосходно, и мне можно было лежать в нем, вытянувшись во весь рост (отец мой был роста колоссального), а Вл. Ал. всю дорогу вертелся, толкал меня, извиняясь и жалуясь, что ему тесно, коротко, не хватает места». При этом Бечаснов был очень рассеян; прибежав на минутку, он всегда засиживался целые часы, потом, спохватившись вдруг, столь же быстро убегал, захватив чужую шапку или калоши и даже шубу, все перепутывал, забывал, хотя тут же в разговоре записывал для памяти, вытаскивая из кармана огромную кипу бумаг и на первую попавшуюся набрасывая беспорядочно карандашом все то, что находил нужным. С такой суетливостью и рассеянностью он попадал постоянно впросак, давая тем пищу к разным шуткам над собой,— и нет возможности передать массу анекдотов, ходивших по поводу разных комических положений, какие с ним случались в действительности. Декабристы рассказывали, как по окончании каторги в Петровском заводе и перед своей разлукой друг

с другом в предстоявшем им расселении по сибирским захолустьям, они согласились устроить прощальный обед в честь коменданта завода, генерала Лепарского [57], который заслужил между ними общее уважение за свое гуманное и полное такта отношение к их горькой судьбе. В распорядители обеда выбран был, как первостатейный гастроном, Арт. Зах. Муравьев, а в помощники ему был предложен Бечаснов, как очень расторопный человек, хотя тут же многие восставали против такого выбора, говоря, что он непременно что-нибудь перепутает или сломает. Однако выбор состоялся,— и обед шел на славу. Бечаснов хлопотал в поте лица и, поощряемый одобрениями товарищей, летал вокруг стола, ни на минуту не присаживаясь на место. Подали жаркое; Бечаснов торжественно вносит банку с какими-то редкостно замаринованными грибками, ставит на стол со словами: «Вот особенно рекомендую это чудо искусства»,— и затем с обычной стремительностью бежит из столовой снова за чем-то, и тут совершенно неожиданно и к общему удивлению банка летит со стола вслед за Бечасновым, лопается, и все эти микроскопические грибки и рыжики очутились на полу; вскоре все объяснилось тем, что когда Бечаснов развязывал бумагу, закрывавшую банку, то нечаянно намотал шнурок, придерживавший бумагу, вокруг пуговицы своего сюртука,— и этот-то шнурок сыграл плохую шутку, свалив чудо искусства на пол.

А вот другой пример в совершенно таком же роде: однажды Бечаснов, посидев у нас, собрался уходить и, уже надев шубу в передней, стал рассказывать провожавшему его отцу какую-то длинную историю; во время разговора он полез в карман и быстро вытащил свой носовой платок, и в это время стоявшая на окне в соседней комнате ведерная бутыль с настаивавшейся на ягодах наливкой с треском лопнула, и наливка наводнила комнату; виновником этого загадочного явления оказался медный пятак, который Бечаснов вытащил с платком из кармана и, как из пращи, угодил им в бутыль. Такие рассказы в бесчисленном множестве ходили по городу и передавались в присутствии самого Бечаснова, который с милым добродушием подтверждал их и сам первый хохотал над своими приключениями. Мог бы и я привести еще несколько примеров, но мне и без того совестно перед

памятью декабристов и перед памятью Бечаснова в частности, что я ограничиваюсь одной смешной стороной в характеристике его личности, очень почтенной и деятельной в хорошем значении слова и во всяком случае заслуживавшей своей злополучной судьбой более серьезного и более сочувственного отзыва. Но таково свойство моих записок: составлялись они на основании воспоминаний, сложившихся частью в детские годы, частью в годы ранней юности, когда голова моя еще не умела порядком анализировать ни людей, ни фактов и скользила по ним поверхностно, схватывая только выдающиеся мелочи. Не подлежит сомнению одно, что и Бечаснов при своей, общей со всеми декабристами, редкой мягкости характера, любви к народу и жажде труда и деятельности на пользу общественную, мог вносить только доброе, честное и прогрессивное в окружающую его обстановку, и хотя крестьяне деревни, где он жил, подчас подсмеивались над его неловкостью и рассеянностью, называя его, как говорят, то Бесчастным, то Несчастным, но любили и уважали его, как своего старшего брата, и в трудные минуты шли к нему за советом. Он и женился на крестьянке той же деревни Смоленщины, и о том, как он жил в своей домашней жизни, я ничего сказать не могу, потому что из наших общих знакомых, по-видимому, редко кто его посещал; там же он и помер от удара в конце 60-х годов и похоронен, оставив, как слышно, большую семью с весьма скудными средствами [58].

На этом и заканчиваю я мои воспоминания о декабристах, весьма скудные фактическим материалом и потому не претендующие на серьезное значение, но думается, что и в этом виде они могут пригодиться со временем, когда наступит возможность свободно разрабатывать эту страницу русской истории. Писал я эти воспоминания, будучи сам 60-летним и больным стариком, стоя одною ногой в гробу и желая перед смертью очистить совесть, воздавая должное этим людям за то, чем считал им себя обязанным и за что внутренно благодарил их всю жизнь. Более всех из них я обязан этим своим пробуждением Ал. Викт. Поджио,— и самое заветное мое желание написать еще одну главу [59], посвятив ее целиком описанию последних годов жизни этого почтенного старца, игравшего в моей жизни роль второго отца. Только хватило бы у меня на это сил и памяти!

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(1817—1860)

Константин Сергеевич Аксаков был человеком столь редких душевных свойств, что его любили не только друзья; идейные противники отзывались о нем с восхищением, почтением и даже нежностью.

«Рано умер Хомяков,— писал А. И. Герцен,— еще раньше Аксаков; больно людям, любившим их, знать, что нет больше этих деятелей благородных, неутомимых, что нет этих *противников,* которые были ближе нам многих *своих»* [1].

В 40—50-х годах прошлого века Константин Аксаков был своего рода достопримечательностью в среде московской интеллигенции. Об его необычайной честности, нравственной чистоте, простодушии и отвращении к светским условностям рассказывали впоследствии многие его современники. «Я не знаю ничего безнравственнее светской нравственности»,— говаривал Аксаков. Герцен утверждал, что он за свою веру пошел бы на площадь и на плаху и что поэтому так убедительны были его слова. Люди, близко знавшие Константина Сергеевича, вспоминали, что всякий раз после общения с ним чувствовали себя чище и нравственнее.

Он был среднего роста и атлетического сложения. В его широком лице было что-то от бабки, пленной турчанки Игель-Сюм, на которой женился дед Аксакова, суворовский генерал, отец его матери, Ольги Сергеевны. На некрасивом лице Аксакова выделялись глаза, выражавшие необыкновенное прямодушие, доброту и напряженную духовную жизнь. Как и его отец

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1958 Т 15. С. 9.

Сергей Тимофеевич, он был большим любителем рыбной ловли, но в отличие от отца был неприхотлив в своих привычках, частенько ездил в телеге и утверждал, что получает от этого большое удовольствие, ходил по 28 верст пешком, а измокнув и продрогнув под дождем, испытывал какой-то особый прилив радости — от сознания своей физической силы и стойкости. И чувство это было тем сильнее, чем больше были трудности и неудобства, которые приходилось ему преодолевать.

Духовные интересы проявились в нем очень рано, еще в ту пору, когда он жил в Аксакове, родовом гнезде отца. Аксаково, известное читателям как Багрово, о котором написаны лучшие книги Сергея Тимофеевича («Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука»), как бы подготовило формирование души Константина и предопределило его склонности и вкусы.

Хотя много лет спустя И. И. Панаев и писал, что Константин Сергеевич любил не человека вообще, «а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме» [1], в действительности все было не так. Представление о русском народе, пусть самое отвлеченное, сложилось у Константина Сергеевича в детстве, в Аксакове, и потому сквозь идеальный образ русского мужика, о котором он постоянно думал, говорил и писал, частенько проглядывал именно аксаковский крестьянин, тесными патриархальными узами связанный со своими господами. Об этих отношениях, о самобытности аксаковских крестьян и особом укладе их жизни мы знаем из книг Сергея Тимофеевича.

Образованием и воспитанием Константина и Ивана, родившегося пятью годами позже, занимался сам С. Т. Аксаков. Надо сказать, что это доставляло ему особое удовольствие: дети отличались ранним умственным развитием и, подрастая, начали полностью разделять интересы отца. Так что впоследствии их связывала с Сергеем Тимофеевичем не только горячая родственная привязанность, но нечто еще более редкое — дружеское единомыслие. Сергей Тимофеевич, знакомый со всей литературной Москвой и Петербургом,

---

[1] Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988, С. 182.

еще недавно запросто бывавший у Державина, прививал им любовь ко всему русскому: к земле, литературе, народу, истории. Восторженный патриотизм отца, с некоторым оттенком экзальтации, передался детям, однако позднее они возвели в теорию, в отвлеченную идею то, что у Сергея Тимофеевича было живым и непосредственным чувством.

В начале сентября 1826 г. семья Аксаковых перебралась в Москву, где только что завершились пышные торжества по поводу коронации Николая I. Москва была запружена экипажами и наполнена еще не утихшим оживлением. «И в эту столичную тревогу, вечный шум, гром, движение и блеск переносил я навсегда, из спокойной тишины деревенского уединения, скромную судьбу мою и моего семейства» [1],— вспоминал С. Т. Аксаков. Этот переезд возбудил в С. Т. Аксакове и его старшем сыне острое ностальгическое чувство по «деревенскому уединению», и оно не покидало их до конца жизни.

Аксаковы поселились в большом доме на Остоженке и зажили так, как было для них привычно: по мере сил стремясь к тому, чтобы столичная жизнь походила более на патриархальную деревенскую. И. И. Панаев, впоследствии часто посещавший Аксаковых, вспоминал: «Для многочисленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая, помещичья жизнь, перенесенная в город. <...> Дом Аксаковых и снаружи и внутри, по устройству и расположению, совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду» [2]. К этому времени Аксаковы жили уже в другом доме, на Смоленском рынке, но уклад их жизни никогда не менялся.

При широте и каком-то особенном, на старинный лад, хлебосольстве С. Т. Аксакова, дом всегда был полон гостей. Дети росли в окружении литературной и артистической среды, под влиянием которой складывались их собственные, сугубо гуманитарные интересы. Здесь постоянно бывали М. П. Погодин и и Н. Ф. Павлов с женой Каролиной, М. С. Щепкин

---

[1] Аксаков С. Т. Собр соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 60.
[2] Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 180—181.

и М. Н. Загоскин, С. П. Шевырев и многие другие. В 1832 г. Погодин впервые привез к Аксаковым Гоголя. Это знакомство стало событием в жизни Аксаковых, как отца, так и сына. Всего через несколько лет Константин Аксаков пытался найти в творчестве Гоголя опору для славянофильских идей. В 1842 г. он написал статью о «Мертвых душах»: обличительный пафос поэмы словно ускользнул от его внимания; он увидел в ней лишь вечные начала, скрытые в недрах «народного духа».

Однако до этого еще далеко. Пока в Константине Сергеевиче только бурлят неперебродившие чувства. Впервые увидев Гоголя, Константин бросился к нему «и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью» [1].

Константин Сергеевич поступил в Московский университет в том самом 1832 г., когда оттуда был исключен Белинский. Аксаков сблизился с ним, войдя в кружок Н. В. Станкевича. Этот кружок, далекий в ту пору от практических целей и интересов, объединенный пламенным поклонением философии и эстетике Гегеля, сгруппировался вокруг Н. В. Станкевича, человека мечтательного, кроткого и наделенного редким обаянием. Станкевич, по отзывам современников, был одним из тех людей, которые влияют на окружающих более всего своей личностью, пробуждая в ближних высокий дух и еще более высокий, хотя и несколько отвлеченный, полет мыслей. По словам Белинского, Станкевич «всегда и для всех был авторитетом, потому что все *добровольно* или *невольно* сознавали превосходство его натуры над своею» [2]. Для самого Белинского, как утверждал И. И. Лажечников, Станкевич был полезнее университета.

В ту пору этот кружок, куда, кроме Белинского и Аксакова, входили М. А. Бакунин, В. П. Боткин, Я. М. Неверов, И. П. Клюшников и др., по самой сути своей не был оппозиционным, но зерно оппозиционности созревало там, как везде, где смело и самоотверженно ищут истину.

Уже в те времена, в ночных разговорах, в спорах об «Эстетике» и «Феноменологии духа» Гегеля, в те «созерцательные» времена, когда еще не был поднят

---

[1] Аксаков С. Т. Т. 3. С. 152.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.; Л., 1956. Т. 11. С. 339.

и затронут ни один вопрос об общественных недугах России, начала сказываться какая-то особая, только ему свойственная фанатичность Константина Аксакова. Фанатичность, смягченная большой образованностью, внутренней свободой и милосердием.

В 1839 г. Белинский писал И. И. Панаеву, что в Аксакове «есть все — и сила, и энергия, и глубокость духа, но в нем есть один недостаток, который меня глубоко огорчает. Это — не прекраснодушие, которое пройдет с летами, но какой-то *китайский* элемент, который примешался к прекрасным элементам его духа. Коли он во что засядет, так, во-первых, засядет по уши, а во-вторых — во сто лет не вытащите вы его за уши из того ощущеньица или того понятьица, которое от праздности забредет в его, впрочем, необыкновенно умную голову» [1].

Пока существовал кружок Станкевича, этот «китайский элемент» был как бы сам по себе, проявляясь разве что в некотором отсутствии гибкости, вообще свойственном Константину Сергеевичу. Однако в ту пору это можно было приписать юношескому максимализму, отличавшему многих его сверстников. Смерть Н. В. Станкевича (в 1840 г.) оборвала тонкие нити, связывающие участников кружка в последние годы его жизни. Длительный период созерцания не прошел даром: возникло страстное стремление к участию в реальной жизни.

«Исключительно умозрительное направление совершенно противуположно русскому характеру,— писал Герцен,— и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое» [2]. Смерть Станкевича стала для участников его кружка моментом самоопределения. Вот тут-то окончательно разошлись пути Константина Аксакова и его прежних друзей, хотя охлаждение между ними наметилось раньше, еще в 1839 г. В Константине Сергеевиче со временем начала все более проявляться «одной лишь думы власть, одна, но пламенная страсть»: его захватила идея народности; поднимая ее высоко, как знамя, он со всею страстью своей натуры обратился к допетровской Руси, провозгласил

---

[1] Белинский В. Г. Т. 11. С. 373.
[2] Герцен А. И. Т. 9. С. 18.

ее и только ее хранительницей и опорой истинно национальных устоев и традиций. Много лет спустя в «Былом и думах» Герцен назвал это «детским поклонением детскому периоду нашей истории» и тут же в исторической ретроспекции дал глубокую и объективную оценку славянофильской теории: «На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни.

Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех *стихиях* русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации» [1].

С того момента как славянофильская идея завладела Константином Аксаковым, его духовное развитие словно остановилось, ибо ушли сомнения, колебания, готовность услышать чужую мысль, иное мнение, несогласное с собственным. Эта идея полностью подчинила его себе. Она сама еще развивалась, но уже в замкнутом пространстве, не вширь, а вглубь, и Константин Сергеевич яростно отвергал все, что ей противоречит. Он чувствовал себя обладателем единственно справедливой, полной и завершенной идеи, и его мысль, перестав трудиться в процессе постижения истины, стала неподвижной, словно окостеневшей.

Хотя Константин Сергеевич и писал как-то И. С. Тургеневу, что согласию часто мешает неумение объясняться и становиться на противоположную точку зрения, он сам не умел, а иногда и не хотел слышать своих оппонентов, отвергая их доводы заранее, до всякого спора. Эту негибкость души Константина Аксакова Белинский отметил еще в 1839 г. «Да, славное дитя Константин, жаль только, что движения в нем маловато» [2],— писал он И. И. Панаеву.

С годами нетерпимость усиливалась. Он резко и разом оборвал отношения с прежними друзьями, с теми, кого глубоко любил прежде. Это была первая

---

[1] Герцен А. И. Т. 9 С. 134.
[2] Белинский В. Г. Т. 11. С. 374.

жертва, принесенная им на алтарь его Истины. О том, как болезнен был для Константина Сергеевича этот разрыв, мы знаем от Герцена и других современников Аксакова.

«В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.

— Мне слишком больно,— сказал он,— проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься.— Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал» [1].

Примерно тогда же Константин Сергеевич приехал ночью к Т. Н. Грановскому и, сжимая его в объятиях, со слезами на глазах, объявил ему о разрыве с ним. Грановский тщетно убеждал Константина Сергеевича в том, что помимо национальной идеи их связывает многое другое, в чем они вполне единодушны. Аксаков был непреклонен (рассказ П. В. Анненкова). Такова была власть идеи над этим человеком.

Как всякий человек фанатического склада, он с нетерпимостью отрицал все, что противоречило его построениям, и нередко доходил до абсурда — как в отрицании чужих мыслей, так и в утверждении собственных. Он не только любил и умиленно славословил Москву как выразительницу русского национального духа, не только отвергал все, что было связано с Петром I и его реформами, но с неизменной антипатией относился к Петербургу, «западному» городу. «Москва — столица русского народа,— утверждал он,— а Петербург только резиденция императора».

Исповедуя одну главную, неотделимую от его существа мысль, он говорил страстно, выразительно, убежденно. Он легко овладевал слушателями и нередко подчинял их себе. «Фанатизм,— справедливо утверждал Б. Н. Чичерин,— более нежели ум и талант, увлекает колеблющихся» [2].

---

[1] Герцен А. И. Т. 9. С. 163.
[2] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929.

В публицистических работах Константина Аксакова не проявилась эта неуемная, бьющая через край энергия его духа. Напротив, его статьи словно обнажают догматизм и риторичность, скрашенные обаянием его личности для тех, кто непосредственно общался с ним. «У него был так велик пафос мысли,— писал С. А. Венгеров,— что как бы не осталось духовных сил для пафоса слова» [1].

В Константине Аксакове, как и в А. С. Хомякове, человеке близком ему по духу и убеждениям, было что-то от проповедника: активность его мысли и позиции увлекала его друзей, он исступленно спорил со своими идейными противниками, пытаясь убедить их в своей правоте, он «искушал» светских дам в московских гостиных.

Чтобы даже внешне не отличаться от своего «допетровского идеала», он отрастил бороду, надел мурмолку, смазные сапоги, красную рубаху и, по словам П. Я. Чаадаева, нарядился так национально, что простой люд принимал его на улицах за персианина. О нем ходили легенды, так искусно соединявшие правду с вымыслом, что в них обнажалась карикатурность поведения Константина Сергеевича.

Рассказывали, например, что как-то на балу Константин Аксаков подошел к одной светской красавице и стал уговаривать ее носить русский сарафан вместо «немецкого» платья. В эту минуту к ней подошел московский военный губернатор князь Щербатов. Услышав, о чем идет речь, он улыбнулся и заметил, не следует ли и ему нарядиться в кафтан. Аксаков с торжеством в голосе возразил ему, что скоро настанет время, когда все наденут кафтаны.

Когда кто-то спросил у Чаадаева, свидетеля этой сцены, о чем разговаривал Щербатов с Аксаковым, остроумец и иронист Чаадаев ответил: «Кажется, Константин Сергеевич уговаривал его надеть сарафан».

Представление современников о личности и манере поведения Аксакова было настолько устойчивым, что люди, знакомясь с ним, порой удивлялись, когда видели перед собой мягкого и очень деликатного человека. А. С. Норов с оттенком удовольствия писал

---

[1] Венгеров С. А. Передовой боец славянофильства // Очерки по истории русской литературы. Спб., 1907. С. 404.

А. И. Кошелеву после первого визита к нему Константина Сергеевича, что ожидал найти в нем если не тигра, то медведя, а он оказался вежливым и даже благодушным.

Внешняя модель поведения Константина Сергеевича была полностью согласована с его убеждениями. По словам современного исследователя, и в работах его проявлялась «поверхностная и карикатурная спекулятивность», а «логическое конструирование поглощало и предопределяло историческое исследование вопроса» [1]. Начиная с самых первых работ, с диссертации о Ломоносове, он подчинил факт идее, теории, сосредоточенной вокруг «крестьянского мира» — хранителя народных устоев, единственного, что, по его мнению, могло уберечь Россию от социальной несправедливости и падения нравов. Но нередко его мысль преодолевала узость созданных им же постулатов, и тогда из-под его пера выходили публицистические статьи, свидетельствующие о внутренней свободе его духа и понимании им многих недугов России.

«Не подлежит спору,— писал он Александру II,— что правительство существует для народа, а не народ для правительства. <...> Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. <...> Народ не имеет доверенности к правительству, правительство не имеет доверенности к народу. <...> При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман <...> Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны. <...> Все зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего правительства <...> Такая система, пагубно действуя на ум, на дарования, на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная система из государя делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы» [2].

В стихотворениях Константина Аксакова, которые он писал всю жизнь, были те же темы, мысли и тео-

---

[1] Каменский З. Московский кружок любомудров. М., 1980. С. 215.

[2] Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М., 1910. С. 80, 89, 90, 91.

рии, что питали его публицистическое творчество. Но теория, облеченная в рифмы, не сообщала стиху ни энергии, ни непосредственности чувства, делая его тяжелым и вялым.

Его теория жила не развитием мыслей, а неким нагнетанием их. Было что-то завораживающее — и это особенно хорошо ощущали современники Аксакова — в постоянном повторении на разные лады одной и той же мысли, одного и того же молитвенно-напряженного чувства к древнерусскому миру. Это движение по спирали вокруг центральной идеи ярко проявилось в письмах Константина Сергеевича к И. С. Тургеневу, которого он сознательно или невольно пытался обратить в свою веру.

«Подвиг сознания предстоит нам, жалким людям без почвы; великая сила мысли должна вновь соединить нас с нашею Русью после того, как полтораста лет назад была волей-неволей порвана с нею наша непосредственная связь»,— писал Аксаков в 1852 г.

И в другом письме того же года вновь обращался к этой теме: «Переворот Петра так отшиб у нас память, что весь мир русский до Петра кажется нам потемками, а между тем чувствуешь, что это мир светлый и ясный — только не для нашего понимания; мы, то есть преобразованные классы, отреклись от него тому полтораста лет, и результатом нашего отречения было истощение нашего ума, и чувства, и воли».

И еще одно характерное письмо, уже от 1853 г.: «Русский человек, или, лучше, русский крестьянин, есть в существенных своих проявлениях, действиях и словах такой великий наставник и проповедник истины и добра христианского учения, который убедит всякого, кто упрямо не заткнет ушей» [1].

Эти мысли — квинтэссенция теории Константина Аксакова. Русский человек для него прежде всего — русский крестьянин. Но, в отличие от школы Белинского, писателей так называемой натуральной школы и всей прогрессивной отечественной литературы 40—60-х годов прошлого столетия, Константин Сергеевич видит в русском крестьянине не униженного и поруганного человека, влачащего рабское существование, а учителя жизни, «наставника», «проповедника

---

[1] Письма С. Т., К. С. и И. С Аксаковых к И. С. Тургеневу. М., 1894. С. 37, 39—40, 66.

истины и добра». Немудрено, что славянофилы не помышляли о «маленьком человеке» и о сочувствии к нему. И то сказать, можно ли сочувствовать носителю истины!

Парадоксально, но факт, что Константин Сергеевич — один из главных идеологов народности — черпал свои представления о жизни в сугубо книжном материале, былинах и летописях. Он и был книжным человеком и, по словам С. А. Венгерова, «душой и телом ушел целиком в книжные занятия, в чистую и исключительную сферу идей и теоретических построений, вне которых для него почти ничего не существовало на свете» [1].

Этот отвлеченный от реальной жизни мир, созиданию которого посвятил свою недолгую жизнь Константин Аксаков, был внезапно разрушен смертью отца, с которым его связывала совершенно исключительная привязанность и дружба. Сергей Тимофеевич под конец жизни стал исповедовать все убеждения сына, приняв даже их крайности. Как и Константин, он отрастил бороду и нарядился в русский кафтан. И. И. Панаев писал, что Константин Сергеевич «беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без подпоры семейства» [2]. Смерть отца сломила Константина, он не вынес потрясения и от этого удара уже не оправился.

Три месяца спустя после смерти Сергея Тимофеевича Константин Аксаков писал своему знакомому: «...все кончилось. Ни удовольствие, ни радость жизни для меня существовать не могут. Одним словом, жизнь кончилась — жизнь, как моя. Я здесь еще, под условиями этой жизни; но это не *моя* жизнь <...> Теперешний Константин Сергеевич не удит, не курит, смотрит и не видит природы, или болезненно ее чувствует и даже отворачивается от нее; неженкой он не сделается, слабым — тоже; но не слышит в себе этого приятного ощущения сил, не ищет чего-нибудь понеудобнее и потяжелее; ему все равно, карета ли, или любимая прежде телега, в которой он прежде даже

---

[1] Венгеров С. А. Передовой боец славянофильства. С. 385.
[2] Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 183.

стихи писал. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась...»[1]

В нем была склонность к аскетизму, чрезвычайно усилившаяся после смерти отца. Он исключил из своей жизни даже те немногие удовольствия, которые составляли для него прежде прелесть существования. Писать он почти не мог, энергия созидания своей теории и отрицания мнений, враждебных ему, иссякла. Он замкнулся в своем горе, словно заточил себя в нем. Умерщвляя дух, он губил плоть. У него началась чахотка. Брат Иван еще пытался спасти его, но надежд было мало. Иван Сергеевич отправился с ним в Италию, потом в Грецию, полагая, что целительный воздух юга, перемена обстановки и новые впечатления сделают свое дело.

Все было напрасно. На острове Занте (Греческий архипелаг) Константин Сергеевич тихо угас, поразив искренностью и неподдельной глубиной своей веры причащавшего его греческого священника. Сергея Тимофеевича он пережил всего на полтора года.

Иван Сергеевич Тургенев, потрясенный этой внезапной смертью, просил Герцена: «...напиши мне немедленно, откуда дошла до тебя весть о смерти К. Аксакова и достоверна ли она: ни в журналах, ни в полученных мною из России письмах ни слова об этом нету. Я все еще не хочу верить смерти этого человека»[2].

15 января 1861 г. в «Колоколе» появилась статья Герцена, посвященная памяти Константина Аксакова. Время и смерть человека — могущественные стимулы к объективной оценке его личности. И Герцен, со свойственной ему поразительной точностью мысли, выразил в своей статье отношение к Константину Аксакову.

«Да, мы были противниками их, но очень странными,— писал Герцен о славянофилах.— У нас была *одна* любовь, но не *одинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за проро-

---

[1] Бицын Н. Воспоминание о К. С. Аксакове // Русский архив, 1885 № 3. С. 402—403.

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1962. Письма. Т 4. С. 176.

чество,— чувство безграничной, охватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце* билось одно» [1].

ЛИТЕРАТУРА

Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 4. Гл. XXX.

Бицын Н. Воспоминание о К. С. Аксакове // Русский архив, 1885. №3.

Венгеров С. А. Передовой боец славянофильства // Очерки по истории русской литературы. Спб., 1907.

[1] Герцен А. И. Т. 15. С. 9—10

ВОСПОМИНАНИЯ СТУДЕНТСТВА 1832—1835 ГОДОВ

Я поступил в студенты 15 лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен,— экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался для меня страшен. А я притом с моим Азом [1] должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся.— Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет.

В мое время полный университетский курс состоял только из трех лет или из трех курсов. Первый курс назывался приготовительным и был отделен от двух последних. Я поступил в словесное отделение, которое в это время было, сравнительно, довольно многочисленно. На первом курсе словесного отделения было нас человек 20—30. В назначенный день собрались мы в аудиторию, находившуюся в правом боковом здании старого университета, и увидали друг друга в первый раз: во время экзаменов мы почти не заметили друг друга. Тут молча почувствовалось, что мы товарищи,— чувство для меня новое.

В эпоху студентства, о которой говорю, первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя не сознательно, и то, что молодые эти силы собраны все же во имя науки, во время высшего интереса истины. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были *точно* молоды, не по одному числу лет; все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного, ни вытертого; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна *молодость человека,* и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенст-

ва, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента *.

Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студентстве самом. Не знаю, как теперь, но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и хотя собственно товарищи мои ничем не сделались замечательны,— кто знает даже, к какому опошляющему состоянию нравственному могли довести обстоятельства потерянных мною из виду,— но живое это время, думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим *основанием*. Вообще не худо, чтобы молодые люди, проходя свое воспитание, пожили вместе, как живут студенты; но это свободное общежитие тогда получает свою цену, когда истина постоянно светит молодому уму и только ждет, чтобы он обратил на нее свои взоры. Значение университетского воспитания может быть огромно в жизни целой страны: с одной стороны — играющая молодая жизнь, как целое общество, в союзе юных нравственных сил, жизнь, не стесняемая форменностью, не гнетомая внешними условиями; с другой стороны — истина, греющая этот союз, предлагаемая, но не навязываемая никому. Хорошо бы это могло быть!

В мое время цель эта достигалась с одной стороны: именно со стороны студентства. Жизнь молодости точно играла с оттенком легкого, безобидного буйства и проказливости. Форменности почти не было; она начинала вводиться, правда, но еще очень легко. С другой стороны, со стороны профессорства, цель эта достигалась большею частию весьма слабо,— и очень тускло и холодно освещало наши умы солнце истины; но живые, неподавленные силы наши находили к ней дорогу.

Грубые шутки, дикие буйные выходки студентов, бывшие некогда, давно миновали. Время смягчает

---

* Именно университетом и студенчеством, ибо училище, заключившее в себе все часы воспитанников, лишает их той свободы, которая дается соединением лишь во имя науки, которая поддерживается тем, что всякий товарищ вел свою самостоятельную жизнь. *(Прим. автора.)*

нравы; студентская свобода не исчезла, но молодость уже не увлекалась, как прежде, одним кипением крови, более и более слыша в себе умственные и нравственные силы. Живость молодости высказывала себя в более шутливых проделках, мало-помалу исчезавших в свою очередь. Когда я поступил на первый курс, еще слышались и повторялись рассказы между студентами о недавних проказах, довольно добродушных, случившихся только что передо мною и при мне уже не повторявшихся; и эти проказы, хотя так недавно происходившие, становились уже, очевидно, преданием.

Рассказывали, что незадолго перед моим вступлением, однажды, когда Победоносцев [2], который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампою, и, только показался Победоносцев,— грянули: «Се жених грядет во полунощи». Рассказывали, что Заборовский, бывший еще в это время в университете, принес на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить воробья; поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело не легкое. Все эти шутки могли бы иметь свою жестокую сторону, если б Победоносцев был человеком жалким и смирным; но он, напротив, был не таков: он бранился со студентами, как человек старого времени, говорил им *ты;* они не оскорблялись, не отвечали ему грубостями, но забавлялись от всей души его гневом.

На первом курсе я застал еще Победоносцева, преподававшего риторику, по старинным преданиям [3], довольно скучно. «Ну что, Аксаков, когда же ты мне хрийку напишешь» [4],— говорил бывало Победоносцев. Студенты, нечего делать, подавали ему хрийки. Кроме Победоносцева, были у нас профессорами: богословия — Терновский [5], латинского языка — Кубарев [6], греческого — Оболенский [7], немецкого — Геринг [8], французского — Куртенер [9], географии — Коркунов [10]; Гастев [11] читал какую-то смесь статистики, истории, геральдики [12] и еще чего-то. Лекции богословия читались самым схоластическим образом, но тем не менее они меня довольно интересовали. От времени до времени поднимался какой-нибудь студент, обыкновен-

но духовного звания, и, по обычаю семинарии, начинал с Терновским диалектический спор, который Терновский поддерживал, иногда с досадою,— но обычай продолжался. Обыкновенно Терновский заставлял кого-нибудь из студентов повторять содержание прошедшей лекции. Кубарев, с кругленькой головой и вообще весь кругленький, переводил с нами медленно и внятно, выговаривая слова тихеньким голоском своим, Тита Ливия [13],— и только. Гастев, Коркунов были люди молодые тогда, но совершенно бесцветные. Куртенер толковал о participe présent *, Геринг переводил хрестоматию, в которую входили и стихотворения Шиллера, Гете и других. Оболенский переводил с нами Гомера. Оболенский был очень забавен; он был небольшого роста и с весьма важными приемами; голос его, иногда низкий, иногда переходил в очень тонкие ноты. Он переводил с нами Гомерову «Одиссею». <...>

Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова «Одиссеи». Обыкновенно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтобы не обратиться в совершенного слушателя.

Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и скорее забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты,— и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво сами за себя,— и полные глубокого значения выражения богословия,— и события исторические, выглядывавшие с своим величием даже из лекций Гастева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые Герингом,— падали более или менее сознательно, более или менее сильно, в раскрытые души юношей — лишь бы они только не противились впечатлению — нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства! Впрочем, я собственно давно уже читал поэтов; я прочел еще прежде всю «Илиаду» в переводе Гнедича с невыразимым наслаж-

* Причастие настоящего времени *(фр.)*.

дением, и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоятельной деятельности мысли. Что же было бы, если б, при этой свободе студенческой университетской жизни, было у нас живое, глубокое слово профессора! <...>

Студенты не были точны в посещении лекций. Я помню, что однажды, перед лекцией Оболенского, я ушел из аудитории, оставив ее полною студентов; возвратясь, я нашел ее пустою. Не зная, что это значит, я оставался на своей скамье; на другой стороне был студент Окатов, с которым я почти не был знаком. Вдруг входит Оболенский, потом за ним ректор Двигубский [14]. Увидав только двух студентов, Двигубский рассердился и напал на нас за то, что студенты не ходят на лекции. На другой, кажется, день студенты, собравшись, объявили меня правым, ибо я не был тут, как сговаривались они уйти с лекции Оболенского,— и обвинили Окатова, который тут был и это знал. В этом суждении, под видом товарищества, высказывалась связь общего союза — одна из великих нравственных сил; новая для меня, она живо чувствовалась мною, и я понимал, что хорошо стоять друг за друга и быть как один человек.

Считаясь порядочным эллинистом, я обращал на себя внимание Оболенского, должен был чаще других переводить Гомера и слушать внимательно его объяснения. Однажды на лекции, очень серьезно, я вздумал предложить ему вопрос: каким образом согласить в древних стихах ударение с протяжением, как, скандуя стих, удержать ударение, которое не совпадает с скандовкой? — Оболенский отвечал: «А, это-с лучше всего объясняется пением»,— и запел. Я был не рад, что предложил вопрос. Оболенский запел таким голосом и с такою печально-торжественною миною, что просто не было никакой возможности удержаться от смеха. Смех самый безумный, гомерический, готов был ежеминутно овладеть нами, громко вырваться и огласить всю аудиторию,— и этот-то смех надо было подавлять величайшими усилиями. Студенты, удерживаясь от смеха и мучась, кидали на меня яростные взгляды. Я, вызвавший этот профессорский ответ, должен был и обратить на него больше внимания. Для меня пел Оболенский, каково же мне бы-

ло? — Я был тогда очень смешлив, и когда Теплов проговорил подле меня шепотом: «Точно колодники под окнами»,— я не знаю, как я удержался. Наконец Оболенский перестал петь; наконец лекция окончилась; профессор ушел. Товарищи напали на меня дружно. «Что тебе вздумалось просить петь Оболенского, что ты с нами наделал? — говорили они со смехом. Я смеялся не меньше их.

Кроме экзаменов у нас были репетиции, и на них основывали профессора наиболее свое мнение о студентах. Терновский, репетируя, вызывал обыкновенно к кафедре. Однажды на репетиции он вызвал меня таким образом и спросил о рае. Отвечая, я сказал о древе жизни и прибавил: «Но ведь это древо надо понимать только как аллегорию».— «Как аллегорию? — сказал Терновский: — почему вы так думаете?» — «Древо жизни,— отвечал я,— было преобразованием Христа».— «Оно было преобразованием; но это не значит, чтоб оно не существовало»,— заметил Терновский. Однако за этот ответ Терновский поставил мне 3, а не 4. В наше время 4 был высший балл.

Я рассказываю все эти случаи, как характеризующие эпоху больше или меньше. Не думаю, чтоб что-нибудь подобное могло иметь место теперь в университете <...>

Я сказал, что курс наш был не замечателен личностями и что он не удовлетворял моим духовным потребностям. Еще будучи на первом курсе, познакомился я через Дмитрия Топорнина с Станкевичем [15], бывшим на втором курсе. Когда-нибудь надеюсь написать все, что знаю об этом необыкновенном человеке [16], но теперь я удерживаюсь воспоминанием собственно студенческой жизни. У Станкевича собирались каждый день дружные с ним студенты его курса, и, кроме их, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Клюшников [17]; в первый раз также видел я там Петрова [18] (санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества. Но здесь об нем я упомяну также мельком, надеясь написать когда-нибудь сколько можно подробнее историю этого кружка в течение целых семи лет. В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир,— воззрение большею частию отрицательное. Искусственность российского

классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма — все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказалось в кружке Станкевича, быть может впервые, как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта не была крайняя, была искренняя; нападение на претензию, иногда даже и там, где ее не было,— не переходило само в претензию, как это часто бывает, и как это было в других кружках. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многим не уравнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны мне были нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет. Но видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. Мое отношение и мое место в этом кружке принадлежит к истории самого кружка, и потому до этого я здесь не касаюсь. Второй курс, в противоположность нашему первому, был богат людьми более или менее замечательными. Станкевич, Строев[19], Красов[20], Бодянский[21], Ефремов[22], Толмачев принадлежали к этому курсу.

Кружок Станкевича, в который, как сказал я, входили и другие молодые люди, отличался самостоятельностью мнения, свободною от всякого авторитета; позднее эта свобода перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского,— следовательно, перестала быть свободною, а, напротив, стала отрицательным рабством. Но тогда это было не так. Односторонность и несправедливость были и тогда, происходя, как невольное следствие, от излишества стремления, но это не было раз принятой оппозицией, которая есть дело вовсе не мудреное. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко,— и что всего замечательнее, кружок

этот, будучи свободомыслен, не любил ни фрондёрства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах, тайных обществах и проч. была ему смешна, как жалкая комедия. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это стремление, осуществляясь иногда односторонне, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское. Насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах. Такой кружок не мог быть увлечен никаким авторитетом. Определяя этот кружок, я определяю более всего Станкевича, именем которого по справедливости называют кружок; стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и когда Станкевич уехал за границу [23],— быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности. Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии, и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин [24] и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы. Хотя значение церкви не раскрылось еще Станкевичу, по крайней мере до отъезда его за границу, но церковь, и еще семья, были для него святыней, на которую он не позволял при себе кидаться. Станкевич был нежный сын. Кружок Станкевича продолжался и по выходе его и друзей его из университета; он имел свой ход и свое значение в обществе. После него уже пошли эти безо-

бразные выходки. Но несмотря на всю стройность своего нравственного существа, на стремление к свету мысли, истинной свободе духа, равно чуждой рабства и бунта, Станкевич не стал, по крайней мере до отъезда за границу, на желанную высоту, и свобода веры, кажется, не была им достигнута.

Я увлекся; но этот кружок есть явление, вполне принадлежащее Москве и ее университету, возникшее в ту эпоху, когда дикое буйство студенческой жизни, о котором доносятся отдаленные предания,— миновало, и когда заменялось оно стройною свободою мысли, еще не подавляемой форменностью.

Когда я поступил в университет, форменность, как сказал я, начинала вводиться, но еще слабо; были мундиры и виц-мундиры (сюртуки), но можно было в них и не являться на лекцию. При моем вступлении начиналось требование, чтобы студенты ходили на лекцию в форменном платье; но я и на втором курсе видел иногда студентов в платье партикулярном. В первый год мы носили темно-зеленые сюртуки с красным воротником (до нас форма была синяя с красным воротником), на следующий год красный воротник заменило начальство синим. Сперва требовалось от нас, чтобы мы были только в университете в форменном платье. Я помню, что я, еще во второй год своего студентства, был в Собрании во фраке и говорил там с Голохвастовым[25]. Потом, вводя форменность, нарисовали студентов на бумажке, одного в мундире, другого в виц-мундире, раскрасили, вставили в рамку и вывесили в Правлении для назидания в одежде. Наконец призвали нас в Правление и объявили, чтоб мы во всех общественных местах являлись в форменном платье. Студенты повиновались,— и в театре, и в собрании появились студентские мундиры; но везде, где можно, на вечерах и балах частных и даже на улицах студенты носили партикулярное платье по произволу. Форменные шинели и шубы не были положены, и мы носили шинели и шубы обыкновенные.

Наступили переходные экзамены с первого курса на второй. Они сошли для меня довольно счастливо. На экзамене у Терновского достался мне вопрос об аде. Отвечая, я сказал про огненные муки и прибавил, что было бы странно понимать этот огонь в материальном значении, как огонь нам известный, но что это

огонь не вещественный, что это муки совести. Терновский стал с досадою возражать мне, но тогдашний викарий Николай, присутствовавший на экзамене, остановил его, сказав: очень хорошо, ответ прекрасный. Терновский должен был поставить мне 4, лучший балл.

Я перешел на второй курс. Станкевич и его товарищи перешли на третий. Оба курса, второй и третий, слушали лекции вместе в большой словесной аудитории, над дверью которой золотыми буквами, как на смех, было написано: *Словестное отделение*. Здесь слушали вместе студентов сто. На втором и третьем курсе (лекции были общие) были уже другие профессоры, и из них некоторые — люди замечательные. Надеждин читал здесь эстетику, Каченовский [26] — русскую историю. Впоследствии явился Шевырев [27], приехавший из-за границы, и стал читать историю поэзии, и потом — Погодин [28], начавший читать всеобщую историю, Давыдов [29] читал риторику и русскую литературу. Латинский язык читал Снегирев [30], греческий — Ивашковский [31], немецкий — Кистер [32], французский — Декамп [33], которого обыкновенно называли: дед Камп.

Надеждин производил, с начала своего профессорства, большое впечатление своими лекциями. Он всегда импровизировал. Услышав умную, плавную речь, почуяв, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении. Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей; скоро заметили сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных занятий. Тем не менее, справедливо и строго оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его речь. Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими лекциями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан. Тем не менее, благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен со студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения, и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это

студенты очень ценили — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучею речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку,— и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать (он был крайним). Однажды, до поступления моего на второй курс, прочел он два часа с лишком, и студенты не напомнили ему, что срок его лекции давно прошел.

Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал вступительную лекцию [34]. На этой лекции было много посторонних слушателей; я помню Хомякова [35] и других. Лекция Шевырева, обличавшая добросовестный труд, сильно понравилась студентам: так обрадовались они, увидя эту добросовестность труда и любовь к науке! Я помню, какое действие произвели слова его на Станкевича, когда Шевырев произнес: «Честное занятие наукою».— «Это уж не Надеждин,— сказали студенты,— это человек, трудящийся и любящий науку». После лекции к Станкевичу подходил Клюшников. «Ты что мне скажешь?» — спрашивал его Станкевич. Я не помню, что Клюшников сказал ему, но помню насмешливое выражение его лица. Шевырев казался для студентов радостным событием,— но и тут очарование продолжалось недолго [36] <...>

Погодин, заняв при нас кафедру всеобщей истории [37] (кажется, когда мы уже перешли на третий курс), тоже читал вступительную лекцию. Погодин говорил с жаром, и хотя молодые люди были большею частью враждебно расположены к нему, но мне помнится, что эта лекция произвела выгодное и сильное впечатление. Бог знает, как умел Погодин, при стольких своих достоинствах, восстановлять против себя почти всех. Нападения на него часто были несправедливы, но все же довольно дружно на него восставали. Мне кажется, что главная причина — неуменье обращаться с людьми. Я помню, что и нам однажды с кафедры сказал он, что мы мальчики или что-то в этом роде,— аудитория наша не вспыхнула, не зашумела на сей раз, но слова эти оставили глубокий след негодования. Впрочем, значение Погодина ясно определилось только впоследствии, когда он получил кафедру русской истории. Я видел некоторых его слушателей,— людей правдивых и умных,— благодарных ему за лекции русской истории.

В наше время любили и ценили, и боялись, притом, чуть ли не больше всех,— Каченовского. Молодость охотно верит, но и сомневается охотно, охотно любит новое, самобытное мнение,— и исторический скептицизм Каченовского[38] нашел сильное сочувствие во всех нас. Строев, Бодянский с жаром развивали его мысль. Станкевич, хотя не занимался русской историей, но так же думал. Я тоже был увлечен. На третьем курсе начал я писать пародию «Олег под Константинополем», где утрировал мнение, противоположное Каченовскому. Только впоследствии увидал я всю неосновательность нашего исторического скептицизма. Я помню, как высоко ставил Каченовский Москву, с какой улыбкой удовольствия говорил он о ней, утверждая, что с нее начинается русская история. Его отзывы о Москве были новой причиной моего к нему сочувствия. Но самые лекции свои читал он довольно утомительно для слушателей. Каченовский был в то же время очень забавен в своих приемах, и студенты самым дружеским и нежным образом над ним подсмеивались. Он являлся аккуратно в назначенный час (промежутков между лекций у нас не было), и студенты говорили, что он сам звонит. Несмотря на свою строгость, Каченовский, однако же, хорошо обращался со студентами. Я помню, что он сказал на лекции одному студенту, заметив в нем какую-то неисправность: «Милостивый государь, вы виноваты; если б с вами была ваша табель, я бы это отметил». Между тем было приказано иметь табель всегда с собою. Мы оценили его деликатность.

Студенты предшествующего нам курса хотели поднести золотую табакерку Каченовскому, но это, кажется, почему-то не состоялось. Станкевич, перед своим выходом из университета, вздумал как-то писать стихи к профессорам, из которых я помню несколько. Вот четыре стиха, относящиеся к Каченовскому:

За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы,
Сквозь строй врагов он нас провел
И прямо вывел в кандидаты.

К другому профессору[39]:

Он <Каченовский> — историческая мерка;
Тебе что ж скажем, дураку?
Ему — в три фунта табакерка;
Тебе — три фунта табаку...

О Давыдове И. И. скажу только, что в его напечатанном курсе есть следующие слова: *«О великих людях пишем мы длинными стихами, потому что воображаем их себе большого роста»* [40].

Из настоящих старых профессоров был у нас один собственно — Сем. Март. Ивашковский. Почти к каждому слову говорил он: *«будет»,* что Беер называл: вприкуску. Когда я поступил на второй курс, то был немало удивлен порядком его лекций, в особенности первою лекцией. «Идет Ивашковский!» — сказал кто-то. «Это ничего,— отвечали старые студенты,— он еще будет долго ходить по аудитории». И в самом деле: Ивашковский явился, один из студентов-эллинистов подошел к нему, завел с ним разговор, и Ивашковский начал ходить с своим собеседником взад и вперед по одной половине аудитории, а по другой расхаживали студенты. С полчаса продолжалась прогулка; наконец Ивашковский сел на кафедру, а студенты на лавки. Ивашковский молчал долго, как будто собираясь и не решаясь заговорить, наконец вдруг сказал: «Велено, будет, всякому студенту, будет, иметь, будет, табель»,— и опять замолчал и опять долго как бы не решался заговорить; наконец сказал: «До следующего, будет, раза»,— и ушел. Всякая его лекция начиналась прогулкой, и для этого выбирался кто-нибудь из студентов-эллинистов. Читал Ивашковский не больше получаса; лекция заключалась в переводе греческих писателей. Ивашковский кричал и переводил; кричал и переводил вслед за ним избранный студент, часто ничего не знавший по-гречески и иногда догадываясь весьма неловко. Я помню один такой перевод. «И взял его»,— кричал, переводя, Ивашковский. «Взял его,— повторил студент и прибавил: за волосы»,— как видно, лучше не догадавшись. Ивашковский остановился: «Где, будет, за волосы, тут нет, будет, за волосы»,— сказал он, и перевод пошел своим порядком в два голоса.— Приведу, кстати, в отрывках стихи Клюшникова о некоторых тогдашних профессорах [41].

. . . .

В нем грудь полна стяжанья мукой,
Полна расчетов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою [42] сова.
Сквернит своим прикосновеньем
Науку Божию педант.

Так школьник тешится обедней,
Так негодяй официант
Ломает барина в передней.

Или:

Учитель наш был истинный педант,
Сорокоум,— дай Бог ему здоровья!
Манеры важные,— что твой официант,
А голос — что мычание коровье.
К тому ж талант, решительный талант,
Нет мало — даже гений пустословья:
Бывало, он часа три говорит
О том, кто постигает, кто творит.

Двух первых стихов следующего куплета не помню:

. . . .
. . . .
Возьмем, бывало, оду для примера
За голову и за ноги вдвоем,
И разберем по руководству Блера[43],
В ней недостатки и красы найдем,
Что худо в ней, что хорошо[44], — оценим,
Чего ж недостает — своим заменим.

На втором курсе я еще больше сблизился с кружком Станкевича и, должен признаться, поотдалился от своих друзей-товарищей. Кстати: Коссович[45] на втором курсе уединился от всех, не занимался университетским ученьем, не ходил почти на лекции; а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. На него смотрели с удивлением, говорили: Коссович не занимается; а он, между тем, глотал один древний язык за другим. Коссович вступил на свою дорогу, филологическое призвание заговорило в нем, и именно он трудился дельно и быстро себя образовывал. Но, однако, Коссович был оставлен на втором курсе; впоследствии, занявшись университетскими предметами, он без труда вышел кандидатом.

На вечерах у Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба. Станкевич любил и знал музыку. Иногда мы певали всем хором; общею студентскою нашею песнью были стихи Хомякова из его трагедии «Ермак»—«За туманною горою» и проч. Станкевич был большой мастер передразнивать. Однажды, как-то днем, на своей квартире, передразнивал он Каченовского, и в это самое время Каченовский проехал мимо, по улице. «Вот

тебе раз,— сказал Станкевич,— не видал ли он?» — «Ничего, братец,— сказал Бодянский,— он подумал, что зеркало стояло». В те года только что появлялись творения Гоголя, дышащие новою небывалою художественностью, как действовали они тогда на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича! Во время нашего студентства вышло «Новоселье», альманах[46]; там была повесть Гоголя «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Помню я то впечатление, какое она произвела. Что может равняться радостному сильному чувству художественного откровения? Как освежало, ободряло оно души всех! как само постепенное появление изданий гениального художника оживляло, двигало общество! Рад я, что испытал и видел все это. Станкевич ценил очень верно и тонко художественность Гоголя, особенно в безделицах. Вскоре после выхода его и моего из университета Станкевич достал как-то в рукописи «Коляску» Гоголя[47], вскоре потом напечатанную в «Современнике». У Станкевича был я и Белинский, мы приготовились слушать, заранее уже полные удовольствия. Станкевич прочел первые строки: «Городок Б. очень повеселел с тех пор как начал в нем стоять кавалерийский полк»...—и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселья и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя. Наконец смех наш прекратился, и мы прочли с величайшим удовольствием этот маленький отрывок, в котором, как и в других созданиях Гоголя, и полнота и совершенство искусства. Станкевич читал очень хорошо; он любил и комическую сторону жизни и часто смешил товарищей своими шутками.

Помню я нашу шумную аудиторию, помню это веселое товарищество, это юношество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знатности, не хлопочущее о манерах, а постоянно вольно себя выражающее. Множество молодых людей вместе слышит в себе силу, волнующуюся неопределенно и еще никуда не направленную. Иногда целая аудитория во 100 человек, по какому-нибудь пустому поводу, вся поднимет общий крик, окна трясутся от звука,

и всякому любо: чувство совокупной силы выражается в эту минуту в общем громовом голосе. Почему не выразится оно иначе,— здесь не место говорить о том. Хорошо, что в наше время оно хоть темно чувствовалось, хоть так выражалось. Помню я, как однажды узнали, что Каченовский не будет. «Каченовский не будет!» — закричал один студент; «Не будет!» — подхватил другой; «Не будет!» — закричали несколько; «Не будет!» — загремела вся аудитория, и долго гремела. Кто-то вошел в калошах в аудиторию. «Долой калоши, à bas, à bas!» * — раздалось дружно, и вошедший поспешил скорее удалиться и скинуть калоши. Однажды Морошкин [48], читая в политическом отделении, находившемся под нами, и услыша такой гром, сострил, сказав, что грому прилично быть на Олимпе, а не на Парнасе. Юридическое отделение в наше время называлось политическим и было очень плохо; «словесники» питали великое презрение к «политикам».

Не могу не рассказать про один смешной случай, бывший на лекции у Надеждина. Он как-то вздумал сделать репетицию и стал нас спрашивать, спросил и Бодянского, сидевшего на задней лавке. Бодянский поднялся и стал отвечать, как по книге, и при этом беспрестанно опускал глаза на стол. Студенты засмеялись. «Он по книге читает»,— заметили они друг другу. Надеждин, вероятно, услыхал это и, сам заметя книжный слог ответа, сказал, несмотря на свою деликатность: «Извините, г. Бодянский, мне кажется, вы по книге читаете». «Нет»,— отвечал Бодянский и спокойно продолжал свой ответ. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша постоянно ровный книжный язык, сказал: «Извините меня, г. Бодянский, пожалуйте к кафедре». Бодянский замолчал, послышался стук и топот: это Бодянский приближался к кафедре, стал перед нею и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, точь-в-точь как на задней лавке. «Сделайте милость, извините меня,— сказал Надеждин,— прекрасно, прекрасно!»

Бодянский был одним из самых дельных студентов, серьезно занимался историей и теперь занимает в области науки всем известное почетное место.

---

* Долой, долой! *(фр.)*

Между нами были еще студенты того прежнего буйного склада, о которых мы знаем теперь только по преданию, как о старине. Таков был К., часто пьяный, буйный, производивший драки и на улицах. У Шевырева была привычка, если кто зашумит на лекции, обратиться к лавкам и сказать: «А?» Раз как-то, при К., он тоже, обратясь к студентам, спросил: «А?» — «Бе»,— отвечал ему К. громогласно. Шевырев смутился и не сказал ни слова. Был у нас и студент другого рода, хохотун Ч., бравший два платка с собой на лекции: один, чтоб утирать нос, а другой, чтоб затыкать рот, когда начнет смеяться. Лекции у нас следовали, без всяких промежутков, одна за другою, иногда продолжаясь шесть часов сряду. Это было очень утомительно. За Давыдовым следовал Каченовский, и студенты, зевая, спрашивали друг друга: что это, следствие ли Давыдова, или предчувствие Каченовского?

Я перешел на третий курс. Станкевич, Строев, Ефремов, Красов, Бодянский вышли кандидатами, и аудитория наша опустела. Студенты из первого курса перешли на второй, но из них не было никого, особенно замечательного. Замечательнее других был Сазонов [49], перешедший из другого отделения и принадлежавший к кружку Герцена, кружку совершенно иного склада, чем кружок Станкевича, кружку, любившему тогда эффекты и картинность. Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер; он старался со мною сблизиться, желая сделать из меня прозелита [50], чего ему, однако, не удалось. Дм. Топорнин, Толмачев были короче других со мною. На третьем курсе мы уже были на первом плане, считались первыми студентами (хотя я, собственно, отвечал большею частью плохо на репетициях) и получали при том вес студентов старых.

На третьем курсе нашем, помню я, вошел однажды в аудиторию один студент и сел вдалеке от других на задней лавке; мы узнали, что это был П., доносивший на Декампа, бывший по этой причине в отлучке все это время и вновь поступивший студентом на словесное отделение. Лицо его было бледно; он имел несчастный, жалкий вид. Никто не говорил с ним, не подходил к нему. Он постоянно был как бы отверженным и потом не знаю куда девался.

Строев держал список у Декампа. Держать список значило делать перекличку, а иногда и без пере-

клички отмечать отсутствующих студентов. Эти списки не были в употреблении у профессоров, и, сколько помню, один Декамп придавал им значение. Он спросил Строева, перед выпускным экзаменом его курса, кому передать список после него? Строев назвал меня. Я был очень не рад, но студенты были довольны, ибо они знали, что я абсов ставить не буду. Однажды, перед лекцией Декампа, когда еще он не успел прийти, студенты подошли ко мне и объявили: «Аксаков, мы все идем от Декампа».— «Полноте, господа,— сказал я,— останьтесь, как вам не стыдно? Ведь мое положение все же неловко».— «Нет, мы идем непременно».— «В таком случае и я иду с вами»,— сказал я, и мы все вместе вышли из аудитории, вошли в переднюю, пошли за загородку, где висели наши шинели, надели их и приготовились идти,— вдруг является Декамп; мы поспешно затворили <дверь> из перегородки и ждали, пока Декамп уйдет. Декамп вошел в аудиторию, спросил солдата, где студенты, и тот отвечал ему: «Ушли».— «Как ушли?» — «Ушли». Декамп воротился в переднюю, вероятно, с тем, чтоб ехать назад, как вдруг увидал, сквозь плохо притворенную дверь, рукав студента Иванова. Декамп отворил дверь,— и вся аудитория в шинелях явилась ему в полном собрании. Я, как державший список, вышел вперед и стал перед Декампом. «Est-ce que nous jouons à cache — cache?» * — заговорил Декамп. Мы сняли шинели, вернулись в аудиторию и сели по лавкам. Декамп разъярился; исковерканным русским языком приказал он солдату идти к инспектору (тогда только заводился инспектор; его должность правил Клименко). «Я не знаю, где живет инспектор»,— отвечал солдат, благоволя студентам. Наконец, Сазонов встал, подошел к кафедре и утишил гнев Декампа.

Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это другой вопрос. Сазонов, точно, был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства,

* Мы что, в прятки играем? (*фр.*)

с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает. Если профессор поправлял явную ошибку Сазонова, Сазонов соглашался на поправку профессора, или как бы с снисхождением, или же как на дело, ему совершенно известное, но о котором он, странно, в самом деле, как будто позабыл. Итак, я тогда же увидал и заметил этих мастеров, действующих так ловко не на одной студентской лавке, но и в жизни,— этих ловких людей, небрежных, по-видимому, но так умеющих себя выставить, и так искусно, что увидят все, что им хотелось выставить, а не увидят того только, как они себя выставляют. Конечно, со временем должна раскрыться эта тайна, должен быть замечен и оценен их талант, но, конечно, не вдруг, и, конечно, не всеми. Впрочем, тут много зависит от степени мастерства. Я говорил Сазонову о его ловкости, он смеялся и советовал мне так же действовать. Но такой образ действий был мне совершенно противоположен, и такого мастерства я никогда не хотел и не хочу.

На второй курс, когда мы были на третьем, поступил к нам в аудиторию невыносимейший студент С., забияка, и трус, и шут в одно и то же время. Однажды он до того приставал к К., что тот ударил его в лицо и расшиб ему нос до крови. «Вот я так и пойду к инспектору!» — заревел С.— «Стой! — закричали студенты,— не смей ходить; мы это дело покончим сами». Студенты подошли с С. к К. и окружили их обоих. «К., ты ударил С.? проси прощенья». К. медлил. «Проси прощенья!» — крикнули студенты. «Прошу»,— сказал К. Ободренный С. закричал, торжествуя: «Нет, скажи: прошу прощенья»! Слова его при его нелепом голосе и выражении торжества на лице возбудили всеобщий смех. К. сказал: «Прошу прощенья»,— и суд окончился.

Во время наше каждый месяц, в субботу кажется, заставляли студентов всходить на кафедру и читать что-то вроде лекции. Дело это не пошло, и на это<м> не настаивали. Кажется, произошло такое учреждение после чтения лекций при министре, чтения, крайне неудачного. Зная, что будет такое чтение, Ив. Ив. Давыдов заранее взял свои меры и сказал некоторым студентам приготовиться, в том числе и мне. Впрочем, на меня, кажется, он мало надеялся. В назначенный день явился министр в сопровождении многочисленных по-

сетителей. Вызван был Толмачев, взошел на кафедру и сильно срезался. За ним вышел С., врал немилосердно, только и слышалось: «Нуменон, феноменон». Уваров [51] пустился с ним в рассуждение, и когда С. окончил свое вранье, сказал, что, по крайней мере, С. говорил *свое*; а тот, подходя к нам, выговорил только: «Посмотри-ко, как я вспотел». После двух таких неудач очередь дошла до меня; я должен был читать о лирической поэзии. Сконфузившись сильно, я не вдруг заговорил; да надо было и сообразить сперва, что говорить, ибо я не ожидал, что буду читать лекцию. Уваров сказал: «Вы конфузитесь, я отодвинусь в сторону». Я, наконец, заговорил. Уваров приписал это тому, что он отодвинулся. Кой-как продолжал я жалкую лекцию, говорил о Державине, о том, что он не чуждался простонародных слов, и привел стихи:

Ретивый конь, осанку горду [52]
Храня, к тебе порой идет;
Крутую гриву, жарку морду
Подняв, храпит, ушми прядет.

«Где же тут простонародное слово?» — спросил меня Уваров. «Морда»,— отвечал я ему.— Он был очень доволен. Лекция окончилась; других чтений, сколько помню, не было. Студенты говорили, что я еще хорошо прочел; но я знал, что весьма плохо.

В 1835 году праздновали день основания университета ровно 20 лет тому назад; мне было семнадцать лет. Однажды Давыдов, после или прежде своей лекции, объявил мне, что профессора просят меня написать стихи на этот день; Давыдов, говоря это, обнимал меня как-то сбоку, называл: товарищ. Я согласился охотно, и здесь должен повиниться в том, что и теперь лежит на моей совести. В извинение себе скажу, что я тогда еще многого не успел себе определить. Я знал, что надобно приделать официальное окончание, и чтоб облегчить себе эту необходимость, я окончил свои стихи стихами Мерзлякова [53], в которых собственно лести нет, но которые имеют казенный отпечаток. <...>

Пришло 12 января 1835 года [54]. Круглая зала в боковом правом строении старого университета была уставлена креслами и стульями; кафедра стояла у стены. Зала наполнилась университетскими властями, профессорами и посетителями; во глубине ее тол-

пились студенты. Кубарев читал латинскую речь, конфузясь и робея так, что шпага его тряслась. Наконец он кончил; я взошел на кафедру. Вначале я смутился и читал невнятно. Наконец смущение прошло, я громко читал свои стихи и, обратясь к своим товарищам, прочел с воодушевлением:

И вместе мы сошлись сюда,
С краев России необъятной,
Для просвещенного труда,
Для цели светлой, благодатной!
Здесь развивается наш ум
И просвещенной пищи просит;
Отсюда юноша выносит
Зерно благих полезных дум.
Здесь крепнет воля, и далекой
Видней становится нам путь,
И чувством истины высокой
Вздымается младая грудь!

Я видел, как на них подействовало чтение. Только я окончил стихи, раздались дружные рукоплескания профессоров, посетителей и студентов... Товарищи мои были в самом деле очень довольны.

На третьем курсе, незадолго до экзаменов, решились мы — я, Сазонов и Дм. Топорнин, кажется, брать уроки греческого языка у Ивашковского. С нашей стороны это было captatio benevolentiae*; я греческий язык на втором и третьем курсе почти позабыл, другие двое были тоже плохие эллинисты. Мы приезжали к нему по вечерам брать уроки. Ивашковский был самый плохой преподаватель, особенно как профессор; но был человек ученый и греческий язык знал отлично. На этих уроках увидал я, что можно бы много было воспользоваться знаниями и замечаниями Ивашковского. Я помню одно его замечание о Гомере, чрезвычайно верное,— и которое, не знаю, сделал ли кто другой? «Заметьте,— говорил Ивашковский,— что Гомер никакого явления в природе не изображает без присутствия человека, без свидетеля этого явления; древнее созерцание допустить этого не может, по самой полноте своей. Гомер говорит: *раздался гром, задрожала земля,— и пастырь слышит и скрывается»*. Замечание чрезвычайно верное и кидающее свет на созерцание древне-

* Стремление снискать симпатию (*лат.*).

го мира; разумеется высказано оно было неловко и в пересыпку с *«будет»*.

Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собою всю пошлость, всю наружную благовидность, и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократики сшили себе щегольские мундирчики и очень ими были довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже надевать свое форменное платье. Аристократики пошли навстречу требованиям начальства. От нас не требовали форменных шинелей, и мы носили партикулярные; новые студенты сшили себе сейчас форменные шинели; начальство это утвердило и стало требовать форменных шинелей. Мы являлись только в публичных местах в форме, во всех других местах, даже на больших балах и на улице мы носили партикулярное платье; аристократики появились в своих щегольских мундирчиках всюду; начальство было довольно и стало требовать постоянного ношения формы. Мы продолжали ходить по-прежнему, и я знаю, что нас уже не хотели трогать, а ждали. пока мы выйдем из университета. Сурово смотрели старые студенты на этих новых поклонников форменности, предвидели беду и держали себя с ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская ватага наводняла нашу словесную аудиторию во время лекций Надеждина, которому поручено было на третьем курсе читать логику, которую обязан был слушать и первый курс. Мы не пускали к себе на лавки этих модников, от которых веяло бездушием и пустотою их среды. Прежде русский язык был единственным языком студентским; с этих пор начал раздаваться в аудитории язык французский. Недаром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность завладели университетом и принесли свои гнилые плоды.

Перед самым нашим выходом из университета Надеждин оставил профессорство, и мы: я, Сазонов, Толмачев, Дм. Топорнин поднесли ему кубок. Мы явились на сей раз в полной форме, желая придать делу торжественность.

Между тем приблизились выпускные экзамены. Они сошли благополучно. На экзамене Давыдова, бывшем ввечеру, я, отвечав, должен был написать

тут же нечто вроде сочинения; я написал и подал. Голохвастов принялся читать и потом подозвал меня. «Аксаков, как это вы написали «нынче»? Разве это можно?» — спросил он. «Отчего же нет,— отвечал я,— слово — вполне русское».— «Но этого нельзя писать».— «Да отчего же? ведь мы говорим это слово». Голохвастов обратился к Давыдову, который отвечал тем, что спросил меня: «Разве вы слышали с кафедры такое слово?» — «Не помню,— отвечал я,— но слово тем не менее законно».— «Как вы думаете, Иван Иваныч,— сказал Голохвастов,— ведь это показывает упадок языка?» Спор продолжался; и я, желая прекратить его и идти домой, сказал: «Ну, хорошо, я вам уступаю это слово». Сказавши это, я пошел от них. Il est bien bon, il nous cède *,— сказал мне вслед Голохвастов. Наконец экзамены окончились, и я вышел кандидатом.

На одной из лекций, перед выпуском нашим, увидали мы в числе слушателей, на лавке, в стороне, генерала. Это был граф Строганов[55]. Он был предвозвестником нового порядка, который, вскоре после нашего выхода, и завелся в университете.

Скажу в заключение. В наше время профессорское слово было часто бедно, но студенческая жизнь и умственная деятельность, неразрывно с нею связанная, не были подавлены форменностью и приносили добрые плоды. В последующее время со стороны профессоров слово, быть может, стало вообще ученее и умнее, но зато студентская жизнь и весь университет подчинились влиянию форменности. Студенты скоро начали увлекаться прелестью светской пустоты и приличными манерами. Внешность, несмотря на всевозможное свое изящество, или лучше — тем сильнее, проникает в живую душу и оцепеняет внутреннюю и всю духовную, единственно нужную сторону человека.

Сила внешности растет, и надо ожидать, что университет обратится скоро в корпус, а студенты в кадетов.

12 января 1855 г.

Слава Богу! Это ожидание не сбылось. Просвещение теперь уважается, и ему дается ход[56].

---

* Это прекрасно, он нам уступает *(фр.)*.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОШЕЛЕВ

(1806—1883)

Жизненный опыт Кошелева-мемуариста необычайно богат. Александр Иванович прожил без малого 80 лет и был свидетелем грандиозных исторических событий. Его детская память сохранила впечатления, связанные с Отечественной войной 1812 г. Юность его оборвалась казнью декабристов и первыми репрессиями николаевского царствования. Кошелев был семью годами моложе Пушкина; он пережил Крымскую (1854—1856) и русско-турецкую (1877—1878) войны, стал активным деятелем Крестьянской реформы 1861 г. и умер за несколько лет до дебюта первых русских символистов.

Человек умный, требовательный к себе, хорошо знающий цену документальному свидетельству, Кошелев почитал своим гражданским и нравственным долгом написать о виденном и пережитом им. «Да поможет мне Бог совершить дело, которое со временем может быть полезным» [1] — так определил он во «Вступлении» смысл и назначение своих «Записок».

Александр Иванович Кошелев родился в старинной дворянской семье. Отец его, Иван Родионович, после смерти родителей был отдан на попечение своему дяде Мусину-Пушкину, который в ту пору был послом в Лондоне. Там Иван Родионович не только изучил английский язык, но три года слушал лекции в Оксфордском университете и получил прекрасное образование. Когда он вернулся в Россию, Г. А. Потемкин взял было его к себе в адъютанты, но, заметив расположение императрицы Екатерины II к молодому красивому офицеру, немедленно удалил Ивана Родионовича из Петербурга.

---

[1] Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884. С. 1. Далее ссылки на это издание будут приводиться с указанием страницы.

Второй женой Ивана Родионовича была дочь французского эмигранта Дарья Николаевна Дежарден, умная, волевая и очень начитанная женщина. Александр Иванович был единственным ребенком от этого брака, а потому пестовали его особенно заботливо.

Кошелевы жили в Москве, лишь на лето переезжая в село Ильинское, подмосковное имение Ивана Родионовича. Заметим кстати, что Кошелев-старший хотя и был рачительным хозяином, но обращался с крепостными настолько мягко, что в Москве его прозвали «либеральным лордом». Так что первые уроки милосердного отношения к крестьянину Александр Иванович усвоил от отца. Исконное уважение к человеку, независимо от социальной иерархии, помогло Ивану Родионовичу сберечь в себе и воспитать в сыне неистребимое чувство собственного достоинства, редкое во всех сословиях в России в те времена, когда искательство, лесть и угодничество были фундаментом карьеры.

Александр Иванович так хорошо усвоил уроки отца и был столь щепетилен в вопросах чести, что карьера его в общем-то не состоялась, хотя он обладал всеми данными для того, чтобы сделать ее блестящей.

Однажды в Лондоне, в 1832 г., Александр Иванович обедал у графа М. С. Воронцова. Среди приглашенных был всесильный в ту пору граф А. Ф. Орлов, начальник III Отделения. Во время оживленного разговора Орлов вдруг обратился на «ты» к советнику посольства, приглашая его куда-то поехать. Советник почтительно отвечал: «С большим удовольствием, ваше сиятельство». Кошелев тихо сказал соседу: «Ну, как он и нас тыкнет?» Не успел он произнести эти слова, как Орлов, взглянув на него, спросил: «А ты?» Кошелев тотчас отвечал: «С тобою я охотно всюду поеду». Все замерли от напряжения, и М. С. Воронцов поспешно перевел разговор. Надо отдать должное Орлову: он почувствовал к Кошелеву уважение. Подойдя после обеда к Александру Ивановичу, он сказал: «Так завтра я вас жду, и мы вместе поедем».

Как узнает читатель из «Записок», подобный эпизод с К. В. Нессельроде закончился более тривиально: не пожелав угодить министру, Кошелев поплатился за это карьерой.

Однако вернемся к временам более ранним. Поначалу воспитанием сына занимались сами родители. Иван Родионович учил его истории, географии и русскому языку, мать — французскому. Для полноты образования был приглашен дядька-немец, и мальчик, одаренный большими способностями, вскоре овладел двумя языками.

Иван Родионович умер в 1818 г., когда Кошелеву было 12 лет, но Дарья Николаевна продолжала заниматься воспитанием сына. К нему были приглашены профессора Московского университета А. Ф. Мерзляков и Х. А. Шлецер. Первый преподавал Кошелеву русскую и классическую словесность, второй — политические науки. Мерзляков, когда бывал трезв, говорил вдохновенно и пробудил в Кошелеве живой интерес к древним классикам. Занявшись греческим языком и латынью, Александр Иванович еще до поступления в университет переводил Платона, Фукидида, Ксенофонта и знал наизусть в оригинале первую песнь «Илиады». «Я всегда и всем занимался страстно»,— писал он впоследствии (с. 47).

Его отрочество было озарено дружбой с Иваном Васильевичем Киреевским, замечательный ум и способности которого проявились так же рано, как и у Кошелева. Связанные общностью взглядов и интересов, они шли одной стезей до самой смерти Киреевского (в 1856 г.). Потеряв друга, Александр Иванович сказал: «Я с ним схоронил как будто половину себя» (с. 89).

В 1822 г. Кошелев поступил в Московский университет, но уже через год оставил его, не желая слушать обязательные, но неинтересные ему лекции. Он продолжал брать уроки у Мерзлякова и Шлецера и вместе с Киреевским усердно занимался самообразованием. Занятия их вскоре приобрели особое направление, так как они познакомились и сблизились с В. Ф. Одоевским и Д. В. Веневитиновым, увлеченными немецкой философией, преимущественно Шеллингом. Совместное изучение эстетики Шеллинга, разговоры о политике, искусстве и науке, сходство взглядов и склонностей привели к тому, что в 1823 г. организационно оформилось «общество любомудрия» — кружок, тайно собиравшийся в доме у В. Ф. Одоевского. Понятно, что ореол тайны имел для молодых людей особое обаяние.

Как и поколение декабристов, все они отличались ранней духовной зрелостью. Широта их интересов, обширность знаний, глубина проникновения в вопросы эстетики и философии еще и сейчас поражают воображение.

В июле 1825 г. Веневитинов, не перешагнувший еще порога двадцатилетия, писал Кошелеву: «Я прочел письмо ваше с большим удовольствием и вижу, что древо истинного познания пустило в рассудке вашем глубокие корни — это не мешает, что я хочу еще поспорить; я не выдаю слов своих за истину, но только за искреннее выражение своего убеждения, и рад принимать истину из уст другого. Ваша диалектика очень верна, все ваши доказательства выливаются из одного начала; но мне кажется, что вы потеряли из виду основной закон всякой философии, главную мысль, на которой она должна зиждиться. Если цель всякого познания, цель философии есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть началом всего»[1].

Конечно, в этих рассуждениях еще много наивного, неустоявшегося, но эти юноши и тогда уже были цветом нарождавшейся русской интеллигенции и так много обещали в будущем своему отечеству. Судьба каждого из них сложилась трагически: Россия отказалась принять щедрые дары их ума и таланта.

Хотя через несколько лет вопросы философии затуманились, померкли и отступили перед проблемами, продиктованными реальной жизнью, положительный и трезвый ум Кошелева не раз находил возможность связать эти вопросы с требованиями русской действительности. Практик по преимуществу, Кошелев занимался всю жизнь очень конкретными делами: освобождением крестьян, откупами, землеустройством и т. п.

Б. Н. Чичерин писал о Кошелеве: «Я мало встречал образованных людей с меньшей способностью к теоретическим вопросам. Иногда я даже удивлялся, как человек, несомненно очень умный в сфере практических интересов, оказывается до такой степени слабым, когда речь заходит о теоретическом предмете»[2].

---

[1] Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 349.

[2] Чичерин Б. Н. Воспоминания: Москва сороковых годов. М., 1929. С. 232.

И все-таки ни в делах Кошелева, ни в книгах, написанных им, нет узкого прагматизма. Не шеллингианская ли подготовка уберегла его от этого греха, столь распространенного среди практических людей? Не она ли предопределила на многие годы вперед свободный полет его незакрепощенной мысли?

В 1824 г. Кошелев, Киреевский, Веневитинов и некоторые другие члены их кружка поступили на службу в московский Архив иностранных дел. Служба не обременяла их; посещая Архив лишь два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, они по-прежнему отдавали свободное время занятиям, научным беседам, коллективной работе над переводами и литературными сочинениями. Архив вскоре прослыл местом, где собирается блестящая молодежь, и, по словам Кошелева, «звание «архивного юноши» сделалось весьма почетным» (с. 11).

Светлая полоса жизни, окрыленной надеждами, поисками гармонии «между миром и человеком», продолжалась недолго. Тотчас же после 14 декабря 1825 г. собрания кружка прекратились. Причиной тому были не только обыски и аресты, подбиравшиеся все ближе к ним; политические события, потрясшие участников кружка, слишком наглядно показали им несоразмерность жизни с отвлеченными философскими представлениями о ней.

Биография Кошелева — это биография его поколения и прежде всего его друзей. С тем же напряжением духовных сил, с каким они только что изучали философию, молодые люди начали готовить себя к подвигу во имя освобождения России. Кошелев вместе с Киреевским занимается верховой ездой и фехтованием «в ожидании торжества заговора в южной (второй) армии и в надежде примкнуть к мятежникам в их предполагаемом победоносном шествии через Москву на Петербург»[1]. Все рушится на их глазах, и чуть позднее, когда уже не остается никакой надежды, каждый из них «почти желает быть взятым», чтобы «стяжать и известность, и мученический венец» (с. 16—17).

После смятения и растерянности, охвативших их в первый момент, начали созревать новые планы.

---

[1] Веневитинов М. К биографии поэта Д. В. Веневитинова // Русский архив, 1885. № 1. С. 115.

В сентябре 1826 г. уехал в Петербург и определился на службу в Министерство иностранных дел Кошелев. Вслед за ним, в ноябре, оставил Москву Веневитинов. Они еще очень смутно представляли себе будущую сферу своей деятельности, но твердо знали одно: действовать необходимо.

Близкий к кружку бывших любомудров М. П. Погодин записал в дневнике летом 1826 г.: «Приехал Веневитинов. Говорили об осужденных. Все жены едут на каторгу. Это делает честь веку. Да иначе и быть не могло. У Веневитинова теперь такой план, который у меня был некогда. Служить, выслуживаться, быть загадкою, чтобы, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь больший круг действия» [1].

Веневитинов, самый хрупкий из них, был первым, кого сломила реакция, кто, по словам Герцена, не смог «дышать воздухом этой зловонной эпохи» [2]. Смерть Веневитинова еще теснее сблизила его друзей.

В эти и последующие годы Кошелев испытал сильное влияние А. С. Хомякова, ближе сошелся с М. П. Погодиным, интенсивно переписывался с оставшимся в Москве И. В. Киреевским. Все они по-прежнему были одушевлены общим стремлением приносить пользу отечеству, но представления о пользе у каждого из них начали мало-помалу изменяться. Киреевский все более погружался в сферу «чистого духа» и постепенно начал удаляться от практических дел.

«Служить — но с какою целью? — спрашивал он Кошелева в одном из писем 1827 г.— Могу ли я в службе принесть значительную пользу отечеству? <...> Я могу быть литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать? <...> Куда бы нас судьба ни завела и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас всегда будет общая цель — благо отечества и общее средство — литература» [3].

Как показало время, Киреевский ошибался: цель у них в самом деле была одна, но представления о ней и средства к ее достижению — разные.

---

[1] Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Пб., 1889. Кн. 2. С. 32.

[2] Герцен А. И. Собр соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 223.

[3] Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 335, 336.

Практический характер деятельности Кошелева определился очень скоро и, может быть, именно поэтому несколько позднее, когда славянофильство стало идеологией его друзей, их фетишем и символом веры, Александр Иванович, хотя и разделял иные из их взглядов, но остался при этом как-то в стороне от их основного пути, нимало не поступаясь ни здравым смыслом, ни убеждениями, добытыми собственным опытом. Относясь с великим почтением к науке, любя философию и искусство, Александр Иванович знал цену опыту и понимал коренное отличие его от кабинетных занятий.

Много лет спустя, в 1858 г., Кошелев не преминул сказать Александру II о значении своего личного опыта, передавая ему свои «Записки по уничтожению крепостного состояния в России»: «Следя за ходом помещичьих хозяйств и крепостного быта, прислушиваясь к словам дворян, крестьян и дворовых людей и наблюдая за действиями тех и других,— исполняя все это не в столичном кабинете, не в уединенном сельском домике, не силою воображения, не кратковременными урывками, а постоянно на месте, по разным губерниям, с помощью собственного зрения и слуха, при непрестанных и деятельных сельскохозяйственных занятиях, я пришел к полному убеждению в том, что настал крайний срок к принятию решительных мер для уничтожения крепостного состояния у нас в России» (Приложение пятое, с. 85—86).

Это действительное знание каждого дела, за которое он принимался, отличало Кошелева не только от его противников, но и от многих из его друзей.

Впрочем, до подготовки крестьянской реформы еще далеко. Кошелев живет в Петербурге, ведет, как и положено людям его круга и состояния, светскую жизнь, влюбляется, играет в карты. Мало-помалу он втянулся в игру и ночи напролет просиживал за зеленым сукном. Однако, почуяв опасность своим трезвым умом, он в один прекрасный день, к изумлению своих партнеров, порвал с игрой раз навсегда.

От природы он был наделен сильной волей; в юности он сознательно развивал в себе упорство в осуществлении цели.

Однажды приятели уговорили Кошелева выстрелить из пистолета: вместо цели он попал в потолок. Это задело его самолюбие, он тут же дал себе слово

сделаться хорошим стрелком и не расставался с пистолетом до тех пор, пока не стал одним из первых стрелков в Москве.

Круг его знакомств необычайно широк: он встречался с поэтами и министрами, с актерами и послами. Порой он бывал в тех же домах, что и Пушкин, но едва ли не единственный из современников поэта позволил себе написать в «Записках» характерную фразу: «Пушкина я знал довольно коротко; встречал его часто в обществе; бывал я и у него; но мы друг к другу не чувствовали особенной симпатии» (с. 31).

С тою же подкупающей непосредственностью Кошелев рассказал и о встречах с Гете во время своего первого заграничного путешествия.

Интересно, что, так же как и П. М. Ковалевский, человек другого поколения и иного душевного склада, Кошелев не был склонен изображать современников, даже самых известных, «на котурнах». Он проницательно подметил в Гете мелкие человеческие слабости, особенно несоразмерные с величием его ума и таланта. Этот контраст с удивительной мягкостью, юмором и литературным мастерством показан в «Записках» Кошелева: «...глаза живого Гете и выражение его лица меня поразили. Когда мы сели, то Гете тотчас начал говорить о великой княгине, о счастии Веймара, обладающего таким сокровищем, и пр. Потом он заговорил о великом нашем императоре, о могуществе России и пр. Мне хотелось навести Гете на предмет более интересный, а потому позволил себе маленькую ложь, сказавши Гете, что Жуковский ему кланяется. «Ах,— подхватил Гете,— как счастлив действительный статский советник фон-Жуковский, имея лестное поручение заботиться о воспитании наследника всероссийского престола». Дальнейший разговор продолжался в том же смысле, и я ушел более чем разочарованный» (с.36—37).

Эта спокойная объективность, доступная лишь немногим мемуаристам, сообщает запискам Кошелева обаяние особой достоверности.

Начиная с 1832 г. Кошелев часто, иногда ежегодно, бывал за границей. В Берлине он слушал знаменитых профессоров Шлейермахера и Ф. Савиньи. О Росси, на лекциях которого по судопроизводству и уголовному праву бывал в Женеве, он писал: «Этот человек развил во мне много новых мыслей и утвер-

дил во мне *настоящий либерализм,* который, к сожалению, у нас редко встречается...» (с. 39). Эта глубинная связь с западноевропейской культурой определила многое в поведении и миросозерцании Кошелева в ту пору, когда он сблизился с кружком славянофилов.

В 1835 г., вспоминал Кошелев, «выказались *первые начатки* борьбы между нарождавшимся *русским* направлением и господствовавшим тогда *западничеством.* Почти единственным представителем первого был Хомяков, ибо и Киреевский, и я, и многие другие еще принадлежали к последнему» (с. 55). Глубокая образованность, широта суждений, практическая сметливость и независимость мысли так гармонично соединились в цельной натуре Кошелева, что он воспринял славянофильство под своим, совершенно особым углом зрения, значительно отличавшимся от представлений Хомякова, Киреевского, Аксаковых.

Начав работать над «Записками» в 1869 г., когда не только умолкли споры его друзей с западниками, но и сошли в могилу И. Киреевский, А. С. Хомяков и К. С. Аксаков, Кошелев, от природы терпимый и чуждый фанатизма, как-то по-особому бережно писал о славянофилах, их идеях и стремлениях. Но, как это часто бывает, его собственный характер, его восприятие невольно корректировали прошлое, смягчая то, что когда-то было болезненно-острым. Желая оградить своих друзей от незаслуженных обвинений и упреков, от насмешек и клеветы, он рассказал в своих записках лишь о том, что в их учении имело непреходящую ценность.

Трудно сказать, сознательно или невольно умолчал он о фанатизме бывших единомышленников, об их разнообразных «перегибах»; так или иначе, это умолчание — не фальсификация истории, а дань благородной души памяти друзей. И все же, отдавая эту дань, Герцен и Б. Н. Чичерин были бесспорно объективнее.

Практик по натуре и призванию, Кошелев во многом расходился со славянофилами. Вместе с тем он щедро субсидировал многие славянофильские издания. Далекий от культа допетровской Руси, от консерватизма своих друзей, Александр Иванович жаждал дела, устремленного к социальным переменам, прежде всего — освобождения крестьян. Он мечтал об этом давно, с того времени, когда избранный пред-

водителем дворянства (1839 г.), воочию увидел чудовищные злоупотребления помещичьей властью. «Отсюда,— вспоминал Кошелев,— начало последующих моих стремлений к ограничению помещичьей власти и к освобождению крестьян и дворовых людей от крепостной зависимости» (с. 57).

Настойчивость Кошелева в приближении и осуществлении этой цели не вызывала сочувствия даже у ближайшего его друга И. В. Киреевского, которого, как и других славянофилов, не слишком манила идея общественных преобразований. Было бы хорошо, писал Киреевский Кошелеву в 1851 г., чтобы вопрос об освобождении крестьян «не трогался до тех пор, пока у нас не изменится направление умов, покуда западный дух не перестанет господствовать в наших понятиях и в нашей жизни <...>Покуда мы идем и ведемся по этой дороге, дай бог, чтобы у нас делалось как можно меньше перемен, особенно перемен существенных» [1].

Однако Кошелев упорно и неуклонно следовал по избранному им пути. В 1847 г. он написал Л. А. Перовскому, в ту пору министру внутренних дел, письмо об улучшении быта помещичьих крестьян. Затем обратился с таким же предложением к дворянству Рязанской губернии. Увы, «свободы сеятель пустынный», он «вышел рано, до звезды». Министр посоветовал Александру Ивановичу улучшить быт его собственных крестьян (что, кстати, уже было им сделано); что же касается дворян, они оказывали Кошелеву сопротивление во всех доступных им формах. Не столь значительно изменилось положение и в 1858 г., когда Кошелев обратился уже непосредственно к Александру II и заключил свою записку (упоминавшуюся выше) словами: «...все изложенные нами обстоятельства налагают в настоящее время долг неукоснительно заняться делом освобождения крепостных людей. Конечно, оно может быть совершено не в один, не в два, не в три года, но приняться за него надобно *сейчас,* ибо каждая грядущая минута может произнести страшные слова: *Теперь уже поздно»* (Приложение пятое, с. 92).

После крестьянской реформы 1861 г. общественная деятельность Кошелева становится менее интен-

[1] Киреевский. И. В. Критика и эстетика. С. 375.

сивной. Правда, Александр II не упустил возможности использовать деловые способности Кошелева, назначив его в 1864 г. членом Учредительного комитета и поручив ему взять на себя управление финансами в царстве Польском. В том же году Александр Иванович уехал в Варшаву, где, как всегда, работал не за страх, а за совесть, свято оберегая справедливость и законность, столь часто нарушаемые русской администрацией в Польше. Через два года Кошелев получил поощрение: его грудь была украшена звездой и лентой Станислава 1-й степени. Несмотря на это он вышел в отставку и к служебной деятельности более не возвращался.

С тех пор Александр Иванович жил в России, занимаясь сельским хозяйством и литературным трудом. Публицистические работы Кошелева были всецело связаны с его общественной деятельностью, однако по странной прихоти судьбы он получил признание лишь как земский деятель; книги же его были известны только узкому кругу его друзей и единомышленников.

Кошелев как-то сказал: «Наше общество и наша печать сильно страдают лакейством» (с. 223). Тем более трудно было ему сохранить до конца своих дней независимость мнений и твердость позиции. Его работы, посвященные острым проблемам современности, отражали трезвый взгляд честного, мыслящего человека на то, что происходило в России. Печатать эти работы на родине было нельзя: после кратковременной передышки цензура в 70-х годах вновь стала жесткой, въедливой, настороженно-подозрительной.

В 1874 г. Кошелев написал и напечатал в Берлине книгу «Наше положение», через год он издал там же следующую работу — «Об общинном землевладении». Обе книги подверглись в России «безусловному запрещению».

Работая над «Записками», Кошелев задавал себе вопрос, почему были запрещены его книги, не содержащие никакой крамолы, и убежденно отвечал: это произошло потому, что в них «высказаны некоторые правды насчет настоящего нашего положения и действительного ведения у нас дел; что они изложены хотя и без злобы и насмешки, но и без утайки и прикрышки; и что тем нарушается гармония лжи, которою стараются все прикрыть» (с. 215—216).

Цензурные запреты не сломили его; он по-прежнему вел активную, деятельную жизнь. Постоянно бывая за границей, он с пристальным интересом всматривался в происходящие там перемены — тем более что с воцарением Александра III Россия вновь (в который уже раз на памяти Кошелева!) вступила в полосу реакции и застоя. Александру Ивановичу было уже за 70 лет, а он все никак не мог укротить свой общественный темперамент, и то, о чем не мог сказать гласно в печати, высказывал в «Записках». Он обличал в них косную и трусливую русскую администрацию, говорил с горечью гражданина и патриота об апатии, охватившей общество, предупреждал об опасности, которую таила в себе зловещая фигура набиравшего силу К. П. Победоносцева. И при этом с болью сознавал, что его «Записки» не изменят хода событий, а, в лучшем случае, лишь послужат уроком будущим поколениям.

Его воспоминания так и не увидели света на его родине. Вдова его Ольга Кошелева писала в предисловии к книге, изданной ею после смерти мужа в Берлине: «Не желая ради цензуры искажать и сокращать «Записки» дорогого мне человека, я решила, как это для меня ни тяжело, напечатать их за границею совершенно в том виде, в каком они вышли из-под пера моего мужа» (с. 5).

ЛИТЕРАТУРА

Колюпанов Н П. Биография А. И. Кошелева. М., 1889—1892. Т. 1—2.

Вскоре после коронации, т. е. в сентябре 1826 года, я отправился в Петербург на службу. Во время пребывания в Москве великих мира сего родственником нашим кн. С. И. Гагариным был я представлен графу Нессельроде [1], управлявшему тогда Министерством иностранных дел. Он пригласил меня приехать в Петербург, обещая поместить меня в свою канцелярию. По приезде в Петербург, я явился к дяде моему Род. Александ. Кошелеву [2], определившему меня <...> на службу. Он пользовался в Петербурге еще сильным влиянием и большим почетом, хотя блистательные времена для него уже прошли вместе с кончиною императора Александра. Дядя принял меня очень ласково и пригласил меня к себе обедать по воскресеньям и четвергам, а иногда посещать его и по вечерам, когда он за мною пришлет. Он был в это время уже слеп, но сохранял полную деятельность ума. У него в доме я познакомился с кн. А. Н. Голицыным [3] (который, по их мартинистским [4] связям, бывал у него ежедневно), с Сперанским [5], В. П. Кочубеем [6] и многими другими административными знаменитостями. Старик-дядя очень меня полюбил и в декабре того же года (1828) предложил мне жить у него и быть камер-юнкером, что он предполагал исходатайствовать через кн. А. Н. Голицына. Оба эти предложения меня смутили; но я решился тотчас же их отклонить. Отказаться от первого было не трудно, я представил дяде, что у него в доме в 10 часов гасятся свечи и все предается покою; а мне приходится ездить на балы и вечера и возвращаться домой во 2-м и 3-м часу. Но устранить второе предложение было гораздо труднее: он считал придворную атмосферу самою лучшею, даже единою, возможною для благомыслящего человека и верным путем к достижению почестей и политического влияния. <...>

Гр. Нессельроде поместил меня не в собственную свою канцелярию, а в отделение ее, которым заведовал гр. Лаваль [7] и которому поручено было делать выписки для императора из французских, английских и немецких газет. Сперва на мою долю достались немецкие газеты, но они вскоре ужасно мне надоели; они были не многим лучше наших русских, та же безжизненность и то же отсутствие политического смыс-

ла. Я начал учиться по-английски, желая получить английские газеты. Наша канцелярия состояла сперва из трех чиновников: Кремера, меня и Витте. Первый был человек очень умный и весьма способный и заведовал французскими и английскими журналами, а Витте был великолепным и неутомимым переписчиком — он как будто гравировал все наши выписки. Кремер был впоследствии секретарем нашей миссии в Вашингтоне, потом поверенным там в делах и, наконец, генеральным консулом в Лондоне, где и окончил свою жизнь. Витте остался в Петербурге, получая чины и ордена; но его я совершенно потерял из вида. Вскоре вступил к нам в канцелярию воспитанник лицея, Александр Крузенштерн [8], впоследствии сенатор и еще состоящий в живых. Как я уже несколько попривык к английскому языку, которым я занимался очень усидчиво, то, по совету Кремера, взял на себя английские газеты и передал немецкие Крузенштерну. Начальником нашим был сын французского эмигранта, гофмейстер гр. Лаваль. Хотя он был человек умный, но своим царедворством он нас очень забавлял. Перед поездкой во дворец он был всегда очень озабочен, словно готовился к священнодействию, а в важных случаях сперва он даже заезжал в католическую церковь и заказывал там молебен или что-то в этом роде. Особенное внимание он обращал на кухмистерскую часть в своем доме, давал славные обеды и этим он поддерживал свое значение в Петербурге.

Служба моя шла не блистательно; но у меня оставалось много времени для собственных занятий, для выездов в большой свет, для посещения приятелей и даже для кутежа.

В Петербурге я был не один из москвичей. Кн. Одоевский [9] еще прежде меня переехал в Петербург, женился на О. С. Ланской [10] и поступил на службу по Министерству народного просвещения, а именно в Комитет иностранной цензуры. Вскоре после меня приехал к нам Д. В. Веневитинов [11] и определен был в Министерство иностранных дел, по департаменту внутренних сношений. Не замедлил переездом в Петербург и В. П. Титов [12]. Мы все часто виделись и собирались по большей части у кн. Одоевского. Главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспоминали ста-

фину, пускались в философские прения и этим несколько себя оживляли.

Вскоре мы были поражены большим горем. Д. Веневитинов, при самом приезде из Москвы, был вытребован или взят в 3-е отделение собственной канцелярии и там продержан двое или трое суток [13]. Это его ужасно поразило, и он не мог освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него сделанным ему допросом. Он не любил об этом говорить; но видно было: что-то тяжелое лежало у него на душе. В марте он занемог тифозною горячкою; около двух недель был болен, и 15 марта он скончался. Эта смерть нас ужасно поразила и огорчила. Мы отпели его у Николы Морского и тело его отправили в Москву.

Во время болезни Д. Веневитинова, за которым и днем и ночью мы ухаживали, я близко сошелся с А. С. Хомяковым, с которым я прежде был только знаком. С этого времени мы стали часто видеться, и тут начало той дружбы, которую прервала только кончина незабвенного Алексея Степановича.

Окончился 1827 год; наступил и 1828; делание выписок из английских журналов прискучило мне до крайности и тем более что умный и веселый Кремер от нас выбыл и отправился в Северо-Американские Штаты. Он был замещен милым и весьма неглупым, но мало живым остзейцем гр. Медем. Гр. Нессельроде несколько раз обещал перевести меня в свою канцелярию; но только обещал и ничего не делал. Следующий случай заставил меня искать иной службы. Был концерт у графини Лаваль [14]; я сидел подле прелестной гр. Соллогуб (впоследствии Обресковой), за моим стулом стоял один приятель (Мертваго), который, увидевши, что гр. Нессельроде стоял подле меня, довольно громко сказал мне: «Кошелев, подле тебя стоит твой начальник, уступи ему свой стул». Взбешенный этими словами, я ответил ему также не тихо: «В обществе у меня нет начальников; если ты другого мнения, то принеси для него стул». Нессельроде вскоре отошел, но, вероятно, с мыслью: «Это — карбонари [15]; для нас такие люди не пригодны». Вскоре после того барон Николай, наш посланник при Копенгагенском дворе, просил о назначении меня секретарем при тамошней миссии, но гр. Нессельроде не изъявил на то согласия. Это и побудило меня искать службы по

иному министерству. Вскоре представился для того благоприятный случай. Д. Н. Блудов[16], управлявший в то время духовными делами иностранных исповеданий и бывший делопроизводителем комитета, учрежденного под председательством гр. В. П. Кочубея для преобразования разных частей государственного управления, пригласил меня к себе на службу. Я был прежде знаком с Д. Н. Блудовым; но особенно хлопотал обо мне кн. Одоевский, который в это время уже был по особым поручениям при Блудове. Я остался числящимся по Министерству иностранных дел с откомандированием к статс-секретарю Блудову.

Мой новый начальник был очень умен, образован и крайне добр; но характером он был слаб и труслив[17]. В те дни, когда он отправлялся к императору, он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверять свои часы с дворцовскими. Зато когда возвращался от императора, не получивши нагоняя, он был детски весел, не ходил, а летал по комнатам и готов был целовать всякого встречного. Добра делал он очень много, был доступен для всякого и готов выслушивать каждого, кому он мог чем-либо быть полезным. В большой упрек ему ставили написанное им донесение следственной комиссии по делу 14-го декабря. Конечно, оправдывать его я не буду; но, в извинение его, могу сказать, что он в этом уступил воле императора, как по слабости характера, так и потому, что он надеялся смягчить меру наказания для виновных, выставить многих менее преступными, чем увлеченными, даже до крайностей.

Блудов был большой и своеобразный «пурист» в русском слоге, и от этого он исправлял до смешного все бумаги, которые подавались ему к подписи. Сколько он любил исправлять, столько он не любил и почти не мог первоначально сам писать бумаги. Манифесты, изданные во время моего при нем служения, и важные рескрипты, порученные ему к написанию, были сочинены все мною и кн. Одоевским, но ни одно мое или его слово в них не сохранилось. Получив от императора приказание написать какой-либо манифест или иную важную бумагу, Блудов тотчас призывал одного из нас и сообщал, что нужно выска-

зать в требуемой бумаге. Я писал, как мог; Блудов обыкновенно хвалил мою работу, оставлял ее у себя; ночью он принимался ее исправлять, и к утру не оставалось в сочиненной бумаге ни одного моего слова. Затем кое-как мы разбирали его каракульки, переписывали и вновь ему представляли. Снова начинались переправки, которые продолжались до той минуты, когда он должен был везти бумагу к императору. Уверенность, что каждая бумага подвергнется тысяче и одному исправлениям, отнимала охоту что-либо написать хорошо. Однажды я решился испытать: я ли пишу плохо, или мой начальник одержим страстью исправлять все, что ему попадается под руку. Одну не очень важную бумагу, Блудовым особенно жестоко исправленную, я отложил в сторону на несколько недель и после ему подал ее, как будто мною только что написанную. Блудов, как и всегда, похвалил и ночью всю ее исчеркал и не оставил ни одного из прежних своих собственных слов. Это меня совершенно успокоило, и я получил убеждение, что мой умный начальник одержим недугом исправления и того, что не плохо. <...>

Во время моего служения у Блудова мне пришлось месяца три или четыре быть под начальством Д. В. Дашкова [18]. Блудов, уезжая за границу, с высочайшего соизволения, передал своему другу Дашкову свои обязанности как по главному управлению духовными делами иностранных исповеданий, так и по Преобразовательному комитету. Вследствие этого я должен был по отъезде Блудова явиться к исправляющему его должность. Являюсь; докладывают обо мне; «просит подождать». Жду час, два; снова докладывают, и снова «просит подождать». Наконец, уже 2-й час; я прошу вновь доложить и в ответ получаю: извиняется, что сегодня не может принять. Ухожу с твердым намерением не возвращаться к нему, пока сам он за мною не пришлет. Проходит три, четыре дня, и является ко мне курьер с приглашением к министру. Иду; Дашков тотчас меня принимает, и до возвращения Блудова я почти не выходил из его кабинета. Тут я имел случай довольно коротко узнать этого даровитого, истинно государственного человека. Он был, по природе, очень застенчив, а потому не любил новых людей и всячески избегал официальных приемов. Поэтому и меня он не решился принять

в первый раз, когда я к нему являлся. Вообще он не отличался деятельностью и трудолюбием; напротив того, он был ленив и дела любил откладывать до завтра; но когда необходимо было что̀ сделать, то он работал и день и ночь без устали. Взгляд его на дела был светлый и обширный. <...>

Много в Петербурге я ездил в общество, был почти со всеми знаком, играл в карты, но особенную отраду находил в посещении двух домов — Константина Яковлевича Булгакова [19] и Екатерины Андреевны Карамзиной [20], вдовы историографа.

Прежде чем говорить об этих двух домах, не могу не сказать несколько слов о том, что я чуть-чуть не сделался полным картежником. Петербургская жизнь содержала в себе мало животворного и очень располагала к пользованию всякими средствами нескучно убивать время. Мои петербургские приятели гр. Медем, Бальис, Фонтен и некоторые другие очень любили играть в карты, а именно — в экарте [21]. Умеренно в молодости я ничем не мог заниматься. Начавши играть в карты, я к ним пристрастился и считал почти напрасно прожитым тот день, в который мне не удавалось играть в карты. Это препровождение времени превратилось вскоре в страсть, и мы проводили вечера и даже ночи за картами, так что иногда прямо из-за карточного стола поутру, напившись чаю, отправлялись на службу. К счастью моему, я как-то занемог и дня два оставался один. Письма Киреевского [22], беседы с Одоевским, Хомяковым и некоторыми другими друзьями и собственное неудовлетворение ведомою мною жизнью заставили меня опомниться, и я решился более в карты не играть. Вскоре приятели мои, узнавши о моей болезни, посетили меня, потребовали карт; они были им тотчас поданы, но сам я играть не сел. Приятели мои сперва не верили моему решению, посмеялись над ним, всячески завлекали меня в игру, но я устоял на своем и до отъезда моего из Петербурга более карт в руки не брал. Впоследствии в Москве я играл в вист [23] по малой игре, но вскоре это мне надоело, и я совершенно и навсегда отказался от карт.

В доме Булгакова, с самого начала моего пребывания в Петербурге, я был принят как свой. Жена К. А. Булгакова, волошанка, не была особенно привлекательна ни разговором, ни обхождением, но он

был весьма добр, умен и умел сосредоточить в своем доме все, что было замечательного в Петербурге в административном и общественном отношении. Он был со всеми в самых лучших отношениях, делал очень много добра, помогал и советами, и заступничеством, и особенно любил молодых людей, которые у него были, как у себя дома. Тут я познакомился с гр. Каподистрия, с маркизом Паулуччи, с гр. Матушевичем и другими знаменитостями того времени. Хотя Булгаков был только почт-директором, однако личный его авторитет в Петербурге был таков, что его ходатайства уважались всеми министрами и когда он хотел кому помочь, то всегда достигал своей цели. Он умел сделаться необходимым для самих министров: не все они были между собою в хороших отношениях, а между тем все часто имели друг в друге надобность, а потому Булгаков был между ними посредником и притом посредником всегда удачным. Через Константина Яковлевича я узнал, почему император Николай был ко мне не расположен и считал меня un mauvais homme *. Гр. Бенкендорф [24], управляющий тогда 3-м отделением Собственной канцелярии, по просьбе Булгакова пригласил меня к себе и показал мне разные обо мне собранные сведения и в особенности перехваченное на почте письмо Киреевского ко мне, которое было совершенно ложно истолковано и даже вполне извращено. Киреевский в своем письме говорил о необходимости революции в нашем умственном и нравственном быте; а тайная полиция вообразила или с умыслом представила, что тут идет речь о революции политической, к которой душевно расположен был писавший, а равно и тот, по заключению 3-го отделения, к кому было написано письмо. А как Николаю Павловичу постоянно чудилась революция, то этот донос и крепко засел ему в голову.

В доме Е. А. Карамзиной собирались литераторы и умные люди разных направлений. Тут часто бывал Блудов и своими рассказами всех занимал. Тут бывали Жуковский, Пушкин, А. И. Тургенев [25], Хомяков, П. Муханов [26], Титов и многие другие. Вечера начинались в 10 и длились до 1 и 2 часов ночи; разговор редко умолкал. Сама Карамзина была женщина умная, характера твердого и всегда ровного, сердца

---

* Дурным человеком *(фр.)*.

доброго, хотя по-видимому с первой встречи холодного. Эти вечера были единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски.

На вечерах у Е. А. Карамзиной познакомился я с девицею Россети[27] и страстно в нее влюбился. Мы виделись с нею почти ежедневно, переписывались и, наконец, почти решились соединиться браком. Меня тревожила ее привязанность к большому свету, и я решился написать к ней с изъяснением страстной моей к ней любви, но и с изложением моих предположений насчет будущего. Я все изложил откровенно; и она ответила мне точно также; и наши отношения разом и навсегда были порваны *. Несколько дней после того я был совершенно неспособен ни к каким занятиям; ходил по улицам, как сумасшедший, и болезнь печени, прежде меня мучившая, усилилась до того, что я слег в постель. Доктора сперва разными лекарствами меня пичкали и, наконец, объявили, что мне необходимо ехать в Карлсбад.

Д. Н. Блудов выхлопотал, конечно, не без большого труда дозволение мне ехать за границу, потому что в это время, вследствие июльской революции во Франции и последовавших затем беспорядков и возмущений в Польше и Германии, император почти никому не разрешал отъезда в чужие края. Я почти обрадовался усилению моей болезни, вполне предался мысли о заграничном путешествии, и в несколько дней все приготовления к отъезду были окончены.

Заканчивая рассказ о петербургской моей жизни, я считаю нужным сказать еще несколько слов о замечательных людях, с которыми я был там в сношениях. Особенно я любил В. А. Жуковского, который ко мне был очень расположен, вероятно, вследствие того что друг его Авд. Петр. Елагина[28] меня ему особенно рекомендовала. Чистота его души и ясность его ума сильно к нему привлекали. По вечерам я встречал у него Крылова, Пушкина, бар. Дельвига[29] и других; беседы были замечательны по простоте и сердечности. Сам Жуковский, хотя жил в Петербурге и к тому же при дворе, поражал чистотою своей души. Пушкина я знал довольно коротко; встречал его

---

* Эта девица Россети впоследствии вышла замуж за Н. М. Смирнова и, по своему уму и любезности, сделалась известною в среде литературной и в высшем обществе Петербурга и Москвы. *(Прим. автора.)*

часто в обществе; бывал я и у него; но мы друг к другу не чувствовали особенной симпатии.

Барон Дельвиг был умный и очень милый человек. С особенным удовольствием он, бывало, рассказывал один случай, бывший с ним, как с издателем газеты [30]. Призывает его начальник 3-го отделения собственной его величества канцелярии, гр. Бенкендорф, и сильно, даже грубо, выговаривает ему за помещение в газете одной либеральной статьи: бар. Дельвиг, с свойственной ему невозмутимостью, спокойно замечает ему, что на основании закона издатель не отвечает, когда статья пропущена цензурою, и упреки его сиятельства должны быть обращены не к нему, издателю, а к цензору. Тогда начальник 3-го отделения приходит в ярость и говорит Дельвигу: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться и ими оправдываться».— Прелестный анекдот и вполне характеризовавший николаевские времена. <...>

* * *

Когда я несколько успокоился на счет своих финансовых дел, т. е. еще до передачи откупов летом 1847 года, я погрузился в чтение богословских книг. Зимние беседы с Хомяковым и Ив. Киреевским были главною побудительною причиною к этим занятиям. Мне совестно было, что, считавши себя христианином и просвещенным человеком, я всего менее знал основания моих верований. Чтение святых отцов особенно к себе меня привлекло, и я в одно лето прочел почти все творения Иоанна Златоуста и много из сочинений Василия Великого и Григория Богослова [31]. Эти занятия меня оживляли, поднимали, и я чувствовал себя как бы возрожденным.

Вместе с богословскими чтениями я не покидал и политических книг и журналов. В особенности начинала меня сильно занимать мысль об освобождении крепостных людей. Прожитое время в деревне и в делах не ослабляло, а усиливало во мне убеждение в необходимости этого преобразования.

Осенью 1847 года я решился вновь возбудить против себя гнев благородного дворянства. Как в декабре должно было рязанское дворянство собраться на выборы, то я вздумал сделать ему предложение на-

счет упорядочения отношений помещиков к их крепостным людям, т. е. сделать первую попытку к прекращению крепостного права на людей. Составленное в этом смысле предложение было мною в сентябре предъявлено рязанскому губернскому предводителю дворянства, который пришел от него в ужас и объявил мне, что без разрешения из Петербурга он, конечно, не решится передать мое предложение на обсуждение дворянства. Тогда я решился обратиться с письмом прямо к министру внутренних дел[32]. Я препроводил к нему самый проект предложения[33], которое я хотел сделать дворянству, и испрашивал на то его разрешения. Я нисколько не скрывал об этом моем намерении и даже охотно сообщал как проект, так и черновое письмо к министру; губернский же предводитель дворянства усердно рассказывал всем, кого он только видел, о моих злостных намерениях и действиях. А потому и не удивительно, что слух о них быстро распространился по губернии. Благородное дворянство негодовало, находило, что за это мало меня четвертовать, и готовилось в предстоявшем собрании излить на меня всю свою желчь. В ноябре я получил от Л. А. Перовского, тогдашнего министра внутренних дел, отношение, которым он сообщил мне, что докладывал о моем предложении государю императору и что хотя оно вполне согласно с видами правительства, однако его величество находит неудобным в настоящее время подвергать это дело обсуждению дворянства. К этому министр присовокупил, что если бы я желал подать такой благой пример по моим имениям, то такие мои действия вполне заслужили бы одобрение его величества. <...>

В это же время я написал статью[34], в которой, не осмеливавшись проводить общую мысль об освобождении крепостных людей,— я убеждал помещиков на основании высочайшего указа, изданного 12 июня 1844 года[35], освобождать дворовых людей, заключая с ними условия. Эта статья под заглавием «Охота пуще неволи» была мною отправлена 3-го ноября 1847 года в редакцию «Земледельческой газеты», которой редактором тогда был А. П. Заблоцкий-Десятовский[36]. Я выбрал эту газету потому, что она слыла либеральною и по-тогдашнему была действительно таковою по милости покровительствовавшего ей министра государственных имуществ Киселева[37]. Статья

моя была напечатана, но с изменением заглавия: «Добрая воля сильнее неволи» и с значительными урезками. <...>

В феврале 1848 года произошла во Франции революция, которая отозвалась у нас самым тяжким образом: всякие предполагавшиеся преобразования были отложены и всякие стеснения мысли, слова и дела были умножены и усилены. В 1849 году я написал *письмо* к министру внутренних дел с испрашиванием некоторых мер к облегчению выпуска на волю дворовых людей. На основании указа 12 июня 1844 года дозволено было заключать условия с теми дворовыми людьми, которые таковыми записаны по ревизским сказкам [38]; но на деле оказывалось, что большая часть дворовых людей записана была помещиками в числе крестьян; и это делалось для того, чтобы крестьянские общества платили за этих людей подушные. Я предлагал следующие меры: 1) Воспретить помещикам впредь переводить кого-либо из крестьян в дворовые; 2) считать ныне дворовыми тех, которые не владеют и более 10 лет не владели никаким полевым земельным наделом, которые не имеют постоянной оседлости и которые сами изъявят желание на перечисление их в дворовые; наконец, 3) перечисление это произвести без раздробления семейств.— На это мое письмо я не получил никакого ответа.

В 1850-м году, на основании вышеупомянутого приглашения 1847 года [39], я представил министру внутренних дел *проект освобождения моих крестьян с наделением их землею,* в их пользовании состоявшей, и с выдачей мне выкупных денег по сорока рублей серебром за десятину. И на это мое письмо я не получил никакого ответа. Предложения мои были вполне согласны с высочайшею волею, мне объявленною в 1847 году, и требования мои не могли быть сочтены неумеренными; но Февральская революция так подействовала на наше правительство, что оно предпочло молчанием отвечать на мои предложения.

С 1848 года до начала Крымской войны прошло время для нас столь же однообразно, сколько и тягостно. Администрация становилась все подозрительнее, придирчивее и произвольнее. Тогдашний московский генерал-губернатор, граф Закревский [40], стяжал себе в этом отношении славу неувядаемую. Он позволял себе вообще действия самые произвольные; но

мы, так называемые славянофилы, были предметами особенной его заботливости. Он нас не мог терпеть, называя то «славянофилами», то «красными», то даже «коммунистами». Как в это время всего чаще и всего больше собирались у нас, то генерал-губернатор подверг нашу приемную дверь особому надзору, и каждодневно подавали ему записку о лицах, нас посещавших. Смущало и приводило в недоумение гр. Закревского только то, что весьма часто посещал меня кн. Сергей Иванович Гагарин, член Государственного совета, старик, которого уже никак нельзя было заподозрить в революционных замыслах. Это, вероятно, и удерживало гр. Закревского от разных произвольных действий, которые бы он себе позволил против меня. Эти пять лет (1848—1853) напомнили нам первые годы царствования Николая I и были даже тяжче, ибо они были продолжительнее и томительнее. Одно утешение находили мы в дружеских беседах небольшого нашего кружка. Они нас оживляли и давали пищу нашему уму и нашей жизни вообще.

Здесь считаю уместным поговорить несколько обстоятельно о *нашем кружке*. Он составился не искусственно — не с предварительно определенною какою-либо целью, а естественно, сам собою, без всяких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинаковыми чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не попугаями повторять, что говорится там — где-то на Западе, а мыслить и жить самобытно, и, связанные взаимной дружбой и пребыванием в одном и том же городе,— в древней столице — в сердце России,— эти люди видались ежедневно, обсуживали сообща возникавшие вопросы, делили друг с другом и общественные радости (которых было очень мало), и общественное горе (которого было в избытке), и таким образом, незаметно даже для самих участников, составился кружок единодушный и единомысленный [41]. Он составился так незаметно, что нельзя даже приблизительно определить года его нарождения. Он имел влияние сперва слабое, а потом все более и более действенное не только в литературе, но и в общественной, даже политической жизни России; а потому некоторые сведения о людях, его составлявших, и вообще о направлении этого кружка будут, думаю, не лишними, и тем более, что эти люди, как отдельно, так и в совокупности, подвергались

разным упрекам, насмешкам, клеветам и обвинениям, которых они нимало не заслуживали и которые главнейше исходили из того, что вообще мало знали эти личности, не понимали или не хотели понять их убеждений и даже нередко умышленно представляли последние в извращенном виде.

Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если бы в числе его участников не было одного человека, замечательного по своему уму и характеру, по своим разнородным способностям и знаниям, и в особенности по своей самобытности и устойчивости, т. е. если бы не было Алексея Степановича Хомякова. Он не был специалистом ни по какой части; но все его интересовало; всем он занимался; все было ему более или менее известно и встречало в нем искреннее сочувствие. Всякий специалист, беседуя с ним, мог думать, что его именно часть в особенности изучена Алексеем Степановичем. Хомяков мог, с полною справедливостью, о себе сказать: nihil humanum a me alienum puto *. Обширности его сведений особенно помогали, кроме необыкновенной живости ума, способность читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсегда все им прочтенное **. Весьма замечательно было в Хомякове свойство проникать в сокровенный смысл явлений, схватывать их взаимную связь и их отношения к целому,— к тому единому, которое проявляется в истории человечества; и при этом чрезвычайная последовательность и устойчивость в главных, основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано нашей интеллигенции дей-

---

* Ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.

** В подтверждение этого расскажу два случая, которых я был свидетелем. Купил я три-четыре книги серьезного содержания; Хомяков выпросил их у меня на одну ночь; поутру рано книги были мне возвращены. Я читал эти книги две, три недели; и потом, при разговоре о них, я увидел, что Хомяков прочел их вовсе не бегло и многое в них заметил и подчеркнул, что ускользнуло от моего внимания. А вот образчик его памяти. Однажды, при богословском споре, Хомяков сослался на одного св. отца, которого творения имелись только в академической библиотеке, что при Троице-Сергиевской лавре. Мы усомнились в верности цитаты, особенно потому, что знали, что Хомяков более десяти лет не был у Троицы. Он положительно назвал сочинение и сказал, что приведенная им цитата находится на 10 или 12 странице книги. Мы написали к одному приятелю в Лавре; и он вполне подтвердил не только самую цитату, но и страницу, указанную Хомяковым. *(Прим. автора.)*

ствие православия на развитие русского народа и на великую будущность, православием ему подготовленную? Не Хомяковым ли впервые глубоко прочувствована и ясно осознана связь наша с остальным славянством? Не им ли угаданы в русской истории, в русском человеке и в особенности в нашем крестьянине те задатки, или залоги самобытности, которых прежде никто в них не видал, даже не подозревал и которые, однако, должны возвратить нашу отчасти слишком высоко и отчасти слишком униженно о себе мыслящую интеллигенцию, на настоящую родную почву? Все товарищи Хомякова проходили через эпоху сомнения, маловерия, даже неверия и увлекались то французскою, то английскою, то немецкою философией; все перебывали более или менее тем, что впоследствии называлось западниками. Хомяков, глубоко изучивший творения главных мировых любомудров, прочитавший почти всех св. отцов и не пренебрегший ни одним существенным произведением католической и протестантской апологетики, никогда не уклонялся в неверие, всегда держался по убеждению учения нашей православной церкви и строго исполнял возлагаемые ею обязанности. С юности и до самой кончины он неуклонно соблюдал церковные установления. В Париже, где в первый раз он был еще в молодых летах, им во время великого поста не был нарушен строгий пост. Хомяков рассказывал, что, когда в Петербурге он был юнкером и потом офицером, товарищи его, мало знавшие установление своей церкви, говаривали ему: «Уж не католик ли ты, что так строго соблюдаешь посты?» — Он это делал не потому, что считал сухоядение верным путем ко спасению, а потому, что посты установлены нашею церковью, — что он не признавал за ее исповедниками права самовольно изменять ее установления и что не хотел отделяться в этом отношении от народа, строго соблюдавшего посты. Безусловная преданность православию, конечно, не такому, каким оно с примесью византийства и католичества, являлось у нас в лице и устах некоторых наших иерархов, но православию св. отцов нашей церкви, основанному на вере с полной свободой разума. *Любовь к народу русскому*, высокое о нем мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, — составляли

главные и отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова *. Эти мысли свои он проводил всего больше в наших беседах, где они находили почву самую благодарную, особенно вследствие того, что философия, даже немецкая, далеко не вполне нас удовлетворяла; что мы чувствовали потребность большой жизненности в науке и во всем нашем внутреннем быте, и что все мы ощущали и сознавали необходимость прекращения разрыва интеллигенции с народом,— разрыва, вредного для обоих, равно их ослаблявшего и препятствовавшего самостоятельному развитию России. Усиливали влияние Хомякова на нас следующие обстоятельства: полнейшая простота и искренность во всех его словах и действиях, отсутствие в нем всякого самомнения и всякой гордости и снисхождение его к людям, доходившее до того, что он отрицал существование дураков, утверждавши, что в уме самого ограниченного человека есть уголок, в котором он умен и который нужно только отыскать. Еще помогало Хомякову в усилении его на нас влияния то, что он вовсе не был доктринером, безжизненным систематиком, требовавшим безусловного подчинения провозглашенным им догматам. Он охотно подвергал обсуждению самые коренные свои убеждения, вовсе не выдавал себя за непогрешимого или за проглотившего всю науку докторанта и любил вести споры по Сократовой методе [43]. Хотя Хомяков никогда не выдавал себя за либерала, но никогда не укорял кого-либо в либерализме. Он уважал и ценил его и сам был отменно либерален как в своих мнениях и действиях вообще, так и в отношениях к собеседникам и даже к противникам, старавшись им доказать несостоятельность их убеждений и не позволявши себе действовать ни на кого, хотя словом, насильственно [44]. Он легко переносился на точку зрения своих противников; иногда даже нарочно защищал крайние мнения в противоположность другим крайним мнениям. Так, не раз случалось ему прикидываться даже скептиком в спорах с людьми формально суеверно-набожными; и напротив того, он выказывал себя чуть-чуть не формалистом или суеверною старухою в спорах

* Он вовсе не был «народником» в смысле Шишкова [42] или последующих так называвшихся славянофилов под знаменем «Руси»; нет, он был далек от таких узких и вредных учений. *(Прим. автора.)*

с людьми отрицательного направления. Это заставляло некоторых, плохо его понимавших, говорить, что Хомяков любит только спорить и что у него нет твердых постоянных убеждений; кто же хорошо его знал, тот видел в этом только способ, вовсе непредосудительный, часто весьма удачный и Хомяковым особенно любимый, к уяснению и уничтожению заблуждений и к утверждению того, что он считал истиною. Хомяков был столько же устойчив в своих основных убеждениях, сколько расположен к изменению второстепенных мнений по требованию обстоятельств и согласно полученным сведениям. В этих последних мнениях он вовсе не коснел: он постоянно развивался и очень охотно принимал все, что наука и жизнь доставляли нового. Хотя он скончался на 57-м году своей жизни, однако, зная его, можно утвердительно сказать, что если бы он дожил и до глубокой старости, то он не пережил бы себя; в нем было так много внутренней жизненности и восприимчивости к внешнему миру, что застой был для него невозможен. <...>

Вторым деятелем в нашем кружке был Иван Васильевич Киреевский. Он был очень умен и даровит; но самобытности и самостоятельности было в нем мало, и он легко увлекался то в ту, то в другую сторону. Он перебывал локистом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил в своем неверии даже до отрицания необходимости существования бога; а впоследствии он сделался не только православным, но даже приверженцем «добротолюбия». С Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончаемые споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур церковен, что он недостаточно ценил европейскую цивилизацию и что он хотел нас нарядить в зипуны и обуть в лапти; впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в излишнем рационализме и в недостатке чувства в делах веры [45]. Прения эти были чрезвычайно полезны, как для них самих, так и для нас, более или менее принимавших в них участие. Эти беседы продолжались далеко за полночь и часто прекращались только утром, когда уже рассветало. Они оба друг друга высоко ценили, глубоко уважали и горячо любили. Деятельность И. В. Киреевского по разработке с православной точки зрения, разных философских вопросов была весьма полезна и значительна. Его последние статьи, помещенные

в «Русской беседе» [46], явили в нем высокого и глубокого русского мыслителя, равно чуждого как ограниченности и сухости рационалиста, так и мечтательности и туманности мистика.

Другими собеседниками нашими были М. П. Погодин, С. П. Шевырев, П. В. Киреевский [47] и некоторые другие лица. Первые двое никогда вполне не разделяли мнения Хомякова, находивши, особенно в первые годы, что по духовным делам он слишком протестантствовал и что русскую историю он переделывал посвоему, находил в ней то, чего там не было, и влагал в нее свои измышления. Впрочем, впоследствии времени произошло некоторое сближение в мнениях Погодина и Шевырева с убеждениями так называемых славянофилов. П. В. Киреевский весь был предан изучению русского коренного быта, с любовью и жаром собирал русские народные песни, не щадил на это ни трудов, ни издержек и принимал деятельное участие в прениях только тогда, когда они касались любимых его предметов.

Впоследствии вступили в наш кружок две замечательные личности — Константин Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович Самарин [48]. Оба они были очень умны и даровиты; и хотя они были чрезвычайно дружны, однако свойства их ума и дарований были совершенно различны. В первом преобладали чувство и воображение: он страстно любил русский народ, русскую историю и русский язык и делал в двух последних поразительные, светоносные открытия. Правда, часто он впадал в крайности, и мысли, самые верные в основе, становились в его устах парадоксами; но любовь, которою все у него одушевлялось, приобретала ему друзей и последователей и усиливала его влияние в обществе, и особенно на женщин. Ю. Ф. Самарин действовал совершенно иными орудиями: у него по преимуществу преобладали критика, логика и диалектика. Тружеником был он примерным: во всю жизнь он учился; никакие трудности и работы его не устрашали; своим железным терпением он все преодолевал. Он действовал сильно и в литературе, и в общественной, даже политической жизни; он приобретал много ценителей и почитателей, но мало приверженцев и друзей. Оба они глубоко уважали Хомякова, высоко ценили его деятельность и признавали себя постоянно и охотно его учениками. Они принима-

ли в наших беседах самое живое участие и вскоре сделались в нашем кружке первостепенными деятелями. Не могу здесь не упомянуть об Иване Сергеевиче Аксакове[49], тогда только вышедшем в отставку, поселившемся в Москве и начинавшем с нами все более и более сближаться. Тогда он был чистым и ярым западником, и брат его Константин постоянно жаловался на его западничество. О нем я буду иметь случай говорить впоследствии и не один раз.

Сообщая сведения об этом кружке, нельзя не упомянуть о людях, более или менее принимавших участие в наших беседах, хотя они вовсе не разделяли наших общих убеждений. Такими были — Чаадаев[50], Грановский[51], Герцен, Н. Ф. Павлов[52] и некоторые другие умные и замечательные люди. Чаадаев охотно бывал на наших вечерних собраниях; но он особенно любил, чтобы его посещали по понедельникам утром. Тут происходили горячие богословские и исторические споры; Чаадаев постоянно доказывал превосходство католичества над прочими вероисповеданиями и неминуемое и близкое его над ними торжество. Не менее настойчиво Чаадаев утверждал, что русская история пуста и бессмысленна и что единственный путь спасения для нас есть безусловное и полнейшее приобщение к европейской цивилизации. Легко себе вообразить, что такие мнения не оставались без сильных возражений со стороны Хомякова, и споры были столь же жаркие, сколько и продолжительные. С Герценом прения были более философские и политические. Начинались они всегда очень дружелюбно и спокойно, но часто кончались настоящими словесными дуэлями[53]: борцы горячились и расставались с неприятными чувствами друг против друга. Грановский, Н. Ф. Павлов и другие усердно поддерживали Герцена. Эти препирательства ожесточали наших противников, и они позволяли себе против нас вообще и против Хомякова в особенности даже клеветы. А мы пользовались делаемыми нам возражениями для полнейшего развития наших мнений и вовсе не относились враждебно к нашим противникам. За недостатком доводов они осыпали нас насмешками и сильно сердились; а мы смиренно им замечали: Tu te fache, Jupitèr, donc tu as tort *. Это особенно их бесило.

* Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав *(фр.)*.

Нас всех, и в особенности Хомякова и К. Аксакова, прозвали «славянофилами»; но это прозвище вовсе не выражает сущности нашего направления. Правда, мы всегда были расположены к славянам, старались быть с ними в сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение, помогали им, чем могли; но это вовсе не составляло главного, существенного отличия нашего кружка от противоположного кружка западников. Между нами и ими были разногласия несравненно более существенные. Они отводили религии местечко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали ее владычество в России только на время,— пока народ не просвещен и малограмотен; мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей православной церкви, основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенствоваться и занять подобающее место в мировом ходе человечества. Они ожидали света только с Запада, превозносили все там существующее, старались подражать всему там установившемуся и забывали, что есть у нас свой ум, свои местные, временны́е, духовные и физические особенности и потребности. Мы вовсе не отвергали великих открытий и усовершенствований, сделанных на Западе,— считали необходимым узнавать все там выработанное, пользоваться от него весьма многим; но мы находили необходимым все пропускать через критику нашего собственного разума и развивать себя с помощью, а не посредством позаимствований от народов, опередивших нас на пути образования. Западники с ужасом и смехом слушали, когда мы говорили о действии народности в областях науки и искусства; они считали последние чем-то совершенно отвлеченным, не подлежащим в своих проявлениях изменению согласно с духом и способностями народа, с его временны́ми и местными обстоятельствами и требовали деспотически от всех беспрекословного подчинения догматам, добытым или во Франции, или в Англии, или в Германии. Мы, конечно, никогда не отвергали ни единства, ни безусловности науки и искусства вообще (in idea); но мы говорили, что никогда и нигде они не проявлялись и не проявятся в единой безусловной форме; что везде они развиваются согласно местным и временны́м требованиям и свойствам на-

родного духа и что нет догматов в общественной науке и нет непременных, повсеместных и всегдашних законов для творений искусства. Мы признавали первою, самою существенною нашей задачею — изучение самих себя в истории и в настоящем быте; и как мы находили себя и окружающих нас цивилизованных людей утратившими много свойств русского человека, то мы считали долгом изучать его преимущественно в допетровской его истории и в крестьянском быте. Мы вовсе не желали воскресить Древнюю Русь, не ставили на пьедестал крестьянина, не поклонялись ему и отнюдь не имели в виду себя и других в него преобразовать. Все это — клеветы, ни на чем не основанные. Но в этом первобытном русском человеке мы искали, что именно свойственно русскому человеку, в чем он нуждается и что следует в нем развивать. Вот почему мы так дорожили собиранием народных песен и сказок, узнаванием народных обычаев, поверий, пословиц и пр. Замечательно, что то, что мы тогда говорили и утверждали, что возбуждало негодование и насмешки западников, сделалось теперь мнением и воззрением почти всех и каждого. Кто теперь не за связь с славянами? Кто теперь не за изучение русской старины, обычного народного права и других особенностей нашего народного быта? Кто теперь не признает в них глубокого смысла и великого для нашей будущности значения? Кто теперь отвергнет действие народности в науке и искусстве? Конечно, есть еще пункты, и весьма важные, в которых так называемые славянофилы стоят особняком и весьма расходятся с так называемыми западниками; но прежняя борьба и прежний антагонизм между ними ослабли и остались более в воспоминании, чем в действительности. Кстати здесь мимоходом сказать, что нас всего более обвиняли в китаизме, т. е. во вражде к прогрессу и в упорной привязанности к старым обычаям и формам. Время в этом отношении нас, кажется, всего лучше оправдало. Мы стояли не за обветшалое, не за мертвящее, а за то, в чем сохранялась жизнь действительная. Мы восставали не против нововведений, успехов вообще, а против тех из них, которые ложно таковыми казались и которые у нас корня не имели и не могли иметь. Не мы ли были самыми усердными поборниками освобождения крестьян, и притом с наделением их в больших по возможности

размерах землею? Не мы ли оказались самыми ревностными деятелями в земских учреждениях? Подняли, одушевили, двинули вперед Россию не доктрины французские, английские или немецкие, а те чувства и мысли, которые живут в русском православном человеке и которые теперь почти противоположны западноевропейским стремлениям и понятиям. Новейшие события и настроение Англии и даже Франции во время борьбы славян на Балканском полуострове[54] должны, кажется, отрезвить самых ярых западников. Настоящими прогрессистами и либералами были и теперь оказываемся — мы, а не те, которые этими эпитетами себя величали. А называть нас следовало *не славянофилами,* а в противоположность западникам скорее *туземниками* или *самобытниками;* но и эти клички не полно бы нас характеризовали. Мы себе никаких имен не давали, никаких характеристик не присваивали, а стремились быть только не обезьянами, не попугаями, а людьми, и притом людьми русскими. <...>

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН

(1828—1904)

Одинокая фигура Б. Н. Чичерина, историка, правоведа и философа, оказалась волею судеб на периферии широкого и мощного потока, по которому устремилась русская общественная мысль XIX столетия. Для столь блестящей личности, какую представлял собою Чичерин, это странное явление нельзя объяснить лишь тем, что он к концу жизни оказался «не у дел». Хотя, бесспорно, было и это. Но было и другое, может быть, главное — то, что когда-то А. К. Толстой определил и навеки закрепил в нашем сознании словами: «Двух станов не боец, а только гость случайный...» Обладая могучим творческим потенциалом, ораторским и литературным даром, уникальной образованностью, глубоким пониманием русской действительности, Чичерин не принадлежал ни к правому, ни к левому крылу общественного движения, тщетно пытаясь удержать позицию «над схваткой». Он презирал Каткова, выступал с гневными филиппиками против революционных демократов (особенно против Чернышевского), без устали развенчивал славянофилов и гневно отвергал произвол той самой верховной власти, какую считал единственно разумной и целесообразной.

При всем том для него, политика и деятеля по натуре, эта позиция «над схваткой» была не органична, а потому и тягостна. Он никогда не поступался своими убеждениями и, оказавшись «не у дел», еще крепкий физически и полный нерастраченных душевных сил, искал выход из одиночества в научных занятиях философией, правом, религией и даже химией.

Борис Николаевич был как-то универсально талантлив, поэтому его статьи по химии, к которой он обратился лишь на склоне лет, оказались столь ярки-

ми, что привлекли к себе внимание Д. И. Менделеева. По предложению этого знаменитого ученого Чичерин был избран почетным членом Русского физико-химического общества.

Можно без преувеличения сказать, что в России второй половины XIX столетия не было культурного и образованного человека, не знающего имени Чичерина. Как это часто случается с личностями незаурядными, отношение к нему отличалось большой амплитудой колебаний — от категорического отрицания до прямой апологетики. Но все без изъятия отдавали должное его уму и таланту.

В 1856 г. Н. Г. Чернышевский, позднее резко выступавший против Чичерина, предсказал ему замечательную будущность. «Труды г. Чичерина доказывают,— писал он,— что он обладает всеми качествами, нужными для того, чтобы со временем,— и, по всей вероятности, в скором времени,— приобресть знаменитость, какая достается на долю только очень немногим избранникам. В его сочинениях обнаруживается светлый и сильный ум, обширное и основательное знание, верный взгляд на науку, редкая любовь к истине, благородный жар души; он имеет дар прекрасного изложения» [1].

Спустя сорок лет В. С. Соловьев, постоянно полемизировавший с Чичериным, словно подвел итог его научного пути: «Б. Н. Чичерин представляется мне самым многообразованным и многознающим из всех русских, а может быть, и европейских ученых настоящего времени» [2]. Однако тот же самый Соловьев однажды назвал Чичерина умом по преимуществу распорядительным, и в этом метком замечании, вероятно, отчасти кроется разгадка непопулярности этого большого ученого у русской интеллигенции, жадно искавшей истину вне замкнутых рационалистических систем.

«Справедливость требует признать Чичерина,— писал Н. Бердяев,— одним из самых сильных русских умов. Его знания и сфера его интересов были необыкновенно обширны. Но никому он не пришелся по вку-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1947. Т. 3. С. 568—569.

[2] Соловьев В. С. Сочинения. Спб., 1894—1897. Т. 7. С. 630.

су, в его писательской индивидуальности было что-то неприятное, что-то связывающее, а не освобождающее»[1]. И в той же работе, озаглавленной «Н. К. Михайловский и Б. Н. Чичерин», объяснял еще одну, может быть, самую важную причину сравнительно небольшого интереса к Чичерину, несопоставимого с масштабом его личности и научным значением. «Чичерин всю свою жизнь был непримиримым врагом демократии. <...> Исторические условия сложились так, что буржуазный либерализм не мог у нас иметь успеха. Наши освободительные стремления окрашивались не только в демократический цвет, но и носили более или менее социальный характер»[2].

Даже отличительные качества трудов Чичерина — синтез и логическую систематизацию научной мысли, доведенные им до совершенства, одни считали его достоинством, другие — недостатком. Л. Клейнборт писал в статье-некрологе, что стиль Чичерина — «это стиль художественный, кристально-прозрачный, свидетельствующий об огромной логической машине... Ни скачков, ни промахов, ни отступлений... Сеть аргументов опутывает вас, точно увлекает в плен... Одного нет в этом стиле — страсти, огня, зажженного энтузиазмом...»[3].

Напротив, Б. Вышеславцев отзывался об этом же свойстве Чичерина с нескрываемым восхищением: «Главным стремлением, вдохновляющим философа Чичерина и ярко выступающим во всех его произведениях, должно признать неудержимое влечение к *всестороннему синтезу*, к единству *системы*. Оно соединялось в нем с необычайной широтой умственного горизонта. Философия, религия, природа, история, политика — все это обнималось его мощным духом и сливалось в единую систему, превращалось в обширное, стройное и светлое здание разума»[4].

Ныне имя Бориса Николаевича Чичерина почти забыто, забыто несправедливо, но, без сомнения, близится время настоящей объективной оценки его лич-

---

[1] Бердяев Н. Sub specie aeternitatis: Опыты философские, социальные и литературные (1900—1906). Спб., 1907. С. 203.

[2] Там же. С. 206.

[3] Клейнборт Л. Б. Н. Чичерин // Мир божий, 1904, № 9. С. 11.

[4] Вышеславцев Б. Несколько слов о миросозерцании Чичерина // Свободная совесть. Литературно-философский сборник. М., 1906, Кн. 1. С. 182.

ности и его трудов. В преддверии этого имеет смысл лишь кратко рассказать о его судьбе.

Б. Н. Чичерин родился в старинной и родовитой дворянской семье. Как утверждал сам Борис Николаевич и его немногочисленные биографы, род Чичериных вел свое начало от Афанасия Чичерни (или Чичерини), который выехал в 1472 г. из Италии в свите Софии Палеолог, ставшей женою великого князя московского Ивана III Васильевича.

Чичерин появился на свет в Тамбове и провел детство и раннюю юность в тамбовских имениях своего отца Николая Васильевича. Одно из этих имений — Караул,— купленное Николаем Васильевичем в 1837 г., Чичерин унаследовал после смерти отца и на протяжении всей жизни испытывал к нему пронзительное ностальгическое чувство — как к родовому гнезду, колыбели безоблачного детского счастья и светлых юношеских мечтаний.

С четырех лет он пристрастился к чтению; родители воспитывали его литературные вкусы на русских классиках. Несколько позднее он увлекся историей — отечественной и западной.

Его отец был человеком незаурядным. Николай Васильевич не только самостоятельно пробивал себе дорогу в жизни, приумножив своими стараниями более чем втрое полученное от отца наследство, но также вполне самостоятельно и с большою охотою занимался самообразованием. И то и другое удалось ему настолько, что он слыл одним из самых богатых, дельных и образованных помещиков своего времени. И это совершенно соответствовало действительности.

Николай Васильевич тесно дружил с семейством Баратынских, живших неподалеку от него в тамбовском имении Мара, много читал, был человеком либеральным, но безоговорочно уважающим власть. При этом он умел сохранить чувство собственного достоинства и независимость, которую свято оберегал.

«Мой отец,— писал Б. Н. Чичерин,— человек ясного и твердого ума, высокого нравственного строя, с сильным характером, с глубоким знанием людей, с тонким литературным вкусом и врожденным чувством изящного...»[1] К этому следует добавить, что широ-

---

[1] Чичерин Б. Н. Из моих воспоминаний: По поводу дневника Н. И. Кривцова //Русский архив, 1890. № 4. С. 507

кий и острый ум Николая Васильевича отличался еще одним редким качеством — гибкостью, так что всякий фанатизм он считал безусловным проявлением ограниченности.

— Вы думаете, что он умен? — спросил как-то Николай Васильевич об одном из своих знакомых.— Нет, умный человек не может упереться в один угол, а он весь ушел в Гегеля [1].

Ум Николая Васильевича сказывался также и в том, что и в доме, и в воспитании детей он как будто ни во что не вмешивался, но при этом все направлял и вводил в нужное ему русло. Влияние отца на детей было безгранично.

Детей было четверо: трое сыновей-погодков и младшая дочь. Борис Николаевич был первенцем. Не менее Николая Васильевича влияла на духовное формирование детей самая атмосфера родительского дома и окружение отца. Постоянными гостями Николая Васильевича были не только братья Баратынские, но и Николай Иванович Кривцов — тот самый приятель Пушкина, которому поэт писал в 1831 г.: «Мне брюхом хотелось с тобою увидеться и поболтать о старине...» [2] Особенно часты встречи друзей-соседей были в ту пору, когда Чичерины жили в первом своем тамбовском имении — Умете. Борис Николаевич вспоминал: «Между Любичами <имение Н. И. Кривцова.— *И. П.*>, Уметом и Марою был почти ежедневный обмен если не посещений, то записок и посылок. Из столиц получались все новости дня. Пушкин присылал Кривцову свои вновь появляющиеся сочинения. Стихи Баратынского, разумеется, прежде всего были известны в Маре. Из Москвы Павлов и Зубков извещали моего отца обо всем, что появлялось в литературе русской и иностранной, пересылали ему выходящие книги. Последний роман Бальзака, недавно вышедшие лекции Гизо, сочинения Байрона пересылались из Умета в Любичи и из Любичей в Мару. И все это, при свидании, становилось предметом оживленных бесед» [3].

---

[1] Бестужев-Рюмин К. Н. Воспоминания. Спб., 1900. С. 36—37.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 388.

[3] Чичерин Б. Н. Из моих воспоминаний // Цит. по кн. Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 377.

Это общение, быть может, больше, чем систематическое образование, пробуждало в детях интерес к окружающему миру, к людям, расширяло их кругозор, формировало личность. Именно в отчем доме созрела и укрепилась в Борисе Николаевиче та внутренняя свобода духа, та независимость и раскрепощенность мысли, которые стали доминантами его личности.

Как и его братья, Борис Николаевич получил домашнее образование, занимаясь с частными учителями, приглашенными в Караул. Одним из них был рекомендованный Т. Н. Грановским Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, впоследствии профессор русской истории в Петербургском университете, академик и основатель Высших женских (Бестужевских) курсов. Домашняя подготовка оказалась столь хорошей, что в 1845 г. Борис Николаевич блестяще выдержал экзамены в Московский университет.

Как и на многих других людей его поколения, решающее влияние на взгляды и формирование научных склонностей Чичерина оказал Т. Н. Грановский, под руководством которого он занимался в университете и к которому на протяжении всей жизни испытывал благодарное и благоговейное чувство. Любимый ученик Грановского, он вышел из университета страстным гегельянцем и убежденным западником. Увлечение Гегелем, как известно, захватившее в ту пору не одного Чичерина, было у Бориса Николаевича настолько сильным, что и тогда, и много позднее он считал учение немецкого философа фундаментом всякой образованности и даже самый критерий духовной культуры определялся для него степенью проникновения в Гегеля. Было время, когда с Гегеля начинался для него «уровень» человека, допускающий возможность общения с ним.

Университет, Грановский и Гегель привили ему любовь к систематическому знанию, без которой невозможны серьезные занятия наукой. Тогда же определилась сфера интересов Чичерина — история, философия и государственное право, а вместе с тем проявилось его несомненное и даже неукротимое стремление к научной деятельности. Чтобы осуществить это стремление, Борис Николаевич, закончив в 1849 г. университет, тотчас же удалился от соблазнов светской жизни, столь выразительно описанной им в его

воспоминаниях, и поселился в Карауле. Там, в деревенской тишине, он сосредоточенно углублял свои познания, изучая греческий язык, философию, право и историю, читая на досуге Платона и Аристотеля — разумеется, в подлиннике.

В конце 1851 г. он выдержал экзамен на степень магистра государственного права и начал работать над задуманной им диссертацией «Областные учреждения в России в XVII веке». Через два года Чичерин представил ее в Московский университет, но она не была принята. Декан юридического факультета профессор С. И. Баршев, прочитав ее, заметил, что Чичерин показал старую администрацию России в слишком неприглядном виде. Произошло то, что так часто случалось: сработал инстинкт осторожного человека — декан Баршев легко узнал новую николаевскую администрацию, облеченную в обветшалую одежду старины.

В конце июня 1854 г. Т. Н. Грановский писал Чичерину: «Диссертацию Вашу я прочел. Без всякого комплимента Вам, я нашел ее прекрасным и истинно ценным трудом. Ее непременно следует напечатать всю сполна. Я сделал два или три цензурных замечания и означил страницы на обертке. Этих мест цензура не пропустит. Их нужно смягчить или выпустить. Других замечаний я не мог сделать, ибо не знал большей части того, что вычитал у Вас» [1].

И еще один отзыв. Уже после появления диссертации в печати, в 1856 г., Чернышевский с удовлетворением отмечал: «В несколько месяцев г. Чичерин составил себе известность, какую обыкновенно разве в несколько лет приобретают люди даже очень даровитые; с первого раза он стал в первом ряду между людьми, занимающимися разработкою русской истории. Успех редкий и, что еще лучше, успех совершенно заслуженный» [2].

Однако между этим научным триумфом и отказом Баршева для молодого ученого пролегли три тяжелых года, когда надежда сменялась то неопределенностью, то разочарованием, то апатией. В эти годы он снова окунулся в рассеянную светскую жизнь, заглушавшую гнетущее чувство неуверенности и пустоты. Это чувст-

[1] Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II. С. 443—444.

[2] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 568.

во особенно усилилось после смерти Грановского в октябре 1855 г. Все, кто знал его, ощутили тогда внезапную пустоту, и среди тех, кто тщетно пытался сразу определить огромное, но почти необъяснимое значение этого человека, может быть, самым лаконичным и точным оказался Некрасов, написавший о Грановском В. П. Боткину: «...он поощрял людей быть честными — вот его заслуга!» [1].

В эти трудные годы, когда шла безнадежная Крымская война, Россия переживала кризис и была на грани катастрофы, обострился интерес Чичерина к политической и общественной деятельности. Именно тогда написал он крамольную статью «Восточный вопрос с русской точки зрения 1855 года». Эта статья распространялась в списках, в 1861 г. была напечатана за границей с подписью Грановского, еще две ее публикации, тоже за границей, были анонимными. Чичерин был одним из очень немногих, чье мнение о Крымской войне полностью расходилось с официальной и славянофильской пропагандой. С присущей ему логикой он показал истинные цели самодержавия, стремившегося к укреплению и расширению власти на Востоке. Он, конечно, был далек от критики этих целей, но дипломатические и военные действия представлялись ему цепью беспросветных неудач. В этих неудачах, писал он, нет ничего странного, так как правительство «произвол, господствующий во внутренних делах, перенесло, наконец, и на внешние сношения, если оно осторожность во внешней иностранной политике стало считать излишнею преградою своему властолюбию.

Странно было бы в самом деле вести дела свои двумя совершенно различными путями; странно было бы внешнюю политику, хотя основанную на ложном начале, вести осторожно и обдуманно, а во внутренних делах поступать произвольно и нелепо. Произвол и нелепость должны же были когда-нибудь прорваться, они прорвались так, что Европа пришла в смятение, и Россия очутилась на краю пропасти» [2]. Он призывал к социальным и политическим преобразо-

---

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1952. Т. 10. С. 254.

[2] Цит. по кн.: Записки кн. С. П. Трубецкого. Спб., 1907. С. 131—132.

ваниям, к отмене крепостного права, но не верил, что правительство отважится на это.

После окончания Крымской войны интерес Чичерина к политике не ослабевает. Он с напряженным вниманием читает герценовский «Колокол», с самых первых его номеров, «Голоса из России» и даже делает попытку противопоставить свою умеренно-либеральную позицию — герценовской. Так появляется созданный им в соавторстве с К. Д. Кавелиным программный документ — «Письмо к издателю», опубликованный в № 1 «Голосов из России» в 1856 г. В нем отразилось принципиальное расхождение с Герценом той части русской интеллигенции, которая восприняла французскую революцию 1848 г. как «кровавый мятеж» «разнузданной толпы», ниспровергший устои буржуазного общества, пошатнувший сокровенные основы либерализма. Смолоду сочувствовавший «крайнему направлению», Чичерин после 1848 г. с таким предубеждением относился к политическому радикализму (в частности и к социализму), как если бы его преследовал призрак революции.

Немудрено, что Чичерин вызвал такую резкую антипатию у Герцена, когда посетил его в Лондоне осенью 1857 г. во время своей первой заграничной поездки: они были антиподами во всем, не только в политических убеждениях. Чичерин, вспоминал Герцен, «подходил не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свет его глаз был холоден, в тембре голоса был вызов и страшная, отталкивающая самоуверенность. <...> Расстояния, делившие наши воззрения и наши темпераменты, обозначились скоро. С первых дней начался спор, по которому ясно было, что мы расходимся во всем. Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним. Можно понять, что были эти мысли в приложении к русскому вопросу. Он был гувернементалист, считал представительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России»[1].

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 249.

Здесь несколько сгущены краски, но общий дух передан верно; в этом портрете оригинал угадывается так же точно, как в пародии пародируемое стихотворение. Чичерин вспоминал о Герцене значительно спокойнее.

Встреча в Лондоне стала началом разрыва их отношений. Скоро наступил и конец. Прощаясь с Чичериным, Герцен предложил ему начать печатную переписку о спорных вопросах. 1 декабря 1858 г. он опубликовал в «Колоколе» одно из писем Чичерина под заглавием «Обвинительный акт». Расходясь в основном, они расходились и в частностях — настолько, что диалога между ними быть не могло. Предубеждение с обеих сторон достигло крайнего накала. Герцен считал Чичерина доктринером и даже семь лет спустя называл его «Сен-Жюстом бюрократизма» [1]. Чичерин упрекал Герцена в теоретической несостоятельности, в политическом легкомыслии и настойчиво утверждал, что Герцен только художник, а не публицист, ибо лишь художник может называть революцию «поэтическим капризом, которому даже мешать неучтиво» [2]. «Обвинительный акт» Чичерина завершался словами: «Существенный смысл упреков, которые Вам делают <...>, состоит в том, что в политическом журнале влечения, страсти должны заменяться зрелостью мысли и разумным самообладанием. Если такое требование есть доктрина, пускай это будет доктринерством. Вам такой образ действий не нравится; Вы предпочитаете быстро перегорать, истощаться гневом и негодованием. Истощайтесь! Таков Ваш темперамент; его не переменишь. Но позвольте думать, что это не служит ни к пользе России, ни к достоинству журнала...» [3].

Письмо имело не только быстрый, значительный и длительный резонанс, но вызвало раскол в русском обществе, часть которого поддержала Чичерина, другая, резко ополчившись на него, выразила сочувствие Герцену и солидарность с ним. Разгорелись страсти, ни одна из сторон не желала признать себя побежденной или, по крайней мере, неправой. Неожиданную оценку этой далеко зашедшей распре вынес человек, не примкнувший ни к одному из враждующих лагерей и всегда стоявший несколько в стороне — академик

---

[1] Там же. Т. 11. С. 300.
[2] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Ч. II. С. 56.
[3] Колокол, 1858, 1 декабря (№ 29).

А. В. Никитенко. Оценка была трезвой и подчеркнуто этической, ибо прямо указывала на объективно «охранительный» характер письма Чичерина, определившийся, помимо воли его автора, самой политической ситуацией и расстановкой сил в России. Реплика Никитенко не предназначалась для печати. 8 января 1859 г. он записал в дневнике: «...Герцена упрекают от имени всех мыслящих людей в России за резкий тон и радикализм. Это, конечно, отчасти справедливо, и Герцен вредит своему влиянию на общество и на правительство. Но возражение, ему сделанное, кажется, еще вреднее. Оно как бы оправдывает крутые меры и вызывает их»[1].

Время, как известно, смещает акценты и стирает обиды. Оно не смягчает лишь уколов самолюбию. Воздадим же должное Чичерину, который по прошествии многих лет смог написать о Герцене «без гнева и пристрастия», посвятив его трагической судьбе и высокому таланту проникнутые сочувствием и глубокой симпатией страницы воспоминаний.

Разрыв с Герценом предопределил охлаждение отношений с теми, кто оказался на его стороне: с К. Д. Кавелиным, И. С. Тургеневым, П. В. Анненковым. Чичерин был сдержан, независим и по врожденному свойству характера внутренне одинок. В недоброжелателях недостатка у него не было, отношения с друзьями, и прежде немногочисленными, были сложными и неровными. Им восхищались, блеск его ума ослеплял, но что-то почти всегда мешало сближению с ним, что-то не позволяло перейти ту черту, за которой начинается дружба.

В 1857 г. он познакомился с Львом Толстым, который поначалу, как и многие, необычайно заинтересовался им. Завязались тесные отношения, с частыми встречами, долгими разговорами. Через год Толстой записал в дневнике: «Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном»[2]. Но вместе с тем Толстой уже ощущал специфическое свойство ума Чичерина — холодный, не согревающий блеск. Правда, поначалу Толстой приписывал это

---

[1] Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. [М.], 1955. Т. 2. С. 54.
[2] Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1985. Т. 21. С. 220.

свойство самой философии: «Философия вся и его — враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще» [1]. Как это было в высшей степени свойственно Толстому, он упорно пытался обнаружить ту будоражаще неуловимую, непонятную особенность Чичерина, которая лишала полноты дружеского общения, раздражала и отталкивала его. Он настойчиво стремился найти эту особенность и назвать ее, как называл он все — вещи, предметы, состояния души. Но то, что всегда удавалось ему, на этот раз ускользало. «Слишком *умный»,* — написал он о Чичерине в дневнике 24 января 1858 г. Но это было не то. В той же дневниковой записи он противопоставил ему Е. Корша: «Спокойно и высоко умен» [2]. Но и это тоже ничего не объяснило. Отношения шли к неминуемому концу. Прежде всего потому, что в них не было ясности, которой так дорожил Толстой. 18 апреля 1861 г. он написал Чичерину: «Мы *играли* в дружбу». Ее не может быть между двумя людьми, столь различными, как мы. Ты, может быть, умеешь примирять презренье к убежденьям человека с привязанностью к нему; а я не могу этого делать. Мы же взаимно презираем склад ума и убежденья друг друга. Тебе кажутся увлечением самолюбия и бедностью мысли те убежденья, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, не удовлетворяющей моей любви к правде» [3].

Чичерин провел за границей около четырех лет и вернулся в Россию, получив известие о смерти отца. В 1861 г. он был избран советом Московского университета экстраординарным профессором по кафедре государственного права. Он выразил согласие, хотя не чувствовал склонности к преподаванию. В университет влекли его воспоминания о студенческих годах и мысль о пользе воспитания молодого поколения, понимание профессорской деятельности как гражданского служения.

28 октября 1861 г. он прочел вступительную лек-

---

[1] Там же. С. 217—218.
[2] Толстой Л. Собр. соч. Т. 21. С. 218.
[3] Там же. Т. 18. С. 565.

цию о значении государственного права. В аудитории собралось множество народа: студенты разных факультетов, профессора и даже посторонние. Чичерин говорил о значении наступившей эпохи, об освобождении крестьян и готовящихся реформах, о последовательности преобразований, внушающих веру в будущее. И именно поэтому он предостерегал молодых людей от критики верховной власти, «частных стеснительных мер или укоренившихся веками злоупотреблений», от «политического брожения, носящего печать современных страстей»[1]. Его убеждения были твердыми и неизменными, и он спокойно и уверенно высказывал их, хотя и понимал, что в конце 1861 г. они не могут быть популярны в радикально настроенной студенческой среде.

Брат Василий сообщал ему, что его лекция очень понравилась консерваторам и умеренным людям. Это было симптоматично. Среди студентов прошел слух, что новый профессор — поборник правительственного деспотизма. Спустя полтора месяца, 9 октября того же года, студенты устроили ему обструкцию, освистав его на лекции.

Постепенно к его лекциям и направлению его мыслей привыкли. Было бы преувеличением сказать, что его любили, но, без сомнения, он вызывал интерес у своих слушателей. И те, кто задавал ему на лекциях самые вздорные вопросы, и те, кто азартно спорил с ним в нарочито грубой форме, не могли отказать в уважении этому сдержанному, подтянутому, всегда корректному человеку, бескомпромиссно-честно выражающему свои мнения.

«Всегда щегольски одетый, в лаковых сапожках, он поражал всегда нас, студентов, между прочим, своим джентльменством»[2],— вспоминал академик И. И. Янжул, слушавший лекции Чичерина.

Объективная оценка его личности и его научных достоинств пришла позднее, когда утихли молодые страсти, когда изменчивые взгляды трансформировались в добытые ценою опыта убеждения. Именно тогда отсеялось все временное, преходящее, случайное и осталось главное — научная концепция Чичерина, пронесенная им в незапятнанной чистоте сквозь годы

---

[1] Чичерин Б. Н. Воспоминания. М., 1929. Ч. III. С. 43.
[2] Янжул И. И. Воспоминания о пережитом и виденном. Спб., 1910. С. 35—36.

реакции и безвременья, через искусы моды и нападки политических противников.

Тот же И. И. Янжул писал спустя много лет: «...Чичерин своими серьезными и спокойными лекциями <...> сделал гораздо больше для пропаганды и популярности между тогдашних студентов конституализма, чем все остальные в университете, не говоря уже о придавленной печати того времени, которая старательно, поневоле, подобных вопросов избегала...» [1].

Чичеринская философия права, основанная на неизменной и вечной «надисторической» природе либерализма, трактовала метафизическую свободу человека как источник его прав, которые должны быть признаны обществом. Права личности в его концепции не обусловлены ни историческими процессами, ни требованиями общества, преходящими и подвластными случайностям, но кроются в самой природе человека, нравственно разумного и свободного существа. Субъективная философия права вытекала из сознания несовершенства общественных установлений и могла быть единственной гарантией свободы и достоинства личности.

Но прочный порядок, по Чичерину, царит лишь там, где свобода подчиняется закону, ибо своеволие «неизбежно ведет к деспотизму» [2].

Это уважение к личности и ее праву на свободу было основой учения Чичерина, а вместе с тем и символом его веры. И в той последовательной твердости, с которой он пронес эту веру через всю свою жизнь, был и пафос его собственной личности, и сила духа, и нравственное величие.

А. Ф. Кони, бывший студентом Чичерина и навсегда сохранивший с ним те почтительно-дружеские отношения, которые некогда связывали самого Бориса Николаевича с Т. Н. Грановским, приводит характерный эпизод. Некто Крамер, один из самых политически радикальных, а потому враждебных Чичерину студентов, через много лет после окончания университета застрелился. В руки Кони, в ту пору прокурора Петербургского окружного суда, попала предсмертная записка Крамера: «Мне некому послать последнее «прости» и не о ком вспомнить с благодарностью. Есть лишь один человек, к которому, умирая, я чув-

---

[1] Там же, С. 36.

[2] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Ч. III. С. 43.

ствую глубокое уважение. Память о нем для меня светла. *Это бывший московский профессор Борис Николаевич* Чичерин»[1].

К тому времени Чичерин действительно стал уже «бывшим» профессором.

Все началось с того, что министр народного просвещения А. В. Головнин, нарушив принятые университетом установления, собственною властью утвердил на новый пятилетний срок бездарного профессора полицейского права В. Н. Лешкова, забаллотированного коллегией профессоров. Это произошло в январе 1866 г. В знак протеста шесть профессоров университета подали в отставку в 1867 г. Одним из них был Б. Н. Чичерин. Чичерину после этого пришлось читать лекции еще полгода, так как ему была передана личная просьба Александра III не оставлять университет. Не удовлетворить просьбу императора было невозможно, продолжать службу в сложившейся ситуации Чичерин считал унизительным. Коллеги настойчиво уговаривали его продолжать чтение лекций, но он упорно стоял на своем, «будучи убежден, что, жертвуя личным достоинством, я подал бы безнравственный пример молодым поколениям, которых я призван был руководить. Этого никто не вправе делать, и никакое преподавание не может вознаградить за такой недостаток нравственного чувства»[2].

Чичерин покидал университет без сожаления, но ему хотелось, подводя итог своей семилетней деятельности, сказать студентам прощальное слово. В этом ему было отказано предусмотрительным университетским начальством, и тогда он обратился к студентам с письмом, которое они распространили в своей среде. Этот замечательный документ, своего рода нравственное и научное кредо Чичерина, не утратил силы и значения до наших дней и может до сих пор считаться образцом высокого нравственного отношения к педагогической деятельности как общественному служению.

«Я считаю себя обязанным,— писал Чичерин,— не только действовать на ваш ум, но и подать вам нравственный пример, явиться перед вами и человеком и гражданином. Нравственные отношения между

[1] Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. 7. С. 90—91.
[2] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Ч. III. С. 225.

преподавателем и слушателями составляют лучший плод университетской жизни. Наука дает человеку не один запас сведений; она возвышает и облагораживает душу. Человек, воспитанный на любви к науке, не продаст истины ни за какие блага в мире. <...> Россия нуждается в людях с крепкими и самостоятельными убеждениями; они составляют для нее лучший залог будущего. Но крепкие убеждения не обретаются на площади; они добываются серьезным и упорным умственным трудом. Направить вас на этот путь, представить вам образец науки стройной и спокойной, независимой от внешних партий, стремлений и страстей, науки, способной возвести человека в высшую область, где силы духа мужают и приобретают новый полет, таков был для меня идеал преподавания»[1].

Оставив университет, он уехал в Париж к брату Василию, но уже в апреле 1869 г. вернулся в Россию и поселился в Карауле. Однажды он обмолвился, что был рожден писателем, а не профессором. Теперь это ощущение окрепло в нем. Он никогда не писал так много, как в эти годы в Карауле, хотя значительную часть времени поглощала земская деятельность, а также участие в работах по сооружению Тамбовско-Саратовской железной дороги. Он был даже назначен товарищем председателя «Комиссии, учрежденной для исследования железнодорожного дела в России», то есть его общественная деятельность не осталась незамеченной.

В эти же годы были написаны основные его труды: «История политических учений» (ч. 1—2. М., 1869—1872) и «Наука и религия» (1879). Книгу «О народном представительстве» (М., 1866) он написал прежде, в те годы, когда читал лекции в университете.

В конце 1881 г. судьба неожиданно вывела Чичерина на политическое поприще — он был избран Московским городским головою. Нельзя сказать, чтобы эта должность была по нем: теоретические представления о политике трудно уживались с политикой реальной, где он не умел проявить ни должной гибкости, ни конформизма. Его независимость по отношению к администрации казалась вызывающей, лояль-

---

[1] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Ч. III. С. 228.

ность к монарху — сомнительной, тем более, что он во всеуслышание заявлял о том, что главная цель его политической деятельности — соединить то, что было разобщено веками: общество и верховную власть. При этом в обществе он слыл консерватором, в высших кругах — либералом.

В мае 1883 г. он произнес речь на одном официальном обеде. Чичерин много и увлеченно говорил о преобразованиях царствования Александра II, о том, что власть должна признать полезным и необходимым содействие общества, и о том, что общество должно быть готово откликнуться на призыв власти. Он утверждал, что, объединив все свои силы, Россия выдержит любые бури, как прежде преодолевала она все испытания, выпадавшие на ее долю. Попутно он замечал, что доверять и споспешествовать власти вовсе не значит поступаться своими правами и независимостью суждений.

Уже в который раз демократические круги усмотрели в программе Чичерина охранительные начала, круги правительственные заподозрили в ней скрытое требование конституции и всесторонних реформ. Политическая карьера Чичерина оборвалась, по сути дела, не успев начаться.

Последние годы жизни Чичерин провел вместе с женой Александрой Алексеевной (урожденной Скалон) в Карауле. Их единственная дочь умерла, и они сполна испили чашу горя и одиночества.

В эти годы Борис Николаевич сосредоточенно работал над своими записками, по поводу которых однажды заметил, что «воспоминания молодости нередко служат огорчением старости» [1]. Эти слова точно выразили чувства, с которыми он писал воспоминания. К 1896 г. работа над ними была завершена. В эти же годы он написал книгу «Положительная философия и единство науки», с приложением «Опыта классификации животных» (М., 1892). К концу жизни была создана еще одна работа — «Система химических элементов». Но она вышла уже после его смерти, в 1911 г. Его обширному и разностороннему уму, казалось, было тесно в рамках политики, философии, юриспруденции, и он искал новых выходов в естественнонаучных дисциплинах, словно нащупы-

[1] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Ч. I. С. 221.

вая почву для осуществления каких-то иных, еще неведомых ему возможностей.

Одиночество последних лет жизни Чичерина скрашивалось работой, редкими встречами с друзьями и перепиской с ними. Одним из постоянных корреспондентов Бориса Николаевича был А. Ф. Кони, чутко угадавший состояние души своего бывшего профессора и старавшийся, насколько это было в его силах, сделать его закат менее мрачным.

Письма А. Ф. Кони, быть может, и не открывают новых граней личности Чичерина, но показывают объективное значение его жизненного пути, масштаб ученого, соединившего в теории и практике представление о науке и общественном благе.

А. Ф. Кони — Б. Н. Чичерину. 15.XI.1898 г.

«Тридцать четыре года назад слушал я Вас в университете и в Ваших словах почерпал идеал правды и справедливости, от Вас в дальнейшей Вашей жизни и трудах я научился, как надо служить этим идеям».

А. Ф. Кони — Б. Н. Чичерину. 12.II.1901 г.

«Вы знаете — думаю даже, что Вы не можете не чувствовать той любви, которую я питаю к Вам, как живому насадителю во мне и носителю «даже до сего дни» лучших идеалов человека и гражданина».

И последнее письмо Кони, написанное им вдове Чичерина в первую годовщину его смерти, 4 февраля 1905 г.: «...*он* нам дал и воспитал в нас те твердые начала гражданственности, которые помогают разобраться и жить среди умственной анархии, которая обуяла теперь русское общество» [1].

ЛИТЕРАТУРА

Струве П. Г. Чичерин и его обращение к прошлому // В кн.: Струве П. На разные темы. Спб., 1902.

Клейнборт Л. Б. Н. Чичерин // Мир божий, 1904, № 9.

Бердяев Н. Н. К. Михайловский и Б. Н. Чичерин // В его кн.: Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900—1906 гг.). Спб., 1907.

Гульбинский И. Б. Н. Чичерин. М., 1914.

Бахрушин С. Предисловие к кн.: Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1929.

---

[1] Кони А. Ф. Собр. соч. М., 1969. Т. 8. С. 144, 172, 216.

ВОСПОМИНАНИЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К УНИВЕРСИТЕТУ

Мы поехали в Москву для приготовления к Университету в декабре 1844 г. перед самыми праздниками. Мне было тогда шестнадцать лет, а второму брату, Василию [1], который должен был вступить вместе со мною, минуло только пятнадцать. Отправились мы двое с матерью [2], которая взяла с собой и маленькую сестру [3]; отец [4] же с остальным семейством остался пока в Тамбове. Они приехали уже в феврале следующего года. Цель поездки была подготовить нас к экзамену в течение остающихся до него семи месяцев, пользуясь уроками лучших московских учителей.

Мы приехали в Москву не как совершенно чужие в ней люди. Нас встретил старый приятель отца Николай Филиппович Павлов. Он явился к матери тотчас, как получил известие о нашем прибытии, и с тех пор не проходило дня, чтобы он не навещал нас один или даже два раза. Он взялся устроить для нас все, что нужно, хлопотал о квартире, заключал контракт о найме дома, сам возил нас всюду, знакомил со всеми, приглашал учителей, одним словом, он нянчился с нами, как с самыми близкими родными. «Хотя я не сомневался в дружбе Павлова,— писал мой отец к матери,— но описанное тобою живое участие, которое он принял в вас, меня глубоко тронуло. Есть еще люди, соединяющие с возвышенным умом теплое сердце, верные своим привязанностям, несмотря на действие времени».

Павлов в это время был женат во второй раз и имел семилетнего сына. Этот брак, окончившийся весьма печально, как я расскажу ниже, был заключен не по любви, а по расчету. Сам Павлов говорил мне впоследствии, что он в жизни сделал одну гадость: женился на деньгах,— проступок в свете весьма обыкновенный, и на который смотрят очень снисходительно. Вследствие страсти к игре он запутался в долгах, а у жены, рожденной Яниш [5], было порядочное состояние. Он решился предложить ей руку, несмотря на то, что сам часто подсмеивался над ее претензиями, и она охотно за него пошла, ибо у него был и бле-

стящий ум, и литературное имя, а она была уже не первой молодости.

Каролина Карловна была, впрочем, женщина не совсем обыкновенная. При значительной сухости сердца, она имела некоторые блестящие стороны. Она была умна, замечательно образованна, владела многими языками и сама обладала недюжинным литературным талантом. Собственно поэтической струны у нее не было: для этого недоставало внутреннего огня; но она отлично владела стихом, переводила превосходно, а иногда ей удавалось метко и изящно выразить мысль в поэтической форме. Но тщеславия она была непомерного, а такта у нее не было вовсе. Она любила кстати и некстати щеголять своим литературным талантом и рассказывать о впечатлении, которое она производила. Она постоянно читала вслух стихи, и свои, и чужие, всегда нараспев и с каким-то диким завыванием, прославленным впоследствии Соболевским[6] в забавной эпиграмме. Бестактные ее выходки сдерживались, впрочем, мужем, превосходство ума которого внушало ей уважение. В то время отношения были еще самые миролюбивые, и весь семейный быт носил даже несколько патриархальный характер, благодаря присутствию двух стариков Янишей, отца и матери Каролины Карловны. Старик, почтенной наружности, с длинными белыми волосами, одержим был одной страстью: он с утра до вечера рисовал картины масляными красками. Таланта у него не было никакого, и произведения его были далеко ниже посредственности; но зато правила перспективы соблюдались с величайшей точностью. Он писал даже об этом сочинения, с математическими формулами и таблицами. Старушка же была доброты необыкновенной; оба они производили впечатление Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны[7] в образованной среде. Дочь свою они любили без памяти, и она распоряжалась ими, как хотела. Но главным предметом их неусыпных забот был единственный внук, маленький Ипполит, которого держали в величайшей холе, беспрестанно дрожа над ним и радуясь рано выказывающимся у него способностям. Сама Каролина Карловна, хотя несколько муштровала стариков, но позировала примерной женой и нежной матерью.

При таком настроении, она старых друзей своего

мужа приняла с распростертыми объятиями, часто ходила к моей матери, звала нас к себе, готова была все для нас сделать. Дом Павловых на Сретенском бульваре был в это время одним из главных литературных центров в Москве. Николай Филиппович находился в коротких сношениях с обеими партиями, на которые разделялся тогдашний московский литературный мир, с славянофилами и западниками. Из славянофилов Хомяков и Шевырев были его близкими приятелями; с Аксаковым велась старинная дружба. С другой стороны, в таких же приятельских отношениях он состоял с Грановским и Чаадаевым; ближайшим ему человеком был Мельгунов [8]. Над Каролиной Карловной хотя несколько подсмеивались, однако поэтический ее талант и ее живой и образованный разговор могли делать салон ее приятным и даже привлекательным для литераторов. По четвергам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкин [9] с Шевыревым, Кавелин [10] с Аксаковым, Герцен и Крюков [11] с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев, с его голой, как рука, головой, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечной позой. Это было самое блестящее литературное время Москвы. Все вопросы, и философские, и исторические, и политические, все, что занимало высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом знания и обаянием красноречия. Хомяков вел тогда ожесточенную войну против логики Гегеля, о которой он по прочтении отзывался, что она сделала ему такое впечатление, как будто он перегрыз четверик свищей. В защиту ее выступал Крюков, умный, живой, даровитый, глубокий знаток философии и древности. Как скоро он появлялся в гостиной, всегда изящно одетый, elegantissimus, как называли его студенты, так возгорался спор о бытии и небытии. Такие же горячие прения велись и о краеугольном вопросе русской истории, о преобразованиях Петра Великого. Вокруг спорящих составлялся кружок слушателей; это был постоянный турнир, на котором выказывались и знание, и ум, и находчи-

вость, и который имел тем более привлекательности, что по условиям времени заменял собою литературную полемику, ибо при тогдашней цензуре только малая часть обсуждавшихся в этих беседах идей, и то обыкновенно лишь обиняками, с недомолвками, могла проникнуть в печать.

Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого кружка, без сомнения, имеет свои невыгодные стороны; но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль. И сколько в этих кружках было свежих сил, какая живость умственных интересов, как они сближали людей, сколько в них было поддерживающего, ободряющего! Самая замкнутость исчезала, когда на общее ристалище сходились люди противоположных направлений, но ценящие и уважающие друг друга. Тургенев согласился с моим замечанием.

Мы разом окунулись в этот совершенно новый для нас мир, который мог заманить всякого, а тем более приехавших из провинции юношей, жаждущих знания. Передо мной внезапно открылись бесконечные горизонты; впервые меня охватило неведомое дотоле увлечение, увлечение мыслью, одно из самых высоких и благородных побуждений души человеческой. Я узнал здесь и людей, которые стояли на высоте современного просвещения, и вместе с тем своим нравственным обликом придавали еще более обаяния возвещаемым ими идеям. Здесь сложился у меня тот идеал умственного и нравственного достоинства, который остался драгоценнейшим сокровищем моей души. Я захотел сам быть участником и деятелем в этом умственном движении, и этому посвятил всю свою жизнь.

Первый наш выезд был на публичную лекцию Шевырева, куда повез нас Николай Филиппович. В предшествующую зиму Грановский читал публичные лекции об истории средних веков. Это была первая попытка вывести научные вопросы из тесного литературного круга и сделать их достоянием целого общества. Попытка удалась как нельзя более. Блестящий талант профессора, его художественное изложе-

ние, его обаятельная личность производили глубокое впечатление на слушателей. Светские дамы толпами стекались в университетскую аудиторию [12]. По окончании курса Грановскому дан был большой обед, на котором и славянофилы и западники соединились в дружном почитании таланта. Заказан был портрет Грановского, который был поднесен его жене. Это было событие в московской жизни; о нем продолжали еще толковать, когда мы приехали в Москву. В эту зиму публичные лекции читал Шевырев, которому успехи соперника не давали спать. В противоположность курсу, проникнутому западными началами, Шевырев хотел прочесть курс в славянофильском духе. Предметом избрана была древняя русская литература. Стечение публики опять было огромное; но успех был далеко не тот. Ни по форме, ни по содержанию этот курс не мог сравняться с предыдущим. Талант был несравненно ниже, да и скудные памятники древней русской словесности не могли представлять того интереса, как мировая борьба императоров с папами. На нас, однако, первая лекция, которую мы слышали, произвела большое впечатление. Новых мыслей и взглядов мы из нее не почерпнули: известное уже нам поучение Мономаха [13], проповеди Кирилла Туровского [14], «Слово Даниила Заточника» [15] не заключали в себе ничего, что бы могло возбудить ум или подействовать на воображение. Но мы в первый раз слышали живую устную речь, обращенную к многочисленной публике. Толпа народа, наполнявшая аудиторию, студенты с синими воротниками, нарядные дамы, теснившиеся около кафедры, глубокое общее внимание слову профессора, громкие рукоплескания, сопровождавшие его появление и выход, наконец, самая его речь, несколько певучая, но складная, изящная, свободно текущая, все это было для нас совершенно ново и поразительно. Мы остались вполне довольны.

После лекции Павлов представил нас Шевыреву как будущих студентов. Шевырев сказал, что он давно знает отца, и звал нас к себе. Для ближайшего знакомства Павлов пригласил мою мать и нас обоих к себе обедать вместе с ним. Кроме Шевырева, тут были Хомяков, Константин Аксаков и Брусилов, приятель Павлова и моего отца, человек милейший, живой, с тонким и образованным умом, с изящными

светскими формами. Разговор был оживленный и литературный, касавшийся текущих вопросов дня. Хомяков, маленький, черненький, сгорбленный, с длинными всклокоченными волосами, придававшими ему несколько цыганский вид, с каким-то сухим и не совсем приятным смехом, по обыкновению говорил без умолку, шутил, острил, приводил стихи только что начинающих тогда поэтов, Ивана Аксакова, Полонского[16]. <...> Мы были совершенно очарованы этой блестящей игрой мысли и воображения, которую поддерживали и которой вторили остальные собеседники.

На следующий день Павлов повез нас к Шевыреву на дом. Отец мой, который дорожил изяществом речи, очень желал, чтобы Павлов склонил его давать нам частные уроки. Шевырев проэкзаменовал нас, остался нами очень доволен и сказал даже Павлову, что он не ожидал, чтобы можно было так хорошо приготовиться в провинции, но уроки нам давать отказался, говоря, что он вообще частных уроков не дает, а в нынешнем году, по случаю публичных лекций, имеет менее времени, нежели когда-либо. Вместо себя он рекомендовал Авилова, как лучшего в Москве учителя русского языка, а нам советовал только записывать его публичные лекции, что мы и стали усердно исполнять, готовясь тем к записыванию университетских курсов.

Вслед за тем Павлов устроил для нас у себя другой обед, который произвел на нас еще большее впечатление, нежели первый,— обед с Грановским. Павлову очень хотелось сблизить нас с ним и склонить его давать нам частные уроки. Здесь в первый раз я увидел этого замечательного человека, который имел на меня большее влияние, нежели кто бы то ни было, которого я полюбил всей душой, и память которого доселе осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни. Самая его наружность имела в себе что-то необыкновенно привлекательное. В то время ему было всего 32 года. Высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей большими, темными глазами, полными ума, мягкости и огня, с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства. Так же изящна и благородна была его речь, тихая и мягкая, порой сдержанная, порой оживляю-

щаяся, иногда приправленная тонкой шуткой, всегда полная мысли и интереса. И в мужском, и дамском обществе разговор его был равно увлекателен. Он одинаково хорошо выражался на русском и на французском языках. В дружеском кругу, когда он чувствовал себя на свободе, с ним никто не мог сравняться; тут разом проявлялись все разнообразные стороны его даровитой натуры: и глубокий ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная теплота, и, наконец, живость воображения, которое во всякой мелочной подробности умело схватить или поучительную, или трогательную, или забавную картину. У Павловых он был близкий человек. Хозяева, муж и жена, с своей стороны, были вполне способны поддерживать умный и живой разговор. Павлов, когда хотел, сверкал остроумием, но умел сказать и веское или меткое слово. Мы, только что прибывшие из провинции юноши, с жадностью слушали увлекательные речи. Очарование опять было полное.

На следующий день, после обеда, Николай Филиппович повез нас к Грановскому, который жил тогда в доме своего тестя, на углу Садовой и Драчевского переулка. Доселе я не могу без некоторого сердечного волнения проезжать мимо этого выходящего на улицу подъезда, к которому в первый раз меня подвезли еще совершенно неопытным юношей, едва начинающим жить, у которого я и впоследствии столько раз звонил, спрашивая, дома ли хозяин, всегда ласковый и приветливый, умевший с молодежью говорить, как с зрелыми людьми, возбуждая в них мысль, интересуя их всеми разнообразными проявлениями человеческого духа, в прошедшем и настоящем. Сколько раз входил я в этот скромный домик, как в некое святилище, с глубоким благоговением; сколько выносил я оттуда новых и светлых мыслей, теплых чувств, благородных стремлений! Здесь я с пламенной любовью к отечеству научился соединять столь же пламенную любовь к свободе, одушевлявшую мою молодость и сохранившуюся до старости с теми видоизменениями, которые приносят годы; здесь в мою душу запали те семена, развитие которых составило содержание всей моей последующей жизни.

Павлов ввел нас по узкой и крутой лестнице в кабинет Грановского, который находился в исчезнувшем ныне низеньком мезонине. Грановский принял нас

самым ласковым образом, расспросил, что мы прошли из истории и что мы читали. Услышав, что мы хорошо знаем по-английски, он раскрыл книгу и заставил нас сделать устный перевод, что мы исполнили совершенно удовлетворительно. Затем зашла речь о том, на какой нам вступать факультет. Грановский советовал непременно на юридический, признавая его единственным, заслуживающим название факультета. Там были Редкин, Кавелин, Крылов[17]; сам Грановский читал на юридическом факультете тот же курс, что и на словесном. Он прибавил, что на кафедру государственного права готовится вступить Александр Николаевич Попов[18], который, хотя славянофил, но человек умный, а потому, верно, будет читать хороший курс. В то время словесный факультет был главным поприщем деятельности Шевырева и развития славянофильских идей; юридический же факультет был оплотом западников. Из отзыва Грановского о Попове видно, однако, что западники отнюдь не были исключительны, а рады были принять славянофила в свою среду, когда считали его полезным, и если Попов не получил кафедры, то виной была собственная его несостоятельность. В ту же зиму он прочел перед факультетом пробную лекцию, и профессора, нисколько не причастные западному направлению, как Морошкин, нашли ее столь неудовлетворительною, что ему отказали. Таким образом, юридический факультет миновала и эта доля припущения славянофильского духа. Решившись сделаться юристами, мы тем самым подпадали под полное влияние западников. Но это совершилось уже позднее. В настоящее время для нас важно было то, что после свидания с нами Грановский согласился давать нам частные уроки и приготовить нас к университетскому экзамену. <...>

Но, без сомнения, важнейшее, что мы приобрели в это приготовительное к университету время, дано было уроками Грановского. Здесь мы возносились в самую широкую сферу мысли, знакомились с высшими взглядами современной науки. Грановский обыкновенно приезжал к нам после университетской лекции; мать просила у него позволения слушать его преподавание, сидя в соседней комнате. С первого же приступа он спросил меня: знаю ли я, какой смысл и содержание истории. Помня уроки Измаила Ивано-

вича[19], я отвечал: «Стремление к совершенству». «Так определяли историю в XVIII веке,— сказал Грановский,— но это определение недостаточно. Совершенство есть недостижимый идеал. Не осуждено же человечество на то, чтобы вечно гоняться за какой-то фантасмагорией, которую оно никогда не в состоянии поймать. Истинный смысл истории иной: углубление в себя, постепенное развитие различных сторон человеческого духа». И с обычным своим мастерством он в кратких словах развил эту тему. Так мы прошли с ним полный курс всеобщей истории, до самой Французской революции. Мы готовились к уроку по учебнику Лоренца[20], затем, выслушав приготовленное, он сам читал краткую лекцию, дополняя выученное, очерчивая лица, выясняя смысл событий, их взаимную связь, развитие идей, указывая на высшие цели человечества. Когда мы дошли до разделения церквей[21], он сказал: «Вы сами впоследствии увидите, в чем состоит существенное различие в характере и призвании обеих церквей: Восточная церковь гораздо глубже разработала догму, но Западная показала гораздо более практического смысла». Преподавание завершилось выяснением идей Французской революции: «Свобода, равенство и братство,— сказал Грановский,— таков лозунг, который Французская революция написала на своем знамени. Достигнуть этого не легко. После долгой борьбы французы получили наконец свободу; теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство. Таков высший идеал человечества».

Я жадно усваивал себе эти уроки. Чем более я слушал Грановского, тем более я привязывался к нему всем сердцем. К сожалению, нам не удалось попасть на знаменитый его магистерский диспут[22], который случился именно в это время. Как нарочно, он был назначен в то самое утро, когда должен был приехать из Тамбова отец с остальным семейством. Они тащились шесть дней по невероятным сугробам; передовые экипажи уже приехали, и их ожидали с часу на час. Действительно, они прибыли; после почти двухмесячного расставания, радость была неописанная. Большой дом Певцовой, на повороте Кривого переулка, близ Мясницкой, в котором мы стояли, наполнился шумом и беготней. Вырвавшиеся

на свободу, после шестидневного томительного путешествия на возках, ребятишки резвились и кричали. Рассказам с обеих сторон не было конца. И вдруг, в эту самую минуту, является из университета Василий Григорьевич[23], в каком-то неистовом восторге. Он пришел прямо с диспута и рассказал о неслыханном торжестве Грановского, который был идолом не только своих слушателей, но и всего университета. Студенты, собравшиеся в массе, прерывали шиканьем его оппонентов; всякое же слово Грановского встречалось неумолкающими рукоплесканиями. Наконец, его вынесли на руках.

На следующий день Грановский счел, однако, нужным сказать своим слушателям несколько слов, чтобы предостеречь их от слишком восторженных оваций, на которые в Петербурге смотрели не совсем благоприятно. Он сделал это со свойственным ему тактом и благородством. Он умел тронуть слушателей, указав им на высшую цель их университетского поприща, на служение России, «России, преобразованной Петром, России, идущей вперед и с равным презрением внимающей и клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без всякого собственного содержания, и старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением». Это было по адресу славянофилов, Шевырева с компанией, которые злобно на него ополчались и старались делать ему всякие неприятности. Нам принесли эту речь, записанную с его слов, и не только мы, но и отец был от нее в восхищении.

С таким же восторгом рассказывал нам о диспуте юрист 4-го курса Малышев, который, по рекомендации Грановского, давал нам уроки географии. «Вы знаете,—говорил он,—ведь для нас Тимофей Николаевич — это почти что божество». Малышев был умный и дельный студент, хотя любил покутить, что было не редкостью между университетской молодежью. Он преподавал нам географию, составляя извлечения из лекций Чивилева[24], который в статистику включал очерк географического положения европейских стран. Изложение Чивилева было превосходное и усваивалось необыкновенно легко. На экзамене мне

как раз попался один из почерпнутых из его курса вопросов, и он же был экзаменатором. Он удивился моему ответу и спросил: кто меня учил? Я объяснил, в чем дело.

Из математики и физики нас приготовлял Василий Григорьевич, который в это время совершенно переселился к нам в дом. Наконец, закону божьему учил нас, по рекомендации университетского священника Терновского, почтеннейший Иван Николаевич Рождественский, тогда еще преподаватель в Дворянском институте, впоследствии доживший до 80 лет и пользовавшийся всеобщим уважением в Москве.

Но мне всего этого было недостаточно. Я непременно хотел учиться по-гречески, хотя для экзамена этого вовсе не требовалось. Наконец, родители уступили моим настояниям, и Павлов пригласил лектора санскритского языка в Московском университете Каэтана Андреевича Коссовича. Это был человек замечательный в своем роде, пламенная душа, обращавшая все свои восторги на изучаемый предмет. Выше «Илиады» и санскритских поэм для него ничего не было в мире. Урок назначен был в воскресные дни, ибо все остальное время было занято, и мы сидели с ним по целым утрам, предаваясь поэтическому упоению. В первый раз он начал было с евангелия Иоанна, но как скоро я перевел несколько фраз, и он увидел, что я перевожу свободно, он воскликнул: «Э, да вас можно прямо посадить за «Илиаду». Тут я впервые познакомился с этой дивной поэмой и понял изумительную прелесть и красоту греческого языка. Я весь погрузился в этот очарованный мир богов и героев, над которым, как главный предмет моего пламенного сочувствия и увлечения, возвышался величавый, глубоко человеческий и вместе глубоко трагический образ Гектора, этого грозного и стойкого защитника отечества, несущего на своих плечах судьбы родного города, с тайным предчувствием неизбежного его падения,— самый поэтический тип, который когда-либо создавало искусство. Я не мог без волнения читать знаменитую сцену прощания его с Андромахой, где с неподражаемой простотой и изяществом выражаются самые высокие человеческие чувства. И я с грустью повторял стихи, которые Сципион Африканский[25] читал при разрушении Карфагена:

«Будет некогда день, как погибнет священная Троя.

Древний погибнет Приам и народ копьеносца «Приама». Эти уроки были для меня истинным наслаждением. Перед экзаменом я должен был от них отказаться. В университете мне уже некогда было заниматься греческим языком; но впоследствии, когда я стал серьезно изучать философию, я мог достигнуть того, что свободно читал Платона и Аристотеля.

Отец очень заботился о том, чтобы эти новые, усидчивые занятия нас не утомили и не подействовали вредно на наше здоровье. Поэтому он требовал, чтобы мы делали как можно более движения. С этой целью и чтобы время не пропадало даром, свободные часы посвящались разным физическим упражнениям. Нас посылали в манеж ездить верхом. Приглашен был учитель фехтования, статный и ловкий Трёль. Выучились мы немногому, но гимнастика была хорошая, и мы между собою дрались с увлечением. Приглашен был также танцмейстер, первый артист императорских театров, француз Ришар [26]. Он должен был обучать нас всем новейшим приемам светских танцев. Но как же вознегодовал он, когда, явившись в первый раз в сопровождении скрипача, он вдруг увидел, что мы, как взрослые юноши, без всякого внимания к важности и изяществу предстоящего учения, готовимся брать уроки в сапогах! Он тотчас протестовал против этого нарушения священных обычаев танцкласса и заявил, что его ученики должны быть, по принятой у всех уважающих себя танцмейстеров форме, непременно в башмаках. Немедленно были приняты меры для исправления этой грубой погрешности, показывающей неуважение к искусству, и когда, после вторичного, настойчивого напоминания обязанностей учащихся танцевать, мы, наконец, предстали перед ним обутые по самой настоящей бальной форме, в черных шелковых чулках и в башмачках с бантиками, наших старых знакомых, он остался вполне удовлетворен этим признанием утонченных требований танцкласса. Я, разумеется, в это время был уже ко всему этому совершенно равнодушен и даже с удовольствием надел башмачки с бантиками, которые напоминали мне нашу милую тамбовскую жизнь и мои прежние волнения. Успеха от изящной обуви, впрочем, не последовало, да и уроков было

мало; но требование некоторой выправки и нарядности было, вообще не лишнее. Главное же, среди умственных занятий была отличная гимнастика.

При множестве уроков о рисовании нечего было и думать; но я не отказался от своей страсти к птицам [27], тем более что в Москве было чем ее удовлетворить. Тут был Охотный ряд! Я долго стремился к этой сокровищнице, о которой слышал всякие рассказы; наконец, в одно воскресное утро меня туда отпустили. У меня разбежались глаза, когда я увидел сотни клеток, с самыми разнообразными, многими, никогда еще не виданными мной птицами. Тут были красивые свиристели, малиновые щуры, клесты с перекрещивающимся клювом. Я немедленно накупил их несколько и с тех пор стал ходить в Охотный ряд, как только было у меня свободное время. Дома же я в нашей общей спальной затянул одно окно сеткой, за которой всегда сидело несколько десятков моих крылатых любимцев. А когда мы весной переехали на дачу, мне в саду устроили вольерку [28]. Я не мог вытерпеть, чтобы некоторых из них не нарисовать.

Между тем мы продолжали посещать и старательно записывали лекции Шевырева. Но чем долее я их слушал, тем более я относился к ним критически. Этому способствовало не только постепенно укореняющееся влияние Грановского, но и все то, что мне доводилось слышать и читать о мнениях славянофилов и о предметах их споров с западниками. В это время самым крупным явлением в этой литературной борьбе был переход «Москвитянина» под редакцию Ивана Васильевича Киреевского [29]. Некогда Киреевский был ярым шеллингистом; в этом направлении он издавал журнал «Европеец» [30], который был запрещен уже с первого номера и от которого за редактором долгое время оставалось прозвание Европейца. Но затем, вслед за Шеллингом [31], он совершил эволюцию от философского пантеизма [32] к нравственно религиозной и притом догматической точке зрения. Разница состояла в том, что Шеллинг примкнул к католицизму, а Киреевский остановился на православии, вследствие чего он и сделался одним из основателей славянофильской школы. Пишущие историю славянофилов обыкновенно не обращают внимания на то громадное влияние, которое имело на их учение

тогдашнее реакционное направление европейской мысли, философским центром которого в Германии был Мюнхен. Из него вышли не только московские славянофилы, но и люди, как Тютчев, которого выдают у нас за самостоятельного мыслителя, между тем как он повторял только на щегольском французском языке ту критику всего европейского движения нового времени, которая раздавалась около него в столице Баварии. Даже высшее значение Восточной церкви с точки зрения философской, начало, на котором славянофилы строили все свое умственное здание, проповедовалось в то время одним из корифеев Шеллинговой школы Баадером[33]. Взявши в свои руки «Москвитянина», Киреевский хотел проводить свое направление, но и на этот раз его журнальное поприще было непродолжительно. Через два-три месяца он опять сдал «Москвитянин» Погодину, который набирал всякого рода сотрудников, стараясь извлечь из них как можно более денег, и скоро превратил свой журнал в совершеннейшую пошлость.

Кратковременная редакция Киреевского ознаменовалась, однако, оживлением литературных споров. Со свойственным ему умом и талантом, но вместе и со свойственной ему поверхностною софистикой он громил всю западную философию, как исчадие превозносящегося в своей гордыне рассудка, и указывал спасение единственно в лоне православной церкви. Возгорелась полемика, насколько возможно было печатно касаться этих вопросов. Между прочим, Герцен написал в «Отечественных записках» живую, умную, проникнутую обычным его юмором статью[34], которую отец прочел нам вслух. Мы много смеялись. Разумеется, я не мог еще тогда понять сущность философских вопросов, о которых шла речь. Но вся проповедь славянофилов представлялась мне чем-то странным и несообразным; она шла наперекор всем понятиям, которые могли развиться в моей юношеской душе. Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви; с этой стороны, казалось бы, это учение могло бы меня подкупить. Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что, может быть, и встре-

чалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, отроду не видал. Меня уверяли, что высший идеал человечества — те крестьяне, среди которых я жил и которых знал с детства, а это казалось мне совершенно нелепым. Мне внушали ненависть ко всему тому, чем я гордился в русской истории, к гению Петра, к славному царствованию Екатерины, к великим подвигам Александра. Просветитель России, победитель шведов, заандамский работник[35] выдавался за исказителя народных начал, а идеалом царя в «Библиотеке для воспитания» Хомяков выставлял слабоумного Федора Ивановича за то, что он не пропускал ни одной церковной службы и сам звонил в колокола. Утверждали, что нам нечего учиться свободе у Западной Европы, и в доказательство ссылались на допетровскую Русь, которая сверху донизу установила всеобщее рабство. Вместо Пушкина, Жуковского, Лермонтова меня обращали к Кириллу Туровскому и Даниилу Заточнику, которые ничем не могли меня одушевить. А с другой стороны, то образование, которое я привык уважать с детства, та наука, которую я жаждал изучить, ожидая найти в ней неисчерпаемые сокровища знания, выставлялись, как опасная ложь, которой надобно остерегаться, как яда. Взамен их обещалась какая-то никому неведомая русская наука, ныне еще не существующая, но долженствующая когда-нибудь развиться из начал, сохранившихся неприкосновенными в крестьянской среде.

Все это так мало соответствовало истинным потребностям и положению русского общества, до такой степени противоречило указаниям самого простого здравого смысла, что для людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не отуманенных словопрениями московских салонов, славянофильская партия представлялась какой-то странной сектой, сборищем лиц, которые в часы досуга, от нечего делать занимались измышлением разных софизмов, поддерживая их перед публикой для упражнения в умственной гимнастике и для доказательства своего фехтовального искусства. Так это представлялось не только нам, еще незрелым юношам, но и моим родителям. Отец мой, со своим здравым и образованным умом, непричастный ни к каким партиям, но интересующийся всеми умственными вопросами, смотрел на

славянофильские затеи более или менее как на забаву праздных людей, не имеющую никакого серьезного значения. И этот взгляд мог только укрепиться при виде тех внешних отличий, которыми славянофилы старались выказать свою самобытность. Когда они одели на себя мурмолки, как символ принадлежности к их партии, когда Константин Аксаков разъезжал по московским гостиным в терлике[36] и высоких сапогах, когда Хомяков и некоторые его последователи облеклись в какую-то изобретенную им славянку, и во всем этом усматривали признаки начинающегося возрождения русского духа, то нельзя было над этим не смеяться и не считать всю их деятельность некоторого рода самодурством потешающих себя русских бар, чем она в самом деле и была в значительной степени. Вне московских салонов русская жизнь и европейское образование преспокойно уживались рядом, и между ними не оказывалось никакого противоречия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для другой. Все стремление моих родителей состояло в том, чтобы дать нам европейское образование, которое они считали лучшим украшением всякого русского человека и самым надежным орудием для служения России.

Ко всем этим поводам к теоретическому отчуждению от славянофилов присоединилось и то, что трудно было не возмутиться их образом действий. В это время отношения обеих партий значительно обострились, так что Павловы принуждены были закрыть свои четверги. Причиной размолвки была учиненная славянофилами гадость. За год перед тем выбыл из Москвы губернатор Сенявин[37]. Жена его[38], красивая светская женщина, во время его губернаторства держала у себя салон и охотно принимала литераторов. В благодарность за любезное обхождение московское литературное общество пожелало подарить ей на память великолепный альбом с видами Москвы. Многие московские писатели наполнили его своими стихами и своей прозой. Между прочим, поэт Языков[39], тогда уже больной и не выходивший из комнаты, вписал в него стихотворение[40], которое нельзя иначе назвать, как пасквилем на главнейших представителей западного направления. Люди обозначились здесь прямо, без обиняков: Чаадаев назывался «плешивым идолом строптивых баб и модных

жен»[41]. К Грановскому обращены были следующие стихи:

«И ты, красноречивый книжник[42],
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Всех западных гнилых надежд».

Подобная проделка была совершенно непозволительна. Если бы это стихотворение было просто пущено в ход в рукописи, то и в таком случае оно не могло бы не оскорбить людей, пользовавшихся общим и заслуженным почетом. До того времени, несмотря на горячие споры, происходившие между обеими партиями, противники встречались с соблюдением всех приличий, с полным взаимным уважением; борьба велась в чисто умственной сфере, никогда не затрагивая личностей. А тут вдруг из среды одной партии поэт-гуляка, ничего не смысливший ни в научных, ни в общественных вопросах, вздумал клеймить людей, стоящих бесконечно выше его и по уму и по образованию. Когда же этот пасквиль рукой автора был внесен в альбом великосветской дамы, занимавшей видное общественное положение, в альбом, поднесенный ей на память от всей литературной Москвы, то неприличие достигало уже высшего своего предела. Между тем славянофилы, которые по духу секты всегда горой стояли за каждого из своих, не только не отреклись от Языкова, а, напротив, старались оправдать его всеми силами. Понятно, что это не могло не возмутить не только их противников, но и посторонних людей. Каролина Карловна Павлова написала по этому поводу одно из лучших своих стихотворений. Она некогда была в дружеских отношениях с Языковым. Поэт, уже больной, обращался к ней с стихотворными посланиями, и она отвечала ему тем же. И после совершенного им поступка он послал ей какие-то стихи, но на этот раз она не отвечала. Он поручил одному из своих друзей спросить у нее, отчего он не получает ответа. Тогда она послала ему следующее стихотворение[43]:

«Нет, не могла я дать ответа
На вызов лирный, как всегда;
Мне стала ныне лира эта
И непонятна и чужда.
Не признаю ее напева,
Не он в те дни пленял мой слух.

В ней крик языческого гнева,
В ней злобный пробудился дух.
Не нахожу в душе я дани
Для дел гордыни и греха;
Нет на проклятия и брани
Во мне отзывного стиха.
Во мне нет чувства, кроме горя,
Когда знакомый глас певца,
Слепым страстям безбожно вторя,
Вливает ненависть в сердца;
И я глубоко негодую,
Что тот, чья песнь была чиста,
На площадь музу шлет святую,
Вложив руганья ей в уста.
Мне тяжко знать и безотрадно,
Что дышит темной он враждой,
Чужую мысль карая жадно
И роясь в совести чужой.
Мне стыдно за него и больно,
И вместо песен, как сперва,
Лишь вырываются невольно
Из сердца горькие слова».

Таким образом, в это приготовительное к университету время все клонилось к тому, чтобы отчуждить меня от славянофилов и приблизить меня к западникам. И то, что я вынес из провинции, и то, что приобрел в Москве, приводило к одному результату. Вся моя последующая жизнь, все изведанное опытом и добытое знанием могло только его закрепить.

В мае мы переехали на дачу. Отдаляться от Москвы при продолжении уроков не было возможности, а потому нанята была дача на Башиловке, близ Петровского парка. В то время она принадлежала князю Щербатову[44]. Дом был красивой архитектуры, довольно поместительный; при нем был хорошенький садик с выходом через улицу, в парк. Большая часть учителей приезжала к нам туда: Грановский, Авилов, Вольфзон, Коссович; Василий Григорьевич жил с нами. Только для уроков закона божьего мы ездили в город.

Я несказанно рад был вырваться из душной и пыльной столицы. Хотя местность около парка далеко не походила на деревню, но тут была зелень, тишина, свежий воздух. Для прогулок я сначала выбирал самые ранние утренние часы, когда в парке никого не было и я мог спокойно наслаждаться его свежей и густой зеленью, светлыми прудами, красивой группировкой деревьев. Скоро, однако, я, к большому своему неудовольствию, заметил, что московский кли-

мат далеко не то, что тамбовский: при восходе солнца нельзя было гулять в холстяном платье; вместо живительной и благоуханной утренней прохлады, к которой я привык в деревне, чувствовался холод, и я слишком ранние прогулки должен был прекратить. К лету нам привели из деревни наших верховых лошадей, и мы делали большие прогулки верхом, нередко вместе с Каролиной Карловной, которая жила недалеко от нас, на даче в Бутырках, и для которой было отменным удовольствием разъезжать амазонкой с эскортой молодых людей.

Но чем далее подвигалось лето, тем менее мог я наслаждаться и природой и прогулками. Приближалось время экзаменов, которые происходили в августе. Голова была наполнена уроками и повторениями. Во время прогулок я уже не смотрел по сторонам, а только мысленно обновлял в своей памяти все пройденное и все, что требовалось знать.

Наконец, настал великий день. На первый раз отец сам повез нас в университет; потом мы уже ездили одни. В то время экзаменовали профессора в стенах университета. Мы вдруг очутились в огромной толпе молодых людей, наших сверстников, стекшихся отовсюду искать знания в святилище науки. Первый экзамен состоял в письменном сочинении. Выше я уже сказал, что Шевырев задал темой описание события или впечатления, которое имело наиболее влияния в жизни, и что, уступив брату английскую литературу, я взял латинских классиков. Шевырев остался очень доволен, поставил нам по 5 и тотчас, через Павлова, сообщил родителям о результате испытания. Мы вернулись домой в восторге.

Следующий экзамен был также успешен. Экзаменовал Кавелин из русской истории, и я опять получил пятерку. Так продолжалось и далее; с каждым новым испытанием прибавлялась бодрость и уверенность. На экзамене из закона божьего присутствовал сам митрополит Филарет [45]. Я вступил первым, получив одну только четверку из физики, и ту несправедливо, ибо я предмет знал отлично, с такими вычислениями, которые вовсе даже не требовались от студентов юридического факультета. Вопрос попался пустой; Спасский [46], который не обращал на юристов большого внимания, спросил два, три слова и поставил 4, а я не имел духу просить, чтобы он проэкзаме-

новал меня основательно. Я был очень огорчен, и Василий Григорьевич тоже; но делать было нечего, и беда была невелика. Это была единственная четверка, которую я получил во всю свою жизнь. Брат мой также отлично выдержал экзамен, хотя ему не было еще вполне 16 лет.

Когда, наконец, все кончилось, наша радость была неописанная. Все усилия и труды увенчались блистательным успехом. У нас как гора свалилась с плеч. Можно было на время бросить книги и тетради и вздохнуть свободно, услаждаясь сознанием великого совершенного шага. Это был первый значительный успех в жизни, успех тем более важный, что им обозначалось вступление в новый возраст и на новое поприще.

Миновало детство с его волшебными впечатлениями, с его невозмутимым счастьем; мы выходили уже из-под крыла родителей и становились взрослыми людьми, которым предлежало уже самим располагать своими действиями.

Но еще больше, может быть, была радость моих родителей. Все многолетние попечения, заботы, хлопоты и издержки, все опасения, надежды и ожидания привели, наконец, к тому желанному результату, который был постоянной целью всей их деятельности и дум. Дети выдержали испытание и выдержали блистательно, отличившись в глазах всех, обратив на себя общее внимание. Они встали уже на собственные ноги и бодро и весело вступали на новый путь, где их ожидали новые успехи. Родительская гордость и родительское сердце могли быть вполне удовлетворены.

Мы тотчас заказали себе мундиры. С какой гордостью надели мы синий воротник и шпагу, принадлежность взрослого человека! В ожидании начала лекций мы с остальным семейством продолжали жить на даче; отец же со спокойным сердцем уехал в свой Караул, куда должен был прибыть Магзиг[47] для насаждения нового парка.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В то время, когда я вступил в Московский университет, он находился в самой цветущей поре своего существования. Все окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились в таком счастливом сочетании,

как никогда в России не бывало прежде и как, может быть, никогда уже не будет впоследствии.

Министерством народного просвещения управлял тогда граф Уваров, единственный, можно сказать, из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров, с самого начала нынешнего века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, с широким умом, с разносторонним образованием [48], какими бывали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне понимал вверенное ему дело. Управляя народным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства. Сам он глубоко интересовался преподаванием. Когда он осенью 1848 года, незадолго до отставки, приехал в свое великолепное имение Поречье, где у него была и редкая библиотека и драгоценный музей, он пригласил туда несколько профессоров Московского университета, между прочим Грановского, и самое приятное для него препровождение времени состояло в том, что он просил их читать лекции в его маленьком обществе. Перед тем он был в Московском университете и заставлял даже студентов читать пробные лекции в его присутствии. К сожалению, я этого не видел и не мог участвовать в этих чтениях, ибо в ту пору мы не возвратились еще из деревни. Высокому и просвещенному уму графа Уварова не соответствовал характер, который был далеко не стойкий, часто мелочной, податливый на личные отношения. Государя он боялся как огня; один из его приближенных рассказывал мне, что его трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом. Но тем более делает ему чести, что он всячески старался отстоять русское просвещение от суровых требований монарха. Он сам говорил Грановскому, что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другой все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел. При реакции, наступившей в 49 году, бросать уже было нечего, и Уваров вышел в отставку.

Ниже по уму, но гораздо выше по характеру был тогдашний попечитель Московского университета,

граф Сергей Григорьевич Строганов, незабвенное имя которого связано с лучшими воспоминаниями московской университетской жизни. Время его попечительства было как бы лучом света среди долгой ночи. С Уваровым он был не в ладах, потому что не уважал его характера; но сам он занимал такое высокое положение и в обществе и при дворе, что мог считаться почти самостоятельным правителем вверенного ему округа. Впоследствии я близко знал этого человека и мог вполне оценить его редкие качества. При невысоком природном уме, при далеко недостаточном образовании, в нем ярко выступала отличительная черта людей Александровского времени,— горячая любовь к просвещению[49]. Самые разнообразные умственные интересы составляли его насущную пищу. Страстно преданный своему отечеству, свято сохраняя уважение к верховной власти, он никогда не стремился к почестям и презирал все жизненные мелочи. Любя тихую семейную жизнь, он высшее наслаждение находил в постоянном чтении серьезных книг и в разговорах с просвещенными людьми. Уже восьмидесятилетним стариком, он вдруг с любовью занялся собранием мексиканских древностей. Показывая мне свое собрание, он спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь сочинения о Мексике. Я назвал Brasseur de Bourbourg, замечая, однако, что это книга весьма неудобоваримая. И что же? Через несколько месяцев, приехавши опять в Петербург, я застаю его за чтением Брассера и весьма довольного моей рекомендацией. Но главная его страсть, к чему у него была прирожденная струнка, была педагогика. Я видел тому удивительные примеры. Однажды, в Гааге, во время путешествия с наследником мы шли с ним по улице вдвоем. Вдруг он видит надпись: Народная школа. Старик весь воспламенился: «Народная школа! — воскликнул он,— войдемте и посмотримте, как там преподают». Мы вошли и сели на скамейку рядом с учениками. Долго мы тут сидели и слушали, и хотя преподавание происходило на неизвестном ему языке, ему понравились приемы, и он остался совершенно доволен своим посещением. Управляя Московским учебным округом, он постоянно посещал гимназии и университет, внимательно слушал самые разнородные уроки и лекции, и при том всегда без малейшего церемониала. Никто его не встречал и не провожал, и

мы часто видели, как он среди толпы студентов, никем не сопровождаемый, направлялся в аудиторию, опираясь на свою палку и слегка прихрамывая на свою сломанную ногу. В аудитории он садился рядом со студентами на боковую скамейку и после лекции разговаривал о прочтенном с профессором. Вообще он церемоний терпеть не мог и в частной жизни был чрезвычайно обходителен с людьми, которых жаловал. Зато, если кто ему не нравился или если что-нибудь было не по нем, он обрывал с резкостью старого вельможи, иногда даже совершенно незаслуженно и некстати, ибо он в чужие обстоятельства никогда не входил и вообще мало что делал для людей, имея всегда в виду только пользу дела. Вследствие этого многие, имевшие с ним сношения, его не любили. В особенности не жаловали его славянофилы, которых он, со своей стороны, весьма недолюбливал, видя в них только праздных болтунов. Погодин и Шевырев жаловались иногда на притеснения. Но вообще среди всех людей, причастных к университету, и профессоров и студентов, он пользовался благоговейным уважением. Когда он вышел в отставку, ему поднесен был альбом по общей подписке между студентами; мы все вписали в него свои имена. И во все последующие годы, когда при новом царствовании началось ежегодное празднование 12 января, дня основания Московского университета, все собранные на обед старые студенты всегда считали своей первой обязанностью послать телеграмму графу Сергею Григорьевичу Строганову в знак сохранившейся в их сердцах признательности за вечно памятное его управление Московским университетом.

При нем университет весь обновился свежими силами. Все старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание просвещенного попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми с знанием и талантом. Он отыскивал их всюду, и в Москве, и в Петербурге, куда он ездил с целью приобрести для университета подававших надежды молодых людей. Он послал Грановского за границу, а Евгения Корша[50] перевел библиотекарем в Москву. При нем вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин, Крылов, Крюков, Чивилев, Иноземцев[51], а затем постепенно вступили на кафедры Кавелин, Соловьев[52], Кудрявцев[53], Леонтьев[54], Бусла-

ев[55], Катков[56]. Из-за границы молодые люди возвращались в Россию, воодушевленные любовью к науке, полные сил и надежд. В то время и европейская наука находилась в самой цветущей поре своего развития. В период политического затишья между Венским Конгрессом[57] и переворотами 1848 года умы в Европе были главным образом устремлены на решение теоретических вопросов, особенно в Германии, куда ездили учиться молодые русские. Германская наука царила тогда над умами и давала им пищу, которая могла удовлетворять все потребности. В то время не было еще одностороннего господства реализма, который принижает мысль, закрывая перед ней всякие отдаленные горизонты и заставляя ее превратно смотреть на высшие и лучшие стороны человеческого духа. Философское одушевление было еще в полном разгаре. В этой области господствовал гегелизм, увлекавший и старых и молодых. С другой стороны, в борьбу с ним вступала историческая школа, в лице знаменитейших юристов: Эйхгорна[58], Пухта[59], Савиньи[60]. На поприще филологии и древностей подвизались такие люди, как Вильгельм Гумбольдт[61], Бекк[62], братья Гримм[63], основатели новой науки. Историческую кафедру в Берлине занимал уже тогда знаменитый, на днях только умерший Ранке[64]. В то же время и во Франции историческая школа выступила с небывалым блеском в лице Гизо[65], Тьерри[66], Тьера[67], Минье[68], Мишле[69]. Все соединялось к тому, чтобы предвещать человечеству новую и великолепную будущность. В каком-то поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались молодые люди в отечество и сообщали слушателям одушевлявшие их идеалы, указывая им высшие цели для деятельности, зароняя в сердца их неутомимую жажду истины и пламенную любовь к свободе. Один Грановский мог быть славой и красой любого университета. Его поэтическая личность, его яркий талант, его высокий нравственный строй делали его самым видным представителем этой блестящей эпохи университетской жизни.

Отношения между профессорами и студентами были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и готовность прийти на помощь. У Грановского, у Кавелина, у Редкина в назначенные дни собиралось всегда множество сту-

дентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда были открыты для студентов, которых профессора сами побуждали к чтению, давая им книги и расспрашивая о прочитанном. Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особенного внимания и попечения. Без сомнения, масса студентов в то время, как и теперь, приходила в университет с целью достичь служебных выгод и ограничивалась рутинным посещением лекций и зубрением тетрадок для экзамена. Но всегда были студенты, которые под руководством профессоров занимались серьезно и основательно. В это время Московский университет выпустил из своей среды целый ряд людей, приобретших громкое имя и на литературном, и на других поприщах. Один за другим, в течение немногих лет, вышли из него Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Катков, Буслаев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Черкасский[70]. Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в университете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. Это действительно была alma mater, о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной признательности. Студенты носили тогда общую форму: сюртук с синим воротником, в обыкновенные дни с фуражкой, в праздники — с треугольной шляпой и шпагой, для выездов — фрачный мундир с галунами на воротнике. Но мы этой формой не только не тяготились, а, напротив, гордились ею, как знаком принадлежности к университету. Мелочных придирок относительно формы не было. В стенах университета мы ходили расстегнутыми; на мелкие отступления смотрели сквозь пальцы, и только в случае большого неряшества делались замечания, да и то снисходительно и ласково. Инспектором в то время был человек, о котором у всех старых студентов сохранилась благоговейная память, Платон Степанович Нахимов, старый моряк, брат знаменитого адмирала[71]. Это была чистейшая, добрейшая и благороднейшая душа, исполненная любви к вверенной его попечению молодежи. Тихий и ласковый, он был истинным другом студентов, всегда готовым прийти к ним на помощь, позаботиться об их нуждах, защитить их в слу-

чае столкновений. Хлопот ему в этом отношении было немало, ибо в то время студенты вовсе не подлежали полиции, а ведались исключительно университетским начальством; казенные же студенты жили в самых стенах университета, под непосредственным надзором инспекции. Поминутно студентов ловили в каких-нибудь шалостях, и все это надобно было разбирать; приходилось и журить и наказывать; но все это совершалось с таким добродушием, что никогда виновные не думали на это сетовать. Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, как его студенты обманывали и как он поддавался обману. Но поддавался он нарочно, по своему добросердечию, потому что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки. Иногда он отворачивался, когда встречал студента в слишком неряшливом виде. Когда же случалась в университете история, он призывал к себе лучших и разумнейших студентов и ласково уговаривал их, чтобы они старались собственным влиянием на товарищей положить ей конец. Когда Платон Степанович несколько лет спустя вышел в отставку и сделался смотрителем Шереметевской больницы, весь университет его оплакивал, и во все последующие годы бывшие при нем студенты считали долгом в праздничные дни поехать к нему расписаться и тем показать ему, что у них сохранилась о нем благодарная память. Да и можно ли было о нем забыть? Я доселе не могу без умиления вспоминать стихи, написанные старым студентом после Синопского сражения[72], выигранного знаменитым его братом, в самый день именин Платона Степановича.

В ноябре, раскрывши святцы,
Вспомним мы Синопский бой,
Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной.
Здравствуй, адмирал почтенный,
Богатырь и молодец!
Дядя, брат твой незабвенный
Был студенческий отец.
Мы по нем тебе родные,
Благодарны за него;
Ты напомнил всей России
Имя доброе его.
Всяк из нас и днем и на ночь
Вас в молитве помянет,
И тобой Платон Степаныч
В новой славе оживет.

Уваров, Строганов, Грановский, Нахимов! Какое сочетание имен! Какова была жизнь в университете, когда все эти люди действовали вместе, на общем поприще, приготовляя молодые поколения к служению России!

Ко всем этим счастливым условиям присоединялось, наконец, совершенно исключительное, никогда не бывшее ни прежде ни после и не могущее даже возобновиться, отношение университета к окружающему обществу. В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких практических интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхождение по чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Молодые люди, которые сначала с жаром за нее принимались, скоро остывали, потому что видели бесплодность своих усилий, и лишь нужда могла заставить их оставаться на этой дороге. Точно так же и общественная служба, лишенная всякого серьезного содержания, была поприщем личного честолюбия и мелких интриг. В нее стремились люди, которых тщеславие удовлетворялось тем, что они на маленьком поприще играли маленькую роль. При таких условиях все, что в России имело более возвышенные стремления, все, что мыслило и чувствовало не заодно с толпою, все это обращалось к теоретическим интересам, которые за отсутствием всякой практической деятельности открывали широкое поле для любознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были громадные. При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось все, что могло бы показаться хотя отдаленным намеком на либеральный образ мыслей. Не допускалось ни малейшее, даже призрачное отступление от видов правительства или требований православной церкви. Конечно, мысль заковать нельзя, и публика привыкла читать между строками, но всякое серьезное обсуждение вопросов становилось невозможным. На кафедре было гораздо более простора; тут не было пошлого и трусливого цензора, опасающегося навлечь на себя правительственную кару и беспрестанно дрожащего за свою судьбу. Хотя, разумеется, и в университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако, под защитой просвещенного попечителя, слово раздавалось свободнее,

можно было, не касаясь животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к себе все, что было мыслящего и образованного в столице. Московский университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет, распространявший лучи свои повсюду, на который обращены были все взоры. В особенности кружок так называемых западников, людей, веровавших в науку и свободу, в который слились все прежние московские кружки, и философские и политические, исключая славянофилов, собирался вокруг профессоров Московского университета. К нему принадлежали: Герцен, блестящий, полный огня, всегда увлекающийся в крайности, но одаренный большим художественным талантом и неистощимым остроумием; Боткин[73], который, сидя в амбаре у отца, страстно изучал философию, человек с разносторонне образованным умом, тонкий знаток литературы и искусств, хотя подчас капризный и раздражительный, склонный к сибаритизму, над чем друзья его нередко потешались; Кетчер[74], который под резкими формами и суровой наружностью скрывал золотое сердце, неуклонное прямодушие и беспредельную преданность своим друзьям; Корш сам принадлежал к университету, в это время он издавал «Московские ведомости». Вскоре из-за границы вернулись Огарев и Сатин[75]. Из того же кружка вышел и Белинский, который, переехав в Петербург, в «Отечественных записках» громил славянофилов и своим ярким талантом распространял по всей России европейские идеи, вынесенные им из Москвы, нередко впадая в крайность, по страстности своей натуры, но всегда смягчаемый прирожденным ему эстетическим чувством. В то время петербургские и московские литераторы составляли одно целое и всякий приезжий из Петербурга: Белинский, Краевский[76], Тургенев, Анненков[77], Панаев[78] считал долгом явиться к московским профессорам, которые принимали его, как своего собрата. Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: литературная, ученая, педагогическая. И дело, казалось, шло с вожделенным успехом. Умственный интерес в обще-

стве был возбужден; студенты слушали жадно и боготворили своих профессоров; из университета выходили даровитые молодые люди, которые обещали прибавление новых сил к тесному кругу русского образованного общества. Друзья собирались постоянно, обсуждали все вопросы дня, все явления науки и литературы, проводили иногда долгие ночи в оживленных беседах. Самые их противники, славянофилы, существовали, кажется, только для того, чтобы придать более яркости мысли, более живости прениям. Временно обострившиеся отношения смягчились; споры возобновились по-прежнему; собирались в литературных салонах у Свербеевых[79], у Елагиной. Это была, можно сказать, пора поэтического упоения мыслью в университете и в окружающем его обществе. Немудрено, что однажды Грановский, возвращаясь домой с Павловым после ужина в нашем доме и идя с ним пешком по бульвару, вдруг остановился и воскликнул: «Николай Филиппович! А ведь хороша жизнь!» Счастливо время, когда подобные слова могут вырываться у людей с такими высокими умственными и нравственными потребностями! Увы! прошло несколько лет, и все это было беспощадно подавлено, и тот же Грановский, чтобы заглушить гнетущую его тоску, искал убежища в опьянении азартной игры.

В эту-то пору умственного подъема, надежд и увлечений, когда счастливое созвездие, казалось, обещало светлое будущее, довелось мне вступить в Московский университет. Разумеется, он представлялся мне какой-то святыней, и я вступал в нее с благоговением, ожидая найти в ней те сокровища знания, которых жаждала моя душа.

Первый курс был составлен отлично. Редкин читал юридическую энциклопедию, Кавелин — историю русского права, Грановский — всеобщую историю, Шевырев — словесность. Университетский священник Терновский читал богословие, которое в то время требовалось строго. Наконец, ко всему этому прибавлялся латинский язык, который преподавал лектор Фабрициус, хороший латинист, но не умевший заинтересовать студентов. Поэтому никто почти его не слушал: студенты позволяли себе даже разные ребяческие выходки, и курс был совершенно бесполезен. От немецкого языка, который читался на том же курсе, мы были избавлены, потому что на экзамене получили по 5.

На первых шагах, однако, меня постигло некоторое разочарование. Одним из важнейших предметов на курсе была юридическая энциклопедия. Редкин пользовался большой репутацией; в ожидании первой лекции аудитория была битком набита студентами. Наконец, явился профессор, уселся на кафедре и громовым голосом воскликнул: «Зачем вы собрались здесь в таком множестве?» Это был приступ к лекции, в которой в напыщенной форме говорилось, что студенты пришли в университет искать правды, которая есть начало права. Масса была увлечена и неистово рукоплескала. Но я остался холоден; мне эта напыщенная форма не понравилась. Столь же мало я был удовлетворен и следующими лекциями. Я искал живого содержания, а мне давали формальное и пространное изложение общих требований науки. Но когда я, составив лекции, показал их отцу, он остался ими очень доволен и сказал, что для молодых умов подобная умственная дисциплина весьма полезна. Думаю, что он был прав. Я сам, чем более слушал профессора, тем более ценил достоинство его курса, несмотря на довольно существенные недостатки его преподавания.

Редкин был человек невысокого ума и небольшого таланта. Всецело преданный гегельянской философии, он не всегда умел ясно выразить отвлеченную мысль и нередко впадал в крайний формализм. Построение всякого начала по трем ступеням развития составляло для него непременную догму, и так как каждая из этих ступеней, в свою очередь, развивалась в трех ступенях, то отсюда выходил сложный схематизм, который совершенно озадачивал молодые умы и нередко лишен был всякого существенного содержания. Так, коренной источник права, воля, развивалась у него в двадцати семи ступенях, и каждая из этих ступеней должна была иметь свое собственное значение и служить началом особой отрасли правоведения. Большинство студентов первого курса совершенно запутывались в этих определениях, а так как профессор на экзамене был строг, то юридическая энциклопедия была чистилищем, через которое проходила университетская молодежь, прежде нежели перейти на высшие курсы. Нельзя не сказать, однако, что это чистилище было весьма полезно. Мы приучались к логической последовательности мысли, к внутренней связи фило-

софских понятий. Перед нами возникал целый очерк юридической науки, не как мертвый перечень, а как живой организм, проникнутый высшими началами. Мы затверживали определение римских юристов, что право происходит от правды; нам говорили, что начало гражданского права есть свобода, начало уголовного права — основанное на правде воздаяние; мы учились видеть в государстве не внешнюю только форму, не охранителя безопасности, а высшую цель юридического развития, осуществление начал свободы и правды в верховном союзе, который, не поглощая собой личности и давая ей надлежащий простор, направляет ее к общему благу. И так как профессор весь был проникнут излагаемым предметом, который составлял для него призвание жизни, то он умел свое одушевление передать и слушателям. Он давал толчок философскому движению мысли; мы стремились познать верховные начала бытия и воспламенялись любовью к вечным идеям правды и добра, которым мы готовились служить всем своим существом. Как неизмеримо высоко стоит это преподавание, проникнутое философскими и нравственными началами, над современными изложениями юридической науки, которые если не ограничиваются рутинным перечнем, то отражают на себя взгляд новейшего реализма, отвергающего всякие высшие начала и низводящего право к охранению интересов, а самые интересы низводящего к уровню физиологии! Какое одушевление может вселить в молодые сердца такое грубое непонимание самых первых основ человеческого общежития!

Когда впоследствии почтеннейший Петр Григорьевич, оставив кафедру по причинам, которые расскажу ниже, переехал на службу в Петербург, я всегда с сердечным удовольствием ездил беседовать с своим старым профессором и скорбел, когда слышал, что многие над ним издеваются, пользуясь его простодушием и не понимая внутренних его достоинств. Он до старости сохранил весь свой юношеский жар и до такой степени был предан преподаванию, что, занимая видное место в администрации, он принял вместе с тем кафедру юридической энциклопедии в Петербургском университете, которого он одно время был ректором. Когда я входил в его комнату, мне казалось, что я дышу иной атмосферой, проникнутой ду-

хом давно прошедшего времени; я видел перед собой человека, жившего среди великого движения умов, заставшего в Берлине еще свежие предания Гегеля, слушавшего Ганса[80] и Савиньи и сохранившего от того времени живой интерес к философским вопросам, а вместе и серьезное их понимание, понимание совершенно заглохшее и затерявшееся у современников. С ним можно было говорить, как встарь, и отдохнуть умом от пошлости новейших ученых. Я навек остался ему благодарным учеником. Ему я обязан первым своим философским развитием.

Если преподавание Редкина, при весьма существенных достоинствах, имело и свои слабые стороны, то курс Кавелина не оставлял ничего желать. Он был превосходен во всех отношениях, и по форме и по содержанию. Кавелин имел весьма скудное теоретическое образование, и по свойствам своего ума он всего менее был способен к пониманию вопросов с философской стороны. Когда он впоследствии стал заниматься философией, то Редкин удивлялся, как он берется за предмет, столь противный его натуре, и если он в этом отношении достиг, по крайней мере, умения связать в одно целое чисто отвлеченные понятия, то это доказывает только необыкновенную даровитость этого замечательного человека. Но в изложении истории русского права никаких теоретических понятий не требовалось. В университетском курсе стушевывалось даже то начало, которое составляет слабую сторону его знаменитой статьи, появившейся в первой книжке «Современника» 1847 года, начало развития личности в древней русской истории[81]. В основание своего курса Кавелин полагал изучение источников, не внося в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представлялись его живому и впечатлительному уму, излагал их в непрерывной последовательности, со свойственной ему ясностью и мастерством, не ограничиваясь общими очерками, а постоянно следя за памятниками, указывая на них и уча студентов ими пользоваться. Перед нами развертывалась стройная картина всего развития русской общественной жизни: вначале родовой быт, на который прямо указывает летописец и который проявлялся и в обычаях, и в родовой мести, и в отношениях князей; затем разложение этого начала дружинным, выступление личности, постепенное развитие го-

сударства и, наконец, завершение всего этого исторического процесса деятельностью Петра Великого, который, воспользовавшись государственным материалом, подготовленным московскими царями, вдвинул Россию в среду европейских держав, тем самым исполняя великое ее историческое назначение. Как далек был этот здравый, трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий! Константин Аксаков объявлял родовой быт поклепом на русскую историю и вопреки очевидности утверждал, что у летописца род означает семью и что все встречающиеся в истории черты родового быта вовсе не славянские, а пришлые, варяжские. Петр Васильевич Киреевский и даже более трезвый, ибо более знакомый с источниками, Погодин видели в языческих славянах какой-то образец невозмутимой добродетели и умилялись над тем смиреномудрием, с которым они безропотно покорялись варяжским завоевателям. Как неизмеримо высоко стояло умное, живое, ярко даровитое преподавание Кавелина и от следовавшего за ним после короткого промежутка курса Беляева [82], который при полном невежестве и при полной бездарности не умел даже понимать изучаемые им грамоты, а постоянно восполнял и извращал их собственными дикими измышлениями! Замечательно, что в одно и то же время два человека, не столковавшиеся между собой, без всяких взаимных сношений, Кавелин и Соловьев, пришли к одному и тому же правильному взгляду на русскую историю [83] и сделались основателями новой русской историографии. Можно сказать, что все, что впоследствии явилось, как противодействие положенным ими началам, было только уклонением от истинно научного пути. Костомаров [84], который с таким блеском выступил во имя начал народных, в противоположность государственным, был лишен всякого исторического смысла. Он мог, с прирожденным ему художественным талантом, рисовать некоторые картины, но когда он, в своей вступительной лекции утверждал, что кометы-метеоры, пугавшие народное воображение, имеют для историка больше значения, нежели политические дела, то это обличало такое грубое непонимание самых основных задач истории,

что вся его многообильная деятельность могла вести лишь к полному извращению понятий, как слушателей, так и публики. К сожалению, Кавелин не долго остался на этом поприще, где юридическое его значение служило драгоценным восполнением ученой деятельности Соловьева, который именно с этой стороны был всего слабее. Обстоятельства, о которых я расскажу далее, заставили его покинуть Московский университет и переселиться в Петербург, где он заглох в несвойственной ему среде. Десять лет спустя он получил снова кафедру гражданского права в Петербургском университете, но время было упущено, да и предмет был для него слишком теоретичный: он не мог с ним совладать. Истинное его призвание было историческое исследование русского права, и самая блестящая пора его жизни была кратковременное преподавание в Московском университете, которое в памяти его слушателей оставило неизгладимые следы. Говорю здесь о Кавелине, как профессоре: о Кавелине, как человеке, мне придется еще много говорить впоследствии.

Если Редкин мог дать толчок философскому мышлению, если у Кавелина можно было научиться основательному изучению истории русского права по памятникам старины, то широкое историческое понимание можно было получить только от Грановского. Сами Кавелин и Соловьев от него научились правильно смотреть на историю, ибо они были его слушателями. Можно без преувеличения сказать, что Грановский был идеалом профессора истории. Он не был архивным тружеником, кропотливым исследователем фактов, да это вовсе и не требовалось в России в тогдашнее время. В русской истории необходимо было прежде всего тщательное изучение памятников, ибо тут было совершенно невозделанное поле, и все приходилось перерабатывать вновь. Но для всеобщей истории нужно было совершенно иное: надобно было познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом человечества в его поступательном движении, с теми идеями, которые развиваются в истории. Конечно, для этого необходимо было вполне овладеть материалом; иначе строилось здание на воздухе. Но исторический материал Грановский усвоил себе с самой тщательной добросовестностью. Когда представляют его человеком, хватаю-

щим верхушки и своим талантом восполняющим недостаток знания, и еще более когда изображают его каким-то лентяем, читающим лекции, спустя рукава, то можно только удивляться пошлости людей, высказывающих подобные суждения. Грановский был чтец первоклассный и неутомимый. Не только литература громадного предмета была коротко ему знакома, но всякий памятник, имеющий существенное значение для изучаемого периода, был им внимательно просмотрен, всякая даже мелкая брошюра была им основательно прочитана, и он тотчас мог указать, что в ней есть дельного. Он изучал даже памятники эпох, о которых ему никогда не приходилось читать лекции. Помню, как он однажды с грустью говорил моей матери: «Вот каково наше положение: я прочел 50 томов речей и документов, касающихся Французской революции, а между тем знаю, что не только не придется написать об этом ни единой строки, но нельзя заикнуться об этом и на кафедре».

К обширности знаний присоединялись серьезное философское образование и большой политический смысл, качества для историка необходимые. Грановский слушал лекции в Берлине во время самого сильного философского движения и проникся господствовавшим в нем духом. «В «Логику» Гегеля я до сих пор верю»,— говорил он мне несколько лет спустя. Но из гегельянской философии он заимствовал не теоретическое сцепление понятий, не отвлеченный схематизм, которого он, как историк, был совершенно чужд, а глубокое понимание существа и целей человеческого развития, причем он весьма далек был от ошибки тех философствующих историков, которые частное жертвуют общему и в лице видят только слепое орудие господствующего над ним исторического рока. Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувствовал всем человеческим радостям и скорбям и вполне понимал, что если в общем движении отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно вносит личный свой элемент, через что и дает историческому процессу своеобразное направление. Философское содержание истории было для него общей стихией, проникающей вечно волнуемое море событий, проявляющейся в живой борьбе страстей и интересов. «Истинная философия истории есть сама история»,— говорил

он. Но он умел это содержание представить во всей его возвышенной чистоте. Он с удивительной ясностью и шириной излагал движение идей. Очерк историографии, который составлял введение в его исторический курс, был превосходный. Он указывал в нем, как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, немецкая философская и французская историческая, пришли к одному и тому же результату, к пониманию истории как поступательного движения человечества, раскрывающего все внутренние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной цели: к осуществлению свободы и правды на земле.

В политике он, разумеется, был либерал, но опять же как историк, а не как сектатор[85]. Это не был рьяный либерализм Герцена, всегда кидавшегося в крайность, неистово преследовавшего всякое проявление деспотизма. Для Грановского свобода была целью человеческого развития, а не непреложной меркой, с которой все должно сообразоваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной жизни; он всей душой желал расширения ее в отечестве, но он вполне понимал и различие народностей и разнообразие исторических потребностей. Развитие абсолютизма, установляющего государственный порядок, было в его глазах таким же великим и плодотворным историческим явлением, как и водворение свободных учреждений. Недаром он предметом своей докторской диссертации избрал аббата Сугерея[86]. Но сердечное его сочувствие было все-таки на стороне свободы и всего того, что способно было поднять и облагородить человеческую личность. С этой точки зрения он сочувствовал и первым проявлениям социализма<...> Вполне признавая несостоятельность тех планов, которые социалисты предлагали для обновления человечества, Грановский не мог не относиться сочувственно к основной их цели, к уменьшению страданий человечества, к установлению братских отношений между людьми. Раскрывшаяся тогда ужасающая картина бедствий рабочего населения увлекала в эту сторону самые умеренные и образованные умы, как, например, Сисмонди[87]. Но когда в 48-м году социализм выступил на сцену как фанатическая пропаганда, или как дышащая злобой и ненавистью масса, Грановский не последовал за ра-

дикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в негодование от взглядов, выраженных в «Письмах с того берега» или в «Полярной звезде». «У меня чешутся руки, чтобы отвечать ему в его собственном издании»,— писал он. В это смутное время он с любовью останавливался на одной Англии, которая осталась непоколебима среди волнений, постигших европейский материк, и крушения всех либеральных надежд.

При таком философском понимании истории, при таком глубоком историческом и политическом смысле преподавание Грановского представляло широкую и возвышающую душу картину исторического развития человечества. Но это была только одна сторона его таланта. Была и другая, которой часто недостает у историков, умеющих широкими мастерскими штрихами изображать общее движение идей и событий, которой не было, например, у Гизо. Грановский одарен был высоким художественным чувством; он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстями и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки, в истории средних веков, художественный его талант раскрывался вполне. Перед слушателями как бы живыми проходили образы могучих Гогенштауфенов[88] и великих пап, возбуждалось сердечное участие к трагической судьбе Конрадина[89] и к томящемуся в темнице королю Энцио[90]; возникала чистая и кроткая фигура Людовика IX[91], скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого[92]. И все эти художественные изображения проникнуты были теплым сердечным участием к человеческим сторонам очерченных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкой в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский.

Эта способность, ныне совершенно утратившаяся, являлась в нем как естественный дар, как принадлежность возвышенной и поэтической его натуры. Это не было красноречие, бьющее ключом и своим пылом увлекающее слушателей. Речь была тихая и сдержанная, но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своей формой и своим содержанием затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался к слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом. Этому значительно содействовала и самая поэтическая личность преподавателя, тот высокий нравственный строй, которым он был насквозь проникнут, то глубокое сочувствие и уважение, которое он к себе внушал. В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человеческой природы, и глубины мысли, и силы таланта, и сердечной теплоты, и внешней ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привязаться к нему всей душой.

Когда преждевременная смерть похитила его в ту самую минуту, как он готовился, при изменившихся условиях, выступить с обновленными силами на литературное поприще, Николай Филиппович Павлов с грустью говорил мне: «И вот он ушел от нас, и все, что от него осталось, не дает об нем ни малейшего понятия. Чем он был, знаем только мы, близко его видевшие и слышавшие, а умрем и мы, о нем останется только смутное предание, как чего-то необыкновенного, как о Рубини[93], о Малибран[94]!» Да, кто не знал его близко, тот не может иметь о нем понятия. В предыдущих строках я старался передать незабвенные черты этого человека, который на всей моей жизни оставил неизгладимую печать, представляясь мне даже на старости лет идеалом высшей нравственной красоты. Но может ли слово выразить могучее обаятельное действие живого лица?

Жалким соперником Грановского был Шевырев. И этот человек когда-то был блестящим молодым профессором, новым явлением в Московском университете. Вернувшись из Италии, полный художественных впечатлений, страстным поклонником Данте, образованный, обладающий живым и щеголеватым сло-

вом, он произвел большой эффект при вступлении на кафедру после устаревшего и спившегося Мерзлякова. Его погубило напыщенное самолюбие, желание играть всегда первенствующую роль и в особенности зависть к успехам Грановского, которая заслужила ему следующую злую эпиграмму, ходившую в то время в университете:

Преподаватель христианский,
Он в вере тверд, он духом чист;
Не злой философ он германский,
Но беззаконный коммунист,
И скромно он, по убежденью,
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Искренно православный и патриот, он, в противоположность представляемому соперником западному направлению, все более и более вдавался в славянофильство. Поэзию Запада он прямо называл поэзией народов отживающих. Курс его был переполнен нападками на немецкую философию, а так как он никогда ее серьезно не изучал, то возражения выходили самые поверхностные. Так, например, он говорил, что немецкие философы признают грехопадение началом развития разума, воззрение, действительно вытекавшее из системы Гегеля, по которой развитие разума от первоначального единства идет к раздвоению, с тем, чтобы снова подняться к высшему единству. В опровержение этого взгляда Шевырев приводил, что в Библии Адам прежде грехопадения дает имена животным, из чего видно, что разум был уже у него развит. Меня поразила такого рода научная аргументация; когда я сообщил это Грановскому, он рассмеялся и сказал: «В Германии об этом уж давно перестали толковать». Иногда Шевырев на кафедре потешался над современным слогом Герцена и других, и это было для нас не бесполезно, ибо обращало наше внимание на правильность речи. Второе полугодие было все посвящено преподаванию церковнославянского языка, что также было не бесполезно, хотя вовсе не соответствовало университетскому курсу. Но главную пользу он приносил тем, что задавал студентам сочинения. По этому поводу у меня произошло с ним маленькое столкновение. Темой было задано изложение какого-нибудь события русской истории по летопи-

сям, причем профессор сам продиктовал список тем. Я выбрал борьбу Новгорода с Иваном III [95]. В пылу юношеского либерализма я выставил новгородцев рыцарями, отстаивающими свою вольность, и, помнится, выразил даже сожаление о падении их республиканских учреждений. Шевыреву это не понравилось, и он сделал довольно резкое замечание. Я, по примеру некоторых других, подал ему объяснение, которое еще больше его рассердило, и он отвечал замечанием еще более резким. Это был первый повод к охлаждению прежних хороших отношений.

В объяснение надобно сказать, что Шевырев, в отличие от собственно славянофильской партии, не искал свободы не только на Западе, но и в древней России, а строго держался тогдашней казенной программы: православие, самодержавие и народность. Иногда он для эффекта позволял себе маленькие либеральные выходки. Так, например, на одной из публичных лекций, читанных им в зиму 1846—1847 года, он вдруг закончил чтение переложением псалма Ф. Н. Глинки [96]:

Немей, орган наш голосистый,
Как онемел наш в рабстве дух,
Не опозорим песни чистой,
Чтобы ласкать тиранов слух;
Увы! Неволи дни суровы
Органам жизни не дают;
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

В аудитории произошел взрыв неумолкающих рукоплесканий. Но подобные выходки были редкостью, и чем старее делался профессор, тем он становился раболепнее. В Крымскую кампанию он стал по всякому случаю писать патриотические стихи, и притом в такой пошлой и неуклюжей форме, которая обличала полный упадок не только таланта, но и вкуса. Образцом может служить следующее сохранившееся у меня в памяти четверостишие из стихотворения, написанного по случаю бомбардирования Одессы:

И адмирала два, Дундас и Гамелен,
Громили пушками ряды домов и стен,
И перещеголял их прапорщик отважный,
Наш чудо Щеголев, артиллерист присяжный.

Шевырев писал подобные же стихи и в честь невежественного и тупоумного генерала Назимова, который назначен был попечителем Московского учебного

округа[97], с целью введения в нем военной дисциплины. Он читал эти стихи на обеде, данном профессорами этому удивительному представителю русского просвещения. Но вскоре после этого карьера его кончилась весьма печальным образом. На каком-то смешанном заседании, происходившем в стенах университета, граф Василий Алексеевич Бобринский разглагольствовал о тогдашнем положении дел, бранил Россию и все русское. Шевырев, тут присутствовавший, возражал очень резко и упрекнул Бобринского в недостатке патриотизма. Тот отвечал дерзостью. Тогда Шевырев, как рассказывали, воспламенившись, подскочил к Бобринскому и дал ему пощечину. Бобринский был человек атлетического сложения, он бросился на Шевырева, повалил его на пол и так его отколотил, что тот слег в постель. И что же? Не только не произошло дуэли, но публично исколоченный профессор писал и пускал по городу самые пошлые письма, в которых, рассказывая происшедшее с ним несчастье, объяснял, что чувствует себя вполне удовлетворенным тем вниманием, которое ему оказывали: граф Закревский присылал узнать о его здоровье, а попечитель сам приезжал его навестить. При этом, восторгаясь сочувствием общества, он восклицал: «О, какая музыка!» После этого, однако, он подал в отставку и уехал за границу, где через немного лет и умер.

Наконец, я должен сказать о том весьма важном для моей внутренней жизни значении, которое имел для меня не в положительном, а в отрицательном смысле слушанный в университете курс богословия. Очевидно, что если требуется читать в университете богословие, то надобно устремить главное внимание на ученую критику и стараться доказать, что она не в состоянии поколебать существенных основ христианства. Сделать это может только человек вполне просвещенный, знакомый с европейской наукой и с философией. Между тем читавшийся тогда в университете курс был самый сухой и рутинный, какой только можно представить. Всякое догматическое положение подкреплялось множеством текстов, после чего преподаватель замечал, что то же самое подтверждается и разумом, в доказательство чего приводилось несколько совершенно младенческих соображений, которые только вызывали опровержения. Самая личность профессора, университетского священника Петра Мат-

веевича Терновского, не внушала никакого сочувствия. Он имел строгий вид, говорил в нос, своими маленькими хитрыми глазками беспрестанно осматривал аудиторию, замечая, кто ходит на лекции, а иногда делал резкие выговоры студентам. Я очень усердно следил за курсом и знал его отлично. Когда на экзамен опять приехал митрополит и меня, в числе некоторых других, вызвали вне очереди, я так хорошо отвечал на попавшийся мне весьма трудный билет, что Филарет сделал мне комплимент, а Терновский поставил мне пять с крестом, дело в университете неслыханное. Но результатом этого изучения было то, что я внутри себя к каждому вопросу относился критически, и скоро все мое религиозное здание разлетелось в прах; от моей младенческой веры не осталось ничего.

Знакомство с европейской литературой и в особенности с ученой критикой могло только подкрепить зародившийся во мне скептический взгляд. Одно уже чтение «Всемирной истории» Шлоссера [98] показывало мне предмет совершенно в ином свете, нежели в каком я привык смотреть на него с детства. Еще более я утвердился в своих новых убеждениях, когда прочел разбор библейских памятников Эвальда в его «Истории еврейского народа» [99], и на все это наложило окончательную печать чтение Штрауса [100]. К тому же вело, с другой стороны, и изучение философии, которому я вскоре предался. Передо мною открылось совершенно новое мировоззрение, в котором верховное начало бытия представилось не в виде личного божества, извне управляющего созданным им миром, а в виде внутреннего бесконечного духа, присущего Вселенной. И, хотя в своей философии истории Гегель признавал христианство высшей ступенью в развитии человечества, однако это меня не убеждало, и я отвергал подобное построение как непоследовательность.

Молодой человек, вступающий в университет, обыкновенно находится в этом положении. Здесь он в первый раз знакомится с наукой, которая имеет свои самостоятельные начала, которая ничего не принимает на веру и все подвергает строгой критике разума. Вместо господствующей в младенческие годы первобытной гармонии разума и веры перед ним открываются две противоположные области, между собой не

примиренные. Он вполне понимает, что религия не может иметь притязания на то, чтобы наука слепо ей подчинялась. Пример славянофилов показывал мне, к какому извращению научной истины ведет насильственное подчинение ее религии. Но наука, со своей стороны, следуя собственным началам, развиваясь самостоятельно, не указывала мне путей примирения. Она раскрывала историческое, а не догматическое значение христианства. И это происходило не от какой-либо односторонности или недостатка преподавания. При данных условиях такая постановка вопроса совершенно неизбежна. Примирение всех высших областей человеческого духа составляет верховную цель развития, а не принадлежность каждой превосходящей ступени. Пока не выработались в ясной для всех форме непреложные начала истины, к выяснению которых стремится все развитие человеческого разума, каждому лицу приходится примирять противоположности по-своему, испытуя умом весь доступный ему материал и следуя указаниям своей совести. Весьма немногим, вкусившим плодов науки, удается сохранить неприкосновенными свои религиозные убеждения, и надобно сказать, что это сопровождается всегда некоторой узкостью взгляда. Надобно пройти через период безверия, чтобы вполне понять, что может дать одна наука и чем нужно ее восполнить для удовлетворения высших потребностей человеческой природы. Только собственным внутренним опытом можно понять смысл отступления от установленных догматов и правил; только этим путем можно выработать в себе истинную терпимость и приучиться не смешивать безверия с безнравственностью; наконец, только прошедши через отрицание, можно вполне сознательно возвратиться к религиозным началам и усвоить их с тою шириною понимания, которая способна совместить в себе требования разума и стремления веры. Впоследствии я к этому и пришел, убедившись по собственному внутреннему опыту в глубоком смысле изречения великого мыслителя: «Немного философии отвращает от религии, более глубокая философия возвращает к религии». Каким путем это совершилось, расскажу ниже; но на первых порах я, конечно, был от этого весьма далек. Мне предстоял выбор между двумя видами убеждений, религиозными и научными, и я со свойственною юношам решимостью

и уверенностью в собственных силах, сбросил с себя все свои вынесенные из младенческих лет верования, как устарелый балласт, и смело вступил на путь чисто научного познания, доводя отрицание до крайности, со всем пылом неофита. Я даже с Грановским вел спор о будущей жизни. Он говорил, что никогда так не чувствовал потребности загробного существования, как на могиле друга, когда невольно думаешь: «Неужели эти останки для тебя все равно, что эта бутылка?» Но я все это отвергал как фантазии и утверждал, что совершенно достаточно одних воспоминаний. До чего доходила моя юношеская самонадеянность, можно видеть из памятного мне разговора с Магзигом. Однажды мы вместе с ним гуляли по караульскому парку, который он разбивал. Вдруг, среди разговора, он остановился и сказал мне: «А знаете ли, Борис Николаевич, какая это высокая мысль: у меня есть покровитель!» Я немедленно отвечал ему: «Такая же высокая мысль: у меня нет покровителя; я стою на своих ногах и опираясь только на себя». Боже мой! как скоро жизнь научает человека, что он сам по себе не более как прах, который может быть снесен всяким случайным дуновением ветра, и убеждает его, что одна только надежда на высшую помощь дает ему силы для совершения своего земного пути! Нельзя, однако, не сказать, что это сознание юной мощи имеет в себе что-то увлекательное. Борг говорил, что он невысокого мнения о человеке, который не был республиканцем в двадцать лет и который остался республиканцем в сорок. Почти то же можно приложить и к религиозным убеждениям. Человеку по крайней мере нашего времени естественно быть неверующим в молодости и снова сделаться верующим в зрелых летах.

Научный интерес поддерживался и возбуждался в нас постоянными сношениями с любимыми профессорами. С Грановским мы виделись часто; он бывал у нас в доме на дружеской ноге, и мы нередко у него обедали. Он любил собирать у себя за обедом студентов, которые его интересовали. Он беседовал с ними, как с себе равными; разговор всегда был умный и оживленный, касающийся и науки, и университета, и всех вопросов дня. У него, между прочим, мы познакомились с Бабстом [101], который был тогда словесником 4-го курса, а также с весьма умным и образован-

ным юристом 4-го курса Татариновым, впоследствии профессором Ярославского лицея, к сожалению, рано погибшим от излишнего кутежа. Грановский сам повез нас к Редкину и Кавелину. С Редкиным я особенно сблизился к концу курса, когда он пригласил меня приехать к нему для составления программы по юридической энциклопедии. В личных беседах он еще более, нежели своими лекциями, сообщал мне свое философское одушевление, и я тогда же решил, что непременно, при первой возможности, займусь философией. У Кавелина по воскресеньям всегда собиралось много студентов, которым он задавал разные работы по истории русского права. В этих разговорах с собиравшейся около него молодежью всего более проявлялся собственный его юношеский пыл, нередко увлекавший его в крайности. Друзья называли его «вечным юношей», а противники «разъяренным барашком», вследствие курчавой его головы. Хотя он и подчинялся влиянию Грановского, но по своей натуре он скорее готов был следовать за более радикальными увлечениями Герцена и Белинского. «Какое дело французскому народу, будет ли Гизо или Тьер первым министром? — говорил он нам однажды,— французская демократия имеет совсем другие требования и цели». От Грановского мы никогда не слышали ничего подобного; сочувствуя демократическим стремлениям, в которых он видел будущее, он понимал, однако, серьезное значение политических вопросов дня. Но именно эти увлечения Кавелина возбудительно действовали на молодежь, тем более что они подкреплялись большим сердечным жаром и безукоризненной нравственной чистотой.

Профессора руководили и нашим чтением, ибо слушание лекций считалось только пособием к настоящим серьезным занятиям. Времени для чтения было достаточно, ибо я скоро приучился записывать лекции, так что не нужно было даже их перечитывать дома, а писец свободно мог списывать их для товарищей. Таким образом все вечера были свободны. По части истории я прочел «Всемирную историю» Шлоссера. На вакацию Грановский дал мне Нибура[102], которого я изучал, читая в то же время по-латыни Тита Ливия. Прочел я также «Юридическую энциклопедию» Неволина[103], а по истории русского права почти все, что тогда было написано: Эверса[104], Рейца[105],

«Речь об Уложении» Морошкина, диссертацию Кавелина [106], появившуюся именно в этот год первую диссертацию Соловьева [107]. Вместе с тем я знакомился с самими памятниками, начиная от «Русской правды» [108] и до «Уложения» [109]. Последнее было в сущности не по силам студенту первого курса, но я приучился рыться в источниках и видеть в них первое основание серьезного изучения науки.

С первого курса завязались и те товарищеские отношения, которые составляют одну из главных прелестей университетской жизни и которые сохраняются навсегда как одна из самых крепких связей между людьми. Из наших однокурсников самым близким мне приятелем остался сын тогдашнего московского генерал-губернатора, князь Александр Алексеевич Щербатов [110], человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головой при введении всесословного городского управления. Недаром она на нем остановилась; она нашла в нем именно такого человека, который способен был соединять вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба — твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову. Неизменно дружеские отношения сохранились и с добрейшим, невозмутимо спокойным Петром Талызиным, неразлучным моим товарищем в следовавший за университетом период светской жизни, а также и с умершим уже, тихим и кротким Михаилом Полуденским, сделавшимся впоследствии известным некоторыми библиографическими трудами. Но всего более я сошелся в то время с Алябьевым, братом известной красавицы Киреевой. У него умственные интересы были живее, нежели у других; он меня

очень полюбил, и мы скоро с ним сблизились. Он умер в первый же год по выходе из университета. На одном курсе с нами был и Капустин[111], с которым я впоследствии был товарищем по кафедре. Сблизился с нами и матушкин сынок Благово, над которым, несмотря на дружеские отношения, мы нередко потешались. Товарищеские отношения завязывались и со студентами других курсов и даже факультетов. В особенности брат мой сошелся с вступившим одновременно с нами на математический факультет Корсаковым. Он был малый пустой, но не глупый, очень живой, веселый, отличный товарищ, любивший покутить, потанцевать, петь цыганские песни.

На нашем курсе по совершенно ничтожному случаю образовался как бы отдельный кружок. Лекции длились иногда часов пять сряду, и мы голодали. Для утоления аппетита мы бегали есть пирожки в находившуюся против университета кондитерскую Маттерна; но, наконец, это нам надоело, и мы согласились, человек шесть или семь, в промежуточное между лекциями время по очереди приносить для всей братии пирожки от Маттерна в самое здание университета, в так называемый гербариум. Тотчас пошла молва, что у нас образовался аристократический кружок, держащий себя особняком. Грановский счел даже нужным нас об этом предупредить, говоря, впрочем, что это больше относится к моему брату, нежели ко мне, хотя, правду сказать, я никогда не замечал, чтобы мой брат держал себя иначе, нежели другие. Люди с одинаковым воспитанием естественно сходились друг с другом скорее, нежели с другими, но мы скоро перезнакомились со всем курсом и до конца были со всеми в добрых, товарищеских отношениях.

Через товарищей мы несколько познакомились и с московским большим светом. Корсаков ввел нас в дом своих родителей, которые в то время часто давали балы и вечера. Это была семья совершенно на старый московский лад, никогда не прикасавшаяся к умственной сфере, но радушная, гостеприимная, безалаберная, любившая прежде всего веселье. Дом их у Тверских ворот, ныне принадлежащий Строгановскому училищу, был всегда полон родными, гостями, приживалками. Постоянно были танцы, а на святки хозяева задали огромный маскарад, на котором ими

устроена была большая кадриль: человек с тридцать, мужчины и дамы, одетые в старое русское боярское платье, с песнями вели хоровод. Мы с братом участвовали в этой кадрили. На следующую зиму опять был такой же маскарад, в котором мы также участвовали. На этот раз устроена была ярмарка, где всевозможные лица продавали всевозможные вещи. Все эти непрестанные веселья, эти происходившие в доме затейливые празднества привели, наконец, к тому, что, при полной беспечности стариков, довольно значительное их состояние ушло сквозь пальцы, и они кончили жизнь в совершенной бедности.

Нас в это время приласкала и другая московская семья гораздо высшего разбора. На Малой Дмитровке, в прелестном доме с большим садом жили Сеймоновы, которые со старым московским радушием соединяли утонченное изящество форм. Балов они не давали, но каждый вечер в их гостиную съезжались и светские люди, а иногда ученые и литераторы. Ласковость и приветливость хозяев делали то, что все у них чувствовали себя свободными; разговор всегда был оживленный; все в этой гостиной дышало какою-то сердечной теплотою. Старик Александр Николаевич, отец известного С. А. Соболевского [112], был совершенный маркиз XVIII века, с утонченными манерами, всегда веселый и живой. Он до 70 лет каждый день ездил верхом по московским улицам. Жена его Марья Александровна, рожденная Левашева, высокая, стройная, до старости носившая печать прежней красоты, была олицетворением сердечной чистоты и невинности. Умной и приятной собеседницей была замужняя дочь Сусанна Александровна Мертваго. Но красой семьи была другая, незамужняя дочь, уже довольно пожилых лет, Екатерина Александровна, женщина умная и образованная, с отличным сердцем, с приятным светским разговором, прекрасная певица. Зато в семье был и урод, именно сын, который в одно время с нами вступил в университет, на словесный факультет. Он был от природы слабоумный, что выразилось в его завостренной голове, и только неусыпным попечением родителей мог кое-как протащиться через университет. Родителям хотелось сблизить его с нами, почему они нас особенно ласкали; но нам он ужаснейшим образом надоедал. Дело доходило до того, что иногда, когда он приезжал к нам вечером, мы тушили

свечи и от него прятались; но он не унимался и шел в гостиную разговаривать с матерью. Волею или неволею приходилось идти на помощь и по целым вечерам выслушивать его глупую болтовню. <...>

Наше знакомство с московским светом было, впрочем, весьма поверхностно. Хотя в то время уже студенты охотно принимались в московских гостиных и некоторые из них проводили свою жизнь на балах и вечерах, но мы этой сферы касались только слегка. Время, проведенное в университете, посвящалось главным образом учению, которое при благоприятных условиях шло весьма успешно. Экзамен первого курса сдан был отлично. Я получил везде по пяти, а брат имел кандидатские баллы. Счастливые и довольные мы поехали отдыхать в Караул.

Второй курс был составлен не хуже первого. Редкин читал государственное право, Чивилев — политическую экономию и статистику, Грановский — историю средних веков, Соловьев — русскую историю, Катков — логику, наконец, Крылов — историю римского права.

Нельзя, однако, не сказать, что курс Редкина был гораздо ниже его курса энциклопедии. Государственное право было не его предмет; он читал его только временно, за отсутствием другого профессора. Притом же ему так надоело читать каждый год одно и то же, что он для разнообразия значительную часть первого полугодия посвятил подробному изложению древнегерманского права, думая тем приохотить студентов к изучению истории иностранных законодательств. От этого курс общего государственного права вышел скомканный. Второе же полугодие посвящено было русскому государственному праву, которое Редкин излагал по Своду законов также весьма поверхностно, в чем сам признался. Он говорил, что он может возбудить философскую мысль, но юридический такт способен дать только Крылов. Вследствие этого хорошего курса государственного права я не слышал, и это было весьма существенным пробелом в моем университетском образовании, тем более что впоследствии я именно эту науку избрал своей специальностью.

Зато весьма полезен был курс политической экономии Чивилева. Он читал по раз навсегда составленным запискам, которые переходили от одного курса

к другому, так что нам не было даже нужды записывать: мы просто следили за чтением по старым тетрадям. На новейшие явления в области политической экономии, именно, на социалистические теории, вовсе не было обращено внимания. Чивилев строго держался классической системы, установленной Адамом Смитом [113] и его преемниками; но в этих пределах изложение было ясно, умно и последовательно. Оно давало полное понятие о предмете и возбуждало к нему интерес. Я на этом курсе специально занимался чтением политико-экономических писателей, прочел Адама Смита, Сея [114], Росси [115]. С другой стороны, чтобы познакомиться с критикой, я прочел недавно вышедшие «Экономические противоречия» Прудона [116], которые, однако, оттолкнули меня своим ни с чем не сообразным, мнимофилософским построением. В нем, по-видимому, запутался и сам автор, увлеченный в совершенно незнакомую ему философскую область.

О Грановском я уже говорил выше. Но совершенной новостью для всех был курс Соловьева. Он только что вступил на кафедру после блестящей защиты своей магистерской диссертации и читал первый свой университетский курс. Здесь он впервые вполне изложил свой взгляд на русскую историю. В этот курс вошло существенное содержание явившейся вскоре после того диссертации о родовых отношениях русских князей [117]. Все, что мы в предшествующий год слышали от Кавелина, получало здесь новое развитие и подтверждение. Изложение было ясное, умное и живое. Нас беспрестанно поражали новые взгляды, мастерские очерки. Царствование Грозного было в особенности изложено удивительно выпукло. Хуже был конец, изложение эпохи междуцарствия; читая лекции, преподаватель, очевидно, сам изучал летописи, а потому не успел сжать свое изложение и вдавался в совершенно лишние для университетского курса подробности. Мне памятен и экзамен Соловьева. Я предмет знал отлично и приготовился блеснуть своим ответом. Вопрос мне попался из эпохи междуцарствия: битва, в которой был ранен князь Пожарский [118]. Подошедши к столу, я начал так: «В пятницу на страстной неделе...» Тут Соловьев меня прервал, сказав: «Довольно!» и поставил пять. Я тогда еще вовсе не был с ним знаком, но впоследствии рассказал ему, как он меня удивил своим экзаменом. «Я знал вас за хорошего

студента,— отвечал он,— вижу, что вы знаете такую подробность, чего же более?»

Совершенно иного свойства был курс Каткова. Я ничего подобного в университете не слыхал. Мне доводилось слушать курсы пошлые, глупые, пустые; но курса, в котором никто ничего не понимал, я другого не слыхал. И это было не случайное, а обычное явление. Катков читал уже второй год. Предшествовавший нам курс слушал его в течение двух полугодий, и никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор, так что, когда наступил экзамен, он всем должен был поставить по 5, ибо студенты вовсе не были виноваты в том, что отвечали совершеннейшую чепуху. То же самое повторилось и с нами. Я усердно ходил на каждую лекцию, записывал самым старательным образом, но решительно ничего не понимал, и все мои товарищи находились совершенно в том же положении. К нашему счастью, Катков в половине года занемог, и экзамена вовсе не было. Говорят, что на словесном факультете он историю философии читал понятнее. Не знаю, но очевидно, что кафедра вовсе не была настоящим его поприщем. Вскоре потом он вышел и сделался редактором издававшихся от университета «Московских ведомостей». Кто бы мог подумать, что этот непонятный профессор, этот туманный философ со временем сделается живым и талантливым журналистом?

Все профессора давно уже начали читать, а Крылова все еще не было. Прошел месяц, другой, а он не являлся. Носились даже слухи, что он вовсе на кафедру не вернется. В это самое время случилась известная его история, наделавшая столько зла Московскому университету. Крылов был человек необыкновенно умный и даровитый, но полнейший невежда и лишенный всякого нравственного смысла. Много прегрешений прощалось ему за его ум и талант. Помню, как однажды, еще перед нашим вступлением в университет, мои родители с любопытством расспрашивали Грановского о Крылове, который на юридическом факультете имел огромное значение. «Он ровно ничего не читал и не знает,— говорил Грановский,— но когда что-нибудь ему сообщишь, он так сумеет этим воспользоваться, как никто. Раз он мне говорит: «Дай-ка мне, братец, что-нибудь прочесть о французской революции; все об ней слышу; хочется, наконец, знать, что

там было». Я дал ему Тьера. Вы не можете себе представить,— говорил Грановский,— сколько блестящих мыслей родилось у него вследствие этого чтения. Я был удивлен». В Москве рассказывали, как после одной из публичных лекций Грановского о падении Римской империи, при разъезде у Павловых, Крылов вмешался в разговор и тут же, в передней, начертал такую блестящую картину разрушающейся Римской империи, что все гости в шубах столпились около него и слушали с восторгом. Но, несмотря на все эти блистательные дарования, уважением он не пользовался и имел даже репутацию взяточника. Об этом мои родители также расспрашивали Грановского. «Постоянно этого не делается,— отвечал Грановский,— но что он не хватил раза два-три, за это никак нельзя ручаться». К другим его некрасивым свойствам присоединялось еще то, что он пил запоем. Как раз в то время, когда мы вступали на второй курс, с ним случилась скандальная история, огласившаяся на всю Москву. Он в пьяном виде подрался с женой и таскал ее по улице за косу. Жена его была сестра Корша; она искала убежища у братьев, которые за нее вступились. Кто был прав и кто виноват в этой семейной распре, об этом посторонним всегда трудно судить. Через несколько лет супруги опять съехались. Но Крылов вел себя в этой истории так, что внушил к себе всеобщее омерзение. Помню, как за обедом у Грановского студент Малышев, который восторгался Крыловым, изъявлял сожаление по поводу слухов о предстоящем его выходе из университета. На это Грановский отвечал: «Как вам не стыдно, Малышев, вступаться за такого грязного подлеца?» К этому присоединилась еще другая, гораздо худшая история. Разъяренная супруга обнаружила взятки своего мужа, которые были ей хорошо известны. Между прочим, на 2-м курсе юридического факультета был студент Устинов, хороший наш приятель. Он учился плохо, но был человек богатый. На экзамене Крылов поставил ему единицу и соглашался перевести его за деньги. Когда это дошло до профессоров, Устинова призвали в факультет и спрашивали, правда ли это. Он подтвердил обвинение. Его переэкзаменовали в факультете, поставили двойку и перевели на высший курс. При таких обстоятельствах между профессорами, дорожившими честью своей корпорации, естест-

венно, возник вопрос: возможно ли служить с человеком, до такой степени себя замаравшим? Мнения раздвоились; одни утверждали, и не без основания, что ссора Крылова с женой дело совершенно частное, до университета вовсе не касающееся, и что поднимать тревогу из-за семейной распри не следует. Что же касается до взяточничества, то доказательств, в сущности, не представлено. Другие, напротив, думали, что университетская корпорация, только оставаясь нравственно чистой и не терпя внутри себя прокаженных членов, может сохранить вполне свое значение и свое влияние на молодежь. Последнее мнение победило; всех более кипятился Кавелин. Решено было заявить начальству, что если Крылов не выйдет из университета, то Грановский, Редкин, Кавелин и Корш принуждены будут подать в отставку. Мне достоверно не известно, каков был последующий ход дела. Кажется, попечитель склонялся на сторону протестующих профессоров; по крайней мере, он сам вслед за ними оставил университет. Но министр поддержал Крылова, и те подали в отставку. Грановского не выпустили, потому что он не выслужил еще обязательного срока после посылки за границу на казенный счет; отставка же остальных была принята. Они все трое переехали на службу в Петербург; юридический факультет лишился достойнейших своих членов. Когда через несколько лет Грановскому вышел срок, он сам увидел, что безумно было бы, когда дело было уже совершенно проиграно, задним числом довершать торжество пошлости и грязи оставлением университета по поводу давно похороненного вопроса о нравственной чистоте университетской корпорации. Он понял, что он и его приятели слишком высоко хотели держать университетское знамя и что в России предъявление таких высоких требований всегда кончается поражением. Он остался в университете.

Разумеется, все это до крайности волновало студентов. Окончание истории последовало уже гораздо позднее; но на первых порах все были заняты одним вопросом: будет ли Крылов читать или нет? Наконец, возвещено было, что в такой-то день назначается первая лекция. Мы собрались в великом множестве и, когда наступил час, мы увидели маленькую, худенькую, сгорбленную фигуру с пошлыми чертами лица, но с умными и проницательными глазами, тихо под-

нимающуюся по лестнице, с шляпою в руках. Первая лекция была рассчитана на эффект, и, точно, она многих поразила; но, в сущности, это была странная шумиха. В виде вступления в курс истории римского права Крылов излагал общие свои исторические воззрения. Приверженец германской исторической школы времен Савиньи, он хотел разгромить философское направление; но так как он философии вовсе не знал и ничего в ней не смыслил, то выходило одно лишь пустословие с разными шутовскими выходками, вроде того, что он сам некогда по целым дням лежал на диване и судил народы. Весь курс истории римского права был крайне поверхностен, чтобы не сказать более. Когда впоследствии Крылова подбили выступить в печати, как я расскажу ниже, то обнаружилось такое изумительное невежество, такое грубое извращение самых элементарных фактов в преподаваемом им предмете, что произошел скандал, и он никогда уже более не дерзал соваться в печать, довольствуясь тем, что своим талантом очаровывал невинных студентов. Нет сомнения, что он когда-то предмет свой слушал за границей и слегка изучал; но со временем многое забылось и перепуталось в его голове. По неряшеству и лени он не думал наводить справок и обновлять свои сведения. Знание заменялось виртуозностью; не заботясь о том, что действительно было, он рисовал эффектные картины, которыми и удовлетворялись неподготовленные слушатели. Сила Крылова заключалась, впрочем, не в историческом изложении, а в развитии догмы. Здесь, несмотря на все его недостатки, проявлялись ум, талант и юридическое чутье. Если в сравнении с основательными и даровитыми профессорами второго курса преподавание его представлялось серьезно занимающимся студентам не более как блестящей мишурой, то на высших курсах он являлся во всем своем блеске, как гигант среди пигмеев.

Со вторым курсом кончилось собственно университетское преподавание, которое вполне заслуживало это название и способно было руководить студентов в научных занятиях, развивая их ум, доставляя им богатый запас сведений, научая их основательному изучению предмета. Высшие курсы посвящены были специально юридическим наукам, но именно последние большею частью были представлены крайне слабо.

Здесь господствовали Баршев[119], Лешков[120], Морошкин, к которым примыкал и совершенно ничтожный курс церковного права, читанный тем же священником Терновским. Из всех их своею яркою даровитостью отличался Крылов, а своею основательностью только что вернувшийся из-за границы молодой адъюнкт Мильгаузен[121], шурин Грановского, который на 4-м курсе читал финансовое право.

Деканом юридического факультета после случившегося с Крыловым скандала был Баршев, который на 3-м курсе читал уголовное право, а на 4-м — уголовное судопроизводство. Это была олицетворенная пошлость, пошлость, выражавшаяся во всей его фигуре, в его речи, пошлость мысли и чувств. Уголовное право он читал по дрянному, им самим сочиненному учебнику, который студенты обязаны были покупать и который он приправлял разными анекдотами. В курсе уголовного судопроизводства он являлся рьяным противником всяких либеральных начал. Когда впоследствии, с новым царствованием, либерализм вошел в моду, он внезапно переменил фронт и стал усердно защищать то, что он прежде опровергал, объясняя самым откровенным и наивным образом, что в предыдущее царствование можно было выставлять только одну сторону вопроса, а теперь можно и другую. Разумеется, его преподавание неспособно было не только возбудить любовь и интерес к предмету, но и дать о нем надлежащее понятие. От Редкина можно было более узнать о различных воззрениях криминалистов, нежели из всего курса Баршева.

Если Баршев был пошлейшим из профессоров, то Лешков считался в университете глупейшим из всех. Позднее, узнавши его ближе, я увидел, что он был человек добрый и обходительный; но в голове у него была такая же каша, как и в его речи, в которой слова как-то не договаривались и перепутывались вследствие недостатка произношения. Самая фигура его имела в себе что-то комическое. Худенький, черненький, с каким-то утиным, но заостряющимся носом, он выступал с неловкими, угловатыми телодвижениями, причем узкие фалды его вицмундира разлетались в обе стороны; в особенности же он раскланивался с какою-то пошлою развязностью, которая чрезвычайно забавляла студентов. Иногда нарочно собирались с посторонних факультетов, даже медики приходили

из другого здания, чтобы посмотреть, как Лешков кланяется. Студенты двумя рядами становились по всей лестнице, сверху донизу, и отвешивали ему почтительные поклоны, а он, польщенный таким вниманием, с улыбкой расшаркивался на обе стороны, не подозревая, что над ним потешаются. Лешков был воспитанником Педагогического института; он вместе с другими был отправлен за границу, слушал лекции в Берлине, пытался даже изучать философию, но, боже мой, что из этого выходило! Грановский говорил, что он, как сокровище, сохраняет случайно оставшийся у него в руках экземпляр философии права Гегеля, испещренный замечаниями Василия Николаевича Лешкова. Непривыкшие к нему посторонние люди приходили иногда в совершенное изумление от того сумбура, который господствовал у него в голове. Между прочим, московский прокурор Ровинский [122] рассказывал мне, что однажды, при генерал-губернаторе Тучкове [123], у них был какой-то комитет по полицейским делам, на котором предстояло обсудить некоторые теоретические вопросы. Ровинский советовал пригласить профессора из университета, а так как Лешков был именно профессором полицейского права, то он и был приглашен в заседание. Но, когда он начал излагать свои взгляды, все разинули рты; никто ничего не понимал. Разумеется, ему не возражали; только после заседания Тучков сказал Ровинскому: «Ну, уж ваш профессор!» Больше его уже никогда не приглашали. <...>

С наступлением нового царствования Лешков не только совершил такой же поворот фронта, как и Баршев, но выдумал еще собственную свою, никому неведомую науку, общественное право, которое он построил на славянофильских и либеральных началах и которою он в своем преподавании заменил полицейское право. И что же? Этот человек, который в университете известен был как источник всякой галиматьи, над которым все студенты смеялись, вдруг сделался одним из корифеев славянофильского либерализма. Его возвеличивали, прославляли; он на всю Европу прослыл ученым, и поныне еще у него есть жаркие приверженцы даже между людьми, занимающими кафедры. Но на свежих и образованных людей он продолжал производить то же впечатление, что и прежде. Николай Иванович Тургенев [124], который из

Парижа внимательно и с любовью следил за всеми явлениями русской литературы, говорил мне, каким удивлением он был поражен, когда прочел статьи Лешкова в журнале Аксакова «День». Он не верил своим глазам и не мог понять, каким образом в серьезном органе может быть допущена такая бессмыслица. А Аксаков видел в этом что-то новое и замечательное.

Гораздо выше Лешкова и Баршева стоял по таланту Морошкин. Его «Речь об Уложении» свидетельствует о несомненном даровании и живом взгляде на предмет. Но у него воображение преобладало над умом, а образование было самое скудное. Поэтому рядом с светлыми мыслями являлись у него самые дикие фантазии. Он во всем любил картинность, часто вовсе не соображаясь с действительностью. Про него рассказывали смешные анекдоты, обличающие его незнание жизненных условий и невнимание к окружающему. Так, например, познакомившись с А. Н. Поповым и узнавши, что он из Рязани, он тотчас воскликнул: «А, рязанцы! Это люди рослые, мачтовые!» Но вдруг заметив, что его собеседник необыкновенно маленького роста, он поспешил прибавить: «Впрочем, вы еще не развились!» Грановский, который любил анекдоты, рассказывал с большим юмором, как однажды Морошкин, купаясь в Москве-реке, вдруг услышал крик и увидел утопающую воспитанницу Меропы Александровны Новосильцевой, жены тогдашнего московского вице-губернатора. Будучи отличным пловцом, он вытащил девицу, но ужасно сконфузился, увидев на берегу вице-губернаторшу, окутанную в простыню. Одержимый чинопочитанием, он стал рассыпаться в извинениях, что он перед столь высокопоставленной особой против воли принужден предстать в такой первобытной форме. Курс его был пересыпан всякими картинными выходками; но основательности и последовательности было очень мало, а так как он в это время значительно обленился, то недоставало и той живости, которая способна иногда заменить другие качества и возбудить интерес в слушателях. Курс был скучный и бесполезный. Читая гражданское судопроизводство, он приносил нам разные дела, распределял между студентами всякие канцелярские должности, заставлял нас делать выписки и доклады; но и это все служило больше для забавы. Дельного

знакомства с судопроизводством мы не могли из этого вынести.

Над всем этим рутинным преподаванием весьма выгодно выделялся Крылов. Тут был вечно живой ум, блестящее дарование, увлекательный дар слова. В развитии догмы проявлялись все лучшие стороны его таланта: тонкость юридических понятий, резкое их разграничение, выпуклая характеристика институтов. Все это врезывалось в умы слушателей. И тут, однако, были существенные недостатки. Все это было здание, воздвигнутое самим профессором; с источниками он нас вовсе не знакомил. О духе пандектов [125] мы не имели ни малейшего понятия. Когда же, не довольствуясь виртуозною передачею слышанного и читанного им в прежнее время, он хотел сочинить собственное свое воззрение, то результат оказывался крайне сбивчивый. В курсе был один вопрос под заглавием: «Наше воззрение на владение», который составлял камень преткновения для слушателей. Никто не мог понять, чем это воззрение отличалось от других. Хотя я к римскому праву не чувствовал никакого влечения и всего менее питал сочувствия к профессору, которого нравственная несостоятельность была мне известна, однако, слушая его курс, я счел нужным прочесть какое-нибудь капитальное сочинение по римскому праву. Я взял Савиньи и тут увидел, что многое, что у Крылова представлялось необыкновенно выпуклым и наглядным, в действительности вовсе не было таковым. Профессор точностью жертвовал картинности, и вместо того, чтобы передавать мнения и приемы римских юристов, нередко увлекался собственным своим воображением. Я сообщил свои замечания Мильгаузену, которого встречал иногда у Грановского; он отвечал: «Я очень рад, что студенты, наконец, его раскусили».

Мильгаузен был человек не очень даровитый, но чрезвычайно образованный и добросовестный. Впоследствии ему приходилось временно читать различные предметы, и он всегда исполнял это совершенно удовлетворительно. Курс финансового права, который я слышал, был первый, читанный им в университете, и хотя по первому курсу трудно еще судить о профессоре, однако и тут уже проявлялись все его хорошие качества. Курс был полный, ясный, последовательный; изучение предмета было самое добросовестное.

Можно сказать, что это был самый полезный курс, который мне довелось слышать в два последние года моего пребывания в университете.

Он не мог, однако, вознаградить за все остальное. В итоге, несмотря на талант Крылова и на добросовестность Мильгаузена, общий уровень преподавания был весьма невысокий. Умственная атмосфера была совсем другая, нежели на первых двух курсах. В преподавании не было уже ничего возбуждающего ум и возвышающего душу. Образованный элемент в нем исчез, а с тем вместе исчез в нем и нравственный дух. Наука превратилась в какую-то пошлую рутину, которая могла пригодиться для практической жизни, но которая не открывала слушателям новых умственных горизонтов. Немудрено, что студенты стали, наконец, тяготиться подобным преподаванием. Кафедра потеряла свой прежний авторитет; слушание лекций не имело уже для нас своей прежней поэтической прелести. Все стремления свелись к тому, чтобы успешно сдать экзамен.

Зато в других отношениях это было самое веселое время, которое мы провели в университете. Я поныне вспоминаю о нем с особенным удовольствием. Мои родители эти два года не жили в Москве, а зиму и лето проводили в деревне. Мы остались одни: двое старших и третий брат Владимир, который в 47-м году вступил на математический факультет. Первую зиму с нами провел и Василий Григорьевич, который в это время держал экзамен на кандидата. Квартира у нас была на Тверском бульваре в нижнем этаже дома Майковой, возле бывшего тогда дома Базилевского, ныне Малютиной, недалеко от обер-полицмейстера. Место было центральное, и скоро наша квартира сделалась сборным пунктом для студенческого кружка. Сюда почти ежедневно являлись не только наши упомянутые товарищи: Щербатов, Талызин, Алябьев, Корсаков, но и студенты других курсов и факультетов, даже вышедшие уже из университета: Самарин, Устинов, Ухтомский, Петр Васильчиков, одно время Лев Голицын, а также товарищи младшего брата, Петр Базилевский и Капнист. Мы называли это Майковым клубом.

В особенности я в это время сошелся с Самариными, братьями Юрия Федоровича, из которых, однако, ни один не был на него похож. Большим моим

приятелем был Владимир[126], который был одним курсом старше меня. Это был самый добрый и веселый малый. Маленький, толстенький, весь в прыщах, с довольно забавной фигурой, он беспрестанно выкидывал какие-нибудь фарсы, пел, плясал, иногда влезал на стул и, закрывши глаза, фальшивым голосом и с выразительными жестами распевал итальянские арии, постоянно за кем-нибудь волочился, а потом вдруг, следуя семейным преданиям, садился за изучение русских летописей или читал какую-нибудь глубокомысленную книгу, например, Бентама[127]. Но книга скоро бросалась; кипучая молодость просилась наружу, и веселье брало верх над занятиями. Однако и оно его не удовлетворяло. За порывами разгульного веселья следовали минуты грусти; он скучал и почти каждый день приезжал ко мне и спрашивал со вздохом: какая цель жизни? Бедный Самарин так этой цели и не нашел. Он кидался во все стороны, привязывался к женщинам, но ненадолго, увлекался карточной игрой и проигрывался, наконец, в Крымскую кампанию вступил в военную службу, был во время Севастопольской осады адъютантом Хрулева[128] и разделял с ним все опасности. После войны он опять шатался всюду, не зная, что с собой делать. Наши дружеские отношения сохранились постоянно, он был у меня шафером на свадьбе, но вскоре потом скончался, оставив по себе добрую память во всех, кто знал его близко.

Я подружился и с следующим за ним братом Николаем, который был курсом моложе меня. Он был какой-то чудак, несколько нелюдим и никогда почти не присоединялся к нашей веселой компании, а больше сидел дома и занимался, в особенности русскою историею. Из этих занятий ничего не вышло, но мы часто проводили с ним вечера в разговорах и прениях. Что касается младших братьев, Петра[129] и Димитрия, то они были еще на первом курсе, когда мы были на четвертом, а потому и они не принимали участия в увеселениях Майкова клуба. Я сошелся с ними ближе уже по выходе из университета.

Собирались у нас почти ежедневно после лекций и по вечерам. После лекций бывало угощение пирожками, которые отлично делал наш повар Мокей. Появлялось большое блюдо, которое немедленно пожиралось со свойственным молодости аппетитом. Вечером мы в компании распивали чай, пели, хохотали, слага-

ли разные университетские песенки, иногда сочиняли домашний ужин. Выезжавшие в свет привозили оттуда всякие рассказы. В праздничные дни мы нередко всей гурьбой отправлялись ужинать в Троицкий трактир, где все половые нас коротко знали. Однажды на масленице мы у себя задали блины и пировали до ночи. В весеннее время мы точно так же гурьбой совершали большие прогулки и загородные поездки, а зимой иногда устраивали охоты, в подмосковные к товарищам. Добычи было не много, но езда вереницей в большой компании, движение на воздухе, веселые обеды и ужины после проведенного на охоте утра, все это было полно прелести.

Памятна мне в особенности охота в имении Благово, в Дмитровском уезде. Он сам предложил нам принять нас у себя, и мы сделали все нужные приготовления, как вдруг его мать, которая сначала дала свое согласие, испугалась, как бы не развратили ее сынка, и наложила запрет на нашу поездку. Мы пришли в отчаяние; Устинов и мой брат отправились к ней и стали перед ней на колени, объявив, что не встанут, пока она не даст разрешения. Их упорство, наконец, увенчалось успехом; разрешение было дано, и мы с торжеством отправились в путь. Благово встретил нас в своей деревне и после охоты приготовил нам даже большой обед. Но что же оказалось? Не было ни одной бутылки вина; это было строго запрещено маменькой. Однако мы уже об этом догадались и привезли с собой целую провизию. Бутылки явились на стол, и Благово, сконфуженный, немедленно после обеда удалился в свои покои, чтобы, согласно данному маменьке обещанию, не принимать участия в таком бесчинии. Но мы и там не оставили его в покое; когда заварена была жженка, мы решили идти его отыскивать. Вся ватага двинулась с бокалами и стаканами в руках; внезапно с шумом отворилась дверь его спальни, и что же мы увидели? Наш благонравный товарищ совершал свою вечернюю молитву на коленях перед киотом в каком-то ночном чепце с розовыми лентами. Контраст был поразительный! На этот раз, однако, мы его пощадили, но затем всячески старались его развратить. Я рисовал его жизнеописание в карикатурах; мы подучали его, как ему действовать с родительницею, и он сам, поддаваясь нашим внушениям, прибегал к разным каверзным злоухищрениям,

чтобы вырваться из когтей, но все это было безуспешно: кроме строгой матери, была еще добродетельная бабушка, и против этих двух соединенных сил Благово чувствовал себя совершенно немощным. Даже несколько лет после выхода из университета, когда брат мой, отправляясь секретарем посольства в Бразилию, приехал в Москву и пожелал на прощание поужинать со своими старыми товарищами, Благово объявил, что он никак не может ручаться, что его отпустят, и только уложивши свою маменьку, он выпрыгнул в окно и с торжествующим видом явился среди нас. Вскоре потом несчастный женился на красавице, которая, пожив с ним года два или три, от него убежала. Он совершенно потерял голову и пошел в монахи. Теперь он состоит архимандритом в Риме.

Отец мой был, однако, не совсем доволен сложившимся у нас товарищеским кружком. В своих письмах он предостерегал в особенности брата, который был моложе и имел менее наклонности к научным занятиям, от заразы светской пошлостью, прикрывающей внешним лоском внутреннюю пустоту. Его мечта была сделать из нас людей, основательно образованных, возвышающихся над обыкновенным уровнем, а потому он желал, чтобы мы себе составили кружок из молодых людей с живыми умственными интересами и с серьезным направлением. Он опасался также, чтобы постоянные развлечения, которые он считал полезными для меня, не отвлекали моих братьев от занятий. Впоследствии опасения его рассеялись, ибо он увидел, что из нашей товарищеской жизни не произошло и не могло произойти для нас никакого зла. Товарищество не сочиняется, а слагается само собою. В то время в университете не было кружка студентов, соединенных общими умственными интересами; по крайней мере я такого не знал. Серьезно занимавшиеся студенты работали каждый сам по себе. Замечательно, что я в университете вовсе даже не был знаком с человеком, сделавшимся потом одним из самых близких моих друзей, с Дмитриевым, который был всего одним курсом моложе меня и с которым у меня вдобавок был общий приятель, Николай Самарин, его однокурсник. Едва ли также был в университете хоть один студент, который занимался бы тем, что меня поглощало в то время, именно философией. Потребность умственного общения удовлетворялась посеще-

ниями Грановского, у которого мы продолжали довольно часто обедать, а также постоянными сношениями с Павловыми и их литературным кругом. Но кроме этой потребности были и другие, свойственные молодости, потребности доброго товарищества и беззаботного веселья, а этому вполне удовлетворяла собиравшаяся у нас компания. Все они были люди благовоспитанные, не только относительно внешних форм, но и относительно нравственных приличий. Они принадлежали к хорошим семьям, и от них нельзя было ожидать никакого низкого чувства или грубого поступка. При юношеском разгуле благовоспитанность составляет весьма существенную сдержку, а при этом требовалось еще, чтобы сердечные свойства и правила жизни подходили к общей среде. У нас не допускались не только низость или грубость, но и малейшая неделикатность. Когда Голицын, повертевшись в университете, вышел с первого курса, связался с французской актрисой и, замотавшись, стал вытягивать у товарищей их скудные деньги, без всякой мысли об уплате, мы сочли такой способ действия несогласным с товарищескими отношениями и исключили его из своего кружка. Конечно, умственные требования в нашей компании были невысоки, но высокие требования от людей предъявляются уже в позднейшие лета. В молодости полезны и такие отношения, в которых устраняется всякий педантизм, всякая гордость ума, всякое сознание умственного превосходства. Мы приучались обходиться дружелюбно с людьми самых разнообразных свойств и ценить в них не столько качества ума, сколько качества сердца. И только в молодости возможны подобные отношения, совершенно непринужденные, в которых нет ничего скрытого и эгоистического, никаких задних мыслей или мелких чувств. Беззаботное юношеское веселье проникнуто было юношеским чистосердечием и душевной теплотой, вследствие чего эта пора моей жизни оставила во мне самые лучшие воспоминания. Здесь я научился высоко ценить дружбу, составляющую одно из лучших украшений человеческой жизни. Доселе я с некоторым сердечным услаждением вспоминаю, что и меня товарищи любили так же, как я любил своих товарищей.

Наша веселая компания не мешала мне заниматься. При полной господствовавшей у нас бесцеремон-

ности я всегда мог засесть за книгу. В это время я весь погрузился в изучение гегельянской философии, вследствие чего я между товарищами носил прозвище Гегеля. Сначала я принялся за философию истории, потом за историю философии, но скоро увидел, что без прилежного изучения логики настоящим образом ничего не поймешь. Я и просидел над нею несколько месяцев, не только тщательно ее изучая, но составляя из нее подробный конспект с целью выяснить себе весь последовательный ход мысли и внутреннюю связь отдельных понятий. Потом я точно так же засел за феноменологию и энциклопедию. С философией Гегеля я познакомился основательно, после чего уже приступил к последовательному изучению других философов. Может быть, правильнее было бы поступить наоборот, начавши с древних мыслителей, с Платона и Аристотеля, которые гораздо доступнее неприготовленному уму. Но, прямо начавши с последнего и труднейшего, я сразу понял, к чему клонится все историческое развитие человеческого мышления, и мог усвоить себе вопросы во всей их современной ширине. Я убежден, что этот труд был мне в высшей степени полезен; убежден также, что кто не прошел через этот искус, кто не усвоил себе вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом и даже не в состоянии вполне обнять и постигнуть философские вопросы. Разумеется, я совершенно увлекся новым миросозерцанием, раскрывавшим мне в удивительной гармонии верховные начала бытия. Только в более зрелые лета, при самостоятельной работе мысли, я увидел, в чем состоит его односторонность, и каких оно требует поправок и дополнений.

В это же время развилась у меня и другая умственная страсть — увлечение политикой. Однажды ночью, когда мы спали глубоким сном, вдруг раздался у нашей двери сильный звонок; затем началась стукотня в низких окнах нашей квартиры, выходившей прямо на улицу. Мы к этой стукотне уже привыкли, нередко Голицын совершал такие ночные нападения, которые были нам вовсе не по вкусу. Поэтому мы сначала и не обратили на нее внимания. Но стук упорно продолжался, и мы, наконец, отворили дверь. Голицын вошел и объявил, что во Франции произошла революция [130]; король бежал, и провозглашена республика Я пришел в неистовый восторг, влез на стол,

драпировался в простыню и начал кричать: «Vive la République!» * На следующий день весь университет знал уже об этой новости, студенты с волнением и любопытством сообщали ее друг другу. После обеда я полетел к Грановскому, который с своей стороны приветствовал это событие как новый шаг на пути свободы и равенства. <...>

Увлечение было общее; все тогдашние либералы исполнены были веры в человечество и ожидали чего-то нового от внезапно призванных к политической жизни масс. Последовавшие затем события послужили для всех назидательным уроком; они воспитали политическую мысль, низведя ее из области идеалов к уровню действительности. И тут обнаружилось глубокое различие между теми, которые, внимательно следя за ходом истории, умели извлечь из него для себя новые поучения, и теми, которые были неспособны научиться чему бы то ни было. Между тем как Герцен, разочарованный во всех своих ожиданиях, увидев несостоятельность той демократии, которой он отдал всю свою душу, кидался в еще большую крайность, громил умеренно-республиканское правление, водворившееся после июньских дней, и проповедовал самые анархические начала, Грановский, как истинный историк, воспользовался развертывающейся перед его глазами картиной, чтобы окончательно выработать в себе трезвый и правильный взгляд на политическое развитие народов, взгляд равно далекий и от радикальной нетерпимости и от реакционных стремлений, проникнутый глубоким сочувствием к свободе, но понимающий необходимые условия для осуществления ее в человеческих обществах.

Я с жадностью предался чтению журналов. В «Débats», который мы получали и затем отсылали в деревню, печатались целиком все речи французских собраний. Я не пропускал нз них ни единой строки, знал каждого депутата, следил за всеми подробностями событий и обо всяком новом явлении тотчас ездил толковать с Грановским. От него я брал и немецкие газеты, в которых печатались прения Франкфуртского сейма и Берлинского депутатского собрания [131]. Даже во время экзаменов я разрывался между повторением курса и чтением газет. В самый день экзаме-

* Да здравствует республика! *(фр.)*

на, отправляясь в университет, я иногда не мог оторваться от какой-нибудь приковывающей мое внимание речи. Как двадцатилетний юноша, я, разумеется, сочувствовал крайнему направлению, а потому для меня громовым ударом были июньские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен и водворился Кавеньяк[132], я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я по-прежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества: на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде, нежели достигнуть прочных учреждений. Впоследствии более зрелое размышление убедило меня, что будущее, представляемое демократией, может быть только переходной ступенью в развитии человечества. <...>

Политические увлечения, даже в чисто теоретической области, были, однако, в то время небезопасны. События 1848 года вызвали сильнейшую реакцию в ничем неповинной России, которая должна была расплачиваться за европейские смуты. Если и прежде образованному меньшинству трудно было дышать под правительственным гнетом, то теперь дышать стало уже совершенно невозможно. Строгости усилились; цензура сделалась неприступной; частные лица, подозреваемые в либерализме, подвергались бдительному надзору. И в Москве, и в университете произошли знаменательные перемены. Честный и добрый генерал-губернатор князь Щербатов вышел в отставку; вместо него был прислан граф Закревский, который должен был укротить вовсе не думавшую бунтовать столицу.

Граф Закревский вошел в чины еще в царствование Александра I и в то время пользовался репутацией разумного, дельного и обходительного человека. Читая его переписку с графом Киселевым, напечатанную в жизнеописании последнего [133], невольно спрашиваешь себя: неужели это тот самый граф Закревский, который впоследствии был генерал-губернатором Москвы? С новым царствованием он преобразился согласно с новыми требованиями и в 1848 году явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало, и если дворянству он оказывал некоторое уважение, то с купцами он обращался совершенно как с лакеями. Когда нужны были пожертвования, он призывал, приказывал, и все должно было беспрекословно исполняться. После Крымской кампании купцы вздумали ознаменовать первый приезд в Москву нового государя огромным угощением войск в экзерциргаузе [134]. Закревский приехал и, увидев стоявших тут жертвователей и распорядителей празднества, закричал на них: «А вы что тут делаете? вон!» Хозяева должны были немедленно удалиться. Одним из первых его действий по прибытии в Москву было то, что он какого-то ростовщика без всякого суда сослал в Колу [135]. Он немедленно сменил полицмейстера Беринга, который, однако, скоро сумел подладиться к весьма доступному лести начальнику, сделался у него домашним человеком, исполняя почти что должность дворецкого, наконец, из смененного полицмейстера превратился в пользовавшегося полным фавором обер-полицмейстера и, наконец, губернатора. Закревский всюду видел злоумышленников; в особенности либералы были предметом зоркого наблюдения; шпионство было организовано в обширных размерах. Из недавно опубликованных официальных его донесений видно, что он против самых невинных лиц ставил отметку: «Готовый на все».

Мирная Москва, привыкшая к патриархальным порядкам, видевшая долгое время во главе своей просвещенного вельможу александровских времен, князя Дмитрия Владимировича Голицына [136] и затем добродушного и благороднейшего князя Щербатова, была смущена этим неожиданным проявлением дикого про-

извола. Н. Ф. Павлов написал к Закревскому остроумные стихи, которые ходили по рукам.

Ты не молод, не глуп и ты не без души;
К чему же возбуждать и толки и волненья?
Зачем же роль играть турецкого паши
И объявлять Москву в осадном положеньи?
Ты нами править мог легко на старый лад,
Не тратя времени в бессмысленной работе;
Мы люди мирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте.
Что ж в нас нехорошо? к чему весь этот шум,
Все это страшное употребленье силы?
Без гвалта мог бы здесь твой деятельный ум
Бумагу истреблять и проливать чернила.

Павлов с тонкой иронией спрашивал его:

Какой же учредить ты думаешь закон?
Какие новые установить порядки?
Уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплен,
Воров перевести и посягнуть на взятки?
За это не берись; остынет грозный пыл,
И сокрушится власть, подобно хрупкой стали;
Ведь это мозг костей, кровь наших русских жил.
Ведь это на груди мы матери сосали.
Но лишь за то скажу спасибо я теперь,
Что кучер Беринга не мчится своевольный
И не ревет уже, как разъяренный зверь,
По тихим улицам Москвы первопрестольной;
Что Беринг сам познал величия предел;
Закутанный в шинель, уж он с отвагой дикой
На дрожках не сидит, как некогда сидел,
Несомый бурею, на лодке Петр Великий.

Всего менее Закревский думал истреблять взятки. Как истинно русский практичный человек и чиновник, он сам был от этого не прочь. Тут все брали: и он, и жена, и дочь, и подчиненные. Нравственные примеры, явно подаваемые его домашними, были и того хуже; цинизм доходил до высочайшей степени. В Москве водворились необузданный произвол, взяточничество и грязь. Что могли породить подобные порядки, как не возбуждение во всех мыслящих и образованных людях вящей ненависти к правительству?

Этот крутой поворот не мог не отразиться и на университете, который, как центр просвещения, сделался главным предметом подозрений. И здесь произошли коренные перемены. Граф Строганов вышел; недолго после него оставался и Уваров. Вышел и любимый наш инспектор Платон Степанович. На место

Строганова поступил бывший при нем помощник попечителя, Дмитрий Павлович Голохвастов, а на место Нахимова — толстый, пошлый и ограниченный Шпеер. Голохвастов был человек неглупый и честный, с основательным, хотя односторонним, образованием, но формалист и педант. При других условиях он мог быть не дурным попечителем и со временем, при ближайшем знакомстве, приобрести любовь и уважение подчиненных. На его беду, он явился в университет представителем новых заведенных в нем порядков. Самая наружность его не внушала сочувствия. Он был чопорный, важный и нарядный и любил, чтобы все вокруг него было чинно, важно и нарядно. Мы с насмешливым любопытством глядели на торжественный его приезд в университет в карете цугом [137], с лакеем в ливрее на запятках по старому обычаю. Вся инспекция почтительно выбегала встречать начальника на крыльце; затем учинялось такое же торжественное шествие из профессорской в аудиторию: впереди шел солдат с предназначенным для попечителя креслом, сзади толпилась опять вся инспекция, студенты чинно становились по сторонам, и между ними шествовал сам Дмитрий Павлович во всем своем накрахмаленном величии, с лентой и орденами, важно раскланиваясь во все стороны. Мы невольно сравнивали эту внушительную обстановку со скромным появлением графа Строганова, который, однако, пользовался не меньшим уважением. Иногда Голохвастов и на лекции, важно восседая в креслах, начинал заводить разные речи, желая блеснуть своими знаниями, но и это выходило у него невпопад, и мы только над ним смеялись.

В университете установился совершенно новый строй. Прежняя свобода исчезла. Студентам запрещено было ходить в кондитерские читать газеты. В стенах университета не позволено уже было ходить расстегнутым; на улице нельзя было показаться в фуражке: требовалось, чтобы студенты непременно были в треугольной шляпе и при шпаге. И все это соблюдалось с величайшей точностью; на всякую пуговицу обращалось внимание; придиркам не было конца. Однажды в весеннее время, уставши от приготовления к экзамену, я в сумерках взял фуражку и вышел пройтись по Тверскому бульвару, где в ту пору народу почти совсем не было. Завидев субинспек-

тора издали, я повернул в боковую дорожку и вернулся домой; но субинспектор, заметив меня, тотчас последовал за мною на квартиру и сделал мне внушение, зачем я хожу по бульвару одетый не по форме. Так как наша квартира служила сборищем студентов, то за ней устроен был специальный надзор. Однажды в мае месяце Ухтомский, вышедший уже из университета, приехал к нам с бала в 5 часов утра; погода была чудесная, и он убедил меня поехать прогуляться с ним в Петровский парк. В тот же день университетскому начальству было известно, что я рано утром был в парке. Один из наших людей был даже подкуплен полицией и должен был доносить обо всем, что мы говорили и что у нас происходило. Об этом по секрету сообщил брату часто бывавший у Корсаковых полицмейстер Сечинский. Особенно весной 49 года во время довольно продолжительного пребывания в Москве царской фамилии, по случаю открытия нового дворца, строгости и формальности усилились до чрезмерности. Без сомнения, без некоторой дисциплины нельзя было обойтись, ибо сверху на это обращалось особенное внимание, но люди трусливые, боящиеся за свое положение, обыкновенно в этих случаях пересаливают. Наш толстяк-инспектор с уморительными ужимками показывал нам в лицах, какой мы должны принимать почтительный вид при встрече с государем, как мы должны кланяться и становиться во фронт, что нам было вовсе необычно. От студентов, выезжавших в свет, требовалось, чтобы они на балах в высочайшем присутствии были в чулках и башмаках, хотя в то время эта форма сохранялась только при дворе и не было ни малейшей нужды облекать в нее университетскую молодежь; но Голохвастов строго держался старых правил. Мне не пришлось так наряжаться; но я видел Корсакова, отправляющегося на бал к князю Сергею Михайловичу Голицыну в студенческом фрачном мундире и полном придворном облачении, затянутого в короткие белые штаны, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Отец его ехал вместе с ним, одетый во фрак, как обыкновенные смертные. Старик любовался нарядным одеянием сына. «Посмотрите,— говорил он, вспоминая свою молодость,— все мы прежде иначе на бал не ездили; а теперь что?» Но студенты, которые решались облечься в этот костюм, ставились в очень неловкое положение,

ибо, кроме придворных чинов, они одни щеголяли в этой форме. Их даже спрашивали с усмешкой, зачем их так наряжают?

Какое впечатление производил на нас Голохвастов, можно видеть из сложившейся у нас тогда песенки, которая может служить образчиком тогдашних студенческих воззрений. Однажды после одного из торжественных явлений Голохвастова Алябьев сказал мне: «Недурно бы про него сложить песню в русском духе со следующим началом:

Ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,
И ума у тебя нет синь-пороха,
И душонка в тебе распреподлая!»...

Наше желание исполнилось: Дмитрий Павлович недолго побыл в университете: он вышел, кажется, уже в 1849 году. Но от этого не только не сделалось лучше, а, напротив, сделалось гораздо хуже. Вместо него был назначен Назимов, которого единственная задача состояла в том, чтобы ввести в университете военную дисциплину. Комплект студентов, кроме медицинского факультета, был ограничен тремястами человек; философия, как опасная наука, была совершенно изгнана из преподавания, и попу Терновскому поручено было читать логику и психологию. Наконец, в Крымскую войну введено было военное обучение: студентов ставили во фронт на университетском дворе и заставляли маршировать. Московскому университету, да и всему просвещению в России нанесен был удар, от которого они никогда не оправились. Высокое значение Московского университета в жизни русского общества утратилось навсегда.

К счастью, я всего этого не видал. Все это совершилось уже после моего выхода из университета. Но и заведенные при нас порядки были нам в тягость. Мы сравнивали их с прежней вольной жизнью и не могли не возмущаться. Мы тяготились и рутинным преподаванием последних лет. Нам надоело слушать Лешкова, Баршева и компанию. Ни одного живого слова не раздавалось с кафедры. Не мудрено, что при таких условиях большинство студентов 4-го курса с нетерпением ожидало выхода. Брат мой как-то писал об этом в деревню; отец отвечал: «В какое груст-

ное раздумье привели меня эти слова! Молодые эти люди, так нетерпеливо желающие оставить место, где должны сделать запас на всю жизнь, спросили ли они у себя, что вынесут из университета? Приобрели ли они хоть одно основательное знание, получилось ли какое-нибудь стремление, достойное образованного человека, развили ль в себе любовь к мысли, к просвещению? Очень немногие могут отвечать утвердительно на эти вопросы».

Эти слова, конечно, не могли относиться ко мне. Университет дал мне все, что он мог дать: он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоле неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже нравственное ее значение для души человека. Я в университете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глубоко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые остались для меня образцами возвышенности ума и нравственной чистоты. Отныне я мог уже работать самостоятельно, занимаясь на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее призвание. Я не воображал себе, что мое образование кончено, а, напротив, только и думал о том, чтобы его пополнить. Но весь запас сил, с которым я готовился вступить на этот новый путь, я вынес из университета, а потому никогда не обращался и не обращаюсь к нему иначе как с самым теплым и благодарным воспоминанием.

Наконец, наступили последние экзамены. Они сошли так же благополучно, как и все прежние. Я и тут везде получил по 5. Но так как нас было трое, которые из всех кандидатских предметов получили полные баллы: Гладков, Лакиер и я, то нас в выпускном списке поставили в алфавитном порядке, так что я стоял третьим. К этому я был совершенно равнодушен, ибо всякие отличия всегда ставил ни во что. Брат мой также получил кандидатские баллы. Статское платье было уже давно заказано, и мы сняли мундиры с синим воротником с такою же почти радостью, с какой надели их четыре года назад. Мы не воображали, что с тем вместе мы прощаемся с лучшими годами своей жизни, с годами юношеской беззаботности и юношеских увлечений, упоения мыслью, отважных мечтаний, веселого товарищества, с теми годами,

когда в человеке уже развернулись все вложенные в него силы, когда перед ним раскрылась вся полнота бытия, а житейский опыт еще не коснулся его своим холодным дыханием, и все мелкое, пошлое и черствое, с чем ему впоследствии приходится встречаться, не рассеяло еще тех радужных надежд, с которыми он вступает на жизненный путь.

Мы отпраздновали свой выход общим пиром; с Алябьевым мы вдвоем совершили большую прогулку и расстались навеки. Он высказывал предчувствие, что недолго проживет. Наконец, покончив все дела, мы с легким сердцем сели в тарантас и покатили в свой милый Караул. Выехали за заставу, и скоро обаяние теплого летнего утра, мирный вид простирающихся вдаль полей, зеленых дубрав, колыхающихся по ветру нив, все эти знакомые и близкие сердцу впечатления заставили нас забыть и суету университетской жизни, и волнения экзаменов, и сердечное прощание с товарищами. Сельская тишина охватила нас своим благоуханием.

Я не могу без некоторого поэтического чувства вспомнить об этих прежних, долгих путешествиях по России, которые производили такое впечатление, как будто переносишься в совершенно новый мир. С железными дорогами все изменилось. Едешь несравненно скорей, с гораздо большими удобствами, но вся поэзия путешествия исчезла. А поэзия была, несмотря на грязь, на толчки, на ухабы, на зажоры [138], несмотря на пошлые станционные дома, на недостаток лошадей, несмотря на то, что приходилось иногда по шести дней тащиться чуть не шагом из деревни в Москву и по целым ночам ежеминутно пробуждаться от неудержимой дремоты, вследствие невыносимого толкания то в один бок, то в другой. И природа, и воздух, все теряет свою прелесть, когда сидишь в запертом вагоне и видишь перед глазами ряд быстро сменяющихся картин. Живое, захватывающее действие окружающей природы ощущается, только когда едешь на лошадях в открытом экипаже. Тут только можно полной грудью вдохнуть в себя и благоухание свежего утра, и неизъяснимое обаяние теплого летнего вечера, когда длинные тени ложатся кругом, и мало-помалу земля погружается во мрак. Какое, бывало, испытываешь живительное и радостное чувство, когда, проснувшись на заре, после проведенной в езде ночи,

вдруг услышишь пенье жаворонка высоко под небом и видишь облик солнца, выходящего из-за горизонта и озаряющего своими бледными еще лучами зеленеющую даль полей, густые рощи, покрытые соломой хижины! Освеженный недолгим сном, выпрыгнешь из экипажа, с неизъяснимым удовольствием напьешься на станции чаю и с новой бодростью едешь дальше. Какое удивительное впечатление производил серебристый звук колокольчика на вечерней заре, в безбрежной степи, позлащенной последними лучами заходящего солнца, когда синеющие дали начинают сливаться с небом, представляя вид бесконечности, и в природе водворяется какая-то торжественная тишина. Что-то ласкающее, призывное слышится в этом звуке, и целый рой самых разнообразных чувств возникает в душе. Даже осеннее путешествие имело свою прелесть: едешь, бывало, в сумерки; ночь тихо спускается на землю; мрак становится все гуще, и душа погружается в какую-то смутную дремоту, перебирая в себе всякие неясные образы; а вдали мелькают огоньки, заманивая к себе, вызывая в воображении картины мирного сельского домашнего быта. Или зимой, когда, случалось, останешься переночевать на станции, чтобы переждать разгулявшуюся погоду: сидишь один в комнате, едва освещенной тусклым светом сальной свечи с нагоревшим на ней фитилем; на столе шумит самовар; среди ночного безмолвия слышны только мурлыканье кота и мерный стук стенных часов, да за перегородкой зычное храпенье станционного смотрителя. А на дворе вьюга так и злится; кажется, она хочет ворваться в окна. И в ожидании утра ляжешь спать на жесткий диван и заснешь таким крепким сном, каким никогда не сыпал на мягкой постели.

Все эти давно прошедшие впечатления невольно возникают во мне и сливаются в один поэтический образ с воспоминанием молодости, университетской жизни, о тех изменяющихся, но всегда живых и радостных чувствах, с которыми я переезжал из Москвы в деревню и из деревни в Москву. Всего этого давно уже нет; Россия вся преобразилась: явились иные условия, иная жизнь, иные люди. Сохранят ли нынешние юноши такую сердечную память о прошлом, какую сохранили в душе своей люди того времени?

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНИЯ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Вернувшись домой после выпускных экзаменов, я весь остальной 1849 год провел в деревне. Семья была вся в сборе; только брат Владимир, который вступил на 3-й курс, в начале сентября уехал в Москву. С нами был Василий Григорьевич [139], постоянный товарищ во всех наших удовольствиях. Лето было шумное и веселое. Мы часто ездили в Мару, и Баратынские приезжали к нам. Меня очень занимала также постройка дома, который подвигался с удивительною быстротою. В октябре, как уже сказано выше, мы в него перешли и отпраздновали новоселье. Осенью мы зажили уже на широких квартирах. Я в первый раз получил свою отдельную комнату и весь погрузился в занятия, которым, впрочем, не мешали и летние удовольствия.

Следуя внутреннему влечению, я продолжал изучать философию. С этой целью я принялся опять за греческий язык и стал в подлиннике читать Платона и Аристотеля, сначала с помощью перевода, а потом прямо уже по греческому тексту. Рядом с этим я изучал историю права; по немецкому праву читал Эйхгорна, по французскому Варнкенига [140] и Штейна [141], и из всего прочитанного делал конспекты. В это время начало уже слагаться у меня то философско-историческое здание, которое образовало, можно сказать, остов всех моих последующих трудов и которого построение составляло главную задачу моей жизни. Оно возникло из сравнения философского и политического развития человечества. Чтение Гегеля убедило меня в истине основного исторического закона, состоящего в движении духа от единства к раздвоению и от раздвоения обратно к единству. Но я не мог примириться с построением Гегеля, который эпохою раздвоения считал Римскую империю и в христианстве видел начало высшего единства. Чтение Эйхгорна окончательно убедило меня в неправильности этого взгляда. Я увидел, что эпохою раздвоения следует признать не Римскую империю, а средние века, где действительно являются два противоположных друг другу мира: с одной стороны, церковь, хранительница нравственного закона, с другой стороны, светская область, в которой господствовало частное право. Сравнивая средне-

вековый быт, как он изображен немецкими историками-юристами, с началами, установленными в Гегелевой философии права, я пришел к заключению, что основанный на частном праве порядок следует именовать не государством, а гражданским обществом; государственные же начала, развивающиеся в новое время и подчиняющие себе обе противоположные области, церковную и гражданскую, являются восстановлением утраченного единства. Вынесенное из университета знакомство с историей русского права подтверждало эти взгляды и служило вместе с тем основанием к сближению западноевропейского развития с нашим. Я увидел, что при некоторых второстепенных различиях основной закон развития и здесь и там один и тот же.

Таким образом, все историческое развитие человечества получило для меня смысл. История представилась мне действительным изображением духа, излагающего свои определения по присущим ему вечным законам разума. Это была уже не общая мысль, которую я принимал на веру, а раскрывающийся в явлениях факт. Все разнообразие событий и народностей слагалось в общую живую картину, в которой каждая особенность становилась органическим членом совокупного целого. Все мои последующие труды служили только к подтверждению этого взгляда. Разумеется, с бо́льшим и бо́льшим изучением источников частности представлялись в ином свете; но всякая основательно изученная подробность не только не опровергала основных начал моего воззрения, а являлась как бы новым их подкреплением. Скудный очерк наполнялся все большим и большим содержанием.

Существенное изменение произошло в одном: пока я держался чисто идеалистического воззрения Гегеля, я все прошедшее считал преходящими моментами в истории человечества. Вследствие этого я и христианство признавал религиею средневековою, покончившею свой век, отслужившей, так сказать, свою службу; а так как будущая религия, религия духа, еще не явилась, то я думал, что современное человечество, по самому своему положению, лишено религиозных верований. Впоследствии я убедился, что идеализм, составляя последний момент развития, не есть, однако, единственный и что он сам становится односторонним, когда он утверждает только себя, отвергая самобыт-

ность остальных начал. Я понял, что те ступени, которые Гегель называет моментами развития, составляют вечные элементы человеческого духа, имеющие право на самостоятельное существование и сохраняющиеся при дальнейшем движении, а потому я перестал видеть в христианстве только религию прошлого и пришел к убеждению, что религия духа может не заменить его, а только восполнить. Точно так же и гражданский порядок, основанный на частном праве, никогда не может поглотиться государством. Средневековый быт представлял одностороннее поглощение государственных начал частными; движение нового времени состоит в выделении государственных начал и в самостоятельном развитии последних. Но обратное поглощение частных начал государственными было бы еще большею и худшею односторонностью, нежели первое. Отсюда коренная несостоятельность всех стремлений социализма. В юношескую пору, когда я еще состоял под исключительным влиянием идеализма, я видел в нем будущее; в зрелые лета, когда я понял всю односторонность исключительного идеализма, я признал в нем величайшего врага свободы, а потому главную язву современного человечества.

Книжные занятия не мешали развивавшейся у меня в последние годы страсти к энтомологии [142]. Живя в деревенской свободе, я предавался ей с увлечением. Летние мои прогулки посвящались главным образом собиранию жуков. Детская страсть моя к рыбной ловле в это время уже совершенно исчезла. Я пробовал ходить с ружьем; осенью устраивались большие охоты у нас и у соседей. Мне удалось даже убить лисицу; но, не имея никакой наклонности к ружейной охоте, я после этого подвига положил ружье и успокоился на лаврах. С наступлением холодов пришлось вести преимущественно комнатную жизнь и углубляться в книги. Но наконец это мне надоело, я почувствовал умственное утомление и потребность отдыха. В 21 год, когда молодые силы кипят и просятся наружу, такая жизнь зимою в деревне представляет мало привлекательного. С завистью читал я письма брата и товарищей из Москвы. Они там веселились, ездили в свет и звали меня к себе. Меня так и потянуло в Москву. Родители также собирались туда в эту зиму, но я, не дождавшись их, в начале января уехал с соседом вперед, чтобы приискать и приготовить им квартиру.

В Майковом доме меня ожидала вся наша товарищеская компания, которая предавалась веселью со всем увлечением юности, окончательно порвавшей с учебными годами и наслаждающейся полной свободой. Я, разумеется, тотчас к ним примкнул и сделался непременным участником всех увеселений. Но в Майковом доме мы не остались; пришлось навсегда покинуть этот уголок, где мы провели столько веселых и приятных дней. Я отыскал для родителей большой дом на Поварской, ныне принадлежащий Дмитрию Федоровичу Самарину, нанял мебель, драпировки, приготовил все нужное к приезду и переселился туда с братом в ожидании остального семейства, которое не замедлило прибыть.

Эта зима была исключительно посвящена удовольствиям. Кроме товарищеского круга, я разом окунулся и в московский большой свет. Вступить в него было не трудно. Он всегда страдал недостатком мужчин, которые отвлекались обыкновенно службой в Петербурге; а потому всякий благовоспитанный молодой человек принимался с распростертыми объятиями. Я скоро сделался в нем, как свой человек, и эта светская жизнь поглотила меня в течение нескольких лет.

Московское общество было в то время многочисленное и разнообразное. Тогдашняя Москва была преимущественно дворянским городом. Тут жили зажиточные, независимые семьи, которые не искали служебной карьеры и не примыкали ко двору. Это налагало своеобразную печать на всю московскую жизнь. В ней не было того, что составляло и поныне составляет язву петербургского большого света, стремления всех и каждого ко двору, близость к которому определяет положение человека в свете. Слова и действия царственных особ и чиновные производства не занимали все умы и не были предметом постоянных толков. Даже правительственный центр в Москве в то время вовсе не был общественным центром. К графу Закревскому ездили на большие балы, но от семейства его устранялись. Толстая, известная своими похождениями графиня Закревская [143], с своим наперсником Маркевичем [144], впоследствии сделавшимся литератором, и графиня Нессельроде [145] с толпою поклонников, на которых она была весьма неразборчива, представляли мало привлекательного для людей с несколько тонким вкусом. Москвичи все жили семейны-

ми кружками, радушно и беспечно, наслаждаясь жизнью и мало заботясь о будущем. Богатые дома давали большие празднества, балы, вечера, маскарады. Большинство предавалось светским удовольствиям; у иных были и литературные интересы. Вообще светская жизнь была блестящею, ибо принимающих домов было много и дворянство не успело еще поразориться. Какова была разница между тогдашним обществом и настоящим, можно судить по тому, что в то время в английский клуб записывали детей с самого дня рождения и были счастливы, когда до них в зрелые лета доходила очередь; а кто раз не переменил билета, тот не имел уже ни малейшего шанса вновь попасть в члены, хотя бы уплативши те значительные деньги, которые полагались за вторичное вступление. Ныне же не могут набрать достаточного количества членов, даже уничтожив все препятствия к обратному вступлению. Только молодых людей, как сказано, и в то время было мало, ибо они большею частью уезжали на службу в Петербург. Зато дамское общество было чрезвычайно приятное. Тут были и светские львицы, которые в то время царили в гостиных, и дамы с литературными интересами, усердные посетительницы публичных лекций. Множество красавиц служили украшением блестящих собраний. Для молодого человека приманка была громадная; можно было навеселиться вдоволь. Опишу те дома, где я чаще всего бывал.

Один из самых чопорных салонов Москвы был салон Долгоруких. Они жили у Варгина на Тверской, больших праздников не давали, но почти каждый вечер можно было к ним явиться запросто и найти приятное общество. Сам князь Александр Сергеевич, сохранивший до старости тип светского щеголя, был человек недалекий. Он не пускался в разговоры, держал себя чинно и всего более любил играть в карты. Каждый вечер, приезжая к ним, можно было в проходной столовой видеть несколько ломберных столов, за которыми молча и важно сидели игроки. В гостиной восседала жена его, рожденная Булгакова, женщина очень умная, не совсем приятного характера, суетная и тщеславная, но с великосветскими формами, с блестящим разговором, с некоторым поверхностным образованием. Московского добродушия и непринужденности в ней вовсе не было; это скорее была пред-

ставительница в Москве петербургского великосветского тона. Ее занимали все петербургские интересы, она преклонялась перед двором, и петербургские светские люди, когда приезжали в Москву, обыкновенно являлись в ее салоне. Для нас, еще молодых людей, конечно, не княгиня Ольга Александровна служила главной приманкой, а общество девиц, ее дочери и неразлучной с нею приятельницы Ребиндер, которая жила в том же доме Варгина. С княжной я вскоре вступил в самую тесную дружбу, которая сохранилась и доселе. Она была некрасива собой, похожа на отца; но в ней было именно то, чего недоставало у матери,— полная непринужденность, отсутствие всяких претензий, постоянно льющийся живой и веселый разговор, приправленный самым откровенным и незатейливым кокетством относительно тех, кто ей нравился. Я в этих случаях бывал ее поверенным. Ее приятельница Марья Алексеевна Ребиндер была умная, образованная, серьезная и также очень приятная. Я и с нею вступил в тесную дружбу, которая продолжалась и тогда, когда, несколько лет спустя, она вышла замуж за Олсуфьева. Она умерла, оставив многочисленную семью. Муж ее после этого два раза женился и окончательно разорился.

Что касается до княжны, то она перешла через многие мытарства, прежде нежели нашла себе оседлость. Мать непременно хотела выдать ее замуж, и это не удавалось. Они переселились в Петербург, потом уехали за границу. Особенно тяжелы были последние годы жизни княгини, которая немного помешалась и сделалась совершенно невыносимою для близких. После ее смерти княжна странствовала по Европе с отцом, который тоже совершенно разорился. Похоронив его, она вернулась в Москву, едва имея чем жить. Но здесь, наконец, она обрела теплый приют. Она вышла замуж за Львова, заику, но отличного человека, с которым зажила душа в душу. На меня всегда производило отрадное впечатление, когда я вечером являлся в их скромное жилище, всегда отделанное с большим вкусом, несмотря на ничтожные средства, и заставал эти два существа, искренне любившие друг друга и преданные делам благотворительности. Впоследствии он получил место смотрителя Вдовьего дома; они зажили пошире. Недавно он скончался.

В семье Долгоруких был и сын, известный под названием Коко. Он в 1850 году вступил в университет на медицинский факультет, так как число студентов на других факультетах было ограничено, и вакансий не было. Это был малый пустой и хлыщеватый, но неглупый и с разными общественными талантиками: он недурно играл на сцене, приятно пел романсы, хорошо читал вслух. В Крымскую кампанию он был военным медиком, затем вышел в отставку, женился на Базилевской и умер от разрыва сердца полтавским губернским предводителем дворянства.

Такая же судьба, как и Долгоруких, постигла другое близкое к ним семейство, в котором я также был на приятельской ноге. Сестра князя Александра Сергеевича, Надежда Сергеевна, была замужем за Сергеем Ивановичем Пашковым. Она была уже женщина немолодая. Вскоре подрастающие дочери начали выезжать в свет, и Пашковы стали давать балы и вечера; но в начале пятидесятых годов все ограничивалось, как у Долгоруких, почти ежедневными вечерними приемами, на которые можно было приезжать, когда угодно. Тон здесь был совсем другой, нежели в салоне Долгоруких, тон чисто московский, радушный и бесцеремонный, тут не только мужчины, но и дамы обыкновенно составляли партию. Надежда Сергеевна любила поиграть в карты, поболтать, немного посплетничать, но всегда без злости. Ласковая и обходительная, она старалась сделать свою гостиную сборным местом для старых и для молодых. С этой целью она постоянно приглашала к себе молодых и красивых дам, которых брала под свое покровительство. Всегдашним гостем на ее вечеринках была блиставшая красотою, но никак не умом и приятностью характера Софья Петровна Нарышкина, рожденная Ушакова; она только что вышла замуж за бывшего близкого приятеля ее матери и старалась приобрести положение в свете, задавая блестящие балы, на которые Надежда Сергеевна сзывала всех и каждого. Постоянно ездила и другая, уже несколько увядающая красавица, княгиня В. А. Черкасская, а также графиня Ростопчина [146], которая была роднею Пашковых и воспитывалась в их семье. После многих странствований и приключений эта бывшая красавица и поэт возвратилась в свой родной город и поселилась в нем. Свежесть молодости исчезла; небольшой поэти-

ческий талант испарился; а так как ума никогда не было, то осталась непрерывающаяся болтовня с довольно разнообразным содержанием, но не одушевленная блеском, остроумием или грацией, а потому скучная. Осталась и наклонность окружать себя молодыми людьми. В это время она оставляла уже в покое светскую молодежь, а составила себе кружок второстепенных литераторов, среди которых царила. К Пашковым она езжала часто запросто, и раз я был свидетелем забавной сцены: она стала рассказывать о своей молодости и при мне хотела позировать невинною жертвою, а Надежда Сергеевна, к великому ее конфузу, обличала ее прежние проделки. Скоро она растолстела, а так как претензии на молодость не исчезли, то она представляла из себя нечто довольно комическое. Грановский однажды с хохотом показывал мне ее фотографию, которую он где-то достал, как курьез: графиня Ростопчина изображена была с поднятыми к небу глазами в виде какой-то расплывшейся туши с сентиментальной физиономией. Без смеха нельзя было на нее смотреть. До старости у нее осталась и страсть к танцам. Когда она стала вывозить дочерей в свет, она наивно признавалась, что для нее всего больнее было то, что она уже не может более танцевать.

Непременным гостем на вечерних собраниях у Пашковых был Петр Павлович Свиньин, оригинальная московская личность. Он был старый холостяк, весьма невзрачный, циник, гастроном, сластолюбец, но весьма неглупый, довольно острый и забавный, притом всегда готовый прийти на помощь к друзьям. Он был богат и имел на Покровке свой дом, отделанный с большим вкусом, в котором он некогда давал обеды и даже балы. Но это ему надоело, и он предпочитал разъезжать по друзьям и знакомым. В карты он не играл, но сидел всегда до поздней ночи, уверяя, что он на этом основал всю свою репутацию, ибо заметил, что кто уезжает раньше других, тот непременно становится предметом злословия, а он этого избегает, уезжая последним. Когда построена была железная дорога в Петербург, москвичи радовались, но Свиньин говорил: «Чему вы радуетесь? Теперь все сидят здесь, а будет железная дорога, все уедут». Его пророчество в значительной степени сбылось. Свиньин дружески поддерживал Пашковых, когда они в конце

пятидесятых годов совершенно разорились. Вернувшись из-за границы, я нашел Надежду Сергеевну одинокой, на тесной квартире, а Сергея Ивановича ослепшим. От прежней барской жизни не осталось ничего. Оба они умерли в весьма стесненном положении.

В дружеских отношениях с Пашковыми и Долгорукими была Надежда Петровна Базилевская, в доме которой мы были приняты, как свои, уже со студенческих лет. Она была вдова, уже немолодая, весьма неглупая и приятная светская женщина. Старший сын ее был товарищем брата Владимира, и он всех нас ввел в дом своей матери, которая обласкала нас и приголубила. По выходе из университета вся наша компания к ней приютилась. Будучи плохого здоровья, она перестала ездить в свет и у себя больших приемов не делала, а жила в тесном семейном кругу, только изредка давая небольшие обеды. Кружок состоял, главным образом, из трех дам: самой Надежды Петровны, ее двоюродной сестры, молодой вдовы Софьи Ивановны Рахмановой, рожденной Миллер, и приятельницы последней, княжны Екатерины Андреевны Гагариной. Они собирались почти ежедневно и нам говорили: «Наша тройка любит вашу шайку». Главною приманкою для молодежи была Софья Ивановна. Еще девицей она была предметом страсти тогдашнего наследника Александра Николаевича. Вышедши замуж за богатого Рахманова, она была с ним несчастлива, сходила с ума, потом выздоровела, овдовела и поселилась в Москве с малолетней дочерью. Будучи ума весьма недалекого, она имела какую-то грациозную и привлекательную наружность, которая невольно к ней притягивала. Владимир Самарин был в нее страстно влюблен, а также и примкнувший к нашему кружку молодой преображенский офицер Николай Трубецкой, сын князя Петра Ивановича. Остальные, в том числе и я, ухаживали за Софьей Ивановной за компанию, как за хорошенькой женщиной. Самарин вздумал после всякого вечера, проведенного с предметом его страсти, провожать ее всей гурьбой до ее подъезда, и это исполнялось в течение нескольких лет и подавало повод к забавным приключениям. Она тешилась этим ухаживанием молодых людей, на которое она серьезно не смотрела, ибо все мы только что вышли из университета, а она искала подходяще-

го брака. Через несколько лет она вышла замуж за князя Владимира Андреевича Оболенского и жила с ним счастливо до своей смерти.

Третий член дамского кружка, княжна Гагарина, сестра <...> Натальи Андреевны Соловой, была в своем роде весьма оригинальною московскою личностью. Рано потерявши родителей, оставшись без всякого состояния, она воспитывалась сначала у дяди, князя Меньшикова, потом в институте. Сестры вышли замуж и жили в Петербурге, а она поселилась в Москве, где жила одна на маленькой квартирке, принимая друзей и знакомых. Некрасивая собою, с толстым носом, но необыкновенно живая, весьма неглупая от природы, с добрым сердцем, участливая ко всем, искренне привязанная к друзьям, она в то же время была безалаберною до невероятности. Голова ее представляла какой-то невообразимый ералаш самых разнородных и изменчивых впечатлений, а язык летал во все стороны, на всех парах, без всякого удержу. Она была болтунья и хохотунья, ссорилась, мирилась, воспламенялась, остывала, кокетничала, обрывала, и все это без всякой последовательности и мысли. Такой она осталась и до старости; с летами она приобрела даже громадную популярность. До сих пор в ее маленькой квартире толпятся с утра и до вечера и богатые, и нищие, купцы, доктора, железнодорожные деятели, статские и военные, светские люди и первые сановники столицы. Со всеми она в дружбе, и все обращаются к ней за помощью. При своих обширных связях она всегда готова хлопотать за всякого, с толком или без толку, это все равно. Прежней веселости, разумеется, уже нет; она утратилась в жизненном горе. Но язык не перестает по-прежнему молоть все, что дает ему сохранившая всю свою впечатлительность голова.

Кроме нашей компании, постоянным мужским элементом в доме Н. П. Базилевской был брат ее Константин Озеров и двоюродный брат Сергей Иванович Миллер, брат Софьи Ивановны Рахмановой. Это были два несколько пожилых молодых человека московского большого света. Озеров жил холостяком на своей квартире, куда непременно зазывал всякого, и приезжих гостеприимно помещал у себя. Он братался со всею светскою молодежью и сам, вполне безупречным и совершенно рутинным образом, исполнял все обя-

занности светского молодого человека: скакал по московским улицам на паре с пристяжкою, держал бульдога, ездил по аристократическим гостиным, где был принят на дружеской ноге, танцевал, сколько следует кавалеру уже не первых лет, разговором не отличался, но обо всем имел мнение и считал себя знатоком светских приличий; за светскими дамами, впрочем, не ухаживал, а довольствовался полусветом, с которым был знаком коротко, но без увлечения, именно настолько, сколько подобает светскому человеку; участвовал во всех увеселениях, кутежах, катаньях на тройках, хриплым голосом пел романсы и все это исполнял не только без всякой веселости, но с какой-то печатью уныния, которая лежала на его некрасивом лице. Это не было, впрочем, выражением сердечной грусти, а отражением той светской рутины, которая охватила всю его жизнь и составляла все ее содержание. В этой рутине он и умер.

Совсем другой был Сергей Иванович Миллер. Он не разыгрывал роли молодого человека, никогда не танцевал и не хотел говорить ни на каком другом языке, кроме русского. Но он был ходок по женщинам: не довольствуясь полусветом, он ухаживал за светскими дамами, в которых встречал податливость. Холодный, сдержанный, самолюбивый, любивший в разговоре постоянно отпускать шуточки, лишенные веселости и остроты, он в обхождении не был приятен; но у него были серьезные артистические наклонности: он был первый основатель Московского общества любителей художеств, где доселе висит его портрет.

В близких сношениях с описанными домами находилась и Луиза Трофимовна Голицына, которая до самой своей смерти сохраняла в Москве выдающееся положение. Муж ее, князь Михаил Федорович, был человек добрый и недалекий, она же, рожденная гр. Баранова, была большая барыня в лучшем значении этого слова, без всякого блеска, но и без всяких претензий, всегда ровная, спокойная, ласковая и обходительная со всеми, дружески расположенная ко многим. Никто никогда не слыхал от нее едкого слова. В понедельник утром, ее приемный день, вся светская Москва двигалась на дальний конец Покровки, где был их старинный барский дом; а в великий пост она ежегодно по четвергам вечером открывала свой салон

для всех знакомых. Она умерла недавно, окруженная всеобщим уважением.

К этому же кругу примыкали состоявшие в родственных отношениях с Долгорукими и Пашковыми Орловы-Денисовы. У них был большой дом на Лубянке, бывший графа Ростопчина, и они давали большие балы. Граф Николай Васильевич был человек пустой, любивший покутить; жена же его, рожденная Шидловская, считалась первой красавицей в Москве. Действительно, когда она появлялась на вечерних собраниях, она имела совершенно вид царицы. Высокая, несколько полная, с правильными и красивыми чертами, с невозмутимым выражением лица, с плавными манерами, всегда роскошно одетая, она на всей своей особе носила печать чего-то спокойного и величавого. Умом она не отличалась, говорила тихо и мало, но всегда приветливо; доброты была необыкновенной и благочестия глубокого и скромного. Нередко случалось, что эта блистательная дама, возвращаясь домой с бала, когда колокола звонили уже к ранней обедне, переодевалась и шла к службе или даже прямо входила в церковь в бальном платье под шубой и платком, прикрывавшим украшенную цветами голову. После смерти мужа она вышла замуж за бывшего в Москве обер-полицмейстера Лужина, который давно был в нее влюблен. Овдовев вторично, она кончила жизнь в бедности и уединении. Московский дом перешел в руки откупщика Шипова, который, в свою очередь, его перепродал, а великолепное имение «Мерчик» досталось железнодорожному строителю фон-Мекку.

Из домов, дававших большие балы для выезжающих в свет дочерей, выдавались Столыпины и Львовы, Афанасий Алексеевич Столыпин, человек очень умный, хотя с несколько грубоватыми формами, составил себе большое состояние в откупах. Он был когда-то губернским предводителем в Саратове, но за независимость характера не был утвержден и поселился в Москве, где у него был совершенно барский дом, с огромным двором и с обширным садом. Тут были частые балы, обеды и вечера. Жена его, рожденная Устинова, была известна своей наивностью и в обществе служила предметом шуток и анекдотов. Главная ее забота состояла в том, чтобы выдать своих дочерей за знатных лиц, и она не могла скрывать своей

досады, когда устраивалась знатная свадьба в чужой семье. Впрочем, цель вполне была достигнута, что и было не мудрено. Старшая дочь была прелестна и скоро вышла замуж за князя Владимира Алексеевича Щербатова, бывшего потом губернатором в Саратове. Младшая же, некрасивая собой, но умная и отличных сердечных свойств, впоследствии вышла за Шереметева и поныне живет в Москве, занимаясь благотворительными делами и пользуясь общим уважением. С обеими я был и остался в дружеских отношениях. Был и сын, тогда еще малолетний, который кончил весьма печально: он сошел с ума и зарезал жида.

Львовы отличались тем, что у них было множество дочерей; одна красивее другой, некоторые, особенно старшая и младшая, даже выдающейся красоты. В мое время выезжали в свет две старшие, с которыми я скоро сблизился. Вторая вышла замуж за графа Бобринского и скончалась вскоре после свадьбы. Старшая из них, Марья Александровна, еще прежде сестры вышла замуж за одного из бесчисленных князей Оболенских, которыми кишела Москва. Они все были на один тип: добродушные, обходительные, рохлеватые, недалекие и с некоторыми литературными интересами. О них Константин Аксаков, в стихотворном послании к Каролине Карловне Павловой, возвещая ей, что весь клан Оболенских жаждет слышать ее тогда еще ненапечатанную поэму «Двойная жизнь», отозвался:

О, сколь от злого времени
Их изменился нрав:
Кто скажет, что их племени
Олег и Святослав?

Княгиня Марья Александровна сперва блистала красотою в Москве, но потом они поехали за границу и долго там жили. Я нашел их в Париже в 1860 году и, к удивлению своему, увидел, что эта женщина, которая в Москве отличалась красотою, но не умом и не образованием, не только занимала видное положение в парижском большом свете, на что имела право по своей красоте и изяществу, но умела составить себе кружок из умных и образованных людей, преимущественно орлеанистов[147]. Старик Дюшатель[148], бывший министр внутренних дел при Людовике-Филиппе, был усердным ее поклонником, и когда она впос-

ледствии переселилась в Петербург, он постоянно посылал ей телеграммы обо всех политических новостях, которые она иногда знала даже прежде министерства иностранных дел. Это положение она приобрела тем необыкновенным тактом, с которым она умела привлечь к себе всех и каждого, сияя ровною и спокойною красотою, окруженная поклонниками, но всегда на некотором отдалении, никогда не позволяя себе злословия, умея слушать умных людей и поддерживать разговор, не выступая резко с своими собственными суждениями. Со старыми же друзьями она всегда сохраняла дружеские отношения. Когда я приехал в Париж, не видев ее несколько лет, я был обласкан, как старый московский приятель, и таким остался доселе. В Петербурге всегда являюсь к ней и вижу ее с большим удовольствием.

Большое положение в Москве имели и Трубецкие. Их было три брата. Старший, князь Николай Иванович [149], вдовец, управлявший дворцовою конторою и впоследствии председатель Опекунского совета [150], считался и еще более считал себя первым вельможею в Москве, после князя Сергия Михайловича Голицына [151]. Маленького роста, с резким тоном, с важными манерами, ненавидевший либералов, он носил прозвище желтого карла. Я то время был с ним мало знаком и являлся к нему в дом только на большие балы, которые он давал для жившей с ним незамужней дочери, вышедшей потом замуж за Всеволожского. С нею я очень подружился. Похожая лицом на отца, некрасивая собою, она была чрезвычайно приятна, ровного характера, всегда обходительная, разговорчивая, искренний друг своих друзей, которых у нее было много. Впоследствии, когда я в начале шестидесятых годов выступил в литературе с консервативными идеями, князь Николай Иванович тоже возлюбил меня и стал приглашать меня к себе на отличные обеды, которые он давал по воскресеньям для родных и друзей. Непременным гостем тут был Свиньин. Под важностью форм я в князе Николае Ивановиче узнал хотя недалекого, но доброго человека, с чувством своего достоинства, а потому независимого. Он был придворный, но без раболепства и резко осуждал в высокопоставленных лицах все, что, по его мнению, было не так, как следовало. Познакомившись с графом Толстым [152], он отозвался об нем: «Ce n'est pas un ministre,

c'est un roquet» *. Он принял живое и даже сердечное участие в нашей университетской истории и в последующем моем выходе из университета. После смерти он оставил дела свои в полном порядке, чего никто не ожидал.

Не так кончил зять его, Алексей Сергеевич Мусин-Пушкин, который женат был на старшей дочери Наталье Николаевне, умершей от чахотки в начале шестидесятых годов. С ними я тоже был очень близок. Она была милая и хорошая женщина; он же был человек живой, любивший наслаждаться жизнью в разнообразных формах. С одной стороны, он был тончайший гастроном и давал отличные обеды для небольшого кружка приятелей, к которым я принадлежал, а иногда большие балы и ужины, приводившие всех в восторг; с другой стороны, у него была страстная, можно сказать, даже наивная любовь к политической свободе. Она проявлялась в особенности в шестидесятых годах, когда московское дворянство, после освобождения крестьян, выказало конституционные стремления. Пушкин с Голохвастовым и Уваровым составляли либеральное трио. У него в доме собирались и сочиняли конституционные адресы. Он сам оратором никогда не выступал, но за кулисами кипятился больше всех. Это было время и самых оживленных гастрономических обедов. Но кончилось это весьма печально. Вследствие беспечности и неудачных хозяйственных предприятий, за которыми не было никакого надзора, все его довольно большое состояние рухнуло. Когда он умер, семейство его осталось почти ни с чем.

Другой князь Трубецкой, Петр Иванович, важный и толстый сенатор, бывший прежде орловским губернатором, под типом генерала николаевского времени скрывал большое добродушие. Он был женат на дочери фельдмаршала князя Витгенштейна [153], славившейся своим сильным характером. Она всю семью держала в руках; но в свет не ездила и у себя не принимала. Третий брат, Алексей Иванович, женатый на Четвертинской, имел свой дом в Леонтьевском переулке, и жена его держала салон. Это была женщина умная, бойкая, живая, с характером, с умственными интересами, всегдашняя посетительница университетских лекций, вместе с тем преданная благотворительности,

* «Это не министр, а шавка» *(фр.)*.

стоявшая во главе многих заведений, которые она вела с тактом и умением. Оставшись вдовою, она после смерти князя Николая Ивановича купила его большой дом в Знаменском переулке, желая, чтобы это старинное барское жилище сохранилось в роде Трубецких. Но цель, увы, не была достигнута. Сын, женатый на двоюродной своей племяннице, дочери Екатерины Николаевны Всеволожской, так умел расстроить состояние, что пришлось продать и имение и дом. Кости князя Николая Ивановича должны были содрогнуться в могиле, когда его старые барские хоромы перешли в купеческие руки. Княгиня Надежда Борисовна, лишенная всяких средств, получая пенсию от Человеколюбивого общества [154] за оказанные последнему услуги, ныне нанимает в этом доме скромную квартиру.

Из многочисленных сестер ее красотою отличалась княгиня Наталья Борисовна Шаховская, как все Четвертинские, бойкая, резкая, лихая наездница, хваставшаяся тем, что ей все нипочем, но при этом весьма неглупая и талантливая; она отлично играла на театре. Замужем она была за известным силачом и лгуном, предводителем Серпуховского уезда. На старости лет, овдовев, она основала общину сестер милосердия, в которой продолжает проявлять свою предприимчивость и свое умение обделывать дела без большой разборчивости в средствах.

Одной из первых красавиц в Москве была невестка этих дам, жена их брата, рожденная графиня Гурьева. Он был адъютантом генерал-губернатора, очень красивый собой, но совершенно пустой и ходок по женщинам. Она была прелестное существо. Высокая, стройная брюнетка, с тонкими чертами, с живым выражением лица, она полна была грации и изящества. Еще очень молодая, незатронутая жизнью, подвергаясь пренебрежению мужа, она хотела жить, веселиться, предавалась поэтическим мечтам, которые менялись по воле ее игривого воображения, у нее было какое-то непринужденное и пленительное кокетство, которое тем более к себе приковывало, что в нем не было никакой задней мысли или расчета. Это было естественное излияние бьющей ключом жизни, женского стремления нравиться и пленять. Она любила окружать себя поклонниками, которые становились ее друзьями и никогда не смели перейти границ самого строгого приличия. Иногда это делалось без разбора,

ибо она людей не знала и украшала их созданиями собственной своей фантазии. Но сердце было золотое, мягкое, доброе, участливое. Обыкновенно она принимала между обедом и вечером; я любил ходить к ней в эти часы и встречать всегда ласковый взор, всегда дружеский прием; любил слушать живые речи, не блестящие умом, но исполненные грации и какой-то капризной игривости, поэтического чувства, а нередко и сердечности. И ум, и сердце, и воображение — все непринужденно и пленительно выливалось наружу. Иногда собиралось два-три человека; но часто мы сидели вдвоем, и часы летели в оживленных беседах. Можно сказать, что это были самые идеально-поэтические минуты моей молодости. Не долго ей суждено было жить. В 1855 году она умерла в злейшей чахотке.

Другая моя большая приятельница из молодых дам была баронесса Шоппинг, рожденная Языкова. Это была женщина совершенно другого рода, нежели княгиня Четвертинская. Одно время она была светской львицею; но постоянное болезненное состояние заставило ее прекратить свои выезды. Она большей частью сидела дома и принимала небольшой кружок друзей. Наружность ее была прелестная: темные волосы, синие глаза, удивительно тонкие и правильные черты лица. Ум был бойкий, живой, несколько насмешливый; разговор блестящий, полный игривости и бойкой иронии. У нее было какое-то задирающее кокетство, которое то притягивало, то отталкивало, но никогда не оставляло равнодушным. Это была заманчивая игра ума, через которую только в редкие минуты прорывались сердечные звуки. Я скоро с нею сошелся и сделался приятелем дома. Меня пленяло это соединение очаровательной красоты, изящества форм, игривости ума и затаенных порывов сердца. Муж ее был человек добрый, обходительный, весьма некрасивый собой, кривой, небольшого ума, но образованный, с несколько славянофильским оттенком. Он был автор исследований по славянской мифологии. С летами болезненное состояние жены усилилось; она умерла, проведши последние годы жизни в постели.

Роль великосветской львицы в Москве в то время играла Надежда Львовна Нарышкина, рожденная Кнорринг. Лицо у нее было некрасивое, и даже формы не отличались изяществом; она была вертлява

и несколько претенциозна; но умна и жива, с блестящим светским разговором. По обычаю львиц, она принимала у себя дома, лежа на кушетке и выставляя изящно обутую ножку; на вечера всегда являлась последнею, в 12 часов ночи. Скоро, однако, ее поприще кончилось трагедией. За нею ухаживал Сухово-Кобылин [155], у которого в то же время на содержании была француженка, m-me Симон. Однажды труп этой женщины был найден за Петровскою заставою. В Москве рассказывали, что убийство было следствием сцены ревности. Кобылин, подозреваемый в преступлении, был посажен в острог, где пробыл довольно долго. Он успел даже написать там «Свадьбу Кречинского». Но кончилось дело тем, что его выпустили, а повинившихся людей сослали в Сибирь. Многие не верили в виновность осужденных, говорили, что они были подкуплены и что все дело было замято вследствие сильных ходатайств. При тогдашних судах добраться до истины было невозможно. Нарышкина же тотчас покинула Москву и уехала за границу. Овдовев, она вышла замуж за Александра Дюма-сына.

Все описанное доселе общество было чисто светское. Оно думало больше о весельях. Но были в Москве гостиные, в которых преобладали умственные интересы. Таков был дом Самариных. Я говорил уже, что я был дружен с четырьмя младшими братьями. Старший, Юрий Федорович, в это время не жил в Москве, и я видел его только мельком. Но, готовясь к экзамену на магистра, я почти каждый день по утрам ходил к Владимиру, который жил в его апартаментах и делал выписки из стоящего там Полного Собрания Законов. Иногда заходил туда старик Федор Васильевич. Видя молодого человека, постоянно роющегося в фолиантах, он мною заинтересовался и ввел меня в семью. С тех пор я сделался в ней близким человеком.

Федор Васильевич был человек умный и образованный, с сильным и даже несколько крутым характером. Он был богат и держал свои дела всегда в полном порядке, чего нельзя было сказать о многих барах того времени. Дом его на Тверской, на углу Газетного переулка, впоследствии перешедший, к сожалению, в другие руки, был отделан отлично. Пока дочь выезжала в свет, тут бывали большие приемы, на которые собирались и светские люди и литераторы.

После замужества дочери большие приемы прекратились, и старики жили тихо. Главное внимание Федора Васильевича было устремлено на воспитание детей, которым он руководил даже с излишнею заботливостью, ибо вмешивался во все мелочи и все хотел направить сам, не давая ни малейшего простора молодым силам и стремлениям. Это отразилось в особенности на старших; младшие пользовались уже большей свободой. Строгость отца смягчалась, впрочем, мягкостью матери. Софья Юрьевна была женщина отличная во всех отношениях, умная, добродетельная, благочестивая, хотя с несколько скептическим взглядом на жизнь и людей. Она держала себя всегда спокойно и сдержанно, говорила мало, иногда отпускала иронические замечания. После смерти мужа она осталась центром семьи и умерла в глубокой старости, окруженная любовью детей и уважением всей столицы.

Сблизившись с семьей Самариных, я скоро подружился и с дочерью Марьей Федоровной, которая была замужем за графом Львом Александровичем Соллогубом [156] и жила вместе с родителями. Это была одна из самых достойных женщин, каких я встречал в жизни. И ум, и сердце, и характер, все в ней было превосходно. Она имела самаринский тип, волосы рыжеватые, лицо умное и приятное. Образование она получила отличное и, когда хотела, умела вести блестящий светский разговор, приправленный свойственным семье юмором и иронией, однако без всякой едкости и язвительности. Но обыкновенный ее разговор был серьезный; ум был твердый, ясный и основательный. Она не возносилась в высшие сферы, но с большим здравым смыслом судила о людях и о вещах. К этому присоединялся самый высокий нравственный строй. Одаренная мягким и любящим сердцем, всецело преданная своим обязанностям, она никогда не думала о себе и всю жизнь свою жила для других. Никакое мелочное женское чувство не западало в эту чистую и благородную душу. Твердость и постоянство характера смягчались прирожденною ей ласковостью и обходительностью. В ней не было ничего жесткого, резкого или повелительного. Казалось, у ней было все, что нужно человеку для полного счастья: и ум, и сердце, и образование, и богатство. А между тем не много счастливых минут довелось ей испытать в жизни. В молодости первые порывы сердца были

резко остановлены; она ушла в себя и решилась подчиниться воле родителей. Устроена была, по-видимому, хорошая партия: она вышла замуж за графа Соллогуба, брата известного писателя. Но, еще будучи невестою, она заметила в нем что-то странное; однако, давши слово, ничего о том не сказала. Вскоре после брака обнаружились признаки таившейся в нем болезни; он мало-помалу впал в идиотизм. Несколько лет она прожила таким образом, нянчась с мужем; а после его смерти все ее заботы обратились на единственного сына, над которым она ежеминутно дрожала, боясь проявления в нем отцовской болезни. Благодаря неусыпным ее попечениям он вырос добрый, мягкий, как воск, с артистическими наклонностями. Скоро он женился по страсти. Помня свою молодость, Марья Федоровна не хотела препятствовать браку; но для нее он сделался источником нового горя. Умная и красивая, но сухая и своенравная невестка делала все, что от нее зависело, чтобы огорчать свекровь. Марья Федоровна недолго с ними осталась жить. Она поселилась в Серпухове, недалеко от которого лежало ее имение. Там она основала приют и школу и всецело предалась этому взлелеянному ею учреждению, которое шло отлично под непосредственным ее управлением. Нередко она приезжала к братьям в Москву и там скончалась, окруженная всеобщей любовью и уважением. Я до конца остался с нею в самых дружеских отношениях.

В тесной дружбе с Самариными состояла семья Васильчиковых. Старик Александр Васильевич [157] держал себя смирно; всем заправляла его жена, Александра Ивановна [158], рожденная Архарова, женщина бойкая и дородная, настоящая старая московская барыня хорошего тона. Ее звали Tante Vertu * и рассказывали анекдоты о чрезмерной заботливости, с которой она старалась отдалить от детей все, что носило на себе хотя отдаленную тень неблагонамеренности или неблагопристойности. Это был пуризм, доведенный до крайности. Не обладая умом, она имела свойственное людям того времени уважение к образованию и старалась внушить его детям. Она путешествовала с дочерью за границей, знакомилась с замечательными людьми, в Москве постоянно ездила на все

* Тетушка Добродетель *(фр.)*.

публичные лекции и старалась заманить литераторов в свой салон. Старшая дочь ее, славившаяся красотой, в то время была уже замужем за графом Барановым и не жила в Москве. Младшая же вскоре вышла замуж за князя Владимира Александровича Черкасского, игравшего впоследствии такую видную роль. Ниже, когда я буду говорить о литературном движении пятидесятых годов, я постараюсь охарактеризовать этого замечательного человека, который вписал свое имя в русской истории. Здесь, при описании московского большого света, это было бы неуместно; замечу только, что общество, которое выставило из среды себя таких людей, как Юрий Самарин и Черкасский, заслуживает уважения. Когда он женился, Черкасский имел репутацию человека очень умного, но холодного, и даже друзья его жены, которая страстно его любила, в первые годы думали, что она, не находя в нем отзыва, лишена семейного счастья. Но случилось ей заболеть, и он обнаружил такую сердечную о ней заботливость, такую горячую привязанность, что все сомнения исчезли. Не имея детей, они до самой его смерти жили душа в душу. В Москве их небольшая квартира была одна из самых приятных центров в столице. Больших приемов никогда не было; собирались в самом тесном кругу, за обедом или вечером; но разговор всегда был умный и оживленный. Мне памятен один обед с Грановским. Кроме него, из мужчин были Лев Иванович Арнольди, брат А. О. Смирновой, и я, а из дам Екатерина Петровна Ермолова, тогда еще в полном блеске своей несколько восточной, но тонкой красоты, и приятельница этих дам Александра Николаевна Бахметева, которая поныне еще старается в своем салоне поддерживать давно угасший в Москве светоч умственных интересов. При таких блестящих собеседниках, как Грановский и сам хозяин дома, с дамами, которые умели и слушать, и понимать, и поддерживать разговор, обед был один из самых приятных, каких я запомню. В то время я, впрочем, с княгинею Екатериной Алексеевной мало сходился; меня отталкивало ее довольно резкое славянофильское направление, и мне казалось даже, что за этим скрывается некоторая сухость. В последнем я совершенно разубедился, когда узнал ее ближе: с необыкновенной чистотой и скромностью у нее соединялась удивительная сердечность. Овдовев, она

сохранила самую благоговейную память о муже и самое горячее расположение ко всем его друзьям. До конца она сохранила и живое участие ко всем умственным интересам. Больная, едва двигаясь, она жила в Ялте с сестрою и племянницей, и всякая новость, политическая или литературная, пробуждала в ней умственную жизнь, потребность обмена мыслей. В особенности же она любила уноситься в прошлое. Мы проводили у нее целые вечера в чтении переписки князя и других писем, относящихся к периоду великих преобразований, в которых он играл такую выдающуюся роль. Там она и скончалась, окруженная любовью семьи и участием всех близких.

В описываемое время продолжал существовать и прежде столь блестящий литературный салон Свербеевых. Но с упадком умственных интересов он несколько преобразился. Литературные собрания сделались менее часты и менее оживленны. Взамен того они открыли свой дом большому свету, стали давать балы и вечера для взрослых дочерей. Дмитрий Николаевич Свербеев, при несколько тяжеловатых формах, которые приобрели ему название Голландца, был человек весьма недюжинного, тонкого ума, образованный, с живыми интересами, с положительным и несколько скептическим взглядом на вещи. Он не разделял славянофильских убеждений жены [159], которая в молодости, блистая красотой, соединяла вокруг себя славянофильский кружок. Но светским центром они не могли быть, и преобразование салона не послужило ему в пользу. В нем не было ни светского веселья, ни литературного одушевления. Я, впрочем, редко туда ездил.

Своеобразным литературным оттенком отличался салон Сушковых. Они много лет жили на наемной квартире у старого Пимена, и весь их быт представлял что-то старомодное и патриархальное. Сам Сушков [160] был литератор, но совершенно особенного рода, возбуждавший всеобщий смех. Одно из первых моих впечатлений в Москве было то, что вечером у Шевырева, к которому первый раз повез нас Павлов, кто-то читал помещенную в «Москвитянине» статью Сушкова, и все неистово хохотали. Впоследствии он стал ставить пьесы на театре, но и они до такой степени были нелепы и неуклюжи, что их ездили смотреть единственно для забавы. Сам он старался всех залу-

чить к себе и с какою-то простосердечной и болтливой развязанностью прижимал к стене новичков своими разговорами о серьезных предметах. Жена его[161], сестра поэта Тютчева, добрая и спокойная женщина, краснела иногда за мужа и старалась освободить его жертвы; однако сама она умела заменять его болтовню только крайне бесцветным разговором о самых обыкновенных предметах, высказывая с весьма приветливым тоном ничего не значащие замечания. Но салон оживился, когда они приняли к себе племянницу, младшую дочь Тютчева, Катерину Федоровну[162], девушку замечательного ума и образования, представлявшую резкий контраст с добродушной патриархальностью стариков. У нее была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женской грацией, которая служит притягательною силою для мужчин. А так как требования ее естественно были высоки, то ей трудно было найти себе пару. Она пережила стариков и умерла, не вышедши замуж.

Было много и других домов, в которые я ездил более или менее часто: Талызины, Дубовицкие, Оболенские, Голицыны, Мещерские и прочие. Но описание всего тогдашнего московского общества было бы утомительно и бесполезно. Сказанного достаточно для того, чтобы составить себе о нем довольно полное понятие. Все это кружилось, вертелось, ездило друг к дружке. Каждое утро и почти каждый вечер были приемные дни то у тех, то у других. Зимою, кроме балов и вечеров, бывали катания на тройках и пикники за заставою; 1 мая — непременный пикник в Сокольниках, куда ездили все самые нарядные московские дамы. На масленице веселье было в самом разгаре; были утренние балы в Дворянском собрании, где также собиралось все московское общество, а в последний день то здесь, то там танцевали с утра до 12 часов ночи. Великим же постом наступала пора карточных вечеров. Собирались иногда более пятидесяти человек; хозяйка хлопотливо устраивала для всех подходящие партии и, усадив гостей за зеленый стол, сама, наконец, с легким сердцем садилась за свою заранее подобранную партию. При этом я должен сказать, что за все шесть лет моего пребывания в московском большом свете я не видел никаких дурных сплетен и ссор. Москва думала только о том, чтобы

вести независимую и приятную жизнь, с сохранением самого строгого приличия и при хороших отношениях друг к другу. Тем свободнее можно было предаваться потоку. Я был непременным участником всех собраний, постоянным гостем и литературных салонов и светских. В первый год я вертелся более в кружке девиц, потом поступил в кавалеры молодых дам. Я разъезжал, танцевал, играл с дамами в карты, точил язык с утра до ночи и с ночи до утра. Одно время я жил с братом Андреем[163], который был студентом медицинского факультета, и случалось, что мы несколько дней сряду не виделись. Когда я вставал, он был уже давно в университете, а когда он приходил домой, меня уже и след простыл. Я возвращался только для того, чтобы переодеться или поспать перед вечером; когда же я приезжал с вечера, он давно уже был в постели. Мои родители были даже несколько смущены моими внезапно развернувшимися светскими наклонностями. Мать однажды при мне жаловалась Грановскому на мои увлечения. Он с улыбкой отвечал: «Не беспокойтесь; это скоро пройдет!» А отец писал мне из деревни: «А ты, любезный Борис, слишком поддаешься рассеянной жизни. Берегись, чтобы эта жизнь не сделалась непреодолимой потребностью. В ней дурно то, что молодой человек растрачивает напрасно две драгоценные вещи — время и энергию. Первого у тебя, конечно, довольно впереди, но энергию не только надо сохранять, но стараться приобрести, если ее не довольно. Общество людей мыслящих не только занимательно, но и полезно для молодого человека, как бы он ни был умен; общество хорошо образованных и умных женщин не только увлекательно, но и полезно также для молодого человека; оно освежает его способность и вообще дает ему некоторое изящество, которого ни в какой другой сфере приобрести нельзя. Поэтому я нисколько не нахожу вредным, чтобы ты умеренно и с разборчивостью выезжал в свет; но я не могу не предостеречь тебя, видя из твоего письма, что ты каждый вечер бываешь в обществе для того, чтобы эти вечера проводить за картами или в танцах. В этом особенно дурно то, что ты ложишься поздно и, следовательно, не бываешь по утрам довольно свеж для того, чтобы работать с таким успехом, к какому ты способен. В тебе это решительно непонятно».

Дело, однако, было довольно понятно. На первых порах это было не что иное, как увлечение молодости, разгул молодых сил, почувствовавших себя на просторе, потребность веселья, соединенная с тою страстностью, с которою я в юные лета отдавался всякой новой, открывающейся передо мною области впечатлений; затем неведомое мне дотоле обаяние женщин; а под конец, когда это все несколько износилось и застыло, осталась рутинная привычка, помогавшая мне наполнять пустоту времени и отвлекавшая от унылого заглядывания в себя. Время, которое мы тогда переживали, было очень трудное для мыслящих людей в России. Задавленные тяжелым гнетом сверху, умственные интересы заглохли. О литературной деятельности нечего было и думать. Ниже я расскажу печальные мытарства моей магистерской диссертации. Если добросовестный исторический труд, в котором не было и тени политического направления, встречал неодолимые препятствия, то мог ли я даже мечтать о том, чтобы как-нибудь высказать в печати те философские и политические мысли, которые меня занимали? Вступать на службу, не получив степени магистра, на приобретение которой я посвятил несколько лет, представлялось мне совершенно неуместным. Да и могла ли меня заманивать служба при господствовавших тогда политических условиях? Сделаться непосредственным орудием правительства, которое беспощадно угнетало всякую мысль и всякое просвещение и которое я вследствие этого ненавидел от всей души, раболепно ползти по служебной лестнице, угождая начальникам, никогда не высказывая своих убеждений, часто исполняя то, что казалось мне величайшим злом, такова была открывающаяся передо мною служебная перспектива. Я отвернулся от нее с негодованием, но исхода другого не видел. Если при выходе из университета весь мир представлялся мне заманчивым поприщем для деятельности и труда, то теперь мне казалось, напротив, что все для меня закрыто. Я впал в глубокую хандру и продолжал ездить в свет, который доставлял мне, по крайней мере, внешние развлечения и не давал мне так сильно чувствовать гнетущую меня сердечную и умственную пустоту. Конечно, он не мог уже меня удовлетворять. Первый пыл молодости прошел, постоянное праздное кружение мне надоело. Вечно точить язык без всякого живого инте-

реса, просто для препровождения времени, было ремесло, которое было мне вовсе не по вкусу. Иногда, отправляясь на вечер, я с отчаянием думал: Господи! да об чем же я буду говорить? — и удивлялся людям, которые находят удовольствие в бессодержательной болтовне. Но все-таки я ездил, ибо погружение в себя было еще хуже. Это продолжалось до тех пор, пока с новым царствованием открылось новое поприще. Тогда я отказался навсегда от светской жизни и весь предался литературной деятельности.

Я вышел из этой жизни уже не таким, каким я в нее вступил. Свежесть молодости исчезла; радужные надежды рассеялись. Я увидел жизнь, как она есть, в том волнующемся смешении самых разнообразных, то хороших, то дурных, редко возвышающих, чаще принижающих и большей частью житейски-пошлых впечатлений, которые дает не слишком высокообразованная и сдавленная неблагоприятными условиями среда. Я вступил в нее, как Икар[164], готовый лететь к солнцу, а выходил, к счастью, не потонувши в житейском море, но несколько помятый и с поломанными крыльями. Однако я не даром прошел через это поприще. Кроме привычки обращаться с людьми, я вынес из него драгоценное душевное сокровище: идеал женской грации, чистоты и изящества внешнего и внутреннего, идеал, который не дает молодому человеку погрязнуть в материальных наслаждениях или довольствоваться пошлостью полусвета. Счастлив, кому удалось обрести этот идеал в молодости и отдать ему всю свежесть еще не початых и не тронутых жизнью сил. Но счастлив и тот, кому довелось и в зрелых летах, прошедши через жизненные невзгоды, оставив на пути свои юные доспехи, свои блестящие надежды и свои пламенные стремления, обрести, наконец, то, что он так долго и напрасно искал, и в счастливой семейной среде найти то глубокое сердечное удовлетворение, которого не дают ни светские успехи, ни мимолетные привязанности, ни даже умственные занятия или общественная деятельность. Последнее выпало мне на долю, и за это я благодарю провидение.

Не я один искал внешнего отвлечения от внутренней тоски. Грановский в это время предался картам. Я продолжал видеться с ним часто, обыкновенно раз или два в неделю ездил к нему обедать и всегда чув-

ствовал себя освеженным после беседы с этим замечательным человеком. Но и на нем нельзя было не заметить удручения от водворившейся в России спертой и удушливой атмосферы. Прежний дружеский кружок большей частью рассеялся: Герцен уехал за границу, Белинский умер, Корш, Кавелин и Редкин переселились в Петербург; Боткин все более и более погружался в сластолюбивое наслаждение жизнью. Литература совершенно заглохла; споры с славянофилами прекратились. Осталась университетская кафедра, и Грановский по-прежнему с любовью обращался к молодым людям, в которых замечал искру священного огня. Однако и тут он не мог не видеть с глубокой горестью упадок учреждения, которому он посвятил все свои силы, странных профессоров, которыми старались заменить прежних, заведенные в нем порядки, приниженный дух, военное управление. Он пробовал собирать у себя молодых профессоров, но сам говорил, что делает это только по обязанности, ибо чувствует, что в этих собраниях царит непроходимая скука. Я был на одном из таких обедов и могу засвидетельствовать, что Грановский был совершенно прав в своем отзыве. Собралось человек двадцать, но я не слыхал ни умной речи, ни даже живого слова. Главную нить разговора держал библиотекарь Полуденский, старший брат моего университетского товарища, человек добрый, веселый, образованный, подчас остроумный, но весьма легкий и совершенно неспособный внести в разговор серьезную мысль или умственное оживление. Да и о чем было говорить, когда все было сдавлено? Между тем Грановский не был человек, способный в спокойной работе терпеливо выжидать лучших дней. Он и в зрелых летах сохранил душевную молодость, потребность увлечений. Помню, что у нас однажды был спор с его женою: я, как молодой человек, утверждал, что счастье заключается в увлечении, а Лизавета Богдановна, как зрелая женщина, говорила, что оно состоит в спокойствии. Грановский согласился со мною. Мудрено ли, что при таких условиях он сделался постоянным посетителем клубов и проводил свои вечера в том, что давал себя обыгрывать наверное?

Еще худшая участь постигла Павлову. Каролину Карловну на склоне лет точно укусила какая-то муха. Она неистово стала жаждать светских увеселений

и откровенно говорила, что ей осталось не много лет женской жизни, которыми надобно пользоваться. Но так как в большой свет она не ездила, а в литературном кружке никаких увеселений не было, да и литераторы вовсе не расположены были за ней ухаживать, то она пустилась на юношеские вечеринки и там плясала до упаду, развертывая перед неопытными юношами свои стареющие прелести. Встретив на одном из таких танцевальных вечеров старшего сына поэта Баратынского, она потребовала, чтобы его ей представили, и тут же объявила ему: «Вы так похожи на вашего отца, что я вам даю мазурку». Она и у себя устраивала вечера с разными представлениями, в которых она, разумеется, играла главную роль. Так, в одной шараде она явилась Клеопатрою и, сидя в какой-то ванне, своим завывающим голосом декламировала стихи. Для публики это было чистое посмешище, и бедный Николай Филиппович, краснея за жену, извинялся перед гостями, что их сзывают на такое зрелище. Но тут уже всякое влияние его исчезло; Каролина Карловна развернулась так, что не было никакого удержу. Чтобы несколько прикрыть свои светские выезды и проделки, она прикомандировала к себе племянницу, особу недурную собой, весьма неглупую и чрезвычайно бойкую, даже чересчур бойкую и предприимчивую, как я мог впоследствии убедиться. Под этим предлогом в дом являлись разные молодые люди. Одного из них, высокого, довольно красивого мужчину, который где-то служил в мелком чине, я не раз встречал у них за обедом, и Каролина Карловна нашептывала мне, что она приглашает его для племянницы, которую желает выдать за него замуж. Оказалось, однако, совсем другое. Когда впоследствии у Николая Филипповича сделали обыск, у него в столе нашли письма Каролины Карловны к этому молодому человеку, в которых она звала его с собой в Андалузию. Письма попались в руки мужа, и с тех пор молодой человек исчез.

Племянница, с своей стороны, причинила Каролине Карловне немало хлопот. Нельзя было сделать последней большую неприятность, как оказавши этой молодой девице больше внимания, нежели самой тетке. Этим и занимались друзья дома. Однажды, приехав к Павловым на именинный завтрак, я увидел Грановского в самом одушевленном разговоре с пле-

мянницей. Через несколько минут он ко мне подошел и шепнул на ухо: «Если вы хотите разбесить Каролину Карловну, ступайте полюбезничать с Евгенией Александровной. Я только что в этом упражнялся; теперь ваша очередь». Однако племянница не довольствовалась любезностями друзей; она принялась за мужа, и Николай Филиппович, всегда слабый, поддался соблазну. Это вышло наружу, и тогда произошла буря. Каролина Карловна пришла в неописанную ярость от неверности мужа. Забыв о собственных письмах, она рассказывала всем и каждому, что этот изверг Николай Филиппович со времени рождения сына ее покинул, а теперь развозит своих любовниц в ее каретах. Чаадаев заметил, что карета налицо была всего одна, но Каролина Карловна для большей важности употребляла множественное число. Этим она не ограничилась. Она послала старика отца, который делал все, что она хотела, с жалобою графу Закревскому, что муж своею игрою разоряет имение. Всякий порядочный правитель, без сомнения, отвечал бы, что если они опасаются разорения, то пусть уничтожат доверенность на управление имением. Но Закревскому вовсе не то было нужно. Он ухватился за случай доконать человека, который имел репутацию либерала. По поводу совершенно частной жалобы, не имевшей притом никакого смысла, он велел схватить Павлова и посадить его под арест в Управу Благочиния, где была так называемая яма, куда сажали несостоятельных должников. В течение месяца он содержался в одиночном заключении; даже ближайших друзей к нему не пускали. В доме у него сделали обыск, но ничего не нашли, кроме андалузских писем Каролины Карловны, слух о которых пошел ходить по городу вместе с жалобами на пренебрежение, которому она подвергалась. Тогда Соболевский, намекая на это обстоятельство, написал известную эпиграмму:

Ах, куда ни взглянешь,
Все любви могила,
Мужа мамзель Яниш
В яму посадила.
Плачет эта дама,
Молится о муже:
«Будь ему, о яма,
Хуже, уже, туже!
Лет, когда б возможно,
Только б до десятку,

Там же с подорожной
Пусть его хоть в Вятку,
Коль нельзя в Камчатку!»

Правительство не хотело, однако, признаться, что оно без малейшего повода подвергло одиночному заключению совершенно невинного человека. Придрались к тому, что у него в библиотеке нашли запрещенные к ввозу иностранные книги. У кого их тогда не было, и можно ли было без таких книг иметь сколько-нибудь сносную библиотеку? За это Павлова с жандармом отвезли в Пермь, где он пробыл десять месяцев. После этого ему оказана была милость: позволено было вернуться в Москву. Он возвратился надломленный и одинокий, сошелся опять с племянницей и прижил с нею новое семейство. Жена же уехала сначала в Петербург, бросив тело умершего тут же отца, который был похоронен на счет прихода. Вскоре потом скончалась и мать, убитая горем; сын вернулся к отцу, которого страстно любил, а Каролина Карловна выселилась за границу и поселилась в Дрездене, где она до сих пор проживает, тщательно скрывая сбереженные ею деньги. Только раз она, гораздо уже позднее, на короткое время приезжала в Москву и тем же завывающим голосом читала в Обществе любителей российской словесности свой перевод «Валленштейна» [165].

Так рушилась эта семья, которая приголубила нас во время первого нашего приезда в Москву. Впрочем, дружеские отношения с Павловым не прекратились; мне не раз придется еще говорить о нем в своих воспоминаниях. Конечно, оправдывать его не было возможности; его слабость и его податливость страстям были слишком хорошо известны. Все это извинялось ему во имя других, лучших сторон его недюжинной природы. Но способ, как с ним было поступлено, не мог не возмущать всякого порядочного человека. Наглый произвол тогдашней администрации выступал здесь во всей своей отвратительной наготе и сеял в молодых сердцах семена ненависти и злобы, которые в здравомыслящих людях едва могли изгладиться всеми преобразованиями нового царствования, а в массе породили ужасающие явления, памятные всем.

Несмотря на столь неблагоприятные окружающие условия и на светскую жизнь, которой я предавался,

я в это время держал экзамен на магистра и написал свою диссертацию. По моим философским и политическим занятиям, мне всего сроднее было государственное право, и я выбрал его своим главным предметом. В то время для магистерского экзамена, кроме государственного права, требовались еще полицейское и финансовое и затем, как второстепенные предметы, политическая экономия и статистика. Прежде всего, разумеется, надобно было повидаться с профессорами и узнать от них, что именно требуется и в каком размере, ибо программы не было, и все зависело от произвола экзаменующих.

Профессором государственного права был в то время Орнатский[166], который заместил Редкина. Я много слыхал про его странность и дикость; для студентов он был посмешищем; но то, что я увидел и услышал, превзошло мои ожидания. Это был какой-то дикий зверь, плешивый, с выпученными глазами, с глупым выражением лица, с странным произношением. Семинарист по воспитанию, грубый и неотесанный, он был к тому же полнейший невежда и отличался только неистовою ненавистью ко всему либеральному, за что и был призван в Московский университет для искоренения зловредных семян, посеянных его предшественником. При нашем свидании он объявил мне, что вся западная литература не что иное, как пагубный плод революционных идей, что заниматься ею молодому человеку не только излишне, но и опасно, и что он, с своей стороны, решительно ничего не может рекомендовать. Для магистерского же экзамена требуется только изучение его лекций и Свода Законов. Конечно, этим задача значительно облегчалась. Я достал лекции, но это была такая непроходимая и раболепная ерунда, что мне от нее претило, и я был поставлен в большое затруднение. Я спрашивал себя, как можно, не унижая себя, отвечать подобные нелепости? Я был уже не студент, повторяющий слова профессоров; мне казалось, что магистрант должен высказывать собственные суждения, а выдавать мысли Орнатского за свои собственные я считал совершенно неприличным и непозволительным. Поэтому я решил налечь на Свод Законов и дополнить этот материал исследованием исторического развития каждого учреждения. О старинных памятниках пока нечего было и думать; я отложил это до диссертации,

а для экзамена довольствовался подробными выписками из Полного Собрания Законов.

Профессор полицейского права Лешков был человек обходительный и принял меня очень любезно. Он также рекомендовал мне свои лекции, которые были мне уже известны, как студенту, и кроме того — учебник Моля. Что же касается до заменившего Чивилева профессора политической экономии Вернадского[167], то, поговорив со мною и услышав, что я высоко ставлю «Экономические гармонии» Бастиа[168], он сказал: «Это прекрасно; я совершенно вашего мнения, и так как это для вас предмет второстепенный, то я в своих вопросах ограничусь этой книгой». С Мюльгаузеном я был хорошо знаком, и он указал мне на учебник Якобса. Как видно, требования от магистра были весьма невысоки, и приготовиться было нетрудно. Я на это время прекратил всякие выезды в свет, заперся дома и осенью 1851 года подал прошение; в конце ноября начались экзамены. Первый вопрос, который мне задал Орнатский, был: «О преимуществах монархического неограниченного правления перед ограниченным». Я был поставлен в тупик, ибо у меня язык не повертывался отвечать нечто совершенно противоречащее моим убеждениям. Я сказал, что преимущества того или другого образа правления зависят от тех целей, которые преследует общество: народы, которые ставят себе главной задачей установление государственного порядка, предпочитают неограниченное правление; а те, которые имеют в виду преимущественно развитие свободы, придерживаются ограниченной монархии. Орнатский был недоволен таким ответом; но другие профессора не нашли в нем ничего возмутительного. Морошкин сказал: «Отчего же? Государственный порядок! Это первое дело». Два другие вопроса касались положительных учреждений, а так как я историческую и догматическую часть подготовил отлично, то экзамен сошел удовлетворительно. Решено было продолжать.

Остальные экзамены не представляли уже затруднений. Лешков остался доволен, а Мюльгаузен и Вернадский заранее сказали мне, какие они зададут вопросы. В январе все было кончено, и я мог приняться за диссертацию. Тема, которую я сперва представил в факультет, заключала в себе развитие областных учреждений в России от Петра до Екатерины. Я ду-

мал перед этим сделать общий очерк областного управления в XVII веке. Но когда я стал изучать грамоты, я увидел, что одна последняя тема может служить предметом обширной диссертации, а потому ограничился ею с разрешения факультета. В марте 1852 года я отправился в деревню, взяв с собою «Собрание Государственных грамот и договоров», «Акты Археографической экспедиции», «Акты исторические и юридические». Полтора года я добросовестно их изучал, делал выписки, писал и к концу 1853 года представил в факультет готовую диссертацию: «Областные учреждения России в XVII веке».

Казалось бы, что для магистерской диссертации нельзя было требовать ничего больше: тут было добросовестное изучение источников, без всякой политической мысли, чисто с исторической точки зрения. А между тем факультет ее не пропустил. Баршев, который был деканом, сказал мне, что древняя администрация России представлена в слишком непривлекательном виде, а теперь такое время, что цензура не пропускает даже ссылки на слова великого князя Владимира: «Руси есть веселие пити». Когда же я поехал объясняться с Орнатским, он с яростью объявил мне, что моя диссертация не что иное, как пасквиль и ругательство на древнюю Русь, и что он ее ни за что не пропустит.

Что было делать? Не мог же я извращать источники и видеть в древнерусской администрации вовсе не то, что в ней было, а что хотелось в ней видеть профессорам юридического факультета. Я обратился к Баршеву с вопросом: не пропустит ли факультет, по крайней мере, часть диссертации, чисто фактическую? Он меня обнадежил, и я представил в факультет несколько обработанную отдельную главу о губных старостах[169] и целовальниках[170]. Но через несколько времени Баршев опять объявил мне, что и в этом отрывке высказываются те же мысли и что факультет пропустить его не может. Таким образом, всякий исход для меня был заперт, и все мои труды, мой экзамен, моя ученая работа пропадали даром. Передо мною без малейшего повода запиралась дверь к ученому и литературному поприщу, и это делалось с таким пошлым равнодушием, с таким возмутительным пренебрежением к мысли, труду, знаниям и стремлениям молодого человека, что это одно уже

может служить признаком того низкого уровня, на который пал некогда столь славный Московский университет. Всякий нравственный элемент исчез на юридическом факультете. Кроме пошлости, невежества и мелочных личных целей и отношений ничего в нем не осталось.

По совету Грановского я решил попробовать счастья в Петербургском университете: не пропустят ли там моей диссертации? Он дал мне письмо к Никитенке[171], и я отправился в Петербург.

Я ехал туда уже не в первый раз. Кончивши экзамен на магистра, я ездил навестить брата Василия, который начинал тогда свою службу в министерстве иностранных дел. С тех пор я ежегодно повторял свои посещения, которые всегда были для меня очень приятны. Там были мои старые профессора, Редкин и Кавелин, и я познакомился с тамошним литературным кругом. Редкин, который был в то время директором канцелярии министра внутренних дел, вел весьма уединенную жизнь в своей довольно многочисленной семье. Но он любил видеть москвичей, потолковать о философии, поговорить о старых университетских временах.

Кавелин же, с своей горячей и общительной душой, сделался маленьким центром, около которого собирались всякого рода и молодые и даже старые люди. Я бывал у него почти каждый день, то обедал, то проводил вечер. Мы очень с ним сблизились, и разговорам не было конца. Эта огненная, впечатлительная и вечно волнующаяся натура не поддавалась никакому внешнему гнету; он продолжал принимать к сердцу всякие, и крупные и мелкие, вопросы, как практические, так и теоретические. Ему хорошо было известно все, что творилось в Петербурге. Коротко знакомый с либеральными чиновничьими сферами, он был близок и ко двору великой княгини Елены Павловны, которая очень его приласкала и ценила его талант и его благородство. Когда приезжал из Москвы свежий человек, как я, рассказам не было конца. Меня привлекали эти порывы благородного негодования, часто совершенно неверного, нередко и преувеличенного, ибо Кавелин, при страстности и односторонности своей природы и при недостаточной ширине ума, часто придавал неподобающее значение мелочам и судил о людях с точки зрения личных отношений

и минутного впечатления. Он и в зрелых летах с юношеским жаром сохранял какую-то даже наивную односторонность суждений. В это время я по какому-то случаю получил в Петербурге записку от Грановского, в которой он, говоря о некоторых суждениях Кавелина, восклицал: «О юноша! о вечный адъюнкт Морошкина! Хуже ничего не могу придумать!» Но именно этот юношеский пыл не давал ему погрязнуть в петербургской чиновничьей рутине и сохранял в нем живой интерес даже к чисто отвлеченным вопросам. Я в это время много занимался философией. Толкуя с ним по целым вечерам о русской истории и об отношении ее к западной, я делал философские сближения, излагал вырабатывавшиеся у меня взгляды на общее развитие человечества. Кавелина это очень заинтересовало. Я советовал ему заняться философией, которая дотоле была ему совершенно чуждою областью. Кроме опытных исследований, он ничего не знал и не признавал. Я предложил ему прочесть «Критику чистого разума» Канта. Он принялся за это с свойственным ему жаром; но при совершенном отсутствии способности к пониманию чистых отвлечений остался неудовлетворен и написал критику, в которой излагал свой собственный взгляд на человеческое познание. Он прислал мне эту рукопись для прочтения. «Помилуйте, Константин Дмитриевич,— отвечал я,— вы критикуете Канта с точки зрения Локка [172], которая была ему совершенно хорошо известна, а вы выдаете это за что-то новое, принадлежащее нашему времени». Он тотчас принялся за изучение Локка и еще более утвердился в своих взглядах. Нравственный его смысл не позволял ему, однако, вдаваться в те чисто утилитарные воззрения, которые составляют необходимое следствие голого опыта. Вместе с шотландскими философами, которых он, впрочем, совсем почти не знал, он старался в раскрываемых опытом внутренних стремлениях человека найти точку опоры для нравственных требований. Результатом этих трудов и размышлений было известное его сочинение об основаниях этики [173]. Цельного умственного здания он, конечно, не мог воздвигнуть. Способности к философскому мышлению, как сказано, у Кавелина вовсе не было; философское его образование было крайне скудное. Да и самая точка зрения не давала возможности утвердить на ней прочную нравственную

систему. Опыт действительно раскрывает нам нравственные стремления и требования человека; но он раскрывает вместе с тем и присутствие в человеческой душе тех метафизических начал, религиозных и философских, которые служат источником и опорою нравственных требований. Если же мы, отвергнув первые как предрассудок, будем держаться последних, то получится здание, висящее на воздухе. Это и вышло с теориею Кавелина, как и со всеми другими подобными попытками. Но если собственный его взгляд должен был остаться бесплодным, то он помог ему с успехом бороться против материалистических воззрений Сеченова [174], которые, в свою очередь, лишены были всякого научного основания. Не трудно было доказать Сеченову, что из его физиологических посылок вовсе не следуют выводимые им заключения и что вообще нравственности из физиологии никогда не получишь.

Через Кавелина я познакомился с двумя его приятелями, людьми, игравшими выдающуюся роль в следующее царствование и оставившими свое имя в истории, с братьями Милютиными [175]. Они были родом москвичи и воспитывались в Московском университетском пансионе. У отца их было хорошее состояние, но после его смерти оказалось столько долгов, что все имущество было продано с молотка, и они остались ни с чем. Родной их дядя по матери, граф Киселев, перевел их на службу в Петербург, где благодаря его протекции они успешно проходили служебную карьеру, один военную, другой гражданскую. Я скоро сошелся с обоими и всегда оставался с ними в приятельских отношениях.

Старший, Дмитрий Алексеевич, был в это время профессором Военной академии и только что издал известный свой труд: «Историю войны 1799 года», книгу замечательную и по основательности исследований, и по таланту изложения, и по господствующему в ней патриотическому духу, чуждому всякой заносчивости и мелкого хвастовства. Он очаровал меня с первого раза. Необыкновенная сдержанность и скромность, соединенные с мягкостью форм, тихая и спокойная речь, всегдашняя дружелюбная обходительность, при отсутствии малейших претензий, все в нем возбуждало сочувствие. Когда же я узнал его поближе, я не мог не почувствовать глубокого уважения к

благородству его души и к высокому нравственному строю его характера, который среди величайших почестей и соблазнов власти сохранился всегда чист и независим. Ум у него был твердый и ясный, хотя и не блестящий. По природе он был человек кабинетный. Выработанные добросовестным трудом теоретические убеждения не всегда смягчались живым практическим взглядом на вещи или широким образованием. Знаток своей специальности, работник неутомимый, он не имел ни времени, ни возможности освоиться с другими сторонами государственной жизни или глубоко изучить ее исторические основы. Поэтому либерализм его носил на себе несколько отвлеченный характер, а практические взгляды нередко втеснялись в кабинетные рамки. Но, не обладая, как значительное большинство русских людей, широкой теоретической подготовкой, он питал глубокое уважение к образованию. Всякое проявление мысли возбуждало в нем сочувствие и уважение, и, наоборот, он презирал людей, которых высокое положение прикрывало внутреннюю пустоту и невежество. Эти черты перетолковывались нередко в неблагоприятном для него смысле. Его старались выставить либералом и демократом. Даже фельдмаршал, князь Барятинский[176], у которого он был на Кавказе начальником штаба, рекомендуя его государю на должность военного министра, считал нужным предупредить, что у него есть два существенных недостатка: одностороннее пристрастие ко всему великороссийскому и ненависть ко всему аристократическому, особенно титулованному, вследствие чего фельдмаршал полагал, что ему со временем надо дать титул. Брат фельдмаршала, князь Виктор Иванович, читал мне это письмо. Я сказал, что, зная тридцать лет Дмитрия Алексеевича и состоя с ним всегда в приятельских отношениях, я никогда не замечал в нем ни малейшего пристрастия к великороссийскому племени, а скорее видел в нем некоторую теоретическую наклонность к космополитизму. Что касается до его мнимой ненависти к аристократии, то причина этого обвинения заключается в том, что у нас слишком часто с знатным именем соединяется совершеннейшая пустота, а Милютин на таких людей смотрит с презрением. Когда же он встречает аристократическое имя, соединенное с истинными достоинствами, то он таких людей умеет ценить, доказатель-

ством чего могут служить его отношения к самому фельдмаршалу, прежде, нежели произошла между ними размолвка.

Указывая на недостатки, которые он замечал в Милютине, князь Барятинский рядом с этим в сильных выражениях выставлял его редкие качества: его беспримерное трудолюбие, его знание дела, его высокое бескорыстие, необыкновенную скромность, его постоянство и энергию. Все эти свойства сделали его незаменимым военным министром. И точно, он один в России мог совершить то великое дело, которое тогда предстояло: преобразовать русскую армию из крепостной в свободную, приноровить ее к отношениям и потребностям обновленного общества при радикально изменившихся условиях жизни, не лишая ее, однако, тех высоких качеств, которые отличали ее при прежнем устройстве. И Милютин это сделал, работая неутомимо в течение многих лет, вникая во все подробности, постоянно преследуя одну высокую цель, которой он отдал всю свою душу. Старые служаки роптали и жаловались, что всякая дисциплина исчезла; предсказывали, что при первом столкновении русская армия окажется никуда не годной. Русские люди, не специалисты в военном деле, заботливо ожидали проверки. Первая проба была сделана в Азии. Когда разные отряды, совершив тысячи верст через бесплодные пустыни, сошлись вместе по заранее обдуманному плану и совершили указанные им подвиги, все спрашивали: что ж предсказания? На это военные отвечали, качая головой, что азиатская армия еще старая, что туда не успели проникнуть преобразования, и сохраняется еще прежняя дисциплина. Но турецкая кампания окончательно рассеяла все сомнения. Переход через Балканы [177] и последующие блистательные результаты показали, что русская армия осталась та же, чем была прежде, и нимало не утратила своих крепких качеств. Бесспорно, в управлении оказались недостатки, часть которых проистекала от природных свойств военного министра. Как кабинетный человек, он легко мог делать практические ошибки; он не всегда умел выбирать и людей. Но в итоге успех был полный. Обновленная Россия получила преобразованную армию, и имя Милютина останется в истории как истинного творца этого великого дела.

Немудрено, что государь, который близко видел его работу, который знал его высокое бескорыстие и его преданность отечеству, постоянно его поддерживал, несмотря на ожесточенные нападки и интриги многочисленных врагов, которые не могли простить ему его способностей и его независимости. И среди всех этих павших на него почестей он остался тем же тихим, скромным и обходительным Дмитрием Алексеевичем, каким я знал его в молодости. Почестями он всегда пренебрегал, даже когда они ему были нужны для карьеры, доставлявшей ему средства к жизни. Мне памятно, как в 1855 году, во время моего пребывания в Петербурге, в самый день Пасхи ко мне зашел Кавелин и выразил свою радость по поводу того, что Дмитрия Алексеевича взяли в свиту. Несколько часов спустя я зашел к Николаю Алексеевичу и в разговоре упомянул об этом обстоятельстве. «Не может быть,— отвечал он,— я только что получил записку от брата, и он ничего об этом не говорит. Впрочем, от него это станется». Оказалось, что известие было совершенно верно. Много лет спустя Милютина сделали графом. Он возвращался с государем из Крыма через Москву. Я встретил его на вечере у генерал-губернатора. «Что же, поздравить вас?» — спросил я. «Как вам не стыдно! — отвечал он.— Пускай другие поздравляют, а вы, старый приятель, знаете меня столько лет и считаете нужным поздравлять».

Таким же, как прежде, он остался и в своей частной жизни. Когда я бывал в Петербурге, я обыкновенно ходил к нему обедать по воскресеньям. В этот день он отдыхал от трудов и любил за обедом собирать немногочисленный круг друзей. Стол был всегда самый простой, вина кавказские. После обеда Дмитрий Алексеевич раскалывал сахар на мелкие кусочки, и вся его многочисленная семья, начиная с взрослой уже старшей дочери, подходила к нему по очереди, и каждому он клал в рот обмоченный в кофе «канарчик». Это был патриархальный обычай, установившийся с младенческого возраста детей и свято сохранявшийся в течение многих лет.

С новым царствованием кончилось его государственное поприще. Он понял, что время его прошло, и просил увольнения. Однако даже и при новых порядках он мог бы играть видную роль. Знающие лю-

ди утверждали, что его наверное сделали бы председателем Комитета министров. Но он предпочел удалиться совершенно. Петербург со всеми перекрещивающимися в нем интересами, всею низостью, завистью и злобою, которые господствуют в высших сферах, особенно же при совершенно несочувственном ему направлении, был ему противен. Он уехал в Крым и там поселился на собственной даче в Симеизе. Там он и живет вдали от всяких дрязг, ни одной минуты не жалея о прежней деятельности или почестях, наслаждаясь свободой, делая съемки, как в молодости бодрый и спокойный, как мудрец, постигший всю жизненную суету и находящий высшую прелесть в том, чтобы жить от нее в отдалении. Когда же ему случается по делам приехать в Петербург, он бежит оттуда как можно скорее, не желая оставаться даже лишнего дня в этом средоточии всего, что волнует и возмущает душу истинного патриота. Живя в Крыму, я по-прежнему видаюсь с ним, как старый приятель. Иногда мы вместе совершаем прогулки по крымским горам и долинам, любуясь морем, скалами, великолепными видами. Он водит меня по своему небольшому поместью, где жена его с успехом занимается виноделием. Однажды, когда после прогулки в очаровательный майский вечер мы сидели вдвоем на скамейке и глядели на прелестную, расстилающуюся у наших ног долину Лимены, он воскликнул: «И подумать, что есть люди, которые всему этому предпочитают Петербург!» Закат достойной жизни, всецело посвященной исполнению обязанностей и пользе отечества! Россия этого имени не забудет.

Второй брат, Николай Алексеевич, был в то время, как я с ним познакомился, директором Хозяйственного департамента в Министерстве внутренних дел. Это был человек, совершенно из ряду вон выходящий. Ум его был более сильный и живой, нежели у его брата. У него был практический взгляд на вещи, способность быстро схватывать всякое дело, даже мало ему знакомое, и с тем вместе знание людей, уменье с ними обходиться, ладить с высшими, а низших поставить каждого на надлежащем месте. Либерал по убеждениям, он по натуре не был сдержан, как Дмитрий Алексеевич. В дружеском кругу пылкая его натура изливалась непринужденно в живом и блестящем разговоре, приправленном юмором, а иногда

и едким сарказмом. Но в обществе он никогда не проронял лишнего слова. При тогдашних условиях это было тем необходимее, что он был чрезвычайно общительного характера. Он не уединялся, как брат, а, напротив, ездил всюду, вращался во всех сферах и везде ловко умел себя поставить. Многим его блестящая личность колола глаза; его обзывали либералом, демократом и чиновником; но, несмотря на свою видимую пылкость, он не давал против себя оружия и умел завоевать себе положение, тонко понимая людей, соединяя откровенность с осторожностью и зная, что кому следует сказать, чтобы направить его к желанной цели. И это он делал, никогда не кривя душой. Характер у него был прямой, возвышенный и благородный. Страстно отдаваясь всякому полезному делу, он презирал все мелочное. Поэтому, несмотря на то, что вся его жизнь протекла в петербургской чиновничьей среде, несмотря на то, что его бранили бюрократом, он никогда не мог сделаться таковым. Широкая его душа не терпела ни рутины, ни формализма. Когда я впервые с ним сошелся, он вращался преимущественно в избранном литературном кругу, а когда пришла пора действовать, он прежде всего почувствовал необходимость не ограничиваться чиновничьими сферами, а призвать к делу свежие общественные силы. Ни в чем, может быть, возвышенность и благородство его природы не выражалось так сильно, как в том горячем сочувствии, с которым он встречал всякое проявление таланта и способностей, какого бы то ни было направления. Он постоянно старался отыскивать и привязать к себе все лучшее, что он встречал в обществе, никогда не опасаясь соперничества, а стремясь привлечь всякую крупную силу к совместной работе. Он не довольствовался орудиями, а хотел сотрудников. Таких он нашел в Самарине и Черкасском, которых он призвал к общественному делу и которые стали ближайшими его друзьями, несмотря на то, что теоретически во многом с ним расходились. Но он был выше обоих, хотя и уступал им по образованию. У него не было умственной односторонности Самарина, а было то, чего недоставало последнему: практический смысл и знание людей. У него не было и одностороннего увлечения практическим делом, как у Черкасского. С своим ясным, твердым и трезвым умом он охватывал всякий вопрос со всех

сторон: неуклонно стремясь к предположенной цели, он никогда ею не увлекался, а знал ее границы и ее слабые стороны. Одним словом, это был государственный человек в истинном смысле слова, такой, какой был нужен России на том новом пути, который ей предстояло совершить.

Когда я узнал Николая Алексеевича, он был известен как автор проекта преобразования петербургской думы, который введен был в действие в 1846 году. Это было начало всех последующих реформ городского управления. Прежние обветшавшие, потерявшие всякое значение учреждения, которые подчиняли город неограниченному произволу местных властей, заменялись новыми, правильно организованными и основанными на истинных началах самоуправления, практически приноровленных к тогдашним условиям и потребностям. Но правительство, решившись на такой опыт, само его испугалось. Первым кандидатом на должность петербургского городского головы выбран был Лев Кириллович Нарышкин, которого государь не любил и считал либералом. Утвержден был второй кандидат, безопасный купец Жуков. Дума продолжала существовать, втихомолку водворяя у себя парламентские формы, но стараясь держать себя как можно осторожнее, чтобы не навлечь на себя грозы. После 48-го года о новых преобразованиях нечего было и думать. Надобно было дожидаться более благоприятной поры.

Она настала с новым царствованием, и тогда для Милютина открылось поприще, на котором он мог проявить все свои силы. Освобождение крестьян было решено в принципе; но как и на каких основаниях провести эту меру, никто не знал. В высших петербургских сферах не было ни одного человека, который имел бы об этом малейшее понятие, а те, которые пользовались наибольшим влиянием, внутренне были злейшими врагами этого преобразования и готовы были затормозить его всеми средствами или свести его на ничто. В эту минуту второстепенный чиновник министерства внутренних дел явился представителем истинно государственных начал и дал вопросу то благотворное направление, которое он окончательно получил. Он был вдохновителем и Ростовцева, и Ланского[178], и графа Киселева, которые в свою очередь действовали на государя. Когда фельдмаршал, князь

Барятинский, приехал в Петербург, начиненный всеми преувеличенными дворянскими жалобами, раздававшимися в то время со всех сторон, государь отослал его к Милютину, который убедил его в необходимости преобразования. Милютин настоял на том, чтобы для выработки «Крестьянского положения» созваны были люди из общества, практически знакомые с делом. Если в Редакционной комиссии Черкасский был главным работником, то Милютин остался главным руководителем работ. Зато накипевшие против него ненависть и злоба разразились, как неудержимый поток. И дворянские депутаты, и высшая аристократия, и петербургские сановники — все на него обрушилось. Его выставляли демагогом, достойным виселицы. Всего менее могли ему простить его способности, его прямоту, его бескорыстие и его независимость. Эти качества не могли быть терпимы в среде, насквозь проникнутой низкопоклонством и раболепством, в среде, где «красным» считался всякий, кто в душе не был холопом. Это был опасный соперник для всех чиновных ничтожеств, алчущих власти, и для устранения его были пущены в ход все средства и интриги, и клеветы. Против этого ополчения Милютин выступил во всеоружии, проявляя все свои боевые таланты, которые были крупные, отклоняя всякий удар, противодействуя интригам, сам предпринимая наступательные действия. И за ним была дружная фаланга, на стороне которой были и ум, и образование, и талант, и знание дела, и, наконец, очевидная польза отечества. Сражение было выиграно, но полководец был отдан на жертву врагам. Его вместе с сотрудниками спустили. Он сделан был сенатором и получил заграничный отпуск, а приведение в исполнение выработанного ими Положения вверено было пустейшему фразеру [179], который своим управлением успел только доказать, что даже руководимое ничтожеством дело способно было держаться: так прочно оно было поставлено. Милютин столь мало огорчен был этим оборотом, что вслед за тем я видел его в Париже веселым, бодрым и совершенно довольным тем отдыхом, который был ему предоставлен. Так мало сохранилось у него и злобы от этой борьбы, что спустя несколько лет он отзывался об одном из деятелей того времени: «Он до сих пор смотрит на дворянство, как будто мы все еще ведем с ним борьбу в редакционных комиссиях,

и не понимает, что все это давно прошедшее и обстоятельства совершенно изменились».

Недолго, однако, он оставался в отпуску. Над Россией разразился новый удар, и опять потребовались люди. Вспыхнуло польское восстание[180]. Шайки были кое-как подавлены; но надобно было умиротворить страну. Для этого призван был Милютин, который тотчас увидел, что низшие классы составляют единственную опору, которую Россия может иметь в Польше. Он предложил широкую меру наделения крестьян землей, меру, которую иначе нельзя назвать, как революционной, но которую он сам оправдывал только революционным положением страны. Он, впрочем, нисколько не обманывал себя насчет успеха своего предприятия. «Я нимало не воображаю,— говорил он,— что этим Польша привяжется к России. Таких мечтаний я не питаю. Но на двадцать пять лет хватит, а это все, что может предположить себе государственный человек». Снова он с прежними сотрудниками принялся за дело с тою ясностью мысли и с тою неутомимою энергией, которые его характеризовали, и опять пришлось выдерживать упорную и ожесточенную борьбу не с поляками, которые не в силах были противодействовать неотразимому факту, а с русскими сановниками, которые всячески старались идти ему наперекор: в Варшаве — с наместником, графом Бергом[181], в Петербурге — с Шуваловым[182] и его партией. Государь, поддерживая Милютина и одобряя все его планы, в то же время поддерживал и его врагов, давая лучшим силам России истощаться в бесплодной мелкой борьбе в интригах. В этой борьбе Милютин физически изнемог. В 1866 году его поразил апоплексический удар, к величайшей скорби не только близких ему людей, но и всех истинных друзей отечества. Дело его не пропало, но перешло в посторонние руки. Главный его сотрудник в Польше, князь Черкасский, вышел в отставку. Сначала государь хотел передать управление Польшей графу Шувалову; Дмитрий Алексеевич, в то время военный министр, уговорил его этого не делать, и на место Милютина назначен был совершенно ничтожный Набоков[183], не имевший ни мысли, ни воли. Самодержавное правительство как будто хотело доказать, что ему нужны не люди, а орудия, а что людей оно призывает в трудные минуты и затем, выжав из них сок, выбрасывает за

окно. Милютин не оправился от удара. Побыв два года за границею, он переселился в Москву, где и умер, окруженный любовью и заботами семьи и друзей. Тяжело было видеть этот некогда столь могучий ум, эту живую энергическую натуру, подкошенную неисцелимым недугом. Он ходил с трудом, говорил с запинкой и не всегда внятно; все понимал, но мысли двигались медленно и выражались не ясно. Таким он был в 71-м году на моей свадьбе, а в начале 72-го скончался, оставив по себе память одного из замечательнейших людей, каких произвело это могучее поколение.

С Милютиными неразлучен был приятель их Иван Павлович Арапетов[184]. Он был товарищем обоих братьев в Московском университетском пансионе, затем поступил в университет, где вместе с Герценом сидел в карцере за известную маловскую историю[185]. Это был армянин, высокого роста, толстый, черный, в очках, с совершенно восточною физиономиею, с довольно резкими манерами, хотя с претензиями на петербургское джентльменство, человек весьма неглупый, образованный и живой, но в сущности без всякого внутреннего содержания, старый холостяк, сластолюбивый и эгоист. Он подвигался в Петербурге по служебной лестнице и достиг высокого чина; но когда его назначили членом Редакционной Комиссии, он оказался совершенно неспособным к делу. Сам Николай Алексеевич Милютин говорил, что он не ожидал от Ивана Павловича такой несостоятельности. Единственная привлекательная черта в нем была сердечная привязанность к братьям Милютиным. У Дмитрия Алексеевича он был непременным гостем и на воскресных обедах, и на вечерних собраниях. С Николаем Алексеевичем он состоял в самых коротких отношениях и нередко судил государственные дела с точки зрения служебного положения его приятеля. После смерти у него осталось довольно крупное состояние , которое он завещал дочерям обоих своих друзей, каждой по 40 тысяч, прося их в трогательных выражениях принять это наследство в память того, что дружба их отцов была для него лучшим благом жизни.

Я познакомился в Петербурге с тамошними литераторами. Грановский дал мне письмо к Тургеневу. Он жил тогда на хорошенькой квартире у Аничкова

моста, обыкновенно обедал дома и любил собирать у себя маленький кружок приятелей. Я часто у него бывал, когда наезжал в Петербург, и находил всегда большое удовольствие в этих беседах. Тургенев был тогда на вершине своей славы. Живя на родине, окруженный друзьями и почитателями его таланта, он играл первенствующую роль между литераторами и был предметом всеобщего внимания. Все, что в нем было суетного и тщеславного, могло быть вполне удовлетворено; он успокоился и благодушно наслаждался приобретенной репутацией. Разговор его был чрезвычайно привлекателен. Он был умен, образован, одарен большой наблюдательностью, тонким пониманием художества, поэтическим чувством природы. Всегда оживленная, мягкая речь его была и разнообразна и занимательна. В женском обществе к этому присоединялись не совсем приятные черты: он позировал, хотел играть роль, чересчур увлекался фантазией, выкидывал разные штуки. Но в мужской приятельской компании, где ему нечего было заискивать, все это сглаживалось, и у него проявлялась добродушная обходительность, которая к нему привлекала [186].

Конечно, на это добродушие нельзя было полагаться. Доде [187] пришлось испытать это весьма неприятным для себя образом, когда после смерти Тургенева, из напечатанных его писем оказалось, что этот, повидимому, столь добрый человек, ласково принятый в семье, игравший в ней роль приятеля, отзывался о нем как о каком-то негодяе. Доде не мог постигнуть глубины этого лицемерия. Но в сущности это было совсем другое. В мягкой и дряблой душе Тургенева не было места ни для лицемерия, ни для злобы, ни для коварства. Это было поверхностное и даже легкомысленное отношение к людям, податливость всякому минутному впечатлению, а иногда просто игра воображения. Художник по природе и по ремеслу, он главным образом занят был тем, чтобы наблюдать и изображать, и делал это иногда с нарушением всяких нравственных приличий, ибо нравственной сдержки не было никакой. Он в «Муму» описал свою собственную мать в самом отвратительном виде, хотя, говорят, весьма верно. Точно так же и в «Первой любви» он изобразил своего отца с нравственно весьма непривлекательной стороны. Если уже ближайшие к нему люди не ускользали от ударов его кисти, то

тем более это могло случаться с его приятелями и знакомыми. Каждая дама, за которой он ухаживал, могла быть уверена, что она появится героиней какой-нибудь его повести. Многим, конечно, это должно было нравиться. Нередко та же участь постигала и мужчин. Однажды я приезжаю к Грановскому и застаю его смеющимся над книгой. «Ах, этот Тургенев! — воскликнул он,— никак не может удержаться, чтобы не изобразить какого-нибудь приятеля. Он написал очень милую повесть «Затишье», а в конце, в виде какого-то господина Помпонского, так очертил Арапетова, что нельзя не узнать». Случалось даже, что он про ближайших друзей придумывал самые невероятные анекдоты. В Париже, где мы довольно часто виделись, он как-то рассказывал нам с Ханыковым [188], что Боткин едет из Италии, расстроив свое здоровье совершенно беспутною жизнью, и при этом рассказал нам черту самого утонченного разврата. Вскоре Боткин приехал и, когда он стал жаловаться на нездоровье, я заметил ему, что он сам виноват, зачем ведет такую жизнь. «Какую жизнь? — отвечал он,— самую скромную, какую можно придумать». Я сделал намек на черту, рассказанную Тургеневым. «Что вы. что вы! — воскликнул Боткин,— откуда вы это взяли?» Мы переглянулись с Ханыковым и поняли, что это был плод игривого воображения Ивана Сергеевича, который, не имея возможности поместить в повести изобретенный им сальный анекдотец, взвалил его на приятеля. Ввиду таланта ему охотно прощали эти маленькие грешки, тем более что злого умысла тут никогда не было.

При таких легкомысленных отношениях к людям он, конечно, не мог быть глубоким знатоком человеческой души. Поэтому он большей частью ограничивался эскизами, которые ему всего более удавались. Еще в женскую душу он заглядывал глубже. Постоянно приволакиваясь за женщинами, стараясь их обворожить, он внимательно следил за изменяющейся игрою их внутренних чувств и создавал иногда поэтические образы. Но мужские типы редко ему удавались. Исключение составляет разве только Базаров, которого крупные черты резко бросались в глаза, да и он схвачен более с внешней стороны. Обыкновенные же его герои распадаются на два разряда, которые он сам характеризовал в одной статье, раз-

деляя весь человеческий род на Дон-Кихотов и Гамлетов[189]. Попросту — его герои или хлыщи, или тряпки, и в них он изображал самого себя. Знавшие его в молодости рассказывают, что он в ту пору был настоящим хлыщом; но я таковым его уже не застал. Удовлетворенное тщеславие и приобретенная большая репутация сгладили эту некрасивую черту, которая сохранялась только в отношениях к женщинам. «Ne piaffez pas!» * — говорила ему Виардо[190], когда он развертывался в дамском обществе. Но тряпкою он был и остался всю жизнь. В нем не было ни одной мужественной черты, ничего сильного, смелого и решительного. В самой его внешности было что-то дряблое, составлявшее резкий контраст с его высоким ростом и довольно красивыми чертами. Сам он постоянно готов был унижаться и выставлять себя трусом, лгуном и подлецом. И это он делал даже с некоторым удовольствием, ибо через это слагалась всякая нравственная ответственность за свои поступки.

Конечно, с таким характером не могло быть речи о каком-либо серьезном внутреннем содержании, которое всегда требует известной душевной силы. Подпав под влияние могучей и страстной натуры Белинского, Тургенев в значительной степени усвоил себе убеждения, сложившиеся у этого замечательного критика в последний период его деятельности. Но те крайности, которые у Белинского были плодом страстного увлечения, вовсе не приходились к дряблой натуре Тургенева. Глубокие убеждения заменялись у него каким-то привычным и рутинным образом мыслей, лишенным всякой внутренней состоятельности и неспособным служить человеку руководством на жизненном пути. У Белинского эти крайности смягчались глубоким художественным чувством, и это отчасти перешло и на Тургенева, хотя тоже в ослабленном виде. Он чувствовал поэтические красоты первоклассных и даже второстепенных поэтов; он иногда тонко понимал недостатки произведений, но нередко, под влиянием случайного впечатления, вдруг приходил в восторг от таких вещей, которые не заслуживали ни малейшего внимания. Ниже я приведу тому любопытные примеры.

* «Не фанфаронствуйте!» (*фр.*)

Самая его наблюдательность нередко носила чисто внешний характер. Иногда у него, даже в карикатурной форме, проявлялась черта, свойственная многим писателям, которые старательно подбирают всякие внешние мелочи и совершенно случайным признакам придают преувеличенное значение. Однажды я в разговоре с ним ходил по комнате и остановился, опираясь на обе ноги. Он посмотрел на меня пристально и спросил: «Скажите, пожалуйста, вы не иностранного происхождения?» Я отвечал отрицательно. «По крайней мере, нет ли у вас иностранных предков?» — «В генеалогии нашего рода значится, что родоначальник нашей фамилии прибыл из Италии в свите Софьи Фоминичны Палеолог [191], но это было при Иване III».— «Вот, вот! я так и знал,— воскликнул он.— Русский человек никогда не становится на обе ноги, а всегда на одну». И он вскочил с дивана, чтобы показать, как становится русский человек. Меня это рассмешило. В тот же вечер мы с ним встретились у Евгения Федоровича Корша, который в то время жил в Петербурге и у которого часто собирались Тургенев, Анненков и Милютины. Тургенев стал перед камином, расставив врозь свои длинные ноги. «Иван Сергеевич, вы тоже иностранного происхождения?» — спросил я. «Нет, перед камином ничего»,— отвечал он. Эта черта, кажется, однако, не попала ни в одну из его повестей. Но случалось иногда, что он придумает какую-нибудь пошленькую шуточку и непременно вклеит ее в повесть. В Париже он однажды объявил нам с Ханыковым, что нашего общего приятеля, князя Николая Ивановича Трубецкого, человека недалекого, но доброго и обходительного, у которого мы иногда собирались за обедом или на музыкальных утрах, следует именовать Бурдалу, потому что он рьяный католик и в голове у него бурда. Нам эта шутка не показалась смешною, и мы пропустили ее без внимания. Но в одной из следующих повестей Ивана Сергеевича явился господин с прозванием Бурдалу, которым ровно ничего не изображалось.

Несмотря, однако, на все эти существенные недостатки, Тургенев был и остается если не первоклассным, то одним из самых видных русских писателей. После смерти Гоголя он занимал едва ли не первое место в русской литературе. У него не было той ярко-

сти и силы, как у Толстого и Достоевского, но зато у него было несравненно более тонкости, вкуса и изящества. Это единственный из новейших русских писателей, который был вполне образованным человеком. У него одного в произведениях есть художественная цельность, и рядом с живыми картинами не изображаются возмущающие душу сцены и не прорывается совершеннейшая галиматья. Но для того, чтобы все его высокие художественные качества могли поддерживаться и проявляться, ему необходимо было постоянное взаимодействие с жизнью. Воображения у него в сущности было мало. Всякий свой рассказ он черпал из действительно случившегося факта. Это было дерево, которое требовало постоянного питания и не могло жить вне свойственной ему среды. Поэтому, как скоро он переселился за границу, так талант его начал падать. Оторванный от почвы, он носился по воле ветра и волн, будучи не в состоянии отличать истины от лжи, серьезных явлений жизни от витающей по поверхности ее пены. Самое его выселение было следствием той же дряблости характера, которая его отличала. Конечно, человеку, не имеющему своей собственной семьи, естественно на старости лет приютиться к дружескому семейству, которое его холит и голубит. Но, по-видимому, Тургенев играл в этой дружеской семье весьма подчиненную и покорную роль. Его просто забрали в руки. Ханыков, который близко видел их отношение в Бадене, рассказывал мне, как Тургенев среди дружеского разговора с приехавшим навестить его приятелем вдруг, по первому мановению, стремглав бежал на отдаленную почту, чтобы отнести чужое письмо; как он в своей карете возил семью в театр и ночью, в проливной дождь взлезал на козлы и отвозил ее домой; как он на частном спектакле должен был разыгрывать совершенно несвойственные ему комические роли, кувыркался, выкидывал фарсы и потешал публику. Друзья говорили, что жалко было его видеть. Он сам понимал свое положение, но не в силах был от него отделаться. В один из последних приездов его в Москву я в разговоре с ним сказал по какому-то случаю: «Это — фальшивое положение; стало быть, надо из него выйти».— «Фальшивое положение! — воскликнул с живостью Тургенев.— Да в жизни ничего нет прочнее фальшивого положения. Раз вы в него попа-

ли, вы ни за что на свете из него не выберетесь». Я рассмеялся.

К отчуждению от отечества присоединилась внезапно постигшая его потеря популярности среди тогдашней волнующейся молодежи. Тип Базарова показался недостаточно привлекательным руководителям политического движения в русской литературе. На автора «Отцов и детей» учинен был поход; его смешивали с грязью. Бедный Тургенев совсем растерялся; он любил популярность, особенно между передовыми людьми, и привык к ней, а тут совершенно неожиданно на него обрушилась такая беда. Он стал извиняться, печатал статьи, в которых заявлял, что он сам разделяет почти все мнения Базарова, сошелся с Париже с нигилистической шайкой, устраивал в пользу их концерты и чтения, хлопотал за них, когда они попадались в какие-нибудь политические проделки, в новых повестях старался выставить их героями, наконец, в напечатанном «Стихотворении в прозе» именовал святою девушку, отбросившую всякий стыд и готовую на все преступления. До такого позорного раболепства перед отребьем русского общества унизился по слабодушию этот человек, занимавший первое место в русской литературе! Столь мастерски им самим очерченные Елизаветы Кукшины и Матрены Суханчиковы превращались в святые и становились провозвестницами будущего! Как неизмеримо высоко стоял перед ним в этом отношении Герцен, который сам был революционером и во многом разделял убеждения нигилистов, но у которого живо было нравственное чувство. Видая их близко, он возмущался ими до глубины души и в частных письмах хлестал их так, как умел хлестать. В его глазах это была гниль на корню, непристойная болезнь революционного дома терпимости, нечистоплотные животные, расплодившиеся в грязной среде «Современника». А Тургенев этих нечистоплотных животных окружал ореолом героизма и святости!

Зато после большого искуса он был, наконец, прощен. Последний приезд его в Москву, в конце семидесятых годов, был настоящим триумфом. Когда он появился в Обществе любителей словесности, прием был восторженный; рукоплескания не умолкали; студент Викторов, вожак социалистов между студентами, с хор говорил ему речь; молодые профессора да-

вали ему обеды; в честь его дан был и публичный обед по подписке; актеры устраивали ему праздники; красивые дамы врывались к нему, больному, в комнату; от посетителей не было отбою. Он сам с большим юмором рассказывал, как он усталый вернулся из заседания Общества, а тут уже давно ожидала его дама, актриса московского театра, которая с отчаянием ходила взад и вперед, восклицая: «Когда же он, наконец, приедет?» И как скоро он появился, жаждущий отдыха, его вдруг схватили, окутали в шубу, посадили в сани, повезли с Пречистенского бульвара на Мещанскую, и на всем протяжении этого длинного пути учинившая над ним насилие дама окутывала его и обмахивала его платком. Когда же он приехал, то все гости встретили его у порога, ввели в зал, где красовался огромный пирог, украшенный лентами, на которых были написаны заглавия всех его повестей. Ему говорили речи, пили за его здоровье и насилу, наконец, отпустили его домой, совершенно изнеможенного.

Юмор приберегался, впрочем, для одних актеров. Другие никак не менее комические заявления он принимал за нечто серьезное. Без сомнения, высоким комизмом отличалось предприятие красивой купчихи Пустоваловой и юркого беллетриста Боборыкина [192], которые затевали политический журнал с целью приготовить Россию к конституционным учреждениям, и всего удивительнее было то, что под крылышко этой странной пары приютились молодые профессора Московского университета: Ковалевский [193], Муромцев [194], Бугаев [195], у которых было столько же политического смысла, сколько у их патронов. Тургенева повезли на приготовительное заседание этого никогда не родившегося в свет журнала, и он вернулся оттуда в полном восторге. «Как они говорят! — восклицал он.— Я им сказал: ну, господа, вы далеко ушли вперед; в наше время так не говорили». В особенности его пленил Бугаев, которого он возвел даже в предводители левого центра в будущем русском парламенте. Меня это удивило, ибо я знал, что Бугаев хороший математик, а в остальном совершенный кривотолк. Скоро дело выяснилось. Через несколько дней после этого знаменитого заседания Тургеневу дан был публичный обед. Главным оратором выступил Юрьев [196], который произведен был в люди сороковых

годов и миросозерцание которого после его смерти разбиралось в Психологическом обществе, хотя в сороковых годах никто об нем ничего не ведал, а миросозерцание его состояло в чистейшем сумбуре; затем импровизировал несколько громких и пустых фраз адвокат Плевако[197]; наконец, выдвинулся Бугаев. И что же я увидел. Этот восхваленный оратор вытащил из кармана маленькую бумажку и запинающимся голосом прочел настроченную им галиматью о том, что Тургенев подмечал молекулярные движения общества. После обеда я подошел к Ивану Сергеевичу и шепнул ему на ухо: «А ваш Мирабо[198] совсем осрамился».— «Да, сегодня вышло неудачно»,— грустно отвечал он. Тургенев поехал и на свидание с Викторовым и оттуда вернулся также в полном восторге. «Умен, как день!» — говорил он. Но и тут скоро последовало разочарование. Несколько дней спустя Викторов принес ему свои стихотворения, и они оказались так пошлы, глупы и даже безграмотны, что с тех пор уже Тургенев об нем совершенно замолк. Должно быть, было уже из рук вон плохо, если даже Тургенев, несмотря на все желание, не решился похвалить; ибо в это самое время он восторгался такими произведениями, которые способны были возбудить только смех. Однажды я прихожу к нему и вижу перед ним толстую рукопись. «Что это такое?» — спросил я. «Как вам сказать? — отвечал он.— Вы, пожалуй, не поверите, если я скажу вам, что это русская Жорж Санд, но во всяком случае это близко к тому подходит. Я еще, как известно, иногда увлекаюсь; но и Анненков тоже находит». Я с нетерпением ожидал появления в печати этого необыкновенного произведения, хотя знал, что похвалы Ивана Сергеевича раздаются самым странным образом. Незадолго перед тем в «Петербургских ведомостях» появилась сильная пошлость некоей госпожи Г. с предисловием Тургенева, в котором он восхваляет прелесть и грацию этого рассказа. Я думал, однако, что в этом случае он, может быть, не устоял против просьбы дамы: но тут он высказывался наедине, стало быть, не было повода говорить не то, что было на уме. Наконец, явилась знаменитая повесть; это была «Варенька Ульмина»[199]! Я тотчас прочел отрывки из нее Станкевичу и Кетчеру, и мы немало смеялись и над автором, и над покровителем возникающих талантов. Но воз-

можно ли было сохранить вкус и чувство изящного, постоянно якшаясь с нигилистами?

Несмотря, однако, на эти триумфы, Тургеневу не посчастливилось с другой стороны. Нигилисты его помиловали; зато Катков обрушился на него с самой площадной бранью, не только забыв всякие приличия, которых он никогда не знал, но и не обращая ни малейшего внимания на то, что писатель, которого произведения составляли красу русской литературы, даже в своих слабостях заслуживал снисхождения. При таких условиях оставалось только возвратиться в Париж. Там он, по крайней мере, жил в образованной среде, где ценили и тонкий его ум, и высокий талант, и образование, и блестящий разговор, и врожденное чувство изящного, которое, несмотря на увлечения, никогда в нем не иссякало. В России же в это время литературная жизнь не представляла ничего, кроме пустых ярлычков, из-за которых происходили кабацкие схватки. В Париже он и умер, окруженный почетом. Французы возвели его даже в мыслителя, открывающего новые горизонты и раскрывающего всю глубину славянского духа, чего в России никогда в нем не подозревали и чего, разумеется, в нем никогда не было. Он был и остался одним из самых привлекательных русских писателей, который не заглядывал глубоко в человеческую душу и в общественные явления, но умел в прелестных, изящных очерках изображать современную ему русскую частную жизнь.

Из петербургских приятелей Тургенева ближе всего к нему был Павел Васильевич Анненков, с которым я тоже скоро сошелся. Это был человек необширного ума, сдержанный и осторожный, но обходительный и образованный, много путешествовавший, много видевший, одаренный тонким чувством изящного, хотя нередко он высказывал свои суждения в слишком замысловатой и затейливой форме. Тургенев говорил про него, что он ко всякой мысли хочет подойти сзади. Самыми приятными обедами у Тургенева были те, когда я их заставал вдвоем с Анненковым. Тут были живые, преимущественно литературные беседы, каких в это время не было даже в Москве. Всякое литературное явление разбиралось и оценивалось тонко и отчетливо. Оба приятеля восторгались недавно вышедшими стихотворениями Фета.

Стихи читались вслух; отмечались их поэтические красоты, а иногда смеялись над прорывавшимися в них бессмыслицами. Тургенев знал наизусть два стихотворения, одно под заглавием «Мщение трубадура», а другое с повторяющимся в конце каждой строфы стихом: «Рододендрон, рододендрон!» В обоих с первой строки до последней не было ни малейшего смысла, и ничего нельзя было понять.

Приятность бесед нарушалась, когда приходили другие петербургские литераторы: Дружинин, с глазами в виде щелей, с тонкими усиками и с гнусливым голосом; Григорович, который в то время был совершеннейшим хлыщом, кричал, жестикулировал, говорил пошлости, рассказывал сплетни; толстый и грубоватый Писемский; полусонный Гончаров; Иван Иванович Панаев с своим пошлым дендизмом, в парике, с висящим от него на лбу клоком волос. Все они производили на меня неприятное впечатление. Однажды в бытность мою в Петербурге приехал туда Василий Петрович Боткин и задал у Тургенева обед для всех петербургских литераторов. Мне никогда в жизни не случалось быть в обществе, которое произвело бы на меня такое отталкивающее действие. Весь разговор от начала до конца был невообразимо грязный. Григорович с пафосом излагал свои сладострастные фантазии: Панаев чуть ли не с самим Боткиным вел беседу о самых утонченных подробностях чувственных наслаждений. Я уехал с омерзением.

Из петербургских литераторов один только Некрасов в это время не бывал у Тургенева. Он был болен и не выходил из дому. Несколько уже позднее Тургенев предложил мне повезти меня к Некрасову, говоря, что он очень умен и что с ним надобно познакомиться. Я согласился, хотя не совсем охотно, ибо мне известна была нравственная несостоятельность этого человека. Я достоверно знал всю историю пересылки денег Огаревым его жене [200], с которой он разъехался и которая жила в Париже. Деньги пересылались через Панаеву, которая открыто жила с Некрасовым и находилась под совершенным его влиянием. Жена Огарева умерла в Париже в полной нищете. После ее смерти все ее бумаги были присланы мужу; оказалось, что она денег никогда не получала. Огарев потребовал возвращения выданных сумм,

и когда в этом было отказано, подал жалобу в суд. Сатину было поручено вести это дело Однако до судебного решения не дошло; деньги были возвращены сполна. Никто в этом не обвинял Панаеву, которая была игрушкою в руках Некрасова. В то же время этот демократ вел большую игру и составил себе порядочное состояние в карты. Единственный визит мой Некрасову памятен тем, что я тут в первый и последний раз видел Чернышевского, который тогда только что выступал на литературное поприще. Небольшого роста, худой, белокурый, с тихим голосом, он мало говорил, но поразил меня решительностью своих суждений. Я не подозревал, что в этом мизерном семинаристе[201] я вижу перед собой того человека, которому суждено было помутить умы значительной части русской молодежи, сбить Россию с пути правильного, законного развития и снова вызвать в ней господство самого широкого произвола. Много лет пройдет, прежде нежели залечатся нанесенные им отечеству раны. Однажды за обедом у Кавелина я видел и Добролюбова, который давал уроки его сыну. Разговор, как и всегда у Кавелина, был оживленный, но Добролюбов во все время обеда сидел неподвижно и упорно молчал. Я не слыхал даже звука его голоса.

Кроме петербургского литературного круга, мне довелось узнать в Петербурге и все прелести бюрократических порядков. Я испытал их по поводу своей диссертации. Никитенко, к которому адресовал меня Грановский, принял меня весьма любезно и дал записку к Неволину, тогдашнему декану юридического факультета. Я отправился к Неволину. Он вышел ко мне в столовую и принял меня стоя. Меня это поразило; я такого приема не встречал даже у самых пошлых профессоров Московского университета. Петербургская чиновничья среда налагала особенную печать на все отношения. Неволин сказал мне, что факультет моей просьбы разрешить не может, а что надобно обратиться к попечителю. Я навел справки о попечителе Мусине-Пушкине[202]. Мне сказали, что он болен и никого не принимает, но что даже когда он здоров, от него просителям иногда приходится очень жутко. Делать было нечего; ждать я не хотел и должен был с пустыми руками отправиться назад. Однако я не отчаялся. На следующий год произошла

перемена; министром народного просвещения назначен был Норов[203], о котором ходила молва, что он добрый и обходительный человек. Я решился снова попробовать счастья в Петербурге. На этот раз Никитенко отправил меня прямо к министру. Я взял в карман свое прошение и ждал более часу; наконец мне объявили, что началась обедня и министр пошел в церковь. Чиновник прибавил, что если мне что-нибудь нужно, то я могу адресоваться к правителю канцелярии, который сидит в соседней комнате. Как новичок, я согласился и объявил правителю канцелярии, что мне нужно; он взял мою просьбу и сказал, что доложит министру. Когда я рассказал об этом Никитенке, он воскликнул: «Что вы наделали! теперь это пойдет канцелярским путем, и вы никогда ничего не добьетесь. Вам необходимо лично представиться министру и объяснить ему свое дело». Нечего делать, надо было вторично являться к министру. На этот раз я его дождался; он, наконец, вышел, приветливо выслушал мою просьбу, пожал мне руку и сказал, что это очень легко сделать. Я остался совершенно доволен. Ответ я должен был получить через правителя дел; но тот сказал мне, что решение я узнаю от директора департамента. Я отправился к директору; последний с сомнительным выражением заметил, что это дело не так легко сделать, как думает министр. Я спросил, когда же, наконец, я могу узнать свою судьбу; он отвечал, что мне сообщится решение начальником отделения. Я явился к начальнику отделения, который объявил мне, что исполнить мою просьбу решительно невозможно и что надобно от этого отказаться.

Таким образом, мои хлопоты привели ни к чему. Все двери были мне заперты. Диссертация, над которой я так усердно работал, не могла увидеть свет, и весь мой магистерский экзамен оказывался напрасным. При таких условиях мудрено ли было впасть в хандру? Сидеть у моря и ждать погоды вовсе не свойственно двадцатисемилетнему молодому человеку, который чувствует в себе силы и жаждет деятельности. Меня томила тоска; чтобы заглушить ее, я зимою еще с большим рвением ездил в свет; а летом в грустном раздумье бродил по полям и лесам, для себя складывал стихи и продолжал углубляться в философию в ожидании лучших дней.

Но уже приближалась гроза, которая должна была освежить тот спертый и удушливый воздух, которым мы дышали. Издали уже слышались раскаты грома; они раздавались все ближе и ближе. Наконец, гроза разразилась в самых недрах отечества. С напряженным вниманием следило русское общество за всеми переходами этой войны. Сначала Синопский бой исполнил его патриотическим одушевлением: но затем одно за другим приходили роковые известия: высадка неприятеля в Крыму, Альма, Инкерман, Балаклава, Черная. Все это показывало, что войска образованных народов не так легко закидать шапками, как воображали закоснелые патриоты. Оборона Севастополя возбуждала и страхи, и восторг. Со всей России собирались ополчения, в которые шли даже люди из общества, никогда не знавшие военной службы, как Юрий Самарин и Иван Аксаков. Для славянофилов в особенности это была священная война, борьба за православие и славянство, окончательное столкновение между Востоком и Западом, которое должно было вести к победе нового молодого народа над старым одряхлевшим миром. Тютчев писал восторженные стихотворения, в которых взывал к русскому императору, убеждая его короноваться в святой Софии и встать, «как всеславянский царь»[204]. Однако более трезвые славянофилы понимали, что Россия в настоящем своем положении мало способна к исполнению великого исторического призвания. Хомяков написал по этому поводу стихотворение, которое мигом облетело Москву. Как теперь помню, я шел по Страстному бульвару, вдруг вижу, что навстречу мне едет Н. Ф. Павлов. Он выскочил из саней и уже издали воскликнул: «Ты читал стихи Хомякова?» Он вытащил их из кармана и прочел мне их на улице. Я был в восторге. Никто еще с такою силою не изображал современного нашего положения:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

Хомяков призывал Россию к покаянию:

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,

Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.
С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.

Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу молитвы и исповеди, для того чтобы вообразить себе, что народ может в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем встать обновленным и разить врагов врученным ему божьим мечом. Те, которые глубже понимали исторические задачи, знали очень хорошо, что для истинного обновления нужны многие годы и много бескорыстного и самоотверженного труда. Положение русских людей, которые ясно видели внутреннее состояние отечества, было в то время трагическое. Тут дело шло уже не о внешних победах, а о защите родного края. Русское сердце не могло не биться при рассказах о подвигах севастопольских героев. А между тем нельзя было не видеть, что победа могла только вести к упрочению того порядка вещей, который с такой горечью и с такой силой бичевал Хомяков, к торжеству того бездушного деспотизма, который беспощадно давил всякую мысль и всякое просвещение, уничтожал всякие благородные стремления и всякую независимость. Мудрено ли, что Грановский писал в одном письме, что он хотел бы пойти в ополчение, не затем, чтобы желать победы России, а затем, чтобы за нее умереть.

Изучая историю, я все более убеждаюсь, что война бывает полезна, главным образом, побежденным, если только в них есть довольно силы, чтобы воспользоваться своим поражением для внутреннего обновления. Редки те минуты в историческом развитии народов, когда победа является результатом долгих трудов и усилий и возвещает зарю новой жизни. Такова была Полтавская битва. Как часто, напротив, упоение успехом становится источником нового зла. Победы Наполеона были благом для побежденных, но Францию они привели к деспотизму и к разорению. У нас за великими войнами 12-го, 13-го и 14-го годов следовал период аракчеевщины. И на наших глазах, что породили победы Германии, как не тяготеющий над Европой невыносимый милитаризм, господство

грубой силы, презрение ко всему человеческому? Сколько неизмеримо выше стояла раздавленная Пруссия 1807 года, воспрянувшая с такой изумительной энергией! Точно так же и Крымская война была, в сущности, полезна только для нас. Поражение открыло перед нами новую эру.

Среди этого военного грома 12 января 1855 года Московский университет праздновал свой столетний юбилей. Депутации и гости стеклись со всех концов России. Торжество было громадное, но печальное для истинных друзей просвещения. Нельзя было не скорбеть душою, видя, как низко пало учреждение, еще недавно стоявшее так высоко. Им управлял военный генерал [205]; в нем властвовало все пошлое и раболепное. В самое это время в нем вводилось военное обучение. Студентов ставили во фронт и заставляли маршировать на университетском дворе. На самом празднестве пошлость выдвигалась вперед на каждом шагу, в каком-то умиленном упоении. Шевырев написал раболепную кантату, которая декламировалась на акте с аккомпанементом оркестра. И все завершилось обедом, который профессора дали попечителю. Грановский поехал, чтобы не подавать повода к новым нареканиям. Но трое из молодых профессоров: Леонтьев, Кудрявцев и Соловьев отсутствовали, притом не предупредив Грановского. Поступок был нехороший. Никогда я не видел Грановского так возмущенным. От сторонних, конечно, всего можно было ожидать; но тут ближайшие его товарищи, с которыми он был в самых дружеских отношениях, оказали ему такое неуважение. «Нет, это подло!» — воскликнул он наконец. Виновником, разумеется, был Леонтьев. На обеде Шевырев прочел торжественную оду в честь Назимова, которого он возвеличивал в напыщенных строфах. Она начиналась так:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то, что нашими сердцами
Умеешь мирно обладать,
За то, что чтишь отцов преданье,
Науки любишь красоту
И ценишь высоту познанья,
Но больше сердца чистоту.

Когда эти стихи появились в печати, я тотчас написал пародию, стараясь сохранить все обороты

и даже рифмы. Привожу ее как выражение тогдашнего настроения:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то, что мерными шагами
Умеешь ты маршировать,
Что чтишь на службе ты дубину,
Мундиров любишь красоту,
За то, что ценишь дисциплину,
А также комнат чистоту.
Тупей последнего солдата,
Честолюбив, как дворянин,
Пристроил тестя ты и брата,
Ты в службе верный семьянин.
Служа с безграмотностью барской,
Ты фрунту предан целиком,
Ты генерал по воле царской,
А все ж остался дураком.
Себя комедией взаимно
Мы потешали всей семьей;
Когда читали строфы гимна,
Как все смеялись, боже мой!
Наш праздник глупость осрамила,
Но подлость скрасила его;
В одной лишь подлости есть сила,
В ней радость, слава, торжество.
Наш храм под высшим попеченьем
Давно покорствует судьбе,
Но днесь военным обученьем
Он опозорен при тебе.
Да, много гадостей в нем было,
Властям тупым благодаря,
Но все те мерзости затмило
Даянье новое царя.
И этот праздник омраченья
Вершим мы пиром в честь твою.
Подай нам, господи, терпенья,
Чтоб выносить тебя, свинью!
Но тщетный ропот не поможет,
Мы шлем начальнику привет:
Блажен, кто удалиться может,
Кто не приехал на обед.
Крепка военной власти сила,
Твоих безмерна глупость дел;
Но мудрость божья положила
Величью нашему предел,
И будь ты во сто раз сильнее,
А все ж не сделаешь никак,
Чтоб был Альфонский[206] поумнее,
Чтоб Шевырев был не дурак.

Я прочел эту пародию Павлову, который пришел от нее в восторг и все носился со стихами, увы, даже поныне не потерявшими своего значения:

В одной лишь подлости есть сила,
В ней радость, слава, торжество.

Но отец пришел в ужас от моей неосторожности и разрешил мне сказать эти стихи одному только Грановскому, а затем не давать их решительно никому. Я так и сделал, но тут же пустился в более опасные предприятия. На юбилей прибыл из Петербурга Кавелин. Однажды он приехал ко мне и стал говорить, что положение с каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, которая сама собою будет ходить по рукам. С этим предложением он к первому обратился ко мне, надеясь найти во мне сотрудника. Я с жадностью ухватился за эту мысль, которая давала исход моим либеральным убеждениям и моему стремлению к деятельности. Решено было, что я для пробы напишу статью и в феврале привезу ее показать ему в Петербург. Кавелин крепко заказал мне хранить все это в глубочайшей тайне и не говорить об этом даже Грановскому, опасаясь, чтобы он как-нибудь не проговорился. Я обещал, ибо сам видел, что за это можно сильно поплатиться, и если для себя ничего не боялся, то отнюдь не хотел огорчать родителей.

Я с жаром принялся за работу и скоро написал статью о животрепещущем вопросе дня под заглавием: «Восточный вопрос с русской точки зрения»[207]. В половине февраля я собрался отвезти ее в Петербург. Все уже было у меня готово, и я должен был ехать на следующий день, как вдруг пришла из Петербурга громовая весть: император Николай скончался! Все были ошеломлены, ибо никто не подозревал даже его болезни. Я немедленно поскакал к Грановскому, который уже знал об этом событии. Впечатление было потрясающее. Казалось, что рухнул колосс, который все давил и никому не давал вздохнуть. С ним вместе разрушался и созданный им ненавистный порядок вещей. Что сулило будущее, этого еще никто не мог сказать; оно скрывалось под туманною завесою. Но в настоящем почувствовалось внезапное облегчение, как будто гора свалилась с плеч и дышать стало свободнее. Разом пробудились и бодрость духа и светлые надежды на лучшие времена.

Маленькая простуда удержала меня дня два в Москве. Наконец, я поехал. Я должен был остановиться у брата Владимира, который служил тогда в гатчинских кирасирах и жил на Галерной. Но проехать к нему с железной дороги не было возможности. Я попал в самую минуту похорон. Улицы были запружены народом. Оставив тут извозчика с чемоданом, я нанял скамейку и влез на нее, чтобы посмотреть на процессию. Передо мной тянулись длинные ряды полков с траурными знаменами, шли пешком представители всех учреждений, государственные сановники, придворные чины; церемониймейстеры ехали верхом в раззолоченных мундирах. Наконец, явилась пышная погребальная колесница, на которой покоились останки умершего монарха, и за нею спокойно и с грустным видом шел высокий и тогда еще стройный новый государь. Все это тихо двигалось через Николаевский мост к Петропавловской крепости. Погребался не только русский царь, тридцать лет безгранично властвовавший над Россией, но вместе с ним и целый порядок вещей, которого он был последним представителем.

В Николае I воплотилось старое русское самодержавие во всей своей чистоте и во всей своей неприглядной крайности. Внешнее впечатление он производил громадное. В нем было что-то величавое и даже обаятельное. Он чувствовал себя безграничным владыкою многих миллионов людей, избранным богом главою великого народа, имеющего высокое призвание на земле. Он знал, что единое его слово, единое мановение может двигать массы; он знал, что по прихоти своей воли он может каждого из этих многих миллионов возвеличить перед всеми или повергнуть в ничто. Это гордое чувство силы и власти отражалось на всем его существе. Самая его высокая и красивая фигура носила на себе печать величия. Он и говорить умел, как монарх. Действие на приближающихся к нему часто бывало неотразимое. Всякий чувствовал, что он видит перед собою царя, предводителя народов.

Но под этим внешним величием и блеском скрывалась мелкая душа. Он был деспот и по натуре, и по привычке, деспот в полном смысле слова. Он не терпел никакой независимости и ненавидел всякое превосходство. Даже внешняя красота оскорбляла его

в других. Он терпеть не мог совершенно безобидного Монго-Столыпина[208] за то, что он слыл первым красавцем в Петербурге. Он один должен был быть все во всем. В каждой отрасли и сфере он считал себя знатоком и призванным руководителем. Никто ни в чем не должен был с ним соперничать, и все должны были перед ним преклоняться и трепетать. И эта непомерная гордыня, это самопревознесение не знающей границ власти не смягчались, как у Людовика XVI, приобретенными в образованной среде привычками утонченной вежливости. Они соединялись с чисто солдатскими ухватками и проявлялись над беззащитными людьми во всей своей грубости и наглости. Он, как зверь, обрушивался иногда на несчастного юношу, который стоял или смотрел не так, как требовалось его идеалом солдатской выправки. Я слышал об этом самые удивительные рассказы очевидцев. В нем не было и смягчающего необузданные порывы власти милосердия или жалости. Ни в чем не повинные или виновные лишь в юношеском легкомыслии молодые люди в течение многих лет подвергались самым суровым наказаниям. Вся жизнь их беспощадно комкалась и ломалась. Декабристов он гнал до конца, не выпуская их из ссылки и не позволяя им даже воспитывать своих детей в России. Батенькова он тридцать лет без всякого повода держал в одиночном заключении[209].

Однако, когда он хотел, он умел быть приятным и даже обворожительным. Чувство власти не исключало в нем лицемерия, когда оно требовалось для его целей. С иностранцами он кокетничал, стараясь выказываться перед ними вовсе не таким, каким он был на деле. Он кокетничал перед Гумбольдтом; он кокетничал перед Мурчисоном[210], который называл его «мой коронованный друг». В действительности же ему не было ни малейшего дела ни до науки, ни до образования, которые он в России старался подавить, насколько позволяло приличие. Он пытался обворожить и Гамильтона Самура[211], но на этот раз это ему не удалось. Иногда кокетство обращалось и на подданных, которых он почему-либо хотел к себе приманить. Он очаровал вышедшего в отставку Ермолова, которого уговорил вступить на службу с тем, чтобы уронить его популярность и затем оставить на всю жизнь заштатным генералом. Он кокетничал с Пуш-

киным, вернув его из ссылки и взявшись быть цензором его стихотворений; он кокетничал даже с Юрием Самариным, который был посажен под арест за «Рижские письма» и затем прямо из заключения был привезен в кабинет государя. Пушкин поддался искушению и отплатил за это стихами, в которых возвеличивал нового царя [212]; но после неожиданной смерти великого поэта всякие печатные восхваления его памяти были строжайшим образом запрещены, ибо монарх не терпел похвал, расточаемых другому. Точно так же Тургенев был посажен на гауптвахту за сочувственную статью по поводу смерти Гоголя [213].

Ему нужно было не только привлечь к себе людей, которых он не считал возможным преследовать; ему надобно было их нравственно унизить. Пушкин должен был состоять на службе: его против воли произвели в камер-юнкеры. Николай терпел вокруг себя только людей, искушенных в придворной лести, или совершенные ничтожества. В начале своего царствования он был еще несколько разборчивее. Он вступил на престол при смутных обстоятельствах, а между тем хотел прославиться и перед Европою играть роль просвещенного монарха. От своего предшественника он получил целую фалангу людей, если не с высокими характерами, то умных и образованных. Он ценил их, старался сделать их покорными орудиями своей воли, в чем нетрудно было успеть; они составили славу его царствования. Но чем более он привыкал к власти и исполнялся чувством своего величия, тем более он окружал себя раболепным ничтожеством. Когда Вронченко [214] заявил ему, что не чувствует себя способным быть министром финансов, Николай отвечал: «Я буду министр финансов». Причина милости, которой удостоился Вронченко, выясняется анекдотом, ходившим в то время в обществе. В ожидании выхода государя несколько министров разговаривали между собою, и Вронченко нюхал табак. В эту минуту, как государь вошел, у него между пальцами была щепоть, и он, опустив руку, стал понемногу выпускать табак на пол. Меньшиков [215], заметив это, улыбнулся; но государь резко сказал, что подданному делает честь, если он боится своего государя. Немудрено, что в верховных правительственных сферах, а также в окружающем двор высшем аристократическом обществе произошло громадное умственное и нравст-

венное понижение. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить людей, которых Николай получил от своего предшественника, и тех, которых он передал своему преемнику. Когда пришлось приступить к реформам, среди сановников не оказалось ни одного, который был бы в состоянии руководить делом. На сцену выступили второстепенные деятели, проникнутые либеральным духом и скрывавшиеся прежде в тени.

Такое же понижение произошло и во всех сферах администрации. При всей безграничности своей власти Николай не умел провести даже той реформы, которая ближе всего лежала у него к сердцу,— освобождение крестьян. Он чувствовал, что Россия не может оставаться при том необузданном помещичьем праве, которое в то время господствовало у нас. Он любил безграничную власть, но в своих, а не в чужих руках; а тут было соперничество; все, что отдавалось помещику, отнималось у правительства. Но русского дворянства он опасался, а потому не решался принять сколько-нибудь действительные меры. Под конец вопрос совершенно замолк.

В последние годы царствования деспотизм достиг самых крайних размеров, и гнет сделался совершенно невыносим. Всякий независимый голос умолк; университеты были скручены; печать была подавлена; о просвещении никто уже не думал. В официальных кружках водворилось безграничное раболепство, а внизу накипала затаенная злоба. Все, по-видимому, повиновалось беспрекословно; все ходило по струнке. Цель монарха была достигнута; идеал восточного деспотизма водворился в русской земле.

И вдруг все это столь сурово оберегаемое здание оказалось гнилым в самом основании. При первом внешнем толчке обнаружилась та внутренняя порча, которая подтачивала его со всех концов. Администрация оказалась никуда не годной, казнокрадство было повсеместное. Положиться было не на кого; везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище царя, лишена была самых необходимых для действий орудий, и все доблести русского солдата тратились напрасно в неравной борьбе. В то время, как для забавы императора вводились ружья, которые на маневрах в одно мгновение производили известный звук, ружья, служащие для настоящей

стрельбы, были совершенно негодны. Все было устремлено на одну внешность, а о существе дела никто не заботился. И вот одна за другой стали приходить страшные вести. Презираемый враг вступил на русскую землю, осаждал первоклассную крепость; знаменитый черноморский флот погиб; все попытки отразить неприятеля кончались поражением.

Николай этого не вынес. Он разом свалился, и с ним вместе рухнул и весь державшийся им строй. Для России наступала новая пора, которая вслед за радужными надеждами должна была принести свои скорби и свои разочарования, но уже иные, нежели прежде. Прошлое было похоронено навеки. Вместе с царской колесницей оно двигалось в Петропавловский собор.

АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН

(1790—1857)

Когда маркиз де Кюстин отправлялся в Россию, никто не предполагал, что его непродолжительное пребывание в этой стране наделает столько шума. Никто не ожидал и того, что титулованный отпрыск старинных французских аристократов, сложивших головы на гильотине Великой французской революции, с такой исступленной нетерпимостью отнесется к русскому самовластию, монархическим установлениям и деспотизму. Казалось бы, маркиз, так много претерпевший от революции, должен был относиться к монархии более снисходительно.

Детство Кюстина не было безоблачным. После смерти отца и деда, казненных по приказанию Робеспьера, он остался на попечении матери, которая поселилась с ним в Лотарингии и жила уединенно, стараясь не привлекать к себе внимания. О становлении личности Кюстина и формировании его взглядов почти ничего не известно. Но, как утверждают биографы, любовь к странствиям помешала ему в выборе карьеры. В 1811 г. Кюстин покинул Францию и одиннадцать долгих лет путешествовал по Англии, Шотландии, Швейцарии и Калабрии. Это не прошло для него бесследно — тем более что он был наблюдателен, остроумен и владел пером. Его впечатления, носившие более или менее частный, случайный характер, почти всегда несколько поверхностные, отличались вместе с тем эффектностью, изяществом и блеском.

Возвратясь во Францию, маркиз де Кюстин написал две книги: «Мемуары и путешествия, или Письма, написанные в разные периоды во время путешествий в Швейцарию, Калабрию, Англию и Шотландию» (1830) и «Мир, каков он есть» (1835). Спустя три года появилась еще одна книга — «Испания при

Фердинанде VII» (1838), написанная после поездки Кюстина в Испанию. Т. Н. Грановский заметил между прочим, что это одна из лучших книг об Испании [1]. Впрочем, ни в этих работах, ни в литературных сочинениях Кюстина, его романах и драматургии, ничто не предвещало тех крамольных взглядов, которые так неожиданно и ярко проявились в его книге о России.

В 1839 г. Кюстин приехал в Россию монархистом, а через несколько месяцев покинул ее убежденным либералом. Для того, чтобы такой крутой поворот совершился во взглядах вполне устоявшегося, зрелого человека, нужны были особые обстоятельства. Между тем внешне с Кюстином в России ничего не произошло. Он спокойно начал и не менее благополучно завершил свое «экзотическое» путешествие. Маркиз был принят с любезностью и истинно русским гостеприимством; сам император Николай I не раз удостаивал его беседы с глазу на глаз. В момент появления Кюстина в Петербурге о нем было известно довольно много. Русские аристократы, подолгу жившие во Франции, утверждали, что Кюстин дружен с Шатобрианом, постоянно бывает в знаменитом салоне мадам Рекамье и питает непримиримую неприязнь ко всему, что напоминает о революции.

Маркиз приехал с рекомендательными письмами, в одном из которых А. И. Тургенев, встречавшийся с Кюстином в Париже, просил П. А. Вяземского рекомендовать его В. Ф. Одоевскому и П. Я. Чаадаеву.

Нельзя сказать, что Кюстин приехал в Россию, ничего не зная о ней, и смотрел на все глазами непосвященного. Напротив, маркиз составил определенное мнение об этой стране до своего путешествия по «Истории России и Петра Великого» Сегюра и в особенности по «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, переведенной в 1826 г. на французский язык. Таким образом отчасти он увидел в России то, что предполагал увидеть. Но лишь отчасти. А вместе с тем он сумел заметить и то, что вовсе не предназначалось для глаз постороннего, чужеземца, но существовало как бы «для внутреннего пользования».

Кюстин неоднократно называл Россию «страной фасадов»; он вообще питал склонность к обобщени-

[1] Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II. С. 195.

ям, афоризмам, к тому, что французы называют bon mot (красное словцо). В его восприятии окружающего нет и тени непосредственности или простодушия; любое, даже самое мимолетное впечатление вызывает у Кюстина не только эмоции, но немедленно превращается в импульс к гневному и едкому обличению деспотизма. И так как Кюстину кажется, что деспотизм в России отбрасывает свою мрачную тень на все явления жизни, то маркиз, как человек одержимый идеей отрицания деспотизма, готов видеть его проявления во всем — от обычаев русского двора до особенностей петербургского ландшафта. При этом его эффектные пассажи бывают столь поверхностны, что способны вызвать лишь улыбку. Например, едва успев приехать в Петербург в самый разгар белых ночей, Кюстин замечает: «В России ночи поражают своим почти дневным светом, зато дни угнетают своей мрачностью» [1].

Герцен, один из самых внимательных, проницательных и нелицеприятных читателей Кюстина, писал, что маркиз «по легкомыслию впал в большие ошибки; из страсти к фразе он допустил огромные преувеличения — как в хвале, так и в осуждении, но все же он хороший и добросовестный наблюдатель» [2].

За «фасадами» в России Кюстин не разглядел ничего или почти ничего. Это не удалось бы ему при всем желании. Но к этому Кюстин не мог стремиться; чужестранец и аристократ до мозга костей, он составил чисто «книжное» (притом почерпнутое явно не из русских книг) представление о русском народе, представление, которым поневоле принужден был довольствоваться. Но он не увидел и другого — напряженной духовной жизни России. Поэтому его суждения о декабристах, о Пушкине, о русской литературе не выходят за пределы сплетен, услышанных им при дворе.

Волею судеб, по своему положению, он оказался перед «фасадами», двери и окна которых разве только чуть-чуть приоткрылись для него. Тем больше чести делают проницательному уму маркиза точность его наблюдений и неопровержимая логика его представлений о деспотическом государстве времен николаевского царствования. «Кюстин,— пишет Л. Я.

---

[1] Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930. С. 44.

[2] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 196.

Гинзбург,— при всем незнании и непонимании фактов — граничащем с клюквой,— многое понял в свойствах и тенденциях империи Николая I. Он понял, что основу светского общежития составляют скука, неискренность и страх. В сочетании дикости с регулярностью он угадал предпосылку бюрократического строя»[1].

Кюстин угадал не только это, но еще многое, что до сих пор не перестает удивлять и восхищать нас поразительной точностью дефиниций, определяющих ряд внутренних, тайных установлений, по которым, сама себе в том не признаваясь, жила николаевская империя.

Четырехтомное сочинение Кюстина «Россия в 1839 году» было издано во Франции в 1843 г. В России книга Кюстина произвела впечатление близкое к тому, какое бывает от стихийных бедствий: она была неожиданна и, по мнению верхов, обладала разрушительной силой, способной пошатнуть устои. Вспомним при этом, что появилась она в то время, когда официальная история России готова была сделать своим девизом известные слова Бенкендорфа: «Прошедшее России удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, оно выше всего, что только может представить себе самое пылкое воображение».

Мудрено ли, что ввоз в Россию книги Кюстина и всяческие упоминания о ней в печати были строжайше запрещены? Но она, как всякий запретный плод, притягивала к себе внимание и жадно читалась образованной русской публикой. Книга Кюстина, вспоминал П. В. Анненков, «читалась у нас повсеместно и возбуждала характеристикой некоторых лиц и событий саркастические толки втихомолку, очень невинные, но очень беспокоившие, однако же, административных людей эпохи»[2]. То же самое утверждал и Герцен: «Я не знаю ни одного приличного дома, где бы не нашлось сочинения Кюстина о России, которое было запрещено специальным приказом Николая[3].

Книга Кюстина задела всех, хотя и по-разному. Верхи усмотрели в ней документ обличительный, в

---

[1] Гинзбург Л. Я. Выбор темы. // Нева, 1988. № 12. С. 155.

[2] Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 257.

[3] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1956. Т. 7. С. 213.

людях либеральных она задела патриотическое чувство. Рассказывали, что Николай I, прочитав Кюстина, швырнул книгу на пол со словами: «Моя вина, зачем я говорил с этим негодяем!» [1].

Николай I делал даже попытки дискредитировать Кюстина за границей. За это неблагодарное дело взялся сначала небрезгливый Н. И. Греч, издавший в 1843 г. «разоблачающее» «Исследование по поводу сочинения г. маркиза де Кюстина, озаглавленного «Россия в 1839 году»». Кстати сказать, об этом «труде» Греча Герцен написал, что в нем «есть страницы, поражающие цинизмом раба, потерявшего всякое уважение к человеческому достоинству» [2].

Через короткое время к разоблачениям Греча присоединил свой голос агент III Отделения Я. Н. Толстой. Однако, вопреки ожиданиям Николая I, разоблачения, нимало не ущемив Кюстина, не восстановили поруганную честь русской монархии. Для того, чтобы план сработал, оценка книги должна была исходить от людей не столь одиозных, как Греч и Я. Толстой. И, кроме того, в этой оценке нужно было соблюсти хоть видимость объективности. Но из людей порядочных за это никто не взялся бы.

Правда, в августе 1843 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Откликнись на Кюстина. <...> Книга читается всей Европой; пожалуйста, напиши свое мнение не о фактах, qu'il faut merpriser comme tels <которыми следует пренебречь как таковыми>, но о принципах, о впечатлениях, переданных откровенно» [3]. Вяземский написал статью о книге Кюстина, но не опубликовал ее, хотя В. А. Жуковский наставлял его, что ответ маркизу «должен быть просто печатная пощечина в ожидании пощечины материальной» [4].

Что же вдруг остановило Вяземского? Ведь он был крайне раздражен книгой Кюстина. Дело в том, что 15 марта 1844 г. вышел указ «О дополнительных правилах на выдачу заграничных паспортов», словно подтверждавший своей нелепостью и бессмысленностью едкие замечания Кюстина о российских порядках. 21 марта 1844 г. Вяземский писал Жуковскому:

---

[1] Записки И. Головина. Лейпциг, 1859. С. 93.

[2] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954. Т. 2. С. 340.

[3] Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899. Т. IV. С. 256.

[4] Там же. С. 278.

«Я полагал, что я уже вовсе охладел к общественным делам, и смотрел с каким-то безнадежным, но и равнодушным унынием на хроническую болезнь России. Но этот неожиданный взрыв взбудоражил меня и пробудил во мне уснувшие страсти. Честью клянусь, что в течение двух недель этот указ лежал на груди моей как удушье, не давал мне спать, мешал мне порядочно говеть. Я не мог опомниться от этого указа, который нас всех треснул по голове. <...> Никогда еще общее уныние не было так решительно и глубоко, как ныне. Всего не выскажешь, всей горечи не изольешь, и лучше наложить печать на уста и на сердце. Мудрено ли, что Европа вопиет против нас, когда мы во всем идем против течения. И счастливо еще, что Европа и все ее Кюстины и журналы врут и не знают половины того, что у нас делается, и судят криво и бестолково о том, что знают худо и поверхностно. Истина была бы гораздо хуже всех их вымыслов или обезображенных рассказов. <...> Я было написал довольно обширное и довольно удачное,— по свидетельству тех, которым прочел,— опровержение Кюстина и готовился отправить в Париж для напечатания. Но указ окатил меня холодною водою, и, вероятно, не решусь напечатать. Обстоятельства таковы, что честному и благомыслящему русскому нельзя говорить в Европе о России и за Россию. Можно повиноваться, но уже нельзя оправдывать и вступаться. Для этого надобно родиться Гречем» [1].

Как потому, что печатные отзывы о Кюстине были запрещены, так и потому, что отношение к нему было двойственным, отзывы об этой книге сохранились лишь в письмах и воспоминаниях современников. Эти эпистолярные и мемуарные оценки тоже неоднозначны — не только потому, что с течением времени отношение к книге менялось, но прежде всего потому, что она вызывала раздражение. Оскорбительно было то, что написал эту книгу иностранец, и эта книга точно зафиксировала то, что знали все русские. Ибо, кроме национальной гордости, у людей николаевской эпохи было и чувство национального стыда, так ярко выраженное в лучшей мемуарной книге XIX столетия — «Былом и думах» Герцена.

[1] Цит. по кн.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 295.

Вместе с тем именно чувство национального достоинства задевали некоторые поверхностные, скороспелые суждения Кюстина, вызывающая недостоверность многого из того, о чем он знал лишь понаслышке. Интересно, что эта запрещенная книга во второй половине 40-х годов все же попала в руки декабристов. 5 марта 1849 г. М. А. Фонвизин писал из Тобольска И. Д. Якушкину: «Ты, верно, читал Кюстина. Среди множества вздорных анекдотов, которые ему, вероятно, рассказывали на смех, он очень многое угадал и представил верно» [1].

При всем различии мнений о книге Кюстина общим во впечатлениях от нее было одно: то, что вызывает боль у каждого русского, в маркизе, «человеке со стороны», порождает лишь холодное рассудочное отрицание, не лишенное даже некоторой доли высокомерия. Во всяком случае, оппозиция: Россия — Европа, которая и сейчас, спустя полтора столетия, так сильно в ней ощутима, в 40-х годах прошлого века воспринималась значительно острее и болезненней.

И, конечно, книга вызывала стыд. Именно Герцен точнее, чем кто-либо, ощутил эту особенность произведения Кюстина, написав: «Тягостно влияние этой книги на русского, голова склоняется к груди, и руки опускаются; и тягостно от того, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места...» [2] И вместе с тем Герцен нашел в себе мужество и объективность, чтобы признать: «Без сомнения, это самая занимательная и умная книга, писанная о России иностранцем» [3].

Так не будем же и мы упрекать Кюстина в том, что он не понял русского народного духа, ибо он с точностью, присущей формуле, показал, что такое дух деспотической империи.

ЛИТЕРАТУРА

Гессен С., Предтеченский А. Маркиз де Кюстин и его мемуары. // В кн.: Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930.

---

[1] Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Иркутск, 1979. Т. I. С. 317.

[2] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954. Т. 2. С. 312—313.

[3] Там же. С. 311.

ИЗ КНИГИ «НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ»

Глава V

Сегодня я совершил прогулку на острова. Нигде в мире я не видел болота, столь искусно прикрытого цветами. Представьте себе сырое, низкое место, которое лишь летом благодаря каналам, отводящим воду, несколько высыхает. Такова эта местность, превращенная в превосходную березовую рощу, окруженную великолепными виллами. Аллеи берез, которые вместе с соснами являются единственными представителями растительного царства, произрастающими на этой ледяной равнине, создают иллюзию английского парка. Этот большой сад с виллами и коттеджами служит для петербуржцев дачным местом, на короткое время летом заселяющимся придворной знатью. Остальную же часть года острова совершенно пустынны.

Парижане, которые никогда не забывают своего Парижа, назвали бы «острова» русскими Елисейскими полями, но острова — гораздо обширнее, носят более сельский характер и вместе с тем гораздо богаче разукрашены, чем наше место для прогулок в Париже. Они и более удалены от богатых городских кварталов. Район островов — одновременно и город, и сельская местность. Рощи, луга, отвоеванные у окружающих болот, заставляют верить, что кругом действительно поля, леса, деревни, а в то же время храмоподобные здания, пилястры [1], окаймляющие богатые оранжереи, колоннады дворцов, театр с античным перистилем [2], все это заставляет думать, что вы, находясь на островах, не покинули города.

Русские справедливо гордятся садом, с таким трудом вырванным из болотистой петербургской почвы. Но если природа побеждена, она помнит о своем поражении и неохотно покоряется насилию. Уже по другую сторону парка снова начинаются прежние болота. Я не останавливался бы так долго на неблагодарном характере этой обделенной природой земли, не так бы сожалел, путешествуя по северу, о солнце юга, если бы русские менее пренебрегали тем, что недостает их стране. Их самодовольство простирается даже на климат и почву. По натуре склонные к хвастовст-

ву, они гордятся своей природой точно так же, как и окружающим их обществом.

Дельта, образовавшаяся между городом и одним из устьев Невы, занята теперь целиком этим парком, расположенным как будто в самом Петербурге. Русские города захватывают целые округи. Парк должен был бы стать населеннейшим кварталом новой столицы, если бы в дальнейшем полностью осуществлялся план ее основателя. Но мало-помалу Петербург удалялся от реки к югу, чтобы избегнуть наводнений и болотистой местности островов, обитаемой летом. Зимой роскошные дачи наполовину находятся под водой и снегом, и волки кружат вокруг павильона императрицы. Зато в течение трех летних месяцев ничто не сравнится с роскошью цветов и убранством изящных и нарядных вилл. Но и здесь под искусственным изяществом проглядывает природный характер местных жителей. Страсть блистать обуревает русских. Поэтому в их гостиных цветы расставляются не так, чтобы сделать вид комнат более приятным, а чтобы им удивлялись извне. Совершенно обратное наблюдается в Англии, где более всего боятся рисовки для улицы.

Но скудость физического мира, сколь тщательно она ни прикрывается, все-таки порождает здесь унылую скуку. Драмы разыгрываются в действительной жизни, потому в театре господствует водевиль, никому не внушающий страха, а излюбленным чтением являются романы Поль-де-Кока [3]. Пустые развлечения — единственные, дозволенные в России. При таком порядке вещей жизнь слишком тяжела, чтобы могла создаться серьезная литература. Слова «мир», «счастье» здесь столь же неопределенны, как и слово «рай». Беспробудная лень, тревожное безделие — таков неизбежный результат северной автократии [4].

То, что происходит каждый год на островах, когда с наступлением зимы они превращаются в снежную пустыню, заселенную волками, блуждающими вокруг былого величия, произойдет когда-нибудь и со всем городом. Пусть эта столица без корней в истории будет хоть временно забыта своим монархом, пусть веления политики обратят его взоры в другую сторону, и тотчас распадется подводный гранит, затопленная низина возвратится в свое первобытное состояние

и обитатели пустынь снова станут ее единственными владельцами.

Подобные мысли преследуют каждого иностранца, попадающего в Россию. Никто не верит в долговечность этого удивительного города. Невольно приходит на мысль та или иная война, то или иное изменение политики, которые заставят исчезнуть создание Петра, как мыльный пузырь при дуновении ветра, как картину волшебного фонаря, когда свет его погашен.

Сегодня вечером мне удалось увидеть на островах цвет высшего общества. Сюда прибыл весь Петербург, т. е. двор со своей свитой и челядью, но не для того, чтобы совершить приятную прогулку в прекрасный летний день — это было бы для придворной знати более чем странным,— а для того лишь, чтобы встретить прибывшую на острова на своей яхте императрицу. Здесь каждый монарх — бог. Свита этих меняющихся божеств неизменна, она лишь все увеличивается благодаря всегда окружающей ее толпе.

И все же, что бы ни говорила и ни делала эта толпа, ее энтузиазм кажется мне вынужденным, ее любовь к царю напоминает мне любовь стада к своему пастуху, который его кормит, чтобы послать затем на убой. Народ без свободы имеет инстинкты, но не имеет разумных чувств. Эти инстинкты проявляются иногда в диких, чудовищных формах. Рабское восторженное поклонение, безмерный фимиам, становящийся, наконец, невтерпеж божественному идолу, весь этот культ обожествления своего монарха, прерывается вдруг страшными, кровавыми антрактами. Русский образ правления это — абсолютная монархия, умеряемая убийством. Русский император вечно живет под гнетом либо страха, либо пресыщения. Если гордость деспота требует себе рабов, то человек ищет себе равных. Царь себе равного не имеет. Этикет и завистливая ревность неизменно стоят на страже его одиночества. Русский монарх еще более достоин сожаления, чем его народ, особенно если он собой хоть что-нибудь представляет.

Мне много говорили о счастливой семейной жизни императора Николая, но я вижу в этом скорее утешение в скорби, чем полное счастье. Утешение — не счастье, а целительное средство, свидетельствующее о болезни. Для русского царя сердце является излишним, если вообще сердце у него имеется. Этим,

наверное, и объясняются семейные добродетели императора Николая.

Императрица в этот вечер покинула Петергоф, чтобы переехать в свой летний дворец на островах. Здесь она хотела дождаться венчания дочери [5], которое должно было состояться на следующий день в новом Зимнем дворце. Когда императрица пребывает на островах, то под сенью дерев, окружающих дворец, несет караул Кавалергардский полк, один из самых красивых во всей армии [6].

Мы прибыли на острова слишком поздно, чтобы видеть торжественный выход императрицы с ее священного корабля, но толпа придворных была еще вся под впечатлением обаяния мгновенно промелькнувшего царского созвездия. Человеческие волны напоминали волны морские, прорезанные мощным военным кораблем: гордое судно, несущееся на всех парусах, разбивает шумящие волны, и они еще долго пенятся после того, как самый корабль достиг уже гавани.

Итак, наконец, я дышал воздухом дворца. Но до сих пор мне не довелось видеть ни одного из божеств, которое бы осенило своим появлением простых смертных.

Вокруг дворца или, по крайней мере, вблизи от него расположены наиболее роскошные, богатые виллы. Человек жаждет здесь взгляда своего властелина, как растение живительных лучей солнца. Самый воздух здесь принадлежит государю и каждый дышит лишь постольку, поскольку ему это дозволено: у истинного царедворца легкие так же подвижны, как и его спина.

Повсюду, где есть двор и придворные, царят расчетливость и интриги, но нигде они так явственно не выступают, как в России. Российская империя это — огромный театральный зал, в котором из всех лож следят лишь за тем, что происходит за кулисами.

Хотя русские и гордятся своей роскошью и богатством, однако во всем Петербурге иностранец не может найти ни одной хоть сколько-нибудь сносной гостиницы. Вельможи, приезжающие из внутренних губерний в столицу, привозят с собой многочисленную челядь. Она является лишним признаком богатства, так как люди здесь — собственность их господина. Эти слуги в отсутствие своих господ валяются на диванах и наполняют их насекомыми; в несколько

дней все помещение безнадежно заражено, и невозможность зимой проветривать комнаты делает это зло вечным.

Новый царский дворец[7], который был восстановлен с затратой стольких средств и человеческих жизней, уже заполнен насекомыми, как будто несчастные рабочие, жертвовавшие своей жизнью, чтобы скорее разукрасить дворцовые палаты, перед смертью решили отомстить за свою гибель, заразив убившие их стены насекомыми. Уже сейчас, еще до того, как въехали во дворец, некоторые его комнаты пришлось наглухо запереть. Могу ли я спать у Кулона[8], если даже царский дворец не пощажен этими злейшими ночными врагами? Приходится покориться: светлые ночи облегчают мне бодрствование.

Едва вернувшись с островов, я в полночь снова отправился бродить пешком по городу.

На Невском проспекте, издали, в предрассветном сумраке увидел я колонны Адмиралтейства[9] с сверкающим над ним блестящим металлическим шпилем. Шпиль этого христианского минарета острее любой готической башни и весь покрыт золотом дукатов, принесенных объединенными провинциями Голландии в дар Петру I.

Безобразно грязные номера гостиниц — и это сказочное, великолепное строение! Таков Петербург. Таковы резкие контрасты, встречающиеся здесь на каждом шагу. Европа и Азия тесно переплелись в этом городе друг с другом. <...>

Сегодня вечером мне рассказали много интересных подробностей о так называемом крепостном праве русских крестьян. Мы можем лишь с трудом представить себе положение этого класса людей, лишенных всяких прав и вместе с тем представляющих собой нацию. Хотя русские законы отняли у них все, они все же не так низко пали в нравственном отношении, как в социальном. Они обладают сообразительностью, даже некоторой гордостью, но главной чертой их характера, как и всей их жизни, является лукавство. Никто не в праве бросить им упрека за эту черту характера, столь естественную в их положении.

Во многих частях империи крестьяне верят, что они являются принадлежностью земли. Состояние это кажется им естественным, так как они не дают себе труда подумать над тем, может ли один человек быть

собственностью другого. В других местах крестьяне считают, что земля им принадлежит; эти — наиболее счастливые, если не самые забитые и замученные из русских рабов.

Величайшим несчастьем для крепостных является продажа земли, на которой они родились. Их продают теперь вместе с тем куском земли, с которым они неразрывно связаны, в чем заключается единственное благодеяние нового закона [10], запрещающего продажу людей без земли. Но этот закон помещики обходят всевозможными способами; так, продают не все имение со всеми крестьянами, а отдельные участки и отдельно сотню-другую крестьян. Когда такая незаконная продажа доходит до сведения властей, последние наказывают владельцев, но это случается очень редко, так как между данным деянием и его высшим судьей, т. е. царем, находится стена людей, заинтересованных в том, чтобы все эти злоупотребления скрыть и продолжать.

Помещики страдают от подобного порядка вещей не менее, чем их крепостные, особенно те, у которых дела идут плохо. Поместья продавать очень трудно, и те дворяне, которые обременены значительными долгами, вынуждены для покрытия их получать ссуды и закладывать свои имения в государственном банке. Отсюда следует, что царь является казначеем и кредитором всего русского дворянства, которое, связанное таким образом по рукам и ногам верховной властью, не может выполнить своего долга по отношению к народу.

Какой-то знатный помещик хотел продать свое имение. Крестьяне отправили к нему старейших из деревни, которые, упав на колени, со слезами молили его не продавать их. «Я должен,— ответил помещик,— я не хочу — это противоречит моим правилам — повышать оброк, который платят мне крестьяне, и я недостаточно богат, чтобы сохранить за собой имение, которое мне ничего не приносит». «Если только в этом дело,— сказали крестьяне,— то мы сами достаточно богаты, чтобы остаться у вас». И они тотчас удвоили оброк, который с незапамятных времен выплачивали своему господину.

Другие крестьяне, менее мягкосердечные и более хитрые, восстают против своих господ в единственной надежде стать государственными крепостными [11].

В этом высший предел честолюбия русского крестьянина. Если бы вдруг всех этих людей освободили, то вся страна охвачена была бы огнем. В тот момент, когда крепостные, отделенные от земли, увидели бы, что ее продают, нанимают, обрабатывают без них, они поднялись бы всей массой, крича, что у них отнимают их собственность.

Недавно в какой-то далекой деревне, в которой вспыхнул пожар, крестьяне, изнемогавшие от жестокостей своего господина, воспользовались суматохой, быть может, ими же вызванной, схватили своего врага, убили его, посадили на кол и сжарили в огне пожара. Они рассчитывали, что смогут оправдаться, показав под присягой, что несчастный владелец хотел спалить их избы, и они вынуждены были обороняться. В таких случаях царь обыкновенно высылает всю деревню в Сибирь, и это называется в Петербурге: «заселять Азию».

Когда я думаю о подобных и других, более или менее тайных жестокостях, ежедневно происходящих в этом обширнейшем государстве, где расстояния содействуют и бунтам, и их подавлению, мне становятся ненавистными и страна, и правительство, и весь народ, я испытываю неописуемое отвращение и мечтаю лишь о том, чтобы скорее отсюда уехать.

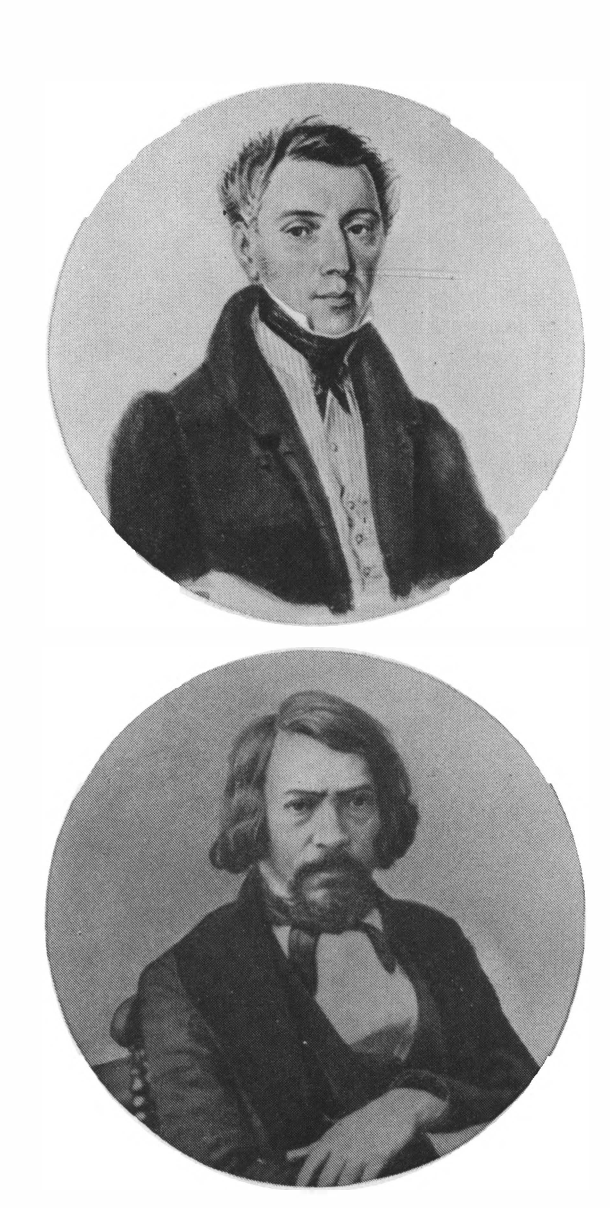
Роскошь цветов и ливрей в домах петербургской знати меня сначала забавляла. Теперь она меня возмущает, и я считаю удовольствие, которое эта роскошь мне доставляла, почти преступлением. Благосостояние каждого дворянина здесь исчисляется по количеству душ, ему принадлежащих. Каждый несвободный человек здесь — деньги. Он приносит своему господину, которого называют свободным только потому, что он сам имеет рабов, в среднем до 10 руб. в год, а в некоторых местностях втрое и вчетверо больше. В России человеческая монета меняет свою ценность, как у нас земля, которая иногда вдвое повышается в цене при нахождении новых рынков для сбыта ее злаков. Я невольно все время высчитываю, сколько нужно семей, чтобы оплатить какую-нибудь шикарную шляпку или шаль. Когда я вхожу в какой-нибудь дом, кусты роз и гортензий кажутся мне не такими, какими они бывают в других местах. Мне чудится, что они покрыты кровью. Я всюду вижу оборотную сторону медали. Количество человеческих душ,





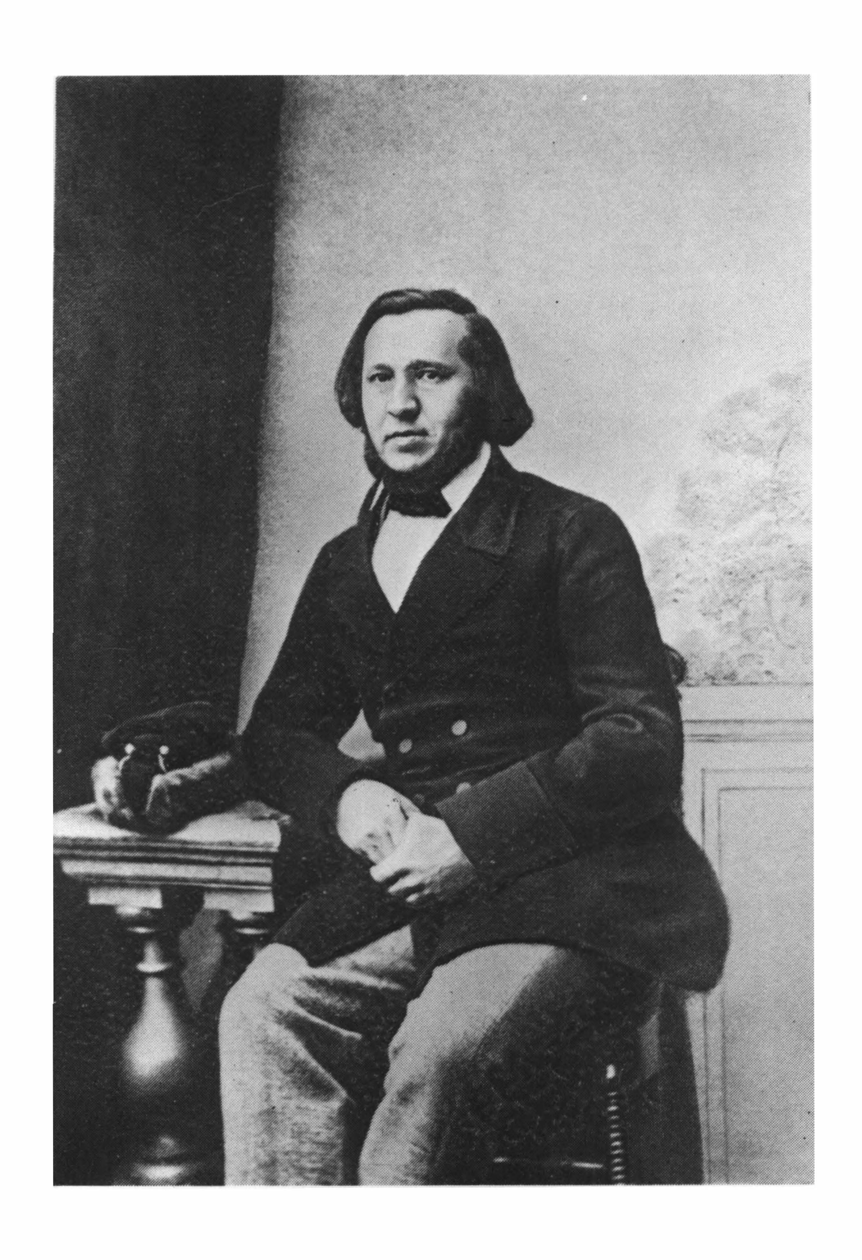
Н. А. БЕЛОГОЛОВЫЙ
Фотография

МОСКВА. ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА (АРКА)
У ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ
С литогр. 1840-х гг.



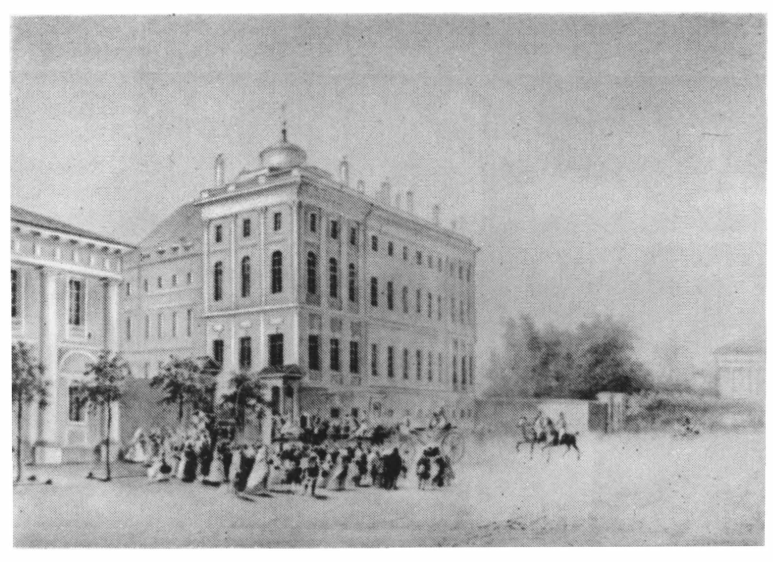
А. П. ЮШНЕВСКИЙ
С акв. Н. А. Бестужева. 1839

А. С. ХОМЯКОВ
Фотография. 1850-е гг.



К. С. АКСАКОВ
Фотография



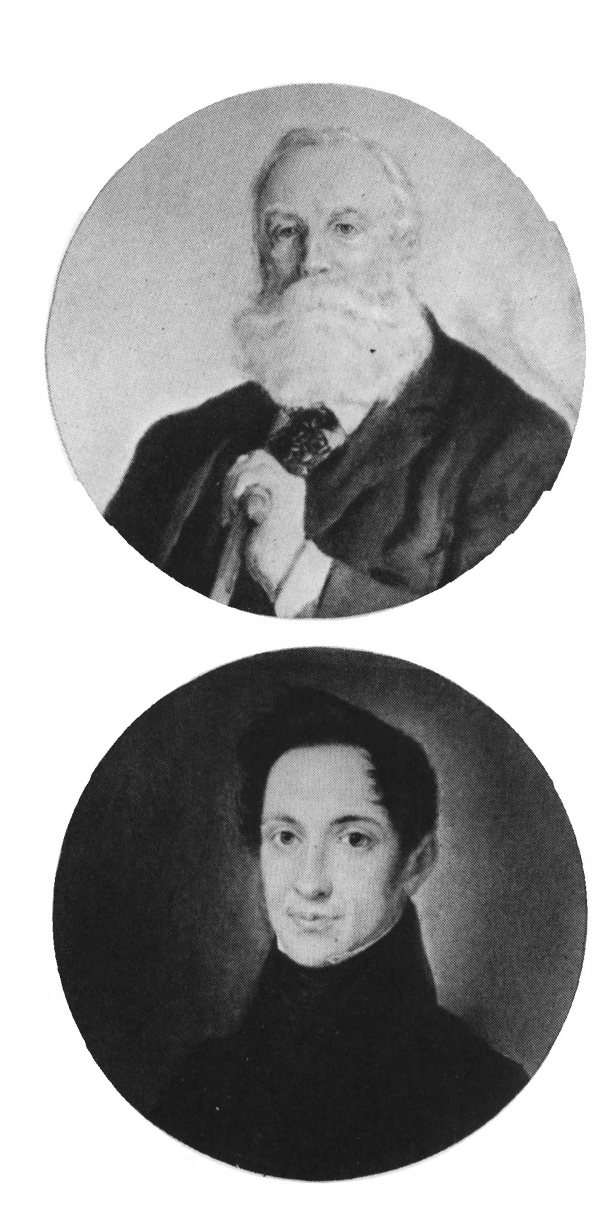


А. И. КОШЕЛЕВ

С литогр. сер. XIX в.

ПЕТЕРБУРГ. ВИД АНИЧКОВА ДВОРЦА

С акв. В. С. Садовникова. 1840-е гг.

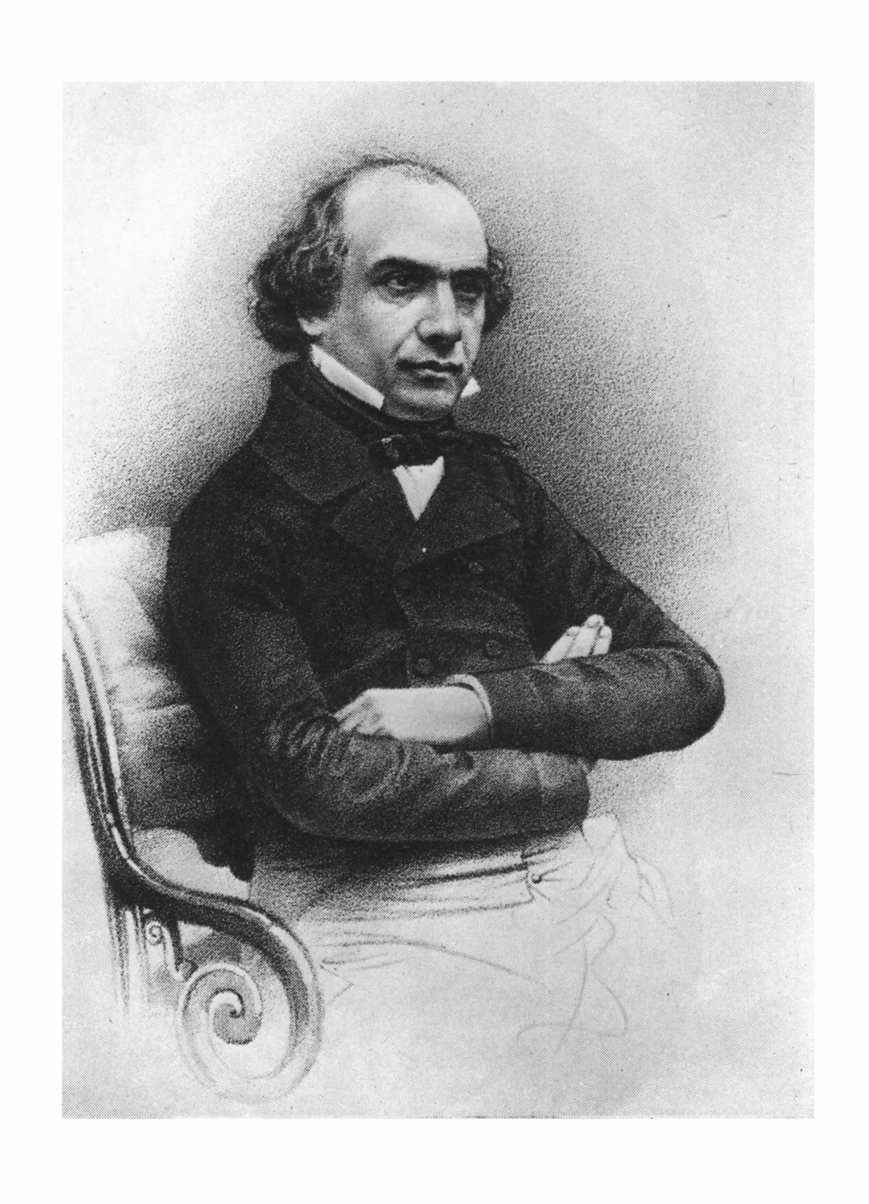


Б. Н. ЧИЧЕРИН

С портр. В. А. Серова. 1903

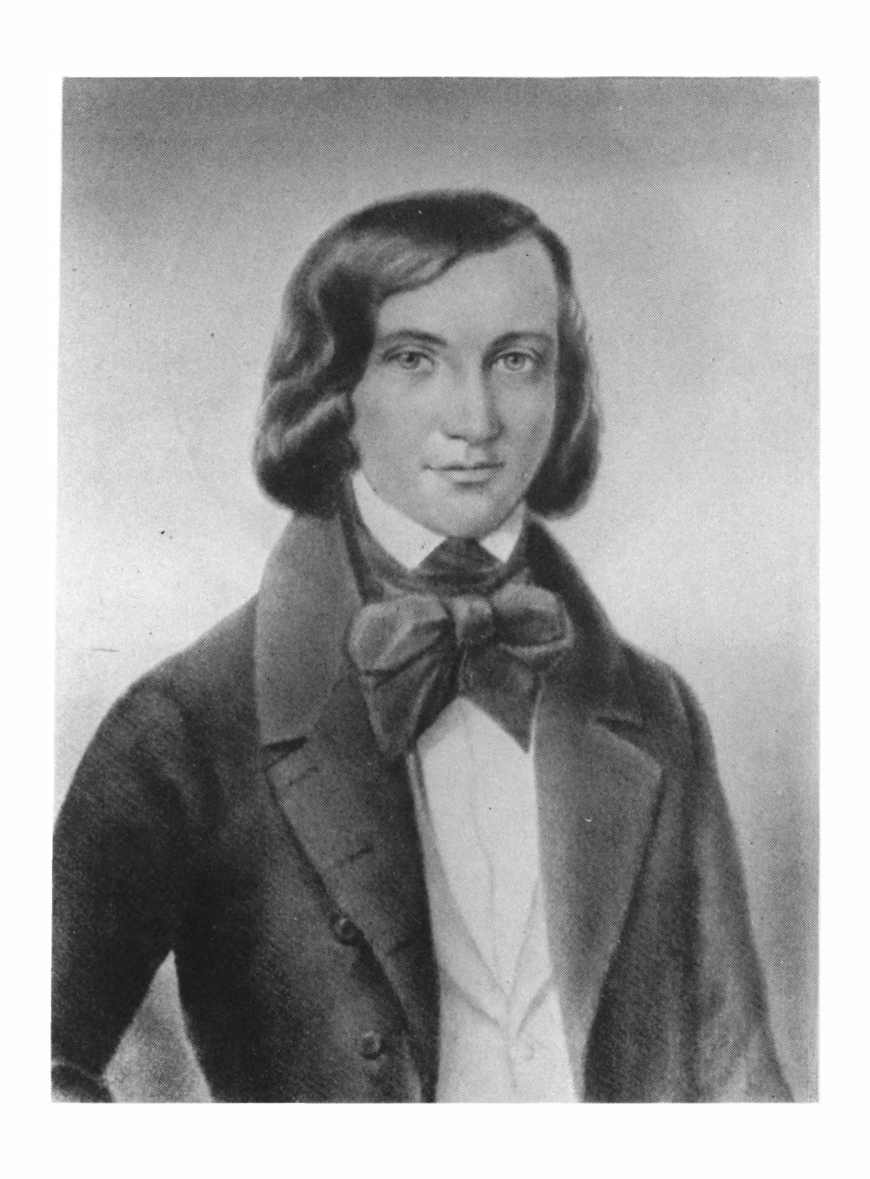
А. И. ГЕРЦЕН

С портр. А. Збруева (?). 1830-е гг.



Т. Н. ГРАНОВСКИЙ

С литогр. П. Бореля. 1849



Н. В. СТАНКЕВИЧ

С акв. Беккера. 1838





Н. Ф. ПАВЛОВ

С литогр. Брандта. 1848

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С акв. Г. И. Барановского. 1848





Н. В. БЕРГ

Фототипия

МОСКВА. ЛУБЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

С литогр. сер. XIX в.



М. С. ЩЕПКИН

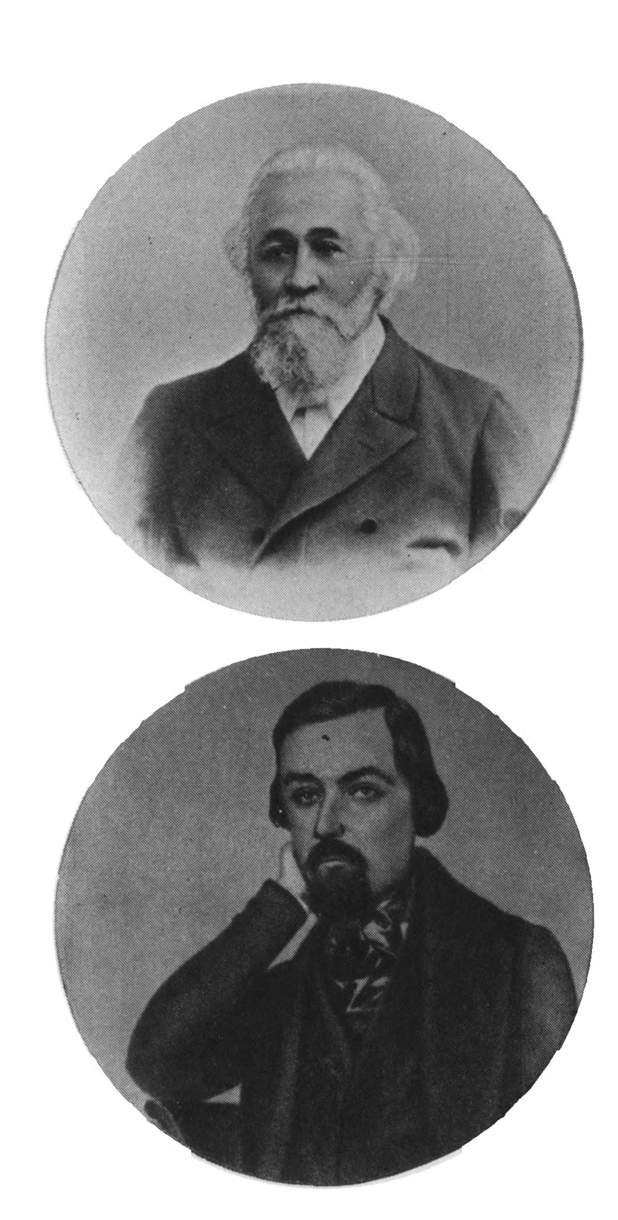
С акв. А. Добровольского. 1839





П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
Фотография

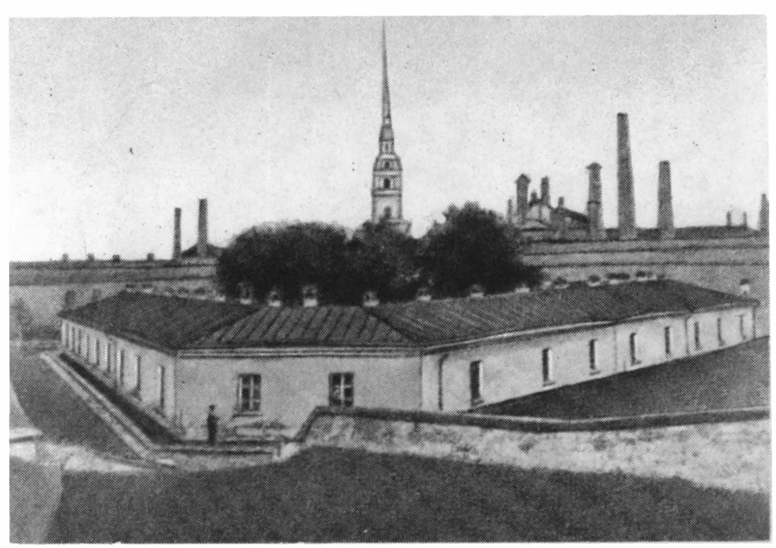
МОСКВА. ЗДАНИЕ БЛАГОРОДНОГО СОБРАНИЯ
С литогр. сер. XIX в.



Д. Д. АХШАРУМОВ
Фотография

Н. А. СПЕШНЕВ
Фотография





М. В. ПЕТРАШЕВСКИЙ
Фотография

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН
Фотография





П. М. КОВАЛЕВСКИЙ
Фотография

Е. П. КОВАЛЕВСКИЙ
Фотография



М. И. ГЛИНКА

Рис. неизв. художника. 1837



РУССКАЯ ЭСКАДРА НА СЕВАСТОПОЛЬСКОМ РЕЙДЕ

С карт. И. К. Айвазовского. 1846

ПЕТЕРБУРГ. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

С литогр.

обреченных страдать до самой смерти для того лишь, чтобы окупить материю, требующуюся знатной даме для меблировки или нарядов, занимает меня гораздо больше, чем ее драгоценности или красота. Эти прелестные дамы напоминают мне карикатуру на Бонапарта, которая в 1813 году была распространена в Париже и по всей Европе: когда смотрели издали на портрет колосса-императора, он казался очень похожим, но, приблизившись к его изображению, ясно видели, что каждая черта его лица была составлена из изуродованных человеческих трупов.

Повсюду бедный работает для богатого, платящего ему за работу. Но человек, который вознаграждается за потраченный труд и время деньгами другого человека, не обречен в течение всей своей жизни на участь домашней скотины, и хотя он изо дня в день должен трудиться, чтобы добывать хлеб своим детям, все же он обладает известной, по крайней мере кажущейся, свободой, а ведь кажущаяся видимость составляет все для существа с ограниченным кругозором и безграничной фантазией. У нас всякий, кто работает за плату, волен искать себе другого работодателя, другое местопребывание, даже другой вид работы, так как его труд не рассматривается как рента богача. Русский крепостной, напротив, является вещью своего владельца. Обреченный со дня рождения и до смерти служить одному и тому же господину, он трудится лишь для того, чтобы доставить рабовладельцу средства к удовлетворению его прихотей и капризов. При таком положении вещей роскошь уже не может быть терпимой и не заслуживает никаких оправданий. В государстве, в котором не существует среднего класса, всякая роскошь должна быть запрещаема, так как она может быть объяснена и оправдана лишь в благоустроенных странах, где средний класс извлекает выгоды и средства к жизни из тщеславия и роскоши высшего общества.

Если, как говорят, России предстоит стать промышленной страной, отношения между крепостными и их владельцами в корне изменятся. Из среды свободных граждан и крепостных должно образоваться сословие независимых купцов и ремесленников, которое сейчас едва лишь только намечается и пополняется главным образом за счет иностранцев. До сих пор почти все фабриканты и купцы — немцы.

Здесь, в Петербурге, вообще легко обмануться видимостью цивилизации. Когда видишь двор и лиц, вокруг него вращающихся, кажется, что находишься среди народа, далеко ушедшего в своем культурном развитии и государственном строительстве. Но стоит только вспомнить о взаимоотношениях разных классов населения, о том, как грубы их нравы и как тяжелы условия жизни, чтобы сразу увидеть под возмущающим великолепием подлинное варварство.

Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я порицаю в них притязание казаться теми же, что и мы. Они еще совершенно некультурны. Это не лишало бы их надежды стать таковыми, если бы они не были поглощены желанием по-обезьяньи подражать другим нациям, осмеивая в то же время, как обезьяны, тех, кому они подражают. Невольно приходит на мысль, что эти люди потеряны для первобытного состояния и непригодны для цивилизации.

В Петербурге все выглядит богато, пышно, великолепно, но если судить о действительной жизни по этой видимой внешности, то можно впасть в жестокое заблуждение. Обыкновенно первым результатом цивилизации является то, что она облегчает материальные условия жизни, здесь же они чрезвычайно тяжелы.

Если бы вы захотели ближе ознакомиться с городом и не удовольствовались для этого Шнитцлером [12], то вы не могли бы найти другого путеводителя. Ни один книгопродавец не продает здесь какого-либо указателя достопримечательностей Петербурга. Знающие местные люди, которых вы спросите об этом, либо заинтересованы в том, чтобы не давать иностранцу исчерпывающих сведений, либо слишком заняты, чтобы вообще ему что-либо ответить. Единственное, чем заняты все мыслящие русские, чем они всецело поглощены, это — царь, дворец, в котором он пребывает, планы и проекты, которые в данный момент при дворе возникают. Поклонение двору, прислушивание к тому, что там происходит,— единственное, что наполняет их жизнь. Все стараются в угоду своему властителю скрыть от иностранца те или иные неприглядные стороны русской жизни. Никто не заботится о том, чтобы искренно удовлетворить его законное любопытство, все охотно готовы обмануть его фальшивыми материалами, и нужен большой крити-

ческий талант для того, чтобы хоть сколько-нибудь успешно путешествовать по России. В условиях деспотизма любознательность является синонимом нескромности.

Возвращаюсь мысленно к своей прогулке на острова. Я очень сожалел, что мне не удалось увидеть императрицу. Говорят, что она прелестна, но ее считают фривольной и заносчивой. Кажется, действительно нужны какая-то возвышенность духа и вместе с тем легкомыслие, чтобы мириться с той жизнью, на которую она обречена. Она ни во что не вмешивается, ни о чем не спрашивает: всегда достаточно знаешь, если ничего не можешь сделать. Русская императрица поступает точно так же, как и все подданные царя: все прирожденные русские и все, проживающие в России, кажется, дали обет молчания обо всем, их окружающем. Здесь ни о чем не говорят и вместе с тем все знают. Тайные разговоры должны были бы быть здесь очень интересны, но кто отважится их вести? Даже размышлять о чем-нибудь значит навести на себя подозрение.

Еще недавно князь Репнин [13] управлял и государством и государем, но два года назад он попал в немилость, и с тех пор в России не произносится его имя, бывшее до того у всех на устах. С вершины власти он был низвергнут в глубочайшую пропасть, и никто не осмелился ни вспомнить, ни думать о его жизни, не только настоящей, но и прошлой. В России в день падения какого-либо министра его друзья должны стать немыми и слепыми. Человек считается погребенным тотчас же, как только он кажется попавшим в немилость. Я говорю «кажется», потому что никто не решается говорить о том, кто уже подвергся этой печальной участи. Поэтому Россия не знает, существует ли сегодня министр, который еще вчера управлял всей страной.

К кому обратится когда-нибудь русский за защитой против этого заговора молчания высшего общества? Какой взрыв мести против самодержавия готовит это добровольное самоуничижение трусливой аристократии? Что делает русское дворянство? Оно поклоняется своему царю и становится соучастником всех преступлений высшей власти, чтобы самому истязать народ до тех пор, пока бог, которому этот господствующий класс служит и который нм же самим

создан, оставит плеть в его руках. Эту ли роль предназначило провидение дворянству в государственном строительстве обширнейшей в мире страны? В истории России никто, кроме государя, не выполнял того, что было его долгом, его прямым назначением,— ни дворянство, ни духовенство. Подъяремный народ всегда достоин своего ярма: тирания — это создание повинующегося ей народа. И не пройдет 50 лет, как либо цивилизованный мир вновь подпадет под иго варваров, либо в России вспыхнет революция, гораздо более страшная, чем та, последствия коей Западная Европа чувствует еще до сих пор. <...>

Глава XI

Петергофский праздник нужно рассматривать с двух точек зрения: материальной и, если можно так выразиться, моральной. В зависимости от того или другого подхода торжество производит совершенно различное впечатление.

Я не видел ничего прекраснее для глаз и ничего печальнее для ума, чем это псевдонародное единение придворных и крестьян, собранных под одной кровлей, но глубоко чуждых друг другу. В общественном смысле это производит очень неприятное впечатление, ибо из ложно понятой жажды популярности император унижает знатных, не возвышая мелкий люд. Все люди равны перед богом, а для русских монарх — это бог. Он так высоко парит над землей, что не видит различий между господином и рабом, мелкие оттенки, разделяющие род человеческий, ускользают от его божественного взора. Так горы и долины, бороздящие поверхность земного шара, незаметны для глаза обитателя солнца.

Когда император два раза в год * раскрывает двери своего дворца перед привилегированными крестьянами и избранными горожанами, он этим не говорит купцу или батраку: «Ты такой же человек, как и я», но говорит дворянину: «Ты такой же раб, как и они, а я, ваш бог, равно властвую над всеми вами». Таков, в сущности, если отбросить все политические фикции, моральный смысл этого праздника, портящий в моих глазах всю его прелесть. Кроме того, я заметил, что

* 1 января в Петербурге и в день тезоименитства императрицы, 22 июля, в Петергофе. *(Прим. автора.)*

монарху и рабам он доставлял гораздо больше удовольствия, чем придворным.

Искать подобия популярности в равенстве подданных — жестокая забава деспота. Она могла бы ослепить, пожалуй, наших предков, но не введет в заблуждение народ, достигший умственной и нравственной зрелости. Конечно, не император Николай ввел в обиход эти всенародные приемы, но тем достойнее для него было бы покончить с ними. Правда, в России ни с чем нельзя покончить без некоторой опасности для реформатора: народы, лишенные законных гарантий своих прав, ищут убежища в обычаях. Слепая преданность дедовским обычаям, отстаиваемым бунтом и ядом,— один из столпов русской «конституции», и насильственная смерть многих монархов доказывает, что русские заставляют уважать эту «конституцию»[14]. Равновесие подобной системы представляется мне неразрешимой загадкой.

Если подойти к Петергофскому празднику как к великолепному зрелищу, как к живописному скоплению людей всех званий в роскошных и живописных нарядах, то он окажется выше всяких похвал. Сколько я о нем ни читал, сколько мне ни рассказывали, я не ожидал ничего подобного: действительность превзошла самую пылкую фантазию.

Представьте себе дворец, выстроенный на природной террасе[15], которая по высоте может сойти за гору в стране беспредельных равнин, в стране, столь плоской, что при подъеме на холм в шестьдесят футов высотой горизонт расширяется чуть ли не до бесконечности. У подножия этой внушительной террасы начинается прекрасный парк, доходящий до самого моря, где вытянулись в линию военные суда, иллюминованные в вечер праздника. Волшебное зрелище! Огни загораются, сверкают, растут, как пожар, и, наконец, заливают все пространство от дворца до вод Финского залива. В парке становится светло, как днем. Деревья освещаются солнцами всех цветов радуги. Не тысячи, не десятки, а сотни тысяч огней насчитываются в этих садах Армиды[16]. А вы любуетесь всем этим из окон дворца, переполненного толпой народа, ведущего себя так, словно он всю жизнь провел при дворе.

Однако хотя целью праздника было стереть различия между сословиями, они все же не смешиваются

друг с другом в толпе. Несмотря на жестокий удар, нанесенный аристократии деспотизмом, в России еще существуют касты. В этом можно усмотреть лишнюю черту сходства с Востоком и одно из разительнейших противоречий общественного строя, созданного нравами народа, с одной стороны, и усилиями правительства, с другой. Так, на этом празднике,— истинной оргии самодержавной власти,— отовсюду сквозь видимый беспорядок бала проглядывали черты порядка, господствующего в стране. Те, кого я встречал, были то купцы, то солдаты, то крестьяне, то придворные, и все отличались друг от друга по костюму. Человек, который не имел бы других отличий, кроме личных заслуг, показался бы здесь аномалией. Не нужно забывать того, что мы находимся здесь на рубеже Азии: русский во фраке кажется мне иностранцем у себя на родине.

Бал оказался настоящим столпотворением. Он считается маскированным потому, что мужчины носят за плечами кусок шелка, именуемый венецианским плащом. Этот «плащ» комично болтается поверх мундиров. Полные народом залы старого дворца представляют собой море лоснящихся от масла голов, над которыми господствует благородная голова императора. Николай I, по-видимому, умеет подчинять себе души людей, а не только возвышаться над толпой по росту. От него исходит какое-то таинственное влияние. В Петергофе, как и на параде, как и на войне, как во все моменты его жизни, вы видите в нем человека, который царствует.

Такое позирование своей царственностью было бы настоящей комедией, если бы от этого постоянного театрального представления не зависело существование шестидесяти миллионов людей, которые живут лишь потому, что этот человек, выступающий перед вами в роли монарха, милостиво разрешает им дышать и предписывает, какими способами должно пользоваться его разрешением. Такова серьезная сторона представления. Отсюда вытекают столь важные последствия, что страх перед ними скоро заглушает желание смеяться.

Нет в наши дни на земле человека, который пользовался бы столь неограниченной властью. Вы не найдете такого ни в Турции, ни даже в Китае. Представьте себе все столетиями испытанное искусство

наших правительств, предоставленное в распоряжение еще молодого и полудикого общества; весь административный опыт Запада, используемый восточным деспотизмом; европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую тиранию; полицию, поставившую себе целью скрывать варварство, а не бороться с ним; тактику европейских армий, служащую для проведения восточных методов политики: вообразите полудикий народ, которого милитаризировали и вымуштровали, но не цивилизовали,— и вы поймете, в каком положении находится русский народ.

Воспользоваться всеми административными достижениями европейских государств для того, чтобы управлять на чисто восточный лад шестидесятимиллионным народом — такова задача, над разрешением которой со времен Петра I изощряются все монархи России.

Знаете ли вы, что значит путешествовать по России? Для поверхностного ума это значит питаться иллюзиями. Но для человека мало-мальски наблюдательного и обладающего к тому же независимым характером, это тяжелый, упорный и неблагодарный труд. Ибо такой путешественник с величайшими усилиями различает на каждом шагу две нации, борющиеся друг с другом: одна из этих наций — Россия, какова она есть на самом деле, другая — Россия, какой ее хотели бы показать Европе.

Русское правительство, проникнутое византийским духом, да, можно сказать, и Россия в целом, всегда смотрели на дипломатический корпус и вообще на европейцев, как на завистливых и злорадных шпионов. В этом отношении между русскими и китайцами наблюдается разительное сходство: и те и другие уверены, что мы им завидуем. Они судят о нас по себе.

Столь прославленное гостеприимство московитов тоже превратилось в чрезвычайно тонкую политику. Она состоит в том, чтобы как можно больше угодить гостям, затратив на это как можно меньше искренности. И наилучшей репутацией пользуются те путешественники, которые легче других даются в обман. Здесь вежливость есть ничто иное, как искусство взаимно скрывать тот двойной страх, который каждый испытывает и внушает. Всюду и везде мне чудится прикрытая лицемерием жестокость, худшая, чем во

времена татарского ига: современная Россия гораздо ближе к нему, чем нас хотят уверить. Везде говорят на языке просветительной философии XVIII века, и везде я вижу самый невероятный гнет. Мне говорят: «Конечно, мы хотели бы обойтись без произвола, мы были бы тогда богаче и сильнее. Но, увы, мы имеем дело с азиатским народом». И в то же время говорящие думают: «Конечно, хорошо было бы избавиться от необходимости говорить о либерализме и филантропии, мы стали бы счастливее и сильнее, но, увы, нам приходится иметь дело с Европой».

Русские всех званий и состояний с удивительным, нужно сознаться, единодушием способствуют подобному обману. Они до такой степени изощрены в искусстве лицемерия, они лгут с таким невинным и искренним видом, что положительно приводят меня в ужас. Все, чем я восхищаюсь в других странах, я здесь ненавижу, потому что здесь за это расплачиваются слишком дорогой ценой. Порядок, терпение, воспитанность, вежливость, уважение, естественные и нравственные отношения, существующие между теми, кто распоряжается, и теми, кто выполняет, одним словом все, что составляет главную прелесть хорошо организованных обществ, все, в чем заключается смысл существования политических учреждений, все сводится здесь к одному-единственному чувству — к страху. В России страх заменяет, вернее, парализует мысль. Когда чувство страха господствует безраздельно, оно способно создать только видимость цивилизации. Что бы там ни говорили близорукие законодатели, страх никогда не сможет стать душой правильно организованного общества, ибо он не создает порядка, а только прикрывает хаос. Где нет свободы, там нет души и правды. <...>

Право, эта страна поразительно поддается всем видам обмана. Рабы существуют во многих странах, но чтобы найти такое количество придворных рабов, нужно приехать в Россию. Не знаешь, чему больше удивляться: лицемерию или противоречиям, господствующим в этой империи. Екатерина II не умерла, ибо, вопреки открытому характеру ее внука [17], Россией по-прежнему правит притворство. Искренно сознаться в тирании было бы здесь большим шагом вперед.

В этом, как и во многих других случаях, иностранцы, описывавшие Россию, помогали русским обманывать весь мир. Что может быть угодливей писателей, сбежавшихся сюда со всех концов Европы, чтобы проливать слезы умиления над трогательной фамильярностью отношений, связывающих русского царя с его подданными? Неужели престиж деспотизма так силен, что подчиняет себе даже не мудрствующих лукаво любопытных? Либо Россию еще не описывали люди, независимые по своему общественному положению или духовным качествам, либо даже самые искренние умы, попадая в Россию, теряют свободу суждений.

Что касается меня, то я охраняю себя от этих влияний отвращением, которое испытываю ко всякому лицемерию. Я ненавижу лишь одно зло, и ненавижу его так потому, что, по моему мнению, оно порождает и заключает в себе все остальные. Это ненавистное мне зло — ложь. Везде, где мне приходилось сталкиваться с ложью, я старался ее разоблачать. Отвращение к неправде придает мне желание и смелость описать это путешествие. Я предпринял его из любопытства, я рассказываю о нем по чувству долга. Любовь к истине так сильна во мне, что заставляет даже любить современную эпоху. Если наш век и грубоват немного, то он во всяком случае искренней, чем его предшественник. Он отличается отвращением, которое я вполне разделяю, к притворству всякого рода. Ненависть к лицемерию — вот факел, светящий мне в лабиринте мира. Те, кто обманывают своих ближних, представляются мне отравителями, и чем выше занимаемое ими общественное положение, тем они виновнее в моих глазах.

Вот почему я вчера не мог наслаждаться от всего сердца зрелищем, ласкавшим помимо воли мое зрение. Если это зрелище и не было столь трогательно, как старались меня уверить, то оно во всяком случае было пышно, великолепно, оригинально. Но оно казалось мне проникнутым ложью, и этого было достаточно, чтобы лишить его для меня всякой прелести. Стремление к правде, воодушевляющее ныне французов, еще неизвестно в России.

В конце концов, что представляет собой эта толпа, именуемая народом и столь восхваляемая в Европе за свою фамильярную почтительность к монарху?

Не обманывайте себя напрасно: это — рабы рабов. Вельможи с большим разбором выбирают в своих поместьях крестьян и посылают их приветствовать императрицу. Этих отборных крестьян впускают во дворец, где они изображают народ, не существующий за его стенами, и смешиваются с придворной челядью. Последняя открывает двери дворца наиболее благонадежным и известным своей лояльностью купцам, ибо подлинно русским людям необходимо присутствие нескольких бородатых личностей. Так на самом деле составляется тот «народ», которого преданность и прочие замечательные чувства русские монархи ставят в пример другим народам, начиная со времен императрицы Елизаветы. Ею, кстати сказать, и заведены, по-видимому, эти народные празднества.

Вчера некоторые придворные восхваляли при мне благовоспитанность своих крепостных. «Попробуйте-ка устроить такой праздник во Франции»,— говорили они. «Прежде, чем сравнивать оба народа,— хотелось мне ответить,— подождите, чтобы ваш народ начал существовать».

Россия — империя каталогов: если пробежать глазами одни заголовки — все покажется прекрасным. Но берегитесь заглянуть дальше названий глав. Откройте книгу — и вы убедитесь, что в ней ничего нет: правда, все главы обозначены, но их еще нужно написать. Сколько лесов являются лишь болотами, где не собрать и вязанки хвороста. Сколько есть полков в отдаленных местностях, где не найти ни единого солдата. Сколько городов и дорог существует лишь в проекте. Да и вся нация, в сущности, не что иное, как афиша, расклеенная по Европе, обманутой дипломатической фикцией. Настоящая жизнь сосредоточена здесь вокруг императора и его двора.

Средний класс мог бы образоваться из купечества, но оно так малочисленно, что не имеет никакого влияния. Артистов немногим больше, но если их немногочисленность доставляет им уважение сограждан и способствует личному преуспеянию, то она же сводит на нет их социальное значение. Адвокатов не может быть в стране, где отсутствует правосудие. Откуда же взяться среднему классу, который составляет основную силу общества и без которого народ превращается в стадо, охраняемое хорошо выдрессированными овчарками?

Я не упомянул одного класса, представителей которого нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу; это — сыновья священников. Из них преимущественно набирается армия чиновников, эта сущая язва России. Эти господа образуют нечто вроде дворянства второго сорта, дворянства, чрезвычайно враждебного настоящей знати, проникнутого антиаристократическим духом и вместе с тем угнетающего крепостных. Я уверен, что этот элемент начнет грядущую революцию в России.

Повторю еще раз: все в России — один обман, и милостивая снисходительность царя, допускающего в раззолоченные чертоги своих рабов, только лишняя насмешка.

Смертная казнь не существует в России, за исключением случаев государственной измены. Однако некоторых преступников нужно отправить на тот свет. В таких случаях для того, чтобы согласовать мягкость законов с жестокостью нравов, поступают следующим образом: когда преступника приговаривают более, чем к ста ударам кнута, палач, понимая, что означает такой приговор, из чувства человеколюбия убивает приговоренного третьим или четвертым ударом. Но смертная казнь отменена [18]. Разве обманывать подобным образом закон не хуже, чем открыто провозгласить самую безудержную тиранию?

Среди шести или семи тысяч представителей этого лженарода, скопившегося вчера вечером в Петергофском дворце, я напрасно искал хотя бы одно веселое лицо: люди не смеются, когда лгут.

Можно доверять моей оценке самодержавного образа правления, ибо я приехал в Россию именно с целью найти в ее строе рецепт против бедствий, угрожающих Франции. Если вам кажется, что я сужу Россию слишком строго, знайте, что виною тому лишь те невольные впечатления, которые я получаю ежедневно и которые каждый истинный друг человечества на моем месте истолковывал бы точно таким же образом.

Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора. И если что-либо может сравняться с горем подданных, то только печальное положение монарха. Жизнь тюремщика, в моих глазах, ничем не лучше жизни заключенного. Поэтому меня всегда удивляла своеоб-

разная умственная аберрация, из-за которой первый считает второго бесконечно более заслуживающим сострадания.

В России человек не знает ни возвышенных наслаждений культурной жизни, ни полной и грубой свободы дикаря, ни независимости и безответственности варвара. Тому, кто имел несчастье родиться в этой стране, остается только искать утешения в горделивых мечтах и надеждах на мировое господство. К такому выводу я прихожу всякий раз, когда пытаюсь анализировать моральное состояние жителей России. Россия живет и мыслит как солдат армии завоевателей. А настоящий солдат любой страны — не гражданин, но пожизненный узник, обреченный сторожить своих товарищей по несчастью, таких же узников, как и он.

Итак, все в России сосредоточено в особе монарха. Он задает тон всему, а придворные хором подхватывают припев. Русские придворные напоминают мне марионеток со слишком толстыми веревочками.

Не верю я и в честность «мужика». Меня с пафосом уверяют, что он не сорвет ни одного цветка в садах своего царя. Этого я и не думаю оспаривать. Я знаю, какие чудеса творит страх. Но я знаю также, что эти крестьяне-«царедворцы» не пропустят случая обокрасть своего сотрапезника-вельможу, если последний, чрезмерно растрогавшись поведением меньшого брата и доверившись его высокой честности, хоть на минуту перестанет следить за движениями его рук.

Вчера на придворно-народном балу в Петергофском дворце у сардинского посла чрезвычайно ловко вытащили из кармана часы, несмотря на наличие предохранительной цепочки. Многие из присутствующих потеряли в сумятице носовые платки и другие вещи. Я лично лишился кошелька, но утешился в этой потере, посмеиваясь втихомолку над похвалами, расточаемыми честности русского народа. Его хвалители хорошо знают, чего стоят их громкие фразы, и я очень доволен тем, что также познал это. Как бы русские ни старались и что бы они ни говорили, каждый искренний наблюдатель увидит в них лишь византийцев времен упадка, обученных современной стратегии пруссаками XVII века и французами нынешнего столетия.

Я очень люблю уклоняться в сторону. Некоторая беспорядочность изложения любезна моему сердцу, влюбленному во все, что напоминает свободу. Кажется, я избавился бы от привычки к отступлениям только в том случае, если бы пришлось каждый раз просить прощения у читателя и придумывать всякие стилистические уловки, ибо тогда умственные усилия отравили бы удовольствие. <...>

Глава XIV

По последним собранным мною сегодня утром сведениям о петергофской катастрофе, ее размеры превзошли мои предположения. Впрочем, мы никогда не узнаем действительных размеров этого печального события. Каждый несчастный случай рассматривается здесь как государственное дело. Во всем виноват господь бог, забывший свои обязанности по отношению к императору.

Политические суеверия, составляющие душу этого общества, делают государя ответственным за все происходящее. Когда моего пса ударят, он просит у меня защиты; когда всевышний посылает напасти на русских, они взывают к царю. Самодержец, совершенно безответственный с политической точки зрения, отвечает за все. Это — естественный результат захвата человеком божеских привилегий. Монарх, позволяющий видеть в себе больше, чем смертного, принимает на себя все беды, могущие постигнуть народ в его царствование. Из этого своеобразного политического фанатизма вытекают невероятно щекотливые последствия, о которых не имеют понятия ни в одном другом государстве. Впрочем, тайна, которою полиция считает своим долгом окружать несчастья, меньше всего зависящие от человеческой воли, не достигает цели, ибо оставляет неограниченную свободу воображению. Каждый передает одни и те же факты поразному, в зависимости от своих интересов, опасений, взглядов или настроений, в зависимости от своего положения в обществе или при дворе. Судите же сами, в каких мы бродим потемках, если даже происшествие, случившееся, так сказать, перед нашими глазами, должно навсегда остаться невыясненным. До сих пор я думал, что истина необходима человеку как воздух, как солнце. Путешествие по России меня в этом

разубеждает. Лгать здесь значит охранять престол, говорить правду значит потрясать основы.

Вот два эпизода, за достоверность которых я ручаюсь.

Девять человек одной семьи, живущих вместе и недавно приехавших из провинции, неосторожно наняли лодку без палубы, слишком хрупкую для плавания по морю. Разразилась буря. Ни один не вернулся. Уже три дня обыскивают все берега, и до сегодняшнего утра не было найдено никаких следов несчастных. Заявили о них соседи, так как у них нет родственников в Петербурге. Наконец, нашли их ялик, выброшенный на песчаную косу, вблизи от Петербурга. Но ни одного пассажира, ни одного матроса! Итак, вот вам девять точно установленных жертв, не считая моряков. А таких небольших суденышек было очень много. Сегодня утром наложили печати на двери опустевшего домика. Он стоит рядом с тем, в котором я живу; вследствие этого обстоятельства я и мог рассказать приведенные выше факты. В противном случае я бы не знал о них, как не знаю многих аналогичных. Политический сумрак более непроницаем, чем полярное небо...

Вот второй эпизод той же катастрофы.

Трое молодых англичан (я лично знаю старшего из них) несколько дней тому назад приехали в Петербург. Их отец в Англии, мать поджидает их в Карлсбаде. В день праздника два младших брата отправились в Петергоф. Старший отказался ехать, повторяя на их уговоры, что он нелюбопытен. Те двое отчаливают на небольшой парусной яхте, крича провожающему их благоразумному брату: «До завтра». Три часа спустя оба утонули вместе со многими женщинами, несколькими детьми и двумя или тремя мужчинами, выехавшими на той же яхте. Спасся только один матрос из команды, отличный пловец. Оставшийся в живых брат близок к помешательству от отчаяния и готовится к поездке в Карлсбад, чтобы сообщить матери ужасное известие.

Вы представляете себе, сколько разговоров, споров, предположений и криков вызвала бы такая катастрофа в любой другой стране, а в особенности во Франции. Газеты бы писали и тысячи голосов подхватывали хором, что полиция ни за чем не смотрит, что лодки никуда не годны, а лодочники — жадные

акулы, что власти не только ничего не делают для предотвращения таких несчастий, но даже их усугубляют то ли по своей беспечности, то ли по корыстолюбию, и т. д., и т. п. Здесь — ничего подобного... Молчание еще более страшное, чем самая катастрофа. Две-три строчки в газете, а при дворе, в городе, в великосветских гостиных — ни слова. Если же там об этом не говорят, то, значит, не говорят и нигде. Маленькие чиновники еще запуганней, чем их начальники, и если последние молчат, то первые молчат и подавно. Остаются купцы и лавочники, но это народ хитрый и лукавый, как все, кто хочет жить и процветать в этой благословенной стране. Если они и говорят о предметах важных и, следовательно, небезопасных, то только на ушко и в четырех стенах.

России приказано не говорить о том, что может взволновать государыню. Таким-то способом ей дают возможность жить и умереть, танцуя. «Ах, это огорчило бы ее! Молчите». Поэтому тонут дети, друзья, родные — и никто не смеет плакать. Здесь все слишком несчастны для того, чтобы жаловаться. Русские — прирожденные царедворцы: солдаты, священники, шпионы, тюремщики, палачи — все выполняют свой долг низкопоклонства.

Я часто повторяю себе: здесь все нужно разрушить и заново создать народ.

Пожалуй, и о потопе было бы неудобно говорить, произойди он в царствование императора Николая. Русский народ — нация немых. Словно некий волшебник превратил шестьдесят миллионов человек в автоматов, ожидающих магической палочки другого чародея, чтобы возродиться к новой жизни. Страна эта напоминает мне замок спящей красавицы: все блестит, везде золото и великолепие. Все здесь есть, не хватает только свободы, то есть — жизни.

Язва замалчивания распространена в России шире, чем думают. Полиция, столь проворная, когда нужно мучить людей, отнюдь не спешит, когда обращаются к ней за помощью.

Вот пример такой нарочитой бездеятельности.

На масленице текущего года одна моя знакомая в воскресенье отпустила со двора свою горничную. Приходит ночь, девушка не возвращается. Наутро встревоженная дама посылает человека навести справки в полиции. Там отвечают, что за ночь в Пе-

тербурге не случилось ни одного происшествия, поэтому горничная несомненно скоро возвратится целая и невредимая. Проходит день — о девушке ни слуху, ни духу. Наконец, на следующий день одному из родных несчастной, молодому человеку, хорошо знающему тайные повадки полиции, приходит в голову мысль проникнуть в анатомический театр. Не успев войти, он видит на столе труп своей кузины, приготовленный для вскрытия.

Как человек русский, он сохраняет достаточно присутствия духа, чтобы скрыть свое волнение.

— Чей это труп?

— Понятия не имеем. Эту девушку позавчерашней ночью нашли мертвой на улице. Предполагают, что она была задушена, обороняясь от каких-то неизвестных, пытавшихся изнасиловать ее.

— Кто же эти «неизвестные»?

— Откуда мы знаем? Случай вообще темный, можно строить разные предположения, доказательств нет никаких.

— Как к вам попал труп?

— Нам его продала тайком полиция; поэтому, смотрите, не проговоритесь.

Последняя фраза — неизбежный припев в устах русского или акклиматизировавшегося иностранца. Для русских нравов и обычаев характерно глубокое молчание, окружающее подобные ужасы.

Кузен погибшей девушки молчал как убитый, ее хозяйка не посмела жаловаться. И я, быть может, единственный человек, которому она, спустя шесть месяцев, рассказала об этой трагедии, потому что я иностранец и потому что, как я ей сказал, я ничего не записываю.

Вы видите, как низшие служащие русской полиции выполняют свой долг. Боюсь, что наставления этих господ сопровождаются действиями, способными навсегда запечатлеть слова в памяти несчастных провинившихся. Русский простолюдин получает на своем веку не меньше побоев, чем делает поклонов. И те, и другие применяются здесь равномерно в качестве методов социального воспитания народа. Бить можно только людей известных классов и бить их разрешается лишь людям других классов.

Я уже писал о вежливости, распространенной среди всех классов русского населения, и о том, чего она

стоит на самом деле. Здесь я расскажу лишь несколько сценок, происходящих ежедневно перед моими глазами.

Итак, извозчики при встрече друг с другом церемонно снимают шляпы. В том случае, если они лично знакомы, они подносят руку к губам и целуют ее, прищурив глаза и фамильярно улыбаясь. Это ли не вежливость? А вот другая сторона медали: пройдя несколько шагов дальше, я вижу, как какой-то курьер, фельдъегерь или некто не выше его по рангу, выскакивает из своей брички, подбегает к одному из таких благовоспитанных кучеров и начинает осыпать его ударами. Он может бить его изо всей силы кулаками, палкой, кнутом в грудь, в лицо, по голове, куда попало. И несчастный, виноватый тем, что не посторонился достаточно быстро, не оказывает ни малейшего сопротивления из почтения к мундиру и касте своего мучителя. Такая безропотность провинившегося отнюдь не всегда сокращает время экзекуции.

Я видел, как один из подобных курьеров, гонец какого-либо министра или, быть может, лакей какого-то адъютанта императора, стащил с облучка молодого кучера и колотил его до тех пор, пока не разбил все лицо в кровь. На прохожих, между тем, эта зверская расправа не произвела никакого впечатления, а один из товарищей истязуемого, поивший неподалеку своих лошадей, даже подбежал к месту происшествия по знаку разгневанного фельдъегеря и держал под уздцы лошадь последнего, пока тому не заблагорассудилось прекратить экзекуцию. Попробуйте в какой-нибудь другой стране попросить помощи у человека из народа для расправы с его сотоварищем. Но мундир и служебное положение человека, наносившего удары, очевидно, давали ему право на избиение извозчика. Следовательно, наказание было законным. Тем хуже для страны, скажу я, в которой существуют подобные законы.

Рассказанный только что случай произошел в лучшей части города, в разгар гулянья. Когда несчастного, наконец, отпустили, он обтер струившуюся по щекам кровь самым спокойным образом, взобрался на облучок и продолжал вежливо приветствовать своих товарищей по ремеслу.

Каждый день я слышу дифирамбы населению Петербурга за его кроткий нрав и мирный характер.

В другой стране я восторгался бы таким спокойствием и тишиной; здесь они представляются мне самыми страшными симптомами зла, поражающего страну при самодержавии. Дрожат до того, что скрывают свой страх под маской спокойствия, любезного угнетателю и удобного для угнетенного. Тиранам нравится, когда кругом улыбаются. Благодаря нависшему над головами всех террору рабская покорность становится незыблемым правилом поведения. Жертвы и палачи одинаково убеждены в необходимости слепого повиновения. <...>

Больше всего меня возмущает то, что в России самое утонченное изящество уживается рядом с самым отвратительным варварством. Если бы в жизни светского общества было меньше роскоши и неги, положение простого народа внушало бы мне меньше жалости. Богатые здесь — не сограждане бедных. Рассказанные факты и все то, что за ними скрывается и о чем можно только догадываться, заставили бы меня ненавидеть самую прекрасную страну земного шара. Тем больше я презираю это размалеванное болото, эту отштукатуренную топь. «Что за преувеличения! — воскликнут русские,— какие громкие фразы из-за пустяков». Я знаю, что вы называете это пустяками, и в этом вас и упрекаю! Ваша привычка к подобным ужасам объясняет ваше безразличное к ним отношение, но отнюдь его не оправдывает. Вы обращаете не больше внимания на веревки, которыми на ваших глазах связывают человека, чем на ошейники ваших собак.

Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить человека до смерти без суда и следствия — это кажется в порядке вещей публике и полицейским ищейкам Петербурга. Дворяне и мещане, военные и штатские, богатые и бедные, большие и малые, франты и оборванцы — все спокойно взирают на происходящее у них на глазах безобразие, не задумываясь над законностью такого произвола. Я не видел выражения ужаса или порицания ни на одном лице, а среди зрителей были люди всех классов общества. В цивилизованных странах гражданина охраняет от произвола агентов власти вся община; здесь должностных лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного. Рабы вообще не протестуют.

Император Николай составил новое уложение[19]. Если рассказанные мною факты не противоречат законам этого кодекса, тем хуже для законодателя. Если же они не законны, тем хуже для правителя. И в том, и в другом случае ответственность ложится на императора. Какое несчастье быть только человеком, принимая на себя обязанности господа бога! Абсолютную власть следовало бы вручать одним лишь ангелам. <...>

Нравы народа являются продуктом взаимодействия между законами и обычаями. Они изменяются не по взмаху волшебной палочки, а чрезвычайно медленно и постепенно. Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру — они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести — и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится.

Разве из того, что дикарь обладает тщеславием светского человека, следует, что он приблизился к культуре? Я уже говорил и повторю еще раз: русские не столько хотят стать действительно цивилизованными, сколько стараются нам казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы с огнестрельным оружием. Намерения Николая подтверждают мои взгляды. Он еще до меня пришел к заключению, что время обманчивой внешности прошло для России и что все здание ее цивилизации должно быть перестроено. Он решил подвести под него новый фундамент. Петр, названный Великим, снес бы его вторично до основания, чтобы выстроить заново. Николай более ловок и осторожен. Он скрывает свои цели, чтобы тем вернее их достигнуть.

Взгляды ныне царствующего государя проявляются даже на улицах Петербурга. Он уже не довольствуется скороспелыми постройками из кое-как отштукатуренного кирпича. Камень повсюду вытесняет штукатурку, и здания солидной и массивной архитектуры скоро заставят исчезнуть ложноклассические декорации. Нужно вернуть народу первоначальный

характер, дабы сделать его достойным истинной цивилизации. Чтобы народ мог достигнуть всего, на что он способен, он должен не копировать иностранцев, но развивать свой национальный, одному ему присущий дух.

В один прекрасный день семьдесят тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во главе с императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании присутствовать при водружении колонны, выполненной по проекту француза г-на Монферрана[20] (французы еще необходимы русским). Замысловатые машины действуют отлично, и в ту минуту, когда колоссальная колонна словно оживает и, освобожденная от пут, подымается все выше и выше, войска и вся толпа, как один человек, и сам император, падают на колени, чтобы возблагодарить бога за такое чудо и за те великие дела, которые он позволяет совершать своему народу.

Глава XV

Нет ничего печальнее Санкт-Петербурга в отсутствие императора. Правда, этот город вообще нельзя назвать веселым, но без государя и его двора он превращается в пустыню. Как известно, он живет под вечной угрозой наводнения, и, проходя сегодня по безлюдным набережным, по опустевшим бульварам, я говорил себе: «Петербург будет затоплен; жители бегут, и воды снова завладеют трясиной. На сей раз природа остается сильнее человека». Но дело совсем не в этом. Петербург умер, потому что император в Петергофе. Вот и все.

Только царь может населить этот бивуак, покидаемый всякий раз, когда хозяин исчезает. Только царь внушает страсти и желания автоматам, он — волшебник, чье присутствие будит Россию. Стоит ему уйти, и она погружается в сон. Когда двор уезжает, Петербург принимает вид театрального зала после спектакля. С тех пор, как я возвратился из Петергофа, я не узнаю пышной столицы. Это не город, покинутый мною четыре дня тому назад. Но если бы император вернулся сегодня, завтра бы все ожило и зашевелилось, и то, что сегодня наводит скуку, стало бы завтра захватывающе интересным. Нужно быть русским, чтобы понять, какую власть имеет взор мо-

нарха. В его присутствии астматик начинает свободно дышать, к парализованному старцу возвращается способность ходить, больные выздоравливают, влюбленные забывают свою страсть, молодые люди перестают думать о партиях. Место всех человеческих стремлений, помыслов и желаний занимает одна всепознающая страсть — честолюбие, одна всепобеждающая мысль — выдвинуться во что бы то ни стало, подняться на следующую ступень, ловя улыбку властелина. Одним словом, царь — это бог, жизнь и любовь для этих несчастных людей.

Но каким путем пришли русские к такому полнейшему самоотрицанию, к такому полному забвению человеческого достоинства? Каким средством достигли подобных результатов? Средство весьма простое — «чин». Чин это — гальванизм [21], придающий видимость жизни телам и душам, это — единственная страсть, заменяющая все людские страсти. Я показал вам действие, оказываемое «чином». Теперь нужно рассказать, что он собой представляет.

Чин — это нация, сформированная в полки и батальоны, военный режим, примененный к обществу в целом и даже к сословиям, не имеющим ничего общего с военным делом. С тех пор, как введена эта иерархия, человек, никогда не видевший оружия, может получить звание полковника.

Петр Великий — к нему мы всегда должны возвращаться, чтобы понять современную Россию, — Петр Великий почувствовал однажды, что некоторые национальные предрассудки, связанные с доисторическим строем, могут помешать ему в осуществлении его планов. Он заметил, что кое-кто из его стада склонен к чрезмерной независимости, к известной самостоятельности мышления. И вот, дабы покончить с этим злом, самым неприятным и тяжелым для ума проницательного и энергичного в своей области, но слишком ограниченного и не понимающего преимуществ известной доли свободы для самих правителей, этот великий мастер в деле произвола не придумал ничего лучшего, как разделить свое стадо, то есть народ, на ряд классов, не имеющих никакого отношения к происхождению соответствующих индивидуумов [22]. Так, сын первого вельможи империи может состоять в последнем классе, а сын его крепостного по прихоти монарха может дойти до первых клас-

сов. Словом, каждый получает то или иное место в зависимости от милости государя. Таким-то образом, благодаря «чину», одному из величайших дел Петра, Россия стала полком в шестьдесят миллионов человек.

Петр отлично понимал, что, поскольку в стране существует аристократия, самодержавная власть в значительной мере останется фикцией. Поэтому он сказал себе: «Чтобы стать действительно самодержцем, нужно уничтожить последние остатки феодализма, а чтобы достигнуть этого, лучше всего создать карикатуру на аристократов, то есть покончить со знатью, сделав ее зависимой от меня». Дворянство не уничтожено, но преобразовано, то есть сведено на нет чем-то, занявшим его место, но не заменившим его. Достаточно стать членом новой иерархии, чтобы достигнуть со временем наследственного дворянства. Таким-то путем Петр Великий, опередив почти на целое столетие современные революции, разрушил феодальный строй.

Из подобной организации общества проистекает такая лихорадка зависти, такое напряжение честолюбия, что русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира. Мысль моя постоянно возвращается к этому, потому что никакой другой целью нельзя объяснить безмерные жертвы, приносимые государством и отдельными членами общества. Очевидно, народ пожертвовал своей свободой во имя победы. Без этой задней мысли, которой люди повинуются, быть может, бессознательно, история России представлялась бы мне неразрешимой загадкой.

Здесь возникает серьезный вопрос: суждено ли мечте о мировом господстве остаться только мечтой, способной еще долгое время наполнять воображение полудикого народа, или она может в один прекрасный день претвориться в жизнь? Эта дилемма не дает мне покоя, и, несмотря на все усилия, я не могу ее разрешить. Скажу лишь одно: с тех пор, как я в России, будущее Европы представляется мне в мрачном свете. Однако я должен сознаться, что такое мнение оспаривается очень умными и наблюдательными людьми. Последние уверяют меня, что я преувеличиваю могущество российской империи, что каждое государство имеет свой удел, что участь России — завоевать Восток и затем распасться на части.

Мои оппоненты, отказывающиеся верить в блестящее будущее славян, признают вместе со мной положительные качества этого народа, его одаренность, его чувство изящного, способствующее развитию искусства и литературы. Но, по их мнению, эти качества недостаточны для осуществления тех честолюбивых замыслов, которые я предполагаю в русском правительстве. «Научный дух отсутствует у русских,— прибавляют мои противники,— у них нет творческой силы, ум у них по природе ленивый и поверхностный. Если они и берутся за что-либо, то только из страха. Страх может толкнуть их на любое предприятие, но он же мешает им упорно стремиться к заранее намеченной цели. Гений по натуре сродни героизму, он живет свободой, тогда как страх и рабство имеют лишь ограниченную сферу действия, как та посредственность, орудием которой они являются. Русские — хорошие солдаты, но плохие моряки; в общем, они скорее склонны к покорности, нежели к проявлению своей воли. Их уму не хватает импульса, как их духу — свободы. Вечные дети, они могут на миг стать победителями в сфере грубой силы, но никогда не будут победителями в области мысли. А народ, не могущий ничему научить те народы, которые он собирается покорить, не долго останется сильнейшим.

Даже физически французские и английские крестьяне крепче русских. Последние скорее ловки, чем мускулисты, скорее необузданны, чем энергичны, скорее хитры, чем предприимчивы. У них есть пассивная храбрость, но им недостает отваги и настойчивости. Армия, замечательная своей дисциплинированностью и хорошей выправкой на парадах, состоит, за исключением нескольких отборных корпусов, из солдат, чисто обмундированных на плацу, но грязно одетых в казарме. Серый, нездоровый цвет лица солдат говорит о голоде и лишениях, ибо интенданты безбожно обкрадывают несчастных. Две турецких кампании[23] с достаточной ясностью указали на слабость колосса. Одним словом, государство, от рождения не вкусившее свободы, государство, в котором все серьезные политические кризисы вызывались иностранными влияниями, такое государство не имеет будущего. Из всего изложенного заключают, что Россия, грозная постольку, поскольку она борется с азиатскими народностями, будет сломлена в тот день, ког-

да она сбросит маску и затеет войну с европейскими державами.

Таковы, как мне кажется, сильнейшие аргументы моих оптимистически настроенных противников, обвиняющих меня в преувеличенных страхах. Но, во всяком случае, мое мнение разделяют тоже весьма серьезные люди, укоряющие оптимистов за их ослепление и призывающие их открытыми глазами смотреть в лицо опасности и действовать, прежде чем она станет непредотвратимой. Я стою близко к колоссу, и мне не верится, что провидение создало его лишь для преодоления азиатского варварства. Ему суждено, думается мне, покарать испорченную европейскую цивилизацию новым нашествием с востока. Нам грозит вечное азиатское иго, оно для нас неминуемо, если излишества и пороки обрекут нас на такую кару.

Не ждите от меня систематического описания путешествия. Я пишу лишь о том, что производит на меня сильное впечатление, нисколько не заботясь о перечислении всего виденного: каталогов и так слишком много, и я не стремлюсь умножить их число.

В России ничего нельзя увидеть без церемоний и сложных приготовлений. Русское гостеприимство столь уснащено формальностями, что отравляет жизнь самим покровительствуемым иностранцам. Эти формальности служат благовидным предлогом для того, чтобы стеснить движения иностранца и ограничить свободу его суждений. Вас торжественно принимают и любезно знакомят со всеми достопримечательностями, поэтому вам невозможно шагу ступить без проводника. Путешественник никогда не бывает наедине с собой, у него нет времени составить себе собственное мнение, а этого-то как раз и добиваются. Вы хотите осмотреть дворец? — к вам приставляют камергера, который ходит за вами по пятам, обращает ваше внимание на тысячи мелочей и заставляет вас восторгаться всем без разбора. Вы хотите посетить лагерь, полюбоваться живописной пестротой мундиров, познакомиться с жизнью солдат в палатках? — вас сопровождает офицер, иногда даже генерал; госпиталь? — вас эскортирует главный врач; крепость? — вам ее покажет, или, вернее, вежливо скроет от ваших нескромных взоров, сам комендант. И т. д. и т. п.

Наскучив этим китайским церемониалом, вы решаете лучше не видеть многого, чем без конца испрашивать разрешения — вот первая выгода системы. Если же ваше любопытство исключительно выносливо и вам не надоедает причинять хлопоты людям, то, во всяком случае, вы всегда будете под пристальным наблюдением, вы сможете поддерживать лишь официальные сношения со всевозможными начальниками и вам предоставят лишь одну свободу — свободу выражать свое восхищение перед законными властями. Вам ни в чем не отказывают, но вас повсюду сопровождают. Вежливость, таким образом, превращается в способ наблюдения за вами.

Вот как вас мучают под предлогом оказания особой чести. Такова, впрочем, участь привилегированных путешественников.

Что же касается иностранцев, не пользующихся покровительством, то они вообще ничего не видят. Эта милая страна устроена так, что, не имея непосредственной помощи представителей власти, иностранцу невозможно путешествовать по ней без неудобств и даже без опасностей. Не правда ли, вы узнаете восточные нравы под маской европейской учтивости? Своеобразная помесь востока и запада вообще характеризует российскую империю и дает себя знать решительно на каждом шагу.

Чрезвычайное недоверие, которое выказывают по отношению к иностранцам представители всех решительно классов русского населения, заставляет их, в свою очередь, быть начеку. По внушаемому вами страху вы догадываетесь о той опасности, которой подвергаетесь. <...>

Глава XXI

Я хотел отвлечься от страшного Кремля, притягивавшего меня, как магнит, и осмотрел Сухареву башню. Стоит она на возвышенности, у одних из московских ворот. Первый этаж представляет собой огромную цистерну, питающую водой почти всю Москву. Вид этого висящего на большой высоте озера, по которому можно кататься в лодочке — так оно велико, производит необычайное впечатление. Архитектура здания, довольно современного к тому же, тяжела и сумрачна. Но византийские своды, массивные лест-

ницы и оригинальные детали создают величественное целое[24]. Византийский стиль вообще продолжает жить в Москве. Это, собственно, единственный стиль, из которого, при умелом применении, может вырасти национальная русская архитектура, ибо он одинаково подходит как к жаркому, так и к холодному климату.

Мне показали университет, кадетский корпус, Екатерининский и Александровский институты, Вдовий дом и, наконец, Воспитательный дом для найденышей. Все эти учреждения огромны и помпезны. Русские страшно гордятся столь большим числом прекрасных общественных зданий, которые можно показывать иностранцам. Но я лично удовлетворился бы меньшим великолепием, потому что ничего не может быть скучнее прогулки по этим горделиво-монотонным палатам, где все поставлено на военную ногу и человеческая жизнь сведена к роли часового колеса. Спросите у других, что представляют собой эти высокополезные и пышные рассадники офицеров, матерей семейств и наставниц: не мне об этом распространяться. Знайте только, что эти наполовину политические, наполовину благотворительные учреждения показались мне образцами порядка, заботливости и чистоты. Это делает честь их начальникам, равно как и высшему начальнику империи. У нас утомляет распущенность и разнообразие. Здесь подавляет совершенное единообразие во всем и замораживает педантичность, неотделимая от идеи порядка, вследствие чего вы начинаете ненавидеть то, что в сущности заслуживает симпатии. Россия, этот народ-дитя, есть не что иное, как огромная гимназия. Все идет в ней как в военном училище, с той лишь разницей, что ученики не оканчивают его до самой смерти. <...>

Общество в Москве приятное. Смесь патриархальных традиций и современной европейской непринужденности, во всяком случае, своеобразна. Гостеприимные обычаи древней Азии и изящные манеры цивилизованной Европы назначили здесь друг другу свидание и сделали жизнь легкой и приятной. Москва, лежащая на границе двух континентов, является привалом между Лондоном и Пекином. Дух подражания еще не стер последних следов национальных особенностей. Когда образец далеко, то копия кажется оригиналом.

В Москве достаточно небольшого числа рекомендательных писем, чтобы познакомить иностранца со множеством людей, выдающихся либо богатством, либо положением, либо умом. Поэтому дебют путешественника здесь не труден. Я был приглашен отобедать на даче, расположенной в черте города. Но, чтобы добраться до нее, пришлось с милю ехать вдоль каких-то прудов и пересекать поля, похожие на степи. А приближаясь к самой вилле, я увидел за парком густой и темный еловый лес, начинающийся непосредственно за городом: лесное уединение в двух шагах от Москвы.

Я вошел в деревянный дом — новая странность! В Москве и богатый и бедный спят под деревянным кровом в бревенчатом обшитом досками срубе. Зато внутри дощатые «избы» богачей соперничают в роскоши с самыми пышными дворцами Европы. Та, в которой меня принимали, показалась мне удобной и прекрасно обставленной, хотя владелец живет в ней только летом, зиму же проводит в центральной части Москвы. Обедали мы в саду и, в довершение оригинальности, под тентом. Разговоры, хотя и очень оживленные и вольные (общество состояло из одних мужчин), были вполне приличны, что является большой редкостью даже у народов истинно цивилизованных. Среди присутствовавших были люди, много повидавшие на своем веку и много читавшие. Их суждения показались мне верными и тонкими. Русские обезьянничают во всем, что касается светских обычаев, но те из них, которые мыслят (такие, правда, наперечет), превращаются в интимной беседе снова в своих предков-греков, наделенных наследственной тонкостью и остротою ума. Обед пролетел очень быстро, хотя на самом деле он был довольно длинен. Заметьте, что своих сотрапезников я видел впервые, а хозяина дома — во второй раз. Воспоминание об этом обеде относится к числу самых приятных впечатлений всего моего путешествия. <...>

Истинное величие духа черпает награду в самом себе. Но если оно ничего не просит, оно требует многого, ибо оно стремится сделать людей лучше. Здесь же оно сделало бы их худшими, потому что его сочли бы только маской. Милосердие называется слабостью у народа, ожесточенного террором. Беспощадная строгость заставляет его сгибать колени, край-

ность, наоборот, придает ему дерзость. Убедить его нельзя, его можно только поработить. Он восстает против доброты и подчиняется жестокости, принимаемой им за силу. Все это делает мне понятным принятый императором способ управления, но не вызывает моего одобрения, ибо истинная задача правительства—воспитывать народ и повышать его нравственный уровень.

Когда русские хотят быть любезными, они становятся обаятельными. И вы делаетесь жертвой их чар, вопреки своей воле, вопреки всем предубеждениям. Сначала вы не замечаете, как попадаете в их сети, а позже уже не можете и не хотите от них избавиться. Выразить словами, в чем именно заключается их обаяние, невозможно. Могу только сказать, что это таинственное «нечто» является врожденным у славян и что оно присуще в высокой степени манерам и беседе истинно культурных представителей русского народа. <...>

Ни в одном обществе, если не считать польского, я не встречал таких обаятельных людей. Новая черта сходства между братскими народами! Сколько бы их ни разделяли временные раздоры, природа сближает их помимо воли. Если бы политические соображения не заставляли одного из них угнетать другого, они бы узнали и полюбили друг друга.

Но те же милые люди, такие одаренные, такие очаровательные, впадают иногда в пороки, от которых воздерживаются самые грубые характеры. Трудно себе представить, какую жизнь ведут молодые люди московского «света». Эти господа, носящие известные во всей Европе фамилии, предаются самым невероятным излишествам. Положительно непонятно, как можно вынести в течение шести месяцев образ жизни, который они ведут из года в год с постоянством, достойным лучшего применения. Такое постоянство в добродетели привело бы их, без сомнения, прямо в рай. В России климат уничтожает физически слабых, правительство — слабых морально. Выживают только звери по природе и натуры сильные как в добре, так и в зле. Россия — страна необузданных страстей и рабских характеров, бунтарей и автоматов, заговорщиков и бездушных механизмов. Здесь нет промежуточных степеней между тираном и рабом, между безумцем и животным. Золотая середина

здесь неизвестна, ее не признает природа: лютый мороз и палящий зной толкают людей на крайности. <...>

Только крайностями деспотизма можно объяснить царствующую здесь нравственную анархию. Там, где нет законной свободы, всегда есть свобода беззакония. Отвергая право, вы вызываете правонарушение, а отказывая в справедливости, вы открываете двери преступлению. Происходит то же, что с пограничной цензурой, которая только способствует ввозу разрушительной литературы, потому что никому нет охоты рисковать из-за безобидных книг. <...>

В Россию я привез предрассудок, который теперь не разделяю: вместе со многими умными людьми я думал, что самодержавие черпает свою силу в господствующем вокруг него равенстве. Но это равенство — только иллюзия. Я говорил себе: когда один человек всемогущ, все остальные равны, то есть одинаково ничтожны. В этом, конечно, мало радости, но есть и некоторое утешение. Такое рассуждение слишком логично и потому опровергается фактами. На земле нет абсолютной власти, но есть власти тиранические и полные произвола. Как они ни сильны, им не водворить абсолютного равенства между подданными. И, сколь ни всесилен русский царь, в России больше неравенства, чем в любом другом европейском государстве. Подъяремное равенство здесь правило, неравенство — исключение, но при режиме полнейшего произвола исключение становится правилом. Между кастами, на которые разделяется население империи, царит ненависть, и я напрасно ищу хваленое равенство, о котором мне столько наговорили.

Не верьте медоточивым господам, уверяющим вас, что русские крепостные — счастливейшие крестьяне на свете, не верьте им, они вас обманывают. Много крестьянских семейств в отдаленных губерниях голодает, многие погибают от нищеты и жестокого обращения. Все страдают в России, но люди, которыми торгуют, как вещами, страдают больше всех. Помещики, утверждают далее апологеты рабства, должны в своих интересах заботиться о принадлежащих им крестьянах. Но разве все люди правильно понимают свои интересы? У нас человек, плохо ведущий свои дела, теряет состояние, вот и все. Но если имущество

состоит из многого множества человеческих жизней, то от неумелого или расточительного обращения с ним целые деревни мрут с голода. Правда, когда дело становится слишком вопиющим, правительство назначает опеку над дурным помещиком. Но эта, всегда запоздалая мера не воскрешает мертвых. Трудно представить себе бездну страданий, скрывающихся в глубине России под покровом тиранического гнета!

Военная дисциплина, примененная ко всем областям правительственной деятельности, является могучим орудием, поддерживающим произвольную власть монарха гораздо действительнее, нежели фикция равенства. Но разве это страшное орудие не обращается часто против тех, кто им пользуется? Вот бедствие, постоянно угрожающее России: народная анархия, доведенная до крайностей — в том случае, если народ восстанет. Если же он не восстанет — продолжение тирании, более или менее жестокой, смотря по времени и обстоятельствам.

Дабы правильно оценить трудности политического положения России, должно помнить, что месть народа будет тем более ужасна, что он невежественен и исключительно долготерпелив. Правительство, ни перед чем не останавливающееся и не знающее стыда, скорее страшно на вид, чем прочно на самом деле. В народе — гнетущее чувство беспокойства, в армии — невероятное зверство, в администрации — террор, распространяющийся даже на тех, кто терроризирует других, в церкви — низкопоклонство и шовинизм, среди знати — лицемерие и ханжество, среди низших классов — невежество и крайняя нужда. И для всех и каждого — Сибирь. Такова эта страна, какой ее сделала история, природа или провидение. <...>

Глава XXVI

Крестьянские волнения растут: каждый день слышишь о новых поджогах и убийствах помещиков. На днях мне передавали об убийстве одного немца, недавно приобретшего имение и вздумавшего заниматься агрономическими улучшениями. Но пока до вас успеет дойти известие о каком-либо случае такого рода, проходит столько времени, что вы воспринимае-

те его как нечто давно прошедшее, и это ослабляет впечатление. И, кроме того, сколь ни многочисленны подобные события, они остаются изолированными явлениями. Спокойствие государя в общем не нарушается, глубоких потрясений нет и, вероятно, еще долго не будет. Я уже говорил, что необъятность страны и усвоенная правительством политика замалчивания способствуют успокоению. Прибавьте к этому слепое повиновение армии: «надежность» солдат основана, главным образом, на полнейшем невежестве крестьянских масс. Однако это невежество является, в свою очередь, причиной многих язв, разъедающих империю. И неизвестно, как выйдет нация из этого заколдованного круга. Можете себе представить, какая расправа уготована для виновников! Впрочем, всю Россию в Сибирь не сослать! Если ссылают людей деревнями, то нельзя подвергнуть изгнанию целые губернии.

Отмечу мимоходом своеобразное смешение понятий, вкоренившихся в умах у русского народа благодаря крепостному праву. При таком порядке вещей (если к невольничеству вообще может быть применено слово «порядок») человек чувствует себя связанным тесными узами с землей, потому что его продают вместе с ней. И вот вместо того, чтобы признать, что это он к ней прикреплен, что он принадлежит, так сказать, к земле, при помощи которой другие люди распоряжаются им, крестьянином, как вещью, вместо этого он воображает, что земля принадлежит ему. Конечно, такая концепция является в сущности оптической иллюзией: ибо, хотя он и считает себя землевладельцем, он, тем не менее, не может себе представить, что можно продать землю, не продавая тех, кто на этой земле живет. Поэтому при каждом переходе в руки нового господина он не говорит себе, что землю продали новому хозяину, а воображает, что сначала продали его самого и затем уже, в виде какого-то неизбежного приложения, передали его собственную землю, на которой он родился, которую он возделывает трудами рук своих.

Пропасть между рабом и господином здесь так велика, что у последнего положительно начинает кружиться голова. Он настолько выше простых смертных, что не на шутку считает себя сделанным из иного теста, нежели другие, «простые» люди. <...>

Город Владимир часто упоминается в истории, но он как две капли воды похож на другие русские города. И местность, по которой мы едем, все одна и та же: это лес без деревьев, перемежающийся городами без жителей. Когда я говорю русским, что их леса истребляются беспорядочно и что им грозит остаться без топлива, они смеются мне в лицо. Они высчитали, сколько десятков и сотен тысяч лет потребуется для того, чтобы вырубить лес, покрывающий огромную часть страны, и вполне удовлетворены такими статистическими выкладками. В отчетах губернаторов говорится, что в такой-то губернии имеется столько-то десятин леса. Отсюда путем простого сложения получаются головокружительные цифры. Но никому не приходит в голову проверить на месте, что представляют собой зарегистрированные на бумаге леса. В противном случае чаще всего наткнулись бы либо на тощий кустарник, либо на топи, поросшие камышом и папоротником. Между тем уже заметно обмеление рек, причина коего лежит в хищнической рубке деревьев вдоль их течения и в бессистемном сплаве леса. Но русские довольствуются пухлыми папками с оптимистическими отчетами и мало беспокоятся о постепенном оскудении важнейшего природного богатства страны. Их леса необъятны... в министерских департаментах. Разве этого не достаточно? Можно предвидеть, что настанет день, когда им придется топить печи ворохами бумаги, накопленной в недрах канцелярий. Это богатство, слава богу, растет изо дня в день. <...>

В Москве по-прежнему стояла тропическая жара, лето выдалось совершенно исключительное. Над городом неподвижным облаком повисла красноватая пыль, которая при заходе солнца давала замечательные эффекты освещения, напоминающие бенгальские огни. Особенно великолепен был в эти минуты Кремль, выделявшийся своими фантастическими очертаниями на кровавом фоне вечерней зари.

В Кремле идет лихорадочно спешная работа, да и вся Москва взволнована до последней крайности: ждут приезда государя, присутствующего на торжествах в Бородине. Император неподалеку отсюда и может прибыть с минуты на минуту. Уверяют, что он был вчера в Москве инкогнито. А вдруг он и сегодня здесь? Может быть, он приедет завтра. Эта неиз-

вестность, эта надежда, это ожидание волнуют все сердца, оживляют все вокруг, словом, меняют всех и все. Москва, вчера торговый степенный город, сегодня сходит с ума от волнения, как мещанка, ожидающая большого вельможу. Три недели тому назад на улицах Москвы можно было встретить одних купцов, торопившихся по делу в тряских дрожках; сегодня Москва кипит роскошными каретами, раззолоченными мундирами. В театрах толпится знать и ее челядь. Дворцы, всегда пустые и заброшенные, чистятся и сияют огнями. Цветники покрываются свежими цветами. Словом, Москвы не узнать. Наваждение так заразительно, что я сам боюсь превратиться в царедворца, если не из расчета, то из любви ко всему чудодейственному.

Вчера я любовался иллюминованной Москвой. По мере того, как сгущалась тьма, город расцвечивался огнями. Его магазины, театры, улицы выступали вереницами лампад из мрака. Этот день совпал с годовщиной коронации — вторая причина иллюминации (первая — бородинские торжества). Вообще у русских столько поводов чуть не ежедневно радоваться, что на их месте я бы даже не трудился гасить плошки.

Сам маг и волшебник в настоящую минуту творит чудеса в Бородине[25]. Там только что возник целый город, и этот город, едва успевший родиться среди пустыни, исчезнет через неделю. Даже насадили парк вокруг дворца. Деревья, которым суждено умереть спустя несколько дней, были доставлены издалека с немалыми издержками. В уменьи подделать работу времени русские не знают себе соперников. Как выскочки, у которых нет прошлого, они эфемерными декорациями заменяют то, что по самой своей природе внушает мысль о длительном существовании: вековые дубы — выкорчеванными деревьями, старинные дворцы — дощатыми сараями, обитыми роскошными тканями, сады — размалеванным холстом. На Бородинском поле было выстроено несколько театров и между воинственными пантомимами разыгрываются комедийные интермедии. Это еще не все: по соседству с городом императорским и военным возник город буржуазии. Но лица, построившие эффектные гостиницы, разорены полицией, с большим трудом выдающей разрешения на приезд в Бородино.

Программа торжества состоит в точном воспроизведении Бородинской битвы[26], называемой нами сражением под Москвой. Для того, чтобы как можно ближе подойти к исторической действительности, со всех концов империи созвали всех ветеранов 1812 года, принимавших участие в знаменитом сражении. Можно себе представить удивление и горе несчастных стариков, отторгнутых вдруг от близких, от лона семьи, где они мирно доживали свой век, вспоминая минувшие славные дни. Они должны разыграть на потеху зрителей страшную трагедию битвы, в которой они проливали кровь за родину. Если бы кто хотел нарисовать карикатуру на военное дело, он бы не мог выдумать лучшего сюжета. Почти все эти старики, грубо пробужденные на краю могилы, уже много лет не садились на коня. И вот, в угоду монарху, которого они в глаза не видели, они принуждены вновь исполнять давно забытые роли, совсем отвыкнув от своего ремесла. Бедняги так боятся не угодить своенравному повелителю, что, говорят, предстоящая имитация сражения пугает их больше, чем в свое время настоящий бой. Это никому ненужное представление, эта комедия войны добьет солдат, пощаженных битвами и годами,— жестокое развлечение, достойное преемника того царя, который впустил живых медведей на маскарадной свадьбе своего шута. Царь этот звался Петром Великим. Подобные развлечения имеют один источник — презрение к человеческой жизни.

Император мне разрешил, т. е., иначе говоря, приказал присутствовать на бородинских торжествах. Но я чувствовал, что недостоин такой милости: во-первых, мне сначала не пришло в голову, как трудна будет роль француза в этой исторической комедии; далее, мне пришлось бы восхищаться варварскими работами — постройкой нового дворца,— грозящими обезобразить чудесный Кремль, и, наконец, я не могу забыть несчастную княгиню Трубецкую[27]. По всем этим причинам я решил остаться забытым, что было не столь трудно. Гораздо труднее, пожалуй, было бы добиться разрешения на проезд в Бородино, судя по хлопотам многих французов и других иностранцев, тщетно добивающихся разрешения.

Дело в том, что полиция бородинского лагеря вдруг стала необычайно строга. Сугубые предосто-

рожности, по слухам, объясняются тревожными известиями. Под пеплом свободы везде тлеет огонь мятежа. При таких обстоятельствах я сильно сомневаюсь, удалось ли бы мне добиться пропуска, несмотря на личное приглашение государя, сказавшего мне на прощальной аудиенции в Петергофе: «Я буду очень рад увидеть вас в Бородине».

Однако я вижу в Москве целый ряд приглашенных, которых, тем не менее, не пустили в Бородино. Только несколько избранных англичан и члены дипломатического корпуса получили пропуски, все же остальные — старые, молодые, военные, дипломаты, иностранцы и русские — возвратились восвояси ни с чем. Я написал одному приближенному к императору лицу, что к глубочайшему сожалению не могу воспользоваться милостью его величества, позволившего мне присутствовать на маневрах, и указал на болезнь глаз как на причину моего вынужденного отказа. И, действительно, глаза мои болят до сих пор, а на Бородинском поле, говорят, стоит такая невероятная пыль, что я, пожалуй, рисковал бы ослепнуть. <...>

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕРГ

(1823—1884)


Николай Васильевич Берг был девятым сыном Василия Владимировича Берга. Восемь братьев его умерли в младенчестве, он был последним, а потому особенно нежно любимым. Родился он в Москве накануне больших перемен в жизни своей семьи. Крестным отцом его был замечательный архитектор Александр Лаврентьевич Витберг, с печальной судьбой которого неожиданно переплелась судьба семьи Бергов. А. И. Герцен посвятил Витбергу проникновенную главу в «Былом и думах». Поэтому скажем лишь несколько слов о том, что непосредственно касается Василия Владимировича Берга.

После того как был высочайше утвержден проект храма Христа Спасителя, представленный на конкурс А. Л. Витбергом, В. В. Берг поступил казначеем в комиссию по сооружению этого храма. «Само собою разумеется, что Витберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию — за аферу, службу — за выгодную сделку, место — за счастливый случай нажиться. Не трудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают яму. Но для того, чтобы он, упавши в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтоб к воровству прибавилась зависть одних, оскорбленное честолюбие других» [1]. Дело, возбужденное против Витберга еще в царствование Александра I, тянулось много лет и завершилось при Николае I ссылкой архитектора в Вятку. Пострадали многие из тех, кто был связан с Витбергом.

Казначей комиссии Василий Владимирович Берг был человеком кристально честным, но, как известно,

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8. С. 283.

честность в России не была гарантией благоденствия: от сумы и от тюрьмы не зарекайся, говорит русская пословица. Тем не менее, по странной прихоти судьбы, именно казначей, через руки которого прошли огромные суммы денег, непостижимым образом уцелел. Сознавая нависшую над головой опасность, он все же почел за лучшее удалиться из Москвы и, получив какое-то место в г. Бронницы, отправился туда с семьей. Потом, когда гроза пронеслась, перевелся в Москву, но прожил там недолго и в 1830 г. уехал в Сибирь, получив место председателя Томского губернского правления — пост по тем временам немалый.

Как человек трудолюбивый, щепетильно честный и неуклонно каравший взяточников, Василий Владимирович пользовался доверием начальства и постоянно замещал губернатора Евграфа Петровича Ковалевского, предпочитавшего жить не в Томске, а в Барнауле.

Несмотря на большой круг обязанностей, Василий Владимирович неизменно проводил с сыном часы досуга, приохочивая его между прочим и к русской литературе. Николай Васильевич вспоминал впоследствии с мягким юмором об архаических вкусах отца: «Предметом его восторженного поклонения был Державин, которого лучшие оды он знал наизусть и поминутно читал из них отрывки. Затем любил Крылова, Дмитриева, Ломоносова. Пушкин и Жуковский были, по его мнению, писатели неважные, мода на которых должна пройти, тогда как Державин вечен» [1].

Начав сочинять стихи, Николай Васильевич подражал то Крылову, то Державину и после признавался в том, что нередко смешивал ямб с хореем. Добавим здесь же, что оригинальные стихотворения Берга и в дальнейшем не отличались ни самобытностью, ни значительностью, несмотря на то, что уже в гимназические годы он перестал путать ямб с хореем и свободно владел всеми размерами русского стихосложения.

В 1831 г. отец отдал мальчика в томское уездное училище, из которого он не вынес ни знаний, ни при-

---

[1] Берг Н. В. Посмертные записки // Русская старина, 1890. № 2. С 309. Далее ссылки на это издание будут приведены в тексте очерка.

ятных впечатлений. Томское училище сменилось в 1834 г. тамбовской гимназией, так как семья Бергов переселилась к тому времени из Сибири в Тамбовскую губернию. Там провел Николай Васильевич еще четыре года и, вероятно, так и остался бы недоучкой, если бы отец не определил его наконец в Первую московскую гимназию, считавшуюся в ту пору одной из лучших (она обладала даже правом выпускать последний 7-й класс без экзамена в университет). В стенах этой гимназии, а затем в университете, под руководством М. П. Погодина и С. П. Шевырева развились и определились способности и литературные вкусы молодого Берга. Через своих учителей Николай Васильевич познакомился с московскими литературными кругами, но ближе всех сошелся в ту пору с так называемой молодой редакцией журнала «Москвитянин», куда входили Аполлон Григорьев, Е. Эдельсон, А. Н. Островский.

Университета Берг так и не закончил, но уже в 1845 г. начал печатать в «Москвитянине» свои оригинальные стихотворения и переводы. По-видимому, связи со славянофильской редакцией были у Николая Васильевича формально-приятельскими; сам он впоследствии отзывался о славянофилах весьма сдержанно, и, судя по его образу мыслей, славянофильство и в самом деле было чуждо ему. Правда, профессор С. А. Венгеров, ученый с обширными знаниями и тонкой интуицией, утверждал, что Берг «просто был человек без всякого определенного миросозерцания, к тому же весьма плохо разбиравшийся в вопросах направлений, партий и т. д.»[1]. Думается все же, что это не совсем так. Берг был человеком широких взглядов, равно далекий и от западничества, и от славянофильства. Он горячо любил Россию, но это ничуть не мешало ему, объехавшему полмира, открыто говорить о несовершенстве ее политического и хозяйственного устройства, которое претило ему после пребывания в Европе.

Вернувшись в 1859 г. из Италии, Берг писал: «Странное впечатление производит Россия и ее порядки, когда воротишься из-за границы. Такой хаос, так кипит и надрывается сердце, а надрывается по-

---

[1] Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1892. Т. III. С. 26.

тому, что, окинув мысленным взглядом нашу удивительную землю, этот «лучший кусок вселенной», как выражаются о ней даже чужие, припомнив и сообразив эти силы, которые прут сами собою, сколько ни хлопочут их удерживать, эти никому хорошо не ведомые и неизмеримые богатства, чувствуешь, что и нам можно бы жить, как живут другие, и даже во многом остановить их внимание, как они теперь останавливают наше» [1].

Николай Васильевич Берг был человеком непоседливым. Было ли это свойство врожденным, унаследованным от лифляндских и русских предков, перебиравшихся с места на место в поисках земли обетованной, или возникло в нем от случайного стечения жизненных обстоятельств, сказать трудно. Но так или иначе, можно утверждать, что никто или почти никто из русских литераторов прошлого столетия не путешествовал так много, как Берг, что бесчисленные поездки его по городам и весям России, по странам Европы и Азии дали ему необычную по тем временам профессию корреспондента.

Между тем об этом главном деле его жизни, которому Берг отдавался азартно и страстно, не сказано ни в одной из посвященных ему энциклопедических статей — ни в прошлом веке, ни в нынешнем. В этих статьях он именуется поэтом и переводчиком, хотя сам Николай Васильевич, вероятно, не слишком удивился бы, узнав, что его окрестили корреспондентом. Рассказывая о том, как уезжал он в Польшу по заданию «Санкт-Петербургских ведомостей», Берг словно между прочим обмолвился: «Корреспонденты были делом очень новым, в России незнакомым» (1891, №3, с. 599).

Как почти все люди, много путешествующие, Николай Васильевич имел широкий и разнообразный круг знакомств и был, по-видимому, отличным рассказчиком. Он был знаком с Гоголем (и оставил о нем воспоминания), посещал известный салон графини Ростопчиной, был вхож к Каролине Павловой и состоял в приятельских отношениях с ее мужем, писателем Н. Ф. Павловым. «Берг был обаятельно милый, всегда веселый и оживленный собеседник, вносивший с собою такой жизнерадостный луч, что

---

[1] Берг Н. В. На обратном пути // Русский вестник, 1859. № 10. С. 236.

появление его всегда было праздником для всех»[1]. Притом он был мастером стихотворного экспромта и этим тоже немало забавлял своих многочисленных знакомых.

Рассказывают, что однажды, приехав в Москву, он должен был выступить на каком-то студенческом концерте. Берг попросил одного из приятелей одолжить ему жилет, послав к нему рано утром записку в стихах:

Я пришел к тебе с рассветом,
Ты снабди меня жилетом!..

Возвращая жилет владельцу, он написал:

О, трехбунчужный властелин,
Друг бедного поэта...
В Москве лишь понял ты один
Все тайны туалета...
Внимай всегда мольбе поэтов,
Объятья дружбы им открой,
И... сохрани в своих жилетах
Ты тот же щегольской покрой.

Энциклопедии не вводят нас в заблуждение: Берг и в самом деле всю жизнь писал стихи и занимался переводами, свидетельство чему его книги: «Краледворская рукопись. Собрание древних чешских эпических и лирических песен» (1846), сборник «Песни разных народов» (1854) — стихотворения, переведенные с 28-ми языков,— и еще один: «Библиотека иностранной поэзии. Выпуск 1 — Переводы и подражания Н. В. Берга» (1860). С особой, можно сказать, какой-то трепетной любовью он с юности переводил Адама Мицкевича и позднее вспоминал: «Поэзия Мицкевича сильно увлекала меня. Я учился по-польски страстно, как ни одному предмету в гимназии» (1891, №2, с. 235).

В течение многих лет Берг переводил знаменитую поэму Мицкевича «Пан Тадеуш» и опубликовал ее полностью только в 1875 г. Чтение отрывков из поэмы в литературных кружках Москвы и Петербурга, в Обществе любителей российской словесности, по словам Николая Васильевича, «производило эффект чрезвычайный» (1891, № 3, с. 589).

Впрочем, мирные занятия поэзией совершались в периоды оседлой жизни, а таковых было не так уж

[1] Соколова А. И. Встречи и знакомства // Исторический вестник, 1911. № 1. С. 111.

много в биографии Берга. Кажется, будто этот человек, снедаемый вечной «охотой к перемене мест», даже сидя за письменным столом чутко прислушивался к тому, что происходит в самых отдаленных уголках мира и, едва заслышав ропот войн, восстаний, надвигающихся перемен, срывался с места и летел в неведомую даль, чтобы увидеть происходящее собственными глазами. Бурная, переменчивая жизнь манила его куда больше, чем тихий кабинетный труд литератора, и он, как истинный журналист, журналист по призванию, включался в нее сразу, по первому требованию.

Первый раз его литературная деятельность была внезапно прервана началом Крымской войны. Уже в августе 1854 г. Берг, запасшись рекомендательными письмами, уехал в действующую армию. Он был переводчиком в главном штабе Южной армии, участвовал в обороне Севастополя, во многих других боевых действиях. В ту пору он впервые начал вести записки, но они сгорели во время пожара на одном из кораблей Черноморского флота. Вернувшись в Москву после заключения мира, Берг начал восстанавливать записи по памяти, но, не доверяя себе и желая дать как можно более объективную картину военных действий, он постоянно обращался за дополнительными сведениями к участникам событий. Так возникла книга «Записки об осаде Севастополя» (т. 1—2, 1858), одна из первых попыток объективного осмысления недавнего прошлого.

Впрочем, прошлое недолго занимало его. В 1859 г., когда началась революция в Италии, Берг опять не усидел на месте: он отправился — сначала во Францию — корреспондентом журнала «Русский вестник». Его отъезд, такой необычный по тем временам, обсуждали в литературных кружках и салонах. Да и не только в литературных. По случаю отъезда Николай Васильевич был приглашен на обед самим А. П. Ермоловым, который все еще живо интересовался происходящими в мире событиями. Ермолов давно уже был не у дел, но считался московской достопримечательностью. Наблюдательный Берг оставил нам портрет Ермолова тех времен — живой, хотя и несколько поверхностный: «В лице старого генерала, когда-то страшном и грозном <...>, осталось очень мало напоминания об его прошлой воинственной красе: оно

представляло соединение мясистых холмов, где нос, широкий и расплющенный, как нос льва, был главным возвышением. Большие губы складывались под ним как-то оригинально, сливаясь в одну массу. Все это было обрамлено белыми седыми бакенбардами, при дурно обритой и тоже засыпанной табаком бороде. Брови сильно надвигались на маленькие глаза, имевшие в себе еще что-то пронзительное. Наконец, сверху распространялся густой шалаш небрежно разбросанных по огромной голове белых волос. Все вместе в иные минуты необычайно напоминало льва...» (1891, № 3, с. 584).

Получив благословение генерала-патриарха, Берг уехал. Его корреспонденции из Италии — это и последовательное описание событий, и мгновенные зарисовки с натуры (кстати, Николай Васильевич был неплохим рисовальщиком), всегда отличающиеся точностью взгляда и характерностью деталей. Берг-репортер неизмеримо интереснее Берга-поэта, и, как ни странно, в его корреспонденциях больше истинного лиризма и непосредственности, чем в его стихотворениях. Репортажи Берга окрашены тем мягким юмором, который сообщает им особую живость и непринужденность. И можно лишь пожалеть о том, что они никогда не были напечатаны отдельным изданием. Не входя в истинную, глубинную суть событий, Берг схватывает самое характерное во всем, что он видит, в том числе и в психологии человека.

Попав в штаб Гарибальди, он близко познакомился с этим легендарным генералом. Берг вспоминал об одном из своих разговоров с Гарибальди: «Раз, когда генерал был болен и должен был лежать, я сидел у его постели, и мы беседовали долго о наших крестьянах, которых правительство тогда освобождало. Гарибальди удивился, как это такая важная перемена в государстве совершается тихо, без пролития капли крови...» (1891, № 3, с. 588). Какой точный штрих для военного политического деятеля!

Объехав почти всю Европу, полный впечатлений, Берг вернулся в Россию, но, как всегда, ненадолго. Н. Ф. Павлов, в ту пору редактировавший газету «Наше время», предложил Николаю Васильевичу поехать корреспондентом газеты на Восток. Предложение было заманчивым — Берг согласился почти не раздумывая. Так побывал он в Турции, Сирии, Палестине, Египте.

По естественной человеческой привычке и по свойству живого и гибкого ума, мгновенно отмечавшего явления, достойные наблюдения и внимания, Берг всегда сравнивал то, что видел, со своим домом, с Россией. Относительный либерализм эпохи конца 50-х — начала 60-х годов возбуждал некоторые надежды на политические преобразования в России и позволял высказывать мысли, считавшиеся крамольными при Николае I. Как многие люди той поры, Николай Васильевич видел в печатном слове первый шаг на пути к делу. И совершенно справедливо утверждение С. А. Венгерова, заметившего, что во всех записках Берга (к ним примыкают, конечно, и его корреспонденции) «виден человек порядочный, искренний и довольно независимый — что в особенности было качеством незаурядным в последние 20 лет его жизни...»[1] Кроме того, Николай Васильевич был человеком ответственным и как патриот неуклонно стремился к благу своего отечества, постоянно указывая в своих корреспонденциях на отрицательные стороны российской действительности. Как и многие другие его соотечественники, Берг задыхался от отсутствия гласности в России и в последней корреспонденции из Италии писал, что не завидует ничему в Европе: ни прекрасным дорогам, ни ирригации, ни блеску и красоте городов,— ничему, кроме того, «чего у нас *нет* вообще <...>: я завидовал быстроте, с какою передается там публике всякая живая, свежая мысль, покамест не зачерствела...»[2]

Берг видел российскую бесхозяйственность и об этом тоже заявлял прямо и открыто. Он не искал причин зла: подчас они были слишком очевидны для всех, не исследовал сущность явления. Своим долгом и своей задачей он считал назвать болезнь, а коли болезнь названа, то дело лишь за лекарством. Он сравнивал древние постройки Иерусалима с тем, что было у него на родине: «Памятники, оставленные там древностию, изумительны: эти чудесные гранитные водопроводы, не знающие никакой починки тысячи три лет сряду; эти цистерны, питающие город и окрестности, эти так называемые «пруды Соломона» — три водные большие равнины, заключенные в камен-

---

[1] Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. III. С. 28.

[2] Русский вестник. 1859. № 10. С. 237.

ные резервуары,— живые, свежие, точно сделанные только вчера... стоишь и думаешь, отчего это мы не можем сделать ничего такого, чтобы через месяц не перестраивать, не переправлять, мы — снабженные всею мудростью новейших открытий науки?..» (1891, № 3, с. 598).

Жадный до новых впечатлений, Берг собрался было в Сахару поохотиться на африканских львов, но тут пришли вести из России о восстании в Польше, и он немедленно отправился домой. Из России, не теряя времени, он уехал в Польшу корреспондентом «Санкт-Петербургских ведомостей» и остался в Польше навсегда.

Сначала он был чиновником при наместнике края, потом, с 1868 г., читал лекции по истории русской литературы в Варшавском университете.

Еще в 1864 г. наместник предложил Николаю Васильевичу составить исторические записки о последних событиях в Польше. Книга, которую Берг писал почти десять лет, вышла далеко за пределы «последних событий». Это была история волнений в Польше на протяжении тридцати лет. Он назвал ее «Записки о польских заговорах и восстаниях 1831—1862 годов» и опубликовал ее в 1873 г. Годы спустя он писал об этой книге: «Совесть моя спокойна: я нигде, ни в одной строке не покривил душою. Я смело выставил недостатки правительственных распоряжений и ошибки частных лиц — кто бы это ни был и как бы высоко ни стоял! Я руководствовался единственно пользою, какую может принести такая честная смелость и откровенность моим соотечественникам, если не теперь, то после... когда-нибудь. Я могу сказать, положа руку на сердце, что я писал как русский патриот, и полагаю, нигде не сбился с дороги» (1892, № 3, с. 652).

Почти никто из современников Берга не оставил о нем ни свидетельств, ни даже упоминаний. Разве что Л. Толстой записал в дневнике 29 августа 1856 г.: «Ездил на охоту, затравил двух <зайцев>, вечером ничего не делал, читал Берга. Как ни презренно comme il faut, а без него мне противен писатель, р<усский> л<итератор>»[1]. В литературной манере Берга в самом деле не было аристократизма и это, видимо, раздражало графа. И, можно пола-

[1] Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1985. Т. 21. С. 162.

гать, не только его. Вот и профессор С. А. Венгеров, всегда соблюдавший предельную корректность и стремившийся к объективности, все-таки явно недолюбливал Берга, упрекая его в том, что ему, как литератору, может быть, было вовсе не дано, и при этом умалчивая о наиболее сильных сторонах его дарования — живости изложения, наблюдательности и т. д. «Самые крупные люди, самые грандиозные события как-то необыкновенно суживаются в его передаче. И вдобавок полное отсутствие восторга и какой-то сплошной серый колорит, царящий во всех писаниях Берга»[1].

Отношение современников к Бергу не вполне справедливо, хотя и объяснимо: память людей чаще задерживается на известном, значительном, по крайней мере модном. Берг не подходил ни под одну из этих категорий. Сам же Николай Васильевич считал (и время подтвердило его несомненную прозорливость), что в жизни важно и значимо не только великое, важно каждое свидетельство, которое несет в себе правду о времени, интересна неповторимая индивидуальность каждого человека и его — уникальный в своем роде — жизненный опыт.

«Мы, конечно, только вкладчики будущего,— писал Берг,— но также должно помнить и то, что для составления в будущем полной и верной истории настоящих событий необходимы «наши» отрывочные труды, «наше» слово. Кто знает, может быть, если вы не скажете «вашего» слова, его уже никто не скажет, и в этом месте останется навсегда пустая страница. И потому должно записывать все, что знаешь, откинув всякую робость и не боясь, что напишешь мало»[2].

Читая записки Н. В. Берга, необходимо помнить об этом твердом убеждении мемуариста.

ЛИТЕРАТУРА

Венгеров С. А. Н. В. Берг // Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. III.

Соколова А. И. Встречи и знакомства // Исторический вестник, № 1.

---

[1] Венгеров С. А. Критико-биографический словарь... С. 29.

[2] Берг Н. В. Записки об осаде Севастополя. М., 1858. Т. 1. С. 3.

...В 1848 году я был приглашен одним семейством в качестве преподавателя русского языка и словесности к их дочери, которую известный санскритолог К. А. Коссович учил классическим языкам. Я описал этот эпизод моей жизни в особой статье, под названием «К. А. Коссович» — вскоре после того, как этого замечательного и почтенного человека не стало. Близ того же времени я определился на службу, при помощи моего друга, С. П. Шевырева, в Московскую контору Государственного коммерческого банка, писцом с жалованьем в сто рублей, но через полгода был уже зачислен секретарем конторы с повышением жалованья и вскоре затем помощником бухгалтера с новым повышением жалованья, которое, однако, никогда не было велико. <...>

Литературные знакомства мои об эту пору увеличились двумя особыми кружками, нисколько не похожими один на другой, оригинальными, московскими, о которых считаю не лишним сказать несколько слов. Первый был кружок литератора не наших времен, человека уже немолодого (лет до 50) Федора Николаевича Глинки, прозаика и поэта, женатого на дочери князя Павла Васильевича Голенищева-Кутузова, Авдотье Павловне [1], тоже не лишенной литературных дарований. Она много переводила разных немецких поэтов — на свой бабий пай недурно. Прозой написала: «Жизнь Богородицы». Отец ее, князь Павел Васильевич, был в свои молодые годы большой либерал... Имел он или не имел влияния на своего зятя,— сказать трудно, только зять пошел по той же либеральной дороге и был в числе крупных декабристов 1825 года, состоя адъютантом при графе Милорадовиче [2], который, как кажется, не подозревал ничего. После смерти графа Федор Глинка, позванный к допросу, все свалил на покойника, говоря, что он приказал ему сойтись с революционерами, следить за их действиями и передавать все, что заметит. Ответы Федора Николаевича на всевозможные вопросы высочайше учрежденной комиссии были так бойки, ловки и естественны, что его велено оставить в подозрении, но никуда не определять [3].

Глинка уехал с женой в Москву и купил на Садовой улице, близ Сухаревой башни, крохотный домик

с антресолями комнат в 5—6, но совершенно для них достаточный. В 1840-х годах Глинки (как их обыкновенно звали) завели у себя литературные вечера по понедельникам, куда созывали преимущественно писателей прежнего времени, людей солидных и серьезного направления. Из молодых (в конце 1840-х годов) попал туда один лишь я и еще переводчик с разных языков Федор Богданович Миллер[4] — через близкого своего приятеля, такого же немца, как и сам, старого, забытого художника Карла Ивановича Рабуса[5], неизменного участника вечеров Глинки. Он, впрочем, имел и свои дни, четверги, и свой кружок, преимущественно артистический.

Почему никто, кроме меня, из нашего кружка (т. е. из молодой редакции «Москвитянина») не проник к Глинкам — я не берусь разрешить этого вопроса никак. Может быть, они и звали кого-нибудь, но никто не пошел, так как от понедельников Глинок несло некоторой затхлостью; они не давали новому поколению ничего ровно или очень мало. Я пошел потому, что имел с ранних лет страсть сближаться со всем, что было хоть когда-нибудь замечательно, рассматривать внимательно всякие развалины... Притом нельзя сказать, чтобы Глинки не давали для молодежи ничего ровно: они были хорошие и верные ценители всего изящного. «Объехать на кривой» нельзя было ни старика, ни старуху. <...>

Федор Николаевич был тогда еще крепыш, живой, маленький человек без усов и бороды, но с черными бакенбардами и густыми, тоже черными с проседью волосами, у которых он поправлял поминутно височки. Маленькая круглая головка его была как будто приплюснута сильным ударом в темя. Щеки были вечно розовые. Все лицо розовое. Черные глазки вечно смеялись. Говорил он несколько картавя и никогда не мог быть спокойным: все в нем и сам он ходил ходуном. Поговорит тут, бежит в другую сторону — там опять говорит и поправляет височки... Читал он редко. Это были дни торжественные для его поклонников, которые относились к нему, как к настоящему, но не признанному поэту. Читая, Федор Николаевич никогда не садился, а стоял перед столом, обратясь лицом к главным слушателям, сидевшим на диване и боковых креслах. Сзади были тоже слушатели, помещавшиеся в разных углах комнаты. Наиболее же-

лательным предметом чтения для поклонников бывала поэма духовного содержания: «Божественная капля», написанная что-то давно и много раз исправлявшаяся и дополнявшаяся. Целой этой поэмы, кажется, не слыхал никто, или очень немногие из старых приятелей хозяина. Новые удовлетворялись отрывками и не выражали никогда желания услышать все, а если и выражали, то не очень искренне. Мне случилось слышать два небольших отрывка, где были местами хорошие стихи, но только стихи; содержание меня не занимало. Я даже его путем не понимал.

Прозой Федор Николаевич читал при мне только один отрывок: воспоминание о каком-то бое с французами под Москвой. Тут говорилось кратко и о Москве, и об ее значении для русского народа и России. Автор сравнивал ее с кудрявой старопечатной буквой и, кажется, думал, что это сравнение оригинально и удачно. Заметив, что его как будто не все надлежащим образом услышали, что до этой буквы, он приостановлялся, поглядывал кругом, поправлял височки — и повторял: «Она красуется в наших летописях, как кудрявая старопечатная буква»...

Читал он постоянно старину,— написанное бог весть когда. Нового, по-видимому, ничего не производилось. Авдотья Павловна тоже читала старые свои переводы из Шиллера. Мне случилось слышать «Колокол» и «Кубок». Другие читала редко. Литературные понедельники Глинок обходились большею частию без литературы. Посидят, потолкуют о том, о сем, напьются чаю, иногда поужинают на нескольких небольших столиках в той же зальце, где происходили чтения и беседы,— и расходятся часу в первом.

Четверги Вельтмана[6], с которым я познакомился у Глинок, были также простые вечерние собрания друзей и знакомых хозяина и хозяйки, где аккуратно всякий раз бывал некий Владимир Петрович Горчаков[7], не князь, а простой Горчаков, сослуживец Вельтмана по генеральному штабу нашей южной армии в кампании 1828—1829 годов, приятель Пушкина, один из его «собутыльников», когда Пушкин жил в изгнании у Новороссийского губернатора Инзова[8]. <...>

Сам Вельтман был человек в высшей степени милый и симпатичный, с открытой физиономией, как-то оригинально вскакивал с дивана при появлении вся-

кого гостя, бежал к нему навстречу, раскрыв объятия, усаживал, заводил беседу. Был, что называется, душа человек. В нем сверх литературного, известного всем читателям тех времен (преимущественно москвичам) таланта,— таились еще и другие, скрытые от публики, таланты: он делал очень искусно из алебастра копии небольших античных статуй, умел сообщать им бронзовый, серебряный, золотой и всякие другие цвета. Иногда его копию отличить от настоящей статуи, от оригинала, было очень трудно. Он играл довольно искусно на гитаре и еще на каком-то изобретенном им инструменте, название которого я не помню. Ум его был в постоянной работе: он все что-нибудь выдумывал, открывал. Выдумал однажды светильник без всякого фитиля; горело на кончике загнутой немного в верхнем конце тонкой стеклянной трубки одно масло (деревянное или прованское). Этот изобретенный им светильник он назвал Альма. Такие «Альма» всегда горели у него в кабинете, штуки три-четыре, требуя, конечно, немного горючего материала, но и немного принося пользы. Очень трудно сказать, сколько бы таких «альм» потребовалось на освещение хоть самой небольшой комнаты. Возился он одно время немало над изобретением саней, которые бы не знали, что такое московские ухабы, и уверял знакомых, будто бы изобрел такие волшебные сани, и показывал несколько бумажных моделей разной величины, которые возил по ухабам из картонной бумаги, но... никто не убеждался, что такие сани в натуральную величину, на ухабах Столешниковского, Газетного и тому подобных переулков не будут бить под конец зимы, а временами и выбрасывать пассажиров на мостовую, как всякие другие. <...>

Жена Вельтмана (primo voto* Крупенникова[9]) была женщина поэтическая, с романтическими наклонностями, провела первую молодость в Одессе, много раз любила, многим нравилась (между прочим поэту Подолинскому[10]), писала недурно прозой — и на этом пути сошлась с Вельтманом, еще при жизни его первой жены, родом молдаванки[11].

Как жена Вельтмана, она значительно поддерживала давно заведенные ими четверги, сообщала им то, что может сообщить образованная изящная жен-

---

* Здесь: в первом браке (*лат.*).

щина, видавшая виды. Один Александр Фомич едва ли бы с ними сладил.

Жили они скромно, но весьма прилично, в большой квартире директора оружейной палаты, у Покрова, в Левшине. Все комнаты, особенно кабинет хозяина, представляли смесь востока с западом: персидские ковры на всяком шагу; чубуки с янтарями, оттоманки [12]; картины с изображениями битв южных славян с турками. Сам Вельтман привез из похода в Турцию кое-какие восточные привычки: курил с утра до ночи дорогой турецкий табак из деланных черешневых и жестяных чубуков. В повестях своих часто касался востока или полувостока: Молдавии, Бессарабии...

Вскоре после появления «Банкрута» [13] открыла у себя литературные субботы графиня Ростопчина, познакомившаяся с автором этой пьесы у Погодина. Там же ей была представлена вся молодая редакция «Москвитянина», и это были первые ее гости по субботам, до некоторой степени habitués * суббот. К славянофилам сердце ее не лежало, да они были и потяжелее и повзыскательнее молодежи, которая, недолго рассуждая и не имея формально никаких задних мыслей, наполняла салоны Ростопчиной. <...>

Сначала вечера графини (имя которой звучало тогда особенным звуком, было невольным притяжением для многих) посещались сказанным кружком довольно усердно. Иному просто было приятно думать и рассказывать знакомым, что он также бывает у Ростопчиной, принадлежит к редким, исключительным личностям.

Потом мало-помалу стало собираться на этих вечерах меньше и меньше гостей. <...>

Пришли даже и такие субботы, когда зажигались свечи и сгорали, не осветив ни одной посторонней физиономии. Вследствие этого была допущена всякая смесь: Юрий Никитич Бартенев [14], всю жизнь корчивший шута и говоривший особым шутовским языком, дававший всем прозвища (Ростопчину он называл «Лапка»), человек неглупый, но скучный и неприятный. Уставший скиталец по белу свету, библиоман, англоман, друг поэтов и артистов всего мира, Сергей Александрович Соболевский, который умел соста-

---

* Завсегдатаи *(фр.)*.

вить себе литературное имя еще в двадцатых годах этого столетия, близкий дружбою и кутежами с Пушкиным, который любил его преимущественно за неистощимое остроумие, живые экспромты, щеголявшие оригинальными рифмами, неизменную веселость и готовность кутить и играть в карты когда угодно [15]. <...>

Можно рассказать, пожалуй, что, уезжая из России, Соболевский заказал известному московскому портретисту Тропинину портрет Пушкина [16], каким он бывает запросто, дома, в халате, с кабалистическим перстнем [17] на большом пальце правой руки. Приглаженный и припомаженный портрет Пушкина работы Кипренского не удовлетворял близких знакомых и друзей поэта; они его таким никогда не видали.

Заказ последовал между 1827—1828 гг. Пушкин, уже прощенный (в июле 1824 г.), жил большей частью в своей псковской деревне Михайловском, но время от времени заглядывал то в Москву, то в Петербург. В Москве он заходил к Тропинину, на Ленивку (коротенькая улица между Моховою и Каменным мостом) и давал ему сеансы. Когда портрет был готов, художник приказал одному из своих помощников, Смирнову, уложить его, как можно осторожнее и внимательнее, в ящик и отправить к Соболевскому в Италию. Смирнов снял копию, подлинник оставил у себя, а копию своей работы послал по данному адресу. Обман открылся позже, в конце 1840-х годов, когда заказчик воротился в Россию и узнал от начальника московского архива иностранных дел, князя Оболенского, что «настоящий портрет Пушкина в халате, работы Тропинина, у него куплен в меняльной лавке Волкова, а Волкову достался от вдовы Смирновой». Тропинин, которому показали портрет, подтвердил его подлинность. Оболенский просил исправить испорченные небрежным обращением и полинявшие от времени места, но Тропинин от этого отказался, сказав, что всякую поправку того, что сделано по оригиналу, считает святотатством, а почистить портрет, пожалуй, почистит и покроет снова лаком. Соболевский сильно зарился на этот портрет и говорил, что Оболенскому, по правам европейской деликатности, следовало бы подарить портрет законному его владельцу, виновнику того, что он явился на

свет. Однако портрет остался у Оболенского и доныне у него пребывает *.

Этот-то самый Соболевский, в своем роде маленькая знаменитость, человек бывалый, утомясь от 20-летних скитаний по чужой стороне и, может быть, соскучившись по России, явился вдруг на горизонте Москвы, уже порядочно устарелым, обрюзгшим; стал по-старому заглядывать по вечерам в английский клуб (где был, разумеется, членом с давних пор). Посетил нескольких старых знакомых, отыскал и Ростопчину, с которой встречался за границей. Он резко отделялся от всего, что у ней собиралось из молодежи, манерой говорить обо всем небрежно, презрительно, с какою-то вечною ядовитою усмешкою; также небрежно и презрительно разваливаться в креслах (как никто из гостей Ростопчиной не разваливался); однажды он даже так развалился, что сломал ручку кресла, которая упала на пол, и при этом сказал самодовольным тоном: «Какая еще сила! Не могу сесть на кресла, чтобы их не сломать!» Кружок «Москвитянина» был недоволен вторжением, так сказать, в «свои владения» этого старого фанфарона и брюзги. Когда он бывал у графини, все москвитянини умолкали, не то поглядывали на часы и на шапки. <...>

В числе лиц, появлявшихся у графини около того же времени, был довольно известный поэт тех времен, Николай Федорович Щербина [18], прибывший в Москву с юга России, кажется, из Одессы, откуда был родом, маленький, неказистый, напоминавший грека, которым и был по матери. Отсюда его ранние симпатии к Греции, к ее мифологии — и первые стихи, где на всяком шагу встречаешься или с Эгейским морем, или с Хиосом [19], с Мореей [20], с Зевесом, Аполлоном...

Щербина имел несомненный поэтический талант, который разменял на мелкую монету: всё кусочки, небольшие отрывочки, намеки, напоминания... а серьезного ничего нет; как человек, по темпераменту до крайней степени раздраженный, болезненно самолюбивый, хотевший славы, поклонения и не видевший ни от кого в Москве (менее всего от нашего кружка) даже обыкновенных симпатий и приязни, более всех терявшийся в толпе, не любимый ни женщина-

* Слышал от Соболевского и Тропинина. (*Прим. автора.*)

ми, ни мужчинами, формально ни с кем не умевший сойтись по-приятельски, искренне — он постоянно кипел и клокотал, точно маленький вулканчик, ходил ходенем, как земля его предков, от множества скрытых в ее почве огней — и стал, не замечая сам как это делается, извергать поминутно против всех выдающихся сколько-нибудь личностей, тихих и спокойных, никогда и ничем его не обижавших (разве обижавших полным к нему равнодушием) — разные едкие сатиры, двустишия, четверостишия, сочинял, так названные им, акафисты[21]. Все это отзывалось талантом, имело зачастую форму самую изящную, легко запоминалось, повторялось целым городом, но тем не менее — было бранью, сатирой, памфлетом, выжимками недовольства, оскорбленного самолюбия — и еще больше отталкивало гостя от хозяев. Наиболее известными из тогдашних стихотворных экспромтов и акафистов были грубое четверостишие против Островского, где он назван «гостинодворским Коцебу»[22] — (рифма: в погребу); стихи на Сушкова (дядю Ростопчиной) — собственно пародия на стихи Жуковского:

Скольких бодрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Тирсит!

Слышны жалобные клики
Белокаменной сынов:
«Умер Гоголь наш великий,
Жив и здравствует Сушков!»[23] <...>

Жил Щербина очень стесненно, трудно даже понять, на какие средства и что именно он проживал. Службы никакой достать он себе не умел, литература давала очень-очень немного. «Москвитянин» платил немудро, да и за что было платить? За греческие элегии, которые являлись не часто. Щербина постоянно жаловался: «Вот пиши тут! Живешь далеко, на чердаке, никаких удобств, не достает самого существенного!.. Если б у меня был верный кусок хлеба, сегодня, завтра, послезавтра, кругом статуи, картины: муза бы моя развернулась, стихи бы полились сами собою!.. а теперь что!» <...>

Между последними гостями Ростопчиной, когда habitués поотшатнулись, были артисты сцены, между прочими Щепкин[24], Самарин, который потом играл

с нею в театре Пановой, на Собачьей площадке, пьесу ее сочинения «Домашнее укорение» (1853), он — графа, она — графиню. Мелькал иногда массивный старик, помнивший бог знает какие времена, Филипп Филиппович Вигель [25], почему-то нелюбимый москвичами. Наконец, его почти выгнали из Москвы. Н. Ф. Павлов написал о нем тогда такие строки:

Ах, Филипп Филиппыч Вигель!
Тяжела судьба твоя:
По-немецки ты Schweinwigel *
А по-русски ты — свинья!

* * *

Счастлив дом, а с ним и флигель,
В коих, свинства не любя,
Ах, Филипп Филиппыч Вигель,
В шею выгнали тебя!

* * *

В Петербурге, в Керчи, в Риге ль
Нет нигде тебе житья:
Ах, Филипп Филиппыч Вигель,
Тяжела судьба твоя!

Иные (ошибочно) говорили, что это стихи Соболевского.

Вигель любил смертельно читать свои записки — навязался с ними к Ростопчиной. Записки эти были, может быть, любопытнее всего, что читалось когда-либо у Ростопчиной и ею, и ее гостями, но неприятная личность автора и отчасти старые приемы чтения сообщали прекрасному материалу какую-то бесцветность, отсутствие интереса. Никто не хотел скучать,— а скучали... Великое дело — личность автора и его реноме. Нелюбимые, непопулярные не должны читать публично. <...>

В числе тогдашних литературных кружков Москвы можно, пожалуй, упомянуть еще о кружке Павловых, Николая Филипповича и Каролины Карловны, состоявшем по преимуществу из славянофилов, но где были и западники.

Николай Филиппович был человек замечательный, талантливый, видавший виды, но живший как-то так, что у него постоянно все расстраивалось, а не устраивалось. По своим размашистым приемам, по страсти к картам он мог проиграть в самое короткое вре-

* Свинья-Вигель *(нем.)*.

мя — Россию, несколько домов, деревню, большой капитал... Происхождение его покрыто туманом. Где он и как учился — неизвестно, но кое-чему выучился; между прочим — французскому языку, на котором говорил изредка. Знал и понимал Шекспира и главных немецких поэтов, но, кажется, не в подлиннике.

По-русски знал очень хорошо, довольно писал. Повести его: «Миллион», «Ятаган», «Аукцион», «Именины» (в 1830-х и 1840-х годах) в свое время сильно читались и даже переведены на немецкий язык, одна («Аукцион») — на польский; он даже мог бы сделаться прямо замечательным русским писателем и критиком (лучшая критика его — разбор пьесы гр. Соллогуба «Чиновник»[26]), если бы... не зеленый стол. За этим столом он прокутил все свои таланты, проиграл свое и своего семейства счастье... даже двух семейств. <...>

Сборища у Погодина, весьма нечастые, всегда по какому-нибудь исключительному обстоятельству, ради чтения нового, выдающегося сочинения, о котором везде кричали (как, например, о «Банкруте» Островского), именин Гоголя, чествования проезжего артиста, выезда из Москвы далеко и надолго какого-либо известного лица,— эти сборища имели свой особый характер, согласно тому, как и для чего устраивались. Иногда это было просто запросто публичное собрание всякой интеллигенции, по подписке, обедспектакль, где сходились лица не только разных партий и взглядов, но прямо недруги Погодина, кто его терпеть не мог, а ехал — сам не знал как — и чувствовал себя, как дома, и после был очень доволен, что превозмог себя и победил предрассудки. Надо знать, что Погодина вообще в городе не любили. Как это устроилось, что он имел так много неприятелей и недоброжелателей, этот почтенный человек и патриот — бог весть, только устроилось. Главным основанием тут лежала его чрезвычайная расчетливость, скупость, которая имела свое законное происхождение: Погодин родился крестьянином графа Ростопчина[27], видел кругом себя довольно долгое время нужду и бедность, с необычайным трудом выбрался на ту дорогу, которой искала его душа,— дорогу большего и высшего образования, нежели среда, в какой сначала он вращался. Случилось, что, выучась по-латыни, он давал даже уроки маленькому сыну своего ба-

рина, графу Андрею Федоровичу Ростопчину, впоследствии весьма незнаменитому мужу знаменитой или, по крайней мере, очень известной в России жены[28].

Окончив, при содействии добрых людей (разумеется, уже свободным человеком) курс в Московском университете, Погодин уроками и изданиями полезных книг, а главное, чрезвычайною расчетливостью в жизни скопил кое-какие деньжонки, которые дошли, наконец, до таких размеров, что он мог приобрести продававшийся по случаю на Девичьем поле большой барский дом с садом и несколькими флигелями, из которых иные были похожи на дома. Праздные люди сочинили из этой покупки целую историю, которая была потом рассказана талантливым писателем Герценом в одном едком памфлете под названием: «Как Вёдрин купил в Москве дом». (Вёдрин, от вёдро — хорошая погода, было чересчур прозрачным анонимом.) Да если бы и не было этого прозрачного анонима — все бы узнали, в чем дело, кто и как.

Заживши в этом доме с женой, урожденной Вагнер (на имя которой дом и был куплен), и вскоре обложившись семейством, Погодин, уже профессор русской истории в Московском университете, стал собирать старопечатные книги и редкие рукописи, потом монеты, картины, портреты, оружие, что ни попало, лишь бы это касалось русской истории, и довольно скоро составил очень редкую коллекцию замечательных предметов. В особенности выдавался рукописный и старопечатный отделы, где были прямо (весьма редкие) фолианты. Имя Погодина как собирателя — знатока всякой старины сделалось известным в Москве всем и каждому. Кто бы ни добирался каким ни на есть путем до редкой рукописи, монеты, картины,— нес ее прежде всего к Погодину, а потом уже к купцу Царскому, хотя Царский был собиратель и знаток с большими средствами, но не так компетентный, несколько бестолковый, дававший иногда за вещь, которой цены не было — какие-нибудь пустяки; а Погодин сразу говорил, чего принесенный предмет стоит, и дело большей частью кончалось без особенно длинных разговоров, иной раз даже через лакея, а не лично.

Думая о своей семье, состоявшей из жены, двух сыновей и двух дочерей, об их воспитании, об их бу-

дущем, а главное — о приданом дочерей, Погодин решился расстаться со своими сокровищами, стоившими ему стольких хлопот, лишений, жертв,— пристроить их к хорошему месту, получить серьезные деньги и разделить их между детьми.

Знакомых у него в разных кругах Петербурга и Москвы была тьма-тьмущая — всяких рангов и положений. Практический и сообразительный «мужичок» Девичьего поля направился по этому делу прямо к такому лицу, которое могло представить собрание отечественных редкостей надежнейшему приобретателю: государю Николаю Павловичу. Лицо это было — известный барон (позже граф) Модест Андреевич Корф[29], тогда директор императорской публичной библиотеки, статс-секретарь, автор книги: «Первые дни царствования императора Николая Павловича», которому государь при встречах обыкновенно протягивал руку. Корф уладил дело скоро: «древлехранилище» Погодина приобретено казною за полтораста тысяч рублей и поступило известной частию (рукописей и старопечатных книг) в ведение императорской публичной библиотеки <...>

Между тем явились завистники и просто праздные болтуны, которые трубили везде, что Погодину заплачена чересчур большая сумма; что все это старое, ничего не стоящее тряпье. Кто поверит, что к этой фаланге пустых болтунов и невежд с маленькими средствами присоединился также один очень богатый человек (по крайней мере тогда, в самом начале 1850-х годов), граф Андрей Федорович Ростопчин: и ему было завидно, что полтораста тысяч верных казенных денег употреблены так глупо, достались... бывшему его мужику, который не сумеет с ними надлежащим образом обойтиться, а не ему, барину, знавшему лучше всякого другого, как и где их пристроить! Автор этих строк не раз слыхал такие грозные сетования от графа.

И вот, из всех этих сплетен, статей Герцена, отчасти рассказов Щербины о «бессребренике Девичьего поля, рабе божием Михаиле»; из зависти и болтовни людей, которым просто нечего было делать, составилось мало-помалу то невыгодное понятие о Михаиле Петровиче, которое подавило рассказы другого свойства. Была одно время мода ругать Погодина. Говорили, что фамилия его происходит не от погода,

а погадить; что он не Погодин, а Погадин. Затащить к нему какое-нибудь свежее лицо было нелегко, и большею частию случалось, что это лицо, переступавшее очень неохотно и с какою-то боязнию и отвращением почтенный порог Михаила Петровича, после третьего, четвертого визита становилось его поклонником, партизаном, другом и дивовалось, как это так выходило, что Погодин представлялся ему бирюком, кащеем бессмертным, думавшим только о деньгах и о деньгах, рассчитывавшим каждую копейку... А. Н. Островский, получив приглашение от Погодина прочитать у него «Банкрута», с трудом на это согласился, а под конец жизни Погодина (с половины 1850-х до половины 1870-х годов, т. е. в течение 20-ти лет) — был к нему одним из ближайших людей, очень любил его и уважал.

Популярность Погодина (несмотря на пустые толки, которые о нем ходили и которым масса верила) была в эпоху, нами изображенную,— чрезвычайна. Это было имя известное не только у нас, но и за границей, особенно в землях славян: в Праге, Белграде, Софии. Он везде был свой. И эта популярность делала главнейшим образом то, что Погодину удавалось многое, о чем другому нельзя было и подумать. Он мог собрать к себе, по тому или другому поводу, решительно всю Москву, если бы в этом была надобность. Мы уже не раз говорили, что к нему ехал всякий, даже его недруг. Летом помогали делу прекрасные условия, внешняя обстановка пиршества: огромный сад, какого у других и богатых людей не было. Обедали в старой липовой аллее, без сомнения, помнившей французов. Потом в ней же и гуляли, не то по боковым, тоже тенистым, аллеям и вокруг обширного пруда.

Справедливость историка требует, однако, заметить, что Погодин был действительно скупенек и расчетлив. Знакомство с нуждой в первые годы существования сообщило его житейским приемам такие черты, которые не могли никому нравиться, даже его партизанам. Он был иногда мелочен в скупости, думал о всякой полушке, выходившей у него из рук. Если нужно было написать несколько строк к приятелю, он, постоянно обложенный бумагами, бумажками, которые валялись на всех столах и стульях его кабинета, никак не шел и не брал первую, которая

на него взглядывала, а искал чего-то невозможного на полу, под стульями, в корзинках со всяким сором, где лежали груды старых конвертов, брошенных записок, по-видимому, никуда не годных и ни к чему не нужных,— но они были нужны хозяину: от них отрывался клочок, уголочек, на нем писались два-три слова к приятелю; на отыскивание такого клочка тратилась пропасть времени, о котором англичане говорят: time is money *. Погодин никогда не знал этой премудрой пословицы практического народа.

И этот-то самый, мелочно-скупой и расчетливый человек, вдруг расшибался, становился щедр, давал деньги небогатым людям на издания хороших сочинений или издавал их сам; не то помогал беднякам, и всегда негласно; даже рискнул однажды положить серьезный капитал на неверное предприятие (80000 р.): на копание золота в Сибири, и все эти денежки, как говорится, «закопал»...

В целом Погодин представлял любопытный и редкий тип ученого, который разжился не спекуляциями, а самым благородным трудом, воздержанием и лишениями, к которым приучил себя с ранних лет; представлял лицо, какого в Москве до тех пор не было и скоро не будет. Его оценили, когда его не стало. Все поняли, что Погодиным, в том смысле и значении, какое он имел для Москвы и отчасти для славянских земель,— быть не так легко, как это казалось со стороны; что для этого недостаточно иметь большой дом и большой сад. Этот дом и этот сад существуют и доныне (1884 г.) в Москве, на Девичьем поле; есть и еще сады, где бы можно собираться разным кружкам и толковать, но... никто и нигде не собирается, ибо нет собирателя, к кому бы все поехали. Смотрящие теперь на историческую аллею, которая видала стольких даровитых русских людей Москвы и Петербурга, столько славянских и других гостей из Европы и слышала их речи, смотрящие на эту аллею только молят богов, чтобы она, по крайней мере, ушла от топора и доставила возможность, хотя очень отдаленным потомкам теперешних ее владетелей, собрать под ее благоуханною сению хотя не такую кучу столичной интеллигенции, какую собирал там первый владелец, а какую случится... <...>

---

* Время — деньги *(англ.)*.

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА ЩЕПКИНА

(1824—1917)



Александра Владимировна была моложе своего брата Николая Владимировича Станкевича одиннадцатью годами. Дожив до глубокой старости, она рассказала об укладе своей семьи, о воспитании детей, обо всем том, что сформировало характер ее брата, человека, названного впоследствии его биографом П. В. Анненковым «образцом гуманности». О Н. В. Станкевиче писали и рассказывали многие современники; он был личностью эпохальной, и, вероятно, лучше всех показал это Герцен в «Былом и думах». Рассказ А. В. Щепкиной, незатейливый и простодушный, интересен тем, что в нем раскрываются истоки личности, повлиявшей на умы целого поколения.

Семья Станкевичей была одним из тех «дворянских гнезд», которые стали особенно крепкими в первой половине XIX века. Позднее они начали постепенно распадаться, а нити, связывающие большой родовой клан,— понемногу ослабевать. В ту пору, о которой вспоминает А. В. Щепкина, семейственные связи были необычайно сильными.

Дед Станкевичей (со стороны отца) был выходцем из Далмации и поселился в России при Екатерине II. Женившись на Марии Дмитриевне Синельниковой, он получил в приданое дом с большим садом и широким двором. Сыновья, Владимир и Николай, унаследовали от отца живость характера, горячность, предприимчивость и благородное чувство равенства с людьми всех сословий, облегчающее жизнь им самим и их ближним.

Братья, очень дружные с детства, начав свои общие дела, располагали весьма скромными средствами. Владимир Иванович Станкевич служил несколько

лет в гусарском полку, но, женившись на красавице дочери уездного доктора Иосифа Крамера, вышел в отставку и поселился в Острогожске, в доме своего отца. Сначала, чтобы свести концы с концами, он брал подряды на исправление дорог и мостов, потом купил недорогое по тем временам имение Удеревка под Острогожском и вместе с братом построил там винокуренный завод.

Владимир Иванович, писал П. В. Анненков, «был высокого практического ума, здравого смысла и благородных правил. Достаточно сказать, что, несмотря на его многосложные занятия, преимущественно основанные на финансовых оборотах,— родительская власть чувствовалась в дому его не как гнет, а только как ограничение воли, еще не обузданной размышлением, и почти всегда как ограничение разумное и снисходительное» [1].

Семья Станкевичей постепенно разрасталась, сестры и братья горячо любили друг друга, старшие заботились о младших. Особую нежность питали все к Николаю Владимировичу.

Желая дать детям хорошее образование, Владимир Иванович поместил сыновей в гимназию; девочек обучали дома, приглашая к ним русских учительниц и гувернанток. В доме были приняты семейные чтения. По вечерам большая семья собиралась в гостиной, где читали преимущественно немецких писателей, в особенности Гофмана и Шиллера, под влиянием которых складывались романтические наклонности детей. Нередко ставили домашние спектакли, и все без исключения очень любили музыку. Старшие сестры Александры Владимировны прекрасно пели, Николай Владимирович с большим чувством играл на фортепиано.

С кругом друзей Н. В. Станкевича Александра Владимировна была знакома с ранней юности, но особенно сблизилась с этими людьми в 1840 г., после смерти брата. Самые тесные отношения связывали ее с Т. Н. Грановским, которому посвящены многие страницы ее книги. Именно в этом кругу встретила она в 1845 г. Николая Михайловича Щепкина, сына знаменитого актера, и в 1848 г. вышла за него замуж. «Семья М. С. Щепкина,— вспоминала она,— была в

[1] Анненков П. В. Н. В. Станкевич. М., 1857. С. 13—14.

дружественных отношениях со всем кружком знакомых Грановского и Кетчера. Поселившись в Москве с мужем моим Н. М. Щепкиным <...>, мы также примкнули к этому кружку в конце 1849 г.» [1].

Никто из круга Станкевича и Грановского не вспоминал позднее об Александре Владимировне. Это несправедливо, но довольно обычно: как большинство женщин того времени, она не занимала какого-то особого, своего места в этом кружке. Поэтому сначала к ней относились как к сестре Н. В. Станкевича, потом — как к жене Н. М. Щепкина. Только письма к ней и ее мужу актера М. С. Щепкина убедительно показывают, какие теплые отношения соединяли Александру Владимировну с самим Михаилом Семеновичем, а также со всеми, кто окружал его.

---

[1] Щепкина А. В. Воспоминания. Сергиев-Посад, 1915. С. 125.

ВОСПОМИНАНИЯ

В ДОМЕ И СЕМЬЕ СТАНКЕВИЧЕЙ

Вспоминая все давно пережитое, все, что было мило и дорого в прошлом, можно увлечься и много говорить о том, что интересовало нас лично,— но, может быть, не привлечет читателей мемуаров. В воспоминаниях, однако, сохраняется живой очерк старого семейного быта и нравов общества в прошлом. Вот в чем может заключаться значение таких мемуаров для читателя.

Раннее детство обыкновенно помнится в каком-то тумане. Оно не вспоминается изо дня в день, и памятны дни только чем-нибудь отмеченные.

Семья Станкевичей была многочисленна, и мне, меньшой из четырех дочерей, досталось вырастать в большом обществе трех старших сестер и пяти братьев, из которых двое были младше меня. Сестры были старше меня на несколько лет, только с одною были мы близки по возрасту и были неразлучны.

Из раннего детства яснее рисуется мне наша общая детская, небольшая комната в конце длинного коридора нашего обширного дома. Помнится также, что нас выпускали побегать в большой зал в те часы, когда это не мешало старшим и не могло тревожить нашу матушку, страдавшую хроническими недугами.

Зимой дом наш мог казаться нам совершенно пустым, когда старшие братья уезжали в пансион в Москву, а старшие сестры поступили в пансион в Воронеже, нашем губернском городе. Братья находились в пансионе профессора Павлова [1], известного даровитого преподавателя Московского университета. Старший брат, Николай Владимирович, был уже студентом и квартировал в доме Павлова. Отец наш, как я слышала позднее, был доволен, поместив сыновей под покровительством Павлова, имя которого уважалось всеми знавшими его, как известного профессора. Дорожил отец также тем, что братья, помещенные в пансионе Павлова, оставались под наблюдением старшего брата Николая.

Когда братья и старшие сестры уезжали в пансионы, дома оставались мы с сестрою Машей и двое

младших мальчиков. Мы, две девочки, спали в одной комнате, в двух кроватках, близких одна к другой.

Укладывая спать, нянюшки имели обычай уговаривать нас уснуть скорее, да не выглядывать из-под занавесов кроватей, «потому,— говорили они,— что вас возьмет *Хо;* оно вон лежит под кроваткой». Нянюшки уходили ужинать. Детская тускло освещалась свечой, стоявшей на полу в дальнем углу комнаты. Выглядывая из-под белых занавесов кроваток, мы видели это *Хо,* составленное из черного бараньего меха, и быстро прятались под одеяло.

Такое запугивание детей не запрещалось, и казалось старшим в семье смешным, а не вредным. Никто не думал, что такое запугивание развивает робость, приучает и днем бояться встретить что-нибудь опасное, приучает бояться темноты вечером. Сестра Маша, старше меня на полтора года, не была пуглива благодаря влиянию умной, доброй няни, бывшей ее кормилицы. Другая няня, сердитая, вредно влияла на детей и грубо обращалась с ними. На нее не жаловались, не доносили из жалости к ней, боясь, что ее удалят в дальний хутор, чего она, конечно, не желала. При постоянно больной матушке и пока у нас не было учительницы, мы были предоставлены няням; к счастью нашему, одна из них была вполне хорошим, надежным человеком. С нянями уходили дети в сад с липовыми аллеями и с куртинами, засаженными яблонями. Обширный сад состоял из дорожек, пересекавших одна другую, все это было разбито в виде звезды, и в центре стояла беседка, в которой мы и проводили по нескольку часов днем. Весь сад был разведен нашим отцом в его молодых летах; отец продолжал ухаживать за ним, сам садил яблони и занимался прививкою новых сортов на ветвях этих яблонь, или прищепкой на срубленной старой яблоне новыми черенками; он звал нас посмотреть на эту работу и помогать ему. Беседка, обсаженная акацией, была недалеко от дома, детей легко было позвать домой, и мы бежали взапуски по липовой аллее к дому.

Дом, очень поместительный, с широкими балконами, был также выстроен нашим отцом по составленному им плану; он часто говорил: «Дом я выстроил сам, без архитектора!»

Дом, выстроенный отцом, стоял на горе, довольно

далеко от крутого схода с этой меловой горы к реке Тихой Сосне; за рекою тянулись луга. Противоположный берег и луга красиво обросли ольхами; через мост шла дорога в степь мимо этих лугов. С балкона нашего дома можно было видеть все это, и все вместе составляло очень красивый вид. Новый дом был выстроен отцом после того, когда сгорел старый дом, купленный им вместе с имением. Пожар произошел по неосторожности старшего брата Николая, бывшего тогда мальчиком лет пяти. Стреляя из детского ружья, он направил выстрел в соломенную крышу старого дома; попавшая искра тлела незаметно и, вспыхнув, быстро охватила пламенем крышу и дом. Случилось это в первые годы после покупки имения, я знаю о пожаре только из рассказов старших, и мы, младшие дети, родились уже в новом доме.

Как-то зимою мирная жизнь детей была омрачена появившимся у нас коклюшем. Болезнь эта легко излечивается при хорошем, осторожном уходе за больными. Но в те времена около нас не имелось хороших врачей, и болезнь приняла опасный характер. Случилось это зимою, мы не могли выходить на воздух, что теперь считается лучшим приемом при лечении коклюша. Помнится, что я перенесла коклюш легче других детей,— но вряд ли от того, что моя строптивая няня уводила меня из детской в коридор и самовольно втискивала мне в рот ложку свечного сала, смешанного с сажей свечи. Другая няня снисходительно смотрела на это лечение, признавая доброе намерение. С отвращением проглотив противное лекарство, я с удовольствием оставалась в коридоре, глядя то на светлое окно в одном конце его, то на отворенную дверь в залу. Скоро меня уводили в темноватую детскую. Там сестра Маша сидела на ковре на полу, я с братом Иосифом сидели подле нее, и все занимались игрушками. <...>

Отец писал нам при одной из его поездок в Петроград, что он привезет нам учительницу из института для девиц. Перед приездом домой он назначал нам свидание и просил выехать к нему навстречу в село Ольшан. Вероятно, отец известил о дне своего приезда из города Острогожска, где сохранялась еще усадьба и дом нашего деда. Там живал в доме его дядя наш, Николай Иванович Станкевич, очень любимый нашим отцом. На пути в своих разъездах отец

часто посещал своего брата. Свидание отец назначил нам в семи верстах от нашего дома, около Ольшана, села, в котором жила наша двоюродная сестра М. Ф. Бояркина с своей большой семьею. Свидание было назначено нам у колодца, любимого отцом. Проезжая через Ольшан, он всегда останавливался и пил воду из этого колодца, криницы, как называют такие колодцы в Малороссии. Ключевая вода в нем была так чиста и прозрачна, что можно было видеть мел и мелкие камушки на дне его. Это было чистое меловое дно. Отец находил эту воду очень вкусной.

Местность около села Ольшана была красива. В стороне от крутой горы, на которой стояло село, тянулись зеленые луга, отделяясь от горы широкой рекою Тихою Сосной. У реки этой, в конце съезда с горы, и находилась любимая отцом криница. Здесь мы встретили отца. Он обнял, перецеловал нас и подвел к приехавшей с ним девице, нашей будущей учительнице. Ее лицо с веселой приветливой улыбкою понравилось нам, детям. Я приметила ее темные, гладко причесанные волосы, большие белые зубы, открывавшиеся при улыбке, и красивое платье, ватный капот из красноватой шелковой материи, цвета сливы. Это было теплое платье для дороги (по моде того времени, а весна тогда была ранняя и прохладная).

Скоро по приезде учительница наша, m-lle Брюлова, вступила в свои занятия с старшими братьями и давала им уроки иностранных языков, пока их не увезли в пансион, в Москву. Братья были помещены далеко от девочек, и мы не часто встречались с ними; яснее начинаю припоминать их с приездом учительницы. Братья не были бурными шалунами, занимались уже с учителем, французом Изнаром,— а нас, девочек, больше держали в нашей детской, мне было, вероятно, не более девяти лет. Меньшой брат, Иосиф, был младше меня, он постоянно играл вместе с нами в детской, вместе занимались мы позднее и в классной с учительницей. Он был мальчик с большими способностями, ему легко давались языки и музыка. Классная наша была устроена в мезонине нашего дома, в большой, светлой комнате с балконом, выходившим на маленький палисадник с клумбами цветов, дальше представлялся прекрасный вид на окрестность. Припоминаю, что в доме жил уже у нас учи-

тель француз г-н Изнар — высокий, худощавый старик, слабый на вид. Не могу сказать, долго ли он жил у нас, но замечена была его слабость к вину, и отец решился заменить его учительницей для занятий и с девочками.

Когда старшие братья перешли к учительнице в классную на мезонин, наш бедный француз осиротел; печальный ходил он по зале. «Француз плачет,— с жалостью к нему говорили нянюшки,— вы пойдите к нему»,— посылали они меня и подвели к двери комнаты, в которой Изнар давал уроки братьям; я скользнула в дверь,— старик видимо обрадовался. Он тотчас подвинул мне стул к столу, покрытому зеленым сукном, стоявшему посреди комнаты, и начал забавлять меня, свертывая петушков из бумаги. Мои посещения к нему продолжались и в следующие дни. Изнар выложил на стол французскую азбуку, и тут я впервые познакомилась с французскими буквами и начала произносить отдельно и целые слова. Тут же, между занятиями, Изнар выучивал меня свертывать из бумажек петушков, лодки, коробки и корабли.

Не могу определить, долго ли длились мои занятия с Изнаром, но помню, что он уезжал, наконец, и прощался с нами. Прислуга в доме очень жалела старика, но понимала, кажется, что надо было с ним расстаться; шла речь о пустых бутылках, найденных в его комнате, и о частой шаткости его походки. Конечно, все это было не совсем понятно для детей. Меньшой брат, Иосиф, также занимался вместе со мною у Изнара, и оба мы жалели о его отъезде. Через несколько времени мы, младшие дети, поступили также в классную учительницы и ходили наверх в мезонин.

В первых разговорах с учительницей я наивно сообщила ей, что я совсем не узнала ее, когда мы встречали ее у колодца в Ольшане. Она рассмеялась.— «За кого же вы меня приняли?» — спросила она.

«За императрицу,— ответила я,— она нарисована у нас на шторке в нижних комнатах». M-lle Брюлова очень смеялась и передала мое замечание старшим сестрам; сестры просили меня указать шторку, рассматривали ее, и на старинной, миткалевой [2], разри-

сованной шторке нашли нарядную даму, едущую в фаэтоне.

Сестры поняли, что я нашла сходство в костюме учительницы и дамы, нарисованной на шторке.

В нашу классную в мезонине вела из коридора очень узенькая лестница; вверху лестница освещалась ярко-красными лучами вечернего солнца; но на повороте она была темна до самого низа. И когда мы иногда спускались с нее, садясь на перила, как с горки, или сбегали, прыгая через несколько ступеней, как любят делать все дети, в темноте случалось свалиться, мы расшибали лоб и с плачем возвращались в классную. С приездом учительницы уход и наблюдение за детьми были уже гораздо лучше; благодаря ей мы переживали счастливое детство, начиная с тридцатых и до сороковых годов прошлого века, когда мне минул уже шестнадцатый год.

В раннем детстве все воспринимается сильно, многое поражает и пугает; но, к счастью, впечатления скоро рассеиваются и сменяются новыми. Часто и нам, детям, приходилось испытывать тяжелые чувства. На прогулках, переходя через проезжую дорогу, которая тянулась из деревни и проходила недалеко от нашего дома, нам случалось встречать толпу людей, странных и даже страшных, как казалось тогда. «Партию колодников гонят»,— объясняли нянюшки. Мы робко всматривались в этих людей, скованных попарно, или с колодками на ногах, с бритыми головами и со следами раны на лбу... Страх сменялся у нас жалостью; жалко казалось, жалко до слез! Няни начинали внушать, что жалеть нечего — «это злые люди». Няни рассказывали о их воровстве, об убийствах; к жалости примешивался снова страх, прогулка уже не манила, и хотелось скорей спрятаться в детской. <...>

В нашей семье матушка и старшие сестры, и родственницы очень боялись грозы; в испуге вскрикивали они при ударах грома, при вспышках молнии и прятались в темный коридор,— чтобы не видеть молнии. Страх взрослых передавался и детям, это развивало робость. Детей следует окружать бодрыми, разумными людьми, чтобы поддерживать в них такую же бодрость характера. С трудом, и только с годами и опытом дети могут избавиться от привитой им трусости.

В нашей южной местности гроза считалась опасным явлением, и нередко заставала она нас в откры-

том поле, при наших поездках к соседям. Так случилось в один вечер, когда мы возвращались домой от соседей в открытом экипаже, в длинной линейке, как назывались у нас длинные дрожки. Над нами разразилась сильнейшая гроза. Я была лет семи, но хорошо помню, какие раздавались удары грома, пролетавшие над нами, а молния охватывала все небо сплошным огнем. Кучер гнал лошадей, скакавших галопом, и сам крестился со страхом. Я все это видела. Все старшие были напуганы, меня уложили вдоль линейки и прикрыли кожаным фартуком, снятым с дрожек; но я с любопытством выглядывала из-под кожаного фартука, гроза казалась страшна и красива вместе с тем; все было ново, невиданно и интересно! Мы благополучно прибыли домой, общий страх сменился смехом и рассказами о грозе; пришлось и переменить измокшие одежды.

Страшней и опасней было другое явление с грозой, когда молния, в виде огромного шара, влетела в окно нашего дома. Помню, что я стояла у окна на стуле и мне примеряли платье. Нянюшка моя не растерялась; завидев огненный шар еще за окном вдали, она быстро схватила меня со стула, и обе мы прилегли на пол,— шар пролетел над нами! Через несколько минут в залу вошел отец мой с испуганным лицом. Он видел ту же молнию на улице деревни; там шар влетел в трубу одной избы, расплавил заслонку печи и вылетел в отворенную дверь. Так все обошлось без пожара и без вреда для людей. Отец наш никогда не терялся перед опасностью и был распорядителен. С живой впечатлительностью отец замечал все подробности, запоминал и рассказывал о них с волнением, когда опасность уже миновала. <...>

Наши занятия в классной занимали весь день. Мы начали изучать французский и немецкий языки, писали, читали и решали арифметические задачи.

В классной брали мы и уроки музыки, на старом рояле, и только усвоив себе легкое чтение нот, мы играли иногда внизу — на рояле в зале. В зале занимались музыкою старшие сестры. Самая старшая из сестер, Надежда, любила музыку. Она играла часто пьесы, заученные еще в пансионе. Так разыгрывала она один прекрасный концерт Гуммеля[3], и я часто припоминаю еще его серьезную, мелодичную вступительную тему! Сестра Надя любила и пение. Пела

она романсы очень сентиментальные, особенно под влиянием нашей доброй кузины, Марьи Федоровны Бояркиной, тогда овдовевшей и глубоко опечаленной потерею дорогого ей мужа. Кузина жила в своем доме с семьей своей в селе Ольшане, о котором я уже упоминала. Муж ее занимался делами моего отца, по откупам. <...> По занятиям делами он часто посещал отца. Случилось, что он приехал к нам вечером не вполне здоровым и остался у нас ночевать. На другой или третий день оказалось, что он заболел горячкой. Жена его тотчас приехала и не покидала его во все время долго длившейся болезни, которая развивалась все сильнее, не уступая лекарствам. Муж кузины скончался у нас в доме. Искусных и знающих врачей не было тогда в наших городках, и заболевшие тифом почти все умирали.

Вот в это время сестра Надя развлекала овдовевшую кузину своим пением по вечерам. Не могу сказать, чтобы печальные романсы развлекали кузину; но, кажется, они помогали ей, растрогаясь, плакать и облегчали ее горе. Иногда зимним вечером, в сумерках, обе кузины сидели в полутемной гостиной; сестра Надя пела, аккомпанируя себе на рояле. Сквозь промерзшие, обледенелые окна светила луна. Из комнаты матушки проникал свет лампады, висевшей у образа. В другую дверь проникал свет из освещенной залы. У рояля слышались печальные мелодии старинных романсов и еще более печальные слова их. <...>

Переехавший к нам дядя наш Николай Иванович Станкевич, брат нашего отца, любил развлекать детей и взрослых. Для него сестра пела более веселые песни и его любимую арию из оперы «Днепровская русалка», начинавшуюся словами:

Приди в чертог ко мне златой,
Приди, о князь ты мой драгой!

Дядя слушал задумчиво; порой он хандрил. Говорили, что в молодости он вынес разочарование, и не забывал, что разошелся с невестой!

Люди того времени были сентиментальны, горячи в своих привязанностях к родным, к друзьям,— но эта теплота чувств не простиралась на окружавший их народ; к нему относились сурово, хотя по христиан-

ским верованиям помогали беднякам. Такое отношение к народу происходило, как и в наше время, от взгляда на неразвитость умственную, на отсталость понятий и образования, сравнительно с другими классами, никогда не старавшимися улучшать этот умственный застой, хотя он порою тяжел был и для них.

Все изменялось и оживлялось в доме на праздник рождества, когда приезжали на отдых наши братья из Московского пансиона и университета. Особенно оживлял все наш старший брат, Николай Владимирович. Он устраивал домашние спектакли, съезжались знакомые соседи, устраивались и танцы. Дядя, как я уже упоминала, любил веселить молодежь нашей семьи. Для этого он даже приобрел домашний оркестр, когда один богатый помещик вздумал продать шесть человек музыкантов с их семействами, как это дозволялось в те времена. Можно себе представить, как нелегко было им менять одного хозяина на другого, совершенно незнакомого. К счастью их, им не пришлось жалеть и жаловаться. Отец наш и дядя отнеслись сочувственно к их положению. Помещены они были в чистых избах, назначенных для служивших в доме людей; им выдавалось содержание провизией и назначена была денежная плата, помесячно. Говорили, что музыкантам нелегко жилось у прежнего помещика, и дядя доставил им лучшее положение и развлечение семье своей. В оркестре было две скрипки, виолончель и три духовых инструмента, два кларнета и флейта. Играли они стройно; дирижировал пожилой капельмейстер; мальчики, кларнеты и флейта, хорошо читали ноты, разучивали свои партии. Конечно, инструменты были недорогие; скрипки скрипели, игра была шумна, но издали слушать оркестр было сносно. Случалось, что дядя призывал оркестр играть при парадном обеде, когда съезжалось большое общество на праздник, и тогда музыканты играли увертюры из опер. <...>

Когда устраивались танцы, то музыка влияла, оживляя. Так красивы казались танцующие пары, нарядно одетые, и вокруг танцующих собирались зрители из гостей. В большой зале было светло; танцы иногда начинались засветло. Мне, десятилетней девочке, нравилось, когда меня приглашали на кадриль пожилые люди; помню, что самодовольно и важно вы-

ступала я в кадрили с городничим, пожилым господином, в мундире, увешанном орденами. Взрослым приятно бывает доставить удовольствие ребенку и не стеснительно занять такую даму разговором.

В те времена еще танцевали охотно гросфатер и экосез [4], танец, который любили протанцевать и старики, вспоминая свою юность.

Пары танцующих гросфатер проходили через весь дом со смехом и шумом, шагая под ускоренный темп музыки. Пускаясь в экосез, спешили выстроиться в два ряда и пара за парой пролетали посередине; тут не отставали и старики; хорошо помню одного из них, готового следовать за молодыми без устали. Это были праздничные вечера, и все посетители оживлялись, шалили,— довольные радушием и угощением хозяина. <...>

Бывали в доме и празднества более солидного характера. Отец и дядя пользовались большим уважением и почетом среди соседей и старинных друзей. В дни именин соседи не забывали съехаться и с официальными и с дружескими поздравлениями. Девятого мая собирались праздновать день именин нашего дяди, Николая Ивановича Станкевича. После дружеских приветов при встрече и после завтрака любители садились за карточные столы, другие шли курить трубки на балкон и вели беседы о хозяйстве и других делах. Часто отец приглашал всех гостей своих посмотреть лошадей его; он держал конский завод и улучшал его, покупая дорогих лошадей. Он любил красивых лошадей и любовался ими с увлечением. Все шли в манеж, и детям позволялось сопровождать гостей. Лошадей выводили поодиночке, они дичились, взвивались на дыбы. При осмотре лошадей подавали иногда вина посетителям, и помню, что отец налил бокал шампанского и влил его в зев красавцу жеребцу, только что взвивавшемуся перед тем на дыбы. Жеребец смирно остановился и, казалось, проглотил вино очень довольный. Раз в свои именины, после обеда, дядя предложил гостям пройтись с ним на прогулку; он забрал с собой и детей, и с нами пошли все, кто желал прогуляться. Все мы спустились с горы к реке, перешли мост и направились вперед, вдоль реки, по лугу. Дядя вел меня за руку; за нами, вслед за толпою гостей, важно выступал оркестр музыкантов, наигрывая русские песни, что при-

давало большую торжественность праздничной прогулке: музыка спугивала диких уток с их гнезд, свитых на траве, между кустами ольх. Все это было наслаждением для детей; теплый майский вечер, свежая зелень луговой травы, вылетавшие птицы! После прогулки, дома, в зале разносили чай на больших подносах, а после чаю вечер заканчивался игрою в фанты.

Все посетители оставались ночевать; все приготовлялось для ночлега в нижнем этаже дома; там были комнаты, где готовы были постели; там был и зал с бильярдом для развлечения гостей. Наутро посетители постепенно уезжали, и с балкона в мезонине мы долго могли смотреть на их экипажи, наконец исчезавшие из вида на дальней дороге за деревней. <...>

Из кружка приятелей нашего отца приятно вспомнить одного родственника; он был и крестным отцом многих из нас, детей. Завидев экипаж крестного, мы бежали встречать его; он здоровался и с веселой улыбкой подавал нам конфетки, обмотанные золотой ниткой и с привязанным к ним билетиком, с какими-нибудь стихами,— как было тогда обычно на конфетах.

Дети ценили желание крестного доставить удовольствие и ласково встречали его. Нам нравилась и его прическа, и мундир артиллериста, который он носил в отставке. Волосы он зачесывал с затылка на перед и скручивал их в один пучок — мы называли это чубчиком и по секрету сообщали друг другу, что это напоминает жаворонка! Крестный любил хорошую музыку; брат наш Ив. Влад. играл для него сонаты Бетховена, и крестный восхищался; он отмечал подробности и говорил: «Вот тут хорошо, с подходцем!..»— так называл он переход одной мелодии в другую. С умилением останавливал он внимание на некоторых пассажах сонаты, нравившихся ему. Он был хороший, своеобразный старик. Человек он был одинокий; при нем оставалась сестра его, также незамужняя. Под его покровительством оставалось также семейство его покойного брата, сыновья его; он заменял им отца, они уважали его. Их дом стоял недалеко от дома нашего деда, и обе усадьбы отделялись садами одна от другой; видны были их дома из-за аллей старых лип, над которыми часто с криком

взвивались стан грачей из своих гнезд. Грачи водились без страха в этом тихом углу города, на его окраине.

Наша бабушка была из рода Синельниковых, и родственные отношения сохранялись между нашими семьями; и крестный был Синельников; но не знаю, в каком родстве была с ним бабушка наша, мать нашего отца. Мирно, патриархально жилось тогда в небольшом городке, но и в нем общество делилось на партии. Так, две семьи были враждебно настроены друг против друга, по-видимому, без особенных причин. Они очень редко посещали друг друга и холодно встречались в чужих домах. Причина вражды была в различии привычек и вкусов в их быту и склонность к колким замечаниям со стороны дам, как часто бывает в провинциальных кружках. Обе семьи были нам знакомы, и мы шутя прозвали их Монтекки и Капулетти.

В обеих семьях были у нас приятельницы, очень отличавшиеся одна от другой, девочки наших лет. Одну из них, полную, тяжеловатую на вид, мы любили за ее простоту и добродушие; другая привлекала красотой, грациозностью и относилась к нам с нежною дружбой. Такое отношение сохранилось у нее и в зрелом возрасте, когда я встречала ее замужнею и окруженную детьми. Знакомство с этой милой девушкой оставило самое приятное воспоминание из годов детства и юности. <...>

Нам пришлось видеть эту милую девицу под венцом; она выходила замуж по желанию ее отца, приносила себя в жертву. Как тяжело было смотреть на это венчание! По счастью, выбор отца был удачен; муж нашей подруги был человек хороший, и мы видели ее со временем снова расцветшей и довольной. Такие замужества по выбору родителей были обычны в то время. <...>

Утешение и радость нашего детства находили мы в семье кузины Марьи Федоровны Бояркиной. Кузина пережила в юности своей счастливый роман с избранным ею женихом и много лет провела в счастливом замужестве. Овдовев, с шестью детьми, все девочками, она жила недалеко от нас в селе Ольшане, где отец наш устроил ее с семьею. Мне приходилось уже упоминать об Ольшане, селе, расположенном на высокой горе; на окраине села стоял небольшой дом

кузины над рекою и с необыкновенно живописным видом на окрестность.

Никто не слышал от кузины жалоб на большую семью; она жила привязанностью, любовью к детям, вела тихую жизнь, окруженная детьми, занятая хозяйством. Она отличалась необыкновенною добротой и ровным, кротким характером! Все эти привлекательные свойства передались и ее дочерям. Утешительно за все человечество встречать таких людей, как была вся семья кузины и она сама. Утешительно видеть, что родятся такие натуры, убедиться, что они возможны, хотя и не составляют большинства человеческой расы. Воспитание и хорошее окружение могут улучшить людей, но не могут создать полное существо с особой индивидуальностью, которая дается от рождения. Кузина, вспоминая свою юность, говорила, что жить можно только для того, чтобы любить!

ПЕТР ПЕТРОВИЧ СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

(1827—1914)



Петр Петрович Семенов — один из немногих людей, изведавших при жизни вкус настоящей славы. Правда, Тян-Шанским он стал лишь в 1906 г., за несколько лет до смерти, но уже в молодости известность его шагнула далеко за пределы России: на него с надеждой взирали знаменитые немецкие ученые Александр Гумбольдт и Карл Риттер.

Кроме необычайных, разнообразных, выходящих из ряда обыкновенного дарований, Семенов обладал редкими человеческими свойствами: незаурядным обаянием и добротой. Его любили все, с кем сводила его судьба: крепостные крестьяне и маститые сановники, ученые и писатели. В октябре 1859 г. Ф. М. Достоевский писал из Твери своему знакомому о Петре Петровиче: «Это прекрасный человек, а прекрасных людей надо искать» [1].

Его хорошо знали и особенно ценили политические ссыльные в глухих углах Сибири: не занимаясь политикой, он постоянно хлопотал за них — то старался перевести в лучшее место, то устроить в экспедицию.

Надевая мундир со всеми регалиями, он отправлялся в департамент полиции, где из-за частых визитов его называли официальным предстателем за интересы государственных преступников и прибавляли не без раздражения, что его самого давно пора сослать за компрометирующие знакомства. В конце концов ему уступал даже этот, самый неподатливый департамент, и Петр Петрович, как всегда, добивался того, чего хотел.

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. С. 345.

Это умение непреклонно идти к своей цели, преодолевая трудность пути, пожалуй, составляло одну из самых отличительных особенностей многогранной натуры Петра Петровича.

Однажды, уже на склоне лет, он записал в альбом своим знакомым: «Несчастлив тот, кто не знает, чего желает; не знает, где он начинается и где кончается, видит счастье во внешних обстоятельствах и не ищет его в своем внутреннем мире» [1]. Слова, подтвержденные опытом его собственной жизни.

Как это часто бывает с очень одаренными людьми, его склонности и интересы определились рано. Но, что бывает значительно реже, вместе со склонностями к нему пришла мысль о служении науке, та мысль, которую он исповедовал с юных лет до глубокой старости.

Ранняя зрелость души была подготовлена тяжелым, трагическим детством.

Он был третьим ребенком в большой, многолюдной, сплоченной семье Петра Николаевича Семенова (1791—1832), человека беспримерной храбрости и незаурядных душевных качеств. Петр Николаевич был сыном суворовского генерала. Его родной теткой (со стороны матери) была известная поэтесса XVIII в. Анна Петровна Бунина, которую современники полушутя-полусерьезно называли «русскою Сафо». Петр Николаевич окончил Московский университетский пансион и служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Живя в Петербурге, он благодаря разнообразным и широким связям своей тетки познакомился с Г. Р. Державиным, И. И. Дмитриевым, А. С. Шишковым, участвовал в домашних спектаклях, сам занимался сочинительством и основал первый литературный кружок в Измайловском полку. Он был добродушным, веселым, остроумным; друзья любили его без памяти и до упаду смеялись над сочиненными им стихами, среди которых особенным успехом пользовались пародии на оду Державина «Бог» и на «Демьянову уху» Крылова.

Петр Николаевич так отличился при Бородине, что был награжден золотою шпагой с надписью «За храбрость». Сюртук и кивер его были в нескольких

---

[1] Цит. по ст.: Достоевский А. А. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский // В кн.: П. П. Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность. Л., 1928. С. 110.

местах прострелены, и его мать, Мария Петровна, утверждала, что от неминуемой гибели спас Николая Петровича складень, которым она благословила его. На складне действительно сохранился глубокий след от пули.

При Кульмском сражении Петр Николаевич попал в плен и был освобожден после вступления русских войск в Париж. Вернувшись на родину, он продолжал служить в Измайловском полку, вступил в Союз благоденствия, но, оставив в 1821 г. службу и поселившись в деревне, связей с декабристами не поддерживал. Поэтому вихрь декабрьских событий обошел его стороною, а Николай I сохранил к нему благосклонность и впоследствии даже покровительствовал его осиротевшей семье.

В 1821 г. Петр Николаевич женился на Александре Петровне Бланк, родной внучке известного архитектора Карла Ивановича Бланка, построившего Воспитательный дом и усадьбу Кусково в Москве.

Александра Петровна была человеком на редкость образованным, свободно владела французским, немецким и английским языками и переводила на русский иностранные книги по садоводству, которым занималась с истинною страстью.

Эту страсть к растениям унаследовал от Александры Петровны младший сын ее, с детства помогавший матери по уходу за садом.

В отличие от мужа, с его веселым и открытым нравом, Александра Петровна была человеком замкнутым, сдержанным и рассудительным. Несмотря на разность характеров, брак был счастливым: супруги прекрасно дополняли друг друга.

Поселившись с родителями и женою в родовом имении Урусово, Петр Николаевич построил по своему собственному проекту новый дом — старый стал тесен для большой семьи, многочисленной прислуги и гостей, постоянно приезжавших и подолгу остававшихся у хлебосольных хозяев. Дом был задуман по тем временам необычно: каменный нижний этаж предназначался для служб — здесь были устроены кухня, кладовая, столярная, коверная, а также комнаты для семейной прислуги. Построив в доме все эти службы, Петр Николаевич желал избавить людей от зимней беготни через двор. Средний этаж и мезонин были деревянными. К нижнему этажу сбоку была

пристроена оранжерея, находившаяся под неусыпным надзором Александры Петровны.

В этом доме, похожем на замок, появились на свет дети Семеновых: Николай, Наталья и Петр.

За хозяйственными заботами Петр Николаевич не забывал и о своих прежних склонностях: он продолжал следить за литературой, выписывая из столицы книги, газеты, журналы. В долгие зимние вечера все Семеновы от мала до велика собирались на семейные чтения в комнате старого генерала Николая Петровича. В доме царила атмосфера искренности, любви и взаимного доверия. Младшие Семеновы, рано выучившись грамоте, читали деду по очереди вслух газеты, и, хотя они почти ничего из прочитанного не понимали, сам процесс чтения доставлял им удовольствие и вселял в них законную гордость своими успехами.

На первых порах воспитанием и образованием детей занимались родители. Они обучали детей, играя. Петр Петрович всегда помнил географическое лото с названиями стран, материков, рек и городов. Это была первая игра, давшая ему представление о мире, пробудившая в нем интерес к далеким странам, неведомым землям.

Как бы ни было несовершенно домашнее воспитание, именно оно привило детям любовь к знаниям, а главное, заложило в них основы гуманного отношения к людям — независимо от социальной иерархии. Детей приучали с малолетства быть учтивыми и ласковыми с прислугой. Повелительный тон с дворовыми исключался обычаем и укладом семьи.

Наталья Петровна, сестра Петра Петровича, вспоминала: «...мы в первом детстве были самые счастливые дети. <...> По окончании уроков нам позволяли бегать во всех концах огромного сада <...>, и это раздолье среди природы развивало не только наши физические силы, но и самостоятельность» [1].

Первое детство кончилось рано, неожиданно и трагично. В 1832 г. умер от тифозной горячки Петр Николаевич. Не выдержав потрясения, слегла и Александра Петровна. Весь дом погрузился в глубокий траур. Четырехлетний Петр, видя всех в слезах и желая утешить осиротевшую семью, все повторял, что

---

[1] Грот Н. П. Из семейной хроники. Спб., 1900. С. 17, 20.

непременно воскресит отца, а тогда и маменька будет здорова.

Через некоторое время Александра Петровна встала на ноги и вернулась к своим привычным обязанностям, но что-то в ней надломилось: она делала все через силу и была погружена в глубокую депрессию, которая стала началом ее тяжелого душевного заболевания.

Со смертью Петра Николаевича все изменилось: только что веселый и оживленный дом стал опустелым и одиноким. В пустоту смотрели глаза Александры Петровны, погруженной в свои видения, на цыпочках ходила прислуга, исполненная сострадания к господам, томились предоставленные самим себе дети. Родовое гнездо опустело: дед и бабка Семеновы уехали в Рязань к другому сыну, Николаю Николаевичу. Осенью 1834 г. отправилась в Москву и Александра Петровна с детьми. В Москве они провели два года, лишь на лето переезжая в Урусово.

Состояние Александры Петровны становилось все хуже и хуже. Когда Николай, старший брат Петра Петровича, поступил в Лицей, с матерью остались младшие дети — Наталья и Петр. Об этом страшном времени, когда двое детей, лишенных всякой поддержки, находились неотлучно при душевнобольной матери, рассказала в своих воспоминаниях Наталья Петровна: «Никогда до тех пор здоровье маменьки не находилось в таком ужасном положении! Мы были почти без всяких уроков, занятий и всегда одни. <...> Целые дни сидели мы неподвижно в глубоком молчании с братом вдвоем возле комнаты больной, буквально почти не смея пошевелиться. <...> Я спала с маменькой. Страдая постоянно бессонницей, она была на ногах целые ночи и со свечой ходила по всем комнатам в страшном возбуждении! Брат же спал в угловой комнате за прихожей и запирал свою комнату изнутри» [1].

В 1838 г., когда сестру Наталью определили в Екатерининский институт, Петр Петрович остался вдвоем с матерью. Они жили в деревне, в огромном пустом доме, брошенные на произвол судьбы даже самыми близкими людьми. Находиться под одной крышей с Александрой Петровной не могла в эту пору даже ее мать.

---

[1] Грот Н. П. Из семейной хроники. С. 38—39.

Это тяжелое, мрачное время закалило душу Петра Петровича; в нем укрепилось чувство ответственности за близкого человека, за семейный очаг, который разрушался у него на глазах и единственным хранителем которого оставался он, десятилетний мальчик.

Он много и жадно читал, проводя темные зимние дни в нетопленой библиотеке отца. Только книги спасали его от беспредельного одиночества. Тогда-то узнал он Державина и Пушкина, Богдановича и Жуковского, Батюшкова и Карамзина, Гете и Шекспира. Тогда же под влиянием естественнонаучных книг в нем проснулся интерес к географии и ботанике. В десять лет он без всякой посторонней помощи начал заниматься самообразованием. Он изучал иностранные языки, математику, историю, географию, естественные науки.

В эти годы окрепла в нем и стала сознательной любовь к природе. Каждая весна словно распахивала перед ним дверь в солнечный и светлый мир. Он вырывался на волю из угрюмого скорбно-молчаливого дома и отправлялся в дальние экскурсии, собирая растения и насекомых. Он так много успел в своих занятиях самообразованием и в одиноких прогулках, что, когда ему исполнилось четырнадцать лет и к нему пригласили в качестве наставника доктора Крейме, ученика геттингенского профессора Эрхардта, то между ними установились отношения, нимало не похожие на те, что обычно связывают учителя с подопечным. Это была скорее дружба, основанная на взаимном уважении к знаниям и интересам друг друга.

За эти годы одиночества он сильно возмужал; предоставленный самому себе, он привык принимать самостоятельные решения, отвечать за себя, строить свою жизнь. В 1842 г. он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и через три года закончил ее с отличием. В военную службу он, однако, не пошел, а стал вольнослушателем Петербургского университета. Через три года он окончил курс кандидатом естественных наук.

Каждое лето он уезжал в деревню, откуда совершал длинные, многодневные научные экспедиции по Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Орловской губерниям. Сразу же по окончании университета Семенов вместе со своим другом Н. Я. Данилевским со-

вершил ботаническую экспедицию, пройдя пешком из Петербурга в Москву через Новгород.

Осенью 1849 г. Петр Петрович поселился в Петербурге вместе с сестрой Натальей, вышедшей к тому времени из Екатерининского института. Будущий муж ее Я. К. Грот, познакомившийся в эту пору с Семеновыми, писал в 1850 г. П. А. Плетневу: «С нею и брат, молодой, очень дельный человек, который зимой живет в Петербурге, не служа нигде, а летом разъезжает по России для ботанических и геологических исследований» [1].

По окончании университета научные склонности Петра Петровича определились вполне. Уже в 1849 г. он был избран действительным членом Русского географического общества. В том же году вместе с Данилевским он задумал дерзкий проект — исследовать черноземное пространство России, определить его границы, изучить растительность и провести анализ почв. Не особенно рассчитывая на успех, они представили свой проект в Вольное Экономическое общество. Вопреки ожиданиям, проект был принят, Семенову и Данилевскому было поручено его осуществление. Выполнить задуманное вместе им не удалось: в дороге Данилевский был арестован по делу Петрашевского. Петр Петрович совершил дальнейшее путешествие один, опасаясь, что и его может постичь та же участь. Ему было чего опасаться. Вместе с Данилевским он бывал в кружке Петрашевского, был знаком с теми, кто посещал его постоянно. Однако и самая личность Петрашевского, и его идеи были чужды Семенову, всегда стоявшему за преобразования «сверху», за либеральные реформы.

Так как в кружке Петрашевского он не произносил речей, а при обыске у него не было найдено никаких компрометирующих его бумаг, то посещения кружка сошли ему с рук и даже во время следствия его не вызывали как свидетеля. Много позднее он скажет, что прислушивался с восторженным вниманием к далекому шуму борьбы за свободу, но сам борьбы не затевал и революционером не был.

Успешно закончив путешествие, начатое с Данилевским, Семенов собрал богатейший материал, кото-

---

[1] Цит. по кн.: П. П. Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность. С. 28.

рый стал основой для его магистерской диссертации.

Шестидесятилетний Петр Петрович однажды написал: «Счастье для меня слагается из следующих составных частей: 1) любить и быть любимым; 2) иметь возможность приносить пользу в кругу своей деятельности и 3) заниматься только тем, что соответствует вкусам» [1].

Он был одним из тех редчайших людей, которые умеют чувствовать себя счастливыми. Жизнь его складывалась на редкость удачно, хотя в ней были и разочарования, и горечь утрат, и обиды, и неотвязные мысли о том, что он успел меньше, чем мог бы успеть.

Семенов женился в 1851 г., женился счастливо и впервые за долгие годы почувствовал тепло и уют домашнего очага. Отступило одиночество, не покидавшее его с детства. Но в начале 1853 г. его жена умерла. Он снова остался один и, чтобы уйти от горя, с головой погрузился в науку.

Весной 1853 г. он уехал за границу. Петр Петрович путешествовал по Германии, Франции, Италии, Швейцарии. Сменяли одна другую знаменитые картинные галереи, в которых он впервые ощутил острый интерес к искусству, вставали перед глазами великие памятники зодчества, невиданные картины природы будоражили его воображение. Он несколько раз поднимался на Везувий, даже тогда, когда началось извержение вулкана. Он подходил к краям медленно двигающейся огненной лавы. Он проходил по альпийским лугам и добирался до знаменитых альпийских ледников. И везде, где бы он ни был, его не оставляла мысль о Тянь-Шане, его тайная, казавшаяся почти безумной мечта.

Чтобы усовершенствовать свои знания в географических и геологических науках, Семенов начал слушать лекции в Берлинском университете. Более всех привлекал его Карл Риттер, знаменитый ученый, который, как известно, совершал географические открытия, не покидая своего кабинета. Воображение Риттера соперничало с его обширными знаниями и проницательностью истинного ученого. Но, преклоняясь перед могучей фантазией этого человека, перед его

---

[1] Цит. по кн.: П. П. Семенов-Тян-Шанский Его жизнь и деятельность. С. 110.

способностью изучать никогда не виданные им страны, горные хребты, глубины рек и озер, перед его поразительной интуицией, Семенов все же мечтал о другом. Все, о чем писал Карл Риттер, он хотел увидеть собственными глазами и либо подтвердить, либо опровергнуть смелые гипотезы немецкого ученого.

Тогда, в Германии, познакомившись с Риттером, он еще не подозревал о том, что всего через несколько лет будет переводить по заданию Географического общества классический труд Риттера «Землеведение Азии» и писать собственные дополнения к этому труду. Такие дерзкие и честолюбивые мечты не возникали у него в ту пору.

Он провел год в стенах Берлинского университета и познакомился за это время не только с Риттером, но и с Александром Гумбольдтом, когда-то мечтавшим, как и Семенов, о путешествии на Тянь-Шань. Теперь он был стар, но все, что касалось Небесных гор, по-прежнему живо интересовало его. Может быть поэтому, после встречи с Гумбольдтом идея этого далекого, казавшегося почти неосуществимым путешествия, обрела для Семенова реальные очертания.

После возвращения в Россию (1855 г.) научная карьера Петра Петровича шла неуклонно по восходящей, как говорили римляне, «excelsior» («к вершинам»). Римляне, впрочем, имели в виду вершины духа. Семенов же покорял не только их, но и настоящие горные вершины, места, куда до него ни разу не ступала нога европейца.

В 1856 г. Семенов начал свое знаменитое путешествие. Добравшись до Семипалатинска, он проехал через Копал в город Верный, а оттуда по крутым горным тропам Заилийского Алатау вышел к восточной оконечности Иссык-Куля. Именно отсюда, с берега этого огромного озера, Семенов впервые увидел то, о чем мечтал столько лет — вершины Тянь-Шаня, Небесных гор. Но, увидев их, он тотчас же понял, что это теперешнее путешествие — лишь пролог к следующему, которое потребует от него мобилизации всех физических и нравственных сил.

Второе путешествие, последовавшее сразу же за первым, продолжалось около двух лет. Для современников Семенова оно стало событием огромного научного масштаба. Он сделал много, очень много, быть

может, даже больше, чем сам рассчитывал сделать. Он определил высоту снежной линии Тянь-Шаня, открыл здесь громадные, больше альпийских, ледники, а главное, опроверг одну из любимых гипотез А. Гумбольдта о вулканических явлениях и вулканическом происхождении Небесных гор. Даже это было подлинным переворотом в науке, но это было не все. Он исследовал и описал горные проходы Тянь-Шаня, открыв тем самым возможности дальнейшего его изучения.

Если бы человечество умело ценить научные открытия так же, как военные триумфы, то обратный путь Семенова в Петербург был бы усыпан розами. Но роз не было. Были поздравления, дружеские и деловые встречи и отчеты, отчеты, отчеты.

Он вернулся в Петербург в ноябре 1857 г. Обрабатывая материалы двух первых путешествий, он уже мечтал о третьем — во Внутреннюю Азию, куда он полагал отправиться весной 1860 г. Но плану его не суждено было осуществиться, и препятствовали этому три обстоятельства: во-первых, Англии не нравилось продвижение России во Внутреннюю Азию, а русское правительство не желало давать повода к конфликту; во-вторых, казна отказывалась субсидировать такое дорогостоящее путешествие и, наконец, последнее — Россия была накануне крестьянской реформы, и все, кроме реформы, как-то само собою отодвинулось на задний план.

Правильно оценивая состояние России, Семенов понимал, что в этот момент нет ничего более важного, чем это событие, и ничего более достойного, чем участие в нем. Тупик, в котором оказалась страна после поражения в Крымской войне, был для него очевиден. Вспоминая впоследствии об этом времени, Семенов писал, что полумеры «при тогдашнем отсутствии гласности не помогали. Злоупотребления, прекращенные в одном месте, через несколько времени возобновлялись с новою силою в другом. Наконец, если принять в соображение почти полное отсутствие самодеятельности в русском образованном обществе, неимоверно стесняемом в своем духовном развитии, то нельзя было не прийти к заключению, что так идти вперед Россия не может, и что после кампании, которую выиграть было невозможно, должна наступить пора коренных реформ во всем строе русской

жизни, и что главный узел этих реформ будет заключаться в отмене крепостного права»[1].

Не оставляя своих научных занятий, он с головой окунулся в работы по подготовке крестьянской реформы.

Современники Семенова говорили, что любовь к природе сделала его путешественником, а любовь к людям — общественным деятелем. Сам же Петр Петрович утверждал, что главная добродетель, по его мнению, «любовь к человечеству вообще и к каждому человеку в особенности, полная сочувствия к его достоинствам, снисхождения к его недостаткам, отзывчивая к его страданиям, всегда готовая облегчить их»[2].

Его слова не расходились с делом и более всего подтвердились его работой на новом поприще, скорее даже не работой, а служением реформе.

По приглашению Я. И. Ростовцева, председателя Главного комитета по крестьянским делам и человека близкого к государю, Петр Петрович стал членом-экспертом этого комитета, а также одним из инициаторов создания Редакционных комиссий. Более двух лет трудился он над составлением законопроекта и Положения об освобождении крестьян. Он работал, как всегда, не зная усталости. Как-то его спросили, откуда он черпает силы, отдавая этим занятиям по восемнадцать часов в сутки. Он отвечал, что силы дают ему оптимизм и уверенность в том, что он делает нужное дело.

Но то, на что он потратил два года, впервые не принесло ему ни радости, ни удовлетворения. Законопроект, детище его души, совести, ума, был без его ведома и согласия до неузнаваемости изменен в пользу помещиков.

1861 год ознаменовался переменами не только в судьбе России, он изменил и судьбу Семенова. Весной этого года он женился на Елизавете Андреевне Заблоцкой-Десятовской, дочери своего старшего друга и сотрудника в деле освобождения крестьян. Женившись, он поселился в доме тестя на 8-й линии Васильевского острова и перевез туда, кроме своих

---

[1] Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Пг., 1917. Т. 1. С. 249.

[2] Цит. по кн.: П. П. Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность. С. 110.

бесчисленных бумаг, единственное, чем он дорожил,— картины так называемых «малых голландцев»: Якоба и Соломона Рейсдалей, Ван Гойена, Якоба Иорданса, Франса Гальса.

Он увлекался живописью давно, но коллекционером был начинающим, не умудренным ни опытом, ни хитростью, ни даже рассудительностью. То ли поэтому, то ли от вечной нехватки времени, он покупал картины, никогда не торгуясь, и петербургские антиквары нередко обманывали его в цене. Тем не менее к концу жизни Петр Петрович собрал одну из лучших в Европе частных коллекций художников нидерландской школы, и не было ни одного человека, занимающегося искусством, который, приехав из Европы в Петербург, не посетил бы его скромный дом на Васильевском острове.

«В этих низеньких комнатах с ореховою мебелью и какими-то «плантациями» растений чувствовался еще какой-то старый дух русского уклада времен Александра Освободителя. Здесь всегда любезный П. П. Семенов сам водил своих посетителей, лазая, несмотря на свои годы, по узким лестницам, разъясняя сюжеты картин и рассказывая их историю»[1].

По какому-то особому свойству его натуры все, чем он занимался, становилось для него предметом исследования, научного изучения. Он мог часами вглядываться в собранные им картины, но потребность в изучении и классификации живописи была в нем не менее сильна, чем эстетическое наслаждение ею. Поэтому время от времени он писал искусствоведческие статьи, которые помещал в «Вестнике изящных искусств». В 1885 г. эти статьи, собранные вместе, составили его книгу «Этюды по историн нидерландской живописи». И, пожалуй, до сих пор это наименее изученная сторона многогранной деятельности П. П. Семенова.

К концу жизни у Петра Петровича появился даже Рембрандт, о котором прежде он лишь тайно мечтал, а коллекция его насчитывала уже около 800 картин. Зная его исключительную память и эрудицию, в последние годы его жизни к нему нередко приходили за советом хранители Эрмитажа. Эрмитажу Семенов и завещал свое замечательное собрание картин.

---

[1] Сб.: Памяти Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Пг., 1914. С. 8.

Занятиям живописью Семенов отдавал только досуг, которого у него почти никогда не было. И все-таки время, беспощадно-неумолимое к обычным смертным, словно раздвигало свои пределы для Петра Петровича,— как будто для того, чтобы дать ему возможность осуществить его замыслы. Какой-то необъяснимый парадокс состоял в том, что чем больше он был загружен, тем больше успевал, тем полнее и насыщеннее была его жизнь. Избранный председателем отделения физической географии Географического общества, Семенов рассматривает идеи новых географических и этнографических исследований, принимает живое участие в организации разного рода экспедиций, а при всем том занимается составлением и редактированием совершенно нового и небывалого издания — Русского географическо-статистического словаря.

Глубоко заблуждаются люди, видящие в словарях сухие справочные издания. Не так думал Семенов. Его словарь должен был стать панорамой России, «энциклопедией русской жизни». Он должен был запечатлеть все, что знала к тому времени наука о морях и океанах этой необъятной страны, о ее реках и озерах, горах и равнинах, городах и поселках, об исторических памятниках, о всех племенах и народах, населяющих ее бескрайние просторы. Над этим изданием, первый том которого вышел в 1863 г., Семенов работал более двадцати лет. Последний, пятый том появился в 1885 г.

«Усталость,— говаривал Петр Петрович,— дурная привычка, которой у меня нет». И частенько прибавлял: «Человек очень силен, человек может многое». Возраст не менял его отношения к жизни и как будто не сказывался на нем. И в зрелые годы, и много позднее Семенова можно было легко увлечь как новой идеей, так и новым делом. Иногда он загорался с чисто юношескими непосредственностью и азартом.

Так пришло к нему увлечение статистикой, «подброшенное» его тестем А. П. Заблоцким-Десятовским. Заблоцкий-Десятовский говорил об этой сухой науке с жаром и увлечением, по-видимому, убежденный в том, что статистика — это первый шаг страны в процессе ее самопознания. Этим предметом Семенов занялся очень серьезно, прекрасно понимая, что без

него не может нормально и полноценно развиваться ни одна наука.

Он был первооткрывателем по натуре, и потому все, к чему прикасалась его мысль, озарялось особым светом, обретало новый смысл и значение. Так было и со статистикой. Из третьестепенной вспомогательной дисциплины она благодаря Семенову на глазах всего русского общества превратилась в насущно необходимую науку.

Семенов стал председателем созданного по его инициативе Центрального статистического комитета. А в 1869 г. сделал первые шаги к осуществлению своего грандиозного замысла — всеобщей переписи населения России — произвел перепись населения Петербурга. Воплотить его главную идею удалось лишь через тридцать лет, в феврале 1897 г.

Уже в начале 1870-х годов имя Семенова стало всемирно известным. Различные иностранные и русские общества, Академии наук боролись за честь видеть Семенова в числе своих почетных членов. В одном только 1873 г. он был избран вице-председателем Русского географического общества, почетным членом Лондонского статистического общества и Российской академии наук. К концу жизни Семенов был почетным членом более чем шестидесяти пяти академий и научных обществ. Его именем названы ледник на Тянь-Шане, горный хребет на Аляске, пролив в северо-восточной части Карского моря, горный пик, соседствующий с вершиной Хан-Тенгри. Берлинское географическое общество присудило ему за выдающиеся заслуги золотую медаль имени Карла Риттера. Такой медали не существовало вообще, ибо по статуту была только серебряная. Но для Семенова отлили золотую — в единственном числе.

Семенов выдержал одно из самых трудных для человека испытаний — испытание прижизненной славой. И чем дальше, тем больше он пишет, редактирует, занимается научными исследованиями. В 1896 г. из-под его пера выходит трехтомная «История полувековой деятельности Русского географического общества (1845—1895)». В 1898—1901 гг. он редактирует научное издание «Россия — полное географическое описание нашего отечества». И, наконец, уже на склоне лет, в 1902 г., он начинает работать над собственными мемуарами. И в этой работе неожиданно проявля-

ется недюжинный талант Семенова-литератора. Вот когда еще раз пригодились ученому его цепкая память и наблюдательность.

«Детство и юность» он написал быстро, почти не отрываясь, и завершил эту часть в 1906 г. В этом же году в ознаменование пятидесятилетия с момента его путешествия на Тянь-Шань он получил титул Тян-Шанского. В последующие три года он написал еще два тома мемуаров: «Путешествие в Тянь-Шань в 1856—1857 гг.» и «Эпоха освобождения крестьян в России (1857—1861)».

Написанные им мемуары не увидели света при его жизни, но это было, пожалуй, единственным делом, которое Петру Петровичу не удалось довести до конца.

Петр Петрович, сказал на заседании, посвященном его памяти, один из бывших коллег Семенова, «отошел от нас после редкой по продолжительности жизни — жизни, всецело посвященной благу человечества и нашей родины. Он ушел, оцененный своими современниками, удостоенный высших правительственных, ученых и общественных наград и отличий. Названные в его честь великие горные пики и грандиозные ледники сохранят его имя в людской памяти до тех пор, пока будет сохранена преемственность в ходе цивилизации человечества» [1].

ЛИТЕРАТУРА

Грот Н. П. Из семейной хроники. Спб., 1900.
Памяти Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Пг., 1914.
П. П. Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность. Л., 1928.
Алдан-Семенов А. Семенов-Тян-Шанский. М., 1965.

[1] Ошанин В. Вступительное слово // В сб.: Памяти П. П. Семенова-Тян-Шанского. Пг., 1914. С. 7.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Глава I

Родился я в ночь с 1-го на 2-е января 1827 г. в старой усадьбе моего деда [1], при селе Урусове Раненбургского уезда Рязанской губернии, так как отец мой, вступивший с 1821 г. в управление своим родовым имением, не успел еще осуществить задуманной им постройки новой усадьбы в другом месте нашего обширного сада.

Память моя лишь очень смутно воспроизводит и внешний вид, и внутреннее расположение, и убранство нашей старой усадьбы. Помню я, однако же, что старый наш дом был, как и большая часть домов достаточных помещиков того времени, деревянный, одноэтажный, с тесовою крышею, невысокий, но довольно обширный и расползавшийся в разные стороны вследствие неоднократных пристроек, обусловленных постепенным увеличением семейства, численность которого ко времени упразднения старой усадьбы доходила до 12 душ. Были в нашем доме и наружные террасы, а кругом него летом красивые цветники. Комнаты были просторные, но не особенно высокие. О последнем могу судить случайно по одному очень дорогому для меня эпизодическому воспоминанию, относящемуся к 1829 г. и с необычайной живостью и свежестью воспроизводимому моею памятью через 79 лет.

Отец мой, относившийся с необыкновенно пылкой любовью к своим детям, играя со мною (младшим из них) в своей спальне (мне не было еще тогда и трех лет), взбирался на свою широкую кровать, на которую спускался шатром кисейный полог с кольца, привинченного к потолку. В этот день полог был снят и, вероятно, отдан в стирку; отец, стоя посередине кровати, поднял меня высоко на руках и поднес к кольцу, так что я мог достать его ручонкой, что очень меня забавляло. Все это удовольствие сопровождалось громким смехом, как моим, так и моего отца, радовавшегося моей радости. Вот первое *наглядное* воспоминание моей жизни, которое мне тем более дорого, что живо восстанавливает передо мною и теперь симпатичную фигуру моего отца, которого я

как бы вижу пред собою через 76 лет после его кончины. <...>

В 1821 году 67-летний дед мой был несказанно обрадован женитьбою своего сына, моего отца Петра Николаевича Семенова, в чине капитана вышедшего в отставку после своего излечения на Кавказских водах и поселившегося в родительском доме.

Утомленный более чем тридцатилетней своей хозяйственной деятельностью, дед мой с особой радостью поспешил передать ее всецело в руки старшего сына, так как второй, вследствие своих ран, полученных в сражениях, умер скоро после окончания Отечественной войны, а остальным троим было еще слишком рано, по тогдашним правилам, выходить из полков, в которых они служили. <...>

Глава II

Отец мой встретился впервые с моей матерью Александрою Петровною Бланк в 1816 г., когда, получив отпуск после Отечественной войны, он объезжал своих родных в Тамбовской губернии. Встреча эта произошла в родовом поместье младшей линии Бланков, Елисаветине (Липецкого уезда), где двоюродная сестра моего отца, Анна Григорьевна *, была замужем за родным дядею моей матери, Борисом Карловичем Бланком. Моей матери только что минуло в то время 15 лет: она была на заре своей нежной молодости, однако при своих выдающихся дарованиях и стремлениях ко всему высокому и идеальному, еще ни о чем не думала, кроме систематического, под руководством своей просвещенной гувернантки, чтения лучших в то время произведений французской и немецкой литературы и истории.

Сблизило моего отца с молодой девушкой прежде всего то, что он нашел в ее гувернантке, m-me Бруннер, ту высоко им уважаемую бывшую воспитательницу своих братьев, которая, передав и ему основательные знания во французском языке, тем самым облегчила ему тяжелое время французского плена.

Очень заинтересовала мою мать необыкновенная живость ума и жизнерадостная веселость отца, но

* Усова, дочь Варв. Петр. Усовой, рожд. Буниной. (*Прим. автора*)

еще более его любовь к литературе и истории и его блестящий талант к чтению и воспроизведению в лицах лучших сочинений русской литературы, с которою он впервые ознакомил молодую девушку. Своими живыми, всегда образными рассказами об эпизодах войны, Бородинском и Кульмском сражениях, занятии французами Москвы, о своем плене и вступлении в Париж он сумел зажечь в своей восприимчивой слушательнице святую искру патриотизма, разгоравшуюся при ее воспоминаниях о пожаре Москвы и бегстве ее семьи (ей было тогда 11 лет) из изящного родительского дома, сделавшегося добычею пламени во время пребывания Наполеона в Москве. Таким образом встреча даровитой, н. скромной и сдержанной молодой девушки с моим отцом повлияла благотворно на ее духовное развитие, но сердце ее еще не пробуждалось. На отца моего она смотрела, как на талантливого руководителя в изучении остававшейся до тех пор для нее недоступною русской литературы и истории, как на живого комментатора высокохудожественных произведений этой литературы, как на патриота, вдохновленного высокими подвигами, его окружавшими, в которых он и сам принимал такое деятельное участие. Но ей и в голову не приходило, что человек, побывавший на полях битв, прошедший пешком большую часть Европы и так глубоко изучивший отечественную литературу и историю, может видеть в молодой девушке, едва вышедшей из классной комнаты, что-либо иное, кроме прилежной и преданной ему ученицы.

Совершенно другое почувствовал мой отец при этой первой встрече. Едва расцветающая ее молодость и нравственная красота, необыкновенное благородство всех ее инстинктов и стремлений оставили в его душе неизгладимое впечатление. <...>

Родители отца были несказанно счастливы. Они не только не теряли его навсегда, но, наоборот, престарелый дед, уже приближавшийся к 70-летнему возрасту, находил в старшем сыне опору и заместителя в нелегкой для него заботе управления своим поместьем.

Свадьба, требовавшая в деревне больших приготовлений, произошла <...> в <...> 1821 году, а управление поместьем было передано отцу престарелым дедом немедленно.

Получив от него инвеституру[2] хозяина своего поместья, отец, насмотревшийся вдоволь на иные порядки во время своих пешеходных странствований по Германии и Франции, не мог не внести в хозяйство своего поместья некоторых новшеств. Притом же тайные общества, к которым он принадлежал в последние свои петербургские годы и которые свели его с самыми передовыми русскими людьми того времени, мечтавшими если не об освобождении крестьян, то об улучшении их быта, сильно повлияли на проникнутого редкой добротою молодого человека. Все это, под влиянием приобретенных им в Западной Европе познаний, превратилось в нем в активную гуманность. С дедовскими помещичьими отношениями к крепостным крестьянам, строго соответствующими обычному праву, он еще мог мириться, но совершенно бесправные отношения дворовых к помещикам ему крайне не нравились. Возмущало его между прочим и отсутствие какого бы то ни было удобного помещения для прислуги и вообще для дворовых людей и бивачная обстановка их жизни в дедовской усадьбе, не соответствующая достаточности и даже зажиточности нашей семьи.

Собственно в полевом хозяйстве отец не предпринял никаких решительных перемен. Оно было передано ему в таком стройном и образцовом по тогдашнему времени порядке, что ему оставалось только продолжать начатое, руководствуясь советами своего более опытного отца. В добросовестном соблюдении закона, ограничивавшего барщину тремя днями в неделю и косвенно устанавливавшего распределение пахотных земель поровну между помещиками и крестьянами, он следовал беспрекословно отцовским заветам. Ни новых орудий, ни новых посевов он не заводил на своих полях. Только позаботился он активно об улучшении пород скота, как в тамбовском имении моей матери, так и в своем рязанском завел тонкорунное овцеводство и, пользуясь увеличением скотоводства, начал вводить понемногу искусственное удобрение полей.

Но всего более внимания обратил мой отец на благоустройство селения, уже изжитого в течение тридцатилетнего своего существования. Потемневшие от времени так называемые курные крестьянские избы (без труб) сделались тесными вследствие сильного

прироста населения за время дедовского управления. Селение было просторно перепланировано, новые избы были выстроены из имевшегося в поместье в достаточном количестве хорошего строевого леса. Им была придана красивая, хотя и однообразная русская архитектура с узорчатой резьбою, благоустроенными печами и дымовыми трубами, новые дворцы были сложены из местного камня с крышами, красиво крытыми соломою (начесом).

Избы эти протянулись против ограды старого барского сада от моста на Ранове вдоль всей «Рязанки», загибаясь за садом до большого оврага, называемого Точилкою, где был устроен сдерживаемый каменной плотиною обширный пруд для крестьянского скота. <...>

Не меньшие заботы доставила отцу постройка его новой усадьбы. Выбор места далеко вправо от лесистого оврага на крутой возвышенности с открытым видом вдоль реки Рановы был как нельзя более удачен. Планировка новой усадьбы была навеяна отцу знакомством его с помещичьими замками южной Франции. Обширный нижний этаж был каменный (кирпичный) и предназначался не столько для хозяйственных помещений (кухни, прачечной), сколько для жительства всей дворовой прислуги. На этом обширном каменном здании был выстроен большой и высокий деревянный барский дом с просторным мезонином, окруженный со всех сторон широкой террасою, также покоящейся на нижнем каменном здании. В сторону въезда в усадьбу с этой террасы спускалась чрезвычайно широкая каменная лестница, по обеим сторонам которой на скатах, обложенных белым известняком, были по два обширных четырехугольных углубления, заполненных землею, и в них были посажены густые впоследствии кусты сирени. Двенадцать комнат барского этажа были высоки и просторны; зала, служившая для балов и банкетов во время приезда многочисленных гостей, имела 18 аршин длины и 12 ширины. Во всех приемных комнатах и спальнях полы были дубовые, паркетные. Роскошные двери были из полированной березы. Число небольших дверей в гораздо более обширном нижнем этаже было так велико, что впоследствии, при разборке дома, всех дверей насчитали более 70. В сторону, противоположную от реки и обращенную к югу, к дому была прислоне-

на обширная оранжерея. Просторный мезонин заключал в себе в обе стороны от коридора шесть комнат для приезжающих.

Вся правая сторона лесистого оврага между ним и новой усадьбою была обращена в сад английской планировки, которой пленился мой отец в особенности во время своего пребывания в Англии и для которой впервые в нашей местности были посажены моим отцом группы лесных деревьев. Постройка, вместе с приготовлением материалов, продолжалась лет пять, и наконец, в начале лета 1830 г., когда мне было три с половиною года, произошло наше переселение в новую усадьбу.

К наступившему затем периоду пребывания в новой усадьбе относится уже непрерывающаяся нить моих детских воспоминаний, обнимающая период от 1830 до 1834 г. Состав нашей семьи был следующий. Старший брат мой Николинька [3] был старше меня на четыре года. Когда моим восприемником был избран родной мой дядя Михаил Николаевич, служивший в то время в Измайловском полку, а восприемницей — Анна Петровна Бунина [4], «российская Сафо», которая переехала уже больною из Петербурга и поселилась в имении своего двоюродного племянника Д. М. Бунина, в сельце Денисовке, и отсутствовавшая в то время родная бабушка Наталия Яковлевна Бланк, то во вторые крестные отцы не только был записан мой четырехлетний брат, но за отсутствием дяди он действительно принимал активное участие в моем крещении, относясь очень серьезно к своим обязанностям, к необыкновенному удовольствию дедушки, любимцем которого он был.

Ближе ко мне по возрасту была сестра Наташа [5] (впоследствии Наталия Петровна Грот, жена академика), с которою мы позже так дружно делили выпавшие на нашу долю горести. Кроме того, судьба послала нам еще одну приемную сестру. У отца моего была двоюродная сестра Аграфена Васильевна Милонова, по замужеству Корсакова, которая, имея шестерых детей, овдовела, снова вышла замуж, но лишилась и второго мужа как раз в то время, когда поспела наша новая усадьба. Имущественное положение вдовы было очень плохое, а дети ее от первого брака уже требовали воспитания. По тогдашним обычаям она, овдовев, приехала немедленно в дом моего отца со

всею своей семьею искать покровительства у старшего своего родственника, т. е. родного ее дяди, моего деда. На семейном совете решено было разместить всех ее дочерей у родных, оставив при ней единственного ее сына от второго брака. При этом великодушный отец мой вызвался первый взять одну из ее дочерей на воспитание вместе со своими детьми. Дочерей Корсаковых (все они были от первого брака) выстроили по росту в нашей гостиной перед камином и предоставили выбор всеми балованному любимцу матери и деда, моему брату. Все пять девочек Корсаковых были очень хорошенькие, но между ними были и брюнетки с темными глазами, и блондинки с лазуревыми. Мы все присутствовали при этом выборе. Мой брат, видевший в первый раз этих девочек, одетых в глубокий траур, осмотревшись, быстро подбежал ко второй из них и сказал: «Я хочу эту беленькую», а таким образом Оленька (Ольга Васильевна) Корсакова сделалась нашей приемной сестрою. Она была на два года старше моего брата (ей было десять лет): стройная, грациозная, с лазуревыми глазами и льняного цвета волосами, в своем черном платьице она действительно производила чарующее впечатление. Старшую, Пашу, взяла впоследствии ее родная тетка, сестра Корсаковой, Александра Васильевна Цеэ, также рожденная Милонова (мать бывшего впоследствии сенатором В. А. Цеэ). Остальных разместили к другим родным.

Кроме детей, поселились в новой усадьбе и родители моих родителей, а именно Н. П. и М. П. Семеновы, «старый барин и старая барыня», как их всегда величала прислуга в отличие от «молодого барина и молодой барыни», а также и мать моей матери, Наталия Яковлевна Бланк, которую моя мать тотчас же после постройки новой усадьбы, с согласия моего отца, пригласила в свой дом из имения мужа своей сестры, Денисовки. При нас, детях, состояли две няньки, взятые во двор из крестьянок, но уже одевавшиеся по-дворовому: одна из них, Арина, отличалась своей худобою, а другая, Афимья, своею толщиною, но обе были добрые и умные женщины, несколько пожилых лет, знавшие (в особенности Арина) много интересных народных сказок и присказок, которые я слушал от них с особым наслаждением. Арина строго выполняла все приказания матери, но Афимья тайком

приносила нам деревенские пышки, которые мы очень любили, но которые нам запрещали давать, боясь развития золотухи[6]. Обе няни, и в особенности Афимья, недовольны были переездом в новую усадьбу: не нравились им в особенности та чистота и опрятность, которых от них неустанно требовала моя мать. «Статочное ли дело,— говорила Афимья,— что и на стенки-то плевать не позволяют»,— что им казалось тем более немыслимым, что деревянные стены нового дома еще не были оштукатурены и состояли из хорошо обструганных и проконопаченных бревен. Но скоро родители пришли к убеждению, что пришла пора заменить русских нянек немкою. По заочной рекомендации была выписана полная и пожилая «Марья Крестьяновна». Говорила она с нами по-немецки, как ей было предписано, хотя знала достаточно русский язык. Воспитательного влияния на нас она не имела никакого. Дети относились к ней равнодушно, а брат Николинька, в котором уже и тогда проявился прирожденный юмор,— весьма насмешливо. Мне только одному было жалко Марью Крестьяновну, которая меня особенно любила. Носила она всегда очки, при помощи которых в длинные вечера вязала чулок при нагоревшей сальной свечке, причем нередко держала руками свое вязанье не перед свечкою, а за нею. Эту привычку подметил мой брат Николинька. В то время только что входили в употребление пистонные ружья, из которых он и стрелял, конечно без заряда, одним пистоном. Он воспользовался тем, что Марья Крестьяновна никогда пистонов не видела, и дал ей один из них, прося вычистить вязальной иголкою оттуда то, что там находилось беленького (гремучий порох). Марья Константиновна, замечая, что просьбы брата исполнялись всеми старшими беспрекословно, принялась за работу, поместив пистон в свои руки за свечкою. Пистон, разумеется, лопнул, свечка погасла, очки слетели с носа немки, и брат торжествовал. Накрахмаленный чепец Марьи Крестьяновны с широкими фалборами[7] также служил мишенью для всяких шалостей брата. Сестра Наташа, резвая и живая, отличалась также неудержимыми шалостями, которые, впрочем, никогда не были направлены ни против кого лично. Только Оленька, как старшая, была очень сдержанна, но и на нее Марья Крестьяновна не имела ни малейшего влияния, так что в сущности ее роль

ограничивалась попечениями обо мне как о младшем. С особенной заботливостью наливала она мне тайком имевшуюся у нее миниатюрную чашечку кофе со сливками, который она очень любила. <...>

Возвращаюсь к тому, что происходило в нашем Урусовском доме. Год нашего переезда в новую усадьбу, 1830-й, был годом всеобщего бедствия для нашей центральной области, да и для всей России. Страшная холера 1830 года надвинулась на нас с юга. Борьба с нею осуществлялась главным образом карантинными мерами, усилиями изолировать по возможности больных, но менее всего непосредственным лечением, на которое не было почти никаких средств, так как на всю нашу округу имелся у нас лишь один медик, почтенный Егор Иванович Мессершмидт, друг нашего дома, часто нас навещавший. Правда, что правительство решилось на отважную меру: оно выпустило и разослало по всей России всех студентов медицинских факультетов, прошедших первые два курса, с производством их в лекаря, и поставило их под руководство уездных предводителей дворянства. На долю отца выпала тяжелая деятельность. Всегда отказываясь от избрания в предводители дворянства, он, однако же, соглашался принимать звание кандидата на эту должность, и так как раненбургский предводитель сказался больным, то отец со свойственной ему энергией, проявляемой им в особенности в тяжелые дни народных бедствий, принялся за свое дело — устройство карантинов, изолирование больных и за предохранительные меры, руководствуясь умными и компетентными советами своего приятеля, д-ра Мессершмидта, и посылая для исполнения своих распоряжений присланных к нему вновь произведенных врачей, которые после того так и остались навсегда на медицинской службе, под народным прозванием «холерных». Дело у отца кипело, и все население, между которым он пользовался большой популярностью, слушалось его беспрекословно. Где только в уезде ни появлялся холерный очаг, он тотчас же был изолируем, и борьба с инфекцией производилась при помощи детальных предохранительных мер, проводимых моим отцом с энергией и успехом.

Наша Рановская местность находилась в особенно неблагоприятных условиях, потому что холера, перешедшая с Дона, шла вниз по Ранове из смежного

Данковского уезда. Но отец мой, пользуясь своим влиянием на соседей, врывался со своими мерами и в этот уезд и действовал по всей Ранове; все же эпидемия унесла здесь, как мы узнали впоследствии, немало жертв. Замечательно, что мы, дети, были так охранены заботливостью родителей от всяких тревог, что даже не знали о существовании страшной болезни, которой в нашей обширной усадьбе вовсе и не было. Нас поражало только то, что все получаемые письма были проткнуты значительным количеством дырок и что моя мать сама протыкала насквозь отправляемые ею письма острой конической костяною иглой. На вопрос, зачем это делается, мы получали ответ, что так велено, потому что есть болезнь, которая ходит в воздухе. Слышал я также от нянь и о том, что на деревне умерли их родные, и по этому поводу познакомился впервые из расспросов окружающих с тем, что такое смерть; при этом мне впервые объяснили, что все люди умирают, засыпая вечным сном, а что души их переходят в лучший мир к Богу.

К наступлению зимы бедствие миновало, и мы чаще стали видеть отца, в течение всего лета бывшего в разъездах. Впрочем, и не одна холера выводила его на общественную деятельность. Он постоянно посвящал час своей жизни тому, что в Евангелии известно под именем семи подвигов милосердия. Не было ни одного пожара в окрестности, на котором он не действовал бы со свойственной ему отвагою и самоотвержением. Популярность, которою он пользовался, была поистине изумительна. С его прибытием толпа сбежавшихся крестьян вместо обычного галдения превращалась в стройную дисциплинированную пожарную команду. Сам он отважно влезал на горевшие строения и не раз был спасаем крестьянами от явной опасности; один раз рослый и здоровый мужик извлек его из пламени в то время, когда крыша, на которой он стоял, обрушилась. В мужике этом отец мой, к удивлению, узнал бывшего вора, только что вышедшего из острога, в который он был посажен на целый год по указанию отца.

Во всей общественной деятельности моего отца резко выказывалось противление злу и упорная борьба с ним. Боролся он против шаек грабителей, изредка появлявшихся в нашей местности и не успокаивался до тех пор, пока все эти грабители не были им пе-

реловлены и отданы в руки правосудия, боролся он и против воровства и пьянства, и против тогдашнего всеобщего недуга — мелкого взяточничества, как в среде полицейских, так и других чиновников, которых он в своем негодовании называл «куроцапами», и наконец даже против злоупотребления помещичьей властью, где, конечно, борьба его была почти бессильна, так как она должна была ограничиваться порицанием зла и некоторым влиянием на общественное мнение в дворянской среде, так же как и противодействием избранию на общественные должности лиц, явно злоупотреблявших крепостным правом. Обращались к помощи и заступничеству моего отца все обиженные и угнетенные, в особенности вдовы и сироты. В семейную нашу жизнь отец мой вносил столько активной любви, а мать — столько сдержанности и разумного спокойствия, что наше довольно многочисленное и сложное семейство можно было считать идеалом семейного счастья.

Вставали мы в 6 часов утра, одевались и умывались всегда не без помощи нянек, надевавших на нас каждую составную часть нашей одежды, начиная от наших чулочков; молились Богу под надзором матери и собирались около нее в столовой к чаю. Старички пили чай в своих комнатах. Затем день распределялся правильно, не без педантизма, в сильной зависимости от метеорологических условий. Для старших детей были определенные часы уроков. Игры не регламентировались, как в детских садах, а были совершенно свободны и предоставлялись преимущественно нашему детскому творчеству. Только место им определялось, смотря по погоде и обстоятельствам, в детской, в зале, на обширной террасе или в саду. Первоначальное обучение грамоте было делом бабушки и совершалось по-старинному, начиная с познания букв: аз, буки, веди, и слогов: буки аз-ба, веди аз-ва и т. д., а писание с палочек, нуликов, а затем и букв. Несмотря, однако же, на эти признанные впоследствии ненужными осложнения, мы очень быстро научились грамоте. Сестра и я в своем четырехлетнем возрасте уже умели читать и писать. Игрушки нам привозились и присылались из столицы родными, но они меня мало занимали, за исключением четырех, оставшихся у меня в памяти. С одною излюбленной я не расставался во весь период моего детства. Это были

раскрашенные портретики во весь рост русских государей, начиная от Рюрика[8] до Александра I, вырезанные и написанные на картоне красками. Эти фигурки, имевшие вершка 4 в вышину, были крепко приклеены к дощечкам, при помощи которых они расставлялись. Большое наслаждение доставляла мне расстановка на полу всех этих многочисленных фигурок, имена которых я так себе усвоил, что мог, будучи в пятилетнем возрасте, перечислить их подряд в хронологическом порядке их княжения или царствования. Игрушка эта подарена была мне лично, составляла мою самую драгоценную собственность и хранилась под ключом в моем собственном маленьком сундучке вместе с немногими излюбленными мною мелочами. Другая любимая игрушка, мне же подаренная, была раскрашенная модель Троицко-Сергиевской лавры, со всеми ее храмами и строениями, расставляемыми по плану. Две остальные игрушки, оставшиеся у меня в памяти, были общие с братом и сестрами; одною из них был довольно большой театр со сценою и актерами, маленькими фигурками в костюмах, другою — «храм счастья», в который мы охотно играли, и где на меня сильно действовала превратность судьбы, отбрасывавшая далеко назад уже близких к цели. Остальные игрушки меня или вовсе не интересовали, или, как, напр<имер>, калейдоскоп, привлекали только эфемерное внимание.

Зато наш обширный сад с его прелестными уголками, с его разнообразными холмиками, скатами, крутыми обрывами и роскошными цветами, был для меня источником истинного наслаждения. Но особенно мы любили поездки в многочисленные тогда свои собственные и соседние леса; сажали нас всех в обширную долгушку (род линейки), с фартуками, придерживавшими нас от случайного падения. В лесу мы гуляли по два и по три часа, собирая с наслаждением грибы, ягоды и цветы; отец очень любил в часы досуга сопровождать нас в этих поездках, внося в них большую долю оживления и веселья. Мать также нередко сопровождала нас. Иногда при приходе почты отец захватывал с собою только что полученные письма и газеты, которые пробегал во время этих поездок. Тут случалось наблюдать необыкновенную, анекдотическую его рассеянность: раз он оперся на прут, придерживающий фартук, который не выдержал и сорвался

под его тяжестью; он сам упал на землю, впрочем очень счастливо, но, заинтересовавшись газетою, продолжал ее чтение; экипаж, разумеется, остановился в ожидании хозяина. Вдруг он вспомнил о поездке и начал спрашивать, зачем же остановились и не едут. Случалось, что долгушка опрокидывалась на косогоре, и мы все вылетали из нее вместе с фартуком, на который опирались. Легкие и живые дети вскакивали очень скоро, так же как и родители, но в самое комическое положение попадала всегда толстая Марья Крестьяновна, которую мы все поднимали, надрываясь от усилий и смеха. Несчастий при этом не случалось. Мы возвращались почти всегда украшенные венками из цветов, которые сплетали сами. Каждый из нас, детей, собирал в большом количестве свои излюбленные цветы для венков и букетов, у меня же находились самые редкие и малоизвестные, которые только я и умел отыскивать. Раз или два в течение дня приводили нас в комнаты бабушки и дедушки, где мы, за исключением балованного Николиньки, держали себя очень чинно. Старики встречали нас с необыкновенной приветливостью и радостью, угощали всякими гостинцами, а брат Николинька заставлял дедушку делать все, что мог только придумать. Так, один раз он потребовал от дедушки, чтобы тот достал рукою черное пятнышко, замеченное Николинькой на потолке. Дедушка велел принести большой стол, нагромоздил на него другой меньший, а на этот — еще стул, взобрался на все это и достал пятнышко. В другой раз, когда старички во время масленицы стали нас угощать у себя блинами, причем бабушка разрезала эти блины, Николинька расплакался и не хотел есть разрезанный блин, отказывался и от цельного другого, так что дедушка мог его успокоить только тем, что собственноручно сшил разрезанный блин толстыми нитками. Обедали мы в 1 час пополудни, часов в 5 пили чай, в 8 — ужинали, а в 9 — ложились спать.

Учением старших детей занималась моя мать; она обучала их русской грамматике, французскому и немецкому языкам, истории и географии. Мать почти всегда говорила с нами по-французски, а в определенные дни заставляла нас говорить и между собою исключительно по-французски и по-немецки, что и делалось нами по возможности, но без строгого педан-

тизма. На меня учение, кроме бабушкиной грамоты, еще не распространялось, и я только издали видел, как старшие дети сидели в детской за столом и приготовляли свои уроки, задаваемые им по учебникам, а затем, когда уроки были готовы, они направлялись в обширную спальню матери отвечать ей выученное и писать под ее диктовку каждый день на одном из трех языков. Первая, быстрее всех справлявшаяся со своими уроками, была сестра Наташа. Окончив приготовление уроков, она дожидалась всегда основательно, но более медленно приготовлявшую уроки Оленьку. Обе девочки посматривали с беспокойством на брата, уроки которого никогда не были готовы вовремя, так как он во время их приготовления постоянно рассеивался посторонними предметами, ловил мух и подсмеивался над сидевшею вдали в своем чепчике и очках Марьей Крестьяновной. Девочки несколько раз напоминали ему о том, что пора окончить, наконец, по взаимному уговору вставали вдруг со своих мест для того, чтобы идти к матери с готовыми уроками. Но брат вскакивал за ними и, схватив их обеих за платья, бросался на землю, чтобы затормозить их своей тяжестью, что ему и удавалось; девочки, вступив с ним в переговоры, возвращались на свои места и ожидали брата, который на этот раз уже делался внимательнее и быстро оканчивал приготовление, хотя мать иногда возвращала его на место уже одного для более основательного приготовления урока, чего никогда не случалось с сестрою Наташей. Между собою мы были очень дружны и серьезных ссор между нами не происходило. Когда же кого-нибудь из нас ставили в наказание в угол, а в случае более важных проступков — даже на колени, что чаще всего случалось с резвой Наташей, изобретавшей неимоверные, конечно, чисто детские шалости, а иногда и с Николинькой, по причине его необыкновенного упрямства, то остальные дети прибегали к матери и со слезами просили прощения за наказанного.

Жили мы очень открыто и гостеприимно, но конечно гости из ближних соседей приезжали к нам преимущественно по воскресеньям или праздникам. Зато дальние гости, родные и приятели отца из Тамбовской, Тульской и Орловской губерний, так же как и из обеих столиц, приезжали и не в урочное время гостить на многие дни и даже недели, всегда в более

или менее полном семейном составе, с детьми и прислугою. Уже издали, бегая по террасе, слышали мы звон колокольчиков и были уверены, что едут гости; вот показывалась громадная карета, запряженная в шесть, а иногда и восемь лошадей с одним или двумя форейторами[9]. Кареты эти на стоячих рессорах были чрезвычайно высоки и снабжены откидывавшимися изнутри ступеньками, числом до четырех; внутри кареты были устроены выдававшиеся наружу погребцы, в которые всегда клалась провизия: хлеб белый, печеные яйца, жареные куры и цыплята, ветчина, яблоки и т. п. Над каретою были прикреплены плоские ящики, обитые кожею, в которые можно было помещать дамские платья, не складывая их, и кроме того на запятках укреплялись один над другим сундуки. Иногда число приезжих с разных сторон гостей было так велико, что находящихся в мезонине комнат недоставало для гостей, и мы выводились из своих двух детских и ночевали вповалку на полу — зимою в нашей обширной зале, а летом на громадной террасе, на которой можно было бы поместить на ночлег целую роту солдат. Все размещались по возрастам, незнакомые друг с другом дети сначала немного дичились, а потом сходились в одном общем веселье, причем к учащимся применялись полные вакации[10]. Игры были оживленные: горелки, жмурки, веревочка с кольцом, фанты, «барыня спрашивает весь туалет», кегли, но всего более прогулки по обширному саду и поездки в лес, казавшиеся всем нам очаровательными. За столом все обедали вместе в большой зале, и обедавших было иногда до 50 и 70 человек. За стульями стояли лакеи с большими ветловыми ветками, которыми они внимательно отмахивали мух. Только одному из слуг извинялось его менее внимательное исполнение этой важной обязанности: это был старый слуга моего отца Степан Владимирович,— тот самый, который сопровождал его во всем походе 1812—1815 гг. и в Париже научился нескольким французским словам и фразам. Он имел привилегию стоять за стулом хозяйки дома — моей матери, и очень часто дремал, стоя. Огромная ветка, которою он отмахивал мух, постепенно прекращала свои быстрые движения и медленно опускалась в миску с супом, который разливала хозяйка; мать обертывалась, и тогда Степан Владимирович, встрепенувшись, начинал отмахивать мух

с проснувшейся энергией, и брызги супа разлетались на почтеннейших гостей. Когда же попытались заменить Степана Владимировича другим, более молодым слугою, недавно взятым во двор из осиротелой семьи крестьян, то этот последний оказался не на высоте призвания: принес миску с супом, наполненную мухами, которых очень не любила мать, и когда она ему указала потихоньку от гостей на его небрежность, то он, держа миску в одной руке, начал вылавливать из нее мух другою, к ужасу матери. Миска была изгнана из залы, и пришлось послать к повару за другим запасом супа. Само собою разумеется, что лакеев иногда недоставало на все количество гостей, но недостаток этот пополнялся теми, которых привозили с собою гости, а также одетыми в запасное платье форейторами. Такие обеды продолжались долго и длились часа по два. Повар у нас был превосходный: он обучался в Московском клубе у пользовавшегося тогда большой славою тамошнего повара, которого император Николай I взял впоследствии в придворные повара. Провизия и вино покупались отчасти в Москве — зимою, когда наши крестьянские обозы направлялись туда с хлебом, а также — на знаменитой тогда Лебедянской ярмарке.

При частых посещениях гостей усадьба наша была культурным центром для целой местности. Отец и мать следили в особенности за тем, что делалось в русской литературе и в русском театре, всегда особенно живо интересовавшем моего отца, который находился в дружеских отношениях с самыми талантливыми столичными литераторами и актерами своего времени. Кроме газет и журналов, все новинки русской литературы получались нами чрезвычайно быстро при посредстве уже вышедшего в отставку из военной службы и сделавшегося цензором родного моего дяди, Василия Николаевича. Собиравшиеся к нам гости заслушивались отца, когда он читал громко приходившие к нам сочинения Пушкина, Жуковского, а также произведения тогдашнего драматического искусства. Драмы и комедии он читал в лицах, индивидуализируя их и придавая каждому соответствующий характер. Как часто во время этих чтений гости, игравшие после обеда в карты, выскакивали из-за карточных столов и подбегали слушать своего Орфея (так называли отца в Измайловском полку), не из

учтивости, а прямо по увлечению! И мы, дети, прибегали слушать его с тем же увлечением и так полюбили поэзию, что я в возрасте 4—5 лет знал наизусть много стихов Пушкина, которые с тех пор удержались в моей памяти. <...>

Поездки наши «в степь» совершались обыкновенно только в летнее время, осень же и зиму мы проводили безвыездно в деревне. Самое интересное занятие осенью был сбор яблок, в котором мы принимали деятельное участие, так же как и в их сортировке. Целые массы забракованных по своим небольшим недостаткам яблок получали следующее назначение: перед нашей высокою террасой собирали детей всей деревни, так же как и дворовых, и все мы бросали груды этих яблок, которые они с криком веселья и радости расхватывали отчасти на лету, отчасти на земле, тех же, которые по своему малому возрасту или малосилию, не могли добыть себе яблок, приводили наверх на террасу, и мы раздавали им яблоки из рук в руки. Это был, можно сказать, единственный случай нашего общения в этом периоде детства с деревенскими детьми, так как мать вообще не любила этого сближения и всегда предупреждала нас против всякой фамильярности с крепостными.

Зимою для нас устраивались разные зимние увеселения; между прочим, половина широкой каменной лестницы покрывалась досками; поливалась водою и, замерзая, превращалась в огромную катальную гору, доставлявшую нам много удовольствия.

Но не долго суждено было продолжаться этой счастливой семейной жизни. В 1832 году отец мой отправился один в Тамбовское имение матери, Петровку, незадолго перед тем увеличенное покупкою другой половины имения, принадлежавшей ее сестре, Елизавете Петровне Буниной. Нужно было слить два раздельные хозяйства и привести их к одному знаменателю. Отец расстался с нами, как всегда веселый и жизнерадостный, но в Тамбовской губернии, ухаживая со всегдашним самоотвержением за случайно заболевшим тифом своим слугою, заболел и сам тифом в маленьком домике, который имелся в нашем заглазном имении, и был перевезен своей двоюродной сестрою Анной Григорьевной Бланк в ее прекрасную усадьбу, отстоявшую в 6 верстах от Петровки. Посланный ею гонец с известием об опасной болезни

отца встревожил всю нашу семью; через час времени мать уже была в экипаже, но, приехав на другой день к вечеру в Елисаветино, не застала отца в живых. Страшное, неожиданное горе поразило ее так, что она упала без чувств и очнулась в нервной горячке с воспалением в мозгу. Через три дня ее привезли к нам, но мы не могли ее видеть; ее положили в спальню, и нас к ней не допустили, а собрали в детскую перед находившимся там киотом с многочисленными образами в золотых ризах и теплящейся лампадою, поставили на колени, и одетая в глубокий траур бабушка Марья Петровна, пораженная горем, объявила нам, что отца уже нет на свете. Горько рыдали все дети, но я один не плакал, и когда все встали и подошли ко мне, я громко и решительно объявил, что отец не умер, что он только уснул, а я его непременно вылечу. Убеждение мое было так сильно и глубоко, что оно рассеялось только через несколько дней, когда все вернулись с похорон отца, и только тогда я горько-горько заплакал. Когда прошел острый кризис болезни моей матери и она пришла в полное сознание, нас привели к ее постели в траурных платьях, и свидание с нами хотя немного облегчило ее жгучее горе.

Общий строй жизни в нашем доме мало изменился, но уже в нем недоставало того цемента, который связывал силою своей любви и жизнерадостности всю семью в одну счастливую группу. Мать стала уединяться по целым часам и даже дням в какой-то мрачной меланхолии. С дедом через 2—3 месяца случился удар, лишивший его владения правыми конечностями, и хотя лечение возвратило ему постепенно память и дар слова, но ходить без посторонней помощи он уже не мог. Мужественно переносила свое тройное горе живая и энергичная бабушка Марья Петровна: обо всем она заботилась в доме во время болезни матери, и все еще шло по инерции, как и при отце. Бабушка Наталия Яковлевна, всегда кроткая и молчаливая, никогда не вмешивавшаяся ни в дела хозяйства, ни в наше воспитание, лишилась надолго своей единственной отрады — тесного общения с моей матерью, которую она так сильно любила. Единственным ее утешением было посещение мною, ее любимцем и крестником, ее комнаты, в которой она и прежде жила затворницею вдали от общего оживления дома. Болезнь матери была продолжительна; только к весне

1833 года силы ее вполне восстановились, и она с энергией отдала себя вновь всецело своим трудным обязанностям. Ей предстояло обратить все свои усилия на воспитание детей и на управление имениями. Учение детей, прерванное во время болезни матери, установилось в прежнем порядке, и я понемногу был привлечен к этому учению. Марья Крестьяновна была уволена, а для Николиньки, по рекомендации дяди Николая Николаевича Семенова, бывшего в то время директором Рязанской гимназии, был выписан, в качестве репетитора, гимназист старшего класса, 16-летний юноша Иван Матвеевич Муромцев, живой, здоровый, очень способный, веселого и милого характера. Брата перевели из детской в одну из комнат мезонина, где и поместили с юным гувернером: двух девочек поместили в одной из детских, а меня одного — в другой. Нелегко было Муромцеву справляться с избалованным мальчиком, до крайности своевольным и оригинальным, но он все-таки хорошо справился со своей ролью, сделав из себя не воспитателя, а старшего товарища моего брата, которому тогда было 10 лет, и в таком качестве получил сильное влияние на развитие моего брата, подтрунивая над его недостатками и с большим здравым смыслом вступая с ним в беседы и споры, как с равноправным; вместе с тем он умел давать уроки способному мальчику, действуя на его самолюбие и говоря ему, что он, как племянник директора гимназии, должен явиться в нее вооруженный хорошими для своих лет познаниями. Уроки его были так живы и интересны, что я, по своей охоте и никем к тому не принуждаемый, приходил их слушать, удаляясь только тогда, когда Иван Матвеевич заставлял моего брата отвечать пройденный урок. Мать понемногу ввела меня также в цикл своего преподавания, которое состояло преимущественно в чтении на трех языках, переводах с французского и немецкого и диктовках.

Неожиданным утешением для стариков, перенесших всю свою любовь к сыну на своих внуков, было то, что император Николай I, которому было доложено о кончине отца, вспомнил об его службе в Измайловском полку и пожаловал нас обоих в пажи двора его императорского величества. Это было в 1833 г.; нам тотчас были заказаны пажеские мундирчики, в которые нас и одевали в парадных случаях. Но, по-

видимому, наши новые костюмы доставляли более удовольствия окружающим, чем нам самим. Впрочем, хотя я должен был казаться очень смешным в мундирчике с длинными фалдами и стоячим воротником, с галунами на воротнике и рукавах, я беспрекословно одевал свой костюм, когда это требовалось; но не так-то легко было заставить его надеть Николиньку, который в особенности энергично протестовал против высокого шелкового галстука, надеваемого под воротник, и против этого последнего.

Что же касается до управления имением, то мать обнаружила необыкновенные способности, как административные, так и хозяйственные. Уже при жизни отца она вполне присмотрелась к хозяйству, в которое, впрочем, отец мой мало ввел изменений против дедовского благоустройства, особливо в полеводстве. Крупным новшеством было только заимствованное отцом из Тамбовской губернии разведение высоких сортов мериносовых овец, производившееся в то время с большим успехом передовыми сельскими хозяевами Тамбовской губернии. Но несомненно, что в нашей местности, имевшей далеко не степной, а лесостепной характер, разведение мериносовых овец достигало уже предела своего крайнего распространения, хотя при тогдашних высоких ценах на шерсть и очень тщательном уходе, как, например, содержание ягнят в теплом помещении, тонкорунное овцеводство давало значительные выгоды. К замечательным административным и хозяйственным способностям моя мать присоединяла еще и финансовые, именно расчетливость, которой не было у моего отца. <...> Моя мать нередко предпринимала необходимые для надзора за хозяйством поездки в свое тамбовское поместье, причем брала и нас с собою, навещая принимавших самое живое участие в ее горе наших тамбовских родных.

Одна из таких поездок, совершенная матерью весною 1834 г., живо врезалась в мою память, потому что она была первым путешествием в моей жизни, к которому я относился уже вполне сознательно и которое имело более влияния на мое развитие, чем уроки детских лет.

Поездки «в степь», как называли в то время тамбовские поместья наши и наших родных, совершались «на долгих», т. е. на собственных лошадях с остановками для кормления лошадей через каждые 30—40

верст. Из нашего Урусова до нашей тамбовской Петровки считалось 120 верст.

Первой станцией был всегда наш уездный город Раненбург, который в народе, не усвоившем себе немецкого названия, был известен под именем Амбура или Анбура. На мой вопрос, откуда произошло немецкое название города, мать ответила мне, что он был основан знаменитым сподвижником Петра Великого, Меншиковым [11], который, будучи сослан сюда при Петре II, построил себе замок (Burg) и дал ему название Ораниенбурга, в воспоминание о любимом своем дворце Ораниенбаум близ Петербурга.

Мне, так полюбившему историю русских царей и уже ознакомившемуся с ней, Меншиков был очень знакомой личностью. Читая вместе со мною одну из любимейших поэм Пушкина, «Полтаву», отрывки из которой я помнил наизусть, на мой вопрос, кто был

«Счастья баловень, безродный,
Полудержавный властелин...»

моя мать рассказывала мне с подробностями всю биографию Меншикова. Можно себе представить, с каким напряженным вниманием и любопытством мы с не уступавшею мне в любознательности сестрою Наташей, приближаясь к городу Меншикова выглядывали из окон нашей грузной 6-местной кареты для того, чтобы увидать город еще издали. Интересовал меня еще и вопрос, чем же город, который я должен был увидеть сознательно в первый раз, отличается от села. Наконец, к несказанному нашему удовольствию, на ровном горизонте в слегка туманной дали показался весь длинный его профиль. Я насчитал семь церквей с их величественными, на мой взгляд, куполами и стройными высокими колокольнями. Вот и различие города от села, в котором никогда не бывает более одной или редко двух церквей.

Проехав еще несколько верст, мы наконец въехали в город, начавшийся с таких плохих, покривившихся и приходящих в разрушение изб, каких мы не видывали в наших деревнях. Вслед затем появились сначала красивые деревянные, а потом и некрасивые каменные дома. С любопытством спрашивал я мою мать: да где же находится Меншиковский Burg? Она указала мне на довольно мрачный двухэтажный дом, объясняя, что здесь теперь острог, где держат взаперти тех разбой-

ников и воров, которых так отважно ловил при своей жизни мой отец. <...>

Поездка в Воронеж показалась мне еще более привлекательною. Прежде всего меня очаровал обширный сосновый бор, через который нам пришлось переезжать на протяжении десяти верст и который мне казался чем-то сказочным. Когда же мы выехали на песчаный берег Воронежа, то на высоком противоположном берегу его я увидел с невообразимым восторгом тип настоящего русского города, с великолепными храмами и с целыми улицами каменных домов. Нас прежде всего повезли приложиться к мощам св. угодника, епископа Воронежского Митрофания, на поклонение которому стекались в то время, как раз вскоре после открытия его мощей, целые массы паломников из простого народа и из дворянства. С трудом протеснили нас через народные толпы; с большим любопытством смотрели мы на серебряную гробницу святого, ее богатые покровы и с благоговейным страхом на самые мощи. В первый раз увидел я и поразившую меня своим величием архиерейскую службу. Только тяжело и страшно становилось при криках многочисленных в то время в храме кликуш, о которых никто не мог дать мне вполне удовлетворительного объяснения. По возвращении в гостиницу меня переодели в пажеский мундирчик и повезли вместе с сестрою к архиерею, которого мы видели в таком величии во время богослужения в соборе. Приветливо встретил нас преосвященный Антоний, очень ласково обошелся с нами, детьми, и, обратив особенное внимание на меня как на младшего, благословил меня, похристосовавшись со мною яичком, которое я долго сохранял в том сундучке, где хранились главные мои сокровища, изображения русских царей.

Первое мое путешествие, при моей впечатлительности и наблюдательности, сильно повлияло на мое развитие. С особенной любознательностью расспрашивал я всех старших, от которых только и мог получить ответы и объяснения на возникавшие в моей голове вопросы, интересуясь разговорами с ними более, чем детскими играми.

Умная, образованная мать очень охотно делилась со мною своими основательными знаниями, словоохотливая бабушка Марья Петровна очень была рада, что я несравненно внимательнее других детей слушал ее

рассказы о прошлом, и даже у молчаливой и сдержанной бабушки Наталии Яковлевны я сделался невольно единственным задушевным конфидентом [12] воспоминаний ее молодости.

Между тем для обеих старушек все более и более ясным становилось то, что для нас было еще незаметным, а именно некоторые зловещие симптомы той страшной болезни, которая впоследствии повергла в несчастье всю нашу семью: психического расстройства матери, бывшего теперь только в зародыше, а впоследствии принявшего ужасающие размеры. Сама мать в смутном сознании того, что происходило в ее уме, мужественно боролась с развивающейся болезнью так, что в редкие еще дни, в которые ее одолевала черная меланхолия, она не выходила из своей комнаты, а затем, придя в нормальное состояние, продолжала действовать с неустанною энергией и полною горячей к нам любви заботливостью о нас. Что-то необычайное происходило на душе моей кроткой и молчаливой бабушки Наталии Яковлевны: чаще, чем прежде, зазывала она меня в свою комнату, и впервые я увидел ее горькие слезы, которые она проливала надо мною вместе с молитвами. Я, конечно, приписывал эти слезы ее горю по моему отцу, которого она так любила. Но время не прекращало этих слез, а усиливало их; было заметно, что бабушка страшилась за участь своих внуков. Вместе с тем готовилась и развязка того положения, которое, по неведомым для нас причинам, все более и более казалось старшим членам семьи ненормальным. Произошел, конечно в секрете от нас, семейный совет бабушек и дядей, где было принято решение, по-видимому, окончательно санкционированное моим дедом, к которому моя мать и во время дальнейшего развития своей болезни до самой его кончины сохранила самую трогательную привязанность и авторитет которого был для нее выше всего на свете. Решено было, что дед мой, оправившийся до некоторой степени от удара, но требовавший еще непрерывного ухода и спокойствия, переселится вместе с бабушкой Марией Петровной ко второму своему сыну Николаю Николаевичу Семенову в Рязань, и что он увезет с собою своего любимца, одиннадцатилетнего Николиньку для временного его помещения в третий класс Рязанской гимназии, что бабушка Наталия Яковлевна переедет затем в Москву к жившему

там ее племяннику и бывшему воспитаннику Алексею Михайловичу Замятнину, а что через полгода после того моя мать, захватив с собою Николиньку из Рязани, привезет нас обоих на воспитание к бабушке Наталье Яковлевне и Замятниным, а сама вернется в деревню с Наташей, с которою она не хотела расставаться, и со взятой для нее особо гувернанткою, 13-летняя же Оленька перейдет к постоянно жившему в своем имении в нашей местности дяде Михаилу Николаевичу Семенову. Таким образом семья наша распалась. Счастливому моему детству навсегда наступил конец; я перешел в отрочество, а с 1836 г. надвинулось на меня то страшное горе, под влиянием которого и совершилось в самых исключительных условиях мое духовное развитие.

Глава III

Переселение наше в Москву было решено на осень 1834 года. Захватив меня и сестру Наташу из деревни, мать заехала с нами в Рязань за Николинькой. В Рязани мы прогостили несколько дней у дяди Николая Николаевича, имевшего в это время уже троих маленьких детей; у него также жили переехавшие год перед тем из Урусова его родители: мои бабушка и дедушка Семеновы.

Рязань мне понравилась несравненно менее Воронежа. Реки Оки, которою я так интересовался, я совсем не видал здесь. Только собор и покои архиерея, к которому нас возили, произвели на меня величественное впечатление. Улицы Рязани показались мне однообразными и скучными. Остался у меня в памяти только один двухэтажный дом, большой, каменный, на который мне указывали, как на жилище пользовавшегося большой славою героя, выслужившегося из солдат генерал-лейтенанта Скобелева [13], который командовал в то время армейской дивизией в Рязани.

Увидел я, к своему несказанному удовольствию, и самого Скобелева, приехавшего к моему деду и поразившего меня совершенным отсутствием левой руки, замененной пустым рукавом, красный обшлаг которого был пришит между средними пуговицами мундира.

Брат Николинька рассказал мне впоследствии, со свойственной ему наблюдательностью и притом

очень наглядно, как произошло на его глазах первое свидание Скобелева с дедушкой.

Скобелев всегда был самым горячим поклонником Суворова и, узнав, что в Рязани доживает свой век один из деятельных участников походов Суворова, прослуживший 20 лет в его армии, послал заранее своего адъютанта просить дедушку принять его. Дедушка, уже никуда не выезжавший, не мог носить никакой другой одежды, кроме шелкового халата, и не вставал со своего вольтеровского кресла иначе, как при посторонней помощи. Пройти по комнате он мог, но при условии, чтобы кто-нибудь придерживал его сзади за крепкий ремень, которым он был опоясан, для того, чтобы, переходя по комнате, не потерять равновесия. Таким-то образом 80-летний старик и вышел навстречу Скобелеву на средину просторной гостиной и поклонился ему в пояс со словами: «Поклон нашему славному герою». Скобелев отступил два шага назад и сделал дедушке такой же поклон, коснувшись рукою до земли, со словами: «А я кланяюсь земно старейшему себя герою, достойному сподвижнику самого великого изо всех русских полководцев, который не только видел подвиги Суворова, но и участвовал в них».

Старики приветливо обнялись, сели на диван, и началась оживленная беседа. Скобелев был знаком со всеми главными суворовскими сражениями и расспрашивал о каждом из них; дедушка с полной ясностью ума и памяти рассказывал о всех своих походах и сражениях, в которых участвовал. Оба собеседника расстались очень довольные друг другом, и с тех пор Скобелев постоянно навещал дедушку до его кончины.

Пробыли мы в Рязани несколько дней. С горем и слезами расстался дедушка с нами и в особенности со своим любимцем и баловнем Николинькой уже навсегда.

Москва привела меня в невыразимый восторг. Между нашими игрушками в деревне находилась очень меня занимавшая модель Троицко-Сергиевской лавры, о которой я говорил выше. Каково же было мое изумление, когда я увидел подобные этим храмам здания, стены и башни в натуре! Кремль, соборы, Иван Великий, Царь-Колокол — все это казалось мне чем-то волшебным и сказочным. Не забыли по-

казать нам и громадное, величественное здание Воспитательного дома, построенное нашим прадедом Карлом Ивановичем Бланком [14].

Остановились мы в Москве, как то заранее было условлено, прямо на квартире, нанятой для нашего жительства совместно с дядей А. М. Замятниным и бабушкой Н. Я. Бланк.

Замятнины и бабушка встретили нас с большой радостью.

Мать пробыла с нами не особенно долго; наняв гувернантку для Наташи, она уехала с обеими в деревню по первому зимнему пути. Гувернантка, молодая и красивая швейцарка, m-lle Haldy, в первый раз приехавшая в Россию и страшно боявшаяся русских морозов, сделала себе на лицо маску из шелковой материи, подбитую ватой, с прорезами для глаз, что нам казалось необыкновенно забавным.

Жизнь наша под надзором просвещенных Замятниных установилась с необыкновенною правильностью. Нам взяли дядьку, добродушнейшего и веселого немца, Ивана Ивановича Кестнера, который в определенные часы гулял с нами обоими по московским улицам и бульварам. Для таких прогулок облекали нас по праздничным дням в пажеские мундирчики, и это вызывало общее любопытство московских дам, которые высылали сопровождавших их, по неизменному обычаю, ливрейных лакеев на расспросы о том, как наша фамилия и чьи мы дети. Иван Иванович водил нас и на Пресненские пруды, и на Воробьёвы горы. Тут начиналась наша любимая забава: Иван Иванович защищал возвышенность, а мы ее атаковали. Николинька первый вступал с ним в неравную, конечно, борьбу, но она оканчивалась для нас победою, потому что я хватался за ногу Ивана Ивановича, и он, потеряв равновесие, падал навзничь на скат, сопровождая свое падение всегдашним своим добродушным хохотом. Водил он нас и в Кремль, показывая нам все достопримечательности, и в самые известные тогда московские кондитерские Тоблера и Тени, с хозяевами которых Иван Иванович состоял в дружбе. Ходили мы иногда в гости к очень тепло и приветливо к нам относившемуся почтенному нашему законоучителю, отцу Михаилу Соловьеву, и познакомились там с серьезным и интересным юношей, его сыном, гимназистом старшего клас-

са, впоследствии знаменитым историком Сергеем Михайловичем Соловьевым, который изредка посещал и наш дом и на которого почтенный его отец уже в то время возлагал большие надежды. Были у нас и другие хорошие учителя, занимавшиеся основательным приготовлением Николиньки в Лицей, но такое серьезное учение относилось главным образом только к моему брату и касалось меня очень мало, так как я был на целых четыре года моложе. Обучали нас и танцам не только дома, но и в двух родственных домах, имевших одного с нами учителя; там мы танцевали с другими детьми. <...>

Почти два года, проведенные нами в Москве, прошли при весьма благоприятных условиях нашей жизни почти незаметно. Мать иногда приезжала с Наташей навестить нас; душевная болезнь ее все более и более развивалась и сделалась очень заметною для старших, но не для меня, конечно, так как я в то время не был в непосредственных сношениях с нею. Со швейцаркою, m-lle Haldy, матери пришлось на следующий год расстаться. Молодая, хорошо образованная республиканка влюбилась в крепостного слугу моей матери, которого она называла Gricha (его звали Григорием), и заявила, что хочет выйти за него замуж. Напрасно пугали ее тем, что она попадет таким образом в крепостную зависимость: она соглашалась и на это. Мать, прежде чем дать согласие на этот брак, обратилась к брату m-lle Haldy, пользовавшемуся большим уважением в Москве, так как он стоял во главе очень известного и прекрасного пансиона для мальчиков. Но и увещания брата ни к чему не послужили, и тогда мать великодушно отпустила Гришу на волю без выкупа, а брат m-lle Haldy приписал ее мужа к купеческому сословию и подарил брачной паре маленький капитал для открытия лавки в Москве. Немного лет прожила красивая и прекрасно образованная швейцарка в своем замужестве: она умерла от побоев своего пьяного мужа.

Летом 1836 года мы навсегда расстались с московской жизнью. Вся наша семья, в тесном смысле,— мать и мы трое детей — выехали в Петербург для определения Николиньки в Царскосельский лицей и на время экзаменов поселились на даче в Царском Селе.

Петербург не произвел на нас с сестрою того чарующего впечатления, какое произвела Москва. Только Нева и ее роскошные набережные с монументом Петра Великого поразили меня своим величием. Строившийся в то время Исаакиевский собор был весь окружен лесами и не производил величественного впечатления.

В Царском Селе, где мы прежде всего познакомились с директором лицея, почтенным старичком генерал-лейтенантом Гольдгоером и инспектором Оболенским, мне удалось присутствовать в лицее на всех экзаменах брата. Мой пажеский мундирчик при моей миниатюрности (мне было уже 9 лет, но на вид не более 7) обращал на себя всеобщее внимание. Почтенный старик, генерал-адъютант Набоков, сын которого также держал экзамен в лицей, принял меня под свое покровительство и всякий раз сажал подле себя в первом ряду родственников, присутствовавших на экзаменах, н я, к своей радости, оказался полезным почтенному генералу, высматривая выставляемые сидевшим перед нами инспектором баллы, которые, к нашему общему удовольствию, оказывались вполне удовлетворительными как для брата, так и для юного Набокова, вследствие их тщательной подготовки. Но всех лучше держали экзамен особенно талантливые гр. Дмитрий Андреевич Толстой [15], его родственник Павлов и сын также присутствовавшего на экзамене генерала, Николай Яковлевич Данилевский [16], будущий ученый и писатель, впоследствии сделавшийся лучшим другом моего брата и моим. Выбегая в промежутках между экзаменами в другие комнаты Лицея, я познакомился не только со всеми товарищами брата, но и с лицеистами других курсов, из которых особенно внимателен ко мне был получивший первую золотую медаль в выходившем тогда 9-м курсе Константин Степанович Веселовский, впоследствии непременный секретарь Академии Наук.

После окончания экзаменов и поступления брата в Лицей мы с матерью и сестрой переехали на зиму в Петербург и поселились в переданной нам дядею Василием Николаевичем Семеновым просторной и хорошо меблированной квартире на 1-й линии Васильевского Острова, против церкви св. великомученицы Екатерины. Здесь только сестра Наташа сообщила мне впервые о психической болезни моей мате-

ри, которая заметно для нас стала усиливаться после нашего переезда на новую нашу квартиру по следующему обстоятельству. В переданной нам дядею квартире наша мать, до тех пор не подозревавшая, чтобы кто-нибудь из родных замечал ее ненормальность, нашла на полу письмо моей бабушки, Семеновой, в котором она описывала своему сыну весь ход развития душевной болезни моей матери. Письмо это страшно ее взволновало и способствовало усилению ее болезни, припадки которой делались чаще и сильнее. При всем том при посещении посторонних лиц мать делалась до такой степени сдержанной, что никто не мог заметить ее ненормальности. По поводу найденного письма она не захотела иметь никакого объяснения с дядей, но получила большое недоверие ко всем близким, за исключением одного, к которому сохранила самую трогательную любовь и преданность, а именно моего деда, и с ним только и со своей матерью оставалась в переписке. Дядю Василия Николаевича и его родных Уваровых она, впрочем, продолжала посещать по-прежнему, как бы для того, чтобы убедить их, что слухи, о ней распускаемые, лишены всякого основания.

К этому времени, т. е. к осени 1836 года, относится воспоминание о том обеде, на который и наша семья была приглашена и который был дан моим дядей в ответ на обед, ему данный по случаю оставления им должности цензора петербургскими литераторами, очень его любившими. На этом ответном обеде самым дорогим гостем дяди был очень ценивший его товарищ, Александр Сергеевич Пушкин, а из их приятелей я запомнил еще Кукольника [17] и художника Карла Брюллова [18]. Дядя Василий Николаевич, отличавшийся своею добротою и сердечностью, зная, что моя мать была восторженной поклонницею Пушкина, а мы с Наташей знали наизусть лучшие его стихотворения и что для нас присутствие в доме Уваровых, где происходил обед, будет светлой минутою в жизни, пригласил к себе в этот день и всю нашу семью. Дядя знал также, что в такие светлые минуты моя мать была так нормальна, что никто не мог заметить развивавшейся ее болезни. За обеденным столом были, конечно, только взрослые мужчины и дамы; дети же обедали особо, но 12-летнюю Наташу посадили подле матери, а я видел Пушкина только

в гостиной перед обедом. Сестра рассказывала мне, что Пушкин был очень весел и говорил со свойственным ему блестящим остроумием. Пушкин оставался еще долго за обеденным столом со своими приятелями по окончании обеда и после ухода дам. После этого памятного для меня дня я только один раз видел Пушкина. Идя со мною по Морской в декабре того же 1836 года, дядя встретил Пушкина, который обменялся с ним несколькими словами. А через месяц уже разнеслась по всему городу страшная весть о том, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Дядя ежедневно справлялся об его здоровье и в один из таких дней заехал к нам с роковой вестью: Пушкина не стало. По потрясающему впечатлению, произведенному гибелью великого поэта, можно было судить о громадной популярности, которою он пользовался. Через несколько дней дядя привез нам стихи «На смерть Пушкина», написанные только что входившим в славу М. Ю. Лермонтовым. Я переписал их для матери и воспользовался этим случаем для того, чтобы их запомнить, так что с тех пор знаю их наизусть.

Тяжелую осень и зиму 1836—1837 гг. провели мы в Петербурге. Болезненные припадки матери становились все чаще и сильнее. При всем том она еще заботилась о нашем воспитании и пробовала брать нам хороших учителей, но более чем до двух или трех уроков дело не доходило: учителям скоро отказывали, потому что матери, сидевшей во время уроков в соседней комнате, грезилось, будто учителя восстановляют нас против нее, что им, конечно, и в голову не приходило. Единственное исключение составлял прекрасный учитель английского языка Вебер, продержавшийся 2,5 месяца при двух уроках в неделю только благодаря тому обстоятельству, что мать заинтересовалась уроками английского языка и брала их вместе с нами: мы читали, писали по-английски и переводили английские книги, притом с таким успехом, что я, не брав впоследствии ни у кого другого английских уроков, овладел языком настолько, что без помощи лексикона читал английские книги, которых мать, по рекомендации Вебера, накупала очень много, начиная от классических Шекспира, Байрона, Мильтона в лучших изданиях и кончая романами Вальтер Скотта и современных беллетристов.

Но и эти, так живо интересовавшие нас уроки, прекратились вследствие галлюцинаций матери.

Холодно и голодно нам было в довольно роскошной и изящно меблированной нашей квартире. Обед очень часто совсем не готовился, так как наш повар, забрав ежедневно даваемые ему на обед 10 р., напивался пьяным и не возвращался домой ранее позднего вечера, а мать совершенно забывала об обеде и только когда чувствовала голод, приказывала подать чаю или варила на спиртовой лампочке в серебряной кастрюльке клюквенный кисель на картофельной муке.

Весь день проводили мы без всякого движения и воздуха, сидя в уголку обширной гостиной, у ломберного стола, вдали от матери, полулежавшей на диване посреди гостиной и совершенно поглощенной бредовыми представлениями и записыванием голосов и разговоров людей живых и умерших, которые ей чудились в ее галлюцинациях. Мы же с Наташей сидели молча рядом на стульях, поджав под себя ноги от холода и держа в руках книжки, которые читали, не смея сказать не только громко, но и шепотом ни слова друг другу, и только переписывались между собою на маленьких клочках бумаги, которые быстро истребляли, боясь, чтобы они не обратили на себя внимание матери. Бывали, однако же, в иные дни и светлые счастливые для нас часы, в которые мать приходила в полное сознание и относилась к нам с прежним вниманием и любовью.

Как счастливы были мы, когда нам удавалось иногда путем самых тонких психологических наблюдений над душевной болезнью матери восстановить, хотя бы на короткое время, нормальное состояние, и как мы заботились о поддержании ее светлых минут!

На бедную сестру Наташу душевная болезнь матери падала еще большей тягостью, чем на меня. Я по крайней мере проводил ночь спокойно, так как моя комната была на другом конце обширной квартиры, но бедная Наташа, спавшая в одной комнате с матерью, не знала покоя ни днем, ни ночью, так как бессонница, галлюцинации и припадки матери пробуждали беспрерывно Наташу, и она засыпала только на два или три часа под утро в изнеможении от бессонной ночи, проведенной в самой ужасной тревоге. И при этом я, деливший с нею все почти непре-

рывные горести и редкие радости, никогда не слышал от нее ни малейшей жалобы на свою судьбу, ни малейшего осуждения действий матери, переносимых ею с беспредельной любовью. Наташа только бледнела, худела и, можно сказать, таяла с каждым днем в такой степени, что это дошло наконец и до сознания больной матери. Тогда мать, в одну из своих светлых минут, сознавая всю опасность положения своей нежно любимой дочери, по собственной инициативе решила поместить ее в лучший из тогдашних петербургских институтов — Екатерининский. Дело устроилось очень скоро. Замечательно талантливая двенадцатилетняя девочка без всякой специальной подготовки выдержала свой вступительный экзамен и была принята во второй половине зимы 1836—1837 годов своекоштной пансионеркою в институт, где сделалась сразу любимицей своих подруг и классных дам и первой ученицей в своем классе, каковою и оставалась, если можно так выразиться, «hors concours» * до получения ею через 6 лет, при выходе из института, первого шифра.

Положение мое после поступления Наташи в институт сделалось еще тяжелее. Припадки болезни матери усилились, и я чувствовал себя как в тюремном заключении. К счастью, дальнейшее пребывание в Петербурге сделалось для нас невозможным за отсутствием денежных средств, и в конце марта 1837 г. мать решилась ехать вдвоем со мною в деревню. После безотрадной зимы 1836—1837 гг. наш отъезд из Петербурга показался мне освобождением из тяжелого тюремного заключения. По дороге мы заехали в Рязань и посетили дедушку, который уже почти не вставал со своего кресла, но встретил нас с большой радостью.

Как сильно билось мое сердце по мере приближения к родному гнезду, в котором я провел свое счастливое до пятилетнего возраста детство и в котором не был около трех лет! По мере приближения к нашей Урусовской усадьбе с нетерпением выглядывал я каждую минуту из окна нашей грузной кареты, запряженной восемью лошадьми, вследствие крайне тяжелой из-за таявшего снега дороги. Вот, наконец, я увидел наш обширный скотный двор, а затем мы

---

* Вне конкурса *(фр.)*.

въехали в широкие ворота нашей усадьбы, но, к своему удивлению, я не узнал нашего барского дома. Высокого нижнего каменного его этажа, так же как и широкой прекрасной террасы, окружавшей наш второй, барский этаж, уже не существовало, вследствие чего всякое сходство нашего дома с усадьбами дворян южной Франции утратилось. Передо мною возвышался хотя большой и достаточно красивый, но все-таки обыкновенный одноэтажный с мезонином деревянный помещичий дом. Обрадовало меня только то, что все жилые комнаты дома сохранили вполне прежний вид, так же как то расположение и те размеры, которые они имели в барском этаже прежнего дома. <...>

С многочисленными крепостными дворовыми я был совершенно в исключительных и особых отношениях. С самого нашего детства моя мать предохраняла и предупреждала нас против всякой фамильярности с дворовыми людьми, в особенности детьми нашего возраста, считая такую фамильярность крайне вредною как для нас, так и для них.

В моем же исключительном положении ни о какой моей фамильярности с крепостными не могло быть и речи. Дворовые дети нашей усадьбы моими товарищами не были и быть не могли. Никаких игр и забав с восьмилетнего возраста у меня уже не было. На свои прогулки и экскурсии я никогда никого с собою не брал. Только в садовых работах взрослый садовник являлся для меня работником, а в иных случаях не более как советником. Все дворовые исполняли беспрекословно мои распоряжения и передаваемые и умеряемые мною распоряжения матери, а сами обращались ко мне только тогда, когда нуждались в моем заступничестве, помощи или разрушении своих сомнений. Приученный матерью с самого детства к гуманному и человеколюбивому обращению с крепостными, я очень заботился об их пользах и нуждах и всегда являлся их беспристрастным и авторитетным заступником в отношениях не только к барыне, но и к управляющему имением. Понятно, что при таких условиях я остерегался всякой фамильярности с крепостными, которая с одной стороны могла бы возбудить подозрительность матери и подорвать ее ко мне доверие, а с другой — уронить мой авторитет в глазах наших дворовых. Зато я хорошо сознавал, где я начинаюсь и где кончаюсь, и вмешивался непосредственно

только там, где считал, что мое вмешательство может принести несомненную пользу. Поэтому доверие ко мне со всех сторон было велико, и крепостные никогда не позволяли себе вступать самовольно ни в какие со мною разговоры, кроме ответа на мои вопросы или ходатайства о каком-нибудь разрешении или заступничестве. <...>

С тех пор в течение всего 1837 года только один «колокольчик дальний» сильно взволновал мое сердце. В конце лета 1837 года к нам переехала «на житье», по приглашению моей матери, ее мать, моя бабушка Наталия Яковлевна Бланк. В тревожной заботе о своей больной дочери и о любимом ею внуке она согласилась променять свое спокойное пребывание в Тамбове у дяди Алексея Михайловича Замятнина на тревожное в нашем Урусовском доме. Но роль, принятая на себя шестидесятитрехлетней старушкою, оказалась для нее совершенно непосильною. Кроткая и боязливая, она не имела ни малейшего влияния ни на свою дочь, ни на окружавшую ее прислугу и во время припадков болезни матери удалялась в свою комнату, осуществляя совершенно ясно характер своего воспитания и натуры «непротивления злу» в полном смысле этого слова. Жила моя бабушка совершенной отшельницею в своей комнате, пила чай и обедала отдельно от нас и выходила в комнаты матери только тогда, когда я удостоверял ее, что мать находится в совершенно нормальном положении. Я же мог навещать бабушку только раз, много два в день, в те часы, когда я не был необходим для матери или не имел какого-либо дела в саду или поле. <...>

С наступлением осени начались мои ежедневные работы в саду, совместно с умелым садовником, по пересадке лесных деревьев, по планировке клумб и куртин. Мать выходила к нам в сад в разное время дня и принимала живое участие в наших работах. Но с наступлением морозов и прекращением этих работ, так утешавших и развлекавших мою мать, душевная болезнь ее стала обнаруживаться с новой силою. Явились галлюцинации. Она начала слышать около себя и над собою голоса живых и умерших людей, записывала их разговоры, и весь этот бред ее больного воображения расстраивал ее и доводил до умоисступления. Днем я, конечно, не оставлял душевно-

больную ни на один час, сидя против нее, за большим письменным столом, в ее кабинете, и не следовал за нею только тогда, когда она удалялась в свою спальню и ложилась на свою постель; тогда я улучал минуту для того, чтобы навестить бабушку. С наступлением дурной погоды и холодов я уже безвыходно сидел в доме, в нетопленной комнате, поджав ноги от холода, за чтением книг нашей достаточно обширной библиотеки. Я начал, конечно, с русских и французских и только в последующие годы перешел к немецким и английским.

Тяжелее и страшнее всего были для меня ночи. Хотя я удалялся в свою комнату, но спал, не раздеваясь. Мать страдала бессонницами, и тут ее галлюцинации страшно увеличивались и приводили ее в состояние полного душевного расстройства.

Горькие слезы проливала бабушка Наталия Яковлевна и сознавала, что бессильна помочь нашему общему горю, но все же старушка сделала две или три попытки объясниться наедине с дочерью. Что она говорила с нею, я не знаю, но затем, проливая ночью слезы надо мною, призывая в теплой молитве благословение Божие на мою безвыходную судьбу, она объявила мне, что покидает наш дом навсегда. По первому зимнему пути бабушка уже выехала в Тамбов к племяннику Замятнину. <...>

С отъездом бабушки, которая, конечно, силою своей любви ко мне вносила много отрады в тяжелые условия моей жизни, погас последний луч, освещавший хотя слабым светом мое зимнее, можно сказать, тюремное заключение; я почувствовал сильнее, чем когда-либо, свое полное одиночество, безо всякой, хотя бы только нравственной, поддержки.

Урожай 1837 года был неблагоприятный. Голод посреди окрестного населения проявился уже к началу зимы.

Показались обычные в неурожайные годы хлеба: черный, плотный из лебеды и серый пушистый — из мякины с примесью ржаной муки. Поредели на избах соломенные крыши, отчасти стравливаемые на корм скоту, отчасти сжигаемые на топливо. Некоторые избы заколотились, потому что семьи собирались по несколько в одной избе, около одного очага, для экономии топлива. Побирались крестьяне, прося милостыню, целыми толпами и даже целыми деревнями. Моя

мать, всегда великодушная и сердобольная в сознательные свои минуты, раздавала не только медные, но и серебряные деньги посторонним нищим. Она знала, что в наших русских деревнях суму заставляет надевать только нужда и что притворных и профессиональных нищих между деревенским населением почти не бывает.

В наших двух деревнях, Рязанке и Семеновке, дело обстояло еще сравнительно благополучно. Во-первых, у большей части крестьян стояли на гумнах скирды прошлогоднего и даже предпрошлогоднего хлеба. Во-вторых, на нашем собственном гумне были большие запасы, которые не только обеспечили продовольствие бедной, меньшей части крестьян, но при дорогих ценах на хлеб дали и нам некоторые средства для поездки в Петербург.

Выехали мы туда только в декабре, но уже не брали с собою, как прежде, собственных лошадей и довольствовались тремя людьми обоего пола из прислуги. Путешествие продолжалось, с трехдневной остановкою в Москве, 9 дней, на почтовых, в своей карете. По дороге, до Тверской губернии включительно, встречалась масса помещичьих крестьян, побиравшихся целыми деревнями. Мать раздавала им все мелкие деньги, какие имела. По выезде из Новгорода на полдороге к Петербургу до нас дошли тревожные слухи: «Зимний дворец горит, злоумышленники подкатили под него много бочек с порохом, и он весь пылает»,— так говорила народная молва. Мать, которая имела всегда обожание к императору Николаю I, очень встревожилась. Когда мы приехали в Петербург вечером 18 декабря 1837 г. и остановились до приискания квартиры в гостинице Лондон на Адмиралтейской площади подле нынешнего дома градоначальника, то увидели всю площадь еще озаренную пламенем догоравшего пожара. Нелепые слухи о поджоге дворца скоро рассеялись.

Мы наняли очень просторную квартиру в двухэтажном каменном доме, против церкви Пантелеймона. Вскоре после переезда туда мне минуло уже 11 лет. Положение мое в городе было гораздо тяжелее, чем в деревне. Там я, при всех своих тревогах и заботах, пользовался летом и осенью большой свободою, уходил, когда хотел, в сад, лес и поле, наблюдая только, чтобы быть около матери в те часы, ког-

да она наиболее во мне нуждалась. Только зимою я был действительно внутри обширного нашего дома, как в тюремном заключении. Но зато тогда я был в обществе многочисленных своих друзей — книг нашей библиотеки, а в Петербург я мог захватить с собою только несколько излюбленных из них, которые читал и перечитывал много раз. Выходил я из дому только по довольно разнообразным поручениям матери, для которых у нее не было другого исполнителя, кроме меня, как, например, для закупки и заказа необходимых для дома и хозяйства предметов, для получения заказных и денежных пакетов, для отправления писем на почту и справок о неполучаемых вовремя, для добывания билетов в театры, в которые мы отправлялись нередко, но не иначе, как вдвоем, и притом всегда в ложи бельэтажа или первого яруса, так как ходить в партер дамы дворянского сословия тогда считали для себя неприличным. Мать очень любила драматическое искусство, с которым мой отец так хорошо был знаком. Меня всего более интересовали драматические представления. Знаменитый тогда Каратыгин изображал уже знакомые мне из чтения или, лучше сказать, из перелистывания Шекспира — Гамлета и Короля Лира. Талантливая и симпатичная актриса Асенкова[19] была увлекательна в трогательной роли Корделии. Замечательный комик Дюр[20] прекрасно изображал бедного Тома в Короле Лире. В драме «Уголино», где Каратыгин[21] играл роль Нико, проявляли свой талант еще два других прекрасных актера того времени: Брянский[22], игравший Уголино, и Сосницкий[23] — Руджиеро. Но всего более нравился мне Каратыгин в национальной роли, взятой из родной, для меня так хорошо знакомой русской истории,— рязанца Прокопия Ляпунова. Довольно равнодушен я был к балету, но нельзя было смотреть без удивления на тогдашнюю балетную диву Тальони[24]; она пробыла весь сезон в Петербурге, и для получения ложи бельэтажа на представление с ее участием приходилось платить 100 руб.

Кроме театра, выезжали мы редко. Два раза в неделю ездили на свидания с сестрою Наташей в Екатерининский институт. Но какое это было свидание? Девочки института были отделены от своих родителей и родных широкой, массивной, хотя невысокой

решеткою, за которою для родных были поставлены в каждом промежутке между массивными колоннами амфитеатром четыре скамейки. Счастливы были те, которые попадали в первый ряд: те могли по крайней мере разговаривать с девицами, воспитывавшимися в Екатерининском институте, а с остальных рядов можно было в течение полутора часов родителям и дочерям, братьям и сестрам только смотреть друг на друга. К счастью для моей сестры, как всегда первой в своем классе, в один из двух дней в неделю делали исключение: нас принимали не в приемной зале, а в гостиной начальницы института г-жи Кремпиной: там уже родные и девицы сидели рядом без перегородки.

Наступила весна. Средства наши истощились. Из деревни более доходов получить было нельзя. Наступали сроки уплаты процентов по частным долгам, не совсем уплаченным по кончине отца. Положение было критическое. Мать написала письмо к императору Николаю Павловичу, которое я свез в комиссию прошений. Письмо душевнобольной, напоминавшее государю о доблестной службе моего отца в Измайловском полку во время Отечественной войны, было написано так хорошо, что заинтересовало государя, и он приказал выдать не получавшей пенсии вдове 5000 рублей. <...>

Не только проценты по долгам, но и один из долгов, самый тягостный, потому что по нему приходилось платить 12%, были уплачены. <...>

В течение 1838 и 1839 годов я чувствовал, что во мне произошла ощутительная перемена. Любовь к природе пробудилась у меня с невыразимой силою уже с 1837 года, но с 1838 я уже по-своему начал изучать ее не по одним только впечатлениям, а более систематически.

Во-первых, я читал и перечитывал все многочисленные садовые книги, которые были у нас, и узнавал латинские названия всех цветов и деревьев, находившихся у нас в саду, оранжерее, теплице и комнатах. Наши собрания культурных растений я пополнял выпискою, с согласия матери, всего, что находил в каталоге лучшего в Москве садового заведения, вычитывал заранее их описания во французских садовых книгах. С каким нетерпением я ждал присылки выписанных растений и с каким напряжением — их

цветения для того, чтобы убедиться, что они в полной мере соответствовали моим ожиданиям! Изучив таким образом довольно систематически всю флору культурных растений нашего дома и сада, узнав их названия и заметив сходство между растениями одних и тех же растительных семейств, я начал собирать понемногу и дикорастущие цветы нашей флоры, не зная, конечно, их названий, но стараясь подбирать их по их сходству между собою и с культурными растениями и давая им свои условные названия, если они не носили народных. В течение всего лета я совершал свои экскурсии далеко во все стороны за пределы нашего очаровательного сада и ближайшего леса. Заинтересовал меня и богатый разнообразием животный мир, в особенности с его разнообразными и красивыми насекомыми в траве и на земле и раковинами на берегу реки, с разнообразными формами которых я очень скоро познакомился. Но что меня привело в большой восторг и на что я смотрел как на интересное открытие, это то, что в одном из глубоких промытых водою оврагов я начал находить в самое сухое время года разнообразные раковины, превратившиеся в плотный известковый камень и вымываемые ручейками из каменных пластов. Каждый день и со всякой экскурсии я приносил с собою что-нибудь новое и интересное.

С наступлением вечерней прохлады я делал отважную вылазку через окно моего мезонина по узкой окраинке крыши и через крышу дома на обширную, довольно пологую и огражденную красивой решеткою крышу нашего балкона.

Там я усаживался с какою-нибудь любимой книжкою и сидел не только до солнечного заката, но и до сумерек, часто отрываясь от чтения, заглядываясь то на зеркало видной оттуда реки, то на чудные группы деревьев, то, наконец, на звездное небо и прислушиваясь к разнообразным голосам птиц. Мир и спокойствие входили в мою душу; я возвращался жизнерадостным и чувствовал, что мое появление производило успокоительное влияние на страждущую мать, которая постепенно привыкла к моему отсутствию и не спрашивала, где я был.

Совсем в другом мире жил я зимою. Из дома я почти не выходил, у меня даже не было теплой одежды, приспособленной к зимнему холоду,— из своих

прежних шубок я вырос. Большую часть дня сидел я в кабинете матери за большим столом, на котором лежали вынимаемые мною поочередно из шкафов книги и большие старые географические атласы моего отца, которые я особенно любил, хотя были у нас и новые. Я сидел на стуле, обыкновенно поджавши ноги, так как у нас в комнате всегда было холодно. Большая зала никогда не отапливалась; я ходил туда раз или два в день для того, чтобы пробежаться. Весь день проходил у меня в чтении. Детские книги меня совсем не интересовали, может быть потому, что они в то время были очень плохи и неинтересны. Была, впрочем, одна книга, составлявшая исключение: это был Робинзон Крузо, бывший у нас в трех различных изданиях, на разных языках. Эту книгу я читал с наслаждением и неоднократно. Все бывшие у нас русские литературные книги я читал много раз и, конечно, прежде и более всего Пушкина, а затем произведения всех предшествовавших ему поэтов: Дмитриева, Державина, Ломоносова, басни Крылова, Хемницера, трагедии Озерова, *Душеньку* Богдановича и даже Тредьяковского, который меня очень забавлял. Прочел я все имевшиеся у нас учебники истории, как, например, Кайданова, Строева и др., но всего более читал я с неимоверным увлечением и многократно 12-томную «Историю» Карамзина, добросовестно изучал не только весь ее текст, увлекавший меня живостью своего изложения, но и примечания, напечатанные в издании мелким шрифтом. Исчерпав все русские книги нашей библиотеки, я постепенно перешел к французским, которых у нас было очень много. Знал я французский язык очень удовлетворительно, к лексикону приходилось прибегать редко. Но я все-таки добросовестно заглядывал в него, когда мне попадалось незнакомое слово. <...>

Последние две зимы пребывания в деревне, когда мне было уже 13—14 лет, я не расставался с Шекспиром, как и с «Историей» Карамзина. В первом авторе, кроме знаменитых и всем известных его драм, из которых некоторые, как «Гамлета», «Короля Лира» и «Отелло», я уже видел на сцене, меня живо интересовала вся серия его драматической хроники, прекрасно познакомившей меня со всем ходом английской истории того периода, который обнимали эти драмы. Весь этот мир самых живых, но никем не ру-

ководимых и не регулируемых впечатлений, развился внутри меня, и никто не подозревал об его существовании. А между тем мои дяди горевали о том, что я несколько лет сряду оставался безо всякого учения и воспитания. Дядя Михаил Николаевич, приехав раз к нам в начале зимы 1839 г., очень осторожно, но в то же время настойчиво сказал матери, что так как у него есть хороший домашний учитель для его детей, то можно было бы посылать Петиньку хоть раз в неделю для занятий под его руководством. Мать неожиданно согласилась на это, и я явился к своему учителю. Это был еще молодой человек, незадолго до того кончивший Дерптский университет, немец, по фамилии Луис, впоследствии бывший до глубокой старости преподавателем географии в гимназиях. К моему удовольствию, он начал преподавать мне географию, которую я любил более всех других предметов; но начал он с географии математической и с объяснения понятий, для меня в то время недоступных; простоты и ясности в его объяснениях не было, и они очень мало подвинули вперед мои знания. Так как дело ограничивалось одним уроком в неделю, то он задал мне составление карты Германии с границами всех ее герцогств и княжеств, в масштабе гораздо большем, чем учебный атлас. Сетки он мне никакой не дал. В черчении я не имел ни малейшей опытности, и хотя мне знакомы были каждое герцогство и княжество со всеми их границами, но картографическое мое произведение не могло быть удачным. По немецкому языку, которым я владел очень порядочно, я писал под диктовку совершенно безошибочно, но учитель мой начал задавать мне уроки из грамматики, которые мне показались более чем скучными. К счастью моему, все преподавание продолжалось только один месяц. С одной стороны, сам Луис, как добросовестный немец, заявил, что из такого преподавания ничего выйти не может, с другой стороны, подозрительность матери, которую очень волновали мои посещения дома дяди и подозрения, что родные восстановят меня, как она выражалась, против нее, с целью отнять меня у нее, заставили всех нас по взаимному соглашению прекратить мои уроки. Родные, основываясь на отзыве Луиса о полной моей неспособности к учению, считали меня погибшим для всякой будущности, что в особенности

тревожило самого опытного педагога из нашего семейства, моего дядю Николая Николаевича Семенова, директора Рязанской гимназии. Дедушки в это время в живых уже не было. К большому горю матери и всех нас, он скончался еще в 1837 году, когда мы были в Петербурге. Умная и энергичная бабушка, до которой доходили слухи о полном отсутствии всякого моего обучения в гимназические годы, отправила моего дядю осенью 1839 года к нам для того, чтобы уговорить мою мать позаботиться о моем воспитании. Дядя приехал и, к ужасу своему, пришел к убеждению, что я расту, как вольная птица, безо всякого руководства, призора и присмотра. С внутренним миром моим он, конечно, ознакомиться не мог, так как я всегда уклонялся от всяких разговоров и объяснений с родными, чтобы, с одной стороны, не возбуждать подозрений матери, а с другой, чтобы не обнаружить страшных болезненных ее припадков, которые я всегда старался тщательно скрывать от редко приезжавших к нам лиц. Впрочем, против добродушного дяди Николая Николаевича, которого мать после смерти деда почти вовсе не видала, она была менее всего возбуждена; на деликатные его предложения взять к Петиньке учителя для подготовления его к экзамену в Пажеский корпус, она ответила согласием и просила дядю рекомендовать ей такого. Дядя не мог исполнить этой просьбы немедленно, но в январе 1841 года рекомендованный им учитель явился: это был почтенный старичок, лет 55, немец, по фамилии Крейме, превосходный ботаник, ученик геттингенского профессора Эрхардта, ученика Линнея[25], приехавший из Германии вместе с Фишером-фон-Вальдгеймом, знаменитым натуралистом, профессором зоологии Московского университета. С таким учителем я сошелся сразу; со свойственной ему проницательностью он понял очень скоро и без тяжелых для меня расспросов, как мой характер, так и исключительность моего положения и, несмотря на то, что почти мог по своим летам быть моим дедом, стал со мною в отношение не гувернера, а старшего друга, даже не руководителя, а только регулятора моей, как он хорошо понял, совершенно самобытной деятельности. Ни о какой ненавистной мне грамматике, ни даже о каких-либо систематических уроках не было и речи. Говорили мы всегда по-немецки. Приглашал он

меня читать вслух тех же любимых и хорошо знакомых мне авторов, которые много раз были мною прочитаны, поправляя только мою дикцию и спрашивая меня, как я понял те и другие трудные места, требующие некоторых комментариев. Затем он пригласил меня писать на немецком языке пересказы, поправляя их не орфографически, так как моя орфография была уже почти безупречна, а синтаксически и стилистически, с надлежащими объяснениями; читали мы также вместе и немецкие газеты, которые он выписывал, так как любил политику, и рассуждали мы с большим интересом о современных событиях тогдашней войны египетского паши Мехмет-Али с союзниками — англичанами и французами, помогавшими туркам.

Конечно, все симпатии наши были на стороне Мехмета-Али. Но всего более сошлись мы на общей нашей страсти — любви к природе: я сразу с восторгом увидел, что Данил Иванович может объяснить мне все то, что для меня с тех пор, как я так смело и самостоятельно заглянул в самую великую и бессмертную из книг, когда-либо мною раскрытых, книгу природы, казалось неясным и загадочным в окружающих меня явлениях.

Из дружеских разговоров со мною Данил Иванович подметил во мне не только всю интенсивность моей страсти, но и большую наблюдательность. Я рассказывал ему о хорошо знакомых мне цветах и растениях нашей дикой флоры; он большей частью узнавал их из моих рассказов и называл их латинскими названиями, которые я, конечно, легко себе усваивал. Показал он мне и привезенные им сокровища — ботанические книги на латинском языке, служившие ему для определения растений. Так как зима была еще в полном разгаре, то пока пришлось прибегнуть к нашей оранжерее. Из нее мы достали несколько цветущих там растений, при помощи которых Крейме познакомил меня с ботанической номенклатурою и системою Линнея так основательно, что я начал с успехом определять растения по его книгам. <...>

Наступал июль месяц, и после многих письменных сношений матери с родными судьба моя вполне определилась: выяснено было, что вакансия моя в Пажеский корпус была упущена; вызов меня через газеты в числе кандидатов прошел вполне незамеченным, и

годы мои ушли. Как средство поправить дело, указана была возможность для меня поступить в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, равносильную по правам поступления в гвардию с Пажеским корпусом, но доступную для приема мальчиков 15-летнего возраста. Как кандидат Пажеского корпуса, всемилостивейше пожалованный в пажи государем, я имел право на поступление в школу на казенный счет. Мать, уже издавна приготовленная к мысли о поступлении моем в Пажеский корпус, согласилась на эту комбинацию, и было решено отправить меня в Петербург в эту же осень 1841 года с братом, который, будучи уже на старшем курсе Лицея, должен был приехать на вакации в деревню к началу июля; но тут ожидало меня большое горе. Почтенный Данил Иванович не мог выдержать тех тяжелых условий жизни, в которые мы были поставлены. <...> он решился уехать от нас, успокоенный по отношению ко мне тем, что приезд брата произведет благотворную диверсию в доме и что после его кратковременного пребывания в деревне я уеду с ним в Петербург. Когда отъезд Данила Ивановича уже был решен, подозрительность моей матери по отношению к нему несколько уменьшилась, и решено было, что те же лошади, которые поедут за братом в город Ряжск, отвезут туда и Данила Ивановича. Глубоко тронула и взволновала нас обоих наша разлука, превратившаяся в вечную. Но пятимесячное пребывание Данила Ивановича оставило неизгладимый след во всей моей жизни. Это был единственный светлый отрадный луч посреди всего горя, которое я испытал в этот страшный пятилетний ненормальный период моей жизни.

Приехал Николинька, веселый, жизнерадостный, так как его во все время пятилетнего пребывания в Лицее очень мало коснулось болезненное состояние моей матери, и не перечувствовал он всего того, что перечувствовал я в течение 6 лет, сначала с сестрою, а потом совершенно один, и не сознавал он всего ужаса положения матери. Она была так обрадована его приезду, что в полтора месяца, проведенные им в деревне, припадки ее болезни не возобновлялись: все прошло благополучно. Вместо экскурсий мы ходили с братом ежедневно на охоту, причем я продолжал собирать свои растения в оставленную мне Да-

нилом Ивановичем ботаническую капсульку и помогал брату в его охоте. Время прошло довольно быстро. Брат, как и всегда, оттягивал свой отъезд, запасшись медицинским свидетельством, и мы поехали в Петербург только 6 сентября 1841 года, но так торопились, что пробыли в Москве всего только несколько часов, во время которых мне не удалось разыскать Данила Ивановича, так как он за это время уехал куда-то на дачу. Когда же, после окончания курса в школе, я вновь проезжал через Москву, возвращаясь в деревню, его в живых уже не было.

Глава IV

Ехали мы с братом в Петербург от Москвы в сентябре 1841 г. в почтовой карете с наибольшей скоростью — двое с половиною суток. Брат, сильно опоздавший к началу занятий в Лицее, уже в день своего приезда в Петербург отправился в Царское Село, успев только завезти меня к нашему родственнику Василию Борисовичу Бланку, который, окончив курс в университете, жил в то время в интернате Восточного института. Студенты этого института имели каждый свою комнату и ходили в виц-мундирах, слушая лекции восточных языков и приготовляясь уже в качестве чиновников к должностям драгоманов[26] на Востоке. Василий Борисович был очень милый и добрый человек, но к роли ментора совершенно не приспособленный, а потому он имел только сведения о том, что существуют два хороших пансиона для приготовления в школу гвардейских подпрапорщиков, а именно — пансионы полковников Тихонова и Неймана; он передал мне их адреса, предоставив мне самому вступить в соглашение с этими офицерами и заявив, что брат передал ему сумму денег, достаточную на внесение обычной платы в их пансион за полгода. Из двух фамилий приготовителей я избрал ту, которая была русская, и отправился к Тихонову один. Встретил меня среднего роста, плотный, здоровый, некрасивый артиллерийский офицер с открытым и умным лицом и с откровенно грубоватыми манерами. Он, по-видимому, был несколько удивлен, что 14-летний мальчик приходит сам определяться в его пансион, но тотчас сообразил по моим непринужденным и откровенным ответам на его расспросы, что имеет

дело с мальчиком, выросшим в ненормальных условиях, которые и выработали в нем полную самостоятельность. Вникнув в эти условия, он спросил меня, чему я учился; я ответил, что до 8-летнего возраста я учился всему, чему учат детей в образованных семьях, но что с тех пор я, пребывая в деревне с больной матерью, ничему не учился; тогда он спросил меня, могу ли я ему объяснить в кратких словах, что я именно знаю; я ответил, что читаю и пишу, кроме русского языка, еще на трех иностранных почти безошибочно, что я знаю четыре правила арифметики, а что более этого ничего не знаю, но читал много книг литературных, исторических и географических на всех четырех мне известных языках. Когда же он стал делать мне некоторые очень детальные вопросы из географии, которой он был преподавателем и которую очень любил, а также из русской истории, то он, к своему удовольствию, убедился, что я, как он выразился, знаю географию и русскую историю лучше всех его воспитанников и что в этих предметах он мог бы меня приготовить к экзамену в самое непродолжительное время. К этому он прибавил, что наибольшая трудность будет заключаться в математике, которая составляет главный предмет при поступлении в военно-учебное заведение. Но так как времени до экзаменов оставалось еще много и я кажусь ему мальчиком с бойкими способностями, то все зависит от моего ответа на его вопрос: желаю ли я учиться? Я ответил, что очень желаю поступить в школу, так как для этого приехал в Петербург, но что я до сих пор занимался только тем, что мне нравилось, а понравятся ли мне те предметы, которым я буду учиться, я не знаю. Тихонову очень пришлась по душе непринужденность моих ответов, и он заметил, что в первый раз имеет дело с таким «оригинальным субъектом», а потому очень интересуется тем, что из меня выйдет, и охотно принимает меня в свой пансион безо всякого испытания. Я с видимым смущением спросил его о плате и, получив ответ, сказал, что напишу родственнику моему Бланку, который представит ему плату за полугодие; на вопрос же Тихонова, когда я могу переехать к нему, я ответил, что могу теперь же остаться, а что вещи мои будут доставлены родственником. Тихонов согласился на это и сказал, что у него сейчас начнется урок геометрии с его пан-

сионерами и что он желает, чтобы я присутствовал на его уроке; при этом я очень наивно спросил его, что такое геометрия, а он со свойственной ему необыкновенной ясностью объяснил мне в нескольких словах, что такое геометрия, и какое отношение она имеет к остальным частям математики; он предупредил меня, что лекция его будет уже вторая по геометрии, но что для меня он повторит все, что было сказано ученикам на первой лекции, т. е. общие понятия о линиях, углах и т. п. Вслед за тем Тихонов вошел со мною в класс, познакомил меня с будущими товарищами, которых было человек 15, сел на свое место и посадил меня поближе к доске, на которой чертил, так как заметил, что я близорук. Началась лекция, где он сначала объяснял с необыкновенной ясностью первые геометрические понятия, а затем перешел к первым теоремам, которые объяснял до крайности ясно и убедительно. По окончании своих объяснений, заметив, что я слушал его очень внимательно и с большим интересом, он спросил меня, понял ли я все то, что он говорил; я ответил, что он объяснял так ясно, что всякий дурак понял бы его объяснения. Тихонов, всегда серьезный перед своими учениками, не мог удержаться от смеха и спросил меня, могу ли я повторить все то, что он говорил; я ответил, что конечно могу, и, вызванный к доске, толково повторил всю его лекцию. Спрашивал он после того и других учеников, из которых некоторые отвечали совершенно неудовлетворительно, а Тихонов, вообще очень нетерпеливый, видимо раздражался их ответами. Когда урок кончился, он принес большой лист, в котором выставил баллы ученикам и, прибавив на конце мою фамилию, поставил мне 12 баллов. С тех пор во все время моего пребывания в пансионе я ни у него, ни у какого другого учителя не получал ни разу менее 12 баллов. Замечательно то, что Тихонов, вероятно, как опытный педагог, имевший дело со множеством весьма разнообразных по воспитанию, наклонностям и характеру юношей, счел необходимым держать меня в своем пансионе на особом положении и нашел возможным дать мне хотя часть той свободы, которою я пользовался с детства. Во-первых, во время своего преподавания,— а преподавал он очень много, именно: все математические предметы и географию,— он признал для меня обязательным

присутствовать только при его лекции, избавив меня совершенно от присутствия в то время, когда он спрашивал других учеников, с которыми часто обращался очень грубо, кричал на них и даже бил их сложенные в кулаки руки об доску, а иногда вытаскивал за ухо к доске. Таким образом я навсегда был избавлен от созерцания подобных сцен и имел довольно свободного времени не только на приготовление уроков, но и на чтение интересовавших меня книг, которые Тихонов брал для меня из своей библиотеки и у других учителей. Кроме того, зная, что по воскресеньям мне ходить было не к кому, он отпускал меня, конечно, без всякого сопровождения, ходить по городу, куда я хотел, а весною и летом отпускал и на загородные экскурсии. Я пользовался этими последними отпусками, выходя за Обводный канал, недалеко от которого мы жили (в Измайловском полку), отыскивая себе путь в поле, и в особенности в лес, до которого я всегда старался добраться. Возвращался я, конечно, в ранние сумерки с жестяной ботанической коробкою, наполненной живыми растениями. Свобода, мне предоставленная, была тем более исключительною, что остальных моих товарищей отпускали всегда с провожатыми, присланными за ними родителями, родными или просто знакомыми. Свобода эта не возбуждала, однако же, зависти в моих товарищах: они скоро полюбили меня. Большая часть из них была моложе меня, и я так охотно помогал им в их приготовлениях к урокам и давал им всякого рода объяснения, когда они в них нуждались, что это невольно сближало нас. Один воспитанник был старше меня возрастом на два года и выше меня головою,— Кашперов, способный и умный юноша, который со мной сразу подружился, так как считал меня равным себе по развитию. Между остальными товарищами не было особенно выдающихся, кроме разве Беренса, прилежного и довольно даровитого юноши, но очень слабого здоровьем.

Все наши учителя очень полюбили меня, и некоторые из них, имевшие связь с университетом, говорили мне, что очень сожалеют о том, что я поступаю в военно-учебное заведение, а не в университет, так как военная служба, очевидно, не может быть моим призванием. Я и сам сознавал, что при пробудившейся во мне страстной жажде знаний университетское

образование наиболее бы удовлетворило ее, но мечта поступления в университет представлялась мне пока неосуществимою. Жить в Петербурге было мне не у кого, платить за мое содержание в гимназии или частном интернате для приготовления в университет было некому: после моего отъезда из деревни хозяйственные дела наши совершенно расстроились, так что за вторую половину моего обучения в пансионе Тихонова (плата делилась на два полугодия) уплачено за меня не было; впрочем, Тихонов великодушно объявил, что если ничего не будет за меня уплачено, то он ничего с меня и брать не желает, потому что я приношу честь его заведению. Мне оставался, следовательно, только один путь: держать приемный экзамен в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Экзамен этот произошел в начале осени 1842 года; я получил во всех предметах полные баллы и поступил первым. Тихонов возбудил вопрос о том, что, зная гораздо более, чем требуется для поступлеиия в младший четвертый класс (в школе всего было четыре класса, соответствующих специальным классам кадетских корпусов), я могу поступить прямо в третий класс. Старый начальник школы генерал-лейтенант барон Шлиппенбах призвал меня к себе и советовал мне поступить в четвертый класс, потому что, как он выразился, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме[27], но все-таки по моему настоянию разрешил мне держать экзамен и в третий класс. Этот новый экзамен был мною выдержан с тем же успехом. Когда начались уроки, меня, как единственного новичка в третьем классе, посадили на последнее место задней скамейки, но при первых же ответах пересадили на первую скамейку, так как я из всех предметов получал хорошие баллы.

Учителя у нас были все очень хорошо подобраны. Между ними были и профессора университета, как, например, по химии — Воскресенский, впоследствии попечитель Харьковского учебного округа, получивший между своими учениками прозвание дедушки русской химии, и по статистике — Ивановский, а также и такие талантливые и интересные люди, какими были по русской литературе Комаров[28] и известный друг Гоголя — Прокопович[29]; по военным наукам и математике — лучшие специалисты, как, например, из штаб-офицеров генерального штаба — Кузьмин-

ский и Карцов[30], впоследствии преемник Д. А. Милютина на Кавказе, а из офицеров инженерного и артиллерийского ведомства — А. З. Теляковский, впоследствии инженер-генерал. Вообще начальство школы, обладая большими специальными средствами, очень тщательно относилось к привлечению лучших преподавателей. Так, например, когда в курс преподавания введена была (уже после моего выхода) гиппология[31] и вместе с нею общая зоология, то был приглашен лучший специалист в этом деле, академик Миддендорф[32]. В курсе преподавания меня поражало в особенности то, что наши учителя совсем не стеснялись программами военно-учебных заведений, которые раздавались нам в литографированных экземплярах в сопровождении составленных нашими учителями по этим программам записок, также литографированных, но между этими записками и живым, прекрасным преподаванием, интересовавшим меня в высокой степени, не было ничего общего.

Учителем истории в младших классах был талантливый и иногда излагавший свой предмет очень увлекательно майор Вержбицкий, но, как поляк, он с необыкновенной смелостью глумился над многими событиями русской истории. Так, например, когда ему пришлось излагать историю крещения Руси, он говорил в таком тоне: «Собрал Владимир самых мудрых из своих мужей, а всех умнее считались тогда те, у кого борода длиннее, и послал их в разные страны для того, чтобы они сообщили ему, какая религия лучше...» Затем Вержбицкий живо излагал путешествие мудрых мужей по разным странам, но все его живое и интересное изложение клонилось к тому, чтобы вывести заключение, что греческая вера понравилась киевским мужам пышностью своих обрядов и обстановки, так как только это они были в состоянии оценить... Вообще его насмешливая характеристика княжения святого Владимира, столь различная от того, что я себе усвоил из внимательного и многократного чтения Карамзина, так меня возмутила, что, несмотря на некоторую застенчивость, меня редко покидавшую, я не вытерпел и со своего места, но, конечно, в очень почтительной форме, титулуя своего учителя, как штаб-офицера,— «вашим высокоблагородием», выразил своего рода протест против его рассказа, заявляя, что события княжения св. Владимира происходили

не совсем так, как угодно было ему изложить. Вержбицкий с удивлением посмотрел на новичка, дерзнувшего вступить в диспут с учителем, что впервые случилось в его практике, но вышел из затруднения с большой находчивостью. «Очень рад,— сказал он мне,—что нахожу между своими учениками знающего лучше меня русскую историю, а потому прошу вас, в виде опыта, продолжать мою лекцию, а я сяду и вас послушаю». К счастью, я не смутился, взошел на кафедру и продолжал рассказ с того места, где он остановился. Вержбицкий слушал внимательно, а когда я кончил, взял журнал, поставил мне 12 баллов и сказал моим товарищам, что если б все они знали так русскую историю, как вновь поступивший, то его задача была бы очень легка; с тех пор он не только сделался ко мне особенно внимателен и никогда не ставил мне менее 12 баллов, но и стал гораздо осторожнее в таких объяснениях, которые могли бы задеть патриотические чувства его учеников.

Был у нас еще другой, поразивший меня своим отношением к классу учитель,— это был горный инженер Иванов, преподававший минералогию. Он являлся в класс с ящиками, заключавшими в себе очень хорошие образцы минералов, садился на кафедру, но не произносил ни одного слова и никого не спрашивал, а просиживал на кафедре полтора часа, читая про себя какую-то книгу; ученикам он предоставлял делать, что им угодно, наблюдая только над тем, чтобы они не очень шумели и громко не разговаривали в классе. Только незадолго до экзаменов он раздавал свою программу с литографированными мелким шрифтом краткими ответами на ее вопросы, разделенные по билетам. Вместе с тем он предлагал всем ученикам давать объяснения на то, что казалось им непонятным в его литографированных записках. Для меня же минералогия представляла такой живой интерес, и так любопытно мне было посмотреть находящиеся в ящике минералы, что я решился обратиться к нему с просьбою показать мне эти минералы. Тогда он с особенным удовольствием садился уже не на кафедре, а на стуле, поставив его вместе со столиком подле моего места, которое было крайнее на передней скамейке, и стал не только показывать мне минералы, но и давать превосходные объяснения, которые обличили в нем полнейшее знание своего дела. Таким

образом все его уроки обратились в продолжительную беседу со мною одним. Случалось, что заходил в класс инспектор или суб-инспектор, и тогда Иванов был очень доволен, что мог вызвать в это время ученика, который отвечал на его вопросы бойко и удовлетворительно.

Учитель русского языка в младших классах, Прокопович, также передавал нам литографированные записки, составленные строго по программе, сам же, к большому нашему удовольствию, значительную часть времени занимался чтением нам лучших произведений нашей литературы и в особенности сочинений своего друга Гоголя, конечно, с очень обстоятельными объяснениями.

Учитель русской литературы в высших классах, Комаров, также читал нам очень много из лучших произведений русской литературы, а стихотворения читал с таким мастерством, что мы его заслушивались. Все это было связано и оживлено настоящим курсом эстетики, а также самым основательным критическим обзором истории русской литературы. Для нас всех, не исключая самых ленивых, его лекции были истинным наслаждением. Задавал же он нам не уроки, а сочинения, предоставляя нам самим выбирать темы из нескольких, названных им более для примера, причем объяснял, также для примера, с каких точек зрения можно писать на эти темы.

Учителя математических предметов отличались большой основательностью и знанием своего дела как в своих лекциях, так и в репетициях.

Учителя военных наук: фортификации, артиллерии, тактики и военной истории выбирались из лучших в Петербурге специалистов. Они читали свои предметы очень интересно: в особенности увлекал нас живой и талантливый учитель тактики и военной истории Карцов, и только учитель военного устава казался нам до крайности скучным, так как и самый его предмет, наполненный мелочными и совсем ненужными для военного дела подробностями, оживить который решительно было невозможно, не вызывал в учениках интереса.

Превосходным учителем географии был мой умный воспитатель Тихонов, но вел себя он в наших классах уже крайне сдержанно, даже при очень неудовлетворительных ответах выражая свое неудо-

вольствие только остроумными ироническими замечаниями. <...>

Воспитанниками школы были исключительно дети старых дворянских фамилий (требовалось свидетельство о внесении их в шестую часть родословной книги древнего российского дворянства или генеральский чин их отцов), преимущественно богатых или по крайней мере достаточных семей, более из поместного дворянства всех русских губерний, чем из столичного. При этом (в школу поступали не ранее 14 лет) на всех воспитанниках лежал отпечаток домашнего воспитания тогдашней дворянской помещичьей среды со всеми ее достоинствами и недостатками, которые особенно легко сообщаются друг другу в закрытых учебных заведениях. Меня, выросшего одиноко, в совершенно исключительных условиях, многие из этих недостатков поражали очень сильно. Первое, против чего я возмущался, было доходившее до бесчеловечности приставание к новичкам. Я лично, к счастью, ему не подвергался, во-первых, потому, что поступил прямо в третий класс, состоявший всецело не из новичков, во-вторых, потому, что полюбившие меня товарищи и не думали причислять меня к новичкам, а от приставания воспитанников высших классов я отбился со свойственной мне в подобных случаях смелостью при помощи товарищей моего класса. Но энергичным заступником за новичков я мог явиться только во втором классе и в особенности в старшем, когда мой авторитет был уже вполне упрочен. С новичками обращались, унижая их достоинство: при всех возможных предлогах не только били их нещадно, но иногда прямо истязали, хотя без зверской жестокости. Только один из воспитанников нашего класса, отличавшийся жестокостью, ходил с ремнем в руках, на котором был привязан большой ключ, и бил новичков этим ключом даже по голове. Этот субъект, вышедший впоследствии в отставку из гвардейских офицеров и переехавший в свое имение в Новгородской губернии, умер в тюрьме, куда был заключен по обвинению в истязании своих крепостных, из которых несколько женщин, вследствие такого истязания, бежало из заключения и замерзло в лесу. У нас в школе, кроме упомянутых приставаний, принимавших, впрочем, только изредка форму истязаний, с новичков еще брались поборы, т. е. их притеснители

прямо заставляли привозить себе разные лакомства. Другим недостатком воспитанников школы, производившим тяжелое впечатление, были их кутежи по воскресным и праздничным дням, облегчаемые тем, что большей частью родители воспитанников жили в своих имениях, а лица, к которым отпускались воспитанники по билетам, были нередко фиктивными родственниками, которые за вознаграждение давали не только полную свободу отпускаемым к ним, но и помогали их кутежам. Богатые воспитанники получали очень много денег от своих родителей, да и кроме того делали долги. <...>

Лето мы проводили в Петергофском лагере военно-учебных заведений. В военном отношении школа гвардейских подпрапорщиков входила в состав первого батальона; вторую роту в этом батальоне составляла рота Пажеского корпуса, а третью — военных инженеров. Командиром этого сводного батальона был наш полковник Лишин, как старший из командиров трех рот, а в случае его болезни — командир роты пажей, полковник Жирардот. В предшествовавшем первому моему лагерному году командовал батальоном бывший тогда старшим полковник инженеров Сидеркрейц, отличавшийся невероятной грубостью. Когда он сердился на свой батальон за неудовлетворительное выравнивание шеренг или штыков, то он называл инженеров, а иногда пажей и подпрапорщиков громко свиньями и еще худшими словами, причем подпрапорщики и пажи начинали, в нарушение всякой дисциплины, дружно шикать и даже кричать: «Сам свинья, сам...», что, впрочем, не имело никаких неблагоприятных для них последствий. Офицеры кадетских корпусов, за исключением, впрочем, первого, и в особенности офицеры Дворянского полка обращались в то время чрезвычайно грубо с кадетами, но зато и сами не пользовались уважением молодежи. Мы их называли пеклеванниками, потому что единственное отношение, какое мы к ним имели, состояло в том, что некоторые из них продавали богатым подпрапорщикам и юнкерам за дорогую цену пеклеванные хлебы с маслом и сыром, а иногда тайком устраивали им в своих офицерских палатках за еще более дорогую плату завтраки, чего, конечно, наши и пажеские офицеры никогда не делали. Второй и третий батальоны состояли из самого многочисленного между

военно-учебными заведениями Дворянского полка, а вторая половина лагеря — из батальонов первого, второго и Павловского корпусов. Наша первая рота составляла правый фланг всего лагеря. По близкому соседству с пажами и инженерами, мы все были более или менее знакомы друг с другом по соответствующим возрастам. Так я познакомился с графом П. А. Шуваловым, который играл впоследствии столь видную роль в царствование императора Александра II. Лагерь наш занимал широкое пространство, сзади которого находился обнесенный громадными рвами обширный плац, где происходили очень часто наши учения. Император Николай I, живя в Александрии, с какой-то башни любил смотреть в зрительную трубу на наши движения во время этих учений. В дождливое время на всем плацу стояли обширные грязные лужи. Так как мы были одеты при парадных учениях в полные мундиры с красными лацканами и в белые панталоны, легко загрязнявшиеся при переходе через лужи, то мы раздвигали свой фронт, обходя лужи. Из своей наблюдательной обсерватории государь заметил эти обходы и через четверть часа, крайне недовольный, был уже на нашем плацу, разнес генерала Шлиппенбаха и принял сам командование над ученьем. Прежде всего он выстроил первый батальон так, что три его роты были расположены развернутым фронтом, прямыми углами одна к другой. Государь въехал в середину и начал разносить нас с большой энергией. Вдруг послышалось шиканье, к которому наш батальон был приучен еще полковником Сидеркрейцем. Самые благоразумные из нас пришли в ужас, но сделать ничего не могли, так как шикать на шиканье было бы еще хуже. К счастью, или шиканье это не было особенно дружно, или оно не донеслось до государя, но оно прошло незамеченным. Государь сам своей звучной и необыкновенно далеко слышной командою собрал батальон сомкнутой колонною и повел вперед. Само собою разумеется, что ни о каком уже обходе луж не было и мысли. Следуя строго по тому пути, по которому вела нас команда государя, мы скоро очутились в громадном рву, наполненном водою и грязью, так что его пришлось переходить по пояс в грязной воде. Красные наши лацкана были все залиты и забрызганы грязью. Однако же мы живо перешли через ров,

выбрались из него поодиночке, помогая друг другу, с необыкновенной быстротою выстроились в колонну и стройно продолжали свой путь вперед. Только лошадь батальонного командира вытащить из рва было невозможно, и он продолжал свой путь пешком, впереди нас. Государь остался доволен, и дальнейших последствий весь инцидент не имел. Он продолжал и после смотреть в свою зрительную трубу на наши ученья и скоро убедился, что обход луж более не повторялся.

По воскресеньям нам разрешался отпуск к родным, если они жили в Петергофе, или на гулянье в одиночку по Петергофскому парку. В эти праздничные дни допускался вход для воспитанников военно-учебных заведений и в Александрию, местопребывание императорской фамилии. Многие из моих товарищей пользовались своими отпусками для того, чтобы устроить где-нибудь тайком кутеж. Я же не пользовался никакими праздничными днями для выхода куда бы то ни было из лагеря, а сидел в общей палатке или под навесом, под которым находились наши обеденные столы, с одною из своих книжек, преимущественно с латинской грамматикою, маленьким томиком какого-нибудь латинского писателя и словарем. Изредка отправлялся я в Петергофский парк но мне там не нравилось стеснение ходить только по его дорожкам. Как бы охотно пошел я на целые часы в дикий лес или на свободный берег моря, но до всего этого добраться было трудно. Один раз только вздумал я из любопытства посмотреть на Александрию, о которой некоторые товарищи рассказывали мне с восторгом. Не зная планировки Александрии, я наугад шел и наконец поравнялся с красивым домиком, освещенным солнцем так, что лучи его падали мне прямо в глаза. Ослепленный этими лучами и без того близорукий, я увидел, что кто-то в пролетке в одну лошадь выезжал из ворот домика; я принял выезжающую особу за даму в белой шляпке. Но когда экипаж поравнялся со мною, я увидел, что это был офицер в светло-серой шинели и белой кавалергардской фуражке. Я быстро остановился, стал во фронт и снял фуражку, как отдавали честь офицерам; только все это было сделано слишком поздно, воинский устав требовал, чтобы честь была отдаваема за 6 шагов до приближающегося. Офицер остановил свой экипаж и подо-

звал меня к себе. Когда я подошел к нему близко, то узнал в нем императора Николая I. Он спросил меня, как моя фамилия, а на вопрос, почему я не отдал ему чести, я отвечал ему: «По близорукости не узнал вашего императорского величества». Государь сказал на это, что я, конечно, мог не узнать в нем государя и даже генерала (так как он был в шинели), но что в обязанность нижнего чина входит правило отдавать одинаково честь каждому офицеру; между тем «У господ подпрапорщиков такая фанаберия в голове,— продолжал государь,— что они уклоняются от этой обязанности, которая составляет основу военной дисциплины, и что это обнаруживает дурной дух заведения». Мне очень хотелось доложить откровенно государю, что я глубоко проникнут военной дисциплиною, находясь в военно-учебном заведении, что мне и в голову не приходило уклоняться от своих обязанностей и что я только потому не отдал ему чести, как офицеру, что по близорукости не узнал его. Но я понимал, что свое заключение государь признает абсолютным, и, конечно, не посмел представлять ему какого-нибудь объяснения, ограничившись молчанием. Государь окончил тем, что приказал мне вернуться в лагерь и доложить начальству о случившемся. Я немедленно вернулся в лагерь и обстоятельно рассказал обо всем этом генералу Сутгофу. Сутгоф не сделал мне ни малейшего упрека: хорошо меня зная, он не сомневался в том, что я не позволил бы себе не отдать чести офицеру, да еще в Александрийской резиденции государя, и сказал мне: «Il n'y a rien à faire, c'est un malheur irréparable; nous attendrons, je suis sûr que l'Empereur m'en parlera» *. И действительно, в тот же вечер государь увидел Сутгофа в Петергофском театре, призвал его и стал расспрашивать обо мне; Сутгоф великодушно объяснил, что я был первым из учеников своего класса, был и по поведению образцовым и никогда ни в чем не провинился. Государь заметил, что тем хуже, если лучшие воспитанники позволяют себе нарушать дисциплину, что это обнаруживает особый дух неподчинения в заведении, состоящем из детей высшего русского дворянства, которого фанаберия

* Ничего не поделаешь; это неприятность непоправимая; подождем, я уверен, что император поговорит со мной об этом *(фр.)*.

заключается именно в том, что они считают себя привилегированным сословием, которому все позволено. Возражать против абсолютно формулированного государем заключения было, конечно, невозможно, и на вопрос Сутгофа о приказаниях государя он предоставил ему поступить по отношению ко мне по его, Сутгофа, усмотрению, высказав, что знал моего отца как достойного и храброго офицера Измайловского полка, которого он был шефом, и не желает, чтобы этот случай оказал какое-либо неблагоприятное влияние на мою будущность. На другой день Сутгоф призвал меня, передал мне все, что говорил государь, и назначил мне дисциплинарное взыскание дежурить бессменно на линейке, т. е. у нашего значка (род знамени), стоявщего на самом правом фланге нашего лагеря, в течение месяца.

Взыскание, конечно, не показалось мне особенно тягостным, и притом же месяц значительно сократился для меня по следующему случаю. Государь, очень часто приезжавший в лагерь, видимо, начал выражать неудовольствие всей нашей школе тем, что вместо того, чтобы подъезжать к лагерю с правого фланга, стал это делать с левого, так что мы из первых сделались последними; в первые дни своих посещений он проезжал, даже не здороваясь с нами. Между тем я один из немногих помнил наизусть все царские дни, и в день рождения (8 сентября) старшего внука государя, великого князя Николая Александровича, доложил об этом нашему ротному командиру Лишину с той целью, чтобы он разрешил роте подпрапорщиков поздравить государя, если он будет с нами здороваться. В этот день государь также подъезжал с левого фланга, но, поравнявшись с нами, поздоровался, будучи доволен нашей хорошей выправкою. Подпрапорщики дружно ответили: «Здравия желаем, ваше императорское величество, имеем счастье поздравить ваше императорское величество». Государь спросил, с чем его поздравляют, и, получив ответ, очень был доволен, вышел из экипажа и в виде особого благоволения прошел по обеим нашим палаткам, а при выходе из крайней заметил меня, стоящим на дежурстве у значка, и, поговорив о чем-то благосклонно с Сутгофом, простился со всеми нами. После того я тотчас же был освобожден от взыскания.

Осенью 1844 года мы возвратились из лагеря,

будучи уже подпрапорщиками. После выхода произведенных в офицеры товарищей мы перешли в подпрапорщики старшего класса, и тех из нас, которые должны были быть произведены в унтер-офицеры, повезли к великому князю Михаилу Павловичу.

Как первый в классе, я должен был быть фельдфебелем, но так как я уже заявил своему начальству, что по производстве в офицеры не останусь на военной службе, то фельдфебелем назначили второго ученика, а меня сделали старшим унтер-офицером. Великий князь очень милостиво принял нас, роздал всем серебряные офицерские темляки, а мне объяснил, что я не произведен в фельдфебели только потому, что я «ученый» и должен отличаться на экзаменах, но что он очень рад, если из военной школы иногда будут выходить и ученые. С тех пор, кроме заведывания отделением, на меня не налагали никаких военных обязанностей и предоставляли мне заниматься, чем и как я хочу, сохранив за мной, однако, обычное мое первое место в классе, за что я один раз чуть не поплатился очень чувствительно. У нас очень невзлюбили одного преподавателя, несколько придирчивого и неприятного. При выходе в коридор учеников обоих параллельных классов (пехотного и кавалерийского, которые, впрочем, в два последние года были смешаны в своем составе) вышеназванный преподаватель, очутившись в толпе, получил сильный удар сзади. Началось следствие. Несмотря на объявленное нам постановление начальства о том, что каждый пятый из подпрапорщиков будет разжалован в солдаты в случае, если виновный не обнаружится, никто не хотел выдавать товарища, и так как с 1844 года мы находились уже в ведении не главного штаба, а штаба военно-учебных заведений, то Яков Иванович Ростовцев[33] приехал, чтобы как-нибудь уладить дело, дошедшее до великого князя, и, после переговоров с нами, остановился на следующей комбинации: оба первые ученика обоих параллельных классов должны были выразить перед потерпевшим присутствующим преподавателем всеобщее сожаление о случившемся и просить от лица неоткрытого виновника извинения, а учитель, заявив на это, что, не желая, чтобы невиновные отвечали за виновного, и, уверенный, что мы не сочувствуем поступку своего товарища, готов забыть случившееся, в надежде, что недоразумения, вызвавшие этот инци-

дент, сами собою устранятся, когда его ученики ближе познакомятся с ним. Впрочем, дальнейших отношений мы к этому учителю уже не имели, потому что он скоро был переведен в младший класс, а мы получили прекрасного преподавателя статистики в лице профессора университета Ивановского.

В семейных моих обстоятельствах в течение 1844 года произошли значительные перемены. Бедная мать моя, здоровье которой все более и более ухудшалось, была признана официальным освидетельствованием душевнобольною и отдана на попечение своей матери Наталии Яковлевны Бланк, которая поместила ее в Москве в особо нанятой квартире, под надзором лучшего в то время московского психиатра д-ра Саблера; а сестра моя Наташа, окончившая в этом году с блестящим успехом свой курс учения в Екатерининском институте, была отдана императрицею на попечение другой бабушки, Марьи Петровны Семеновой, жившей в это время уже не в Рязани, а в деревне дяди Михаила Николаевича Семенова, под опеку которого и отданы были наши сильно расстроенные имения.

Последние два года своего пребывания в школе я ходил по воскресеньям к окончившему уже в 1842 году курс Лицея брату Николаю Петровичу, жившему вместе со своим любимым товарищем Николаем Яковлевичем Данилевским, который захот л дополнить свое лицейское образование слушанием лекций в Петербургском университете.

Быстро прошел для меня последний год пребывания в школе, так как много у меня было дела и по слушанию последнего курса школы, и по серьезному приготовлению к университету по тем предметам, которые не преподавались в школе. Последний лагерь был живее и интереснее предшествовавших: нас практически обучали съемке, артиллерийской стрельбе, и мы принимали участие в общих маневрах всей гвардии. Перед концом лагерного времени случился следующий инцидент. Так как, кроме воспитанников военно-учебных заведений, публика не допускалась в Александрию, то на них и пало подозрение в совершенной кем-то шалости. В одном из бассейнов Александрии каким-то механическим способом двигались в известные часы искусственные серебряные рыбки. Некоторые из этих рыбок вдруг исчезли: они были

отломаны, хотя потом и нашлись в бассейне. Выстроили весь лагерь, и начальник его, барон Шлиппенбах, объяснив, что виновный в этой проделке не мог быть никто иной, как воспитанник военно-учебных заведений, потребовал, чтобы виновник вышел вперед со своим признанием. Никто не выходил, и Шлиппенбах объявил высочайшее повеление о том, что заведения до обнаружения виновного выведены из лагеря не будут, а что если таковой не найдется, то в предстоящем году и производства в офицеры совсем не будет. Зная, что высочайшие повеления не могли подлежать отмене, все пришли в неимоверное беспокойство. У нас было в обычае считать дни, оставшиеся до выпуска, и записывать их мелом на особой доске, вывешиваемой где-нибудь в углу палаток. Прошло дней десять тревожного ожидания, но виновник наконец добровольно открылся: это был кадет одного из младших классов второго кадетского корпуса, по фамилии Жаба. Его подвергли, как мы слышали потом, телесному наказанию, практиковавшемуся тогда в младших классах кадетских корпусов, но никогда не практиковавшемуся в нашей школе, в которой воспитанники, по самому духу заведения, непременно лишили бы себя жизни, если бы к ним было применено такое позорное наказание.

Наступили экзамены, сначала в самой школе, а потом публично для всех военно-учебных заведений. На эти экзамены как мое непосредственное начальство, так и Ростовцев выставляли меня всюду вперед, и я окончил курс записанным первым на мраморную доску и с наименованием меня в формулярном списке отличнейшим. После офицерской присяги я принял и вторую, гражданскую и был произведен в чин коллежского секретаря, с определением к статским делам. Но на службу, конечно, я поступать не думал и, чувствуя себя совершенно свободным, осуществил свою долголетнюю мечту, поступив вольнослушателем в университет, где выдержал предварительно испытание только в тех предметах гимназического курса, которые не преподавались в школе. Главным из этих предметов был, конечно, латинский язык.

Расставаясь со школою, я сохранил о ней на всю жизнь благодарное воспоминание. Во-первых, она в значительной степени расширила мой умственный кругозор, так как ввела в мой курс учения немало

предметов, выходивших из предела программы гимназического курса, при том еще условии, что почти все предметы преподавались замечательно талантливыми людьми. Во-вторых, школа эта ввела меня в товарищеский круг юношей, принадлежавших к таким фамилиям, которые издавна принимали участие в русской государственной жизни. Но помимо этого и всего более принесла мне пользу военная дисциплина, умеренная замечательной гуманностью и особенно хорошим воспитанием лиц, избиравшихся в наши воспитатели и учителя.

С осени 1845 года я уже начал посещать лекции университета, с таким расчетом, чтобы иметь возможность окончить курс не в четыре, а в три года, что по распределению часов оказалось вполне возможным. Поселился я на Васильевском острове вместе с братом и Николаем Яковлевичем Данилевским. Это было для меня удобнее тем, что хотя Данилевский уже слушал университетские лекции в течение двух лет, но многие из них мы могли еще слушать вместе.

Самым основательным и ученым из профессоров Петербургского университета нашего времени на физико-математическом факультете был профессор и академик Ленц [34], преподававший физику и физическую географию, а самым талантливым и интересным — Степан Семенович Куторга [35], читавший нам сравнительную анатомию, зоологию и палеонтологию. Изложение его было чрезвычайно интересно, аудитория на его лекциях была всегда полна студентами. Зоологический кабинет благодаря его усилиям был по тогдашнему времени обставлен удовлетворительно. Независимо от того, для сравнительной анатомии мы с Данилевским через академика Брандта [36] нашли себе доступ и в зоологический музей академии.

Профессором химии был уже хорошо знавший меня по школе и оказывавший мне всякое покровительство почтенный профессор Воскресенский (впоследствии попечитель Харьковского учебного округа). Так как я хорошо знал неорганическую химию, то занятия мои аналитическою под личным руководством Воскресенского в университетской лаборатории, конечно, тогда еще не совершенной, и слушание его лекций органической химии дали мне возможность пройти курс химии совершенно успешно. Любимым моим предметом, в котором я имел уже хорошую подготов-

ку, была ботаника. Профессором ее был д-р Шиховский[37], человек не особенно даровитый и не умевший достаточно связно излагать свой предмет, но глубоко преданный своей науке, хорошо ее знавший и необыкновенно гуманный и доступный. Он предоставлял студентам широкий простор пользоваться гербарием, библиотекою не только университета, но и его собственною, причем он охотно давал всякого рода объяснения и таким образом являлся идеальным руководителем самостоятельных занятий студентов.

Доцентом при Шиховском последний год моего пребывания в университете был талантливый поляк Ценковский[38], только что возвратившийся из своей египетской экспедиции, где он сопутствовал известному горному инженеру Егору Петровичу Ковалевскому, бывшему впоследствии директором азиатского департамента. Ценковский читал прекрасные и интересные лекции по физиологии растений, тогда как Шиховский был преимущественно систематиком.

Профессором минералогии и геологии был в то время прославившийся своими исследованиями на Урале горный инженер Гофман[39]. Он прекрасно знал преподаваемый им предмет, но так плохо владел русским языком, что слушать его без смеха иногда было невозможно. Объяснения его в кристаллографии, при помощи моделей, еще можно было себе хорошо усвоить, но его лекции минералогии были просто невероятны: он описывал минералы своим ломаным русским языком, не показывая ни одного из них, так как минералогической коллекции совсем не имелось в университете, или, лучше сказать, она имелась, но такая, какую, по его признанию, совестно и невозможно было показывать. Он озабочивался приобретением новой, но наше поколение студентов так ее и не дождалось; что же касается геологии, то, при полном неумении владеть русским языком, он читал ее по хорошо составленным им запискам, плохо, однако, переведенным на русский язык.

Профе́ссора физики и физической географии, хорошо владевшего русским языком академика Ленца, мы слушали с большим удовольствием.

Профессором астрономии был академик А. Н. Савич[40], талантливый астроном, приобретший себе известность своим участием в нивелировке между Черным и Каспийским морями, отличавшийся необыкно-

венной добротою, гуманностью и простотою в обращении. Очень любимый студентами, Савич был весьма хорошим руководителем тех из них, которые могли самостоятельно заниматься, но, как лектор, имел крупные недостатки. При своей крайней рассеянности он часто или повторял то, что читал в предшествующей лекции, или, наоборот, делал такие пропуски, вследствие которых его лекция была непонятна его слушателям. Так как при этом ему часто приходилось выводить формулы или рисовать чертежи на доске, то он заслонял своей спиною именно тот уголок доски, на котором писал или чертил очень мелко, так что мы не могли разобрать того, что он хотел изобразить. Савич отличался необыкновенной небрежностью в своем костюме: так как он часто ночевал в университетской обсерватории, в которую ходил со своей подушкой, то являлся на лекции нечесаный и с пухом на голове. Раз (уже впоследствии, когда Савич был академиком) моего тестя, который был с ним в большой дружбе и шел с ним в то время, как он возвращался из академической обсерватории со своей подушкой в руках и в совершенно измятом цилиндре, спрашивали с удивлением, какого он вел пьяного по набережной; между тем Савич был человек чрезвычайно умеренный, никогда не предававшийся такому пороку.

Кроме естественных наук, на нашем отделении физико-математического факультета преподавалась высшая математика-аналитика и дифференциальное исчисление. Преподавателем ее был тогда еще молодой адъюнкт, исполнявший обязанности секретаря факультета, впоследствии академик и один из лучших математиков России — Пафнутий Львович Чебышев [41].

Еще преподавался у нас не факультетский, но обязательный для нас предмет истории русского законодательства. Профессором ее был знаменитый ученый К. А. Неволин, которого я слушал с увлечением. Предмет был нововведенный по повелению императора Николая Павловича, и Неволин, не разочтя времени, необходимого для полного курса, читал нам целый год о договоре Руси с Грецией, о Русской правде, о Судебнике Иоанна III [42] и едва дошел до Уложения царя Алексея Михайловича [43]; однако все это было так интересно и основано на самостоятель-

ных исторических исследованиях, что на всю жизнь мою удержалось в моей памяти.

Со всеми упомянутыми профессорами у меня образовались самые близкие отношения, живо поддержанные впоследствии во время моей деятельности в географическом обществе, в котором они были уже в то время почти все деятельными членами.

Студентов в Петербургском университете было в то время немного, а именно не более 400 человек, а так как большинство их принадлежало к юристам и камералистам [44], то в нашем отделении физико-математического факультета было на высшем курсе не более 8 человек; однако я сходился со студентами и других курсов своего факультета, так как распределил слушаемые мною лекции не по курсам, не будучи обязан держать переходных экзаменов из курса в курс, а готовясь только к одному общему кандидатскому экзамену по окончании всего университетского курса. Поэтому сближение мое с университетскими товарищами обусловливалось случайностью. Так, например, из своего факультета я хорошо знал двух братьев Маркусов, из которых старший был впоследствии моим коллегою в Государственном Совете; Михайлова, державшего вместе со мною экзамен на магистра и умершего попечителем Оренбургского учебного округа; Андрея Николаевича Бекетова [45], который, так же как и я, был вольнослушателем, а впоследствии профессором ботаники и ректором Петербургского университета; К. И. Мая, сделавшегося впоследствии выдающимся и любимым всеми педагогом и директором одной из частных гимназий; трех братьев Филипповых, из которых один, ходивший всегда с всклокоченными волосами, считался инспекцией крайним революционером; хотя, в сущности, никаких волнений тогда в университете не было, но несомненно, что по своим убеждениям он был радикалом и республиканцем и очень резко отзывался о политическом строе того времени. Впоследствии Филиппов был куда-то сослан и умер в административной ссылке; два других его брата остались навсегда мирными гражданами; один сотрудничал мне впоследствии, а другой сделался главноуправляющим имениями кн. Паскевича. Из студентов других факультетов я был знаком с Любощинским и Мордвиновым; первый был моим коллегою в Редакционных Ко-

миссиях по крестьянскому делу, второй — в Государственном Совете. Впрочем, настоящего товарищества между студентами Петербургского университета тогда не существовало. Студенты держались приятельскими кружками без различия курсов и факультетов; в этих кружках, собиравшихся в частных квартирах, ресторанах или в гастрономических лавках Елисеева и т. п., богатые из студентов предавались нередко и кутежам. Было при этом не мало битых бутылок и стекол, но, по соглашению студентов с хозяевами трактиров и лавок, окна, в которые бросались бутылки, всегда выходили на двор, а не на улицу, так что конфликты с полицией были крайне редки, да и в таких случаях университетское начальство всегда выручало студентов.

В то время ректором университета был всеми нами любимый и уважаемый Петр Александрович Плетнев [46], также пользовавшийся и у правительства большим авторитетом, а деканом нашего факультета — популярный среди нас профессор Ленц. Что же касается до инспекции, то она, в лице инспектора Фитцтума и трех или четырех суб-инспекторов, держала себя очень скромно и делала по требованию попечителя только деликатные замечания относительно форменной одежды, а еще более прически студентов. Поэтому в мое время никаких конфликтов между инспекцией и студентами не происходило. <...>

Зиму 1845—1846 года я жил на Васильевском острове с братом и Данилевским; к нам присоединился еще мой дядя Николай Николаевич Семенов, вышедший в отставку из директоров Рязанской гимназии с полной пенсиею за выслугу лет и причислившийся к Министерству внутренних дел в надежде на получение места вице-губернатора. Добрый дядя принимал по вечерам участие в наших оживленных беседах, а утром, когда мы с Данилевским были в университете, ходил в свое министерство, так же как и брат, служивший тогда в Министерстве юстиции. Сведения, которые они сообщали нам о своей служебной деятельности, все более и более укрепляли меня с Данилевским в решимости и после университета не поступать на канцелярскую службу. Брат, получивший прекрасное образование в Царскосельском лицее и пользовавшийся покровительством не только этого заведения, но и своего начальства в Министерстве

юстиции, в первый год своей службы, занимал должность помощника столоначальника в департаменте юстиции, должен был помогать своему столоначальнику подбирать бумаги для сформирования «дел» в синих обложках, причем брату приходилось подшивать их в дела толстой иголкою, которою он владел особенно неумело. Столоначальником его был составивший себе впоследствии громкое имя как музыкальный композитор А. Н. Серов, который потерял в бесплодных для него занятиях в департаменте юстиции лет десять. <...>

Николай Яковлевич Данилевский, с которым так тесно были сплетены мои университетские годы, так как мы не только жили вместе, но и делили между собою все свои занятия, был в высшей степени оригинальной и симпатичной личностью. Сын бойкого и типичного гусара, часто переменявшего, в особенности при командовании полком, а потом и в генеральском чине, место своего жительства, Данилевский был отдан своим отцом в ранние годы в очень хороший пансион в Дерпте и оттуда уже поступил в Царскосельский лицей, где в своем классе был самым талантливым и самым разносторонне образованным из лицейских воспитанников. После выпуска из Лицея он не удовольствовался полученным им образованием и захотел дополнить его университетским. В университетские годы произошла в нем резкая перемена: из человека консервативного направления и набожного он быстро перешел в крайнего либерала сороковых годов, причем увлекся социалистическими идеями и в особенности теорией Фурье [47]. Данилевский обладал огромной эрудициею: перечитали мы с ним кроме книг, относившихся к нашей специальности — естествоведению, целую массу книг из области истории, социологии и политической экономии, между прочим все лучшие тогда исторические сочинения о французской революции и оригинальные изложения всех социалистических учений (Фурье, С.-Симона [48], Оуэна [49] и т. д.). Скромный и застенчивый, Данилевский избегал женского общества и, казалось, даже боялся женщин, а между тем мне удалось с 1846 года разгадать тайну его сердца. Каждое лето он проводил в Орловской губернии, где жили его родные дяди, братья его матери, а у одного из них — вышедшая из института родная его сестра; через эту сестру он и познакомил-

ся с одной соседкою, у которой она часто гостила,— молодой вдовою генерала Беклемишева; эта соседка, отличавшаяся умом, благородством, деловитостью и редкой красотою, овладела сердцем нелюдимого и боявшегося женщин Данилевского так, что после того, как сестра его вышла замуж, он приезжал уже на все лето гостить преимущественно к Вере Николаевне Беклемишевой и только отчасти к своим дядям.

Село, которым владела В. Н. Беклемишева, называлось Русский Брод, а имение его дядей — Оберец. На этикетках, сопровождавших его многочисленные ботанические и энтомологические сборы, я заметил, что название Русский Брод повторялось несравненно чаще, чем Оберец, и, расспросив, кто из его родных или знакомых живет в Русском Броду и в Оберце, я разгадал всю его тайну, тем более что Данилевский писал очень часто длинные письма, адресуемые всегда в Русский Брод, и получал оттуда столь же длинные ответы. Когда же я в деликатной форме высказал ему свою догадку, он покраснел, как ребенок, и со свойственной ему душевной чистотою поверил мне все свои сердечные тайны. Несколько лет кряду он посещал В. Н. Беклемишеву, проводил с наслаждением целые месяцы в беседах с нею, но никогда не только слова любви, но и намека на их взаимные чувства не было между ними произнесено. Да и сам он не смел даже думать, чтобы мог внушить какое бы то ни было чувство женщине, которая была старше его лет на семь. Между тем он уже давно сознал, что любит ее всей душою и притом бесповоротно. Со своей стороны я заметил ему, что нельзя предполагать, чтобы и она его не любила, так как иначе, при всей высокой скромности и нравственности, она не поощряла бы его многомесячного пребывания в ее доме и не вела бы с ним постоянной переписки. Завеса спала с глаз наивного в своей душевной чистоте Данилевского и приготовила развязку, происшедшую, однако же, через несколько лет после наших разговоров.

И у меня были в это время свои сердечные волнения. Единственное посещаемое мною в Петербурге семейство был дом брата моей бабушки Ивана Петровича Бунина, старого вдовца, имевшего трех дочерей, незадолго перед тем окончивших Смольный ин-

ститут. Две старшие сестры, окончившие курс года на три раньше младшей, были уже очень светскими девушками, не производившими на меня особенного впечатления, несмотря на то, что одна из них, Александра, обладала прекрасным контральто, привлекавшим очень в дом Буниных таких музыкальных композиторов, какими были Глинка и Даргомыжский, а вторая, Надежда, была очень красива, но меня привлекала младшая, Вера, в которой я видел гораздо более простоты и непосредственности, чем в двух старших; к этой девушке я привязался всеми силами впервые любящей души и старался быть добрым гением всей весьма привлекательной и интересной семьи, жившей очень открыто, но находившейся всегда в сильно стесненных обстоятельствах. <...>

Каждый год ранней весною я уезжал в имение дяди, Подосинки Рязанской губернии, где со времени своего выхода из института жила у старой моей бабушки, Марьи Петровны, моя сестра. Старушка со своей внучкою жила в маленьком доме, с трех сторон окруженном парком, а в большом доме обитала семья моего дяди, состоявшая из тетушки Анны Александровны, рожденной княжны Волконской, тогда еще молодой и очень красивой женщины, замечательно привлекательной по своей необыкновенной душевной чистоте, при чрезвычайно разностороннем образовании и начитанности, и по необыкновенной доброте и кротости своего характера. Детей у нее в то время было трое: старшему, Николаю, при первом моем приезде в деревню было уже 14 лет, второму, Александру,— 13, и оба они дома приготовлялись к университету, а дочери Марии было лет 10, и при ней состояла гувернанткою англичанка. В доме дяди жила еще выросшая в нашем доме наша приемная сестра Ольга Васильевна Корсакова.

Пребывание мое в деревне между замечательно просвещенными женщинами нашей семьи имело на меня более глубокое культурное влияние, чем пребывание в Петербурге, где я так мало посещал женское общество. Много приходилось читать и литературных, и беллетристических книг. Тетушка Анна Александровна выписывала себе все новости французской, немецкой, английской и даже итальянской литературы, так как она с необыкновенной легкостью научилась сама английскому и итальянскому языкам.

Лето проходило живо; я имел свою лошадь и кабриолетку, на которой ездил не только на дальние экскурсии, но впоследствии за 120 верст в свое тамбовское имение — Петровку.

Семейное наше положение сильно изменилось. При первой моей поездке в деревню проездом через Москву в 1846 году я посетил свою мать, жившую не в лечебном заведении, а в собственной квартире на попечении психиатра и под надзором своей матери. Состояние больной значительно ухудшилось. Не видав меня в течение пяти лет, она сперва не узнала меня, что, впрочем, не было удивительно, так как с 14 до 18-летнего возраста я сильно изменился. Однако, когда она пришла в полное сознание, то приняла меня с глубокой радостью, но доктор предупредил меня, что свидание не должно быть продолжительным, так как может взволновать ее слишком сильно. На возвратном пути из деревни осенью я снова навестил мою мать в Москве, но тут уже доктор предупредил, что он не надеется, чтобы она пережила зиму, а весною 1847 года он же известил меня письменно (телеграфа тогда еще не существовало), что здоровье матери уже находится непосредственно в опасном положении.

Я немедля приехал к сестре, жившей в эту зиму в Москве с семейством дяди, и отправился вместе с нею к матери, свидание которой с сестрою, так трогательно описанное в записках ее[50], было первым после выпуска сестры из института. Мать была уже на смертном одре, и сестра не отлучалась от нее в последние дни ее жизни, а я только на ночь уезжал к дяде, и мы вместе с сестрою приняли последний вздох дорогой нашей страдалицы, умершей в полной памяти. Схоронили мы ее под церковью села Урусова в фамильном склепе, где уже были похоронены мой отец, строитель храма, дед, а впоследствии и бабушка Марья Петровна, пережившая моих родителей.

Лето 1847 года было проведено, так же как и лето 1846 года, в деревне. К весне следующего 1848 года я выдержал свой экзамен на степень кандидата, и вслед затем мы решились с Данилевским предпринять довольно обширную экскурсию, а именно пройти вместе пешком от Петербурга до Москвы. Для облегчения своего путешествия мы наняли троечника, т. е. перевозчика тяжелых кладей, который вез их от

Петербурга до Москвы в течение 18—20 дней; кладь эта состояла из длинных железных полос, положенных на три оси с колесами, а между двумя задними осями был помещен кузов с рогожным верхом, в который и были помещены наши чемоданы.

Мы шли в течение каждого дня исключительно пешком, уклоняясь и в сторону от шоссе, но непременно приходили на ночлег к своему троечнику в установленный пункт, чтобы ночевать с нашими вещами в одном месте. Наше путешествие не обошлось без некоторых приключений. В том году свирепствовала как в Петербурге, так и на многих пунктах нашего пути сильная холера; бывали случаи, что люди, шедшие с нами, умирали на дороге. Дойдя до Волхова, мы с особой любознательностью пошли на экскурсию вдоль его берега. Возвращаясь с нее и подходя к селению, мы увидели шедшую нам навстречу многочисленную толпу народа, вооружившегося чем попало. Это выступление было направлено против нас, так как нас приняли, как оказалось, за «подсыпателей холеры». Во главе толпы шли люди, очевидно принадлежавшие к духовенству; только священника между ними не было. Начались вопросы: почему и с какой целью мы пришли? Особенно подозрительно смотрели они на ботаническую капсульку зеленого цвета, которую Данилевский носил на ремне, и на бывший у меня в руках геологический молоток. Мы объяснили толпе причины нашего хождения вдоль реки тем, что мы собираем травы, тут растущие, а также откалываем образцы камней, из которых состоят береговые обрывы, и что мы имеем паспорта. Причетник или дьякон, шедший во главе толпы, заявил, что он знает о том, что растения описываются в науке, которая называется ботаникою, но что все-таки нам незачем было ходить у них по берегу реки, потому что травы растут на всем свете одинаковые. Толпа начала волноваться, и я видел, что от продолжения объяснений с нею мы ничего не выиграем. К счастью, я вспомнил, что у меня в кармане случайно был номер полицейской газеты, только вышедший накануне нашего выхода из Петербурга; в этом номере описывался случай, как в Петербурге толпа разнесла аптеку, и объявлялось, при надлежащем разъяснении, строгое высочайшее повеление о том, что если подобные случаи повторятся, то виновные будут подлежать самому

строгому взысканию. Я вынул газету из кармана, крикнул: «Шапки долой, слушайте царское повеление»,— и громко и внятно прочитал им все сообщение. Толпа смутилась, а я, пользуясь этим случаем, сказал: «Вы сомневаетесь, кто мы такие, так пойдемте вместе к какому у вас есть в селе высшему начальству; мы покажем ему все наши бумаги, а оно вам укажет, что вы должны делать». Крестьяне тотчас же заявили, что у них есть староста, безграмотный, но что подле села есть большое начальство — генерал, который живет тут уже второй год и строит железную дорогу. Мы очень обрадовались этому и просили тотчас же свести нас к этому генералу. Временно выстроенный его дом находился на берегу реки Волхова несколько в стороне от селения. Пришли мы в то время, как генерал только что оканчивал обед со своими гостями, соседними помещиками; генерал вышел на балкон навстречу многочисленной толпе народа, шедщей с нами. Он был высокого роста, плотного сложения и с умным и добрым выражением лица. Это был строитель северной половины московского железного пути, инженер генерал-майор Мельников [51], впоследствии бывший министром путей сообщения (строителем южной был знаменитый инженер-генерал Крафт). Выслушав наши объяснения, он обратился к толпе с чрезвычайно убедительной и красивой по своей простоте речью, объяснив ту пользу, которую могут принести всем подобные путешественники; что же касается до их подозрений об отраве рек и источников, то он спросил у толпы, почему же они не подозревают в такой отраве его и инженеров, ходящих по берегу Волхова ежедневно и нередко имеющих свои личные счеты со здешними жителями, на которых они сердиты за то и другое, между тем как эти путешественники (генерал указывал на нас), не зная никого из здешних обывателей, не могут желать им никакого зла. Притом же отравить текущую воду нет никакой возможности, потому что она ежеминутно меняется. Так увещевал толпу генерал. Толпа успокоилась, а вышедшие из любопытства из-за стола местные помещики не упустили случая слегка потрепать за бороды смутьянов, т. е. известных зачинщиков всяких крестьянских волнений. Местный холерный бунт был усмирен, и мы поторопились уйти своей дорогою на ночлег, находившийся впереди.

На дальнейшем пути мы экскурсировали уже с большой осторожностью, но все-таки успешно преследовали свои цели и добрались до Москвы на двадцатый день, а затем еще через три дня я уже был в Подосинках.

Летние пребывания в деревне были для меня особенно плодотворны. Когда же мы в 1847 году ввелись во владение своими имениями, мой брат — Рязанкою в Рязанской, а я — Петровкою в Тамбовской губернии, то я почувствовал, что принимаю на себя ответственную роль владельца крепостных людей; все более и более проникался я убеждением в несостоятельности существовавшего порядка и в том деморализующем влиянии, какое он имеет не только на крепостных и в особенности на дворовых, но и на самих помещиков. Тяжело было смотреть, что даже люди образованные, добрые, под влиянием крепостного права становились нередко жестокими и даже бесчеловечными, и что злоупотребление крепостным правом, в той или другой форме, проявлялось на каждом шагу под влиянием ничем не сдерживаемых личных интересов или страстей. Сколько раз мне приходилось наблюдать, как по вечерам к помещикам являлись бурмистры и старосты их селений и некоторые из крестьян, призванные для объяснений, и как помещик производил в своем кабинете суд и расправу над крепостными. Самой легкою для виновных была кулачная расправа в самом кабинете помещика. Гораздо тяжелее были телесные наказания через посредство дворовых людей, которые от ежедневного и даже ежечасного соприкосновения с крепостными порядками становились самыми зверскими и безнравственными из крепостных.

Все злоупотребления со стороны помещиков крепостным правом совершались открыто и не возбуждали никакого негодования и протеста со стороны того меньшинства помещиков, которые сами действовали безукоризненно, а втихомолку и действительно принимали отеческие заботы о благосостоянии своих крепостных людей.

В 1848 году я поехал в свою Петровку с нашим управляющим Яковом Абрамовичем на все время хлебной уборки.

Для меня эта поездка была очень поучительна, потому что я вполне ознакомился с бытом и положе-

нием своих крестьян, но им едва ли она принесла непосредственную пользу. Имение было даже и при моих родителях «заглазное», потому что в нем никто не жил, а владельцы и даже их управляющие приезжали только на время хлебной уборки или хлебной продажи. Это обстоятельство ставило крестьян в довольно независимое положение от помещика, который не вмешивался ни в какие их дела, не чинил суда и расправ, предоставляя их судебные дела «суду стариков», а хозяйственные — «миру», т. е. общине, и имел к ним отношение только при отбывании ими их натуральной повинности — барщины. К этому времени приурочивались скидка и накладка тягол и наделение новых брачных пар землею, а также пополнение, впрочем в редких случаях, их хозяйственных недочетов: дар недостающей лошади или коровы, снабжение лесом для необходимых построек и, в случае неурожая,— хлебом и соломою, что, впрочем, могло производиться только в очень умеренных размерах, так как гумны петровских крестьян были наполнены запасами хлеба в скирдах, а мы, видя, как велики эти запасы, никогда не выдавали хлебных пособий имущим.

Крестьяне Петровки при превосходной черноземной почве, одной из лучших в Тамбовской губернии, были щедро наделены землею, а именно по 7 десятин на тягло, что составляло по 2 десятины в поле пахотной земли. Господская запашка, в применении к закону о трехдневной барщине, была равна крестьянской, и ее было по 90 десятин в поле.

Когда я приехал в свое имение в 1848 году, то нашел крестьян в полном благосостоянии: у большинства дворов стояли скирды старого хлеба, у некоторых за два и три года. Лошадей при обилии лугов было много: некоторые дворы имели от 6 до 20 лошадей. Безлошадных дворов, конечно, совсем не было, да и быть не могло. Деревянные избы были хорошо построены и все имели дымовые трубы. Бедных дворов оказалось не более трех: один — вследствие недостатка взрослых работников, другой и третий — по лености и нерадению домохозяев.

Уборка 1848 года шла быстро и дружно. Начиналась она, по климатическим условиям и свойству почвы, недели на две ранее, чем в Рязанской губернии. Притом же Яков Абрамович вел ее всегда осо-

бенно энергично для того, чтобы не опоздать к уборке в имении брата Рязанке, а энергия его сопровождалась иногда и собственноручными расправами. Мое присутствие делало, конечно, эти расправы невозможными и ненужными, но как я мог в имении заглазном навсегда прекратить их? В глазах сельских хозяев эти расправы и вообще телесные наказания были неотъемлемой принадлежностью обязательного крепостного труда — барщины, и я с грустью приходил к убеждению, что улучшить быт крестьян невозможно иначе, как при полной отмене барщины, а следовательно, при освобождении крестьян от крепостной зависимости; это же могло бы произойти не иначе, как — по выражению А. С. Пушкина — «по манию царя» [52], а до этого именно в 1848 году еще было далеко...

Глава V

Зима 1848—1849 годов очень сильно повлияла на мое будущее.

Окончив курс наук в университете, я решился не следовать по обычному пути и не вступать в государственную службу немедленно по окончании курса. С одной стороны, вступив во владение собственным имением, я уже не нуждался в средствах к жизни, а с другой — близкое знакомство с характером служебной деятельности моего брата и его товарища по службе А. Н. Серова в департаменте юстиции оттолкнули меня от сопряженной с совершенно бесплодною потерею времени канцелярской службы. Вследствие этого я решился отдаться всецело научным занятиям и, независимо от приготовления к получению степени магистра, искать какой-нибудь общественной деятельности, связанной с наукою. Пришлось при каждой встрече с новым знакомым отвечать на неизбежный вопрос о том, где я состою на службе, возбуждая не совсем благосклонное или подозрительное удивление вопрошающего тому, что я совсем не состою на государственной службе, а посвятил себя научной деятельности. <...>

Применение моим юным, но уже стремившимся к творческой деятельности силам нашлось немедленно: я принял на себя, разумеется безвозмездно, должность библиотекаря <Географического> Общества

(1849—1851 гг.), до тех пор еще не существовавшую, несмотря на то, что библиотека общества была уже довольно обширна и росла не по дням, а по часам, порядка же в ней еще не было. Вскоре после того (в 1850 г.) я был избран секретарем отделения физической географии и таким образом сделался сразу одним из деятельных членов Географического общества, каковым и остался в течение более шестидесяти лет.

Состав председателей отделений общества был в то время блестящим. В отделении математической географии председательствовал знаменитейший в России астроном XIX века В. Я. Струве [53], в отделении общей географии, обратившемся в 1850 г. в отделение физической географии,— лучший в то время в России геолог Г. П. Гельмерсен [54], в отделении статистики — трудолюбивый и обладавший большой эрудицией академик П. И. Кеппен [55], в отделении этнографии — величайший из русских натуралистов и антропологов XIX века — К. М. Бэр [56].

Но на всех этих корифеев науки быстро развивавшееся юное Русское Географическое общество, уже сильное притоком собственных свежих сил, смотрело, как на сонм немецких учителей, державших его в слишком тесных и несколько чуждых его духу иноземных пеленках.

Составление окончательного устава общества подало пищу к стремлению вырваться из этих пеленок. Особое значение члены юного общества придавали избранию вице-председателя, который, по окончательному уставу, должен был быть, согласно указанию императора Николая I, действительным и ответственным председателем общества и его совета, между тем как на председателе, как высочайшей особе (великом князе Константине Николаевиче), лежало только безответственное почетное председательство.

В среде общества, при избрании первого по новому окончательному уставу вице-председателя общества, образовалась сильная русская партия; она выступила против Ф. П. Литке [57], считая его главою немецкой партии, и выставила своим русским кандидатом в вице-председатели М. Н. Муравьева [58], личности которого, впрочем, далеко не вся сочувствовала,— единственно потому, что другого возможного канди-

дата не могла подыскать. Во главе русской партии уже стояло в то время немало высокоталантливых людей, как, например, три брата Милютиных (Дмитрий, Николай и Владимир), два брата Ханыковых (Яков[59] и Николай), два брата Заблоцких-Десятовских (Андрей и Михаил[60]), И. П. Арапетов, Н. И. Надеждин, В. В. Григорьев[61], К. А. Неволин, Изм. Ив. Срезневский[62], К. Д. Кавелин, А. Д. Озерский, В. С. Порошин[63] и мн. др.

Благодаря энергии и талантливости этих лиц русская партия восторжествовала. При выборах мне вместе с К. К. Гротом привелось считать поданные голоса: только на перебаллотировке М. Н. Муравьев получил перевес одним голосом.

Живо помню, как в годовом собрании общества, 16 февраля 1850 года, вслед за избранием М. Н. Муравьева поднялась со своего места величественная фигура почтенного вице-председателя, расстававшегося с обществом, бесспорно им созданным. В глубоко прочувствованных и полных достоинства словах, произнесенных мужественным, хотя и сильно взволнованным голосом, Ф. П. Литке выразил самые искренние пожелания обществу и самое чистосердечное обещание быть ему полезным везде, где он только может принести ему пользу. По окончании заседания главный и победоносный деятель в борьбе обеих партий Н. А. Милютин сообщил мне, что достойная, краткая речь Ф. П. Литке произвела на него такое сильное впечатление, что он почти сожалел о своей победе, признавая, что общество поступило с большой несправедливостью по отношению к почтенному старцу, отдав преимущество перед ним М. Н. Муравьеву. Мнение же, какое имели о Муравьеве лица, его избравшие, достаточно характеризовалось следующим четырехстишием, появившимся на другой день после избрания Муравьева:

И нами избранный ярыга
Сегодня всех нас принимал
И говорил нам, будто книга
Ему милей, чем капитал.

Во время моей совместной жизни с Данилевским, после отъезда брата и дяди из Петербурга, круг нашего знакомства значительно расширился, главным образом потому, что Данилевский, не имея никакого

состояния, должен был обеспечивать свое существование литературным трудом и писал обширные очень дельные научные статьи в «Отечественных записках». Это ввело его в знакомство не только с Краевским (редактором их), но и со многими другими литературными деятелями и критиками — Белинским и Валерианом Майковым [64]. Они оценили необыкновенно логичный ум Данилевского, его изумительную диалектику и обширную, разностороннюю эрудицию. Таким образом кружок даже наших близких знакомых был во время посещения нами университета не исключительно студенческий, а состоял из молодой, уже закончившей высшее образование интеллигенции того времени. К нему принадлежали не только некоторые молодые ученые, но и начинавшие литературную деятельность молодые литераторы, как, например, лицейские товарищи Данилевского Салтыков (Щедрин) и Мей [65], Ф. М. Достоевский, Дм. В. Григорович, Ал. Ник. Плещеев [66], Аполлон [67] и Валериан Майковы и др. Посещали мы друг друга не особенно часто, но главным местом и временем нашего общения были определенные дни (пятницы), в которые мы собирались у одного из лицейских товарищей брата и Данилевского — Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского [68]. Там мы и перезнакомились с кружком петербургской интеллигентной молодежи того времени, в среде которой я более других знал из пострадавших в истории Петрашевского — Спешнева [69], двух Дебу [70], Дурова [71], Пальма [72], Кашкина [73] и избегших их участи — Д. В. Григоровича, А. М. Жемчужникова [74], двух Майковых, Владимира Милютина, Панаева и др. Все эти лица охотно посещали гостеприимного Петрашевского, главным образом потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать подобные, очень интересные для нас вечера, хотя сам Петрашевский казался нам крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Как лицеист, он числился на службе, занимая должность переводчика в Министерстве иностранных дел; единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в качестве переводчика при процессах иностранцев, а еще более при составлении описей их выморочного имущества, особливо библиотек. Это последнее занятие было крайне на руку Петрашевскому: он выбирал из этих библиотек все запрещенные иностранные книги,

заменяя их разрешенными, а из запрещенных формировал свою библиотеку, которую дополнял покупкою различных книг и предлагал к услугам всем своим знакомым, не исключая даже и членов купеческой и мещанской управ и Городской думы, в которой сам состоял гласным. Будучи крайним либералом и радикалом того времени, атеистом, республиканцем и социалистом, он представлял замечательный тип прирожденного агитатора: ему нравились именно пропаганда и агитаторская деятельность, которую он старался проявить во всех слоях общества. Он проповедовал, хотя и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь антимонархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями Городской думы. Стремился он для целей пропаганды сделаться учителем и в военно-учебных заведениях, и на вопрос Ростовцева, которому он представился, какие предметы он может преподавать, он представил ему список одиннадцати предметов; когда же его допустили к испытанию в одном из них, он начал свою пробную лекцию словами: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения»,— и действительно изложил все 20, но в учителя принят не был. В костюме своем он отличался крайней оригинальностью: не говоря уже о строго преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить на себя внимание публики, которую он привлекал всячески, например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек и т. п., а потом вступал с нею в конфиденциальные разговоры. Один раз он пришел в Казанский собор переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на него внимание соседей, и когда наконец подошел к нему квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина», он ответил ему: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина». Квартальный смутился, а Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой.

Весь наш приятельский кружок, конечно, не принимавший самого Петрашевского за сколько-нибудь серьезного и основательного человека, посещал, однако же, его по пятницам и при этом видел каждый раз, что у него появлялись все новые лица. В пятницу на страстной неделе он выставлял на столе, на котором обыкновенно была выставляемая закуска, кулич, пасху, красные яйца и т. п. На пятничных вечерах, кроме оживленных разговоров, в которых в особенности молодые писатели выливали свою душу, жалуясь на цензурные притеснения, в то время страшно тяготевшие над литературою, производились литературные чтения и устные рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем либеральным освещением, которое недоступно было тогда печатному слову. Многие из нас ставили себе идеалом освобождения крестьян из крепостной зависимости, но эти стремления оставались еще в пределах несбыточных мечтаний и были более серьезно обсуждаемы только в тесном кружке, когда впоследствии до него дошла через одного из его посетителей прочитанная в одном из частных собраний кружка и составлявшая в то время государственную тайну записка сотрудника министра государственных имуществ Киселева, А. П. Заблоцкого-Десятовского, по возбужденному императором Николаем I вопросу об освобождении крестьян.

Н. Я. Данилевский читал целый ряд рефератов о социализме и в особенности о фурьеризме, которым он чрезвычайно увлекался, и развивал свои идеи с необыкновенно увлекательной логикою. Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и высказывался страстно против злоупотреблений помещиками крепостным правом. Обсуждался вопрос о борьбе с ненавистной всем цензурою, и Петрашевский предложил в виде пробного камня один опыт, за выполнение которого принялись многие из его кружка. Они предприняли издание под заглавием: «Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык», и на каждое из таких слов писались часто невозможные с точки зрения тогдашней цензуры статьи. Цензуровали этот лексикон, выходивший небольшими выпусками, разные цензоры, а потому, если один цензор не пропускал статью, то она переносилась почти целиком под

другое слово и шла к другому цензору и таким образом протискивалась через цензуру, хотя бы и с некоторыми урезками; притом же Петрашевский, который сам держал корректуру статей, посылаемых цензору, ухитрялся расставлять знаки препинания так, что после получения рукописи, пропущенной цензором, он достигал, при помощи перестановки этих знаков и изменения нескольких букв, совершенно другого смысла фраз, уже пропущенных цензурою. Основателем и первоначальным редактором лексикона был офицер, воспитатель одного из военно-учебных заведений, Н. С. Кириллов, человек совершенно благонамеренный с точки зрения цензурного управления и совершенно не соображавший того, во что превратилось перешедшее в руки Петрашевского его издание, посвященное великому князю Михаилу Павловичу.

Петрашевскому было в то время 27 лет. Почти ровесником ему был Н. А. Спешнев, очень выдающийся по своим способностям, впоследствии приговоренный к смертной казни. Н. А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотою. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя. Замечательно образованный, культурный и начитанный, он воспитывался в Лицее, принадлежал к очень зажиточной дворянской семье и был самым крупным помещиком. Романтическое происшествие в его жизни заставило его провести несколько лет во Франции в начале и середине сороковых годов. Когда ему был 21 год, он гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика С., и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьезный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть внезапно дом С—х, оставив предмету своей страсти письмо, объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но г-жа С. приняла не менее внезапное решение: пользуясь временным отсутствием своего мужа, она уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда... Уехали они за границу без паспортов и прожили несколько лет во Франции, до той поры, пока молодая и страстная беглянка не умерла, окруженная трогательными попечениями своего верного любовника.

Эта жизненная драма наложила на Спешнева неизгладимый отпечаток: Спешнев обрек себя на служение гуманитарным идеям. Всегда серьезный и задум-

чивый, он поехал после этого прежде всего в свое имение, где приложил заботы к улучшению быта своих крестьян, но скоро убедился, что главным средством к такому улучшению может служить только освобождение их от крепостной зависимости и что такая крупная реформа может осуществиться не иначе, как по инициативе верховной власти.

Шестилетнее пребывание во Франции выработало из него типичного либерала сороковых годов: освобождение крестьян и народное представительство сделались его идеалами. Обладая прекрасным знанием европейских языков и обширною эрудицией, он уже во время своего пребывания во Франции увлекался не только произведениями Жорж Занд и Беранже, философскими учениями Огюста Конта [75], но и социалистическими теориями С.-Симона, Оуэна и Фурье; однако, сочувствуя им, как гуманист, Спешнев считал их неосуществимыми утопиями. Получив амнистию за свой беспаспортный побег за границу, он прибыл в Петербург и, найдя в кружке Петрашевского много лиц, с которыми сходился во взглядах и идеалах, сделался одним из самых выдающихся деятелей этого кружка. Будучи убежден, что для восприятия идеи освобождения крестьян и народного представительства необходимо подготовить русское общество путем печатного слова, он возмущался цензурным его притеснением и первый задумал основать свободный заграничный журнал на русском языке, не заботясь о том, как он попадет в Россию. Спешнев непременно бы осуществил это предприятие, если бы не попал в группу лиц, осужденных за государственное преступление.

Пробыв 6 лет в каторге и потеряв свое имение, перешедшее при лишении его всех прав состояния к его сестре, Спешнев был помилован с возвращением ему прав состояния только при вступлении на престол императора Александра II. Верный своим идеалам, он с восторгом следил за делом освобождения крестьян и после 19 февраля 1861 года сделался одним из лучших мировых посредников первого призыва. В этом звании я видел его в 1863 году, в первый раз после его осуждения; он казался, несмотря на то, что был еще в цвете лет (ему было 42 года), глубоким, хотя все еще величественным старцем.

Выдающимися лицами в кружке были братья Дебу, из которых старший, Константин, был начальни-

ком отделения в азиатском департаменте Министерства иностранных дел. В противоположность Спешневу они не имели корней в земле, а принадлежали к столичной бюрократической интеллигенции. Оба Дебу окончили курс университета и в 1848 году уже занимали аадминистративные должности в Министерстве иностранных дел. Как и многие либеральные чиновники того времени, хорошо образованные и начитанные, они отдались изучению экономических и политических наук и поставили себе идеалом отмену крепостного права и введение конституционного правления. Но о революционном способе достижения этих идеалов оба Дебу и не думали. Они примкнули к кружку Петрашевского потому, что встретили в нем много людей, сочувствовавших их идеалам, и живой обмен мыслей с людьми, гораздо лучше их знающими быт русского народа. Старший Дебу слишком хорошо изучил историю Французской революции, а с другой стороны, имел уж слишком большую административную опытность, чтобы не знать, что в то время в России революции произойти было неоткуда. Столичной интеллигенции предъявлять какие бы то ни было желания, а тем более требования, было бы напрасно и даже безумно, а народ, порабощенный тою же, но земскою интеллигенцией, был связан по рукам и ногам крепостным правом. <...>

Самым оригинальным и своеобразным из группы осужденных был Ф. М. Достоевский, великий русский писатель-художник.

Данилевский и я познакомились с двумя Достоевскими в то время, когда Федор Михайлович сразу вошел в большую славу своим романом «Бедные люди», но уже рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать чаще кружки Петрашевского и Дурова. <...>

Помоложе Достоевского был уже составивший себе имя, как лирический поэт, Алексей Николаевич Плещеев. Он был блондин, приятной наружности, но «бледен был лик его туманный»... Столь же туманно было и направление этого идеалиста в душе, человека доброго и мягкого характера. Он сочувствовал всему, что казалось ему гуманным и высоким, но определенных тенденций у него не было, а примкнул он к кружку потому, что видел в нем более идеали-

стические, чем практические стремления. В кружке Петрашевского он получил прозвание André Chenier[76]. <...>

Из группы осужденных, кроме Петрашевского, разве только одного Дурова можно было считать до некоторой степени революционером, т. е. человеком, желавшим провести либеральные реформы путем насилия. Однако между Петрашевским и Дуровым была существенная разница. Первый был революционером по призванию; для него революция не была средством к достижению каких бы то ни было определенных результатов, а целью; ему нравилась деятельность агитатора, он стремился к революции для революции. Наоборот, для Дурова революция, по-видимому, казалась средством не для достижения определенных целей, а для сокрушения существующего порядка и для личного достижения какого-нибудь выдающегося положения во вновь возникшем. Для него это тем более было необходимо, что он уже разорвал свои семейные и общественные связи рядом безнравственных поступков и мог ожидать реабилитации только от революционной деятельности, которую он начал образованием особого кружка (дуровцев), нераздельного, но и не слившегося с кружком Петрашевского. Известно, что, когда Дуров и Достоевский очутились на каторге в одном «мертвом доме», они оба пришли к заключению, что в их убеждениях и идеалах нет ничего общего и что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению[77]. <...>

Передо мною естественно возник вопрос: в чем же, собственно, состояло преступление самых крайних из людей сороковых годов, принадлежавших к посещаемым нами кружкам, и в чем состояло их различие от всех остальных, не судившихся и не осужденных?

Живо вспоминаю, с каким наслаждением стремились мы к облегченному нам основательным знанием европейских языков чтению произведений иностранной литературы, как строго научной, философской, исторической, экономической и юридической, так и беллетристической и публицистической, конечно, в оригинале и притом безо всяких до абсурда нелепых цензурных помарок и вырезок, и в особенности тех серьезных научных сочинений, которые без достаточных оснований совсем не пропускались цензурою. <...>

Как охотно и страстно говорили многие из нас о своих стремлениях к свободе печатного слова и к такому идеальному правосудию, которое превратило бы Россию из полицейского государства в правовое! И прислушиваясь к таким свободным речам, мы радовались тому, что «по воздуху вихрь свободно шумит», не сознавая, «откуда и куда он летит». Конечно, были в произносимых перед нами речах и увлечения, при которых случалось, что и «минута была нашим повелителем». Но все-таки, чувствуя, что самое великое для России может произойти от освобождения крестьян, мы желали достичь его не путем революции, а «по манию царя».

Таково было общее настроение людей сороковых годов, сходившихся в то время в либеральных кружках Петрашевского и других. Присужденные к смертной казни мало чем отличались по своему направлению и стремлениям от других. Только на одного Петрашевского можно было указать, как несколько сумасбродного агитатора, старавшегося при всех возможных случаях возбуждать знакомых и незнакомых с ним лиц против правительства. Все же остальные, сходившиеся у него и между собою, не составляли никакого тайного общества и не только не совершали, но и не замышляли никаких преступных действий, да и не преследовали никаких определенных противогосударственных целей, не занимались никакой преступной пропагандою и даже далеко не сходились между собою в своих идеалах, как показали впоследствии отношения заключенных в одной и той же арестантской роте Достоевского и Дурова.

Единственное, что могло бы служить судебным обвинением, если бы было осуществлено, было намерение издавать за границей журнал на русском языке без цензурных стеснений и без забот об его распространении в России, куда он неминуемо проник бы сам собою. Но и к осуществлению этого предположения не было приступлено, и оно осталось даже совершенно неизвестным следственной комиссии. Затем единственным обвинением оставалось только свободное обращение в кружке Петрашевского запрещенных книг и некоторая формальность, введенная в беседы только в последние годы на вечерах Петрашевского, а именно избрание при рассуждении о каких бы то ни было предметах председателя, который с колоколь-

чиком в руках давал голос желающим говорить. Потрясающее на меня впечатление произвело присуждение к смертной казни целой группы лиц, вырванных почти случайно из кружка, в действиях и даже убеждениях которых я не мог по совести найти ничего преступного. Очевидно, что в уголовном уложении, в законе о смертной казни и вообще о политических преступлениях было что-то неладное...

Возвращаюсь к своим личным воспоминаниям о зиме 1849—1850 годов. Как и всегда в тяжелые минуты жизни, я искал развлечения и утешения в чисто научных занятиях. Дела было много. С одной стороны разработка обширного материала, собранного во время летнего путешествия, которым я завершил многолетнее исследование бассейна реки Дона до Маныча, с другой — приготовление к магистерскому экзамену.

Дома Гирсов и Буниных остались по-прежнему единственными мною посещаемыми светскими салонами, где я близко познакомился со многими интересными личностями. Не говоря уже о старых друзьях Гирсах, К. К. Гроте, Н. А. Милютине и А. В. Головнине, с которыми я сошелся и по Географическому обществу, я познакомился с некоторыми светилами музыкального мира того времени, в особенности с М. И. Глинкою и А. С. Даргомыжским. Глинка находился в то время в дружеских отношениях с жившими вместе с ним двумя моими сверстниками и приятелями: Николаем Александровичем Новосильским (впоследствии стоявшим во главе самых обширных промышленных предприятий в России и бывшим Одесским городским головою) и Владимиром Ипполитовичем Дорогобужиновым (впоследствии костромским губернатором). Оба они были большие меломаны, окружавшие самыми трогательными заботами Глинку, с которым жили на одной квартире и которого всегда сопровождали на музыкальные вечера к Буниным и Гирсам.

Сестры В. И. Бунина и А. И. Гирс прекрасно пели его романсы, затем и сам Глинка садился за фортепиано и начинал петь свои романсы несколько разбитым голосом, но с таким увлечением и экспрессией, что приводил в восторг всех слушателей. По мнению Глинки, никто в то время не исполнял так хорошо его романсов, как Александра Ивановна Гирс и Вера Ивановна Бунина, имевшая очень чистый голос. Они

давали каждому его романсу такое выражение, какое он, можно сказать, создавал в их присутствии. Когда требовались мужские голоса, то лучшими исполнителями произведений Глинки и Даргомыжского являлись превосходный баритон Опочинин (впоследствии адмирал) и тенора Харитонов и Моллериус.

Душевная простота и доброта Глинки очаровывали всех нас и заставляли смотреть снисходительно на единственный его недостаток — слабость к вину, не причинявшая, впрочем, никому ни малейшей неприятности. Совсем другой характер имел Даргомыжский, производивший, несмотря на свой крупный и притом творческий талант, неприятное впечатление своим самолюбием и желчными отзывами о своих конкурентах. Он избегал всякой встречи с Глинкою, и я не помню, чтобы они, посещая весьма часто Гирсов и Буниных, когда-либо сходились у них. Даргомыжский, впрочем, особенно хорошо относился к Александре Ивановне Гирс и Вере Ивановне Буниной, потому что и он видел в них прекрасных исполнительниц своих романсов, из которых многие оставались незаконченными.

В последний год отношения мои к предмету моей юношеской привязанности значительно изменились. Я вполне убедился, что подругою жизни В. И. Бунина для меня быть не может, не потому чтобы она не решилась пойти за меня замуж, если бы я сделал ей предложение, но потому что чувства ее на мне, да и ни на ком еще не остановились, и она тогда увлекалась вообще флиртом.

Мне стоило большой силы воли, чтобы вырвать из своего сердца то чувство, которое не могло и не должно было иметь серьезных последствий, но я продолжал оказывать дружбу как ей, так и семейству, бывшему мне всегда близким. Эта перемена заставила меня искать развлечения в некоторых светских салонах, с которыми мне нетрудно было познакомиться, но в которых я не нашел, однако же, пищи никаким сердечным увлечениям.

Большую отраду принесло мне в эту зиму присутствие сестры, которой судьба, к несказанному моему удовольствию, решилась необыкновенно счастливо. Она вышла замуж за человека, составившего ее счастье, в то время достойного профессора Гельсингфорского Александровского университета Якова

Карловича Грота, приехавшего на праздники Рождества гостить к своему брату и пленившегося умственными и душевными качествами и образованностью моей сестры. Свадьба состоялась 24 февраля 1850 года, и в тот же день молодые уехали в Гельсингфорс.

Весна 1850 года была посвящена мною экзамену и разработке материала для магистерской диссертации.

В Географическом же обществе деятельность моя еще более оживилась: на меня были возложены, совместно с другими лицами, В. В. Григорьевым и Н. В. Ханыковым, перевод и дополнение частей Ритеровой «Азии»[78], относящихся до России и стран, с нею сопредельных, на издание которого ревнитель русской географии Голубков пожертвовал значительную сумму денег. Наш вице-председатель М. Н. Муравьев во всякое время дня и ночи вызывал к себе то того, то другого из должностных лиц Географического общества для различного рода совещаний с ними. Но в особенности невыносимы были эти требования для секретаря общества А. К. Гирса, тем более что Муравьев жил очень близко от нас, на Загородном проспекте, и вызывал Гирса, заставляя его ждать по часам, не стесняясь временем. Муравьев жил в очень скромной обстановке, посреди которой мы его встречали сидящим в покойном кресле и курящим табак фабрики Жукова (в просторечии «жуковину») из длинной трубки. <...>

...приезд в деревню (в 1850 году) пробудил в моем сердце совершенно новый и притом отчетливо определившийся идеальный интерес. В нашем ближайшем соседстве (верстах в 12 от Подосинок) поселилась в этом году вдова также жившего на р. Ранове помещика Кареева со своей семнадцатилетней племянницею, которую, за неимением детей, Кареевы приняли, вместе с ее старшей сестрою, на свое попечение и воспитание, как родных детей. Племянницы эти были дочери почти бессменного Лебедянского уездного предводителя дворянства Чулкова и покойной сестры Екатерины Михайловны Кареевой, рожденной Сафоновой. Осиротев в самом раннем детстве, обе Чулковы выросли и расцвели в богатом поместье Кареевых, Зезюлине, на Ранове в двадцати верстах ниже Урусова. При своей жизни Кареев привязался к двум своим воспитанницам и племянницам горячо

любимой им жены, как к родным дочерям, и не щадил средств на их воспитание, происходившее под руководством умной и очень культурной тетки Е. М. Кареевой. Необыкновенно сильный и здоровый мужчина, бывший еще в цвете лет (около 45), Кареев, конечно, не ожидал ранней смерти, однако же, после сильно его огорчившей кончины старшей племянницы (в возрасте семнадцати лет) от наследственной, по-видимому, чахотки, он сосредоточил всю свою отеческую привязанность на младшей — Вере Александровне Чулковой и, желая обеспечить ее будущность, отправился в Москву для совершения духовного завещания в пользу жены и воспитанницы, которую желал усыновить с разрешения ее отца, имевшего детей от второго брака. Черновое духовное завещание было уже передано нотариусу, и на другой день Кареев должен был приехать к нему для его подписания, но накануне этого дня вечером он отправился в театр, где с ним сделался апоплексический удар, от которого он скончался на месте. Имение пошло законной наследнице, родной его сестре, вдове сенатора Ваценко, а Кареева должна была выехать из своего Зезюлина, в котором счастливо прожила 30 лет, и на полученную ею седьмую часть купила старое бунинское поместье — Гремячку, перешедшее в свое время к нашему родственнику Лобкову.

Я познакомился с Кареевой в первый год ее переселения в нашу местность (1850 г.) на вечере у соседей и по ее приглашению стал посещать ее. Семнадцатилетняя племянница произвела на меня чарующее впечатление как своими правильными чертами лица венецианского типа, так и своей идеальной скромностью и душевной чистотою. Посещения мои становились все чаще и чаще, и я скоро почувствовал, что встретил такую светлую личность, при сочувствии которой мой жизненный вопрос может быть разрешен без малейших колебаний и бесповоротно. Самоуверенности не было в моем характере, и я мог только заметить, что мои посещения доставляют ей удовольствие, что она со вниманием прислушивается к моим разговорам, обращаемым для видимости к ее воспитательнице, но, по существу, относящимся к ней. Развитие моего глубокого чувства шло так быстро, что я не в силах был противиться искушению участить свои поездки в Гремячку и тосковал в те дни, в которые не видался

с нею. Скромный флигелек, в котором временно поселилась Е. М. Кареева до окончания постройки нового комфортабельного дома, украшенный умом и приветливостью его хозяйки и озаренный светлой личностью и красотою ее племянницы, казался мне земным раем.

Быстро подкрадывалась осень. Дни становились короче, ночи темнее. Верная моя огромная ньюфаундлендская собака, Сбогар, при моем возвращении в Подосинки всегда шла впереди моего кабриолета, охраняя мою лошадь от волков, которых глаза сверкали в темноте, сопровождая нас издали.

Наконец наступило время моего возвращения в Петербург, где мне необходимо было получить степень магистра и вернуться к занятиям в Географическом обществе. Но я не мог оторваться от своих поездок в Гремячку без того, чтобы не создать себе каких-либо определенных планов относительно будущего. Один раз, когда я случайно остался наедине с В. А. Чулковою в саду, где она меня приняла по случаю сильной мигрени своей воспитательницы, я решился, несмотря на нашу обоюдную и невероятную застенчивость, спросить Веру Александровну, не составила ли она себе каких-либо представлений или идеалов о том, что ее ожидает в будущем и к чему бы она стремилась. Я надеялся, что по ее ответу я буду иметь возможность вывести какое-либо заключение о том, что происходит в ее душе. Но ответ ее был так скромен, и настроение ее имело вместе с тем такой грустный оттенок, как будто она никогда не сознавала, что она может производить чарующее впечатление, и как будто она ничего не ждала и не требовала от жизни. По отношению же ко мне она не обмолвилась ни одним словом, как будто не замечая всего того, чего, как мне казалось, я не в силах был скрыть от нее. Я подумал, что очаровательной девушке не минуло еще и 18 лет и что, может быть, при ее воспитании сердце ее еще совсем не пробудилось. Я не решился продолжать разговора и только впоследствии узнал, что со мною случилось то, что нередко происходит в подобных случаях: не договорились, не поняли своих взаимных чувств,— «а счастье было так возможно, так близко»...

Я уехал в Петербург через два дня после разговора, унося в своей душе образ той, которая первая вы-

вела меня на путь к доселе неведомому мною в жизни счастью.

В Петербурге я уже окончательно пришел к сознанию, что глубокое чувство мое к Вере Александровне Чулковой сделалось для меня вопросом «быть или не быть». Зима 1850—1851 годов прошла для меня довольно быстро: с одной стороны, я был занят окончанием и печатанием моей диссертации и ее защитою, а с другой — я усердно работал в Географическом обществе совместно с В. В. Григорьевым, известным ориенталистом, и с Н. В. Ханыковым, бывшим начальником Хорасанской экспедиции.

Поздней весною 1851 г., защитив свою диссертацию, я вырвался в деревню, где стал посещать Гремячку, сначала понемногу, а потом чаще, чем в предыдущем году, что не могло ускользнуть от внимания моих родных. Один раз одна из моих тетушек, жена моего родного дяди, Н. Н. Семенова, Любовь Андреевна, со свойственным ей прямодушием спросила меня, подумал ли я о том, что мои частые посещения Кареевых могут вскружить голову восемнадцатилетней достойной девушки в то время, как я не собираюсь на ней жениться, и сделать ее несчастною? На это я возразил с живостью, что если бы я имел счастье заметить, что она имеет ко мне те же чувства, какие я к ней имею, то я в тот же день предложил бы ей руку и сердце. Никто из моих родных не ожидал такой решимости со стороны двадцатичетырехлетнего юноши. Но умная Любовь Андреевна была ею тронута и выразила полное одобрение, как она выразилась, благородному образу моих мыслей.

Во всяком случае, не решаясь сделать брачное предложение восемнадцатилетней девушке, прежде чем быть уверенным в ее взаимности, я счел своим долгом поставить в известность великодушную и умную ее воспитательницу о моих намерениях при столь частых посещениях Гремячки, а вместе с тем узнать что-нибудь от нее о том, что происходит в душе ее воспитанницы.

На деликатно поставленный мною вопрос Екатерина Михайловна ответила, что племянница ее до встречи со мною ни о чем не думала, кроме своих уроков, но что с самого начала нашего знакомства впечатление, произведенное на нее, было так сильно, что она полюбила меня всей душою и после моего отъезда так

тосковала всю зиму, что можно было бояться за ее здоровье, и что хотя Е. М. Кареевой казалось, что я интересуюсь ее племянницею, но что никакого брачного предложения с моей стороны она не ожидала, потому что до нее доходили слухи о том, что мои родные будут противодействовать моему браку. На это я ответил, что, не имея ни отца, ни матери, я чувствую себя совершенно свободным, и что те из родных, которые действительно меня любят, полюбят и мою жену. Предстоявшее же затем объяснение с пылко любимою девушкой было для меня так ново, душевное волнение после разговора с ее воспитательницею так сильно, что я не решился в этот день окончить начатое и просил Екатерину Михайловну поговорить с В. А. Чулковою и приготовить для меня возможность объясниться с нею, обещая приехать затем через три дня.

При прощании Екатерина Михайловна просила меня не считать себя связанным моим объяснением с нею. Зачем я положил себе трехдневный срок, я сам не знаю, но эти три дня были для меня невыразимым мучением. Ни сна, ни покоя быть не могло. Окружающие не могли не заметить во мне сильной перемены, но, конечно, я никому не объяснил, в чем дело, и, наконец, дождавшись желанного дня, поехал, как всегда, в своем кабриолете с верным своим Сбогаром впереди. Екатерину Михайловну встретил я в нововыстроенном доме одну, так как Вера была в саду, и узнал от нее, что она ничего еще не сообщила племяннице, боясь взволновать ее преждевременно, тем более, что не считала меня связанным бывшим три дня тому назад разговором. Мне оставалось объяснить, что с моей стороны и в глубине моей души дело давно решено бесповоротно и что я промучился три дня для того, чтобы услышать наконец ответ любимой мною всей душою девушки. Екатерина Михайловна предложила мне идти в сад и самому объясниться с нею, но я был в таком душевном волнении, что в разговоре с восемнадцатилетней девушкою не мог бы связать и двух слов, и просил Екатерину Михайловну передать Вере причину моего приезда, а сам ожидал решения своей судьбы в средней комнате дома перед открытой дверью балкона. Ожидание было непродолжительно. Мимо меня быстро пробежала Вера, а за нею вошла и Екатерина Михайловна. Оказа-

лось, что Вера прошла в свою комнату для того, чтобы броситься на колена перед иконою Божией Матери с благодарственной мольбою Всевышнему за дарованное ей счастье, на которое она не смела надеяться. Я не успел еще спросить вошедшую в комнату Екатерину Михайловну о результатах ее переговоров, как Вера снова вбежала в комнату и, опустив голову, протянула мне руку. Я отважился слегка приподнять ее голову и прочел на ее раскрасневшемся лице такую улыбку счастья, какую я никогда не забуду. Дальнейшие объяснения были излишни. Передо мною был светлый, чистый образ моей любящей и беззаветно любимой невесты, и с начала моего сиротства этот день был первым счастливым днем моей жизни. Посещения Гремячки сделались уже ежедневными, но во избежание поздних осенних переездов в ненастную погоду Екатерина Михайловна недели через две просила меня переселиться к ним. Свадьба произошла глубокой осенью в церкви Подосинок, так как таково было желание моей тетушки Анны Александровны, любившей меня, как родного сына, и также, как я то и предвидел, полюбившей мою невесту. Свадьба совершилась по-деревенски, очень просто: присутствовали Екатерина Михайловна и Анна Александровна с дочерью Марьей Михайловною, почти сверстницею Веры; ни посаженых отцов, ни шаферов не было; венец над Верою держал ее родной дядя Василий Михайлович Сафонов, а надо мною — наш управляющий Яков Абрамович. Ни моего дяди, строившего тогда дом в Москве, ни моих двоюродных братьев, студентов, в Подосинках не было. Они уже уехали в свои учебные заведения. В Петербург я в эту зиму решился не ехать и провел ее так же, как и все следующее лето, в Гремячке. <...>

Годовое пребывание в деревне не осталось для меня без пользы. Оно послужило мне для изучения отношений, существовавших между помещиками и крепостными крестьянами в половине XIX века, тем более, что в 1848—1850 годах я еще более, чем в предыдущие годы, вращался в кругу родных и знакомых мне помещиков четырех губерний (Рязанской, Тамбовской, Тульской и Орловской). При этом изучении я убедился, что крепостное право, имевшее столь растлевающее влияние на всех крепостных, находившихся в непосредственной сфере влияния помещиков

(дворовых), имело не менее деморализующее влияние и на самих помещиков. Сколько из них, приезжая в деревню после кратковременной служебной деятельности в столицах, были одушевлены лучшими намерениями относительно своих нравственных обязанностей к поставленным судьбою в их зависимость крестьянам, и как скоро все эти намерения разбивались о неумолимую действительность, постепенно втягивавшую их в злоупотребления крепостным правом, вызываемые собственными выгодами, темпераментом, а иногда и разочарованием в возможности улучшить быт своих крестьян! И это происходило с лучшими людьми привилегированного сословия. Что же касается до худших, то помещичья жизнь при крепостном праве развивала в них самые дурные инстинкты, ничем не сдерживаемые. Так как в кружках местного дворянства того времени гуманные стремления еще не овладели общественным мнением, то лучшим людям из поместного дворянства оставалось применять свою отеческую заботливость к своим крепостным только втихомолку, так как такого рода деятельность не вызывала к себе сочувствия большинства. Само собою разумеется, что изверги, олицетворяющие собою все пороки и злодейства, были между помещиками редки, но если они существовали, то не встречали себе никакого ограничения, так как от крепостных не принималось никаких жалоб на помещиков. Только изредка слухи о неимоверной жестокости помещиков доходили до верховной власти. Так это случилось в 1850 году относительно князя и княгини Т., помещиков Орловской губ. Император Николай I приказал сделать строгое следствие об их поступках, и хотя губернский предводитель дворянства, двоюродный брат князя, В. М. Тютчев, усердно его отстаивал, и следствие шло вяло и тянулось года три, оно все-таки кончилось ссылкою обоих супругов в Сибирь, что произвело сильное впечатление, но вместе с тем и большое неудовольствие в дворянской среде, потому что многие чувствовали за собою подобные же проступки. В этот период времени не проходило года, в течение которого мы бы не слышали об убийстве кого-либо из помещиков своими крестьянами. Последнее из этих убийств близко мне знакомого помещика, свояка дяди моей жены, совершилось как раз в нашей местности.

Одного из наших дальних соседей кн. * взбунтовавшиеся крестьяне пощадили после переговоров с ним, ограничившись тем, что высекли его и взяли с него слово, что он не будет им мстить. К чести его необходимо сказать, что он не только сдержал свое княжеское слово, но и потом сделался одним из сторонников освобождения крестьян. У многих из помещиков того времени, не отличавшихся жестокостью, некоторые черты их помещичьей деятельности имели более забавный характер. Так один из близких мне помещиков не признавал никакой специальности в своих крепостных. По его теории каждый по его приказанию должен был быть на все способен. Поэтому иметь для себя повара он считал баловством, которое он допускал только для одних барынь. Сам же он говорил, что повар ему ни на что не нужен, потому что он, вставая поутру очень рано, отправлял на кухню первого встречного мальчика из пасущих скотину и заказывал ему обед. На ответ мальчика, что кушанья он готовить не умеет, он выкрикивал грозно: «Как ты смеешь мне грубить? Ступай сейчас на кухню и готовь суп, пирожки и котлеты». Мальчик отправлялся на кухню, находил жившую там судомойку и приготовлял под ее руководством все требуемое, а помещик за обедом выхвалял приготовленные кушанья, говоря: «Вот и пирожки, точно настоящие!» Действительно, пирожки имели очень отдаленное сходство с настоящими. Тот же помещик не признавал никакой специальности и в посуде. Всякая посуда, которую били обыкновенно в большом количестве, исполняла всевозможное назначение в разные времена дня. Костюмы его соответствовали также его убеждениям. На зимнюю одежду употреблялось им сукно его собственной фабрики, летняя же делалась из какой-то материи, покупаемой им по дешевой цене для завертыванья сукна. Из этой материи приготовлялась не только полная пара, но даже и фуражка, и помещик гордился тем, что весь его летний костюм обходился ему в 35 копеек, так как работа производилась первыми встречными крепостными по наряду и была даровая. Все это не было с его стороны скупостью, так как он не жалел денег ни на воспитание детей, ни на содержание своей семьи, давая своей жене ежемесячно достаточную сумму денег, и уже не вмешивался в ее расходы.

Другой помещик, уездный предводитель дворянства, имея прекрасный и обширный дом вблизи уездного города, жил очень широко, часто задавал пиры, на которые приглашал все уездное дворянство, высших городских чиновников и офицеров стоящего в городе полка. Он был страстный меломан и еще более страстный охотник и содержал свой собственный оркестр и свою охоту, т. е. от 15 до 20 конных охотников, в особых красивых охотничьих костюмах. Правда, что охотники и музыканты были одни и те же лица из крепостных людей, которые с раннего утра садились на коней и отправлялись с ним на охоту, а по вечерам собирались в оркестр музыки, для игры на соответствующих их обучению инструментах, в обеденное же время прислуживали за столом. Этот самый помещик, когда в его присутствии завязался спор о том, сколько часов должен человек спать в течение дня, прислушавшись к разным мнениям, сказал пресерьезно: «А я сплю ежедневно 8 часов, зато остальное время ничего не делаю — отдыхаю». И действительно, он не вмешивался в свое хозяйство, которое шло само собою, и был грозен только для своих дворовых охотников, музыкантов и лакеев. Вследствие того, что он ни во что не входил, чудные леса, бывшие в его имениях, продавались один за другим, и дело к эпохе освобождения крестьян кончилось полным разорением. Из многочисленного его семейства сыновья его, из которых старший был дирижером оркестра, спились и погибли. Дочери вышли замуж, одна из них сделалась массажисткою, а другая, будучи замужем за юнкером стоявшего вблизи кавалерийского полка, вышедшим в отставку, пробила себе жизненный путь упорным трудом при помощи мужа.

Предшественником этого предводителя дворянства, жившим зажиточным помещиком в том же уезде, был совершенно иного и не столь безвредного типа, некто Х. Он давал в своем имении другого рода пиры, для одних мужчин своего уезда. На пирах этих гости, после обеда с обильными винными возлияниями, выходили в сад, где на пьедесталах были расставлены живые статуи из крепостных девушек, предлагаемых гостеприимным хозяином гостям на выбор. Многие, конечно, не одобряли такой натуральной повинности и не приезжали на его приглашения, но так как они составляли меньшинство, то другого протеста против

такого ужасного злоупотребления крепостным правом в его среде не было, кроме одного того, что его уже не выбрали предводителем на второе трехлетие, заменив вакансию другим, пиры которого были более приличны и доступны для дамского общества. При всем том никакого сознания в необходимости отмены крепостного права в поместном дворянстве тогда почти еще не было.

Осенью 1852 года мы переехали в Петербург, а Екатерина Михайловна еще осталась одна в деревне для своих хозяйственных распоряжений с тем, чтобы приехать к нам только зимою.

Наняли мы удобную квартиру на Загородном проспекте, близко от моих друзей Гирсов и Константина Карловича Грота; я возвратился в лоно Географического общества на прежнюю должность секретаря отделения физической географии. Но в мое отсутствие в обществе уже произошли значительные перемены. Терпение доброго и кроткого Александра Карловича Гирса не выдержало невыносимых сношений с вице-председателем общества, и он вышел из секретарей, а заменил его талантливый, но очень честолюбивый Яков Владимирович Ханыков. Должность казначея исполнял с конца 1852 года Константин Карлович Грот, деятельно помогавший Николаю Алексеевичу Милютину (назначенному уже в то время директором хозяйственного департамента Министерства внутренних дел), в осуществлении проведенной Милютиным реформы городского управления в Петербурге. Впрочем, уже к весне 1853 г. Я. В. Ханыков и К. К. Грот покинули Петербург, так как первый был назначен Оренбургским, а второй — Самарским губернаторами. Ханыкова, в должности секретаря общества, заменил талантливый адъюнкт-профессор С.-Петербургского университета Владимир Алексеевич Милютин, с которым я очень подружился.

Озабочиваясь положением будущей своей семьи, я решался уже вступить на службу в Министерство внутренних дел, а именно в хозяйственный департамент, куда меня привлекала личность и живая деятельность Николая Алексеевича Милютина, но прежде чем принять на себя какие бы то ни было служебные обязанности, не подавая просьбы о вступлении на службу, я просил Милютина дать мне какое-нибудь дело из его департамента для ознакомления с его делопроизводством.

При назначении Николая Алексеевича Милютина директором департамента один из его коллег, старый директор Оржевский, поздравляя его и выражая свое удовольствие по поводу назначения такого умного и талантливого человека, выразил ему свое мнение об отношениях высших чиновников к делам в следующей форме: «Ты очень умен и способен, но я скажу тебе из моего многолетнего опыта, что у нас в департаментах есть дела, которые умнее тебя». На вопрос Милютина о свойствах таких дел Оржевский отвечал: «Да, умнее, потому что, будь ты хоть семи пядей во лбу и как ни верти иное дело, а все-таки его разрешить не сможешь. А ты положи его под сукно и вынь из-под него через полгода, да наведи справки и увидишь, что оно само собою разрешилось». Вот такое-то дело и дал мне Николай Алексеевич Милютин. Дело это, уже длившееся десятки лет, относилось до пользования соляными озерами в Крыму. Изучив его, я убедился, что при данных обстоятельствах оно было совершенно неразрешимо, но составил краткую записку, в которой изложил все существо и все главные обстоятельства дела. Запискою этой Милютин остался доволен, но приглашение его поступить в его департамент прямо на штатную должность дошло до меня уже слишком поздно, так как мои обстоятельства совершенно изменились.

Уже 7 ноября 1852 г., месяца через два после приезда в Петербург, родился у меня сын. Когда я пригласил протоиерея Владимирской церкви прочесть молитву над новорожденным, то он спросил меня, какое я хочу дать ему имя. Признавая, что имена даются людям для того, чтобы различать последних, а не для того, чтобы их смешивать, я желал дать своему первенцу такое имя, которое никогда не встречалось в нашей фамилии и притом было бы славянским: я избрал имя Вадима, на что священник спросил меня, где я нашел такого святого. Я ответил, что в святцах и даже в календаре и что Вадим, насколько мне известно, был одним из первых славян в Киеве, обратившихся в христианство и принявших венец мученичества за православную веру. Протоиерей ответил мне: «Какой это святой? Самый пустой». На мой вопрос, каких же святых протоиерей не считает пустыми, он назвал в виде примера Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Дмитрия Ро-

стовского. Услышав это последнее имя, я остановился на нем, потому что в нашей семье его не было; к тому же это имя было бы особенно приятно будущей крестной матери моего сына Екатерине Михайловне Кареевой, мужа которой, воспитавшего мою жену, как родную дочь, звали Дмитрием.

Крестины были отложены до приезда крестной матери, т. е. на целый месяц. К этому времени жена моя, по-видимому, совершенно поправилась и даже была в полном блеске своей очаровательной красоты, но, несмотря на все предосторожности, в ней стала развиваться та наследственная болезнь, которая унесла в могилу ее мать и сестру, что начало обнаруживаться уже после нового (1853) года. Заметив некоторые тревожные симптомы, я решился, не откладывая, консультировать самого знаменитого медика того времени по болезням дыхательных органов Шапулинского. Я поехал к нему и, не застав его дома, узнал, что его можно видеть только рано утром. В тревоге я не спал всю ночь, приехал на другой день поутру слишком рано и, не имея терпения ожидать на квартире, пока доктор встанет, ходил взад и вперед по улице до назначенного часа. Шапулинский приехал к нам в тот же день, выслушал легкие Веры и объявил, что у моей жены развивается скоротечная чахотка. Как громом был я поражен этим страшным приговором, не зная, что придумать для ее спасения.

Когда же на другой день я поднялся на своей постели, то почувствовал, что не только не мог произнести ни слова, но даже совсем не мог разжать своих челюстей, между тем руки мои были совершенно свободны, и я мог только написать о том, что не могу говорить. Послали за докторами и за священником. Священник пришел со св. дарами, и на вопрос его, желаю ли я причаститься, я ответил утвердительно движением головы; священник уже приготовился причастить меня без исповеди, так как я не мог произнести ни одного слова. При всех, однако, усилиях разжать мой рот при помощи рук и даже ножа это мне не удалось. Священник прождал напрасно целый час и наконец удалился. Приехали и доктора, давно знакомые нашей семье: городской — Марголиус, деревенский наш знакомый — Бензингер и наконец впоследствии знаменитый специалист по дыхательным органам, д-р Здекауер[79]. Через несколько часов вла-

дение словом постепенно и медленно возвратилось, но появилось страшное повышение температуры. Доктора объявили, что у меня тифозная горячка с воспалением в мозгу. Припадки болезни были ужасны: я вскакивал с постели и хотел бежать по комнате, но меня удерживали со всех сторон. Тогда я начинал, стоя на постели, вертеться вокруг своей оси и затем падал в изнеможении. Когда мне случайно удавалось прорвать окружающую меня цепь не пускавших меня и выбежать из комнаты, я забивался в угол, где меня уже оставляли, и вертелся до тех пор, пока в изнеможении не падал. Всего ужаснее было для меня то, что я все время помнил то, что делаю, но удержать себя от своих движений не мог. Тайная мысль во время припадка была — выбежать в гостиную с тем, чтобы броситься в угловое окно, от чего меня, однако, удерживало размышление, что так как мы жили во втором этаже, то я не убьюсь, а произведу только скандал на улице. Гораздо более привлекала меня мысль забраться в свой кабинет, который был за гостиною, найти там лежавшую в столе бритву и ею зарезаться. Но кабинет мой был заперт, и проникнуть в него мне не удалось. Чувствуя приближение припадка, я несколько раз просил связать мне руки и ноги простынею, что и делалось по усиленной моей просьбе, но опыт не удавался: уже в начале припадка я все разрывал. Когда между окружавшими мою постель появлялась Екатерина Михайловна, то, бросившись к ней, я приходил в себя и уже не старался вырваться из своей постели; нечего и говорить о том, что появление моей милой любимой Веры меня также совершенно успокаивало, но к этому средству прибегали редко, чтобы не усиливать ее болезни. Ночевала она в спальне Екатерины Михайловны за перегородкою, не доходившею до потолка. Один раз ночью я почувствовал приближение припадка. Сестра милосердия, измученная усталостью, заснула, сидя в кресле; я пробежал мимо нее так, что она не успела помешать мне отворить дверь, и выбежал из моей комнаты. Она побежала за мною и успела только запереть дверь, ведущую из этой спальни в девичью, я же, сам не зная как, перескочил через высокую перегородку, очутившись перед спавшею тихим сном моей милой Верою, стал перед ней на колена и совершенно пришел в себя. Болезнь продолжалась без малейшего

улучшения около четырех недель; во все это время я не принимал никакой твердой пищи и поддерживаем был только питьем. Наконец наступил кризис со страшным ослаблением. Испытаны были всевозможные средства, и последнее время пользовавшие меня медики старались поддерживать жизнь мою приемом мускуса[80]. Приехал по обыкновению Здекауер и объявил, что делать ему более нечего, что спасения нет никакого и что я не проживу более трех дней. <...>

Того же мнения был и д-р Бензингер. Только Марголиус, знавший меня еще в детские годы (он был старым другом моего дяди Василия Николаевича), сказал Екатерине Михайловне, что он просит ее разрешить ему попробовать самое последнее средство. Это была очень теплая ванна со льдом на голове, тем самым льдом, которым меня страшно мучали в самом начале моей болезни и которого я уже не выносил. Марголиус предупредил, что я могу умереть в этой ванне, но что средство это единственное и последнее... Написали об этом Здекауеру, чтобы спросить его разрешения. Он ответил, что, по его мнению, я не выйду живым из ванны, но что препятствия к этому опыту он не встречает, потому что более двух, трех дней я прожить не могу, но если затем, после испытания этого последнего и героического средства, я останусь в живых, то рассудок мой едва ли возвратится. Екатерина Михайловна, однако же, разрешила д-ру Марголиусу испытать его последнее средство. Так как двигаться самостоятельно я уже не мог, то меня с большим трудом посадили в ванну и, по истечении определенного срока, вынули из нее и положили на постель, по-видимому, совершенно лишившегося жизни. Что, однако же, было самым ужасным для меня, это то, что я не потерял сознания, несмотря на полную невозможность обнаружить какие бы то ни было признаки жизни, и размышлял о том, есть ли то состояние, в котором я находился, жизнь или смерть? Не видел я ничего, да и не мог ни открыть глаз, ни сделать какого бы то ни было движения. Слух мой, однако, остался во всей своей тонкости. Через посредство его я почувствовал, что доктор вошел в комнату, приблизился к моей постели и, приложив ухо к моему сердцу, долго прислушивался, сомневаясь в том, что я жив. Напрасно я хотел заявить ему чем-нибудь о своем существовании,— ни малейшего движения сделать не мог.

Время его выслушивания казалось мне очень продолжительным, но к разрешению вопроса о том, жить мне или не жить, я относился совершенно спокойно. Смерти я не страшился. Единственное мое желание, если бы я мог его формулировать, состояло в том, чтобы быть в одном мире с моей милой Верою. Наконец я почувствовал, что д-р Марголиус встал, отошел от меня и сказал кому-то (то была Екатерина Михайловна): «Он жив, и теперь я надеюсь на его выздоровление».

Надежда и радость водворились в нашем доме. На другой день я уже обнаруживал признаки движения и мог видеть окружающих и прежде всего милый и дорогой образ моей жены, которая, несмотря на свою слабость, каждый день с тех пор приходила сидеть у моего изголовья. Понемногу явился и аппетит, развивавшийся с каждым днем все сильнее и сильнее. На четвертый день я попросил, чтобы мне принесли моего сына, и с радостью увидел своего тогда еще очень слабого ребенка. Под влиянием того доверия, которое я получил к доктору Марголиусу, возвратилась ко мне и надежда на выздоровление моей милой Веры, и полное нравственное успокоение, и нормальное состояние умственных способностей. Марголиус оказался не только отличным физиологом, но и умным психологом. С необыкновенным искусством воспользовался он моим доверием для полного восстановления моего здоровья. Он понял, что для моего выздоровления необходимо было прежде всего отвлечь мои мысли от того, что произвело мою болезнь, возбудив во мне надежду на выздоровление жены, и направить мою деятельность на что-нибудь практическое. Он сказал мне, что положение моей милой жены очень серьезно, но не безнадежно, и что единственное средство ее спасти — это поехать немедленно за границу. Светлые надежды наполнили мою душу; нервы мои совершенно успокоились, и только один раз ночью в самом начале моего выздоровления произошла со мною галлюцинация: я ясно слышал шуршание обуви и увидел в раннем утреннем петербургском полумраке подходящую к моей постели женскую фигуру в белой одежде; она тихо склонилась над моим изголовьем и как будто благословила меня, а затем исчезла.

Выздоровление мое шло быстро. Добрая подруга моего горестного детства, моя сестра Н. П. Грот, во

весь период моей болезни посещала меня почти каждый день и разъезжала по городу только для исполнения маленьких прихотей больного. Как только доктор позволил мне выезжать, я направился в Министерство внутренних дел для того, чтобы выхлопотать себе и жене заграничный паспорт, что было в то время сопряжено с большими затруднениями, но при помощи добрых друзей в министерстве все сделалось очень скоро. Вся эта лихорадочная деятельность, сопряженная с приготовлениями к отъезду за границу, способствовала, как это предвидел Марголиус, моему полному выздоровлению.

Однако все возбужденные моими радостными, радужными надеждами хлопоты были напрасны. Жизнь милой Веры быстро угасала, и напрасно я ждал день за днем такого поправления ее здоровья, которое сделало бы возможным наш отъезд за границу. Наступил роковой день. Она скончалась тихо и спокойно, призвав ночью к своей постели всех, на ком сосредоточивалась ее любовь: свою воспитательницу, которую любила как родную мать, меня и своего дорогого ребенка, благословила всех нас и с небесной улыбкою на устах отошла в лучший мир, чтобы сделаться там ангелом-хранителем любимых ею.

Кончина любимой жены все-таки для меня была неожиданна, так как я свыкся с надеждою на ее столь же чудесное выздоровление, какое выпало на мою долю. Жизнь моя казалась мне совершенно разбитою, но физически, после своей тяжкой болезни, я чувствовал в себе полный возврат сил. Добрый Марголиус подсказал мне единственный выход из моего тяжелого положения. По его мнению, я должен был воспользоваться заграничным паспортом для того, чтобы восстановить свои силы в лучшем климате, вдали от тех мест, которые будут напоминать мне мое утраченное счастье. Екатерина Михайловна с великодушным самоотвержением настояла на исполнении этого совета, говоря, что ее могут развлечь и утешить заботы об осиротевшем ребенке, которого она возьмет к себе в деревню. Александр Карлович Гирс взялся обменять мой семейный заграничный паспорт на паспорт одинокого, и через шесть недель после кончины моей милой Веры я уже был на пароходе, отправлявшемся из Петербурга в Любек.<...>

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ АХШАРУМОВ

(1823—1910)

До конца своих дней Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов сохранил простодушие, непосредственность и какое-то удивительное жизнелюбие. В глубокой старости он писал В. И. Семевскому: «Хотелось бы еще пожить, меня многое интересует в жизни, очень многое»[1]. Простодушием и непосредственностью он был наделен от природы, но совершенно особая, исключительная любовь к жизни пришла к нему в тот страшный морозный день 22 декабря 1849 г., когда он и его товарищи, участники кружка М. В. Петрашевского, приговоренные к казни, были выведены на Семеновский плац в Петербурге. О том, что пережили и что чувствовали они в те минуты, когда стояли перед наскоро сколоченным для них эшафотом, одетые в белые балахоны смертников, кроме Ахшарумова, не рассказал никто. На этом воспоминании лежал какой-то внутренний запрет; оно было за пределами того, к чему, без нравственного ущерба для человека, может обратиться его мысль. Рассказав о приготовлении к смертной казни, Ахшарумов совершил человеческий и гражданский подвиг, а вместе с тем преодолел власть над собой этого страшного, как ночной кошмар, воспоминания.

Хотя ему, как и его товарищам, по распоряжению Николая I, в последнюю минуту была дарована жизнь, Ахшарумов ни тогда, ни в последующие годы не изменил своего отношения к самодержцу, не испытал к нему благодарности. Много лет спустя, уже в конце 80-х годов, он, услышав обрывок какого-то разговора о Николае I, с необыкновенным жаром во-

---

[1] Цит. по кн.: Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний. Вступ. ст. В. И. Семевского. Спб., 1905. С. XXV.

скликнул: «Это был ужасный человек!» Так было всегда: впечатления прошлого словно не тускнели для него.

Возвратив ему жизнь, судьба щедро осыпала его и другими дарами: она научила Дмитрия Дмитриевича относиться с сокровенным трепетом к каждому проявлению бытия, а впридачу дала ему то, что К. Батюшков в одном из своих замечательных прозрений назвал «памятью сердца». Поэтому, вызывая в своем воображении прошлое, Ахшарумов видел его так ярко и ощущал так живо, что мог записывать «дела минувших дней» во всех их подробностях, как бы с натуры. Благодаря необычайной теплоте чувства и точности памяти мир в воспоминаниях Ахшарумова не одноцветен, а многокрасочен и ярок. И это в равной мере относится ко всему, о чем он пишет,— будь то арестантские роты, Семеновский плац или тараканы в одиночной камере Петропавловской крепости.

Конечно, особой живостью чувств, восприимчивостью и впечатлительностью Ахшарумов обладал с детства. Но эти черты необычайно усилились и обострились в нем после того, что с ним произошло.

Дмитрий Дмитриевич был сыном генерал-майора Дмитрия Ивановича Ахшарумова, участника войн с Наполеоном и автора первого систематического «Описания Отечественной войны 1812 г.» (Спб., 1819).

Дмитрий Дмитриевич рос так, как обыкновенно росли в ту пору дворянские дети: учился «чему-нибудь и как-нибудь», явно предпочитал занятиям шумные игры с братьями Николаем и Владимиром (будущими литераторами), не скрывая нетерпения, ждал минуты, когда кончатся постылые уроки, а по вечерам любил слушать сказки и, закрыв глаза, переносился в богатый и яркий мир фантазии.

Как будто бы ничто не предвещало в Ахшарумове человека исключительного. Но что-то, словно нарастая, зрело в наблюдательном мальчике, который рано начал замечать в родительском доме странное, как ему казалось, отношение к крепостным людям. Его впервые пронзило безотчетное чувство неравенства между людьми, и, не понимая еще причин этого неравенства, он дал себе слово быть со всеми одинаковым, ибо по простоте душевной считал иное поведение не-

справедливым и даже неприличным. Урок несправедливости, вынесенный из отчего дома, он усвоил на всю жизнь и впоследствии лишь усовершенствовал свои познания об этом предмете, внутренний же протест его против неравенства и многие годы спустя остался таким же, как в детстве,— сильным, эмоциональным и ничем не замутненным. Лишь тогда, когда он научился доводить до конца, до логического завершения каждую мысль, рассматривая ее с разных сторон и заставляя себя не отступать перед решением самых сложных вопросов ни из робости, ни из страха,— лишь тогда пришел он к убеждению, что преодолеть несовершенное устройство человеческого общества может лишь фаланстера Фурье.

Но это произошло не скоро, уже после того, как Ахшарумов, окончив гимназию, поступил на факультет восточных языков Петербургского университета. В выборе факультета сказалась мечтательность, свойственная ему с детства: служебная деятельность в департаменте не манила Дмитрия Дмитриевича, его влекла к себе привольная жизнь где-нибудь далеко на юго-востоке, среди роскошной природы, согретой жаркими лучами полуденного солнца.

Из университета Ахшарумов вынес знание арабского, персидского, турецкого и немецкого языков. В 1847 г., успешно окончив университет, он определился в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, полагая вскоре осуществить план своего далекого путешествия.

Быть может, все случилось бы именно так, как задумал Ахшарумов, но жизнь его внезапно и круто изменилась: 23 апреля 1849 г. он был арестован, доставлен в Петропавловскую крепость и заключен в одиночную камеру.

Аресту предшествовали обстоятельства, в которых как будто не было ничего рокового. Еще в гимназии Ахшарумов познакомился с Ипполитом Дебу; потом он провел с ним три года в университете, где знакомство перешло в дружбу, точнее, в братство, какое возникает между молодыми людьми, связанными общностью мыслей, взглядов и более всего — накалом гражданских чувств.

Хотя Дмитрий Дмитриевич и утверждал на следствии, что только по выходе из университета впервые взял в руки «социальную» книгу, это было совсем не

так. Уже в 1845 г. он вместе с Ипполитом Дебу читал Фурье и горячо обсуждал возможности социального переустройства общества. Фурье не то чтобы изменил взгляды Ахшарумова или усилил свойственный ему политический радикализм, но привел в систему его мысли, а главное, дал ощущение фундамента, почвы под ногами, вселил в него уверенность в том, что он идет по правильному пути.

Своими крамольными мыслями он мог делиться в ту пору только с Ипполитом Дебу. Но мыслям было тесно, и кое-что он заносил в свою записную книжку. В 1848 г. в ней появилась запись: «...жизнь, как она идет теперь, слишком тяжела, обременительна, исполнена всякого рода неприятностями и гадостями, чтобы кто-нибудь не чувствовал тяжести ее; все богачи и нищие, образованный и невежда равно тяготятся ею... Все это томленье, все, что мы поневоле терпим каждый день, происходит от того, что человек соединился в слишком огромном множестве для устроения общественного своего блага. <...> Чтоб это все уничтожить, есть средство одно — *фаланстер Фурье...»*[1]

Найденная во время обыска записная книжка Ахшарумова стала одной из главных улик обвинения.

В декабре 1848 г. Ипполит Дебу ввел Ахшарумова в кружок М. В. Петрашевского. Человек простодушный, Дмитрий Дмитриевич был доверчив и быстро сближался с людьми. В кружке он обрел единомышленников и, что еще важнее, аудиторию, которой мог, не таясь, излагать свои взгляды. 7 апреля 1849 г., когда члены кружка собрались на обеде в память Фурье, Ахшарумов произнес прочувствованную речь, полную веры в будущее: «И рухнет, и развалится все это дряхлое, громадное вековое здание, и многих задавит оно при разрушении и из нас, но жизнь оживет и люди будут жить богато, раздольно и весело»[2].

Уже второй раз при Николае I возникал «заговор идей». Первыми были декабристы. К петрашевцам император также не желал проявлять снисходи-

---

[1] Цит. по ст.: Семевский В. И. Петрашевцы. Кружок Кашкина. Д. Д. Ахшарумов и А. И. Европеус // Голос минувшего, 1916, № 3. С. 59—60.

[2] Цит. по ст.: Ветринский Ч. Д. Д. Ахшарумов // Вестник Европы, 1910, № 5. С. 322.

тельности. Заговорщики должны были быть истреблены, так, чтобы даже семя крамолы никогда более не падало на русскую почву.

Ахшарумов провел в одиночной камере Петропавловской крепости долгие, показавшиеся ему бесконечными, восемь месяцев. Общительный Дмитрий Дмитриевич так страдал от одиночества, что радовался даже тараканам, которые охотно сползались к брошенным для них узником хлебным крошкам.

В крепости он много раз переписывал свое стихотворение «Европа в 1845 году», начатое им еще на воле три года назад и навеянное чтением Фурье. От раза к разу оно становилось все мрачнее:

Земля, несчастная земля,—
Мир стонов, жалоб и мученья!
На ней вся жизнь под гнетом зла,
И всюду плач — со дня рожденья...

Не выдержав пытки одиночеством, Ахшарумов обратился к Николаю I с письмом, в котором просил о помиловании. Горькое унижение ни к чему не привело, и он вспоминал об этом поступке с мучительным стыдом, не покидавшим его до конца дней.

Своих товарищей он увидел только перед казнью — перед вечной разлукой, как думали они тогда. И они действительно расстались: одних отправила на каторгу рука, избавившая их от смерти, других она же определила в арестантские роты. К последним «избранникам» принадлежал и Ахшарумов.

Он должен был провести четыре года в арестантских ротах инженерного ведомства в Херсоне, но дело ограничилось полутора годами и уже в 1851 г. Ахшарумова перевели рядовым на Кавказ, в Малую Чечню, в 7-й линейный батальон, стоявший близ Владикавказа (ныне Орджоникидзе). Никогда не обладая большой физической силой, Дмитрий Дмитриевич был человеком смелым и мужественным. Он участвовал во всех боевых действиях и экспедициях своего батальона и, хотя после Семеновского плаца особенно ценил жизнь, никогда не прятался за спины товарищей, но и не подставлял безрассудно свою голову под пули, не искал смерти, как искал ее когда-то А. А. Бестужев-Марлинский.

В конце 1854 г. Ахшарумов был произведен в унтер-офицеры, спустя два года — в прапорщики. Так

как военная карьера никогда не привлекала его, он в 1857 г. вышел в отставку и, словно оборвав все связи с прошлой жизнью, поступил на медицинский факультет Дерптского университета. Жизнь давно развеяла его мечты, связанные с факультетом восточных языков. К прежнему возвращаться он не хотел и, избрав медицину, думал лишь о практическом деле, которое даст ему возможность приносить вполне конкретную и осязаемую пользу обществу и облегчать страдания ближних. Проучившись год в Дерпте, он добился разрешения перейти в Петербургскую медико-хирургическую академию. Он занимался с искренним рвением, стараясь наверстать упущенное, нагнать годы, насильственно вырванные из его жизни. В 1862 г. Ахшарумов закончил академию с серебряной медалью. Вчерашнему студенту было 39 лет.

После двух лет практической деятельности он совершенствовал свои знания в Берлинском, Парижском, Венском и Пражском университетах. Живое стремление учиться, идти в ногу со временем не покидало его до конца дней.

Ч. Ветринский рассказывал, как однажды спросил Ахшарумова, чего бы ему более всего хотелось. Семидесятилетний старик мгновенно встрепенулся и, не задумываясь, ответил: «Я в Берлин поехал бы — поусовершенствоваться!» Впрочем, такая возможность никогда более ему не представлялась: безграничный интерес к науке сдерживался его весьма и весьма ограниченными средствами.

Все находило в живой душе Ахшарумова отклик: и дела друзей, и жалобы больных, и особенно — политические события. Минувшее не оставило в нем страха, не подорвало доверия к людям; и в старости он был простосердечен, чист душой и готов сложить голову за благо отечества.

В ранней молодости он сказал: «Готов на все, даже если б потребовалась жизнь моя» [1]. Прошло более полувека. Как-то во время революции 1905 г. Дмитрий Дмитриевич услыхал об уличных боях в Москве. Он пришел в необычайное возбуждение, вскочил с кресла и стал звать жену: «Эмилия, слышите? Там дерут-

[1] «Дело петрашевцев». М.; Л, 1951. Т. 3. С. 142.

ся! Собирайтесь, я еду, я хочу идти на баррикады!» Этому неугомонному старику было 83 года.

И все-таки мечтательный идеализм молодости в зрелые годы несколько поутих в Ахшарумове. Занятия практической медициной направили его по пути «малых дел», в которых он сумел добиться значительных успехов. В 1866 г. Ахшарумов защитил диссертацию на степень доктора медицины. Он ездил по городам и весям, служил в Петербурге, Одессе, Херсоне, Каменец-Подольске. В 1873 г. судьба забросила его в Полтаву, где он провел почти десять лет, занимая должность губернского врачебного инспектора. Впервые за долгие годы он зажил спокойной оседлой жизнью, окруженный вниманием коллег и любовью горожан, которым всегда помогал словом, делом, советом. Круг его интересов был широк и разнообразен: он занимался практической медициной, санитарно-гигиеническими проблемами, эпидемиологией; читал лекции и опубликовал несколько медицинских трудов, получивших признание в России и за границей. Здесь же, в Полтаве, он вернулся к работе над своими записками, начатой еще в 1870 г. В марте 1885 г. были завершены главы, посвященные кружку петрашевцев, аресту, следствию и суду. После того как он вышел в отставку (1882 г.), работа пошла быстрее. Первые главы Ахшарумов передал в журнал «Русская старина» и нетерпеливо ждал их появления в печати. Однако срок публикации то и дело отодвигался, а в 1887 г. эти главы были вырезаны цензурой из сверстанного уже журнала.

За два года до этих событий Дмитрий Дмитриевич пережил тяжелое горе — умерла его первая жена. Он был в глубокой депрессии и даже потянулся было к мистицизму, вообще совершенно чуждому его природе. Поэтому эпизод с публикацией воспоминаний прошел для него почти незамеченным, не стал потрясением. Но писать он опять перестал и некоторое время к запискам не возвращался.

Смерть жены разрушила привычный, казавшийся таким прочным и надежным уклад жизни. Через три года он уехал из Полтавы в Ригу, где учился в политехникуме его единственный сын. Одиночество угнетало Ахшарумова, и к тому времени он женился на бывшей воспитательнице сына Эмилии Германовне, жившей в их доме еще при первой жене его. Немного

успокоившись и окрепнув, Дмитрий Дмитриевич вернулся к прежним своим занятиям: читал в Риге лекции по истории эпидемий, издал книгу «Проституция и ее регламентация» (Рига, 1888), в которой горячо высказывался за ликвидацию публичных домов.

«Здоровье... плохо,— писал он В. И. Семевскому,— но все же не теряю надежды, бодрюсь, сколько могу, лечу себя и делаю все, что в моей власти, чтобы уберечь силы и продлить жизнь, которая кажется мне с более старыми годами еще более интересною» [1].

Жизнь, как в молодые годы, бросала Ахшарумова с места на место: он старался быть ближе к сыну. Но сил на переезды уже не было. Вместе с женой он пробовал обосноваться в Петербурге, но сырой климат и дороговизна столичной жизни заставили их вернуться в Полтаву.

И потекла в Полтаве жизнь, внешне похожая на прежнюю, но на самом деле уже совсем иная. Уже надвинулась старость с бедами и болезнями. Лишь один светлый луч озарил последние годы Ахшарумова — в конце 1901 г. журнал «Вестник Европы» напечатал наконец часть его воспоминаний, запрещенную цензурой четыре года назад. Но еще до этого, летом того же года, Дмитрий Дмитриевич, уступив настояниям полтавских знакомых, читал им свои воспоминания. «Я сначала уклонялся,— сообщал он Ч. Ветринскому,— но потом уступил общему желанию. Чтение состоялось у меня на квартире — было человек 45, большею частию статистики земства, много дам, много бывших сосланных...» [2] На одном из этих чтений был В. Г. Короленко, которому старый петрашевец внушил чувство глубокой симпатии.

Последние годы жизни Ахшарумов работал над продолжением своих воспоминаний; они были полностью опубликованы отдельной книгой при его жизни, в 1905 г.

«Воспоминания Ахшарумова,— писал Ч. Ветринский,— будут читаться еще долго, не только потому, что это — редкий и замечательный исторический документ. Читая незлобивое описание заключения в Петропавловской крепости, с невольным чувством удив-

[1] Цит. по кн.: Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний // Вступ. ст. В. И. Семевского. С. XXVII.
[2] Ветринский Ч. Д. Д. Ахшарумов. С. 327.

ления и почтения останавливаешься перед силою лучших сторон души человеческой, которая способна строить снова и снова здание любви к жизни и людям на развалинах, произведенных жесточайшей несправедливостью...»[1]

ЛИТЕРАТУРА

Ветринский Ч. Д. Д. Ахшарумов // Вестник Европы, 1910, № 5.

Сосновский М. Д. Д. Ахшарумов // Русское богатство, 1910, № 2.

Семевский В. И. Петрашевцы. Кружок Кашкина. Д. Д. Ахшарумов и А. И. Европеус // Голос минувшего, 1916, № 3.

Дело петрашевцев. Т. 3. М.; Л., 1951.

[1] Ветринский Ч. Д. Д. Ахшарумов. С. 323.

ЗАПИСКИ ПЕТРАШЕВЦА

АРЕСТ

Жизнь моя текла мирно и покойно до двадцатипятилетнего возраста, когда я был в один день по обстоятельствам, почти от меня не зависевшим, лишен свободы и заключен безвыходно в одинокое жилище, отделенное изнутри толстою, окованною железом дверью и снаружи железною решеткою у окна. Это было в Петербурге в 1849 г., в конце апреля, когда начинали зеленеть деревья [1].

Я помню этот день: поздно вечером стемнело, я ехал от Цепного моста в карете, не зная, куда меня везут. Мосты на Неве были разведены, и объезд был долгий. Я был в легкой одежде теплого весеннего дня, и мне было свежо, жутко и тяжело на душе.

После продолжительной езды через Васильевский остров, Тучков мост и Петербургскую сторону карета въехала в крепость и остановилась.

Было совершенно темно. В сопровождении двух человек я переходил какой-то мостик и за ним темные своды; потом введен был в коридор полуосвещенный; в коридоре передо мною отворилась толстая дверь в боковую темную комнату — мне предложили в нее войти: темнота, спертый воздух, неизвестность, куда я вошел, произвели на меня потрясающее впечатление; я попросил свечку.

Желание мое было исполнено сейчас же, и я увидел себя в маленькой, узкой комнате без мебели — у стены стояла кровать, накрытая одеялом серого солдатского сукна, табуретка и ящик. Затем мне предложено было раздеться совершенно и надеть длинную рубашку из грубого подкладочного холста и из такого же холста сшитые высокие, выше колен, чулки. Мне указали на туфли и на халат из серого сукна. Платье мое и все вещи, бывшие на мне, были у меня взяты. По просьбе моей оставлена была у меня только моя холодная шинель. Затем зажжена была на окне какая-то светильня, висящая с края глиняного блюдечка; свеча унесена, дверь захлопнулась на ключ, и я остался один в полумраке, в изумлении и в страхе от того, что со мной случилось. Я сидел на кровати, смотря на тяжелую дверь, в которой несколько секунд

еще ворочался ключ, запиравший меня, потом слышны были шаги уходивших людей и гремевшая связка больших ключей.

Смутное чувство убийственной тоски, мрачные, зловещие предчувствия овладели мной — мне казалось, я стою на пороге конца моей жизни; несколько минут я был без мысли, как бы ошеломленный ударом в голову.

Опомнившись несколько, я стал осматриваться, но обстановка вся была столь мала и отвратительна, что я вновь погрузился в свои мысли.

«Неужели это и конец моей жизни?» — думал я.

Причина, подвергшая меня заключению, была мне известна: я был в то время совершенный юноша, несмотря на мой 25-летний возраст, мечтающий, увлекающийся, исполненный горячих и несбыточных желаний, то болезненно оживленный, то так же быстро падающий духом. На душе не было угрызения совести, ни преступления. Мысли убийства, насилия были мне вовсе незнакомы; я смотрел на жизнь с своей идеальной точки зрения и вовсе не знал, не умел различать людей, а в размышлениях моих стремился найти истинный путь ко всеобщему благу человечества — и вот, как государственный преступник, за эти помышления мои был я обвинен и заключен в каземат.

В голове моей толпились различные мысли и чувства: невозможность оправдаться, строгость закона, страх заключения и слухи, распространенные в народе об ужасах жизни в сырых, холодных казематах — все это вместе слилось в смутное ощущение, объявшее меня внезапно. Я осматривал в потемках жилище мое, и виденное мною поражало меня своей мрачной пустотой. Халат, на мне надетый, был заношенный, местами изорванный, из солдатского серого сукна.

В комнате было одно большое окно. Вдвинув ноги в широкие старые туфли, я встал с кровати, на которой неловко было сидеть,— я скатывался с нее. Мысли перебивались в голове; то осматривал я жилище, то стоял вновь в раздумье. Боковую часть стены, справа от двери, составляла печь, затапливающаяся снаружи — из коридора; вид печи был мне утешителен. Моя шинель была единственным остатком от жизни моей, кроме моего собственного тела. Я сбросил с себя на пол грязный халат и надел мою шинель. Подойдя к окну, я был поражен видом мрачного све-

тильника моей комнаты: это был какой-то черепок в виде плошки, с края которой висел кончик светильни; застывшая сальная масса наполняла его. Не зная, куда приютиться,— и в мыслях моих и в жилище моем,— я заплакал и стал молиться; несколько минут стоял на коленях и горько плакал, опустившись на пол.

Воздух душен и холоден, на мне шинель и серый дырявый халат, подо мной что-то жесткое, неровное и подушка нечистая, туго набитая соломой. Ночь, полумрак, тишина, но они не располагают к отдыху: измученный тяжелыми впечатлениями того дня, я лежу, не двигаясь, меня страшно клонит ко сну, и я засыпаю, но вскоре просыпаюсь от большой чувствительности в щеке и в виске, прижатых жесткою, бугристою подушкою; переворачиваюсь на другой бок — и та же самая боль на другой стороне головы по истечении короткого времени пробуждает меня снова; я ложусь на спину и опять скоро просыпаюсь от боли в затылке. Так, мучаясь, по временам сползая на край кровати, я беспрестанно засыпал крепким сном и опять просыпался, чтобы переменить положение; не раз подкладывал я руки то под голову, то под щеку — так провел я ночь без отдыха, в тревожном сне, с болью головы и лица. Кроме того, я зябнул: погода, бывшая теплою, 23 апреля вдруг переменилась в суровую стужу. Но вот рассветает, по временам слышатся какие-то громкие хождения в коридоре за дверью.

Когда я увидел при дневном свете мое новое жилище, глазам моим предстала маленькая грязная комната: она была узкая, длиною метров в 5 или менее, шириною метра 3, с высоким потолком; стены, оштукатуренные известью, давно потерявшей свой белый цвет. Они были повсюду испачканы пальцем человека, не имевшего бумаги для обыкновенного употребления. С одной стороны было окно, очень большое (сравнительно с величиною комнаты), с мелкими клетками стекол, закрашенное все, до верхнего ряда, белою пожелтевшею масляною краскою. Верхний ряд стекол один только был не закрашен и оканчивался с правой стороны форткою величиною с $^3/_4$ листа писчей бумаги. За окном была железная решетка. С противоположной окну стороны — дверь массивная, окованная железом, и большое грязное зеркало изразцовой печи, затапливающейся снаружи.

В комнате, кроме кровати, были столик, табуретка и ящик с крышкой; на площадке окна стояла кружка и догоревшая уже плошка.

Таково было новое мое жилище, в котором я был заперт безвыходно.

Осмотревшись немного, я стал на большую площадку окна, но при малом моем росте не мог достать глазом незакрашенный верхний ряд стекол, который оканчивался с правой стороны форткою; я отворил фортку; свежий воздух пахнул на меня и мне принес как бы что-то родное. Я вдохнул его, упился им полной грудью и еще более почувствовал желание взглянуть в окно, но и поднявшись на цыпочки сколько было сил, я не мог увидеть ничего; я подскочил — перед глазами моими мелькнуло что-то вроде двора. Нельзя ли подставить что-либо под ноги?

На площадке окна, где я стоял, была упомянутая деревянная кружка с крышкою вроде кадочки; на донышке ее было немного воды, мне показалась она чистою, и я выпил ее, потом снова влез на окно, стал на крышку запертой кружки и увидел дворик небольшой, треугольной формы. Против меня, шагах в 40, стоял фас крепостной стены, замыкавший дворик, у самого окна ходил часовой с ружьем. Мне было холодно и так уже; всю ночь укрывался я чем мог; погода была свежая, из окна дул ветер, и я скоро промерз, что заставило меня сойти с окна.

Новые предметы — обстановка, окружавшая меня и поразившая меня своей неприглядностью — были только отвлечением от смутных предчувствий и мрачных мыслей, которые преследовали меня и ночью в беспрестанно сменявшихся коротких сновидениях.

Со мною вместе одновременно взято было много других [2],— я видел мельком их почти всех; мне живо представлялась картина вчерашнего ареста: 23 апреля часов около 10 утра в карете я был привезен в III Отделение, что было у Цепного моста; меня вели по многим комнатам, в которых я видел других арестованных знакомых мне лиц, и между ними стояли часовые с ружьями. В особенности поразила меня большая зала своим многолюдством: арестованные стояли кругом, а между ними часовые, слышен был говор и по временам стучанье прикладом о пол при разговоре (так приказано было).

Меня привели наконец в маленькую комнату, где я нашел двух мне знакомых товарищей. Затем граф Орлов[3], мужчина высокого роста с маленькой головой, бледным лицом, сопутствуемый немногими, обходил все комнаты. Один из чиновников нес за ним список, по которому поименно представляем был ему каждый из нас. При представлении ему одного из нас — г-на Белецкого[4] — он спросил: «Вы — учитель кадетского корпуса?» — и, получив утвердительный ответ, он сказал: «Прекрасный учитель, отведите его в особую комнату». Меня это поразило, тем более, что Белецкий ни разу, сколько мне известно, не был на собраниях Петрашевского, и я считал его вовсе непричастным к возникшему делу. (Он и был впоследствии по суду оправдан.)

В III Отделении нас угощали обедом, чаем и сигарами, но никому охоты не было вкушать чего-либо. Между прочим подходили к нам служащие в отделении чиновники и, как бы с участием относясь к нам, заявляли, что они состоят на службе в другом отделении, но за недостатком места комнаты их отделения были заняты для помещения арестованных.

В этот же день сделалось нам всем известным, что список, который носим был при обходе Орловым, начинался словами: «А...— агент наряженного дела»[5]. Впоследствии, в бытность мою на Кавказе, узнал я, что П. И. Белецкий, о котором только что было упомянуто, по выходе своем из Петропавловской крепости встретил А... на Адмиралтейском бульваре и, будучи им приветствован как знакомый, по своему горячему характеру вскипев гневом, ударил его в лицо и указал на него прохожим как на доносчика, за что и был вновь арестован и сослан на жительство в Вологду.

Арестованы мы были почти все в пятницу, в ночь с 22 на 23 апреля, сейчас по расхождении с собрания Петрашевского, часу в 4 ночи, когда все уже были по домам и спали; я же не всегда бывал у Петрашевского и в эту пятницу не был, а по весеннему времени ночевал за городом и потому арестован был утром 23 апреля. В этот самый день погода изменилась и сделалась холодной. 23 апреля поздно ночью нас отвезли всех в крепость.

События этого дня мелькали в голове моей, и я погружен был в мрачную думу. Многие из взятых,— го-

ворил я сам себе,— будут оправданы и освобождены, но мне не оправдаться: уж слишком много найдется улик, в сущности ничтожных, ничем меня не порочащих, но по тогдашним взглядам считавшихся тяжеловесными и вполне достаточными для обвинения меня в государственном преступлении. Это было время сороковых годов, когда вполне законными признавались крепостное право, закрытый суд без присяжных, телесное наказание, и всякий разговор об уничтожении рабства и введении лучших порядков считался нарушением основных законов государства.

Так, думая, я то стоял, то садился на табуретку за стол или на кровать, то подходил к окну или двери, не зная куда приютиться в моем новом жилище, а мрачные мысли толпились в голове. «Нет мне спасения,— думал я,— так и многим моим товарищам».

В особенности горько мне было за судьбу двух мне близких друзей, которых я любил и уважал,— это двух братьев Дебу и в особенности Ипполита Дебу, с которым был очень дружен; затем вспоминались мне и прочие пострадавшие со мною вместе товарищи, и я не мог заглушить в себе досаду на Петрашевского[6] и не упрекнуть его в случившемся с нами несчастье.

Последнее время уже возникали во мне все более опасения вверять себя стольким незнакомым лицам, бывшим у него, но мы все имели же полное право рассчитывать, что Петрашевский, как человек весьма умный, очень осмотрителен в выборе своих посетителей, а между тем вот что случилось. Но, погубив всех нас, ведь он и сам погиб, а потому и ставить ему это в вину было с моей стороны недостойно и малодушно.

Мне вспомнилось тоже, что Петрашевский имел уже некоторые сомнения в личности А... На предпоследнем собрании, 15 апреля, он отозвал меня в сторону и спросил: «Скажите, вас звал к себе А?..» Я ответил, что звал, но я не пойду, так как его вовсе не знаю. «Я и хотел предупредить вас,— сказал он мне,— чтобы вы к нему не ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это? Я не имею к нему доверия».

От воспоминаний этих переходил я к мысли о моем настоящем положении: как быть, что делать? Как

теперь жить — в сей день — в моем новом жилище? Ужели мне долго придется оставаться в нем? Как скверно, как холодно, как грязно.

Я забыл упомянуть при описании комнаты, что в середине двери было маленькое, величиною в $^1/_8$ долю листа бумаги отверстие, в которое вставлено было стекло. Снаружи, со стороны коридора, оно было завешено темной тряпкой, которую сторожу можно было поднимать и видеть, что делает арестованный. Мне было очень холодно, и я попробовал постучать: послышались шаги, и тряпка сейчас же поднялась; показалось смотрящее на меня чье-то лицо. «Чего стучишь?» — спрашивало оно меня. «Надо затопить печь, очень холодно, затопите печь». Ответа не последовало, тряпка опустилась, и все оставалось по-прежнему.

Прошло некоторое время, когда послышались в коридоре шаги, беготня и звон связки ключей. Я слышал, как втыкались в двери других келий ключи и они отворялись, и шествие это производилось подряд во все отдельные помещения. Вот и до меня очень скоро дошла очередь. Ключ всунут был не вдруг, казалось, ошибкой не тот, потом щелкнула крепкая пружина замка, дверь отворилась настежь; в нее вошел толстый старый генерал в сопровождении двух офицеров и служителей.

— Что вы? Как живете, все ли благополучно? Все ли имеете? Я — комендант крепости. (Это был генерал Набоков.)

— Мне очень холодно, прикажите затопить печь,— ответил я.

Тогда отдано было с гневом приказание затопить немедленно печи везде, «чтобы не жаловались более на холод». С этими словами он вышел со своей свитой, и я остался вновь один, запертый на ключ. Таково было быстрое посещение генерала!

А другие все нужды? Все ли я имею? У меня ничего нет! Ни воды, ни пищи, я не умывшись с утра... Но кружка стоит для воды, стало быть, полагается вода и, вероятно, подадут какую-нибудь пищу.

Через несколько времени все вновь утихло, и затем вскоре вновь раздались хождения с отмыканием дверей; и вот растворилась и моя дверь, и в комнату мою быстрыми шагами вошел солдат с посудой и, поставив ее на стол, ни слова не сказав, поспешно вы-

шел, и дверь захлопнулась на ключ. Наверху посуды лежал большой кусок черного хлеба, а под ним была миска с супом, и в нем лежали куски говядины. Несмотря на голод, я съел несколько супа и хлеба, до мяса же не прикоснулся. Причина тому отчасти лежала в предыдущей моей жизни: уже более трех лет, как я оставил привычку есть мясо, желая по убеждению моему сделаться вегетарианцем.

При таком особенном моем отношении к выбору пищи тюремный обед, поставленный передо мною на стол, пришелся мне очень не по вкусу, но я был голоден, и черный хлеб мне был очень приятен. Через полчаса вновь вошел солдат и за ним дежурный офицер, которого я настойчиво просил приказать подать мне сейчас воды в количестве, достаточном для питья и для умывания, а также я заявил и о необходимой надобности в полотенце. Кружка, стоявшая у меня на окне пустою, была схвачена служителем и, наполненная водой, принесена обратно. Затем без лишних слов все исчезли, приняв остатки обеда, кроме черного хлеба, который был в достаточном количестве и оставлен был мною у себя; затем я снова был накрепко захлопнут в моем жилище. Полотенце было обещано в будущем.

Оставшись один, я стал умываться с помощью рта и вытерся рукавом рубашки. Вскоре затем заметил я, что в комнате стало теплее, и, приложив руку к печной стене, я убедился, что она нагревается. Итак, я имею все, что нужно, хозяева тюрьмы дали мне все, что они могли — я сыт, умыт, одет и согрет.

* * *

Так началась и потекла моя жизнь в тюрьме; дни сменялись днями; каждый день по однообразию и безделью казался чрезвычайно долгим, недоживаемым до вечера; недели текли за неделями и месяцы, к ужасу моему, стали сменяться месяцами. Ежедневно первое время, а потом два-три раза отворялась дверь, ставилась и принималась пища; черный хлеб стал моей любимой пищей, и его было у меня всегда достаточно. В первое время я настойчиво требовал большего против обыкновенно приносимого количества воды для мытья и питья, но после это делалось уже и без моего докучливого напоминания; полотенце было мне

дано тоже. Белье из грубого подкладочного холста, старое, состоявшее из длинной рубахи и чулок выше колен в виде мешков, подвязывающихся тесемками, сменяемо было каждую неделю.

Однообразно текла моя жизнь при монотонном переливе колокольного звона каждые четверть часа на колокольне Петропавловского собора. По временам, однако же, это однообразие тюремной жизни и жестокая темничная тоска были нарушаемы чем-нибудь выходящим из ряда обыкновенного течения, и всякое подобное, хотя бы и незначительное обстоятельство, освежало и развлекало меня. Но главное, что желал бы я описать и разъяснить, это — мучительное душевное болезненное состояние безвыходно и долго одиночно заключенного, чувство жестокой темничной тоски, мрачные мысли, преследовавшие меня безотвязно, и по временам упадок сил до потери голоса и изнеможения. Я дни и ночи говорил сам с собою и, не получая ниоткуда впечатлений извне, вращался в самом себе, в кругу своих болезненных представлений.

КРУЖОК ПЕТРАШЕВСКОГО

Я тогда только что окончил курс в Петербургском университете кандидатом восточных языков. Несмотря на окончание курса в высшем учебном заведении и уже вполне зрелый возраст, я был очень мало развит в понимании самых простых и обыкновенных для жизни вещей.

По природе своей я ненавидел зло, к людям был очень доверчив и очень скоро сближался с ними. Любил трудиться и составлять выписки из серьезных общеобразовательных сочинений, но, не имея средств, большую часть их покупал на толкучем рынке и много времени проводил в его книжных рядах.

Апраксин двор в былое время вмещал в себе особый отдел — ряды огромного склада книг самого разнообразного содержания. Гонения на букинистов затрудняли это дело, а пожар, бывший позже, окончательно разрушил этот драгоценный книжный склад. Там находил я разнообразнейшие книги и, заплатив за них безделицу, как сокровище, нес к себе домой.

Произведения знаменитых поэтов, как русских, так и иностранных, были для меня самым лучшим чтением — я восхищался ими, бредил ими и, находясь вне

занятий, дома и по улицам города твердил их. Английский и итальянский языки мне были почти незнакомы, и я старался изучать их, и с помощью лексикона и грамматики перекладывал на русский язык песни Петрарки на смерть Лауры.

Летом со страстью занимался я ботаникой и зоологией. Медицинские книги привлекали меня тоже.

Астрономия Гершеля [7] была прочтена мною с большим любопытством. Языкознание и сравнительное изучение языков казалось мне весьма интересным; кроме европейских языков, я был знаком с языками латинским, греческим, арабским, персидским и турецким. По временам предавался я чтению исторических монографий какого-либо периода времени, и история Востока занимала меня не менее истории европейских народов. С жадностью стремился я приобретать себе познания по всем отраслям наук (кроме философии, политической экономии и математики, которые в то время казались мне слишком утомительными).

События 1848 г., происходившие в Италии, Франции и Германии, сильно интересовали меня. Социальное учение Фурье, сочинение его «Le nouveau monde industriel» *, также различные брошюры последователей его Консидерана [8], Туссенеля и других и популярнейшие журналы того времени «Almanach phalanstérien» ** и более ученый «Phalange» *** увлекали меня нередко до того, что я забывал все прочее. Большие сочинения Фурье «Theorie des quatre mouvements» и «Theorie de l'unite universele» **** — были по временам просматриваемы мной, но по дороговизне я не мог их приобрести.

В это время жизнь моя носилась в каких-то идеальных мечтаниях, отчего и избран был мною факультет восточных языков, чтобы уехать куда-то на дальний юго-восток. Петербург же со всем его разнообразием жизни и множеством общественных развлечений, которыми я не имел ни малейшего желания пользоваться, казался мне ничтожеством в сравнении с привольной жизнью среди южной природы.

---

* «Новый промышленный мир» *(фр.)*.

** «Альманах фаланстеры» *(фр.)*.

*** «Фаланга» *(фр.)*.

**** «Теория четырех движений» и «Теория всемирного единства» *(фр.)*.

Таков я был, когда от меня потребовалось в жизни первое серьезное испытание совершенно иного рода, чем те, которые выдержал я в университете. Дело жизни в ее разнообразных проявлениях есть высшая школа человека. Высокая доблесть терпеть и безропотно, молчаливо и стойко переносить лишения всякого рода никому не дается сразу, но приобретается, вырабатывается более или менее продолжительным опытом как в общественной среде, так и в отдельных личностях. Никто не сведущ достаточно в великой науке жизни, и только трудом, терпением и опытностью немногими приобретается мудрость — потому столько ошибок жизни, сожалений и упреков, которые людьми понимаются очень различно.

В чем же тогда состояла моя вина и за что был я так внезапно схвачен как преступник и посажен в крепость? Всякое деяние человека может быть оценено различно, смотря по периоду времени, строю жизни, общественной среде и месту, где оно совершается. То, что в 1849 г. вменялось нам в вину и за что после восьмимесячного одиночного заключения полевым уголовным судом мы были приговорены к смертной казни расстрелянием, в настоящее время показалось бы маловажным и не заслуживающим никакого преследования: у нас не было никакого организованного общества, никаких общих планов действия, но раз в неделю у Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно все одни и те же люди; иные бывали на этих вечерах, другие приходили редко, и всегда можно было видеть новых людей.

Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось громко обо всем без всякого стеснения. Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение вроде лекции: Ястржембский [9] читал о политической экономии, Данилевский — о системе Фурье. В одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю [10] по случаю выхода его «Писем к друзьям». Белинского избавила только болезнь и преждевременная смерть от общей с нами участи.

Для порядка и предупреждения шума от одновременных разговоров и споров многих лиц Петрашев-

ский поручал кому-либо из гостей наблюдать за порядком в качестве председателя. На собраниях этих не вырабатывались никогда никакие определенные проекты или заговоры, но были высказываемы осуждения существующего порядка [11], насмешки, сожаления о настоящем нашем положении.

Что было бы впоследствии, конечно, неизвестно. Если и предположить, что по истечении многих годов могло бы образоваться общество, имеющее целью ниспровержение существующего государственного строя, к которому примкнули бы, может быть, весьма многие, то во всяком случае можно почти наверно сказать, что по новости и совершенной неопытности ведения такого дела действия его были бы в раннем периоде обнаружены и дальнейшее его развитие остановлено правительством. Наш кружок, выражавший собою современные общечеловеческие стремления, был одним из естественных передовых явлений в жизни народа и, несомненно, оставил по себе некоторые следы.

Число арестованных, явно прикосновенных к этому делу, хотя и казалось незначительным,— оно доходило до ста [12], может быть, и превышало это число,— но мы не были какими-либо выродками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, мы были произведения образованного класса земли русской — эндатические растения страны, в которой мы рождены, а потому и оставшихся на свободе людей одинакового с нами образа мыслей, нам сочувствовавших, без сомнения, надо было считать не сотнями, а тысячами.

Наш маленький кружок, сосредоточившийся вокруг Петрашевского в конце сороковых годов, носил в себе зерно всех реформ шестидесятых годов.

Вечера Петрашевского по содержанию разговоров, касавшихся преимущественно социально-политических вопросов, представляли большой интерес для нас и потому, что они были единственными в своем роде в Петербурге. Собрания эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, часов до двух или трех, и кончались скромным ужином.

Знакомство, собственно, мое с Петрашевским началось с весны 1848 г. Он был человек лет 34, среднего роста, полный собою, весьма крепкого сложения, брюнет, на одежду свою он обращал мало внимания, волосы его были часто в беспорядке, небольшая бород-

ка, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, несколько прищуренные, как бы проникали вдаль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный; он говорил голосом низким и негромким, разговор его был всегда серьезный, часто с насмешливым тоном; во взоре более всего выражались глубокая вдумчивость, презрение и едкая насмешка.

Это был человек сильной души, крепкой воли, много трудившийся над самообразованием, всегда углубленный в чтение новых сочинений и неустанно деятельный. Он воспитывался первоначально в лицее, но по своему резкому поведению был оттуда исключен, после чего поступил вольнослушателем в Петербургский университет по юридическому факультету и, окончив курс, состоял на службе при Министерстве иностранных дел.

Он имел большую библиотеку новейших сочинений, преимущественно по части истории, политической экономии и социальных наук, и охотно делился ею не только со всеми старыми своими приятелями, но и с людьми ему мало знакомыми, но которые казались ему порядочными, и делал это по убеждению для общественной пользы. Он говорил мне, что в течение около 8 лет много людей перебывало у него и разъехалось в разные города России и преимущественно в университетские. Он давал читать всем просившим его и снабжал уезжающих книгами, которые, по его усмотрению, были полезны для умственного развития общества.

Вовсе не интересуясь общественными увеселениями, он бывал повсюду: в клубах, дворянских собраниях, маскарадах с единственной целью заводить знакомства для узнания и выбора людей. Утро проводил он большей частью в чтении книг и в составлении какого-либо им намеченного труда. Плодом таких занятий был известный в свое время напечатанный им словарь употребительных в русской речи иностранных слов, в котором разъяснялись в особенности подробно слова, обозначающие известные формы государственного управления [13]. Таков был Михаил Васильевич Петрашевский, окончивший жизнь свою 8 декабря 1867 г. в Минусинске, Енисейской губернии.

О прочих участниках нашего дела я не могу сказать ничего по малому моему знакомству с ними. Мы

все, кажется, жили, не помышляя о нашем единении, которое только и произошло после претерпенного нами общего несчастья.

Иногда некоторые из участвовавших в собраниях Петрашевского собирались у Н. С. Кашкина. Таких было немного, и определенных дней для того не было. Собирались также у К. М. Дебу люди, близко друг другу знакомые. Свой особенный кружок, сколько мне известно, с особым направлением составлял Спешнев, как бы соперничая с Петрашевским и некоторое время готовый устраниться от него, но Петрашевский, видя в этом ослабление общего дела, сумел предупредить такое разъединение.

Кроме этих известных мне кружков, вероятно, были и другие [14], и образованием таких кружков имелись в виду пропаганда и распространение в обществе правильных понятий о настоящем нашем положении. Некоторые из нас вносили деньги, кто сколько мог, на общую библиотеку для выписки новейших сочинений по различным отраслям знаний, причем вовсе не имелись в виду одни запрещенные какие-либо цензурой книги, но вообще в этом отношении разницы не делалось никакой.

Все мы вообще были то, что теперь называют либералами, но общественного союза в каком-либо определенном направлении между нами не было, и мысли наши хотя выражались словами в разговорах и ими иногда пачкались наедине клочки бумаги, но в действие они никогда не приходили. Между нами было несколько человек, называвшихся фурьеристами. Так назывались мы потому, что восхищались сочинениями Фурье и в его системе, в осуществлении его проекта организованного труда видели спасение человечества от всяких зол, бедствий и напрасных революций.

7 апреля этого года (1849), в день рождения Фурье, был у нас устроен в память его banquet sociale *. Обед был на квартире А. И. Европеуса [15], портрет Фурье в настоящую величину, по пояс, выписанный из Парижа к этому дню, висел на стене; нас было 11 человек — Петрашевский, Спешнев, Европеус, Кашкин, Конст. Дебу, И. Дебу, Ханыков [16], Ващенко [17], меньшой брат Европеуса [18], Есаков [19] и я. Обед был очень ожив-

* Общественный банкет *(фр.)*.

лен и приятен для всех; сказано было три речи: Петрашевским, Ханыковым и мною. Н. С. Кашкиным прочтено было в русском переводе стихотворение Beranger «Les fous» *, И. М. Дебу предложено было перевести на русский язык более доступное для всех сочинение Фурье «La nouveau monde industriel» **, которое, принесенное им, было тут же разделено на части, и каждый взял себе часть для перевода. <...>

Вот в чем состояла вина так называемых ныне петрашевцев, или апрелистов, как я слышал это название от некоторых случайно встреченных людей на Кавказе и в России, и впервые от графа Лорис-Меликова [20] во время проезда его через Сунженскую станицу с пленником Хаджи-Муратом [21], тогда бывшим в чине полковника при корпусном штабе.

В действительности, однако же, ни то, ни другое из вышеприведенных названий не соответствовало разнообразию кружков сходившихся людей в доме Петрашевского. Более подходящим для нас было бы название «русских социалистов» 1849 года, в смысле тогдашнего идеального направления различных социальных учений во Франции.

Наше возбужденное, как бы протестующее состояние и было настоящим отголоском событий, совершившихся в Европе в 1848 году.

Между прочим, находясь в ссылке и даже позже, я неоднократно слышал престранные о нас мнения, высказываемые мне при встрече разными лицами, что заставляет меня полагать, что какие-то злонамеренные люди с умыслом распускали о нас самые нелепые и позорящие нас в народе слухи, быть может, с той целью, чтобы уничтожить всякое к нам сожаление и восстановить против нас общественное мнение. Так, например, говорили, что кружок Петрашевского состоял из «безбожников», не признававших ничего святого, что будто бы в пятницу на страстной неделе мы кощунствовали над плащаницею [22] в доме Петрашевского, и тому подобные нелепости.

Люди, нас судившие или близко нас знавшие, были не менее, чем мы, удивлены этими слухами. Источником их, без сомнения, могли быть только полное незнание или черная клевета.

---

* Беранже «Безумцы» *(фр.)*.

** «Новый промышленный мир» *(фр.)*.

Воспоминания мои увлекли меня далеко за пределы тюрьмы, но мысли мои тогда беспрестанно возвращались к этим, предшествовавшим заключению дням; то думал я о невинности нашей, в отдельности для каждого, то вспоминалась мне моя семья: братья, сестра, старушка тетка, которые были напуганы ночью и глубоко огорчены моим внезапно совершившимся арестом. Мне вспоминались они вместе собравшимися, горюющими о случившемся, оплакивающими меня как погибшего, навсегда исчезнувшего из нашего родного кружка.

Я плакал тихо, но горько; разлука с ними, независимо от всего остального, казалась мне великим горем, и прежняя свободная жизнь моя казалась мне идеалом счастья, потерянным раем.

Не один я, однако же, подавлен был до слез приступами жестокой тоски — по временам то с одной, то с другой от меня стороны слышен был плач в кельях заключенных.

Промучившись еще день, не зная, куда приютиться, то становился я на окно, то ходил взад и вперед в моей клетке без всяких занятий; вращаясь все в одном и том же кругу моих безотвязных мыслей, ничем не перебиваемых, дожил я до вечера; одиночество, безделье, томление мучили меня. Нередко садился я и на пол и, сидя на коленях, закрывая лицо обеими руками, я громко сетовал и плакал, затем, поспешно вставая, вскакивал на окно; минутно упиваясь воздухом у фортки, сходил с окна, шел к двери, садился на кровать, на табуретку и опять лез на окно. Так метался я, запертый в тесном жилище. Снова были слышны хождения, звон ключей, отворялась дверь, приносима и принимаема была безмолвным солдатом пища.

Наступила вторая ночь, и на окне моем зажглась снова сальная плошка. Она издавала особый запах с копотью, и вид ее был мне противен; я подошел к окну и задул ее. Замученный, я лег на кровать; спать хотелось, и я заснул, но от жесткой подушки на покатом тюфяке я беспрестанно просыпался и переменял положение. Так прошло не знаю сколько времени, как в коридоре послышались движение и разговор у моей двери. Потом я услышал стук в окно двери и слова, обращенные ко мне: «Зачем потушили

огонь?» Я ничего не отвечал и старался забыться и заснуть, но в скором времени, однако же, я услышал звон ключей у моей двери; дверь отворилась, и вошли дежурный крепостной офицер и сторож — мне выговаривали за потушение светильни и нарушение заведенного порядка. Плошка была снова зажжена, и я остался один. <...>

Уже рассвело; замазанное окно закрывало меня от всего живущего. Вот третий день как я один, и все грознее встают одни и те же мысли. На душе так же душно, как и в комнате. Я отворил форточку — повеяло чистым воздухом, встал на кружку и уткнулся носом в открытое окно. Передо мной был крепостной вал и пустой дворик, где не было никого. Чистый весенний воздух пахнул мне в лицо. Я стоял так несколько минут, как вдруг услышал стук сзади меня; я обернулся и увидел, что в окошке двери тряпка поднята и сторож стучит пальцем в стекло и, смотря на меня, кричит: «Сойдите с окна!» В сердце как бы кольнуло что-то; медленно сошел я с окна.

Надо же мне умыться, хоть насколько возможно, от грязи, меня окружающей, и вот я моюсь, набирая в рот воды, наклонившись над упомянутым ящиком, мою лицо и руки, боюсь проронить напрасно каждую каплю воды, которой у меня было мало. Но вот умылся. Что же я буду делать в настоящий день? Как доживу я до вечера? И сколько дней еще придется сидеть взаперти?!

Вопрос этот с первого же дня беспрестанно возникал во мне, и я по простоте души в соображении моем разрешал его очень наивно: через две недели, конечно, разъяснится уже все дело. Но как прожить эти две недели?! А затем начинался другой, еще более трудно разрешимый вопрос: «А после этого заключения что будет с нами?!» Вопрос этот был безответен, но предчувствия были зловещи и давали повод к различным мрачным мыслям.

НА ЭШАФОТЕ

Декабрь месяц был совершенно бесцветен и не был прерываем никакими новыми освещающими или отягчающими впечатлениями. Все выгоды, какие можно было извлечь из новой местности моего помещения, были уже исчерпаны мной. Более нельзя было выду-

мать, и оставалось ожидать происшествия чего-либо снаружи, извне в мою тюремную гробницу, где я пропадал с тоски и терял, казалось мне, мои последние жизненные силы.

Сиденье мое перешло уже на восьмой месяц, томление и упадок духа были чрезвычайные, занятия не шли вовсе, я не мог более оживлять себя ничем, перестал говорить сам с собою, как-то машинально двигался по комнате или лежал на кровати в апатии. По временам являлись приступы тоски невыносимые, и чаще и дольше прежнего сидел я на полу. Сон был тревожный, сновидения все в том же печальном кругу и с кошмарами.

Так дожито было до 22 декабря 1849 г. В этот день, как во все прочие дни, проведя ночь беспокойно до света, часов в шесть я поднялся с постели и по установившемуся уже давно разумному обычаю инстинктивно направился к окну, стал на подоконник, отворил фортку, дышал свежим воздухом, а вместе с тем и воспринимал впечатления погоды нового дня. И в этот день я был в таком же упадке духа, как и во все прочие дни.

Было еще темно, на колокольне Петропавловского собора прозвучали переливы колоколов и за ними бой часов, возвестивший половину седьмого. Вскоре разглядел я, что земля покрыта была новым выпавшим снегом. Послышались какие-то голоса, и сторожа, казалось, чем-то были озабочены. Заметив что-то новое, я дольше остался на окне и все более замечал какое-то происходящее необыкновенное движение туда и сюда и разговоры спешивших крепостных служителей. При виде такого небывалого еще никогда явления в крепости, несмотря на упадок духа, я вдруг оживился; любопытство и внимание ко всему происходившему возрастали с каждой минутой.

Вдруг вижу: из-за собора выезжают кареты — одна, две, три...— и все едут и едут без конца и устанавливаются вблизи белого дома и за собором. Потом глазам моим предстало еще новое зрелище: выезжал многочисленный отряд конницы, эскадроны жандармов следовали один за другим и устанавливались около карет.

«Что бы это все значило? Уж не похороны ли снова какие? Но для чего же пустые кареты? Уж не настало ли окончание нашего дела?»

Сердце забилось.

Да, конечно, эти кареты приехали за нами!.. Неужели конец?! Вот и дождался я последнего дня! С 22 апреля по 22 декабря, 8 месяцев сидел я взаперти. А теперь что будет?!

Вот служители в серых шинелях несут какие-то платья, перекинутые через плечи; они идут скоро вслед за офицером, направляясь к нашему коридору. Слышно, как они вошли в коридор; зазвенели связки ключей, и стали отворяться кельи заключенных.

И до меня дошла очередь; вошел один из знакомых офицеров с служителем; мне принесено было мое платье, в котором я был взят, и, кроме того, теплые, толстые чулки. Мне сказано, чтобы я оделся и надел чулки, так как погода морозная.

— Для чего это? Куда нас повезут? Окончено наше дело? — спрашивал я его, на что мне дан был ответ уклончивый и короткий при торопливости уйти.

Я оделся скоро. Чулки были толстые, и я едва мог натянуть сапоги. Вскоре передо мной отворилась дверь, и я вышел. Из коридора я выведен был на крыльцо, к которому подъехала сейчас же карета, и мне предложено было в нее сесть. Когда я вошел, то вместе со мной влез в карету и солдат в серой шинели и сел рядом — карета была двухместная.

Мы двинулись, колеса скрипели, катясь по глубокому, морозом стянутому снегу. Оконные стекла кареты были подняты и сильно замерзшие, видеть через них нельзя было ничего. Была какая-то остановка: вероятно, поджидались остальные кареты. Затем началось общее и скорое движение.

Мы ехали. Я ногтем отскабливал замерзший слой влаги от стекла и смотрел секундами — оно тускнело сейчас же.

— Куда мы едем, ты не знаешь? — спросил я.

— Не могу знать,— отвечал мой сосед.

— А где же мы едем теперь? Кажется, выехали на Выборгскую?

Он что-то пробормотал. Я усердно дышал на стекло, отчего удавалось минутно увидеть кое-что из окна. Так ехали мы несколько минут, переехали Неву.

Мы ехали по Воскресенскому проспекту, повернули на Кирочную и на Знаменскую. Здесь опустил я быстро и с большим усилием оконное стекло. Сосед мой не обнаружил при этом ничего неприязненного,

и я с полминуты полюбовался давно не виданной мной картиной пробуждающейся в ясное зимнее утро столицы. Прохожие шли и останавливались, увидев перед собою небывалое зрелище — быстрый поезд экипажей, окруженных со всех сторон скачущими жандармами с саблями наголо! Люди шли с рынков; над крышами домов поднимались повсюду клубы густого дыма только что затопленных печей, колеса экипажей скрипели по снегу.

Я выглянул в окно и увидел впереди и сзади карет эскадроны жандармов. Вдруг скакавший близ моей кареты жандарм подскочил к окну и повелительно и грозно закричал: «Не оттуливай!» Тогда сосед мой спохватился и поспешно закрыл окно. Опять я должен был смотреть в быстро исчезающую щелку. Мы выехали на Лиговку и затем поехали по Обводному каналу.

Езда эта продолжалась минут тридцать. Затем повернули направо и, проехав немного, остановились; карета отворилась передо мной, и я вышел.

Посмотрев кругом, я увидел знакомую мне местность — нас привезли на Семеновскую площадь. Она была покрыта свежевыпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на нас; была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков.

Солнца не видал я 8 месяцев, и представшая глазам моим чудесная картина зимы и объявший меня со всех сторон воздух произвели на меня опьяняющее действие. Я ощущал неописанное благосостояние и несколько секунд забыл обо всем. Из этого забвения в созерцании природы выведен я был прикосновением посторонней руки: кто-то взял меня бесцеремонно за локоть с желанием продвинуть вперед и, указав направление, сказал мне: «Вон туда ступайте».

Я подвинулся вперед. Меня сопровождал солдат, сидевший со мной в карете. При этом я увидел, что стою в глубоком снегу, утонув в него всей ступней; я почувствовал, что меня обнимает холод. Мы были взяты 22 апреля в весенних платьях и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.

Направившись вперед по снегу, я увидел налево от себя среди площади воздвигнутую постройку — под-

мостки, помнится, квадратной формы величиной в 6—8 метров со входной лестницей, и все обтянуто было черным трауром — наш эшафот. Тут же увидел я кучку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих друг другу руки и приветствующих один другого после столь насильственной злополучной разлуки.

Когда я взглянул на лица их, то был поражен страшной переменой; там стояли: Петрашевский, Львов[23], Филиппов[24], Спешнев и некоторые другие. Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами.

Особенно поразило меня лицо Спешнева: он отличался от всех замечательной красотой, силой и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудели, глаза как бы ввалились и под ними большая синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо.

Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял нахмурившись — он был обросший большой шевелюрой и густой, слившейся с бакенбардами бородой. «Должно быть, всем было одинаково хорошо»,— думал я. Все эти впечатления были минутные; кареты все еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханыков, Кашкин, Европеус... Все исхудалые, замученные. А вот и милый мой Ипполит Дебу, увидев меня, бросился ко мне в объятия: «Ахшарумов, и ты здесь?» — «Мы же всегда вместе»,— ответил я.

Мы обнялись с особенным чувством кратковременного свидания перед неизвестной разлукой. Вдруг все наши приветствия и разговоры прерваны были громким голосом подъехавшего к нам на лошади генерала, как видно, распоряжавшегося всем, увековечившего себя в памяти всех нас следующими словами:

— Теперь нечего прощаться! Становите их! — закричал он. Он не понял, что мы были только под впечатлением свидания и еще не успели помыслить о предстоящей нам смертной казни; многие же из нас были связаны искренней дружбой, некоторые родством — как двое братьев Дебу. Вслед за его громким криком явился перед нами какой-то чиновник со спи-

ском в руках и, читая, стал вызывать нас, каждого по фамилии.

Первым поставлен был Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли [25], и затем шли все остальные; всех нас было 23 человека (я поставлен был по ряду восьмым). После того подошел священник с крестом в руке и, став перед нами, сказал: «Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной». Нас повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой обход, как я узнал после, назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между нами были офицеры, служившие в этом полку,— Момбелли, Львов....

Священник с крестом в руке выступал впереди, за ним мы все шли один за другим по глубокому снегу. В каре стояли, казалось мне, несколько полков, потому обход наш по всем четырем рядам его был довольно продолжительный. Передо мной шагал высокий ростом Павел Николаевич Филиппов, впоследствии умерший от раны, полученной им при штурме Карса в 1854 году, сзади меня шел Константин Дебу. Последними в этой процессии были: Кашкин, Европеус и Пальм.

Нас интересовало всех, что будет с нами далее. Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота; их было, сколько мне помнится, много. Мы шли переговариваясь. «Что с нами будут делать? Для чего ведут нас по снегу? Для чего столбы у эшафота? Привязывать будут, военный суд — казнь расстрелянием. Неизвестно, что будет; вероятно, всех на каторгу...»

Такого рода мнения высказывались громко то спереди, то сзади от меня, и мы медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, мы столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С нами вместе взошли и нас сопровождавшие солдаты и разместились за нами. Распоряжались офицер и чиновник со списком в руках. Начались вновь выкликание и расстановка, причем порядок был несколько изменен. Нас поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд, меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен с левого фаса эшафота. Там были:

Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Львов, Дуров, Григорьев [26], Толль [27], Ястржембский, Достоевский.

Не помню, кем начинался другой ряд, но вторым стоял Филиппов, потом я, подле меня Дебу-старший, за ним его брат Ипполит, затем Плещеев, Тимковский [28], Ханыков, Головинский [29], Кашкин, Европеус и Пальм. Всех нас было 23 человека [30], но я не могу вспомнить остальных.

Когда мы были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было «На кара-ул», и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался по всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано было нам: «Шапки долой!» — но мы к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды; тогда повторено было несколько раз: «Снять шапки, будут конфирмацию читать» — и с запоздавших приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату.

Нам всем было холодно, и шапки на нас были хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Всего невозможно было уловить, что читалось: читалось скоро и невнятно, да н притом мы все содрогались от холода. Когда дошла очередь до меня, то слова, произнесенные мною в память Фурье, «о разрушении всех столиц и городов» занимали видное место в вине моей. Чтение это продолжалось добрых полчаса. Мы все страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с меня была сдернута рукой стоявшего за мной солдата. По изложении вины каждого конфирмация оканчивалась словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни расстрелянием, и 19 сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему».

Мы все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были в саванах, кто-то сказал: «Каковы мы в этих одеяниях!»

Взошел на эшафот священник — тот же самый, который вел с евангелием и крестом — и за ним прине-

сен и поставлен был аналой. Поместившись между нами на противоположном входу конце, он обратился к нам с следующими словами: «Братья! Перед смертью надо покаяться... Кающемуся спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди».

Никто из нас не отозвался на призыв священника; мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас — Тимковский — подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедоваться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ него стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди нас как бы в раздумьи. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: «Батюшка! Вы исполнили все; вам больше здесь нечего делать!»

Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками.

Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание: «Колпаки надвинуть на глаза» — после чего колпаки спущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: «Клац», и вслед затем группа солдат — их было человек 16,— стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли.

Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них почти в упор ружейные стволы и ожидать —

вот прольется кровь, и они упадут мертвые — было ужасно, отвратительно, страшно.

Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающей кровавой картиной. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. «Вот конец всему!»

Но вслед затем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень. Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер — флигель-адъютант — и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и взамен смертной казни каждому по виновности особое наказание.

Конфирмация эта была напечатана в одном из декабрьских номеров «Русского Инвалида» 1849 года, вероятно в следующий день, 23 декабря[31]. Потому распространяться об этом считаю лишним, но упомяну вкратце.

Сколько мне помнится, Петрашевский ссылался в каторжную работу на всю жизнь. Спешнев — на 20 лет[32], и затем следовали градации в нисходящем по степени виновности порядке. Я был присужден к ссылке в арестантские роты военного ведомства на 4 года, а по отбытии срока — рядовым в Кавказский отдельный корпус.

Братья Дебу ссылались тоже в арестантские роты, а по отбытии срока в военно-рабочие роты. Кашкин и Европеус назначались прямо рядовыми в Кавказский корпус, а Пальм переводился тем же чином в армию. По окончании чтения этой бумаги с нас сняли саваны и колпаки.

Затем взошли на эшафот какие-то люди вроде палачей, одетые в старые цветные кафтаны,— их было двое,— и, став позади ряда, начинавшегося Петрашевским, ломали шпаги над головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь, каковое действие, совершенно безразличное для всех, только продержало нас,

и так уже продрогших, лишние четверть часа на морозе.

После этого нам дали каждому арестантскую шапку, овчинные грязной шерсти тулупы и такие же сапоги. Тулупы, каковы бы они ни были, нами были поспешно надеты, как спасение от холода, а сапоги велено было самим держать в руках.

После всего этого на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на дощатый пол эшафота, взяли Петрашевского. Выведя его на середину, двое, по-видимому, кузнецы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвозди. Петрашевский сначала стоял спокойно, а потом выхватил тяжелый молоток у одного из них и, сев на пол, стал заколачивать сам на себе кандалы. Что побудило его накладывать самому на себя руки, что хотел он выразить тем — трудно сказать, но мы были все в болезненном настроении или экзальтации.

Между тем подъехала к эшафоту кибитка, запряженная курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандармом, и Петрашевскому было предложено сесть в нее, но он, посмотрев на поданный экипаж, сказал: «Я еще не окончил всех дел».

— Какие у вас еще дела? — спросил его как бы с удивлением генерал, подъехавший к самому эшафоту.

— Я хочу проститься с моими товарищами,— отвечал Петрашевский.

— Это вы можете сделать,— последовал великодушный ответ. (Можно полагать, что и у него сердце было не каменное, и он, по своему разумению, исполнял выпавшую на его долю трудную служебную обязанность, но под конец уже и его сердцу было нелегко.)

Петрашевский в первый раз ступил в кандалах; с непривычки ноги его едва передвигались. Он подошел к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его, потом подошел к Момбелли и также простился с ним, поцеловав и сказав что-то. Он подходил по порядку, как мы стояли, к каждому из нас и каждого поцеловал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Подойдя ко мне, он, обнимая меня, сказал:

— Прощайте, Ахшарумов, более мы уже не увидимся.

На это я ответил ему со слезами:

— А может быть, и увидимся еще.

Только на эшафоте впервые полюбил я его.

Простившись со всеми, он поклонился еще раз всем нам и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним рядом поместился фельдъегерь и вместе с ямщиком жандарм с саблею и пистолетом у пояса; тройка сильных лошадей повернула шагом и затем, выбравшись медленно из кружка столпившихся людей и за ними стоявших экипажей и повернув на Московскую дорогу, исчезла из наших глаз.

Слова его сбылись — мы не увиделись более; я еще живу, но его доля была жесточе моей, его уже нет на свете.

Он умер скоропостижно от болезни сердца 7 декабря 1868 года в городе Минусинске Енисейской губернии[33], и похороны его были 4 января 1869 г. <...>

Пораженные всем, что происходило на наших глазах, по отъезде Петрашевского стояли мы еще на своих местах, закутавшись в шубы, отдававшие противным запахом. Дело было окончено. Двое или трое из начальствующих лиц взошли на эшафот и возвестили нам, по-видимому, с участием, о том, что мы не уедем прямо с площади, но еще прежде отъезда возвратимся на свои места в крепость и, вероятно, позволят нам проститься с родными. Тогда мы все перемешались и стали говорить один с другим.

Впечатление, произведенное на нас всем пережитым нами в эти часы совершения обряда смертной казни и затем объявления заменяющих ее различных ссылок, было столь же разнообразно, как и характеры наши. Старший Дебу стоял в глубоком унынии и ни с кем не говорил. Ипполит Дебу, когда я подошел к нему, сказал:

— Лучше бы уж расстреляли!

Что касается меня, то я чувствовал себя вполне удовлетворенным как тем, что просьба моя о прощении, меня столь мучившая, не была уважена, так и тем, что я выпущен, наконец, из одиночного заключения; жалел только, что назначен был в арестантские роты неизвестно куда-то, а не в далекую Сибирь, куда интересовало меня дальнее, весьма любопытное путешествие.

Сожаление мое оправдалось впоследствии горькой действительностью: сосланным в Сибирь, в общество государственных преступников, в страну, где уже привыкли к обращению с ними, было гораздо лучше, чем попавшим в грубые, невежественные арестантские роты, в общество воров и убийц и при начальстве, всего боящемся.

Я был все-таки счастлив тем, что тюрьма миновала, что я сослан в работы и буду жить не один, а в обществе каких бы то ни было людей — загнанных, несчастных, к которым я подходил по моему расположению духа.

Другие товарищи на эшафоте выражали тоже свои взгляды, но ни у кого не было слезы на глазах, кроме одного из нас, стоявшего последним по виновности, избавленного от всякого наказания. Я говорю о Пальме. Он стоял у самой лестницы, смотрел на всех нас, и слезы, обильные слезы текли из глаз его; приближавшимся же к нему сходившим товарищам он говорил:

— Да хранит вас бог!

Стали подъезжать кареты, и мы, ошеломленные всем происшедшим, не прощаясь один с другим, садились и уезжали по одному. В это время один из нас, стоя у схода с эшафота в ожидании экипажа, закричал:

— Подавай карету!

Дождавшись своего экипажа, я сел в него. Стекла были заперты, конные жандармы с обнаженными саблями точно так же окружали наш быстрый возвратный поезд, в котором недоставало одной кареты — Михаила Васильевича Петрашевского!

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ

(1823—1907)

В пятидесятых годах прошлого века Павел Михайлович Ковалевский был человеком не то чтобы известным, но весьма популярным. Широко образованный, ироничный, тонкий ценитель изящного, общительный и остроумный, он располагал к себе при первом знакомстве, внушая доверие и симпатию к своей особе.

Ковалевский родился в интеллигентной дворянской семье и провел детские годы в имении своих родителей в Харьковской губернии. «Одной сплошной улыбкой на меня глядит детство»,— вспоминал позднее Павел Михайлович [1]. Рос он под неусыпным наблюдением своей бабки, к которой часто наезжали из Петербурга ее сыновья Ковалевские — Евграф Петрович, будущий министр народного просвещения, и Егор Петрович, известный впоследствии путешественник и писатель. С их приездом дом оживал: дядья наперебой рассказывали о петербургских новостях, политических и культурных. Домашние спектакли, обсуждение новых книг, игры, шарады — все это создавало особую атмосферу, свойственную русским «дворянским гнездам», уже, впрочем, недолговечным.

Черную тень на безоблачное детство Павла Михайловича бросило самоубийство отца и тяжелое, безысходное горе матери.

Ковалевский рано обнаружил художественные способности, но в выборе профессии сказалось его стремление к серьезной практической деятельности. В 1845 г. он окончил курс Горного института в Петербурге и пять лет служил на Луганском литейном заводе. Однако приверженность к искусству взяла свое;

[1] Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания. Спб., 1912. С. 147. Далее том и страница этого издания приводятся в скобках в тексте очерка.

служба была не по нем и тяготила его. В 1850 г. Павел Михайлович вышел в отставку, а три года спустя отправился путешествовать в Европу. Пять лет провел он в Италии и Швейцарии, знакомясь с искусством великих зодчих, скульпторов, живописцев. Тогда же Павел Михайлович начал писать живые, полные наблюдательности, ума и светлого юмора очерки, которые охотно печатали журналы «Современник» и «Отечественные записки». Позднее эти очерки вошли в книгу Ковалевского «Этюды путешественника» (Спб., 1864), исполненную особого изящного очарования.

В Италии Ковалевский возобновил давнее знакомство с Н. А. Некрасовым, был представлен им А. А. Фету и там же впервые увидел Александра Иванова, будущего героя одного из своих более поздних мемуарных очерков. Один из немногих русских, Павел Михайлович был допущен в мастерскую (святая святых!) художника в тот самый день, когда Иванов впервые представил изумленным взорам публики свое легендарное полотно «Явление Христа народу».

Вернувшись в Петербург, Павел Михайлович вскоре сблизился со всей тогдашней художественной интеллигенцией. Он посещал дома, где бывал М. И. Глинка, хорошо знал И. Н. Крамского, бывал гостем на знаменитых редакционных беседах некрасовских журналов «Современник» и «Отечественные записки», где собирались за одним столом И. С. Тургенев и Н. Г. Чернышевский, П. В. Анненков и Н. А. Добролюбов, А. Н. Островский, Д. В. Григорович, А. Ф. Писемский, М. Е. Салтыков-Щедрин и другие литераторы.

Без сомнения, П. М. Ковалевскому было что вспомнить и о чем рассказать. Как мало кто другой, Павел Михайлович умел слушать и наблюдать. Вглядываясь в человека своими глубоко посаженными внимательными глазами, Ковалевский словно определял доминанту его личности. Он подмечал самое характерное в поведении, манере общения, с точностью и достоверностью истинного художника воссоздавая затем почти неуловимый жест, особенности мимики и речи. Каким-то непостижимым образом он тонко и проницательно связывал внешнее с внутренним, скрытым, сокровенным, с таким, что обычно утаивают от глаз непосвященных.

В своем особом жанре, прихотливо сочетающем достоверность воспоминания со свободной субъективно-

стью эссе, Ковалевский последовательно и мастерски раскрывал то, что Чернышевский назвал когда-то «диалектикой души». На страницах воспоминаний Ковалевского «живые классики» — Некрасов, Тургенев, Глинка, Александр Иванов, Крамской,— почти канонизированные при жизни, появляются со всеми своими слабостями, противоречиями, человеческой неоднозначностью и душевными изломами, и это не только не умаляет их величия, но, напротив, делает их более понятными, а потому, кстати, и более привлекательными.

Читая Ковалевского, невольно вспоминаешь о том, что писал Пушкин П. А. Вяземскому в ноябре 1825 г.: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе»[1]. Вот это пушкинское «иначе» определяет самое характерное в мемуарных очерках Ковалевского, никогда не изображавшего своих героев на котурнах, но никогда и не потрафлявшего низким вкусам «толпы».

Ковалевскому удалось передать в мемуарных очерках сочные и яркие краски жизни, со всеми их оттенками, которые не потускнели до сегодняшнего дня. Воссозданный из мелких, порою мельчайших психологических черт облик человека, неожиданно оказывается у Ковалевского крупным, самобытным и цельным, несмотря на всю свою сложную противоречивость.

При жизни П. М. Ковалевский не печатал свои воспоминания. Они стали появляться в журналах в конце 900-х — начале 10-х годов нынешнего столетия. В 1912 г. стараниями друзей Павла Михайловича была издана небольшая книга, куда вошли его стихотворения и мемуарные очерки. Прочитав «Стихи и воспоминания» Ковалевского, молодой Корней Чуковский написал в одной из своих статей: «Рекомендуем читателям эту превосходную книгу: в ней много юмора, жизни и красок, а между тем она прошла незамеченной»[2]. К сожалению, совет К. И. Чуковского

---

[1] Пушкин А. С. Полн собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 191.

[2] Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 486.

пропал втуне: по сей день нет ни биографа, ни исследователя творчества П. М. Ковалевского. Имя одного из самых оригинальных и ярких русских мемуаристов почти забыто. Его лишь изредка упоминают в связи с теми, о ком он писал, более всего — в связи с Некрасовым.

Заботясь о том, чтобы сберечь память о своих замечательных современниках, Павел Михайлович почти ничего не написал о себе самом. Биография его почти неизвестна, но его человеческий облик ощутим в тоне его повествования, в его оценках, в личностном, заинтересованном отношении к предмету рассказа.

Его великие современники не сказали о нем ничего или почти ничего. До нас дошло лишь несколько незначительных, в основном деловых, хотя и дружеских записок к Ковалевскому Некрасова. До поры до времени Некрасов охотно печатал в «Современнике», а потом и в «Отечественных записках» стихотворения и обзоры театральной, музыкальной и художественной жизни, которые Ковалевский регулярно писал под псевдонимом «Петербургский житель». Однако пришла пора, когда Павел Михайлович показался Некрасову недостаточно радикально мыслящим, чтобы сотрудничать в его журнале. Ковалевский и в самом деле не был радикалом. Человек либеральных взглядов, широко и свободно мыслящий, он был чужд всяких крайностей. Время внесло свои поправки в когда-то дружеские отношения Ковалевского и Некрасова. В поэме «Современники» (1876 г.) Некрасов посвятил ему несколько ядовитых строк:

Экс-писатель бледнолицый
Появился Пьер Куньков;
Был он долго за границей
По комиссиям дельцов.
И друзьям поклон собрата
Из Италии привез...

Ковалевский не остался в долгу и, намекая на отношения Некрасова с А. Я. Панаевой, написал:

Экс-писатель бледный
Смеет вас просить
Экс-подруге бедной
Малость пособить.
Вы когда-то лиру
Посвящали ей,
Дайте ж на квартиру
Несколько грошей.

Личная жизнь Павла Михайловича сложилась трагически. Женат он был на Анне Федоровне Кожевниковой, ученице композитора М. А. Балакирева. При различии характеров и взглядов (Павел Михайлович был убежденным атеистом, а Анна Федоровна — человеком глубоко религиозным), они относились друг к другу с нежностью и уважением. Несмотря на внешнее благополучие, несчастья преследовали их: один за другим умирали дети Ковалевских. В надежде спасти двух последних дочерей они уехали за границу. Потом построили дачу в Гатчине под Петербургом. «В 1873 г. дача эта была нарядная игрушка с маленьким парком, цветником и балконами, полными растений и душистых цветов, то есть со всей возможною роскошью простоты, развитого вкуса и комфорта» [1], — вспоминала М. В. Волконская, близкая знакомая Ковалевских.

В конце 70-х годов умерла от дифтерита старшая дочь Ковалевских. На протяжении нескольких лет он потерял последнюю, младшую, дочь и жену, которая не вынесла потрясений. В 1898 г., писала М. В. Волконская, «мы прошли пешком мимо когда-то красивой и изящной дачи Ковалевских. Ее было не узнать: ни маленького парка, ни цветника, ни балконов, полных растений и душистых цветов, там не было. За выросшими деревьями ютилось что-то старенькое и темненькое, с крытыми стеклянными, так излюбленными в дачных русских местностях безобразными «верандами»... В палисаднике копошились маленькие фигурки больных детей с перевязанными руками, ногами, головами, в длинных ситцевых платьицах или коротких ситцевых же штанишках и блузках (смотря по полу...). От дачи, вместо благоуханий левкоя, гелиотропа, роз и резеды, несся запах иодоформа...» [2] После смерти дочерей Ковалевские подарили дачу Обществу хронически больных детей.

Последние годы Павел Михайлович провел в деревне, в полном одиночестве. В одном из стихотворений 1904 г. он писал:

Как я рад умереть! Жизни ношу
Я в мгновенье одно с себя сброшу;
Перестану любить, перестану жалеть...
Как я рад умереть!..

---

[1] Волконская М. В. За 38 лет // Русская старина, 1914. № 1. С. 179.

[2] Волконская М. За 38 лет. С. 181—182.

ВСТРЕЧИ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

Люди известные, или выходящие из ряда обыкновенных, представляются большею частию не так, как обыкновенные; они сами себя, и их другие иначе не показывают, как с высоты подножия и в праздничном убранстве. От этого получается такое впечатление, как будто все они одним миром мазаны. Подойти к ним поближе, когда они стоят просто, и на полу, как все (а стоят они совершенно так же, как все, и на полу), по-будничному одетые, не показывая себя и даже не подозревая, что на них смотрят,— было бы занимательнее. Во-первых, люди необыкновенные сделаются более похожими на людей, а во-вторых, вблизи лучше видно, что не все то золото, что блестит, как и не все черно, что не представляется белым.

Я имею доброе намерение — подходить к людям поближе и рассматривать их попристальнее, хотя и не скрываю от себя, что намерение мое, оставаясь добрым, может оказаться недостигнутым...

I

ЕГОР ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ[1]

В ряду житейских встреч, первою по времени выходящею из ряда обыкновенных, была встреча с родным моим дядею Егором Петровичем Ковалевским.

Имя это, теперь забытое, пользовалось, между концом тридцатых и шестидесятых годов, известностью в высшем служебном, литературном и одно время дипломатическом мире. Может быть, таким успехом оно отчасти было обязано счастливой случайности, подобно тому как актер благодарной роли; но когда видишь, сколько очень счастливых случайностей и самых благодарных ролей проходят мимо людей бесследно, то поневоле станешь искать еще чего-то. И вот именно этим «еще чем-то» и был наделен от природы Егор Петрович. У нас более чем где-либо достается человеку брать врожденными способностя-

ми, где нужны познания, как солдату штыком, где требуется правильная осада.

Егор Петрович принадлежал к таким людям. Познания ему доставил Харьковский университет; но эти познания были совсем не те, с какими ждало его служебное поприще; служебное же поприще оказалось опять не тем, на котором ему суждено было проявить свои дарования. С курсом философии в голове,— потому что его поместили на квартире у профессора, читавшего философию,— он очутился перед лабиринтом сибирских рудников, потому что старший брат его был главным горным начальником в Сибири,— а из неведомого ему мира рудников прямо и неожиданно попал в столько же неведомый мир дипломатии, потому что того захотел случай.

Я еще смутно помнил голубой воротник студента на бледном, крестившемся на образа Егоре Петровиче, приезжавшем к бабушке — его матери — в деревню из Харькова, когда мне довелось его увидеть с красным кантиком горного чиновника, приехавшего из Сибири.

Бабушкина семья в полном сборе сидела за ужином; вдруг на дворе зазвенел почтовый колокольчик.

— Егор едет! — закричали все в один голос и бросились из столовой на крыльцо.

Раздались возгласы, поцелуи, даже плач (это бабушка заплакала от радости), и в столовую ввели за руки худощавого молодого человека, среднего роста, с светлыми, необыкновенно приятного выражения глазами и женскими чертами лица и приемами. Говорил он высоким, певучим, но громким голосом, неожиданно вскрикивая, когда оживлялся, а когда смеялся, то как-то особенно захлебывался. Дом наполнился разом и этими вскрикиваньями и захлебываньем. Даже нам, детям, от приезжего дяди стало веселее. Довольно было того, что он тут же, из-за ужина, прокатился на мне и на моем брате верхом по комнатам...

Скоро Егор Петрович уехал, но на его место пришли по почте две тоненькие книжечки, но хоть они были очень тоненькие, но наполнили собою также весь дом. Их читали, о них говорили, с ними носились, как с благословенным плодом, выращенным в воздухе этого самого дома. На одной из книжек было крупно на-

печатано: *«Сибирь.* Думы. Стихотворения Е. К.» [2]. В доме произносилось просто: *Сибирьдумы,* как одно слово.

Более других ценили стихотворение, обращенное непосредственно к этому самому дому, именно строки:

«Вот знакомое крыльцо, балкон.
Вам, мои друзья, поклон!»

Избытком чувств восполнялся недостаток рифмы.

Вторая книжка носила название: «Марфа, посадница Новгородская, или Славянские жены. Трагедия в 5 действиях, в стихах, Е. К.» [3]. И была она посвящена Озерову [4]. «Великий! твой дар, твои страдания...» — такими словами начиналось посвящение. Из этой трагедии мы, дети (я с сестрою), разыгрывали сцену князя Холмского с какою-то Ксенией. Историческая верность требовала, чтобы моя курточка была скрыта, и потому на меня надевалась кацавейка одной из тетушек, обшитая мехом. С высокого роста кацавейка превращалась в боярский охабень [5]. На голове у сестры фата заменялась тюлевым шарфом. Выходили мы из-за ширм бабушкиной спальни — Холмский с одного конца половинок, Ксения с другого. Холмский, выпрастывая руку из-под кацавейки, произносил нараспев:

— «Ах, Ксе-ния! то не меч-та-а ль?»

Ксения освобождала лицо из-под шарфа и отвечала:

— «Друг ми-и-лый!»

Дело кончалось тем, что Ксения падала на пол, а Холмский скрывался за ширмы. Но так как Ксения один раз ушиблась, то падать ей потом дозволялось только на кровать. Это не мешало растрогивавшейся до слез бабушке видеть в своих внуках достойных истолкователей великого произведения любимого сына...

Знало ли человечество о существовании наивных книжечек, или они обречены были пожелтеть где-нибудь на полках книжной лавки, пока не пошли на обертки в лабаз, и только в старом наследственном дворянском гнезде оставили по себе след чего-то светлого, непохожего на серенькую вседневность,— кто на это ответит?

Зато, если не человечеству, то и не одному русскому обществу суждено было узнать довольно скоро об

их авторе, хотя на совершенно ином поприще, к которому он никогда не готовился, и уже позднее, попутно, на литературном, с которого он начал.

Случилось это совсем неожиданно.

При последнем духовном правителе Черногории (Владыке Петре Негоже), в конце тридцатых годов, возникла мысль: поискать, нет ли в этой богатой только бесшабашным мужеством Черной Горе кстати и золота? Понадобился горный инженер. А где же, кроме России, могли быть в то время и горные инженеры, и все, что надобилось славянину? И вот, в качестве нового Аргонавта[6], командируется, надевший уже эполеты, капитан корпуса горных инженеров, Ковалевский *.

Но командировался-то он искать золото, а нашел войну[7],— и пускай бы еще с Турцией (без этого нельзя было и представить себе Черногорию), а то с Австрией, с которою, как водится, мы состояли в самой закадычной дружбе.

— Ты послан от русского царя! — обратились добродушные разбойники Черной Горы к человеку, который был действительно послан, но совсем не затем, зачем они полагали,— веди нас на австрияков! Австрияк католик и враг нам, значит, враг и твоему царю. Вот тебе ружье, вот тебе пистолет, а вот кинжал: бери и иди на австрияков!

Как ни лестно было в чине капитана, да еще не настоящего, а больше только для шутки, сделаться главнокомандующим, как ни байроновски романтично было приключение и как ни молод был капитан,— однако же и он усомнился в своем праве поступить так, как от него требовали. Пришлось Владыке, который в одно и то же время был митрополит и поэт, воин и просвещенный монарх, пустить в ход свое красноречие и несомненную обаятельность своей особы, чтобы убедить приезжего в совершенной невозможности для русского, да еще офицера, не поспешить взвалить на плечо ружье и не пуститься в горы, вместо золота, которое не уйдет, за австрийцами, которые как раз удерут, пока тут рассуждают.

---

* Корпус этот был образован из бывших горных чиновников, состоявших при технических занятиях. Е. П. Ковалевского преобразование застигло на золотых приисках. *(Прим. автора.)*

Взвалив на плечо длинный самострел, оделся в алую албанскую куртку, белую тунику и черногорскую красноверхую шапочку, заткнул за пояс пистолеты и кинжал мирный искатель золотой руды и пошел карабкаться с горстью головорезов по стремнинам и вдоль горных ручьев, уже не за рудою, а за австрийскими солдатами, которые дали заманить себя в такие трущобы, где только дикая коза да черногорец умеют на ногах держаться. Тут их, разумеется, сколько успели, перебили, а живых забрали в плен, в том числе и офицеров, и принялись ставить виселицы.

— Вешай всех!! — кричали своему фельдмаршалу победители,— и веди дальше!

Но не было нужды быть в самом деле фельдмаршалом, чтобы сообразить, что вешать офицеров дружественной державы и переносить войну за горы значило уже для себя готовить виселицы,— и молодой капитан сообразил это.

— Не поведу и вешать не позволю! — объявил он решительно.

— Твой царь тебе не приказал?

— Мой царь не приказал и вам не приказывает! Он приказывает заключить мир.

Находчивость Е. П. одержала победу, чуть ли не труднее одержанной. Войско поспорило и уступило на том, что офицеров, так и быть, оно для царя прощает и на мир для царя соглашается; только подписать его должен царев капитан,— иначе оно миру не верит.

— Подписывай, или веди вперед! а не то пойдем и без тебя — только вот офицеров перевешаем.

Делать было нечего: перекрестился царев капитан и скрепил приложением руки и герба своего печати мирный договор двух государств между собою. Напрасно фигура императора Николая, от имени которого он действовал, перед ним грозно восставала, с сибирскими линейными батальонами, солдатским ранцем и всем арсеналом строгостей того времени,— он скрепил, потому что не скрепить не мог... А там — будь что будет!

Первый, кто прочел в Петербурге копию этого небывалого в истории международных отношений акта, был министр иностранных дел Нессельроде, а доставил ему такое удовольствие австрийский посол, лю-

безно потребовав, кстати, и полного удовлетворения, которое должно было состоять в официальном порицании поступков русского офицера, как неприличных и несогласных с добрыми отношениями соседей. Николай давать удовлетворение не любил. Он остался недоволен. А тут еще, как на беду, темное до тех пор имя маленького русского офицера иностранные газеты расславили по всему свету и пуще усилили неудовольствие государя: он и гласности не любил. Между тем виновник всех этих бед лишен был даже возможности личным объяснением с ближайшим представителем русской власти — нашим послом в Вене — растолковать всю свою неповинность в вине: пределы Австрийской империи были строго охраняемы на всех заставах от попытки страшного капитана посягнуть своим появлением на ее безопасность.

Как из этого выпутался Е. П., мне рассказал, в бытность свою представителем России на венских конференциях в Крымскую войну, князь А. М. Горчаков [8], приблизительно в таком виде:

«Я познакомился с вашим дядюшкой самым неожиданным и довольно необыкновенным образом (рассказывал он). Проживал я тогда в Италии, неизвестный, в опале *. Это было давно — в конце тридцатых годов. А когда человек в опале, в нем никто не нуждается. Тем страннее мне показалось, что ко мне обратился ваш дядя. Докладывают: «Капитан Ковалевский, имеет передать просьбу»! Имя это я знал только из газет.— «Введите!» Вошел молодой человек, худенький, нисколько не заносчивый, как можно бы ожидать, напротив, самой симпатичной внешности, милых приемов — словом, знакомый нам хорошо наш дорогой Егор Петрович! и с полной откровенностью объявляет прямо, что пришел просить моего покровительства.— «Но у кого же я могу покровительствовать? Я сам в нем нуждался бы, чтобы выйти из моей опалы!» — У вашего дяди Татищева [9], нашего посла в Вене **. Ему одному я могу передать подробности той несчастной истории, в которой я представ-

* Повода к опале князя я не запомнил. Во всяком случае он не из тех, чтоб истории был нанесен ущерб от невписания его на ее скрижали. (*Прим. автора.*)

** Кажется, князь назвал Татищева своим дядей. (*Прим. автора.*)

лен газетами государственным преступником и в которой я действовать иначе не мог. Я русский, и я был связан моим именем русского. Что бы ни последовало, я не раскаиваюсь в том, что сделал; я иначе был бы изменником, а не русским... Попробуйте быть на моем месте, когда целый народ вам говорит: «Тебя послал русский царь; мы его дети; он нас защитит, а ты защитить не хочешь!» Ваш дядюшка говорил горячо, искренно (а это так редко приходится слышать нам, дипломатам!) — словом, прекрасно! Он увлек меня. С Татищевым я был в самых дурных отношениях — ему я и опалою своею был обязан; но благородный молодой порыв вашего дяди меня подкупил. Я взялся быть его ходатаем.— «Передайте мне записку, если вы имеете такую, или сообщите все подробности, ничего не утаивая,— а уж я берусь изложить в такой форме, в какой это только и может рассчитывать на успех. Вы понимаете, что записка должна быть прежде всего изложена на хорошем французском языке (en bon français)». Ваш дядюшка владел уж и тогда русским языком, как никто, но французским он не обязан был владеть. Это уж наше ремесло — notre métier à nous! Короче, записка была сделана и послана, при письме от меня, в Вену — в руки Татищева; а из Вены пошла при письме от Татищева — уже прямо в руки государя.— «Le capitaine Kowalewsky a agit en vrai russe» * — поставил на ней резолюцию Николай Павлович, и наш Егор Петрович был спасен.

— Эти слова исторические,— прибавил рассказчик,— как и те, которые государю угодно было обратить ко мне, когда я удостоен был избрания на трудный пост стража достоинства России при нынешних конференциях. Приехав в Петергоф, я просил у его величества напутствий и указаний, как должно мне действовать.— «Ты русский, и действуй, как тебе подскажет твое русское чувство. Других указаний ты не получишь». Затем государь меня трижды перекрестил: «А вот тебе и напутствие. Поезжай с Богом!» У него были слезы на глазах; у меня они текли из глаз».

Так заключил свой рассказ Горчаков.

Я помню возврат Егора Петровича в Петербург.

* Капитан Ковалевский бунтует истинно по-русски *(фр.)*.

Его встречали, как человека, спасшегося от кораблекрушения. Тут же ему было передано, что государь желает его видеть лично и назначает представление вечером, особо. Для ничтожного капитана, даже не гвардейского, это была милость необычайная. Велено было привезти и маленького черногорца, Джуро Давыдовича, сына одного из сердарей Владыки, посланного при оказии в Россию просветиться и просветить собою Черную Гору.

Николай вышел из кабинета Аничковского дворца, где проживало царское семейство, после пожара в Зимнем, в сюртуке без эполет, по-домашнему. Следом вышел Нессельроде, в звездах. Может быть, этому очень маленького роста, но большой хитрости человеку и обязан был Е. П. милостивым вечерним приемом, когда никого нет и оно не так заметно.

— Спасибо, Ковалевский! Ты поступил, как обязан был поступить русский. Иначе ты поступил бы дурно,— обратился он к дяде.

А у черногорца спросил, в какую службу тот хочет.

— В такую, как капитан! — отвечал мальчик.

Его определили в Горный корпус, где он успел проявить сразу свои мускульные способности в борьбе с товарищами, пристававшими к нему как к новичку даже сверх положения.

— Джуро! скажи: много жен у твоего Владыки? — дразнили его приставалы.

— Владыко жены не имеет! — гремел черногорец и бросался тузить кого ни попало.

— Джуро! Джуро! А что, правда, что Владыка на пирожное ест жеванную бумагу?

— Владыко жеванной бумаги не яст!

В классах им травили нелюбимого учителя немецкого языка.

— Джуро! ведь это австрияк!

И Джуро кидался, скрежеща зубами, на учителя; с трудом успевали его оттаскивать. Когда учитель выходил из класса, он подкрадывался сзади и плевал ему в карманы. Наконец, его должны были пересадить ко мне, в старший класс, пока он не сделается ручным.

Дальнейшая судьба этой надежды Черной Горы была следующая. Ручным он кое-как сделался, но горным инженером никак сделаться не мог. Из всех предметов, входивших в круг познаний горного офицера, он оказал способности к одной маршировке, и хотя был за это сильно поддерживаем директором из военных, но далее первых двух классов (из девяти), и то после нескольких лет приспособления к каждому, не поднялся. Из корпуса его взял, уезжая на Кавказ, родной брат Егора Петровича, убитый затем при муравьевском штурме Карса [10] во главе своей бригады, Петр Петрович Ковалевский. Тут Джуро Давыдович добрался даже до майора, а с ним и до майорши, при помощи которой произвел на свет целое племя таких же будущих майоров, как сам. Но Черногория его своим просветителем не увидала.

Надо ли прибавлять, что гласность, приданная заграничною печатью похождениям Е. П. в Черногории, восполнилась совершенною безгласностью печати отечественной, и даже в изданном им томике «Четыре месяца в Черногории» [11] не было следа того, что он в эти четыре месяца там наделал. Тем не менее рассказанные в легкой форме впечатления природы и нравов этого заслоненного горами от остального мира уголка, населенного народом православным,— с ребяческим неведением того, что творит, снимавшим головы турок с плеч, как библейские люди закалывали в жертву Богу сыновей,— народом, у которого и правитель ходил с клобуком на голове и с пистолетами под рясой,— такие впечатления и такие рассказы сделали их автора чуть не Колумбом Черногории. Вещественным следом похождений была пара длинных пистолетов в серебряной оправе с замысловатою чеканкою и надписью по-сербски: «Капитану Ковалевскому от черногорского народа, за поход»... Следовали год и месяц. Этого следа не удалось изгладить красным чернилам цензора, как не изгладилось в сердцах первобытного народа имя капитана Ковалевского. Он мог повышаться в чинах и известности, в Черногории он до конца пребыл капитаном и даже перешел в этом скромном виде за пределы ее скал, в соседние славянские земли... В списках пограничных застав и в памяти жандармов Австрийской империи тот же капитанский чин удержался вплоть до полковничьего, который сменил его

гораздо позже и при обстоятельствах гораздо значительнее.

И вот случайно сделанный отчаянный шаг делается первым шагом дальнейшей карьеры, сперва случайного горного инженера, а теперь случайного дипломата. В азиатском департаменте его отчет о командировке для разыскания в Черной Горе месторождений золота (которые за другими занятиями так и не были разысканы) имеет гораздо больший успех, чем в горном. Нессельроде, в качестве крошечного Меттерниха [12], косо посматривающий на неприятное вторжение предприимчивого добровольца в область тиши да глади (хотя и без Божьей благодати) его дипломатии, не считает себя вправе не назначить ему аудиенции после знаменитого приема в Аничковском дворце.

С этих пор Е. П. является первым охотником и кандидатом на поручения рискованные или в странах полудиких. Мало времени спустя, в свите поднявшегося войною, на верблюдах и казацких скакунах, графа Перовского [13] на Хивинские ханства, он уже гораздо более в качестве дипломатического чиновника, чем горного инженера, голодает и мерзнет вместе с верблюдами и казаками в степи; отбивается самолично в дрянном земляном укрепленьице от нападающих дикарей и отсиживается на конине до подоспевшей выручки, за что и получает желтуху, которая окрашивает его в цвет самой чистой охры, но не получает Георгия, к которому его представляют. Император Николай мог поступиться правилами международных отношений, как было в первом случае, но не правилами награждения орденами, и Е. П. за подвиг, бесспорно военный, получил какой-то совершенно статский крестик...

Тут он окончательно сознает в себе странствователя, даже присвояет это название целому ряду рассказов о совершенных им странствованиях [14]. Поданное в лакомом виде беллетристических очерков, не без приправы малороссийского юмора, продававшееся притом дешево и в небольших выпусках,— то самое, что тщетно и не раз до него предлагалось, под пресным описанием ученого,— пошло раскупаться и читаться нарасхват. Критика хвалила, редакторы журналов просили статей и ставили под ними «автора

Странствователя по суше и морям». Имя Е. П. Ковалевского сделалось литературным именем.

Но мирные ощущения литературного успеха не для таких неугомонных натур, какая гнездилась в тщедушном, только на вид, теле Е. П. Это было упругое тело, выносливое, как сухое тело степного верблюда, а натура — требующая ощущений острых, опасности и риска. И вот, подобно тому, как пьяница оживает от рюмки, этот худенький странствователь оживляется карточным столом, с его неудачами. Партнер его, Некрасов, говорил, что Е. П. был единственный игрок в клубе, игравший непременно для того, чтобы проиграться. Когда выигрывал, он оставался безучастен и готов был во всякое время остановиться; зато, когда проигрывал, его ничем остановить нельзя было. Борьба с опасностью и неудачею придавала ему такую настойчивость, что его тогда просто боялись; обыкновенно мягкий и вялый, он делался резок и говорил неприятности. Только проигравшись в пух, он успокаивался. Но за проигрыши приходилось расплачиваться, и тут выручал только какой-нибудь отчаянный литературный ход. Надлежало написать что-нибудь необыкновенно длинное и само по себе необыкновенное и отыскать такого необыкновенного издателя, который согласился бы выдать деньги вперед за то, что еще не было написано.

Такой издатель существовал. Это был Ольхин, прежде известный министерский курьер, а теперь издатель произведений известных русских писателей. Деньги, первоначально выскаканные на курьерской тележке с пакетами и преувеличенные подачками в генеральских прихожих, пущенные потом на <...> проценты между чиновной мелюзгой, собирали теперь русскую литературу уже в его собственную прихожую, а литературных генералов в столовую, если они давали себя «прикармливать» (как выражался когда-то Некрасов по отношению к неподатливым цензорам). Иные прикармливали его сами.

Е. П. был чересчур брезглив, чтобы «прикармливать» Ольхина; однако на прикармливаниях других приходилось в критические минуты присутствовать и ему. Я помню одно такое прикармливание у Кукольника, на даче в Парголове. Вызвано оно было сверхъестественным успехом «Парижских тайн» Евгения Сю [15] между русскими чиновниками. В то время,

кто только состоял в живых, непременно состоял и в чиновниках, если не сподобился состоять в офицерах. Свободомыслящие начальники отделений и ротные командиры признали «Парижские тайны» за последнее слово истины, и «Мертвые души» Гоголя, недавно пользовавшиеся почетом, были поруганы. Ольхин сказал себе: «Отчего не сочинить своих тайн? И мы не лыком шиты! Свои, пожалуй, понравятся тоже начальникам отделений». И попросил Кукольника заказать «Тайны». Выбор Нестора Васильевича пал почему-то на моего дядю,— должно быть, потому, что тот никогда ничего не писал в этом роде.

Дядя был в проигрыше и заказ принял. Так вот пробные-то образцы этого наперед проигранного в карты заказа и надлежало сдобрить кукольниковским обедом. <...> Кукольник, собственно, тогда уже перестал быть Кукольником и только по инерции продолжал снискивать себе поклонение. <...>

На «Нестора Васильевича» издатель, редактор, актер могли смело полагаться, как на каменную гору: пьесу ли надо к бенефису — будет; повесть к книжке — напишет; рассказ к чтению — расскажет. Хорошо бы через 24 часа после сожжения турецкого флота патриотическую драму в 5-ти действиях, в стихах — разгорится патриотическим жаром как раз на 5 действий и на стихи! Зато барон Брамбеус, не признавший Гоголя [16], признал его русским Шиллером, Брюллов написал с него действительно шиллеровски мечтательную голову, а посетители Александринского театра, в праздничные дни, прозвали его «нашим Нестором Васильевичем».

В грузном и обрюзглом парголовском хозяине вряд ли кто нашел бы что-нибудь шиллеровское. Говорил он голосом жирным, сильно напирая на *о*; когда смеялся, все его огромное туловище колыхалось, а небольшие глазки слезили и губы складывались в воронку, как у детей, когда они плачут.

Следом за нами приехала наемная карета, из которой вышел широкий, приземистый, точно приплюснутый, пожилой человек, с толстыми, отвислыми губами и подсматривающими, постоянно готовыми на улыбку, хотя от природы еврейски-грустными глазами. Это был «сам Ольхин». За ним, довольно подобострастно, вылез маленького роста, но с очень большою лысиною человечек. Это был сотрудник нескольких

журналов, переводчик кого хотите, фельетонист, компилятор чего угодно, при нужде — даже писатель для народа и романист, Петр Фурман: микроб того литературного недуга, которому суждено было развиться позднее в репортеров, «наших собственных корреспондентов», критиков от строки, исторических романистов от «Русского архива» [17]— всех этих писак от толкучего рынка!.. Возил его с собою Ольхин не то для своего развлечения, не то для собирания литературного материала, вроде того, как за прогулкою собирают грибы. Последнее вероятнее. Случилось, например, что у дяди моего остановились часы. Он спрашивает у Кукольника: «Который час?» А у Кукольника у самого часы остановились. Ольхину это в ту же минуту показалось грибами.

— Вот вы возьмите-ко, да и запишите себе в книжечку! — обратился он к Фурману,— отлично вам пригодится. Нам, дескать, счастливый случай доставил возможность быть свидетелями в высшей степени редкого... или там как-нибудь... приключения: у одного известного литератора остановились часы. Он спрашивает у другого — и у того остановились... Забавно выйдет.

— Но ведь мало же тут забавного, помилуйте! — решился протестовать Фурман, под детский плач хозяина.

— А мало, так прибавьте от себя — уж это ваше дело. Ведь прибавить можно-с? — обратился Ольхин уже к дяде, как бы по праву его литературной собственности на этот сюжет.

— Можно, разумеется! — захлебнулся по-своему Е. П.

Потом еще несколько раз подвертывались сюжеты в том же роде. Вилку ли уронят, или пробка выскочит из бутылки и хлопнет лакею по лбу — сейчас Ольхин делает знаки рукою, записывая на воздухе то, что Фурману предстояло записать в памятную книжку.

Наконец, началось главное, зачем съехались — чтение романа. Глаза Ольхина пошли усиленно подсматривать за всеми — так и забегали по комнате. По их выражению было ясно, что он решительно не понимал ни слова из того, что читалось.

С издателями, даже редакторами журналов, это случается, как мне доводилось убеждаться впоследст-

вии; но на первый раз оно мне показалось очень забавно, гораздо забавнее сюжетов для Фурмана. Кукольник искал возможность выразить одобрение и никак не мог. Приятно улыбнувшееся лицо Ольхина (как, дескать, все это хорошо: известные литераторы, один читает удивительную вещь, другой ей удивляется) начало переходить в сосредоточенное, угрожая перейти в строгое: «Что ж, мол, это такое? слушающий известный литератор не удивляется! Нестор Васильевич не удивляются! За что же я деньги заплачу?» Но Нестор Васильевич по малом времени кое-как уловил-таки возможность удивиться и расшатать себе туловище одобрительным плачем. Среди совершенно невозможной в Петербурге уличной сцены, где несуществующий петербургский уличный мальчик (le gamin de Pétérsbourg) ночью спасает из обломавшейся кареты дочь какого-то влиятельного князя (по современным условиям цензуры могшего даже показаться великим), раздается крик другого французского уличного мальчика: «Сенька, отдай мне! У тебя хоть собака есть, а у меня ничего нету!» Это было признано за чисто шекспировскую черту нравов петербургских маленьких французов. Долго потом Нестор Васильевич не переставал твердить сквозь слезы на все лады: «Сенька! у тебя хоть собака есть! Ай да Ковалевский! Молодец! Сенька! у тебя хоть собака...»

Испытание кончилось приговором в пользу автора трех тысяч рублей за роман, в котором, и то ночью, успел появиться один Сенька, но где долженствовало пройти все население Петербурга, не только ночью, но и днем, ради чего и определялся размер в шесть частей, а название давалось: «Петербург днем и ночью». По-тогдашнему, сделка была блистательная.

Но «анафемский роман», как называл его сам автор, должен был быть написан; а это не так-то легко было сделать человеку, не только не знавшему того, о чем он взялся написать 6 частей, но и просто не знавшему, о чем он писать будет. Роман превратился в кредитора, который преследовал его по пятам. Он завидовал людям свободным от обязательства написать роман, как самым счастливым в мире; накидывался на знакомых за то, что они не помогают ему писать: «Хоть бы что-нибудь рассказали! — говорил он с отчаянием: — Ведь ходите же вы по улице, ездите на извозчиках; ну, и слушали б, расспрашивали,

смотрели б... А то ведь и дела нет никому, что я должен писать!» Он даже осыпал упреками своего кадета-черногорца: «Ты чего сидишь, ничего не делаешь? Сходил бы в харчевню, подслушал, о чем там говорят. Тебе можно — тебя за солдата примут. А я с мужиком заговорю, он сейчас шапку снимает; мне ничего ракалия [18] не скажет»...

Доморощенные «Тайны», предпринятые как доказательство, что мы не лыком шиты, выходили сами шитые лыком... Гораздо позднее, под названием «Петербургских трущоб», им суждено было сделать имя г. Всеволоду Крестовскому [19].

Помню неудачную попытку покрыть другой проигрыш драматическою формой. Вдохновение шло от немало известного в свое время начальника репертуарной части в театрах, тоже игрока, Неваховича [20],— может быть не без задней мысли: обеспечить ею возможный выигрыш.

— Уж вы только напишите — мы все сделаем: драма пойдет! уж мы все сделаем! — распинался и моргал Невахович. Он всегда моргал и всегда распинался, что какие-то «они все сделают»...

В драме уже выступали не уличные, а клубные и салонные герои; главный герой был игрок, как и автор, и если не сочинял, когда проигрывался, драм и романов, как автор, то искал, как и он, золото; а найдя золото (чего не удавалось сделать автору), разражался монологом, который давал возможность Каратыгину расточить избыток своего могучего голоса, а автору — получить гонорар.

«Я буду гнать и загоню это презренное общество (имевшее низость требовать, чтобы платили долги) в болото, как стадо баранов, и потоплю!» — должен был вопить знаменитый трагик, и презренное общество должно было потрясать театр рукоплесканиями по поводу того, что оно презренно...

Так как участь пьес гораздо более была в руках этого царя Александринской сцены, даже когда он выходил из бутафорской порфиры [21], чем от тех, которые «все делали», то необходимо было знать, как думает Василий Андреевич о драме; а чтобы не услышать самому, что он о ней думает дурно,— дядя поручил мне побывать у Каратыгина. Как и вся молодежь, воспитанная еще на преданиях классической красоты движений и форм, размеренного произношения стихов

и рассчитанного впечатления монологов, я был поклонником этого последнего сценического виртуоза по всем этим частям, а потому не без приятного трепета взялся исполнить поручение. Предстояло не с высоты театрального помоста, а лицом к лицу видеть человека, во всякое представление завладевавшего театром. Про него говорили, что он и перед и после представления владел им. Закон, писанный для других актеров, для него не был писан: он являлся на репетиции в шляпе, репетировал сидя, остальные подобострастно стояли или поплачивались за неподобострастье, как Самойлов, которого держали в черном теле. К мелкой сошке Каратыгин обращался не иначе, как: «Эй ты, шут! начинай, что ли!» или: «Чего ж ты, дубина, орешь? не можешь говорить тише, когда реплика моя!» Он брал роли, какие ему нравились, и отвергал те, которые были не по вкусу; особенно не допускал мысли — изображать лиц антипатичных. Только для королей и делал исключение — играл Людовика XI, и зато играл превосходно. Игрок новой драмы был, по принятым понятиям, симпатичен. Оставалось знать: по вкусу ли он?

Каратыгин жил на самом краю Невского проспекта, у Знамения, что в сороковых годах было чуть не на краю света. По ту сторону старого, узкого и мрачного, с гранитными почерневшими башенками Аничковского моста, все уже казалось краем света.

Я отправился почему-то вечером, и мне пришлось отыскивать в тускло освещенной, широкой, а за мостом и совсем пустынной улице, дом, где жил Каратыгин. Даже извозчик взроптал: «Очинна уж далече заехали! — говорил он: — без людей как быдто б и боязно!» Это на Невском-то проспекте! Дома номеров не имели; надо было искать по имени владельца. Когда я наконец доискался и позвонил, мне не сразу отперли. За дверью послышалось сперва какое-то движение, потом чьи-то торопливые шаги, и когда все утихло, только тогда дверь осторожно приотворилась.

— Кто там? — спросил меня нерешительный голос.

В полусвете лестницы я различил в прихожей чью-то выглядывавшую голову. Голова эта мигом спряталась, опять послышались шаги и кто-то грузно повалился на кровать, которая скрипнула.

— Вам кого угодно? — спросил меня прежний голос.

— Василия Андреевича Каратыгина. Могу я его видеть?

— Они нездоровы... Да вы не из театра будете?

— Нет, не из театра. Я по своему делу.

Мой ответ и офицерская шляпа с пером, как тогда носили, видимо, послужили в мою пользу. Дверь отворилась совсем.

— Пожалуйте. Я спрошу барина. А как доложить?

Я себя назвал и прибавил от кого.

Послышался шепот; опять скрипнула кровать, и тяжелые шаги направились из-за перегородки осторожно в мою сторону; хорошо известная величавая фигура Каратыгина, на этот раз не в порфире, но запахнутая поношенным халатом, без всякой величавости предстала передо мною.

— Прошу меня извинить... Вы ведь не из театра? — услышал я повторенную ту же настойчивую фразу голосом, гремевшим на сцене: «Здесь император твой и папа!!»,— а в этой прихожей спускавшимся почти до шепота.

— Пожалуйте. Извините. Я тут прилег было у себя в спальной (за перегородкой прихожей была спальня этого, как всем хорошо было известно, богатого человека); потому что, знаете ли, я сказываюсь больным. Когда вы позвонили, я подумал: не из театра ли прислали свидетельствовать? и на всякий случай прилег. Не платить же штрафа в самом деле! Сегодня идет — вы, конечно, видели на афише (он назвал переводную французскую мелодраму). Ну, и в ней есть роль мерзавца брадобрея Людовика XI, Оливье-черта!! Они хотели, чтоб я играл эту роль! Посудите сами: мне (тут заговорил опять император и папа) — мне... играть роль отвратительного лица, черта!! Посудите! Она идет Ивану Ивановичу Сосницкому; но мне ее играть не подобает. Притом она даже и не главная... Я сказался больным... На меня злятся — афиша испорчена... Как раз затеют неприятности... А вы пожаловали насчет пьесы?

— За ответом: согласны ли взять главную роль в пьесе?

— Я не отказываюсь. Роль имеет хороший монолог — и заключительный: это очень важно. Для начала, пьеса вашего дядюшки обещает... и я готов содействовать... Так и передайте. Но играть не обещаю скоро. Надо, чтоб Иван Иванович окончательно удержал

за собою черта. А до тех пор я болен... Впрочем, я не отказываюсь: монолог хорош... и заключительный — впечатление перед вызовами...

Проводил он меня с теми же предосторожностями до выхода и отскочил от двери подальше, когда она отворилась, точно штраф тут уж сейчас и стоял за нею.

Цель постановки пьесы — скорейшее получение гонорара — не достигалась, и потому Е. П. письменно затребовал ее обратно. Потом он сам радовался, что знаменитый монолог с баранами не был выкрикнут на весь театр Каратыгиным. Тот же игрок благополучно перешел в повесть, без лишней огласки. Весь интерес повести заключался в том, что целомудрие цензора не допустило игроков в Петербурге, они переведены были красными чернилами в Баден-Баден, причем петербургские ваньки, как законами нравственности допущенные, продолжали благополучно возить за двугривенные от Казанского моста в Среднюю Подьяческую, а белые летние ночи озарять сцены на Крестовском острове. Цензурные строгости во время оно нередко проявлялись шалостями.

Когда бывали выигрыши — а они бывали,— тогда-то развертывалась не знавшая расчета натура Е. П.: он обдаривал родных, угощал обедами, ужинами, мороженым близких, набирал билеты в театры, наконец, просто навязывал деньги.

— Берите, господа, кто хочет, покуда есть,— кричал он весело, раскрывая полный бумажник,— после и захотите, да не будет...

И хотевшие брали. Но если отдавали, он сердился.

— Да убирайтесь вы совсем! — протягивал он брезгливо.

Кружок молодежи, только что успевшей встать со скамей корпусов и университетов, а не кружок сверстников доставлял близких людей этому человеку, бывшему на 12—15 лет их старше. Сколько так называемых «петрашевцев» собиралось у него по вечерам и какая совершалась тут уголовщина, вроде чтения известного письма Белинского к Гоголю... Тогда это было преступно вообще; но если подпоручикам и коллежским регистраторам оно было просто преступно, то украшенному орденами штаб-офицеру, каким был Е. П., сугубо преступно. И, конечно, одна счастливая случайность борьбы двух соперничавших ведомств,—

из которых одно, по обязанности своей доносящее, не успело донести, а другое донесло из любви к искусству,— спасла нашего путешественника от поездки на ту сторону Невы, в место покрепче его киргизского укрепления [22]... Шеф жандармов (граф Орлов [23]) пообещал «согнуть в бараний рог» всякого, кто посмеет раздуть дело, открытое министром внутренних дел (Перовским [24]); никто не усомнился, что обещание будет исполнено,— и дело раздуто не было.

Между тем известность Е. П. Ковалевского возрастала, и как путешественника (он был командирован с поручениями уже совсем дипломатическими и уже к нему прикомандировались ученые и техники,— в Африку и в Китай), и как писателя (он описал и Африку и Китай) [25].

Но однообразные успехи оседлой жизни были не по нем: на месте его заедала хандра. Забившись с ногами в глубокое кресло, закрыв ладонями лицо, он только протягивает отчаянно: «Ах, да какая, однако же, анафемская тоска!» Внимательное начальство пытается от времени до времени развлечь его занятиями, вроде назначения председателем экзаменаторской комиссии в младших классах Горного института: по цвету кантика он был горный инженер и, следовательно, обязан был исполнять поручения «по своему ведомству». И вот его развлекают бедные мальчики — порют по Кайданову [26] об ассириянах и вавилонянах, или по Гречу [27] — об исключениях при склонении имен существительных...

Не обходится при этом и без забавных случаев. Так, однажды, слышит он из-под своих ладоней, которыми закрываться тут было как раз у места, что кадетик произносит особенно знакомое ему слово — «хандра».

— А вы знаете, что такое хандра? — спрашивает он.

Кадетик перепуган: председатель придирается; пропал хороший балл!

— Да вы мне скажите совершенно откровенно, не бойтесь, знаете или нет?

— Не знаю-с, господин полковник,— сквозь слезы отвечает мальчик.

— Счастливый вы человек! И вперед не знайте! Я вам ставлю полный балл.

Но счастливых людей между людьми зрелыми он не выносил. Здоровье и счастье он считал до некоторой степени личною обидою: «Такой он жирный, здоровый, счастливый! Ах, какая скотина!» — говорил он про таких людей. Есть люди, чихающие с особенным наслаждением, громко и по три раза кряду.

— Вот счастье — как чихает! Мне никогда так не чихнуть! — завидовал он.

И надо было видеть, как преображался этот скучающий, недоспавший за картами, неудовлетворенный человек, когда ему вынимался счастливый билет командировки, в которую он мог кинуться вниз головою. Ноги утрачивали способность свертываться в кресле, веселый голос оглашал комнаты; он суетился, объезжал знакомых; на выданные подъемные делал закупки, опять брал билеты в театр, давал деньги и земли под собой не слышал. Но особенно любопытно было видеть его перед началом Крымской войны в Триесте, где была тогда главная квартира воинствующей славянской идиллии, с крестом для св. Софии в руках («Пади пред ним, о царь России — и встань, как всеславянский царь!»); слышать его оживленные возгласы на лестнице Hôtel de la Ville *, шутки с кельнерами и хорошенькими кельнеринами и знать при этом, что с раннего утра до поздней ночи пакеты, депеши, дипломатические курьеры приезжали и уезжали; входили к нему в номер и стремительно оттуда выходили, даже консулы наши, генеральный и простой, поднятые им на ноги (а поднять на ноги русского консула — такое же чудо, как воскресить Лазаря [28]); надо было быть свидетелем, какими выходками, почти ребяческими, сопровождались дела самые серьезные,— и только тогда можно было составить себе понятие, на что была способна такая натура — неутомимая и настойчивая за делом, полусонная и равнодушная, когда ее оставляли без дела.

Вот одна из выходок, развлекавших Е. П. в Триесте. Посол наш в Вене, барон Мейендорф [29] (софийский крест и немецкий посол как-то уживались вместе), не только не помогал, но где мог — подставлял ножку такой его «фуй, русской» деятельности...

— Постой же! Я знаю, что сделать, чтобы ты меня, немец, помнил! — решает он,— и, добившись у ме-

* Отель де ля Вилль (*фр.*).

стных властей того, чего не мог или не хотел добиться Мейендорф: почетного пропуска через австрийские владения команды русского военного судна, застигнутого блокадою англо-французов,— он дожидается ночи, чтобы послать об этом шифрованную депешу барону, который страдал бессонницей.

— Он засыпает только к рассвету, а его тут как раз и разбудят,— захлебывался смехом Е. П.

Но идиллия кончается, а трагедия тем временем идет на Дунае и сосредоточивается под Севастополем. Он меняет идиллию на трагедию и высиживает Севастопольскую осаду в свите главнокомандующего, кн. Горчакова[30]. На австрийских заставах вычеркивается чин капитана перед его именем, но записывается чин полковника, и не одному Ковалевскому, если он имел несчастье быть полковником, приходилось испытать неудобство этого чина при переезде границ Австрии.

Под севастопольскими ядрами обычный юмор не покидает Е. П. Про известную рассеянность главнокомандующего он, между прочим, рассказывает, что когда за картами тому говорят: «Князь, вам ходить»,— то вместо того, чтобы пойти с карты, он встанет и сам пойдет. Продолжительная осада его утомляет, и он говорит военным: «Вам хорошо — вы по крайней мере знаете, что вас убьют, а тут сиди и жди, когда кончится...»

С воцарением Александра II скитальческая жизнь Е. П. кончается. В качестве директора департамента Министерства иностранных дел,— который хотя и называется азиатским, но есть в то же время африканский, американский, австралийский, славянский, греческий и т. д.,— и в чине генерала настает для него оседлость, в казенной квартире, с курьером в прихожей, с обязательной потерею времени на прочтение и подписывание того, что пишется и, доколе стоят мир и департаменты, все не допишется... Конечно, это очень скоро становится для него ассириянами Кайданова; он рвется вперед, где деятельность подвижнее и шире, и уже портфель министра мерещится его воображению.

— Буду министром! — говорит он,— буду! и конституционным! — стуча по столу с опостылевшими бумагами.

В то незабвенное время конституция мерещилась многим уже на пороге.

Е. П. кидается в погоню за своим призраком горячо, нерасчетливо, как кидался во все, начиная с карт, зарываясь — и, наконец, зарвался: министр иностранных дел, князь Горчаков, избравший его, по памяти еще первого знакомства в Италии, ближайшим сотрудником в качестве знатока славянского мира, который самому князю представлялся так смутно, что он без посторонней помощи не находил славянских земель на карте,— этот министр начал тяготиться нескрываемым влиянием на него директора. Директор с своей стороны тяготился министром — и они довольно скоро расстались. Ковалевский перешел в сенат, где опять стал закрываться ладонями, оставив живой след своей деятельности в азиатском департаменте, в угаданных им и подготовленных на свое место людях, в том числе в Н. П. Игнатьеве [31].

Время его управления не походило на то, которое ему предшествовало, и едва ли, которое последовало за ним, на него походило. Славяне, персы, туркмены, греки, бухарцы, до тех пор знавшие только спину департаментского швейцара, смело и свободно шли в кабинет директора, вместо того, чтоб ожидать на морозе и дожде, когда он покажется у подъезда, закутанный в шубу, и примет от них прошение, которое прочтет столоначальник. Чтобы увидать Восток в лицах, следовало побывать у Егора Петровича; чтобы наслушаться пререканий славян между собою, понять причину их разрозненности, а оттого и приниженности в среде других народностей,— нужно было посидеть у Е. П.

— Ведь вы сами сожрали бы друг друга, если б вас не жрали турки да австрияки! — корил их заслуживший право на горькую правду директор.

— Вы все подлецы и предатели! — выговаривал он жесткие слова, не стесняясь,— выпрашиваете и продаете! Ничего вам не будет! я вас знаю! меня не проведете!

Зато если кто стоил заступничества или поддержки, он в какое бы время ни было, хоть ночью, отправлялся к Горчакову, иной раз тащил, к великому ужасу последнего, прямо в его приемную какого-нибудь загорелого, оборванного черногорца, от которого чопорный князь сторонился, как от зачумленно-

го,— и этим верным средством достигал удовлетворения: министр соглашался на все, только бы «cet empesté de slave» * убирался.

Противоположность привычек и воззрений этих людей, поставленных у одного и того же дела, порождала любопытные сцены. Князю, например, не нравился мрачный тон донесений консулов из Турции. А донесения эти в извлечениях, иногда целиком, отсылались на прочтение государю: менее мрачные — всегда целиком.

— Vous savez, mon cher ** Егор Петрович,— это портит общее приятное настроение и только нашего доброго государя огорчает,— говорил Горчаков.— Зачем ему это знать? Я вас прошу, внушите — конфиденциально, разумеется,— если хотите даже частным образом,— так, от себя,— чтобы они не смотрели сквозь такие темные очки...

— То есть, вы хотите, чтобы они смотрели сквозь ваши, князь? (Горчаков постоянно ходил в очках.) Мне бы хотелось, чтоб они без всяких очков смотрели, простыми глазами. И внушать им я могу только это. От всего же другого отказываюсь... Да я просто и не умею так написать...

— Vous le prenez trop au sérieux, mon bon*** Егор Петрович! Написать можно прекрасно, в шутливом тоне.

И князь становился в позу, произносил фразы, одна красивее другой.

— Заключить можно бессмертным изречением Фигаро: «Pac'e gioja!» **** Ну согласитесь, что это выйдет премило...

Тут Е. П. уже не выдерживал и захлебывался своим истерическим смехом.

— Князь, вы столько писали на вашем веку премилых вещей и так много произносили прекрасных фраз, что я вас попрошу: пожертвуйте этими! А я ничего моим консулам писать не буду...

— Как хотите. А жаль,— настаивал Горчаков, становясь в позу: — помните, господа, бессмертное изречение Фигаро...

---

* Этот вонючий славянин *(фр.)*.
** Знаете, мой милый *(фр.)*.
*** Вы принимаете это слишком всерьез, милейший *(фр.)*.
**** Мир и радость *(ит.)*.

Но Е. П. стоял на том, что консулам его помнить не следует, и Pac'e gioja оставались при князе.

Такие люди не могли кончить иначе, как разойтись при помощи сената...

Грустно прибавлять к этому, что ненастигнутый призрак министра не рассеялся, а только сменился в стремлениях Е. П. более скромным, но тем более неотступным призраком, не только не конституционного, но даже не простого, а уже товарища министра, а не то обер-прокурора Святейшего Синода. Дошло до того, что во всяком назначении на эти должности помимо него он начал видеть для себя оскорбление, а в назначаемом негодного человека.

— Прошу покорно! такого подлеца назначить! — кричал он в смешном негодовании,— или — такую скотину!

— Да вы отчего же его считаете подлецом? — спрашивали его,— вы его знаете?

— Я его совсем не знаю,— отвечал он уже своим протяжно-равнодушным голосом,— только наверное подлец, или скотина...

И разговор оканчивался смехом.

Смехом или шутками кончалось с ним многое, что в других возмущает.

Помню я, как в Одессе, еще воронцовской, еще единственном уголке Европы в России, извозчик, вероятно, тоже чувствовавший в себе уголок европейца, наткнулся на тумбу и чуть не вывалил нас из дрожек. Е. П. на него крикнул.

— Извините, барин, я близорук,— оправдывался извозчик.

— Каково? он смеет быть близоруким! — обратился ко мне дядя; но в ту же минуту сам захлебнулся смехом на мой смех.

В другой раз он прогнал от себя добродушнейшего слугу Федора. Его спрашивают, за что он прогнал?

— Представьте, что этот человек со мною сделал,— рассказывал Е. П.— Возвращаюсь я домой очень поздно (что значило — очень рано: на рассвете, из клуба и, может быть, после проигрыша). Спать хочется смертельно. Звоню, звоню, звоню — не отпирает!.. Наконец-то отпер. И что же вы думаете? Вместо того, чтоб поскорее снять шинель, бросается меня целовать и уверяет, что Христос воскрес! А? как это

вам покажется? — Ну, брат, говорю, уж если Христос воскрес, так сию же минуту убирайся.

— И прогнали?

— Прогнал.

— А может быть, Христос и в самом деле тогда воскрес?

— И не думал! Это Федору спьяна показалось.

Федор действительно многое делал спьяна; но надобно сознаться, что повод к его изгнанию был столько же забавен, сколько и жесток.

На вещи серьезные тоже случалось Егору Петровичу смотреть как на такие, с которыми стесняться нечего. Так, в приложении, будто бы научном, к своему беллетристическому описанию поездки в Африку, он сболтнул, что по пути к истоку Голубого Нила он заходил туда, где нога человеческая не бывала. Сказано это было более для красоты слога или, как говорят итальянцы: «dico per dire» *, а мы говорим: *«это я только так сказал»*. Но наша петербургская Академия наук, как не русская, не знала, что можно говорить «только так», и поверила; да мало того, что поверила — напечатала, и еще не по-русски об этом в своих «Записках». Боже, какой гвалт подняли на всех языках и в «Записках» всех академий, какие есть на свете, путешественники с целого света, которые только из-за того и бьются каждый, чтоб его нога хоть один шаг лишний ступила туда, где до нее не ступали. И вдруг, чтоб какой-то русский путешественник топтался там, где они не топтались! Да как он смел! Пусть он представит доказательства! Мы ему не верим! и т. д. Того, кем поднята была ученая буря, она, конечно, и не коснулась. Он академических записок не читал и об ее существовании узнал только от задетой за живое нашей академии. Академик Бэр, перепуганный и с ворохом печатной бумаги со всех концов вселенной предстал в один несносный день перед Е. П. и объявил, что тот обязан все это прочесть и на все это ответить.

— Как, и вы думаете, что я все это стану читать? да еще и на все это отвечать?! Нет уж, отвечайте сами, если это вас занимает, а мне до этого ровно никакого нет дела,— огорошивает его Е. П.

---

* Сказал, чтобы сказать (*лат.*).

Бэр думает совсем иначе: дела всех больше до этого Е. П.; а потом еще и честь русской науки! Разительнее последнего довода он ничего не находит и собирается читать Е. П. свою печатную бумагу. Тот, видя, что дело плохо, просит лучше оставить: он, пожалуй, так и быть, сам прочтет,— прочтет и ответит. Это было уже тем лучше, что Бэр, наконец, ушел; а там можно было и не читать.

Конечно, он ничего не отвечал, потому что ничего не читал; конечно, Бэр бегал по несколько раз в неделю напоминать о чести русской науки, которая так-таки и осталась бы поруганною, если б на ее счастье двое каких-то ученых немцев не сцепились между собою уже из-за собственных ног. Их принялись травить другие, и в общей грызне про ногу русского путешественника забыли...

На вещи практически серьезные Е. П. смотрел иначе. Это доказали, между прочим, его заботы о судьбе Общества литературного фонда. Оно было последним делом его жизни, и в него он положил все те свойства своей неисчерпаемой подвижности, которую до конца не успел расточить на разнообразных житейских поприщах. И если мысль образовать такое общество принадлежит Дружинину [32], то ее воплощение и укрепление на ногах положительно дело рук Ковалевского. Он провел устав и получил приют для собраний членов благодаря своему влиянию у брата, министра народного просвещения [33], и был первым председателем комитета, оставаясь до конца жизни не только руководителем, но и первым работником: не раз он составлял протоколы за секретарей, когда ими были столько же превосходные литераторы, сколько никуда не годные письмоводители, и переписывал сам набело. Оживление, как везде, овладевшее им и здесь, сообщилось другим, а личная привлекательность и ни в каких случаях не покидавший юмор сделали то, что партии, в литературе непримиримые, приятельски собрались около его председательского стола. Собственно, и стола такого не было, а садился всякий где хотел, пили чай, с виду будто и шутили, но на деле решали вопросы вовсе не шутя Дверь и кошелек Е. П.,— последний, когда милостью английского клуба бывал хоть мало-мальски оставлен не пустым,— были во всякое время открыты просящим и предупреждали рассмотрение просьб в комитете; так же как

связи в высших служебных сферах всегда помогали так или иначе пристроить просителя на должность с жалованьем. В его гостиной сливались потоки до тех пор еще не сливавшихся отборных сил администрации и литературы. Здесь отмеченный на министерский пост Головнин селезнем переваливался за Чернышевским, уловляя его руку, которой тот ему не давал пожать, а настоящие министры, и первый в их числе Горчаков, сохранивший добрые личные отношения после разрыва служебных,— испытывали в присутствии пишущего народа ту особенную приятность чего-то не совсем позволительного, какую испытывают степенные люди в обществе свободных женщин; писатели, с своей стороны, получали возможность созерцать вблизи тех, которые представлялись им только на расстоянии... Одних Иван Сергеевич Тургенев обворожал своим парижским наречием, других Островский с Писемским — искусным чтением, всех — Горбунов[34] отборнейшим меню рассказов, каким особенно редко удается лакомиться министрам...

Портрет Е. П. Ковалевского в зале общих собраний литературного фонда, да уже не достигающее его слуха скромное спасибо за помощь на проценты с капитала его имени от нескольких бедняков умственно трудящейся молодежи, которую он так любил при жизни — вот следы по нем на этом мало заметном, но полезном поприще. На заметных и того не осталось... Правда, осталась о нем добрая память всех честных и порядочных людей... *

II

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА

Было время, когда в понятии русского общества поэзия, живопись и музыка воплощались в тройственном созвездии Кукольника, Брюллова и Глинки. То

* На поприще литературном от Е. П. осталась книга «Гр. Блудов и его время»[35]. Тут он является талантливым портретистом крупных исторических лиц царствования Александра I.

— Ты о них так говоришь, как будто знал их лично,— выразился покойный государь Александр II, принимая автора книги.

Эти-то лица, а не Блудов, на котором он и остановился,— послужили поводом к сочинению, ограничившемуся первою частью. Второй части (собственно о Блудове) он и не намеревался писать.

было братство творцов, соперничавшее в превосходстве и помогавшее друг другу его достигнуть. Кукольник, по собственным словам, нарочно выводил из терпения Глинку, бракуя то, чем он приходил ему хвалиться, и таким приемом вызывал его на достижение совершенства.

— Скверно, Мишенька! — говорю бывало (рассказывал Кукольник).— Можешь сделать лучше, коли захочешь...

— Не могу и не хочу! и тебя знать не хочу! Не приду тебе показывать никогда больше!

— Ой, придешь, Мишенька! Ей-богу, придешь! Сделаешь гораздо лучше — и непременно придешь!

Через несколько дней и точно приходит.

— Ну, слушай теперь! говорит: — в последний раз пришел. Скажешь, скверно,— никогда больше ничего от меня не услышишь.

Заиграл — пропадать приходится, так хорошо.

— Умница, Мишенька! говорю: — дай поцеловать себя. Я знал — что можешь лучше...

И так-то всякий раз: чем больше рассердится, тем лучше сделает. «Вот назло же тебе хорошо сделал! — говорит: — не смей ругаться!»...

Не знаю, так ли поступал Кукольник с Брюлловым. Тот был своего рода Саваофом этой троицы, и если кому из них виделся впереди памятник, то ему, конечно, всех ближе. Как удивились бы они, если б кто-нибудь сказал тогда, что памятник ждет одного Глинку.

Да, таким людям после смерти ставят памятники, а при жизни творят пакости невероятные: калечат их творения на сцене и на концертных подмостках; убивают самую веру в их призвание и устраивают падение там, где их истинная сила... Родятся они всегда раньше срока, эти великие недоноски века, опередившие его и ему недоступные. Идущие навстречу поколения их чествуют, но большею частью уже на могиле...

Брюллов успел заживо вкусить славы. Кукольника успех на руках носил; только гению Глинки «за могильною чертою» достались и «гимн времен», и «благословение племен»... Глинке выпало на долю быть недоступнее уж и потому, что его искусство, музыка, была менее других искусств доступна времени, выкормленному на молоке итальянских опер и купле-

тов Верстовского[36]. Еще «Жизнь за царя»[37] кое-как переварилась таким слабым желудком, но «Руслан» причинил ему положительную индижестию[38]. Не только офицеры, которых великий князь Михаил Павлович штрафовал назначением в Большой театр, когда давалась эта опера, но сами тонкие ценители и судьи, друзья композитора, не разумели новых откровений величайшего творения их друга, «Руслана», и произнесли ему приговор: «mon cher, c'est une oeuvre manquée»! *

Это тому-то «Руслану», за которого особенно и поставлен памятник Глинке!

Я познакомился с Глинкою, когда знаменитое созвездие распалось. Брюллов уже был в могиле, а Кукольник — чиновником особых поручений в военном министерстве. Сверстники М. И. обносились в своих понятиях, высохли в чувствах. На смену им подходило другое поколение и своим молодым восторгом пробуждало его гений. С одним из таких новопоставленных он проживал в Варшаве, куда бежал от петербургских шипов к розам хорошеньких полек... и их «мазуре́чкам». Больной нервами, не говоривший ни о чем, как только об этих нервах («посмотрите, как они у меня болят — видите? неужто не видите? Я — так вижу ясно!»), он хандрил, не пел, не играл, особенно — не сочинял.

— C'est un génie manqué! ** — отпели его светские попы искусства.

Но не отпела молодежь. И с нею он позабывал хандрить; не так уж ясно видел, как болели нервы; опять пел, играл и даже фантазировал на фортепиано; а там немножко попробовал и сочинять. Под рукою стакан лафита, опоражниваемый и тотчас доливаемый, молодые верующие лица кругом, женщина подле (какая-нибудь, но непременно женщина),— вот та обстановка, которая способна была снова озарить его осень.

— С вами я молодею, господа! — говаривал он,— вы, что ли, приносите мне молодость? Даже мускулы ощущаю...

Ощущать мускулы составляло для него поверку своих физических сил, и поверку эту он производил

---

* Милый мой, это неудачное произведение *(фр.)*.

** Это погибший талант *(фр.)*.

на том самом спутнике, который его отвез в Варшаву и теперь должен был привезти из Варшавы. Спутник этот особенной точностью не отличался, а мазуречки и польки не особенно гнали от себя композитора, и ждать его возвращения приходилось долго. Наконец-таки дождались. Дождались и решили созвать близкую молодежь на квартире привезшего, которого М. И., за его юркость, прозвал «егозкой».

М. И. дал себя охотно привезти, даже говорил, что рассчитывает на «порцию удовольствия» (его любимое выражение) от вечера с молодыми друзьями. Настроили рояль, подогрели пару бутылок лафиту и нашли какую-то женщину постоять у рояля.

Мне приходилось в первый раз увидать творца «Руслана», и я с трепетом поднимался по лестнице. В комнате уже было изрядно накурено, когда я вступил в нее. Прямо против двери, за раскрытым всею крышкою роялем я увидел небольшого, плотного, с высокой грудью человека лет за сорок, без сюртука. Полоска темных бакенбард как будто обвязывала его слегка одутловатое лицо с пренебрежительными, не то кислыми губами, над которыми нависали жидкие усы. Глаза, наполовину прикрытые веками, светились огоньками, поминутно прорывавшимися наружу. Голова, в темных, густых и гладких, довольно длинных волосах, на открытой короткой шее, была несколько закинута назад... От быстрого движения коротких крепких рук по клавишам мелькали рукава рубашки. Недопитый стакан и женщина были подле.

Да, это был наконец он.

Он кончил и дохлебнул стакан, который ту же минуту был долит «егозкой»; потом обвел комнату почти совсем прикрытыми глазами и, увидав вошедшего со мною очень молодого и красивого юношу, прямо направился на него.

— Какой милый образ! — произнес он, расставляя руки,— позвольте вас облобызать!

Затем он обратился к присутствующим: «Полагать надо, изъяны немаловажные нашим барыням чинит. Как оно по науке-то, милостивый мой государь егозка, выходить должно?»

«По науке» было изречение какого-то школьного учителя Глинки, Калмыкова, языком и приемами которого он говорил, когда бывал в духе.

— По науке,— подхватил «егозка» (на нем лежала обязанность давать заключения на вопросы «по науке» вроде того, как дают их «по существу»),— по науке, я полагаю, непременно чинит. А Калмыков что говорит по этому поводу?

— Говорю (тут Глинка заморгал глазами и заговорил сильно на *о*, выжимая из себя каждое слово),— говорю и повторяю: се есть бич, ниспосланный небом на мужии людстии. Сказал — довольно!

И, вздернув плечи, заложив большие пальцы рук за подтяжки, с закинутою назад головою, козырем пошел по комнате. Потом хлебнул из стакана, взял руку женщины, ласково погладил — и опять за рояль.

— Это будет для вас,— шепнул он ей и сладко закатил глаза.

«Когда в час веселый откроешь ты губки...»

запел он... и кончил:

«Хочу целовать, целовать, целовать!..»

да так выразительно, что женщина уже было потянулась к нему, приняв это за личное желание композитора. Но он удовольствовался произведенным впечатлением и не нанес поцелуев действием.

Опять хлебок вина. Шопен и Глюк [39]— его любимцы (кроме себя, он только их и играл) выступают на клавиши. За ними идет уже что-то неопределенное, неуловимое, прихотливо-вдохновенное, такое, от чего занялся дух у всех нас и что унесло нас куда-то,— неведомо куда,— из холостой накуренной комнаты петербургского холостяка, с прииска́нною Бог знает где женщиною, с роялем, нанятым помесячно, но превращенным коротенькими мелькающими по его клавишам руками в источник властных, неслыханных, все покрывающих звуков... Пальцы словно бредят, мечтают... импровизация призраками скользит и исчезает, набегает снова, опять исчезает и набегает, покуда пальцы не соскользнут с клавишей и руки не повиснут...

В игре Глинки не было ничего декоративного, концертного — ничего напоказ. О методе, беглости, силе,— всего этого приклада публичного исполнения, ни на минуту не приходила мысль, когда за роялем сидел Глинка. Это было обаяние высшего разряда. Блестящих и особенно гремящих пианистов он не вы-

носил: «Звучно,— говорил он,— однако же не *благо-звучно»*. Когда пробовали вызвать его сказать что-нибудь о Листе,— то рассказывал за него Калмыков: — «Говорю — лицом худ, волосом длинен и белокур. Сел: в одной руке жупел, в другой дре-колья. Взы-грал: зала потряслася и многие беременные женщины по-выкидывали. Сказал — довольно!»

Стакан опорожнен; снова долит; Глинка опять козырнул по комнате, и уже опять у рояля — поет в виде отдыха.

— Двадцать лет у меня с плеч сегодня, господа! — говорит он.— Егозка, господин, что докладывают мускулы?

И он принимается тузить хозяина.

— Что докладывают? спрашиваю — по науке...

По науке оказывалось, мускулы докладывали отлично.

— Говорю: удостоверился — довольно!

Удостоверясь в мускулах, М. И. окончательно расходился: сел за рояль и начал показывать, какая будет в оркестре сочиняемая им в то время фантазия на «Камаринскую» [40]. Он подыгрывал губами, ударял по клавишам обеими пятернями в пассажах tutti *, пристукивал каблуками, подпевал, подсвистывал и с поразительною образностью передавал движение и краски инструментов... Когда я услыхал впоследствии эту бесподобную по чисто русской забубенности вещь в концерте, то к ней почти ничего не прибавило оркестровое исполнение, даже кое-что поубавило в огне и стремительности передачи.

— А теперь разве чего-нибудь такого, чтоб чуточку чухляндией запахло? — спросил Глинка и затянул:

«Есть пустынный край, безотрадный брег,
Так на севере — далеко...» —

строфы баяна, запрещенные тогдашнею цензурою за то, что были посвящены Пушкину, который осмелился умереть на дуэли...

Это «далеко», как бесконечная, однообразная северная даль, протянулось однообразным звуком и где-то пропало, как она, в бесконечности.

«Все бессмертные — в небесах!!.»

---

* Для полного оркестра (*ит.*).

поднялся, кончая песню, тот же звук, но уже воспрянув к самым небесам, и оборвавшись,— разом упал на землю...

Носовой, разбитый тенор композитора, за который его не взяли бы в хористы, рассыпа̀л такие чары выражения, после которых самые сладкозвучные певцы не смели петь того, что им было спето...

«Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!..»

почти возопил он следом — ария, про которую он говорил: «это моя тоска!» И хоть она написана для женского голоса, после него не было возможности слышать ее, какая бы певица ни пела...

За холостым ужином, в шутках, остротах и выходках всякого рода он не отставал от молодежи, «получая порцию удовольствия» каждый раз, когда удавалось кому-нибудь меткое уподобление или рассказывался веселый анекдот. Сам он таких «порций» доставил больше всех и, между прочим, уподобил сквозному ветру, которого терпеть не мог, певицу Степанову за ее неприятный и резкий голос...

Перед тем как расходиться, его усадили-таки еще за рояль, и он простился с нами романсом:

«Прощайте, добрые друзья,
Нас жизнь раскинет врассыпную...»

и когда кончил:

«И той семье (семье друзей) не изменю
На детский сон не променяю;
Ей песнь последнюю пою —
И струны лиры обры-ва-ю!!»

с одуряющим взрывом на последнем слове, и оборвал аккордом в обеих руках, то, обведя всех огоньками своих глаз, встретил уже слезы на всех глазах...

Таких ночей не выдается по несколько в жизни!

С живым Глинкою этим можно бы и кончить. Но прежде, нежели с ним кончить и, может быть, чтоб лучше с ним кончить, расскажу про вечер, проведенный вслед за тем у другого члена созвездия — Кукольника.

Выше сказано, что он состоял тогда чиновником военного министра. Князь Чернышев[41], по какому-то недоразумению, покровительствовал отечественной

литературе. В его канцелярии начинающие писатели (Дружинин, Лонгинов[42], Салтыков) состояли помощниками столоначальников, а кончающие (Кукольник, Струговщиков[43]) — в четвертом классе. Литература, таким образом, как бы получала свой ночлежный приют.

Но Кукольник, о котором в первый раз швейцар князя Чернышева даже не хотел доложить, а послал спросить у княгини: не приказывала ли она принести кукол для детей *,— был теперь чиновником не только особых поручений, но и совершенно особых затей. Одною-то из таких затей я и был привлечен совсем неожиданно в сослужительство с ним. Просветить подведомственные военному министерству земли Войска Донского каменным углем (антрацитом), из недр их извлеченным руками собственных горных инженеров, и затопить этим углем разом все печи от берегов тихого Дона до еще более тихих Москвы-реки, Яузы и Неглинной — представлялось зрелищем достойным русского Шиллера и отечественного Александра Македонского, как прозвал князь Меншиков князя Александра Ивановича Чернышева, по милости его княгини.

— Как же тот город зовут,— имела она привычку спрашивать,— который покорил Александр? (Он когда-то взял где-то какой-то городишко.)

— Вавилон, княгиня! — обязательно отвечал Меншиков.

— Ах, нет, я говорю про моего Александра...

— Виноват, я полагал — про Македонского.

И вот одним из таких «собственных» инженеров, переведенных, вопреки существовавшим в то время положениям о горных инженерах, но согласно завоевательным вкусам нашего Александра Македонского, был и я. Кукольник держал палочку капельмейстера в этом техническом оркестре, я был чем-то вроде скрипки. Заставать капельмейстера дома было всего вернее «вечером, когда он, по собственному выражению, давал отпуск намозоленному мозгу».

Когда я пришел, он только что совершил свой послеобеденный отдых и сидел, спустивши с постели ноги. Мальчик Сашка натягивал на них сапоги и приговаривал так серьезно, как будто это составляло то-

---

* Рассказано самим Н. В Кукольником. *(Прим. автора.).*

же часть его лакейских обязанностей: «прилетели мухи». А барин, кряхтя и отдуваясь, подхватывал: «мухи». Затем следовал новый стих Сашки и новое подхватыванье барина: «вострухи»...

— А! прошу покорно пожаловать! — приветствовал меня Кукольник и опять обратился к лакею: — Ну, так как же, Сашенька, дальше?

И Сашенька невозмутимо продолжал о мухах.

Хозяин рассмеялся, наконец, своим плаксивым смехом.

— Вас это удивляет? Это наш ordre du jour! * Как только проснуся: «Сашенька! Державина — шутливые!» — и Сашенька начинает. «Квасу!» — и Сашенька несет...

Действительно, Сашенька принес квас, который Нестор Васильевич выпил вперемежку с каким-то еще четверостишием Державина, старческий портрет которого в колпаке висел над диваном. К старику (так он называл Державина) он обращался с набожным благоговением, к Пушкину снисходил, Гоголя не одобрял и к имени его постоянно добавлял — Яновский.

На столе лежали исписанные монологами листы бумаги: четвертый класс не совсем еще угомонил пятиактные трагедии; валялись пробные оттиски затеянной им же «Иллюстрации» [44]. Наполнялась она преимущественно приношениями писателей начинающих или близких знакомых. Он показал и рисунки, тоже принесенные. Жидковато было и то и другое. Потом прочитал, хохоча всем туловищем, свою грызню с знаменитым Фаддеем Булгариным [45], бывшим на то время непременно литературною собакою, кидавшеюся на всякую кость, не ему брошенную, и доносчиком на журналистов. На Кукольника он донес, что тот не говеет и постов не соблюдает. Кукольник намекал ему на взятки, которые он брал с лавочников, чтоб хвалить их товар в «Северной Пчеле» [46]. В заключение он «разносил», по собственному выражению, Белинского.

Заметивши, что его веселость не действовала сообщительно, он остановился.

— Тина жизни от вас далече! — проговорил он с грустью,— и благодарение Всевышнему! Она на дне

---

* Распорядок дня (*фр.*).

житейского моря — вы пока плаваете на его поверхности. Погрузиться на дно — у-у! как тяжело!..

Мы перешли в гостиную, где уже собрались вокруг хозяйки, Амалии Ивановны, уменьшенной мужем в «Мумочку» — женщины белой от пудры и белокурой от Выборга,— домашние друзья: зрелый не по чину штабс-капитан с померанцевым воротником, состоявший членом какой-то эротической городской комиссии, прозванный за то «султаном», да совершенно черный, точно из донского антрацита вытесанный, казацкий майор. Намозоленный мозг хозяина уходил каждый вечер в отпуск к этим людям. Раскрыли стол и разобрали карты. Детский плач Кукольника почти не унимался от острот «султана» и тяжелых, как молот, шуток казака, прозванного «атаманом». Этот атаман не понимал решительно ничего, и надо было вбивать всякое понятие в него, как сваю. Хозяин и вбивал с особенным вкусом.

— Я люблю первобытных людей,— говорил он,— они становятся редки...

«Мумочка» визжала и приговаривала: «Ах, фуй! какой смишной!» — призывая на помощь «Несторхена» всякий раз, когда не в меру русская соль играющих становилась не под силу ее филологии. Несторхен благодушно разъяснял, и маленькие его глазки слезились от смеха...

Напившись наскоро чаю, я удалился. При прощанье Кукольник сам увидел необходимость оправдаться.

— Глупые люди в обиходе нужны,— заговорил он,— только с ними голова вполне отдыхает. Верьте мне, глупость — один из полезных реагентов в жизни...

Непохожи были два вечера двух недавних светил одного созвездия...

Я не стану описывать последующих встреч с Глинкою: все они походили на первую. Расскажу только последнюю, которая на них мало походила.

В начале пятидесятых годов М. И. вернулся из Испании. Из Испании он вернулся гораздо худшим, нежели года два назад из Варшавы. Он состарился, никуда не выходил, брюзжал и гас под старческими недугами и равнодушием общества. Той же самой «егозке» предстояло развлечь его напоминанием о хорошем времени, когда он молодел среди молодых поклонни-

ков. Большая часть их успела пережениться, и первый «егозка». Последнее обстоятельство делало успех предприятия если не труднее, то во всяком случае сомнительнее; жены понравятся — прекрасно,— Глинка развлечется, даже приедет; не понравятся — пуще забрюзжит, закутается в халат и не снимет ермолки с головы ни за что на свете — не приедет. Выбрали из числа молодых супруг таких, которые должны были понравиться (первым условием этого было, что они не напоминали ничем покойной супруги М. И.) и поехали.

Прием поначалу был неодобрителен: хозяин съеживался, как мимоза-сензитива от прикосновения (мимозою он и сам называл себя); его губы складывались кисло, и веки закрывались... Ехать он отказывался: у него болели нервы. Он негостеприимно спрятал правую руку под жилет и отошел к роялю, у которого толпилось несколько волосатых молодых людей из музыкального мира, в том числе Серов [47]. Оставалось убираться; но предварительно следовало отдать поклон сестре М. И., Людмиле Ивановне, у которой он жил и состоял под началом. От нее зависело почти более, чем от Глинки, чтоб он приехал. Отпустит она— еще, может быть, приедет, а не отпустит,— пиши пропало. Она отпускала,— перед вечером (теперь его укладывали спать рано) и с тем, что будут прежние друзья, но прежнего лафита не будет. Привезли его закутанного; сквозной ветер, который он не любил теперь пуще певицы Степановой, изгнали чуть ли не из целого околодка; бережно усадили, как больного, в большое кресло и принялись осторожно развлекать на старый лад. Уж именитый гость начал гладить по руке то ту, то другую из молодых дам и немного слаще складывать губы, уж кресло подкатили к роялю, и коротенькая рука, по старой привычке, пошарила стакана с лафитом... Как вдруг все пошло прахом. На пороге показалась нежданная гостья — блондинка с детски-недоумевающим лицом и впилась в Глинку своими голубыми, как незабудки, глазами. Губы его кисло сложились, точно лизнули чего-то неприятного; рука исчезла за жилет, и мимоза съежилась, как будто на нее наступили.

— А ведь хорошенькая? — попытался исправить дело хозяин, но напрасно.

— Иже херувимы тайно образующе,— проговорил брезгливо гость,— терпеть не могу таких.

Увы! блондинка напомнила ему жену — и вечер был испорчен.

Бедный больной и вообще-то теперь почти ничего и никого не мог терпеть. Он и самого себя выносил с трудом; тяготился известностью, почти обижался, когда в нем видели не Михаила Ивановича, а композитора, и сердился, когда заговаривали об его сочинениях. Роковая перемена произошла в нем с тех пор, как он решился, после продолжительного упорства, дать свою «Камаринскую» на большой благотворительный концерт в Дворянском собрании, и услышал из угла почти неосвещенных хор, куда забился, как ее безмолвно и тупо проводили. <...> Чаша переполнилась: Глинка выбежал из залы, поклялся, что ни одной ноты не напишет и бросит Петербург. Он его и бросил — уехал в Испанию, откуда теперь вернулся, потому что срок паспорта истек, привез с собой черного, как сапог, Дон Педро с его испанскими песнями и гитарою — единственными, как утверждал, представителями музыки на свете...

Женская заботливая рука сестры отнеслась к приезжему как к больному: устранила разом и навсегда стакан красного вина, заменив его сельтерскою водою, а ключом — ночные вдохновения у рояля... Но, увы! крутой поворот не выправил погнутого целою жизнью в одну сторону тела; может быть, скорее даже сломил его. И Глинка не выздоровел от сельтерской воды, про которую говорил, с трудом уже подражая Калмыкову: «Не вредно, однако ж и бесполезно», захирел и погас, как светильник, устроенный не для того, чтобы тлеть, но чтоб гореть пламенно и сокрушительно — или уж не гореть вовсе.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ [48]

В сороковых годах Россия в первый раз узнала из знаменитого письма Гоголя [49] о существовании картины Иванова «Явление Христа народу». Перу великого писателя суждено было вызвать беспримерный интерес к кисти художника, заявившего до тех пор свою силу превосходною по выразительности (экспрессии) головою Магдалины перед Христом [50]. Равнодушное обыкновенно к явлениям родного искусства, русское

общество вдруг исполнилось внимания и нетерпения. Первый вопрос приезжавшего в Рим был: «Как бы увидеть картину Иванова?» Первый вопрос вернувшемуся из Рима: «А что картина Иванова?» Письма к проживающим в Риме художникам и любителям были наполнены расспросами о картине.

Десять лет на все это был один ответ: запертая дверь мастерской художника. Досада неудовлетворяемых ожиданий, как всякая досада, начала искать себе облегчения в клевете и выдумках, смешных или обидных. Нашлись такие изобретательные досады, которые и самое существование картины подвергали сомнению. Большие холсты тем временем вывозились из Рима, а авторы их, не безгрешные в позаимствованиях из сомнительной картины, обогащались и чтились... Затворник студии Vicolo del Vantaggio *, с криком вызываемый Россиею, оставался по-прежнему одинок, беден и заточен в своей келии...

После двух зим в Риме (1854—1856 гг.) мне довелось совершенно случайно,— можно сказать, против его воли,— войти в сношения с Ивановым. Довести его до этого добровольно было так же невозможно, как и проникнуть в его мастерскую. То было время его вящего мизантропизма: он уж совсем спрятался от любопытства своих соотечественников за двойною дверью студии и повесил на нее тяжелый замок. От домовладельца, к которому приходилось обращаться за сведениями — когда его жилец бывает дома,— не было другого ответа, кроме отрицательного покачиванья пальцем, с прибавкою: «Э! сьор питторе никогда дома не бывает!»

Но родственнику Гоголя, издававшему переписку последнего с друзьями, вздумалось поручить мне достать от Иванова гоголевские письма. Тут уж я несколько смелее постучался в двери. Покачиванье пальца и отрицательный ответ встретили меня на пороге.

— Когда же, однако, можно видеть *сьора питторе*? — спрашиваю.

— Сьора питторе нельзя никогда видеть...

— Когда и дело есть, нельзя видеть?

— Э! Когда и дело есть, нельзя!

---

* Переулок, в котором помещалась студия Иванова. (*Прим. автора.*)

— Да, может, вы не знаете?

— Э! еще бы мне не знать! то и дело спрашивают. Только *сьор Алессандро...*

И хозяин пощелкал языком для пущего усиления отрицания.

Делать было нечего: я написал Иванову, зачем мне его нужно видеть. Через два дня он явился сам, вечером, с пучком писем. Это был человек одичалый, вздрагивавший при появлении всякого нового лица, раскланивавшийся очень усердно с прислугою, которую принимал за хозяев,— человек с движениями живыми и глазами бегавшими, хотя постоянно потупленными в землю, с частою проседью в густых, несколько всклокоченных волосах и такой же бороде, широкоплечий, среднего роста, плотно сколоченный, с умным, мускулистым, истинно русским лицом.

Разговор начался, как водится, о Риме. Говорил Иванов тихо, с частым прибавлением частицы «с» и с покачиваньем головою.

— Вы, вероятно-с, видели уже все замечательное? — спросил он.

— Самого замечательного мы не видели.

— Чего же это-с: Ватикана?

— Вашей картины.

Он заметался на стуле, принялся смеяться, как смеются люди, смущенные неожиданным оборотом разговора.

— Ах, помилуйте-с. Что же это такое-с. Этого никак нельзя-с говорить! Как это возможно-с!

Он очень настаивал на важности картин в Ватикане, и особенно Рафаэлевых. Но прямого мнения о Рафаэле не хотел высказать и уверял, что ему гораздо было бы любопытнее знать о том суждение дам.

— Оне иногда весьма интересно отзываются,— говорил он.

В заключение Иванов приглашал непременно побывать у Овербека [51], говоря, что он замечательное явление в искусстве, и высказался, наконец, на счет Рафаэля, который, по его словам, стоял весьма высоко, *как школа.* Он был готов, по-видимому, разговориться, но первый намек на картину так и столкнул его со стула.

— Да отчего вы не хотите ее показать? — приставали к нему дамы, зная уже его расположение к их вкусу.

— Да оттого-с, что она этого не стоит... Николай Васильевич (Гоголь) сделал мне много вреда похвалами: после его слов я не вправе выставить свою картину... С меня слишком много спросится-с.

— Вы предоставьте судить другим...

— Извольте ехать-с к Овербеку! — перебил, откланиваясь, Иванов, — а обо мне и говорить не стоит-с...

Уходя, он пообещал бывать часто.

Прошла зима — он ни разу не был. Надо было отсылать гоголевские письма, а некоторых нельзя было напечатать, не предварив Иванова. Но покачивающийся палец хозяина не открывал к тому никаких путей.

Случайно я столкнулся с Ивановым на выставке piazza del Popolo *. Мы вместе обошли картины: внимание его особенно останавливалось на тех, которые носили на себе следы какого-либо изучения; он прощал самые бездарные между ними, говоря, что они более могут принести пользы искусству, нежели хорошенькие сценки (жанр), ничего не прибавляющие для дела. Наконец мы остановились у картины русского художника-пансионера. Он долго и внимательно ее рассматривал; произносил по временам отрывистые: «А! вот что-с! угу!..» и тому подобное; на все мои вопросы не дал ни одного ответа; был углублен во что-то и, только пройдя несколько улиц, заметил, что «надо полагать, весьма, однако, трудно было получить золотую медаль такому-то» (он назвал пансионера).

К отсылке писем Гоголя в Россию Иванов оказался совершенно равнодушен, и на замечание мое, что некоторые из них слишком близко касаются его лично, ответил:

— Я полагаю-с, это ничего не значит!

Замечательная черта в человеке, который прятался и бегал от публичности.

На первый год наше знакомство тем и кончилось. На второй — оно, быть может, не возобновилось бы вовсе, если бы пребывание в Риме вдовы императора Николая I не открыло двери недоступной студии.

* Название площади в Риме.

Лучше всяких объявлений в газетах и реклам, без которых не обходятся иностранные художники в Риме, молва в тратториях[52] и на улицах разнесла весть об этом событии по Риму. Он тоже ожидал его. Неслыханная популярность иностранца в стране, где на пришельца смотрят в искусстве, как на врага и хищника. Тут я опять увидал Иванова — уже отцом лелеемого им детища, уже перед этим великим детищем,— но все такого же сосредоточенного, съежившегося ипохондрика, боязливо встречавшего посетителей на пороге и провожавшего их без всякой надобности до самой лестницы.

Какой-то художник-француз, пораженный картиною, не хотел верить, чтобы этот пробирающийся на цыпочках человек был ее автор.

— Mais il faut avoir de la modestie pour cent! * — говорил он и уже поражался автором, а не картиною.

Двери мастерской открылись по мгновенному побуждению Иванова. (Кажется, брат его, архитектор, немало способствовал этому побуждению.) Еще накануне никто бы не поверил, что картина, о которой иные уже говорили как о пустом холсте, предстанет утром во всеоружии перед глазами...— Что-то картина? — думал каждый, ускоряя шаг к Vicolo del Vantaggio. Ну, как овербековская? — приходило вдруг в голову: Иванов так хвалил Овербека!

Не скрою, что я взялся за щеколду двери с замиранием сердца: шутка ли! мне предстояло вдруг увидеть плод целой половины жизни человека, его убеждение, цель, общество, семью, счастье — все, все! Ну, как все это была только ошибка! А похвалы Гоголя? Неужто и они ошибка? А если — да?..

Первый взгляд на картину (надо быть искренним) был не в ее пользу: испытывалось нечто вроде колебания... «Гобеленовский ковер из Ватикана!» — даже вырвалось у меня невольно; а Иванов, смотрю, стоит подле и прислушивается одним ухом **.

— Весьма любопытно слышать суждение,— сказал он, когда я его заметил и мы сели.

Обаяние сюжета, сила экспрессии и поразительная смелость в сочинении, правда и движение в груп-

* Но такой скромности хватило бы на сотню человек! *(фр.)*

** В Ватикане есть целая зала с полинялыми коврами, вытканными по картонам Рафаэля. *(Прим. автора.)*

пах, жизненность фигур, доходящая до обмана, незаметно и с каждою минутою превращали ковер в живую действительность. Великий миг, застывший на полотне, вставал во всем величии перед глазами, и скоро студия, успевшая наполниться, вся замерла... Казалось, восторг крестящихся во Иордане сообщился зрителям, и они, задержав дыхание, следили вместе с ними за приближавшимся Мессией...

Русские художники все были налицо: одни сидели бледные, взволнованные могуществом искусства; другие — углубленные в подробности картины так, что, найди они, к чему придраться, им бы стало легче; некоторые просто недоумевали: виденное им было не по силам... Будущие хулители, решительные и непреклонные, поглядывали боком... Иванов был и сам, как мне казалось, не совсем спокоен, был возбужден и, может, потому именно говорил более. Он рассказал мне между прочим путь, которым шла его картина,— и колебанье, испытываемое зрителем, сразу объяснилось.

Расставленные, развешенные и разложенные вокруг эскизы, этюды, копии и рисунки служили оправдательными документами.

Иванов попал в Рим в то время, когда школа немецкой живописи была во всей силе; что делали не немцы, отвергалось; немцы предписывали законы; Корнелиус[53] с Овербеком управляли вкусом. Робкий Иванов не смел их не признать за силу. Между тем Ватикан и Рафаэль привлекали его строгостью и прелестью линий, чистотою стиля... С другой стороны, Тициан[54]— этот царь красок, действовал на молодое сердце еще соблазнительней. «Что мне было делать,— я решительно не знал!» — говорил Иванов, разорванный на части и авторитетами, и колебаниями в разные стороны. Мнительный от природы, недоверчивый к своим собственным средствам, он осознал возможность стать на ноги, только опираясь на кого-нибудь из силачей искусства... Первоначальная мысль картины, нм набросанная, его не удовлетворяла, и, надо сказать правду, в сравнении с настоящим мотивом этот первый отзывался отчасти академией. Иванов уступил влечению сердца и кинулся в Венецию испробовать себя под влиянием манеры Тициана: отсюда вытек второй эскиз — с темно-синим, зеленоватым небом и бурым деревом, как на известной картине Ти-

циана («Убиение Петра в церкви S. Giovanni e Paolo»)... Но уже своеобразный мотив сочинения является тут в общих чертах таким, как мы его и теперь видим; изменен же он впоследствии только в распределении второстепенных групп и драпировок, да в красках.

— Когда я вернулся в Рим,— продолжал Иванов,— мне показалось, что прием Рафаэля ближе к правде; я принялся прилежно ходить в Ватикан, делал копии и остановился на этом...

— Немцы, значит, вас не одолели? — спросил я.

— Нет-с, как же это возможно! Немцы тогда все значили; не было спасения без немцев!.. Я много обязан Овербеку: он мне весьма помог советами...

— Так он советует, должно быть, лучше другим, чем себе...

Иванов улыбался и качал головой.

— Как это, однако ж, вы зло говорите! — бормотал он,— чрезвычайно зло.

И он принялся похваливать овербековского «Иоанна Крестителя».

— Я и помышлять не смел написать такого Иоанна,— говорил он.

— И хорошо сделали,— оттого-то вы и написали *вашего* Иоанна.

— Ай-ай-ай-с!! — замотал головою Иванов.

Итак, он приступил к работе нерешительно, не веруя в себя, хватаясь за оплоты людей с именами.

Велика же должна быть самобытность художника, чтобы, заслонив и врожденную робость характера, и воспитанное в уме поклонение авторитетам, вывести на полотно картину, которая показала, что искусству можно еще шагать вперед, оставляя позади авторитеты... Иванов, ищущий образцов, когда начинает работу, и Иванов — совершитель этой работы,— как совместить такую слабость и такую силу в одном человеке?.. Овербек, имевший дело с робким начинателем, проводит несколько часов перед оконченным произведением и только в состоянии произносить: «Кто бы мог думать? Иванов нас надул!»

Сам доживающий восьмидесятые свои годы Корнелиус, в полном расколе с правдою в искусстве, и тот, после оговорок, что картина грешит против стиля, то есть ничем не подходит к хлыстовщине староверов, по-

жимает руку Иванова и твердит: «Вы большой мастер» (un valoroso maestro!), а немцам, думавшим угодить ему хулою, приказывает строго, чтоб они пошли да поучились... Немцы поджимают хвост и плетутся в Vicolo del Vantaggio.

Не стану передавать дальнейших подробностей этого разговора и последующих бесед с Ивановым перед его картиной; скажу только, что из них узнал я, как ошибочно вкоренившееся мнение, будто Иванов писал двадцать лет свою картину [55]. Писал он ее семь лет, и то при беспрестанных разъездах за отыскиваньем типов, которых в Риме он не находил по своему желанию (большая часть из них найдена между евреями Ливорно), при перерывах от болезни и находивших на него припадков ипохондрии, разочарования в своем труде, в своих силах, при боязни за завтрашний день, за насущный кусок хлеба... Те 30 000 рублей, которые выданы ему в течение тридцати лет, получались по мелочам, были каждый раз выпрашиваемы трудно, и за них никто не мог поручиться. Много времени отдано усиленному чтению, изучениям древнееврейского быта и подготовке материалов на задуманное изображение всей жизни Христа в эскизах.

Продолжительность работы особенно поставляется на вид, когда желают уменьшить достоинство картины. Заговорите только об ее высоких качествах: «Еще бы! в двадцать лет можно было добиться до этого!» Упомяни кто-либо о недостатках: «А писал двадцать лет!» — закричат хором.

Пусть будет двадцать лет! Да если б каждые двадцать лет выводили на свет из мастерской не только одного — всех, взятых вместе, художников, подобную картину: сколько бы прибавилось истинно дорогих вкладов в скудный ковчег живописи, переполненный поддельною монетою!

Считают одну картину? А причтите-ка к ней другую — меньшего размера, вполне оконченную *, да четыре эскиза, да этюды, которые надо считать сотнями (кажется, более 300), этюд каждой головы, части тела, в одном повороте, потом в другом; ландшафтные этюды, этюды драпировок; копии, картоны, рисунки,

* На ней художник испытывал общее и каждую фигуру отдельно, и потом уже, удовлетворяясь пробой, наносил на большой холст. *(Прим. автора.)*

чертежи: и вы получите целую академию, по которой ученик может выучиться быть художником.

Вот в каком виде только двадцатилетний труд Иванова (хоть он даже и не двадцатилетний, как мы видели) получает все свое значение и становится памятником. Вот в каком виде академия должна была приобрести его, а не допускать, чтоб разорвали по страницам великую его историю... Но допущено не только это; не только эскизы, рисунки, этюды распроданы порознь в частные руки, но и самая картина сослана в Москву, как когда-то сенаторы поплоше назначались в московский сенат.

Но возвратимся в Vicolo del Vantaggio.

Горячее мартовское солнце опускалось к куполу Петра, и был седьмой час вечера, когда мастерская начала пустеть. Вечерние сходки в кофейнях и тратториях, прения, толки, пересуды разнесли по Риму весть о показывающейся картине. На другой день уже и мастеровой с инструментом, шедший на работу, и факин, тащивший на голове глину соседнему скульптору, и аббат в очках, и хорошенькая натурщица, и капуцин [56] с толстым животом, и англичанин, и восьмидесятилетний Корнелиус (Овербек в первые дни был болен), и все немцы,— потом архиереи, купцы, граждане, князья — все потянулось вереницей к безлюдной несколько лет студии... Десять дней она наполнялась через край, и на одиннадцатый, когда толпа нашла ее двери запертыми, надо было согласиться открыть их еще на день, чтоб избежать неудовольствий...

Суждения начали слагаться, делиться на оттенки, судьи — на лагери, и уже можно было составить себе свод оценки картины.

Чтоб придержаться истины, надо сказать, что первоначальные впечатления многих, особенно людей, взглянувших мельком на картину, не были ей благоприятны. Но те же люди, вернувшись случайно, или вследствие спора в мастерскую, скоро меняли свое суждение и по большей части уже просиживали целое утро перед картиною. Конечно, были исключительные приверженцы известных школ и направлений, которые старались остаться равнодушными во что бы то ни стало; нашлись с первого же дня враги (особенно между привыкшими к успеху немцами-колористами), задетые за живое таким успехом не колоритного произведения в Риме. Римляне оценили инстинктом ту вну-

треннюю мощь, которая сидела под неблистательными красками, и, неизбалованные колоритом на Рафаэле, пропустили мимо эту слабую сторону картины. Воззрение чисто католическое не могло, конечно, помириться с таким жизненным воспроизведением события священной истории. Спаситель мира от подгнивших, за старостью, учреждений, несущий в себе семя нового будущего, Бог духом и человек телом, завиденный издали Иоанном и готовый на подвиг, чего бы он ни стоил, истощенный постом, весь негодование к неправде и весь любовь к истине, подвигается спокойным и твердым шагом по горе... Он еще едва виден, его уста еще не заговорили, а уже все встрепенулось; люди давно его ждали. Что-то он скажет? На большом холсте он меньше всех занимает места. Отчего ж мутятся глаза при одном взгляде на эту небольшую, далеко поставленную фигуру? В этом, по-моему, главное значение всего мотива картины: с горы уже веет новой жизнью; ее воплощенная идея подвигается особо от толпы, спокойная, строгая и ясная, как правда. Толпа приветствует ее издали; сомнение немногих только делает то, что толпа остается толпою, а не переходит в идеал несуществующего человеческого общества. Сразу ничему все не поверят... Рутинерам не могло нравиться, что первое место и первый размер фигуры принадлежит не главному виновнику картины, что он напротив, удален на задний план: воззрение, от которого Иванов отделился бездной! Дикая красота восторженного Крестителя, вдохновенно увлекающая толпу, и это смирение наглядное, каким красуется идущий,— только поразительнее выдвигают внутреннюю силу того, кому не достоин развязать ремень сапога его властительный предтеча.

Наши художники не избежали, в свою очередь, распадения на партии: даровитейшие из них и наиболее развитые, фанатики Брюллова и его направления, первые стали фанатиками Иванова и громко сознавались, что если первый талантливее второго, то второй, как школа, поучительнее. И точно, по Брюллову учиться трудно: все, что им сделано, не есть плод труда усидчивого, добиравшегося, искавшего,— но дело вдохновения, которое загоралось вдруг и потухало только с последним ударом кисти. Брюллов подходил совсем готовый к полотну; он, как и Иванов, учился в свое время тоже усидчиво и много, но не над больши-

ми картинами; он выучился сразу и уже потом всю жизнь не думал о приеме: техника и форма всегда были у него на послугах, а содержание ему не представлялось в тех размерах, каких стремился достигать Иванов. Вот почему у Брюллова позаимствоваться творчеством нельзя. За процессом же ивановского творчества можно следить, как за постепенным ходом созревания; поэтому-то от него и больше пользы для учащихся, чем от Брюллова.

Партию противную составили художники, которым, как основательно полагал Иванов, «трудно было получить золотую медаль». Они просто не понимали картины! Привыкшие видеть в живописи только красивые мазки и условный колорит известных мастеров Петербурга, Мюнхена и Рима, они не видели в новой картине ничего, потому что не видели именно этого...

Общество русских (а оно было многочисленно) более прислушивалось к отзывам художников или людей, признанных по разным причинам за тонких ценителей искусства. Отсюда и разделение общества на два лагеря, уже придаточные к двум предыдущим.

Народ, il popolo, говорил, выходя из студии: «Живые люди!» perbacco! proprio vivi (черт возьми! просто живые!).

Начали заботиться за Иванова о его судьбе и о судьбе его картины: звали его в Петербург, сулили ему большие деньги, выход из стеснений целой жизни, обещали славу на родине... Бедный Иванов! Он слушал, понурив голову, но и слышать не хотел о поездке в Россию: у него одна поездка была на уме,— поездка, о которой он мечтал двадцать лет, как юноша мечтает о свидании с недостижимой красавицей,— его неосуществимый сон — поездка в Палестину, и, слушая золотые обещания, он, может быть, думал: настает время осуществления!..

Ехать в Петербург он как-то суеверно боялся: ему казалось, с этим кончится его художническая жизнь. Казалось ли ему, что и вся она с этим кончится? Но настояния были такие влиятельные, он так всего боялся, даже и того, что совсем не было влиятельно,— и вот он мало-помалу начинал склоняться; он решался отослать картину без себя, а сам, надеясь получить хоть часть ее цены, думал отправиться в Берлин, посоветоваться о своих больных глазах с врачами, поле-

читься и потом ехать в Палестину. Ему представили необходимость оценки картины академическим советом в Петербурге. Оценки он не боялся, но боялся *петербургской* оценки — и на этот раз боялся основательно.

— Пусть соберут совет из лучших художников разных наций, какие есть в Риме,— говорил Иванов,— я согласен и на это, только бы не ехать в Петербург...

Было отказано!

Многие советовали Иванову ехать с картиною в Париж и Лондон — показывать ее за деньги. Душа такого жреца искусства, как он, возмущалась при одном помышлении о том, что можно торговать публично трудом своей одинокой жизни, который был его святыней.

— Пусть купят картину и сами везут, куда хотят,— говорил он.— Это другое дело: тогда она уж не моя; пока она считается моею, я никуда ее не повезу-с.

Таким и остался Иванов в моем воспоминании: твердым в своей слабости (если можно так выразиться), суеверным в отношении к Петербургу. Решимость ехать туда посетила его уже без меня, и я узнал о том через год, в Тоскане. А два года спустя мне суждено было увидеть честимую и дорогую на чужбине картину, скупо оцененную дома, осиротелую, лишившуюся семьи своих эскизов и этюдов, в глубине узкой и неудобной, холодной залы Петербургской Академии, под освещением февральской мглы. А на кладбище сторож указал на сугроб снега и прибавил:

— Это, должно, и есть самый этот Иванов.

Но возвратимся к живому Иванову, собирающемуся ехать из Рима лечиться у немцев от больных глаз.

В начале мая, вечером, он бежал (буквально) ко мне проститься, весь серый с ног до головы, озабоченный и остриженный: он отправлялся в Берлин. Уже за месяц он толковал об этом со всеми и расспрашивал каждого о дороге, по которой лучше ехать, о докторах, с которыми лучше советоваться, и, переслушав всех с равным вниманием, никого не послушался, поехал по-своему и виделся с докторами, каких сам выбрал. Выведывать мнения было его слабостью, и он все их принимал к сведению, но никогда не к исполнению.

— До Петербурга? — спрашивал я его, прощаясь.

— Как это возможно-с, помилуйте!

Он еще не допускал тогда подобного самоубийства.

— Стало быть, навсегда? — сказал я.

Однако ж нам удалось еще встретиться и тем же летом.

В одном из лучших уголков Швейцарии, в Интерлакене, я был однажды вызван из-за завтрака к спрашивающему меня русскому путешественнику. Выхожу: Иванов, все такой же серый с ног до головы, но пополневший и живой, кидается ко мне, гораздо решительнее прежнего, с открытыми объятиями.

— Александр Андреич! какими судьбами? откуда?

— Из Берлина-с, пить сыворотку... А какого вы мнения о сыворотке?

— Такого, что она способна доставлять самые приятные неожиданности, как, например, вас видеть...

Иванов рассмеялся.

— Это уж, выходит, комплименты-с!

— Взяли ли вы комнату?

Оказалось, что он взял, но в другом трактире. Я принялся его уговаривать перебраться, и он, к совершенному моему удивлению, тотчас согласился. Старая плесень затворничества с него, видимо, свалилась; он даже глазами глядел уже менее вниз и очень радовался, что доктора не нашли в них органического повреждения. Месяц, проведенный в Интерлакене, с утра до ночи под орешниками, сильное движение, сыворотка, да к тому же беззаботность жизни, разговоры нараспашку и смех в дружном кружке русских, надежды, бодрившие старика в скором будущем,— все сделало из него неузнаваемого человека. Что еще детски радовало художническую душу этого наивного человека, мало приученного к популярности, это подаренный мной ему отдельный оттиск моей статьи из Рима об его картине и номер бельгийского «Nord», где статья появилась во французском переводе. Он не разлучался с ними, постоянно носил их в боковом кармане сюртука, то и дело перечитывал и совсем протер на сгибах. Почти никогда не живший — сперва ученик, а после труженик,— Иванов точно начинал только теперь жить. И что за институтские были его воззрения и на людей, и на общество! Петербург и смолоду ему мало знакомый,

представлялся его воображению как-то особенно превратно; о людях и деятелях на разных поприщах он составлял себе вовсе несбыточные понятия: исполнялся неодолимого страха к тем из них, которые были совершенно безопасны, и видел силу там, где была только слабость.

Ясно было уж отсюда, что, попади только Иванов в этот жернов, он выйдет из-под него пылью.

Монах в жизни, он причастился ее только теперь и наслаждался каждым глотком ее. Откровенный разговор, острая выходка, спор с заносчивостью и увлечением, даже сказанная кем-либо глупость — все ему звучало ново, почти назидательно, и он, когда все умолкали, удалялся под густое дерево и что-то записывал мелко и часто в крошечной книжонке, которую всегда носил в кармане.

— Весьма много любопытного почерпнул сегодня,— говорил он потом вечером и покачивал с довольством головой.

Придет ли хор альпийских трубачей, или девушки с Бриенского озера затянут свои песни с завыванием, он ко всему прислушивается: приложит за ухо ладонь и стоит около, покуда те не уймутся.

— Нравится вам, Александр Андреич? — спрашивали его.

— Чрезвычайно любопытно; весьма многое можно почерпнуть,— отвечал он и задумывался.

Самая осторожность его в высказывании собственного мнения уступала напору общей откровенности, и часто, увлеченный горячим спором, он невольно высказывался...

Таким образом удавалось вызвать его на отзыв о том или другом из знаменитых художников той или другой школы живописи и ваяния.

Старым художникам он придавал большое, не бессознательное, но историческое значение, и в этом случае Чимабуе[57] и Джотто[58] по праву имели его уважение. В Жам-Белино он восхищался *наивностью* колорита, но особенно ценил Леонардо да Винчи и даже ездил нарочно в какой-то немецкий городок, где были два его рисунка. Рафаэля он превозносил за чистоту стиля, прелесть рисунка и проч. «Это школа»,— говорил он обыкновенно. В Микеланджело Буонарроти он видел прежде всего творца купола св. Петра, и сделай Буонарроти *только* купол (прибавлял

Иванов), великое имя его было бы еще больше. О статуях, кроме мифологических, и картинах его он избегал говорить. Но однажды, пойманный врасплох, высказался о некоторых из них, и чрезвычайно самобытно.

— Что вы думаете о святом семействе Буонарроти во Флоренции, в трибуне? — спросил я его, когда он никак не мог ожидать этого вопроса.

— Ах, какая скука-с!

— А его Моисей?

— Тоже прескучная статуя-с!

Он даже зевнул, сказавши это.

Способность самобытно выражаться была врожденная у Иванова.

— Как вы нашли таких-то? — спросили его про одно русское семейство, где затевались в назначенные вечера более наивные, чем остроумные, забавы.

— Один раз побывать весьма любопытно,— отвечал Иванов.

Показывают ему портрет работы модного художника. Он долго смотрит и говорит: «Правдоподобия-с мало!»

О современной живописи и современных художниках Иванов говорил довольно охотно. Высоко в ряду мастеров последнего времени он ставил Брюллова.

— Брюллов произвел революцию-с! — говорил он.

За Брюлловым следовал Поль де-Ларош.

Ко всем родам живописи, кроме строго исторической, Иванов питал более чем равнодушие: он считал их вредными, говоря, что они превращают искусство в одну пустую забаву глаз и не дают художнику развиться в *исторического,* единственно истинного, по его мнению, художника... Особенно враждовал он против сцен из вседневной жизни (жанра), которые знал более по фламандским рабским копиям с натуры, лишенным всякого содержания.

— Вы не видели сцен Федотова [59]! — говорил я ему,— а то вы судили бы не так: Федотов — это Гоголь в красках.

Я до того договорился о Федотове, что, упоминая о *жанристах,* он уж всегда делал оговорку: «Кроме Федотова-с».

Но что вызывало у Иванова горькие потоки речей, так это то византийское направление, к которому ве-

дут архитектуру и живопись в России. Иванов выкладывал по этому поводу бесценные запасы данных, разбивавших наголову его противников, и всякий раз оканчивал тем, что «вы извольте доказывать работами с вашей стороны, а мы будем работать с своей...»

Никак, однако ж, Иванову не удалось привыкнуть к своему кругу до того, чтобы решительные отзывы не озадачивали его.

Я не забуду никогда Иванова, как на вопрос его об одном общем знакомом: «что он за человек?», ему ответили — *дурак.*

— Ах, как это решительно! — воскликнул Иванов и даже подскочил на стуле,— чрезвычайно-с решительно! — повторял он, покачивая головой.

Все шло как нельзя лучше, покуда совершенно непредвиденное обстоятельство не возмутило его спокойствия духа.

В одну из вечерних прогулок он отстал от нашего общества и долго не показывался на дороге. Я вернулся и нашел его бледного, встревоженного, прислонившегося спиною к большому камню. За обедом он много ел земляники, простокваши, вперемешку со всякой всячиной.

— Что с вами, Александр Андреич? — спрашиваю,— вам нездоровится?

— О, ничего-с особенного — старый знакомый-с,— отвечает он как-то иронически.

— Какой старый знакомый?

— Яд-с... Оттого и тошнота и все, что следует-с... Я к этому привык-с — старый знакомый!

Сперва намеком, а потом уж и совсем определенно и подробно, он рассказал, как его десять лет сряду отравляют. В словах и в голосе звучала самая твердая уверенность в этом.

— Да какая же польза и кому вас отравлять? — решился я спросить поласковей, чтоб не показать, что он бредит.— Может быть, вы обременили желудок?

— Десять лет-с! десять лет подряд-с,— твердил он мрачно.— Я полагал, с Римом это кончится,— только нет-с, ошибся: и здесь доискались...

— Кто ж это доискивается? и за что отравляют вас, дорогой Александр Андреич?

— Многие мне желают зла, весьма многие-с: Корнелиус, Овербек-с... очень много их, очень-с...

— Ну, положим, но ведь то в Риме; а здесь вас ведь не знают.

— Телеграф-с. На что же телеграф? Через него все узнают-с... Никуда не убежишь.

— Так на кого же вы, наконец, думаете: на меня, на другого, на третьего?

— На вас я не думаю-с. Но трактирщик... О, это преопасный человек! И блюда подает сам-с за столом... Нет-с, мне уж, видно, не жить...

— Хотите меняться кушаньями за столом? Меня ведь не отравляют,— в этом вы можете быть уверены.

— К чему же, помилуйте-с!

Однако с этих пор я ему постоянно передавал то тарелку, то чашку, соль, хлеб, сахар, и он поспешно брал, повторяя: «Помилуйте! к чему же это-с?»

Мнительность Иванова пошла расти. Он собрался и уехал в Лондон — спросить Герцена: как тот смотрит на евангельские сюжеты («весьма важно-с мнение Александра Ивановича!»). Герцен его несколько ободрил. В Ост-Энде я его встретил уже менее похожего на римского; но в Париже он опять ходил диким и, между прочим, был глубоко обижен, что сторож в Jardin des plantes * не поверил его званию художника даже по предъявлении ему всемогущих лоскутков «Nord» и не позволил срисовать верблюда.

— Вы это сделаете в Пизе,— успокоил я его,— там их сколько хотите в *кашинах*.

— Вы это точно знаете-с?

— Точно. На них там развозят сено.

Он вынул свою микроскопическую книжечку и микроскопическими буквами записал: «верблюды в Пизе», покачивая головою и твердя: «Весьма важное сведение! весьма-с!»

Напоминание об Италии его оживило. Она уже начинала его звать к себе, как мать; о ней он вспоминал и в Швейцарии, и холодно смотрел на дерзкие громады Альпов, казавшиеся ему грубыми после изнеженных итальянских линий гор...

В последний раз я видел Иванова осенью, в Париже. Он был в больших суетах: накупил себе двенадцать манекенов и подбирал к ним драпировки, никак не находя материй, потому что искал старинных, а в Париже в августе июньская материя уже старин-

* В ботаническом саду (*фр.*).

ная, и ее не сыщешь. Моя жена взялась отыскать ему, что надо, и он пришел в совершенный восторг от глубины ее познаний по этой части.

— Весьма затруднительную задачу решила ваша супруга, очень затруднительную-с...

Манекены не выходили у него из головы.

— Это будут двенадцать апостолов,— говорил Иванов, и глаза его блестели детской радостью,— я их буду ставить в группы. Съезжу-с в Палестину и исполню всю жизнь Христа в эскизах... Разделю их надвое — ученье и мифология-с. У меня давно все подготовлено. Только бы скорее получить деньги за картину...

— Где-то теперь увидимся? — спросил я его, провожая на улицу.

— Только не в Петербурге-с! — отвечал он весело.

И точно, *мы не увиделись* в Петербурге!

АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЭВАЛЬД

(1836—1898)



Ни сам Аркадий Васильевич Эвальд, ни его родители никогда не помышляли о том, что он станет литератором. Отец Эвальда, преподаватель истории и географии в Гатчинском институте, находившемся в ведении Воспитательного дома, мечтал дать сыну университетское образование. Первые пятнадцать лет жизни Аркадий Васильевич провел в Гатчине, где, несмотря на тридцать с лишним лет, протекших с момента убийства Павла I, еще живы были предания о покойном императоре.

В живой, впечатлительной натуре Эвальда своеобразно переплелись черты отца, человека активного, бесстрашного и несколько прагматического, и матери, экзальтированной, трепетно внимавшей предсказаниям гадалок, верящей в приметы, чудеса и убежденной в существовании предопределения. Но совершенно исключительное влияние на Аркадия Васильевича оказала бабка со стороны отца, Жозефина Иосифовна. Она была венгерского происхождения, в молодости приехала с мужем в Россию и, хотя никогда не стремилась вернуться на родину, но сохранила до конца своих дней благоговейно-патриотическое чувство к Венгрии. Жозефина Иосифовна была начитанна, хорошо образованна и с одинаковой легкостью изъяснялась на русском, французском и немецком языках. Она была чрезвычайно сдержанна и обладала редким для женщины логическим складом ума. Поэтому в спорах с темпераментной и горячей невесткой легко подавляла ее неопровержимыми доводами рассудка. Спокойное достоинство Жозефины Иосифовны, самобытность ее суждений, твердая убежденность ее в словах и поступках особенно привлекали к себе юного Эвальда. Унаследовав пылкий темперамент матери, он, как

бы помимо своей воли, часто принимал противоречивые решения и, может быть, именно поэтому особенно ценил бабкину твердость.

В Гатчине семья Эвальдов жила несколько обособленно. Как вспоминал мемуарист, «гатчинские жители делились на три разных общества. Одно состояло из служащих в институте, другое — из чиновников дворцового правления и третье — из офицеров кирасирского полка. Все эти три общества жили отдельно, своими замкнутыми кружками, и только изредка кто-нибудь из одного круга появлялся в другом» [1].

Одно из таких появлений «человека со стороны» в семье Эвальдов внезапно изменило планы юного Аркадия Васильевича. Эвальд усиленно готовился в университет, когда к ним в дом пришел с визитом Михаил фон-Дервиз, студент Петербургского артиллерийского училища, приехавший в Гатчину повидаться с родными. Рассказы Михаила об училище были так увлекательны, а перспектива стать артиллерийским офицером показалась Аркадию Васильевичу столь заманчивой, что он решил отказаться от университета. Может быть, Аркадий Васильевич и стал бы артиллерийским офицером, но отец его решительно этому воспротивился. Правда, в конце концов он пошел на компромисс и разрешил ему держать экзамены в военное училище, но не в артиллерийское, а в инженерное, полагая, что подготовка там лучше, а последующие перспективы — шире.

Отец отвез Аркадия в Петербург, и там началась для него новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю гатчинскую. О годах, проведенных им под крышей знаменитого Инженерного замка, где был убит Павел I и где учился Ф. М. Достоевский, Эвальд рассказал в публикуемом отрывке из его воспоминаний.

В студенческие годы одна случайная и как будто не очень для него значительная встреча еще раз неожиданно повернула его судьбу в совершенно иное русло (как знать, не вспоминал ли он позднее об убежденной вере матери в предопределение?). Однажды Аркадий Васильевич зашел к своему однокашнику и застал его сестру Прасковью Николаевну за чтением газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Она кокет-

---

[1] Эвальд А. В. Воспоминания // Исторический вестник, 1895. № 8. С. 296. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

ливо сказала Эвальду: «Зачем вы не писатель? Тогда бы я читала в газете ваши сочинения». Девушка давно уже нравилась Аркадию Васильевичу, и ему неудержимо захотелось поразить ее воображение.

Случай для этого представился довольно скоро. По окончании второго курса училища Аркадий Васильевич был произведен в офицеры и направлен в Ревель для ведения инженерных работ. Став свидетелем самого начала Крымской войны, точнее, того момента ее, когда английский флот сделал попытку подойти к Петербургу летом 1854 г., Эвальд написал свой первый очерк «Союзники у Ревеля» и отправил его, конечно же, в «Санкт-Петербургские ведомости». Каковы же были его радость и гордость, когда Прасковья Николаевна, несказанно удивленная, объявила ему о том, что прочитала в газете его очерк!

Прошло несколько лет. Эвальд успешно закончил училище и после Крымской войны служил в инженерном ведомстве. Он почти забыл о своем первом литературном опыте. Как и многие его товарищи-офицеры, жил он однообразно, едва сводя концы с концами. Между тем ему хотелось новых впечатлений, он мечтал о путешествиях, далеких странах, интересных встречах. Скудость средств прочно приковала его к Петербургу. Впрочем, как все люди с воображением, он был наделен известной долей изобретательности и довольно скоро придумал выход из положения. Как и его старший современник Николай Васильевич Берг, Эвальд решил отправиться в Италию и посылать оттуда корреспонденции о гарибальдийском движении. Для осуществления этого плана нужно было найти издателя. Аркадий Васильевич пошел к А. А. Краевскому, который редактировал «Санкт-Петербургские ведомости», и предложил ему свои услуги. Краевский был человеком опытным, осторожным и весьма расчетливым. Он согласился вступить в деловые отношения с Эвальдом, пообещав ему пять копеек за каждую напечатанную строчку, разумеется, в том случае, если очерки придутся ему по вкусу. Денег вперед он никогда не давал; на этот счет он держался твердых правил.

«Прежде чем садиться в дилижансы,— изрек Козьма Прутков,— нужно подсчитать свои депансы». Подсчет «депансов» занял немного времени и оказался неутешительным. У Аркадия Васильевича были толь-

ко долги, но, вспоминал он, «я был молод, желание побывать за границею охватило меня страстно, и я вполне предался увлекшему меня желанию, нимало не думая о том, чем рисковал» (1895, № 10, с. 67).

Эвальд попросил денег у отца. Получив от него 700 рублей, он заплатил долги и с оставшимися после того 150 рублями в кармане отправился в феврале 1861 г. в Италию. Путешествие его прервалось во Флоренции: пять рублей, которыми он к этому времени располагал, были суммой, явно недостаточной для осуществления даже его скромных планов. Сняв самую дешевую комнату, Аркадий Васильевич засел за очерки для Краевского. На почтовые отправления в Петербург уходили последние деньги, но Эвальда окрыляла надежда, что Краевский сдержит свое слово. Выждав положенное время, Аркадий Васильевич начал каждый день терпеливо ходить на почту, надеясь получить деньги если не от Краевского, то хотя бы от родных. Но на его имя не было ни денег, ни даже писем.

Положение становилось отчаянным. Искренно сочувствуя Эвальду, знакомый итальянец предложил ему поступить волонтером в отряд Гарибальди. Такой поступок был сопряжен с большим риском: по возвращении в Россию Эвальд в лучшем случае подвергся бы строгому взысканию, а в худшем — военному суду. И вот наступил день, когда нужно было на что-то решиться и дать ответ итальянцу. Как это часто бывает в крайности, Эвальда вдруг осенила неожиданная и на удивление простая мысль, что присланная ему корреспонденция лежит на почте не на букву «Э», как он предполагал, а на букву «А», начальную букву его имени. К счастью, предположение его подтвердилось, и Аркадий Васильевич получил сразу около двадцати писем. В одном из них был вексель от Краевского, позволивший Эвальду продолжить литературные занятия.

Так Эвальд стал журналистом. В декабре того же 1861 г. Аркадий Васильевич вернулся в Петербург. Краевский принял его любезно, сказал, что весьма доволен его очерками, и предложил сотрудничать в «Отечественных записках». Для молодого человека, едва вступившего на литературную стезю, это была большая честь. Эвальд написал для «Отечественных записок» несколько очерков под общим заглавием «Все

или ничего», но на этом его отношения с журналом как-то внезапно оборвались.

Судьба Эвальда-журналиста вообще явно не состоялась: то ли он не чувствовал в себе настоящего призвания к этому занятию, то ли у него не было предприимчивой энергии, необходимой для этой профессии, сказать трудно. Только дела Аркадия Васильевича шли все хуже и хуже и затеваемые им предприятия лопались, как мыльные пузыри.

В 1863 г. Эвальд вместе с Ампием Николаевичем Очкиным, журналистом и петербургским цензором, начал издавать ежедневную литературную и политическую газету «Очерки». Но газета месяца через три прекратила свое существование.

По предложению старого гатчинского знакомого Павла Григорьевича фон Дервиза, Аркадий Васильевич редактировал некоторое время железнодорожную газету, и настолько вошел в дела этого ведомства, что вполне серьезно занялся идеей постройки железной дороги между Москвой и Воскресенском: вступив в это дело пайщиком, он предполагал поправить свои материальные дела. Но сорвалось и это, как срывалось все другое.

Жизнь не сложилась, и Эвальд сознавал это. Он занимал более чем скромное место в литературе и журналистике своего времени, но многих знал и немало повидал на своем веку. Незадолго до смерти, в 1895 г., Аркадий Васильевич написал воспоминания. Это самое яркое из всего созданного Эвальдом на литературном поприще. Он хотел обязательно напечатать их при жизни, и, пожалуй, это единственное, что удалось ему из всех многочисленных, но так и неосуществившихся его проектов. Но, кажется, это было для Аркадия Васильевича и самым главным, потому что относительно мемуаров он имел собственную, весьма отчетливую и принципиальную позицию. Он высказал ее в заключительных строках своих воспоминаний. Оценивая мемуары прежде всего как документ эпохи, Аркадий Васильевич считал основным их достоинством — достоверность. Только воспоминания, напечатанные при жизни их автора, утверждал Эвальд, могут внушать читателю доверие: «...печатая при своей жизни, следовательно, готовясь нести ответственность за каждое слово, автор поостережется говорить неправду, преувеличивать или преуменьшать что-нибудь,

выставлять себя в лучшем виде, а других в худшем и т. д. <...> Воспоминания же загробные, то есть составляемые для напечатания после смерти автора, в моих глазах, по крайней мере, теряют девять десятых своей ценности именно потому, что автор уже ускользнул от всякой ответственности и может сочинять, что ему угодно» (1895, № 12, с. 739).

Не будем решать, правомерны ли утверждения мемуариста. Легко предположить, что у Эвальда был конкретный повод для такой запальчивости по отношению к «загробным» запискам. Читая же воспоминания Эвальда, будем судить о них по законам «им самим над собою признанным» (слова Пушкина), то есть оценивать их прежде всего как правдивый и достоверный документ его эпохи, обладающий притом несомненными литературными достоинствами.

<...> В числе преподавателей, оставивших некоторый след в моей памяти, были Паукер (недавно умерший министр путей сообщения) и Остроградский [1], в свое время европейски известный математик.

Паукер уже и в то время имел совершенно седые, серебристые волоса на голове и усах, несмотря на то, что ему было около тридцати лет. Бледное, без малейшей кровинки, сухое лицо, при седых волосах, придавало его наружности совершенно мертвый вид, и только выразительные черные глаза говорили, что этот человек живет еще. По своему характеру Паукер был тоже какой-то мертвый человек, решительно ничем не возмутимый. Придет, бывало, в класс и молча ждет, пока мы усядемся и водворим тишину. Тогда он начинает лекцию аналитики глухим, беззвучным голосом, требовавшим большого напряжения, чтобы слушать. Чуть кто-нибудь зашевелится и зашумит, Паукер ни слова не скажет, не сделает ни малейшего замечания, но молча ждет, чтобы шум прекратился, и тогда продолжает снова. Его лекция наводила страшную тоску, а самого его мы боялись больше, чем кого бы то ни было.

Совсем в другом роде был Остроградский, читавший нам уже в офицерском классе интегральное исчисление.

Это был слонообразный колосс, с большим отвислым животом, одноглазый, очень добродушный и веселый, на все смотревший как-то шутя.

Когда он явился на первую лекцию, то, опершись руками о стол, обратился к нам с такими словами:

— Господа офицеры! Честь имею рекомендоваться — академик Остроградский. Меньше нуля — никому не ставлю.

Затем он сел и попросил, чтобы ему дали стакан воды; во время лекции он постоянно обмакивал два пальца в воду и протирал ими впалые веки недостававшего глаза.

Остроградский был крайне ленив. Он, например, не имел списка слушателей, чтобы отмечать им баллы, а возлагал эту обязанность на лучшего ученика, которого называл консулом. Когда ему надобилось писать на классной доске формулы, то эту обязанность за него также должен был исполнять «консул»,

которому Остроградский диктовал. Самые лекции его были очень коротенькие, не более четверти часа или двадцати минут, остальное же время он просто балагурил с нами, любил слушать или рассказывать анекдоты, подшучивал то над кем-нибудь из нас, то над каким-нибудь преподавателем.

Мое место было как раз около его стола. Остроградский любил нюхать табак, но своего табаку никогда не имел, а всегда обращался ко мне с просьбой достать понюшку. Во всем училище я знал только двоих, нюхавших табак: директора училища, генерала Ломновского, да одного служителя. Понятно, что не к Ломновскому же мне было ходить за табаком, и я брал у служителя, старого солдата, употреблявшего простой березинский табак. Наконец, мне надоело по несколько раз выходить из класса за понюшками, и я выпросил у своего отца, также нюхавшего табак, пожертвовать мне для Остроградского одну из табакерок.

Вот раз Остроградский обратился ко мне с обычной просьбой:

— Соседушка! Сходи-ка за понюшкой (он иногда многим говорил ты).

Я молча вынул из кармана табакерку и подал ему. Табак был хороший, французский; Остроградский с удовольствием понюхал.

— От-то спасибо! — сказал он.— На славу меня сегодня угостил. Это не то, что тот подлец березинский, да еще, кажись, с золой. Откуда ты взял этот табачок?

Я объяснил, что от отца, чтобы не выходить из класса.

— Твой батько, должно быть, хороший человек, это сейчас видно по табаку,— пошутил он.

Однажды кто-то попросил его объяснить, что такое дифференциал.

— Да ведь вы проходили же дифференциальное исчисление? — спросил он, в свою очередь.

— Проходили.

— Кто вам читал?

— Полковник Тер-Степанов. <...>

— Объяснял, что дифференциал есть разница между двумя бесконечно малыми величинами. Но это ведь только фраза, не объясняющая сущности дела.

— Эко, брат, ты чего захотел — сущности! Сущ-

ность дифференциала знают во всем мире только двое: Эйлер[2] да я. Объяснить его нельзя. Это можно или почувствовать, или постигнуть вдохновением. Если бы Архимед в наше время был жив, так он был бы третий, который знал бы, что такое дифференциал.

Вообще Остроградский признавал Архимеда величайшим из математиков всех стран и всех веков.

Мне приходилось иногда выходить из замка[3] одновременно с Остроградским и по одной дороге. Поэтому по пути я часто беседовал с ним об интересовавших меня вопросах математики. Он имел на эту науку совершенно своеобразный взгляд.

— Все полагают,— говорил он,— что математика — наука сухая, скучная, состоящая только в умении считать. Это нелепость. Цифры играют в математике самую ничтожную, самую последнюю роль. Это — высшая философская наука, наука величайших поэтов! У нас называют математиками просто цифирников, которые научаются считать или сочинять и разрешать всякие формулы и больше ничего. А духа математики, ее смысла, ее сущности никто из них не знает. Собственно, на свете был только один настоящий математик — это Архимед, а все прочие — цифирники, не более того.

— Но как же Коперник, Галилей, Ньютон и другие? Неужели и они не были математиками? — спросил я.

— В строгом смысле нет,— решительно сказал Остроградский.— Это были остроумные цифирники, но не математики.

— Так что же, по-вашему, математика?

Этот вопрос, как теперь помню, был задан мною на Невском проспекте, когда мы проходили мимо Гостиного двора. Остроградский остановился, расставив ноги и положив мне на плечо свою руку.

— Друг мой,— сказал он,— математика — это душа природы! Разумом нашим ее нельзя постигнуть, а можно только восприять всем своим существом. Ты ведь слыхал мою историю, как я сидел в тюрьме, в которую вошел никому неизвестным горемыкой и как вышел из нее с европейским именем. Научиться математике в тюрьме я не мог. Что же там со мною случилось? Очень просто, меня озарило божественное вдохновение, как оно озаряло древних пророков, и я постиг сущность математики. Чем я постиг? Конечно,

не одним разумом, а всем своим телом, от головы до пяток. Я ведь считать совсем не умею; ты сам знаешь, что многие из твоих товарищей, моих учеников, считают гораздо лучше меня. Я часто путаюсь, решая какую-нибудь цифирную задачу, и если бы экзаменовался, положим, у Паукера, то он поставил бы мне нуль. А между тем я все-таки математик, а Паукер — нет.

Остроградский проговорил все это довольно громко и жестикулируя. Громадная и оригинальная его фигура, а также громкая речь о математике, разумеется, обратила на нас внимание прохожих, и некоторые даже остановились, с удивлением слушая такую необычайную лекцию на Невском. В числе остановившихся случился молодой лейб-гусар. Остроградский вдруг повернулся к нему и начал в упор глядеть ему в глаза. Гусар сконфузился и пошел далее, гремя волочившейся саблей.

— Так-то лучше,— заметил Осгроградский. <...>

В июне месяце 1854 года я приехал в Ревель[4], куда, тотчас по производстве в офицеры, был назначен для ведения инженерных работ, вместе с несколькими другими товарищами по училищу. Так как нам предстояло проходить курс еще в двух офицерских классах, то будь это в мирное время, мы занимались бы топографическими работами где-нибудь в окрестностях Петербурга. Но в этом году, по случаю войны[5] и вследствие большого недостатка офицеров в войсках, начальство решило воспользоваться нашими силами на летнее время и распределило по городам и крепостям Финского залива. <...>

Ревель, по случаю приближения военной грозы, имел в то время очень странный вид. В большей части домов все стекла оконных рам были заклеены накрест или в виде звезды полосками бумаги. Этим, как оказалось, экономные немцы хотели предупредить разбитие стекол в случае бомбардирования города. Кроме этой наружной особенности, город блистал отсутствием жителей: все бароны и рыцари бежали из насиженных мест по своим поместьям и мызам, или во внутренние города; за ними последовало и более состоятельное купечество. В Ревеле остались только бедные торговцы и ремесленники, которым некуда было деваться и не на что было бежать, да, разумеется, масса военных, собранных здесь для защиты города.

Осматривая город, я взобрался между прочим на древнюю каменную стену Вышгорода (цитадель[6]), откуда, с высоты птичьего полета, удобно было видеть все приготовления, сделанные для встречи неприятеля. Отсюда я увидел, что весь Ревельский залив был обставлен по берегу разного рода и вида земляными батареями, в числе которых виднелась вдали и та, на которую я был назначен. На валах цитадели лежали, кроме того, около 400 чугунных орудий, которые нельзя было употребить в дело по недостатку лафетов[7]. Хотя я не был военным практиком, но хорошо знал теорию военного дела, и потому это обозрение навело меня вовсе не на веселые думы. Все наши батареи, расположенные у самой воды, а некоторые даже прямо в воде, и вооруженные старыми чугунными орудиями, никак не могли быть особенно грозными для неприятеля, тогда как каждая бомба, брошенная им в город, причинила бы большие опустошения. Кроме того, перед Ревелем лежит небольшой островок Наарген, который мог служить, и действительно потом служил, хорошим прикрытием для неприятеля.

Ознакомившись таким образом наглядно с общим положением обороны, я взял на другой день извозчика, оделся в полную парадную форму и поехал на Ново-Екатеринентальскую батарею представиться своему будущему командиру.

Батарея лежала на третьей версте от города, по дороге в Нарву, в восьми саженях от моря. Между валом батареи и водою проходила грунтовая дорога по направлению к развалинам монастыря св. Бригитты, а сзади батареи, в двадцати саженях от нее, тянулось Нарвское шоссе.

Вооружение батареи состояло из 18 чугунных крепостных орудий, в числе которых было 8 тридцатифунтовых, 4 шестифунтовых пушек и 6-пудовых единорогов[8]. Одни орудия были на низких, другие на высоких лафетах, но все на поворотных платформах. Прикрытие батареи состояло из земляного вала с двумя флангами и с амбразурами для всех орудий. Четырнадцать орудий смотрели на море и по два стояли на флангах.

В конце каждого фланга находились пороховые погреба, а близ середины батареи, в семи саженях от вала, две ядрокалительные печи, каждая на 50 ядер. В то время о броненосцах и вообще о железных судах

в военных флотах не имели еще понятия, а потому каленые ядра употреблялись для зажигания деревянных судов.

От концов флангов шли два палисада (забора) под углом, так что весь двор батареи имел форму неправильного пятиугольника. Один палисад, более короткий, соединялся с другим при посредстве блокгауза [9], длиною 26 и шириною 3 сажени, в котором помещалась команда из 90 рядовых, при девяти унтер-офицерах и одном юнкере. С обеих сторон блокгауза были ворота для въезда в батарею.

Подъехав к открытым воротам, я увидел на дворе трех офицеров, медленно прохаживавшихся вдоль линии орудий, и спросил у часового: который из них командир?

— А вот, что в средине, ваше благородие.

Я направился к ним. Офицеры, заметив меня, остановились. Подойдя по всей форме, я только что хотел произнести обычную формулу представления, как командир остановил меня.

— Здравствуйте,— просто сказал он, протягивая мне руку.— К чему это вы в полной парадной форме? Совершенно лишнее. Позвольте вас познакомить: поручики Муржицкий, Сегрский-Каше. Пойдемте, господа, завтракать.

Я едва успел пожать руки поручикам, как он взял меня за талию и повел со двора, через шоссе, к небольшому домику, в котором они все трое жили. Поручики следовали за нами.

Командиром батареи был поручик лейб-гвардии Волынского полка, Михаил Александрович Дурасов. Он был обстрижен под гребенку, имел небольшие усы и иногда слегка косил глазами, что придавало его лицу несколько насмешливое выражение. Ко всему на свете он относился с каким-то странным пренебрежением, как будто все, что совершалось на земле, великое или малое, страшное или радостное, все это было не более как кукольной комедией, о которой не стоило много думать. О самой войне, этом наиболее грозном явлении человеческой жизни, он говорил не иначе как иронически, и ко всем распоряжениям — высшего ли начальства, или даже к своим собственным — относился с тем добродушным презрением, с которым мы относимся к заботам детей во время их игры. Он был очень умен, даже остроумен, хорошо образован и

начитан и не имел ничего общего с двумя товарищами, с которыми ему волею-неволею приходилось коротать боевую жизнь. Мое прибытие, как впоследствии он сам мне это высказал, явилось для него как бы солнечным лучом в серый октябрьский день. Только через четыре месяца, уже по возвращении в Петербург, для меня разъяснилось его странное ко всему отношение: он кончил жизнь, открыв себе жилы на руках в теплой воде. <...>

Муржицкий, поручик армейского пехотного Софийского полка, человек лет сорока, с длинными отвисшими усами, довольно высокого роста, слегка сутуловатый, держался просто и скромно, мало говорил, хотя в каждом его слове чувствовалось сознание собственного достоинства. Это был один из тех армейских офицеров, которыми крепка и сильна русская армия. Эти люди не выскакивают вперед, напоказ, но никогда и не отступают. Начальники невольно их уважают, хотя и не торопятся награждать. Солдаты верят таким офицерам и за ними идут умирать куда угодно. Здравый смысл заменяет у них недостаток знаний, а многолетняя опытность их, соединенная с природным тактом, исправляет промахи командиров, назначенных сверху и не имеющих понятия ни о солдатском быте, ни о практике военной службы. <...>

Дурасов был искренно обрадован моим прибытием. Дело в том, что до меня батарея разделялась на два отделения, по девяти орудий в каждом, что, при значительном расстоянии орудий между собою делало командование ими очень затруднительным. С моим прибытием Дурасов разделил батарею на три отделения по шести орудий, что значительно облегчило как командование, так и все распоряжения по батарее. <...>

По желанию Дурасова, я прежде всего взялся за пороховые погреба. Осмотрев их внимательно, я нашел, что сырость образовалась оттого, что не было двойного пола, и, кроме того, имевшийся пол был сложен из старых досок, снятых с какой-нибудь крыши дома, поэтому легко втягивавших в себя сырость. Выслушав мое объяснение, Дурасов послал Жвирждовскому требование [10] на допоставку новых досок для устройства двойного пола в погребах.

Не буду описывать сцены, слишком грубой и неприятной, которая произошла между мною и Жвирж-

довским, когда он приехал на батарею защищать свое произведение. Несмотря на то, что ему были показаны отсыревшие заряды, он настаивал на том, что погреба выстроены безукоризненно и что никакие новые полы ничего не помогут. Тогда я сказал, что приглашу для решения спора начальника инженеров и попрошу его назначить комиссию. Это подействовало и, хотя с пеною у рта от злобы, но Жвирждовский уступил и сказал, что вытребует с материального двора нужные доски.

Когда доски прибыли, то я просил Дурасова назавтра, пораньше утром, приказать вынести из погребов все заряды, чтобы, кстати, и просушить их на солнце. Когда утром я приехал на батарею, то застал людей уже за работой: они, образовав цепь, вынимали заряды из погребов и, передавая друг другу, укладывали по двору на рогожи. Я направился к одному из погребов, забыв в рассеянности бросить закуренную папироску. Часовой у погреба отдал мне честь, но также не остановил меня. В погребе был Дурасов, распоряжаясь выемкою зарядов. В воздухе стояла пороховая пыль.

Один старый солдат, сидевший на полу, заметив опасность и схватив мою руку с папироской, сжал ее, чтоб погасить огонь. Дурасов все это видел.

— Старый дурак! — сказал он, повернувшись и выходя из погреба.

Озадаченный таким отношением к человеку, желавшему спасти жизнь всех нас, я спросил Дурасова об этом.

— Я не люблю,— отвечал он,— когда люди вмешиваются не в свое дело.

— Как не в свое дело? Но ведь нас всех и вместе с ним могло взорвать на воздух!

— Ну, так что же? Тем лучше.

— Как тем лучше?

— Разумеется. Когда-нибудь надо же умирать. А что может быть лучше такой смерти, как неожиданная и моментальная? Увидя вас с папироской, я думал, что сам Бог послал вас, чтобы покончить эту подлую жизнь; дернуло этого осла вмешаться. Ну, да будет об этом говорить; потерянного не вернешь.

Весь этот день Дурасов был особенно задумчив и неразговорчив.

На работы ко мне каждый день присылались от 40 до 60 человек Литовского или Волынского гвардейских полков, 10 человек саперов и от 5 до 10 плотников. Такой массы народа мне вовсе было не нужно, но я потом узнал, что командиры частей старались посылать больше, так как солдатам за работы платилось. После исправления погребов батареи я принялся за прикрытие ядрокалительных печей, потом за приспособление блокгауза к жительству в нем осенью, затем мне поручено было выстроить общий запасный пороховой погреб для нашей и двух соседних батарей, так что все лето работы у меня не прекращались.

В один прекрасный день вестовой казак проскакал вдоль линии батарей и передал приказание быть наготове, так как неприятель показался невдалеке от Ревеля, и к вечеру его можно ожидать.

Трудно описать, какое оживляющее, в одно время и бодрящее и жуткое, чувство охватило меня при этом известии. Да и все другие как будто переродились, точно праздник настал, хотя праздник особенный, вызывавший не улыбку на губах, а серьезные морщины на лбу. Все как будто чувствовали, что подходило время поверки всего, что мы сделали, своего рода смотр, но смотр опять-таки особенный, который будет произведен не людьми, а высшей силой, решающей судьбы человечества.

Больше всех обрадовался известию Дурасов. Его обычная апатия, небрежное и полупрезрительное отношение ко всему совершенно исчезли. Он стал весел, заботлив обо всем, даже о малейших мелочах службы, на которые прежде не обращал никакого внимания, сделался хлопотлив и предупредителен, точно жених перед свадьбою. В этот день он просил меня остаться обедать у него. <...>

После обеда мы пошли на батарею и, усевшись на валу, в одной из амбразур, разговаривали, не спуская глаз с горизонта, откуда должен был показаться неприятель. Около часу мы просидели так, теряя всякое терпение, как вдруг часовой, стоявший на валу, воскликнул: «Идет!»

Мы все невольно встали также на вал.

Да, действительно он шел! Из-за горизонта, снизу подымаясь вверх, показались сначала две-три вертикальные черточки, потом накрест их горизонтальные;

вертикальные поднимались все выше и выше, потом показались паруса, также поднимавшиеся кверху, совершенно как в балаганах из-под полу поднимают кулису. Мне первый раз пришлось наблюдать это явление, служащее во всех учебниках географии одним из доказательств шарообразности земли. Если б я сомневался когда-нибудь в такой ее форме, то теперь воочию должен был в этом убедиться.

Как забилось мое сердце! Нет никакого сомнения, что англичане меня не убьют. О, нет! Ядро, которое меня убьет, еще не вылито! Нет, это они везут мне Георгия в петлицу, а, может быть, и чин, или даже два чина... Мало ли что может случиться, в особенности если мне в самом деле придется командовать батареей? Если я взорву на воздух или потоплю один или два корабля... Которые же именно?

А корабли, долженствовавшие послужить мясом для моих пушек, все подымались выше и выше, и очертания их делались яснее. Вот уже показались средние паруса, затем самые большие нижние и, немного погодя, борты кораблей...

Громадные темные массы выдвинулись во всей своей грозной красоте... Показались белые полосы, на которых в бинокль можно было сосчитать число орудий. Когда корабли совершенно уже поднялись из-за горизонта и были видны все три дека [11], паруса быстро опустились, как бы по мановению волшебного жезла, и движение их прекратилось. Там же, из-за горизонта, поднимались новые мачты и паруса, одни за другими, и все они выстраивались перед нашими глазами, на воде, которая еще полчаса назад была нашею, а теперь принадлежала им...

Неудержимое желание приложить фитиль к пушке и послать им добрую бомбу охватило меня. Но это было невозможно сделать, так как граф Берг отдал строгий приказ, чтобы без сигнала с башни св. Олая (днем — красный флаг, а ночью — красный фонарь) никто не начинал пальбы, даже если б англичане открыли ее. По-видимому, такое же желание овладело и другими.

— Эх! Кабы теперь же шарахнуть туда,— сказал Дурасов, прервав молчание, невольно воцарившееся между нами при виде неприятеля. <...>

Солдаты не менее нашего заинтересовались невиданным зрелищем неприятельского флота. Вся коман-

да собралась на валу батареи, и кто лежа, кто сидя, кто стоя наблюдали за малейшими движениями судов, перекидываясь замечаниями.

— Лодку спущают с большого-то корабля.

— Не к нам ли поедет она?

— Жди, дурова голова. Так вот и поехала. Раков-то кормить на дне морском кому охота.

— Да главнокомандующий не велел нам палить без приказу.

— Ну, так что же?

— А то, что она вот подъедет к нам посмотреть, какие мы такие.

— Твоего рыла не видали, что ли?

— А, братцы, какой веры этот англичанин?

— У них, говорят, и попов нет, креста не носят.

— Басурманы, значит.

— Нехристи, одно слово.

— Чего врешь! Хрестьяне, как и мы, только по-своему молятся.

— А ты откуда знаешь?

— Да у нас в деревне, на фабрике, три агличана в механиках состояли, так я видел их. В нашу церкву хаживали, а чтобы крест по-нашему класть, так этого у них нет.

— А ведь как начнет жарить в нас, здорово будет! Ишь пушек-то понатыкано сколько у них. Не счесть.

— Ему трудно будет в нас палить, потому он на воде, закачает, прицелу не будет.

— Боньбой начнет кидать.

— Так что ж боньбой! Ей тоже нужно прицелиться, зря-то ничего не поделаешь.

— А мы его калеными ядрами зажжем.

— Зажги!

Я долго прислушивался к этим солдатским рассуждениям, и меня более всего поразило в них то, что во весь вечер ни один солдат не промолвился ни единым словом о том, что мне казалось самым естественным и самым существенным в данную минуту, именно о своих ощущениях. На них приход неприятеля, по-видимому, не произвел другого впечатления, кроме возбуждения простого любопытства. Ни страха, ни малейшего волнения, ни рассуждений о близкой опасности, даже смерти — ничего подобного: они толковали о неприятеле просто, как о зрелище, принесшем некоторое разнообразие в обыденную будничную жизнь.

Совсем не то было в нашем офицерском обществе.

Дурасов был очень взволнован, но как-то радостно, точно дождался светлого праздника. Он оживился и как будто помолодел. Приказ графа Берга не палить без сигнала, хотя бы англичане начали стрелять, ужасно его возмущал. Если бы не этот приказ, Дурасов наверное начал бы пальбу, несмотря на то, что наши ядра не могли на таком расстоянии достигать до неприятеля. <...>

Что касается лично до меня, то, откровенно говорю, чувство страха было первым, которое охватило меня, как только я завидел мачты неприятельских кораблей. Я только что начинал жить, эта жизнь представлялась мне в таких розовых красках, что мне жаль было отдавать свою жизнь так дешево и так бесполезно. <...>

Да, так все лето и прошло без одного выстрела. Англичане ограничивались только строжайшею блокадою, от которой более всего страдали бедные рыбаки, промышляющие ловом кильки. Они совсем лишились куска хлеба, но иногда с голодухи решались выезжать, и в заливе, на глазах англичан, ловить рыбу. В таком случае англичане спускали маленькие пароходики и гребные катера, чтобы ловить дерзких рыбаков. Мы часто любовались на эту картину. Смелые и ловкие рыбаки, на своих небольших лайбах [12], с косыми парусами, мелькали, как чайки, по заливу, искусно лавируя между английскими судами, посланными в их догонку, и во все лето неприятелю не удалось поймать ни одного контрабандиста. Правда, при таких условиях добыча кильки не могла быть великою, но не даром говорится: à la guerre, comme à la guerre... *

Однажды вышел такой комический случай. Какой-то английский катер, увлекшись погонею, слишком близко подъехал к берегу. В это время тут случился казачий патруль. Смелый урядник скомандовал атаку, и казаки бросились на лошадях в воду, подплыли к катеру и начали хлестать англичан нагайками. Те защищались веслами и чем попало, но ни та, ни другая сторона не только не стреляли, но и не обнажили холодного оружия. Должно быть, казацкие нагайки пришлись англичанам не совсем-то по вкусу, так как

* На войне как на войне *(фр.)*

они взялись за весла и как можно скорее удрали восвояси. С тех пор они уже остерегались слишком близко подходить к берегам. <...>

Время тянулось невообразимо однообразно. Целые дни приходилось присутствовать на батарее, занимаясь приемами артиллерийской службы или инженерными работами. Эти работы, впрочем, были большим благом для меня, так как все-таки разнообразили занятия и поглощали праздное время. Я исправил два погреба на батарее, уничтожил в них сырость, прикрыл ядрокалительные печи от навесных выстрелов блиндажами; выстроил перед ними траверс (земляной вал) для защиты от прямых выстрелов; переделал блокгауз для жительства в осеннее время и, наконец, выстроил большой запасный пороховой погреб по ту сторону шоссе. Все эти работы занимали и развлекали меня, чему много завидовали Дурасов и Муржицкий, которым, кроме утреннего ученья, решительно нечего было делать целый день. <...>

В конце августа пришлось вернуться в Петербург, продолжать курс премудростей инженерного дела. Глубоко тронуло меня прощание с Дурасовым и с почтенным Муржицким, которые, хотя различно, но оба в высшей степени доброжелательно относились ко мне все время.

Через три года после того мне привелось еще раз встретиться с Муржицким в Новгороде. На вопрос мой о Дурасове он сказал, что вскоре после моего отъезда из Ревеля Дурасов сделал себе теплую ванну и открыл жилы на руках. Его успели захватить вовремя, и доктор строжайше запретил давать ему что-нибудь кислое. Узнав об этом, Дурасов ухитрился достать квасу и, напившись его в изрядном количестве, умер.

Только теперь, узнав о такой его смерти, я понял все те странности в его поведении, которые всегда поражали меня. Вот почему он так жаждал боя: он хотел избавиться от самоубийства...

Бедный человек!

ВИКТОР ИВАНОВИЧ БАРЯТИНСКИЙ

(1823—1904)

Князь Виктор Иванович Барятинский никогда не помышлял о карьере литератора, хотя во времена своей молодости, без сомнения, посещал модные литературные салоны Петербурга и Москвы. Об этом периоде его жизни почти ничего не известно; между тем Б. Н. Чичерин в своих записках упоминает о Викторе Ивановиче как о давнем своем знакомом, стало быть, судьба не раз сводила их в одних и тех же домах. Встречался Барятинский также и с В. А. Соллогубом, который писал, что братья «Барятинские по знатности своего рода и своему богатству занимали одно из первенствующих мест в большом петербургском свете» [1].

Виктор Иванович был красив, смел, широко образован и прекрасно рисовал. Он любил море, книги, путешествия и искусство. Ему повезло: он много путешествовал, а к концу жизни собрал в своем родовом имении (в Курской губернии) хорошую библиотеку и весьма значительную коллекцию картин.

«Манеры князя Виктора,— вспоминал современник Барятинского,— кроткие и тихие, вполне оправдывали рассказ князя Александра <А. И. Барятинского.— *И. П.*>, что отец их готовил и предназначал Виктора в духовное звание. Отсюда же, то есть из принципов, которые приняты были при его воспитании, произошло и то, что он не проявил никакого служебного честолюбия...» [2]

---

[1] Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания Л., 1988. С. 539.
[2] Инсарский В. А. Записки. Спб., 1894. Ч. I. С. 221.

Виктору Ивановичу было два года, когда он лишился отца, князя Ивана Ивановича Барятинского, одного из богатейших помещиков Курской губернии. Молва утверждала, что старый князь увлекся на склоне лет земледелием и стал отличным агрономом. Так это или нет, но страсти к земледелию никто из его детей не унаследовал. Старший из его сыновей, Александр Иванович, сделал блестящую военную карьеру и стал фельдмаршалом. Александр Иванович всегда был дружен с Виктором и относился к нему нежно и покровительственно.

Получив хорошее домашнее образование и окончив в 1841 г. Петербургский университет, Виктор Иванович поступил в морскую службу — на Черноморский флот.

Он жил в Севастополе, плавал на парусниках, крейсерах и бригах и скоро обратил на себя внимание адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова и П. С. Нахимова. Однако князь Виктор Иванович был человеком характера независимого и покровительства не искал. Благосклонность адмиралов пригодилась ему значительно позднее: в дни Крымской войны она позволила ему неотлучно находиться при Корнилове (до самой его гибели), а потом — при Нахимове, то есть в самых жарких точках сражений, в самом центре боевых действий.

А пока, в 40-е годы, он вел обычную жизнь морского офицера. Правда, однообразие этой жизни было неожиданно скрашено длительным заграничным плаванием на шхуне-бриге «Вестник». «Вестник» долго простоял у берегов Греции, и Барятинский, с детства мечтавший увидеть эту страну, получил возможность объехать на маленькой яхте все Греческое побережье. При этом он не расставался с карандашом и бумагой, создав серию рисунков, передающих его живые и яркие впечатления об этой стране.

Впоследствии привычка точно фиксировать мгновение сказалась и в записках В. И. Барятинского, где емкое и выразительное слово одаренного литератора гармонически сочетается с цепким, все подмечающим взглядом художника. Из этого сочетания рождается настоящая проза, емкая, внутренне насыщенная и динамичная. Проза, не так уж часто встречающаяся в мемуарной литературе. Князь рассказывал, как адмирал Нахимов попросил его запечатлеть

картину Синопского боя. Барятинский возразил, что это свыше его сил, но все же сделал зарисовки. При этом интересно, что он не только отметил расположение русских судов, но записал отдельно основные цвета сражения. Для того,— говорил он позднее,— чтобы передать все это какому-нибудь живописцу. Такой живописец нашелся, и читателю, без сомнения, будет интересно узнать, что был им не кто иной, как И. К. Айвазовский, близкий знакомый князя Виктора.

Вернемся, однако, в Грецию. Здесь князь Барятинский не только рисовал, путешествуя на яхте. Он предпринял за свой страх и риск (а также и на собственные деньги) археологические раскопки, пытаясь найти у подножия Акрополя то место, где в древности находился театр Дионисия. Конечно, князь был дилетантом и вполне возможно, что начатое им дело было заранее обречено на неудачу. Как утверждал единственный биограф Барятинского (автор предисловия к его воспоминаниям), через несколько лет открытия Генриха Шлимана, поразившие все культурное человечество, подтвердили смелые археологические гипотезы князя Виктора. Однако на этом поприще князь так и не снискал известности; кажется, впрочем, что он к ней и не стремился. Заметим также, что еще прежде, живя в Севастополе, Барятинский вел раскопки в Херсонесе Таврическом, но и здесь, так же, как в Греции, он работал бескорыстно, прокладывая дорогу тем, кто пришел туда после него.

За первым путешествием князя последовало второе. Вернувшись на «Вестнике» в Россию, Виктор Иванович отпросился в отпуск и уехал сначала в Малую Азию, а оттуда в Египет. Он странствовал пешком и верхом на лошади, как приходилось, и рисовал в своем путевом альбоме места, куда редко ступала нога русских путешественников. Величие египетских пирамид, восточная пышность древних городов Малой Азии — все разжигало в нем азарт путешественника.

Он стал мечтать о собственной яхте, надежном судне, на котором можно было бы избороздить моря и океаны. Князь был молод и богат. Притом он был человеком действия. Он вернулся в Россию, и работа закипела: по чертежам адмирала Лазарева в городе Николаеве была построена шхуна «Ольвия» водоиз-

мещением в 160 тонн. К этому времени князь Барятинский стал членом императорского яхт-клуба, что позволило ему осуществить его дальнейшие планы. Он не был теперь прикован к Черноморскому флоту, ибо по законам Российской империи морской офицер, совершающий плавание на судне, принадлежащем императорскому яхт-клубу, считался на действительной службе.

Набрав команду из военного флота, князь отправился на «Ольвии» вокруг Европы. Конечным пунктом этого путешествия, продолжавшегося три года, был Кронштадт.

Оставив яхту в Кронштадте, князь вернулся в Севастополь. Он был назначен командиром шестнадцатипушечного брига «Эней», но с приближением войны адмирал Корнилов забрал его к себе. Барятинский участвовал в Альминском сражении и в Синопском бою, оставив о последнем замечательную по своей выразительности запись: «Большая часть города горела, древние зубчатые стены с башнями эпохи средних веков выделяются резко на фоне моря пламени. Большинство турецких фрегатов еще горело, и когда пламя доходило до заряженных орудий, происходили сами собой выстрелы, и ядра перелетали над нами, что было очень неприятно. Мы видели, как фрегаты один за другим взлетали на воздух. Ужасно было видеть, как находившиеся на них люди бегали, метались на горевших палубах, не решаясь, вероятно, кинуться в воду. Некоторых было видно сидящих неподвижно и ожидающих смерти с покорностью фатализма. Мы замечаем стаи морских птиц и голубей, выделяющихся на багровом фоне озаренных пожаром облаков. Весь рейд и наши корабли до того ярко были освещены пожаром, что наши матросы работали над починками судов, не нуждаясь в фонарях. В то же время весь небосклон на восток от Синопа казался совсем черным» [1].

Почти все время осады Севастополя князь провел в городе и был вывезен оттуда, заболев тяжелым тифом.

После заключения мира он вышел в отставку и поселился с женой Марией Аполлинариевной (дочерью

---

[1] Воспоминания князя В. И. Барятинского. М., 1905. С. 111—112.

известного дипломата Бутенева) в родовом имении, в селе Груновка. В начале 90-х годов князь уехал за границу и жил там почти безвыездно, лишь изредка бывая в Петербурге.

Воспоминания князя В. И. Барятинского забыты. Они затерялись в обширной мемуарной литературе, посвященной Крымской войне. В них нет ни широкой панорамы событий, ни даже их последовательности. Но читатель, вероятно, оценит их несомненную искренность, незаурядную выразительность, а может быть, испытает то редкое чувство сопричастности рассказанному, которое далеко не всегда удавалось пробудить мемуаристам более значительным, чем князь Виктор Иванович Барятинский.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В 1852 г., командуя в Севастополе шестнадцатипушечным бригом «Эней», я по болезни испросил себе непродолжительный отпуск летом на Кавказские минеральные воды. Поехал я в своем дормезе [1] сухим путем на Керчь (пароходного сообщения срочного по Черному морю тогда не было). Из Керчи я переправился на пароходе в Тамань, потом, землею донских казаков, на Ставрополь в Пятигорск. Там, с поступления Кавказа под управление князя Воронцова [2], было устроено более или менее удобное заведение минеральных вод, были выведены большие крытые галереи для пользующихся водами и было немало порядочных докторов. Оттуда меня вскоре отправили в Кисловодск, где находился знаменитый источник Нарзан. Местоположение Кисловодска весьма красивое, воздух чистый и живительный, и долина изобилует горными ручьями и прекрасною растительностью.

В Кисловодске я занял маленький домик и жил недели две.

В то время командовал левым флангом брат мой Александр [3], бывший тогда в чине генерал-лейтенанта (ему было 37 лет), и я не хотел оставить Кавказ, не посетив его.

Главное его пребывание было в крепости Грозной, в Малой Чечне, и я отправился в землю линейных казаков по левому берегу Терека. Доехав до Николаевской станицы, я узнал, что брат находился в то время в Старом Юрте, укрепленном лагере, выстроенном на месте, известном горячими целебными ключами, и что он там лечился.

До этого места было очень недалеко, 20 или 30 верст; но мне объявили, что туда ехать нельзя было иначе как с оказиею [4], которой придется мне ждать в Николаевской станице. В этой местности, по ту сторону Терека, были племена немирные, и очень часто случалось, что лица, решающиеся проезжать без конвоя, попадали в плен и за них требовался более или менее значительный выкуп [5].

Я ни за что не хотел долго ждать в станице, так как дни моего отпуска были рассчитаны, и настаивал на том, чтобы станционный смотритель дал мне лошадей. Наконец он согласился, но не иначе как с тем, чтобы я принял это дело под свою ответственность.

Лошадей начали запрягать, и вдруг я вижу казачьего полковника, проезжающего верхом близ станции с конвоем из пяти или шести казаков. Он с любопытством посмотрел на мой дормез, и я решился его спросить, куда он едет. «В Старый Юрт»,— был его ответ. Тогда я ему объявил, что я еду туда же, к брату, начальнику фланга; он себя назвал полковник Камков (впоследствии я узнал, что он был известен на Кавказе своей храбростью и подвигами), и предложил конвоировать меня, на что я с благодарностью согласился. Мы доехали благополучно до укрепленного лагеря. Домов настоящих там не было, а только землянки и палатки. Я велел везти себя к брату; он жил в землянке, состоявшей из нескольких небольших комнат. Мне сказали, что он брал ванну. Я туда пошел, он сидел в горячей ванне. Персиянин в своем национальном костюме, с черной бородой и в остроконечной меховой шапке, почтительно его массировал. Брат с неописанным изумлением посмотрел на меня (о моем приезде на Кавказ он ничего не знал) и спросил, откуда и как я попал туда. Я отвечал, что приехал в дормезе. «Да ведь сегодня никакой оказии не было!» — вскрикнул он. «Меня конвоировал полковник Камков». Тогда он очень рассердился, что я отважился на подобную вещь, и был сердит на Камкова за его предложение, говоря, что я подвергался большой опасности и мог быть взят в плен. Он особенно строго запрещал подобные рискованные поездки.

В Старом Юрте я провел несколько дней и был очень доволен, что мог видеть в совершенно военной обстановке этот знаменитый край и так близко от притонов самого Шамиля [6].

Офицерам и нижним чинам нельзя было без особых предосторожностей выходить из укрепления на самое близкое расстояние, и за два дня перед моим приездом два офицера, из коих один был Кологривов, не дождавшись конвоя, выехали из лагеря верхом и за полверсты от него были атакованы горцами; они, однако же, оба вернулись, но один из них был тяжело ранен. <...>

Обедали и ужинали в палатке, и меня сильно интересовали и увлекали рассказы моего брата, отличавшиеся живостью и картинностью. Мы по целым часам сидели и слушали его. 1852 г. был одним из самых обильных славными и геройскими делами про-

тив Шамиля, выказавшими у моего брата способности ловкого, предприимчивого и вместе с тем осторожного военачальника.

Горячие ключи в Старом Юрте достигали превысокой температуры, сколько помню, до 75° Реомюра. Там существует предание, что какой-то архиепископ упал в эту воду и моментально был сварен.

Из Старого Юрта я совершил преинтересную поездку с некоторыми из приближенных брата, между прочим, с Зиновьевым, в Червленную станицу. Там мы остановились и провели сутки у барона Розена, начальника станицы. Жители ее, как и большая часть гребенских казаков, выходцы из России, раскольники, были поселены там в царствование Петра Великого. Это было племя весьма воинственное, и дух у них поддерживался беспрестанными набегами и схватками с горцами, обитавшими по ту сторону Терека. Мужчины были стройные и имели вид воинственный, женщины же славились красотой и победами над сердцами приезжавших туда военных.

Меня пригласили вечером на хоровод казачьих девушек в роще у берега Терека: несколько прекрасивых девиц, одетых в богатые шелковые костюмы, исполняли с весьма грациозными движениями и очень чинно свои национальные пляски и пели свои казачьи песни, полные мелодии. Зрелище было самое обворожительное и поэтическое.

Когда кончился срок пребывания на водах начальника фланга, то составилась, по случаю переезда его в крепость Грозную, огромная оказия.

Наконец, в назначенный для отъезда день длинная вереница экипажей разного рода: коляски, тарантасы с офицерами, дамами, больными, и между прочим мой дормез, вытянулись возле лагеря, и сформирован был конвой из одного батальона пехоты, нескольких орудий и нескольких сотен гребенских конных казаков. Брат Александр сел в открытую коляску и взял меня с собою. Свита его ехала за ним в других экипажах. Камердинер его Исай (известный на всем Кавказе и герой многих анекдотов) сидел на козлах. За нашею коляскою бежал на свободе без повода старый породистый орловский рысак, служивший брату еще в Хасаф-Юрте, когда он командовал полком. Он подбегал по временам очень близко к нам, и брат давал ему из рук ломти хлеба. Погода

была чудная, летняя, вся сцена самая живописная и своеобразно военная. Впереди нас на огромном расстоянии был виден весь хребет Кавказских снеговых гор; полковые песенники оглашали воздух веселыми песнями, сопровождаемыми свистом и звуком бубен. Я был в полном восторге. Места, которыми мы ехали, почти плоские; изредка встречались невысокие холмы. Около половины пути мы подъехали к оврагу; пехота выступила вперед, артиллерия за нею, и они заняли высоты по обе стороны оврага; брат мне сказал: «Мы подъезжаем к одному из самых опасных мест Северной Чечни, и тут было немало кровопролитных схваток с горцами». К этому оврагу ведет ущелье очень длинное, и горцы, незаметно двигаясь, внезапно бросались на проходившие оврагом войска.

По мере нашего следования подъезжали к нам с разных сторон туземные князья со свитой, полумирные, и считали своим долгом приветствовать начальника фланга; они присоединялись к свите, и я любовался их костюмами и ловкою воинственною осанкою. Все время разные всадники с обеих сторон джигитовали, преследуя друг друга и стреляя из винтовок и пистолетов.

Около того же места мы увидели двигающуюся навстречу к нам конницу; то были казаки. Брат велел остановить экипаж, вышел из него и позвал начальника этого отряда. Они пошли вместе на ближайший пригорок и там ходили взад и вперед, как видно, погруженные в какое-то важное совещание. Оказия остановилась, экипажи, солдаты, конница. Совещание длилось долго. Начальник казаков, которых мы встретили, был известный полковник Бакланов, ознаменовавший себя столькими стремительными набегами и атаками, решавшими не раз победу наших войск.

Наконец к вечеру мы приехали в крепость Грозную, столицу начальника левого фланга. У него был дом казенный, просторный, хорошо устроенный, похожий на помещичий дом внутри России. Там я познакомился с гарнизонною жизнью того времени в кавказских крепостях.

В мою бытность в Грозной приехал туда на службу генерал Багговут [7] с женою; вследствие раны в голову ему была сделана операция, и часть черепа у него была серебряная.

Была заметна в крепости большая деятельность, но мало было слышно о происходящих или имеющихся в виду военных действиях. Брат мой был известен тем, что держал в большой тайне все предпринимаемые им действия.

В Грозной я познакомился с одним из известных, перешедших к нам с сыном, наибов Шамиля, по имени Бата̀. Брат был о нем высокого мнения и считал принятие им русского подданства важным и полезнейшим для той части Кавказа событием. Бата беспрестанно бывал у брата, который был особенно с ним ласков и сумел его к себе привязать. У него в манерах было замечательно много достоинства, даже развязность светского человека, но вместе с тем большая простота в обхождении. Его сын, молодой человек лет 22-х или 23-х, удивлял меня такими же, как бы врожденными, хорошими манерами.

Брат мой, вскоре после поступления края под его начальство, ввел в Чечню между туземными жителями нечто вроде самоуправления, согласно их обычаям и законам, и во главе этого ведомства поставил полковника Бартоломея [8], честного и трудолюбивого человека, известного еще, кроме того, своими трудами по части естественных наук. Эту систему самоуправления для туземцев мой брат развил впоследствии, когда он сделался наместником, в более обширных размерах. Жители были этими мерами весьма довольны, и они принесли счастливые результаты.

В бытность мою в Грозной состоялась свадьба офицера одного из здешних полков с молодою девицей из того же гарнизона, и начальника просили, как водится, быть посаженым отцом. По этому случаю был дан бал, на котором очень веселились и где я слышал престранные разговоры с гарнизонными дамами.

Но отпуск мой кончался, и я должен был проститься с братом. Он дал мне конвой из одной или двух сотен казаков с орудием, и я с грустью выехал из Грозной, весьма довольный временем, проведенным на Кавказе, и преимущественно в крае, подвластном брату Александру. Я вынес из моего пребывания на Кавказе чувство, которое испытывала большая часть приезжавших туда хоть и на короткое время, чувство неизгладимо приятного впечатления от тамошней жизни, исполненной разнообразия и вместе с тем при-

вольной среди тревог и забот военной обстановки. Встречаемое везде беспредельное гостеприимство и приветливость жителей много прибавляют к прелести путешествия по этому краю. Я проехал по всей Сунженской линии, известной в летописях Кавказа прекрасными военными делами и подвигами генерала Слепцова [9].

Остановившись раза два или три в разных станицах, я приехал в Владикавказ [10], где был принят командовавшим тамошними войсками бароном Вревским (который был спустя несколько лет убит при штурме аула).

Оттуда я снова попал на почтовую дорогу и через Ставрополь, Тамань, Керчь вернулся в Севастополь, где вступил опять в командование бригом «Эней», стоявшим в мое отсутствие на Севастопольском рейде под командою моего старшего офицера, лейтенанта Мусина-Пушкина.

Я плавал в это лето по Черному морю в эскадре адмирала Корнилова [11], и мы занимались разными учениями и эволюциями [12], ходили к Кавказским берегам и в Азовское море.

Осенью этого же года прибыл в Севастополь император Николай, и были сделаны флоту, на рейде и в открытом море, смотры, в которых я участвовал как командир брига.

Несколько времени по моем возвращении с Кавказа, к великому моему горю, я узнал, что на другой день после моего отъезда из Грозной было сделано лично моим братом против Шамиля движение, в котором было большое дело, одно из самых блистательных в эту эпоху. Я ужасно был огорчен, что он мне ничего об этом не говорил, оставшись верным своей всегдашней системе не сообщать вперед ни одной душе о задуманном плане. Таким образом я был лишен возможности быть свидетелем тогдашних экспедиций против горцев и ознакомиться с особенностями и типичным характером войны в те времена против Шамиля.

1853[13]

28 октября 1853. Отплытие эскадры, составленной из кораблей: «Двенадцать апостолов», «Три святителя» (флаг к<онтр>-адмирала Новосильского), «Великий князь Константин» (флаг в<ице>-адмирала

Корнилова), «Париж», «Ростислав», «Святослав», пароходо-фрегата «Владимир» и брига «Эней» под командою вице-адмирала Корнилова. Эскадра идет разыскивать турецкую эскадру, о которой наши крейсеры донесли, что она находится близ Варны. С 29 октября по 3 ноября постоянные штормы. Турецкий берег и Варна открылись 3 ноября, но турецкой эскадры не видно. К вечеру адмирал посылает «Владимир» осмотреть побережье близ Варны. 4-го ноября «Владимир» возвращается около полдня, ничего не увидав. Корнилов решается оставить эскадру и идти на «Владимире» на соединение с эскадрой вице-адмирала Нахимова, крейсирующего у Анатолийского берега между мысом Керемле и бухтой Амастро. Контр-адмиралу Новосильскому, оставшемуся начальником эскадры, велено тоже туда следовать. 5-го ноября на рассвете открылся Анатолийский берег, и вскоре мы видим на горизонте эскадру из 4-х больших и 2-х малых парусных судов, к которым мы направляемся, полагая, что это эскадра Нахимова.

Почти одновременно, по другому направлению, мы видим дым парохода. Чтобы удостовериться, какой он нации, мы берем курс на него и даем самый полный ход. Мы его нагоняем, и скоро становится ясным, что он не принадлежит к нашей эскадре. Пароход идет как-то неуверенно, часто и внезапно меняет курсы, что заставляет подозревать, что пароход неприятельский; пароход двухмачтовый и без флага. Подойдя на расстояние пушечного выстрела, мы поднимаем русский флаг, на что он тотчас отвечает подъемом турецко-египетского. Тогда мы даем один выстрел ядром впереди его носа, чтобы принудить его к сдаче. Ответа нет, и мы посылаем залп за его корпус, и он отвечает градом ядер, которые все перелетают через «Владимир», не задев его. Неприятельский пароход, видимо, старается от нас уйти и направляется к берегу. Мы гонимся за ним в близком расстоянии, и завязывается жаркий бой, длящийся от 10 часов утра пополудни.

Во время боя командир египетского парохода стоит на мостике между кожухами и оттуда отдает приказания и ободряет свою команду. Я нахожусь на баке, направляя стрельбу некоторых орудий, наносящую большие повреждения корпусу и рангоуту [14] неприятельского парохода. Около половины первого

я вижу, что турецкий командир сражен ядром, так же и мостик, на котором он стоял. Корнилов желает поскорее покончить дело и велит приблизиться к неприятелю на ружейный выстрел и стрелять в него картечью. То же делает и турок.

Во время боя я оборачиваюсь в сторону, где стоял Корнилов, и вижу его адъютанта Железнова, навзничь лежащего на десантном боту головой вниз и могущего упасть в море. Устремляюсь к нему, перескакивая через тело матроса, только что пораженного картечью в голову, я вовремя схватываю Железнова, падение которого не было замечено другими. Я его держу за руку и за волосы. Корнилов подбегает и помогает мне его удержать; но мы, к великому горю, видим, что он смертельно ранен картечью в шею. Его сносят в каюту, где он скоро умирает, не сказав ни единого слова. Бой все продолжается; наши ядра и картечь пробивают борт и палубу неприятеля, и мы видим летающие осколки дерева. Наконец около 1 часа дня неприятель спускает флаг, и один из турецких офицеров размахивает этим флагом и бросает его на палубу, чтобы яснее нам дать понять, что он сдается.

Мы тогда были совсем близко от неприятеля, и я, к великому своему удивлению, вижу турок, сидящих на палубе и курящих трубки среди трупов убитых, как ни в чем не бывало, точно они сидят в кофейне на базаре. Мы посылаем сперва туда легкую шлюпку с лейтенантом Ильинским, чтобы овладеть пароходом, а потом два баркаса для своза к нам пленных. Первый турок, поднявшийся к нам на «Владимир», кажется, полагает, что ему тотчас отрубят голову. Лицо его выражает смертельный испуг, но и покорность к судьбе. Наш командир Бутаков, хорошо знающий турок, их успокаивает, отводит отдельную каюту офицерам, которых было около двенадцати, а остальную турецкую команду посылает на бак. Лишь только Ильинский оказался на пароходе, мы видим поднятыми свой Андреевский флаг, а под ним турецкий. Корнилов поручает мне наблюдение за ранеными, как нашими, так и турецкими. Судовой врач в окровавленном фартуке и с засученными рукавами делает свое дело, одинаково относясь к христианам и мусульманам. Затем наступает время обеда, и Корнилов приглашает пленных офицеров, среди которых был мул-

ла, отобедать с нами. Офицеры эти, покрытые кровью и только что вышедшие из столь смертельного боя, казались совершенно спокойными и непринужденными, разговаривают и даже шутят с нами. Они сообщают, что их командир, родом из черкесов, решился умереть, но не сдаваться; он был приятелем Саида-паши [15] и известен своей храбростью. В продолжение двух часов мы стояли на месте и чинили повреждения взятого парохода, дабы он мог дойти до Севастополя, и мы затем идем туда, взяв «Перваз-Бахри» на буксир. Вскоре мы открываем на севере эскадру из шести больших судов и в то же время различаем по другому направлению верхние паруса тех судов, которые мы видели утром.

Будучи уверены, что последние принадлежат к эскадре Нахимова, предполагаем, что эскадра, видимая на севере, неприятельская. Чтобы в том удостовериться, Корнилов приказывает пароходу «Перваз-Бахри», на котором уже была русская команда под начальством лейтенанта Попандопуло, идти прямо в Севастополь, а мы сами направляемся к подозрительной эскадре. Спустя некоторое время мы узнаем в ней эскадру Новосильского, сигналом приказываем «Первазу-Бахри» (который был еще в виду) подойти к нам, и мы проходим вдоль всей линии наших кораблей с своим призом на буксире, что вызывает восторженное «ура» судовых команд, посланных по вантам [16]. Мы подходим под корму «Трех святителей», и Корнилов велит Новосильскому идти на соединение с Нахимовым.

Пока все это происходит, наши пленные турки удивляют нас тем невозмутимым спокойствием, с которым сидят у нас на палубе. Прощаемся с Новосильским и берем курс на Севастополь. На этом переходе новый командир «Перваза-Бахри» бросает трупы убитых за борт и приводит в порядок пароход, облитый кровью и покрытый обломками.

6 ноября. Открываются южнобережские горы, и около полуночи мы находимся на высоте Херсонесского маяка. Недалеко от входа в бухту мы видим пароход, делаем ему ночные сигналы; но он на них не отвечает, что нам представляется подозрительным, и мы к нему подходим, зарядив свои орудия, в полной готовности дать ему залп в случае нужды. Вдруг мы слышим с него голос, извещающий нас, что паро-

ход этот только что взят эскадрой Нахимова у Анатолийского берега и идет в Севастополь с русской командой под начальством лейтенанта барона Крюднера. Ночь проводим на месте у входа в бухту.

7 ноября. В 7 часов утра мы входим в Севастопольский рейд, впереди идет «Владимир» с «Перваз-Бахри» на буксире, а за ним новый приз — «Мидари-Фиджарет». Большой восторг севастопольских жителей, масса шлюпок спешат отовсюду, чтобы посмотреть на оба приза, приведенные в порт в самом начале войны.

«Владимир» благополучно совершил переход и имел только незначительные повреждения. Убитых мы имели только Железнова и одного матроса, положенных на юте и прикрытых военным флагом; раненых было четверо, все тяжело, с оторванными руками или ногами.

8 ноября. Лишь только окончился карантин, мы отдаем последний долг покойникам. Мы переносим Железнова и матроса на Херсонесское кладбище.

Большая часть флотских офицеров и те из севастопольских жителей, которые знали Железнова, присоединились к похоронному шествию, невзирая на отвратительную погоду. В продолжение целого дня масса любопытных перебывала на «Первазе-Бахри» и на «Фиджарете». «Перваз-Бахри», пробитый во многих местах ядрами и бомбами, и с пробоинами близ ватерлинии [17], сильно нуждался в починке. Посылают на него матросов для откачивания воды, проникавшей в трюм, и берут его на буксир для отвода на другое место.

Подойдя почти к адмиралтейству, он вдруг идет ко дну, и люди на нем еле имеют время спастись. На следующий день приступают к его подъему, но все усилия остаются безуспешными, и это удается только по прошествии двух месяцев.

Корнилов отправляется в Николаев, я остаюсь в Севастополе. «Мидари-Фиджарет» тоже посылают в Николаев под командою Крюднера, но он возвращается на следующий день, испытав в море шторм, от которого чуть не погиб. Князь Меншиков в тот же день его снова посылает, но к Нахимову.

Я отправляюсь в карантин навестить пленных с обоих призов. Команда «Мидари-Фиджарета» была сбродом людей разных наций: два машиниста англи-

чанина, несколько мальтийцев, греков, черногорцев и словенцев, итальянцы, турки и арабы. Славяне высказывали сочувствие к России и очень дурно выражались о турецком правительстве. Офицеры «Перваз-Бахри», знавшие меня со дня боя, всегда встречали меня с удовольствием, как старого знакомого, и один из них, египтянин, недурно говоривший по-английски, служил переводчиком. Все офицеры помещались в одной комнате и строго исполняли обряды, предписанные Кораном. Я их иногда находил всех стоящими на коленях лицом на восток, пока мулла читал молитвы, и они тогда ни на кого не обращали внимания. С ними обращаются отлично, и они кажутся довольными, но англичане жалуются на содержание совместно с турками, в отношении к которым выказывают полное отвращение и презрение.

Адмирал Новосильский возвращается с своими кораблями в Севастополь; почти вслед за ним приходит бриг «Эней» и сообщает, что видел турецкую эскадру между Крымом и Анатолийским берегом. Князь Меншиков тотчас отсылает в погоню за ней адмирала Новосильского и велит еще двум кораблям, стоявшим в Севастополе, крейсировать одному около Херсонского маяка, а другому вдоль южного берега Крыма.

Некоторые из судов Нахимова и Новосильского, получившие аварии, возвращаются в Севастополь, но перед самым входом в бухту испытывают страшный шторм; пароходы высылаются для взятия их на буксир. Корабль «Уриил» чуть не погибает у входа в бухту. Пароход «Бессарабия» прислан в Севастополь Новосильским для сообщения князю Меншикову, что все турецкие суда, которых видели в разных местах, теперь собраны в числе 13 фрегатов и пароходов в Синопском порте и что они стояли в ордере баталии вдоль берега, на котором было возведено несколько фортов. Нахимов извещает князя Меншикова, что считает возможным с имеющейся под его начальством эскадрой вполне уничтожить неприятельские суда, и князь дает ему приказание атаковать. Тем временем Корнилов прибывает в Севастополь. На следующий день, 17-го ноября, он отправляется на пароходо-фрегате «Одесса» с пароходо-фрегатами «Херсонес» и «Крым». На последнем находился контр-адмирал Памфилов. Я отправляюсь с Корниловым,

также и Сколков, командированный князем Меншиковым. У нас хороший переход, но на следующее утро, 18-го числа, находит столь густой туман, что в двадцати саженях ничего не видно, и мы вынуждены подвигаться самым малым ходом, чтобы не наскочить на камни, так как знаем, что берег близок. Около 11 утра туман рассеивается, и мы влево от себя видим высокий Синопский мыс.

Мы двигаемся к рейду, и можно уже различить город за перешейком, как вдруг мы видим полосу белого дыма вдоль всей длины Синопской бухты. Сильное возбуждение: мы догадываемся, что Нахимов уже вступил в бой с неприятелем, сожалеем, что нас еще там нет, и напрягаем ход машины. Вскоре уже видны разрывающиеся в воздухе снаряды над городом, другие снаряды падают в море в нашу сторону. Вслед за тем слышен сильный взрыв за горой. Страшное недоумение: мы понимаем, что это корабль взлетел на воздух, но какой? Наш ли, или неприятельский, за горой не видно. Наконец мыс обогнут, и мы видим рейд и все наши суда в линии, извергающие адский огонь на турецкие суда и батареи, которые отвечают так же яростно. Мы уже подходим к рейду, когда вдруг видим огромный турецкий трехмачтовый пароходо-фрегат, выходящий из *... среди дыма и наших судов. Он проходит мимо них и держит курс прямо на нас. Наши фрегаты, «Коварна», «Кулевчи» и держащиеся под парусами в одной приблизительно миле среди нашей эскадры, всячески маневрируют с целью преградить ему выход; но он весьма искусно пользуется преимуществом парового двигателя и продолжает идти на нас, видя в нас слабого противника. Завидя вскоре «Крым», а затем и «Херсонес», идущий за нами, он круто меняет курс и направляется к берегу снова под выстрелы фрегатов.

Он теперь идет на восток вдоль берега, и мы стремимся полным ходом по диагонали на пересечку его курса. Вскоре мы от него близко и открываем огонь из наших носовых и кормовых орудий. Он отвечает обеими своими батареями и стреляет много лучше «Перваз-Бахри», все его ядра пролетают близко от нас и падают в воду около нас. Одно из первых ядер насквозь пробивает висящую на правой стороне

---

* Пропуск в тексте. *(Прим. сост.)*

шлюпку, пополам перерезывает унтер-офицера, стоявшего на часах у флага, и разбивает штурвал, контузив рулевого. В продолжение нескольких минут мы лишены возможности управляться и подвергаемся огню неприятеля. Приделав другой румпель [18], мы продолжаем погоню, но, к великой досаде, замечаем, что его ход лучше нашего; он видимо опережает нас, и Корнилов решается прекратить погоню за «Таифом», которого узнал Бутаков, находившийся на «Одессе» и видевший «Таиф» ранее в Константинополе.

Он скоро исчезает во внезапно наступившем тумане и, вероятно, спешит в Константинополь сообщить о Синопском бое, а мы возвращаемся к своей эскадре. Подходя к ней, открывается величественное зрелище. Наши корабли, многие без рей и стенег [19], унесенных ядрами, продолжали еще перестрелку с береговыми батареями и теми немногими из турецких фрегатов, которые не затонули или не сделались жертвой пламени. Мы проходим совсем близко вдоль всей линии наших кораблей, и Корнилов поздравляет командиров и команды, которые отвечают восторженными криками «ура», офицеры же машут фуражками. Подойдя к кораблю «Императрица Мария» (флагманскому Нахимова), мы садимся на катер и отправляемся на корабль, чтобы его поздравить. Корабль весь пробит ядрами, ванты почти все перебиты, и при довольно сильной зыби мачты так раскачивались, что угрожали падением.

Мы поднимаемся на корабль, и оба адмирала кидаются в объятия друг другу, мы все тоже поздравляем Нахимова. Он был великолепен, фуражка на затылке, лицо обагрено кровью, новые эполеты, нос — все красно от крови; матросы и офицеры, большинство которых мои знакомые, все черны от порохового дыма, вообще весь корабль имел крайне боевой вид. Нахимов, увидя меня, говорит, что штурманский офицер Плонский, служивший прежде у меня на яхте, очень отличился во время крейсерства и боя и что ему оторвало ногу в самом начале сражения. Я спускаюсь вниз его навестить и, проходя через палубы, вижу еще совсем свежие следы этого жаркого боя. Прислуга у орудий, уже прекративших стрельбу, приводила их в порядок. На «Марии» было убитых и раненых больше, чем на других кораблях, так как

Нахимов шел головным в эскадре. Дойдя до кубрика, прохожу среди раненых и убитых и нахожу Плонского, которому только что сделали ампутацию правой ноги выше колена. У него был сильный жар, исказивший черты его лица. Он все-таки меня узнает и протягивает мне руку. Я его поздравляю с участием в столь славном бою, в котором он так отличился, и сообщаю, что только что слышал от Нахимова хвалебный отзыв о его действиях. Он рассказывает, что часа два пролежал в жилой палубе до ампутации и истек кровью за это время, вследствие этого донельзя ослабел и полагает, что не выживет. Он главным образом боялся, что семья его останется тогда без помощи, и просит меня о ней позаботиться. Затем начинает шутить и вспоминает о нескольких новых парах сапог, по дорогой цене им заказанных в Севастополе перед самым уходом, и что теперь сапоги с правой ноги ему уже не нужны. Нахимов приглашает меня чай пить к себе в каюту <...> Нахимов в отличном расположении духа и много говорит о самом сражении и предшествующих ему событиях. Пальто его, висевшее в каюте, было изорвано ядрами. Заметив, что один из турецких фрегатов был прижат к берегу и не горел, адмирал посылает «Одессу», чтобы взять фрегат на буксир и, если возможно, спасти его.

Это поручается Бутакову. На фрегате находилось еще около 150-ти человек, которые сдаются в плен Бутакову. В одной из кают находят офицера, раненного деревянным осколком и еще живого. Находят также массу трупов и умирающих людей, об участи которых остальные турки вовсе не заботились.

Фрегат один из лучших в турецком флоте. Орудия на нем все медные, каюты роскошно устроены, и на фрегате находят много ценного оружия, часы, много золотых монет, принадлежащих офицерам. Корнилов возвращается к 11 часам вечера на «Одессу», которая с большим трудом стаскивает фрегат с мели и берет его на буксир, чтобы вывести на рейд.

Проходя мимо корабля «Три святителя», ветер вдруг крепчает и наваливает буксируемый фрегат на бушприт [20] корабля, причем фрегатская бизань-мачта [21] цепляется за рангоут «Трех святителей». Они довольно долго остаются сцепленными таким образом, и не удается их высвободить. Матросы с бушприта корабля, подобно кошкам, спускаются по снастям

на фрегат и на нем хозяйничают. Мы возимся с фрегатом до рассвета, и тогда, к великой досаде, убеждаемся, что он получил столько пробоин, что нет возможности ему идти в море и так как у нас было достаточно работы над починкою собственных судов, то адмирал приказывает уничтожить фрегат.

С этой целью на нем ставят паруса и направляют его так, чтобы попутным ветром его пригнало на берег. Снимают с него всех людей, пленных и наших, и оставляют в нижней палубе горючие вещества с зажженным фитилем. Через несколько времени мы видим, что фрегат загорелся и его выбрасывает на берег, где он догорает и, наконец, около двух часов пополудни взлетает на воздух.

19 ноября. Посланы шлюпки к двум турецким фрегатам, выброшенным на берег и лежащим на боку, подобрать людей, если окажутся, и на одном из них находят начальника эскадры адмирала Османа-пашу, несколько командиров и офицеров и около 120 человек команды. В числе их находился и командир фрегата «Фазли-Аллах» (богом данный?), бывшего нашего фрегата «Рафаил», попавшегося в плен в предыдущую турецкую войну[22] и ныне уничтоженного в Синопском бою. Очень приятно думать, что туркам, которые его старательно берегли, не придется больше показывать его в Константинополе в виде русского трофея. У бедного Османа-паши была сломана нога, и он приказал перенести себя с флагманского фрегата на несгоревший фрегат, желая умереть на своем посту, а не на берегу. За сутки, протекшие со времени сражения, не только о нем не позаботились, но даже собственные матросы ему грубили и его ограбили. Его сажают на катер вместе с несколькими турецкими командирами и офицерами для доставления на «Одессу», где мы находимся, остальных пленных отвозят на другие наши суда, оба же фрегата зажигают. Во время переезда на катер мы видим ядра, летящие с догоравших фрегатов; они рикошетом пролетают вокруг катера и долетают почти до самого нашего парохода. Осман-паша пристает к нашему правому трапу, и Корнилов, окруженный своим штабом, готовится его встретить со всеми почестями, оказываемыми побежденным. С большим трудом удается вынести бедного пашу наверх. Это был старик лет шестидесяти, и, по-видимому, он ис-

пытывал ужасные страдания [23]. Наконец, он на палубе, и его бережно спускают вниз, в большую каюту, и кладут на удобную кровать. Судовой врач осматривает его рану, весьма тяжкую, и накладывает перевязку. Все окружающие выказывают ему живое участие, он, видимо, этим тронут до слез и делает приветствие по-турецки, прикасаясь рукой к своему лбу. Он довольно бегло объясняется по-итальянски и с негодованием рассказывает, как его свои же ограбили. Один только юный гардемарин [24] и невольник-египтянин ему не изменили.

Нахимов после полудня посылает парламентера в город с письмом, написанным по-французски и адресованным к австрийскому консулу, флаг которого на занимаемом им доме был виден с рейда. Нашего парламентера встречают в городе одни только греки, так как все жители турки бежали за город.

В продолжение дня мы совершаем на «Одессе» прогулку вдоль всего городского побережья для осмотра батарей и последствий нашей бомбардировки. Мы видим у берега остатки и раскиданные обломки взорванных на воздух судов и среди них массу трупов. По мере нашего приближения живые турки, занятые разграблением убитых товарищей, покидают свою добычу и уползают с награбленным имуществом.

Перед закатом солнца с моря виден пароход, идущий в Синоп. Через несколько времени узнаем в нем «Громоносца», посланного князем Меншиковым с целью узнать о результате сражения. Лишь только он останавливается, мы пересаживаемся на него с Корниловым, оставив Османа-пашу на «Одессе».

20 ноября. За исключением «Императрицы Марии», починки которой не окончены, все корабли эскадры готовы к 2 часам пополудни вступить под паруса. Оставляют в Синопе «Марию», с которой Нахимов переходит на «Константина», два фрегата и один пароход под начальством контр-адмирала Памфилова до окончания исправления «Марии», а все остальные корабли ставят паруса и отправляются в путь, причем наиболее пострадавшие буксируются пароходами.

Мы на «Громоносце» буксируем «Ростислав» и, только что обогнули мыс, встречаем сильную зыбь с норд-оста, прибивающую нас при маловетрии к при-

брежным скалам. Пароход так качает, что кожухи поочередно погружаются в воду и на палубе стоять невозможно.

Сигналом спрашиваем у «Ростислава», сколько у него ходу. Он показывает два узла, затем один узел и, наконец, отсутствие хода. К счастью, обычное прибрежное течение моря, направляющееся здесь с запада на восток, приходит на помощь эскадре, отдаляя ее от берега, и вскоре мы имеем удовольствие видеть ее плывущею под всеми парусами в полной безопасности. Мы отдаем буксир «Ростислава» и держим курс на Севастополь, оставив все остальные пароходы в распоряжение Нахимова.

После довольно бурного перехода, заставившего нас очень беспокоиться об участи эскадры, мы приходим 22-го числа в 11 часов в Севастополь и отдаем якорь очень близко от Графской пристани. Весь город был погружен в сон, и слышно было только перекликание часовых. Будучи в карантине, мы не можем отправить шлюпку на берег.

Наконец, мы слышим приближающуюся к нам шлюпку, и Корнилов словесно приказывает находившемуся на ней офицеру явиться к князю Меншикову и донести, что турецкая эскадра уничтожена, а что наша не потеряла ни одного корабля и находится на пути в Севастополь. Обрадованный известием офицер просит у Корнилова разрешения прокричать «ура» со своими гребцами и возвращается на берег. Через несколько минут мы слышим десяток голосов офицеров, возвращавшихся из клуба, кричащих «ура» что есть мочи в ночной тишине.

Известие быстро распространяется, так как команда ошвартовленного у берега парохода покидает койки и восторженно кричит «ура». Мы ждем ответа князя Меншикова, и через полчаса является Краббе и от имени князя Меншикова приносит поздравление — вот и все.

23 ноября в 9 утра князь Меншиков на основании своих полномочий выпускает Корнилова со штабом из карантина, пароход же остается еще несколько дней под желтым карантинным флагом. Утром нас уведомляют, что наша эскадра видна, держащая на Севастополь. Все население при этом известии устремляется к пристани, садится на шлюпки или располагается у берега. Как нарочно, была дивная пого-

да. Все пароходы высылаются для буксировки, и вскоре эскадра входит в рейд с Нахимовым во главе. Корабли носят еще свежие следы выдержанного боя, у некоторых недостает стеньг, у других — рей, и на всех виднелись ядерные пробоины, которые не успели заделать. В это время народ на берегу кричит «ура» и кидает вверх шапки, команды со всех стоявших на рейде судов взбегают на ванты и реи и оглашают воздух криками, на которые отвечают восторженно команды с победоносной эскадры. Как только эскадра стала на якорь, она тотчас окружена массой шлюпок с офицерами и женщинами, торопящимися приветствовать и поздравить отцов, мужей, братьев и сыновей.

Князь Меншиков отправляется на катере и держится под кормой корабля «Великий князь Константин». Корнилов за ним следует, и я его сопровождаю. Нахимов в виц-мундире с кивером [25] на затылке стоял на кормовом балконе корабля «Великий князь Константин». Князь Меншиков с катера поздравляет его с победой. Нахимов отвечает, что не могло быть иначе и что для него особенно приятно видеть, как отлично действовали офицеры и матросы при починке в столь короткое время повреждений на кораблях, чем они себя выказали отличными моряками.

Князь Меншиков возвращается на пристань, а Корнилов остается, долго разговаривает с Нахимовым и, между прочим, просит его отправить князю подробное донесение о сражении. Нахимов отвечает, что подобная работа ему не столь привычна, и упрашивает Корнилова принять этот труд на себя. Затем мы объезжаем вдоль всей эскадры, и Корнилов у каждого командира осведомляется о нуждах их кораблей. Несчастный Нахимов вынужден выдержать со всей своей эскадрой шестидневный карантин. В тот же день князь Меншиков предлагает мне отправиться в Тифлис с депешами, извещающими князя Воронцова о Синопском бое, имевшем для него большое значение, так как у нас были довольно веские причины полагать, что разбитая нами турецкая эскадра предназначалась для высадки войск в Сухуме или Ретуткале.

Я очень обрадован этим поручением, так как оно дает мне случай повидаться с братом Александром.

Перед отъездом я являюсь к князю Меншикову. Он в отличном расположении духа, долго со мной говорит и поручает передать поклон князю Воронцову и Александру, а также передает свою депешу на имя князя Воронцова. Выезжаю в легкой коляске. На пути заезжаю на короткое время в Феодосию к Айвазовскому [26], описываю ему Синопский бой и передаю сделанный мною рисунок. Он в восторге и от счастливой вести, и от мысли написать картины, которые передадут потомству изображение славного подвига нашего флота. Многие из жителей Феодосии, расслышав о привезенном мною известии, прибегают к Айвазовскому с громкими выражениями своей радости, так как они с самого начала войны боялись нападения неприятельских судов на свой почти беззащитный город. Уже солнце зашло, когда я отправляюсь далее, не слушаясь увещаний феодосийских жителей, и провожу в пути прескверную ночь, в полной темноте; ямщик несколько раз сбивается с дороги, и мы опрокидываемся в лужи. К вечеру на следующий день попадаю в Керчь и заезжаю к градоначальнику князю Гагарину с целью получить «открытый лист» и конвой до Ставрополя. Он мне дает для переезда в Тамань винтовую шхуну «Аргонавт». Быстро мчусь по Кубанской линии до Ставрополя и, проехав несколько далее, узнаю в скачущем навстречу курьере морского офицера Савинича. Мы оба останавливаемся, и оказывается, что он везет князю Меншикову известие о разбитии турецкой армии под Башкадыкляром. В ответ сообщаю ему о Синопской победе, и мы, прокричав «ура», мчимся в разные стороны по мерзлой грязи в почтовых телегах. Перевалив после многих приключений через Кавказский хребет, достигаю, наконец, Тифлиса, в ночь на 2-е декабря, и стучусь к брату Александру. Насилу разбудив вестовых и камердинера Исая, вхожу к нему в спальню. Он вскакивает с постели, обнимает меня, накидывает халат, и мы переходим в кабинет, где затоплен камин и подан чай. Я ему показываю свой запечатанный пакет, и, к великому моему изумлению, он его берет, вскрывает и начинает читать, объяснив, что тотчас заметил, что пакет официальный и поэтому, как начальник штаба, может его вскрыть. Завтра же утром он хочет меня представить Воронцову. Брат заставляет меня рассказать о всем, что у нас делает-

ся, и Синопском сражении, последствия которого ему кажутся крайне важными. Он был того мнения, что оно вызовет объявление войны со стороны Англии и Франции и что их силы вместе с турецкими будут сперва направлены на наш Закавказский край, которым завладеть для них не будет очень трудно.

Беседа наша длится до трех часов утра, когда мы ложимся спать, а утром в 8 часов мы вместе отправляемся во дворец наместника. Александр входит к нему в кабинет, куда вскоре вводят и меня. Воронцов принимает меня очень ласково и обнимает. Он, кажется, искренно радуется привезенному мною известию. Вскоре являются княгиня, графиня Шуазель[27] и молодой Семен Михайлович[28] и меня радушно приветствуют. Князь немедленно велит издать приказ о Синопской победе, также заказывает торжественный молебен со звоном колоколов со всех церквей.

* * *

Возвращаясь в декабре 1853 г.[29] в Севастополь из Тифлиса, куда я возил князю Воронцову известие о Синопском сражении, и испытав дорогою по Дарьяльскому ущелью и в степях за Ставрополем препятствия разного рода и разные приключения, я переехал из Тамани в Керчь. Там я взял какой-то легкий открытый экипаж и на четверке почтовых направился к Феодосии.

Погода была ужасная, продолжительные дожди после глубокого снега привели дороги в такое состояние, что езда по невылазной грязи делалась чрезвычайно затруднительною.

В день моего выезда из Керчи, после томительной езды, около девяти часов вечера, лошади, с трудом меня до тех пор тащившие, вдруг остановились и отказались везти далее. Кругом было море глубокой грязи, ни одного жилища, ветер ревел вокруг и шел проливной дождь. Положение было вполне безотрадное. Станции по обе стороны были на расстоянии около двенадцати верст. После часто повторяемых, но тщетных попыток сдвинуться с места посредством неистовых криков нас всех и ударов кнута я велел кучеру отпрячь лошадей, вести их на станцию и возвратиться со свежими лошадьми. Мы сидели всю ночь, я и мой повар, в экипаже, на дожде и холоде, и толь-

ко с рассветом увидали мы ямщика, подъезжавшего с шестериком почтовых лошадей, с трудом выволакивающих ноги из грязи. Ямщик сомневался в возможности довезти меня до станции и предложил мне ехать в близлежащую, всего в пяти или шести верстах, усадьбу, принадлежавшую какому-то генералу.

Я согласился на его предложение, и мы свернули с дороги в сторону; наконец, не без труда, доехали до усадьбы. Там был довольно большой сад, много тополей и двухэтажный дом, весьма похожий на помещичий дом внутренних губерний России, с флигелем, службами и хозяйственными постройками. Я велел доложить о себе хозяину дома. Он весьма радушно принял меня, прося оставаться у него, сколько мне будет угодно. Он отвел мне комнату, где я мог умыться, переодеться, и угостил меня прекрасным обедом с необыкновенно вкусным малороссийским борщом.

Он был старый холостяк, фамилия его была Ладинский. Сподвижник и товарищ знаменитого кавказского генерала и легендарного героя Котляревского[30], он мне много рассказывал про войны тех времен и про подвиги своего друга. Дом его, довольно просторный, был меблирован очень просто: в гостиной диван, стулья и столы были чинно и симметрично расставлены; в углу большой, в богатой оправе образ, на стенах портреты (государя, Ермолова, Котляревского), несколько картин, изображающих сражения, по углам тропические растения в больших кадках. Вечером, после ужина, мы сидели вдвоем в гостиной, как вдруг дверь соседней комнаты отворилась и там показались музыканты, человека четыре. Они заиграли на разных струнных инструментах что-то вроде квартета, потом те же люди пропели песни, большею частью малороссийские. Сюрприз был для меня полный, и старый добродушный генерал был в восторге, что концерт мне понравился. Музыканты были его крепостные и, сколько помню, из полтавского его имения.

Общество его доставило мне необыкновенное удовольствие, и он мне показался типом военного человека прежних времен, в высшей степени занимательным и симпатичным.

На следующий день погода была еще так дурна и грязь так глубока, что он без особенного труда удержал меня и на второй день. Наконец, на третий

день утром я выехал из усадьбы Ладинского, который велел впрячь в мою коляску две пары волов и в то же время послал со мною четверку своих упряжных лошадей на всякий случай.

Мы поехали по какой-то проселочной дороге, ближе к берегу морскому. Волы вывозили экипаж из грязи, но шли очень медленно. Мужик, природный хохол, поощрял их разными криками и словами, от которых помирал со смеху едущий со мною мой повар Федор. Погоняя волов, он звал одного полицмейстером, другого — почтмейстером и т. п., с чисто малороссийским акцентом и, как будто с особым наслаждением и не без намерения, стегая их при этом кнутом; может быть, были у него с лицами, занимавшими когда-то подобные должности, старые счеты.

Поздно вечером мы доехали до Феодосии, где я не хотел остановиться, желая приехать на следующий день в Севастополь. Сделав визит Айвазовскому и оставив там свою коляску, я пустился в тот же вечер на перекладных в дальнейший путь, несмотря на советы всех не рисковать ехать ночью в такую дурную погоду.

Метель и вьюга поднялись уже в то время, и на расстоянии немногих верст от города поля были занесены снегом, скрывавшим всякий след пути. Сила ветра все возрастала, и вскоре ревел уже настоящий ураган. Опасность была немалая, ночь темная, и мороз в страшной степени усиливался. Лошади с трудом подвигались против ветра, но, наконец, можно сказать каким-то чудом, мы подъехали к почтовой станции, состоящей из маленького домика и помещения для почтовых лошадей и телег.

Я вошел в станционную комнату, которая оказалась холодною. Я был весь в снегу, мех от моего воротника примерз к моим усам и бакенбардам, и я с криком звал смотрителя, которого не без труда вытащил; он где-то скрывался и казался испуганным. Я велел ему затопить печку и поставить самовар. Наконец я мог согреться и вполне насладился чувством, что был в теплой комнате и укрылся от адской погоды, бушующей в степи.

Вдруг вбегает станционный смотритель и говорит, что сейчас приехал чуть живой и не без усилий высвободившийся из снега почтальон с пакетом почтовой корреспонденции, что снег попал внутрь сумки,

отчего все письма и пакеты подвергались порче и что он боялся ответственности; вместе с тем не решался вскрыть запечатанную сумку. Он просил моей помощи и совета; я, взяв все на себя, сломал печать, и мы вытащили оттуда всю корреспонденцию вымокшую и стали ее сушить. Был составлен акт, который я подписал. Потом я лег на грязный станционный диван и при шуме страшных порывов ветра, от которого дрожал весь почтовый домик, пробовал заснуть.

Я лежал несколько времени, как дверь с треском отворяется и влетает опять станционный смотритель. «Что такое? Что вам нужно?» — спрашиваю я. Он в большом волнении начал рассказывать, что несколько человек солдат пришли пешком в неописанном страхе.

Они были посланы из Симферополя в Феодосию пешком к своей команде и по пути от последней станции были застигнуты вьюгою, сбились с дороги и долго бродили. Трое из них, из молодых рекрут, не могли вынести этих трудов и не могли ходить. Тогда другие их несли сколько могли, но, наконец, выбившись из сил, решились оставить товарищей на дороге с тем, чтобы поискать помощи. Они умоляли смотрителя принять меры для их спасения; но он ничего не мог сделать, так как подчиненные ему ямщики, взобравшись на лежанки, и слышать не хотели ни о чем, тем более что это дело не касалось их прямых обязанностей. Тогда я пошел к ним, поднял всех ямщиков и предложил им сейчас же отправиться отыскивать погибающих, обещая заплатить каждому по рублю и более, подстрекая при сем их самолюбие. Они сели верхом, человека три или четыре, и я велел привязать к каждой лошади по колокольчику, чтобы доставить им возможность держаться соединенно и не быть разрозненными. Они пустились в путь с обычными русскому человеку бесстрашием и отвагою и исчезли во мраке, нас окружавшем. Вскоре звон колокольчиков перестал быть слышным.

Я должен сказать, что чувствовал себя не совсем спокойным, так как опасность была большая; они легко могли быть занесены снегом вместе с лошадьми и окоченеть от холода, что неоднократно случалось в наших степях. Взятая на себя ответственность легла всей тяжестью на меня, и я не мог сомкнуть глаз, прислушиваясь долго ко всякого рода шуму и звукам,

несущимся извне. Время мне казалось нескончаемым, ураган ревел без умолку, и домик подвергался страшным сотрясениям. Вдруг после нескольких часов лихорадочного ожидания услышал я звон одного колокольчика, вслед за тем — другого; я выбежал на крыльцо, стал звать ямщиков: все оказались налицо. «Ну, а солдаты?» — закричал я им. «Искали, искали долго по разным направлениям, ни одного не нашли!» — был их ответ. Итак, они все погибли!

На следующее утро после этой злополучной и тревожной ночи, когда рассвело, ветер начал стихать, и я велел запрячь себе лошадей, взяв с собою несколько человек ямщиков. Дороги почтовой никаких следов не было видно; но ямщики, знакомые с местностью, могли по разным приметам узнавать направление, по которому следовало ехать. Я часто останавливался в тех местах, где было более заносов; мы сгребали снег, но все наши розыски оказались тщетными, и я продолжал путь через Симферополь и Бахчисарай в Севастополь.

Вскоре после моего возвращения туда явился у входа на Севастопольский рейд английский пароходо-фрегат «Retribution» *.

Это было первое после Синопского сражения внушение нам со стороны союзников, и пароход, носящий это, полное угроз, название, пришел как бы требовать возмездия за погром, причиненный нами стоявшему под их опекою турецкому флоту.

ШТОРМ ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ СЕВАСТОПОЛЯ

Ноября 4-го числа 1854 г., около 12-ти часов дня, я переехал на шлюпке с южной стороны Севастополя, где были мои занятия по службе, на северную, к знакомым офицерам, состоявшим в свите князя Меншикова. Моя яхта стояла на якоре на рейде, на ней было всего три или четыре человека матросов, и я поместил на ней недавно приехавших и не нашедших еще квартиры флигель-адъютанта князя Паскевича и гусарского майора князя Урусова [31]. Заехав на яхту, я, как бы предчувствуя что-то недоброе (хотя погода в то время не грозила ничем особенным),

* Возмездие *(англ.)*.

приказал бросить второй якорь и вытравить канату по 80-ти сажен.

Я пробыл на северной стороне несколько часов и вечером, после захождения солнца, направился к пристани, около которой стояло несколько военных пароходов, между прочим, «Эльбрус» под командою знакомого мне капитан-лейтенанта Асланбекова. Я попросил его дать мне шлюпку, чтобы переправиться на южную сторону.

В это время уже дул свежий ветер, и так как люди его в этот день были утомлены от работ, он меня попросил, если можно, остаться переночевать у него на пароходе и обещался дать мне шлюпку на следующее утро. Я должен был согласиться. Асланбеков велел мне приготовить постель на рундуке в своей кормовой каюте, и я просидел с ним вечер; во время ужина ветер все свежел, и я лег спать уже довольно поздно. Командир оставался наверху. Посреди каюты топилась железная печь, труба которой выходила в люк на палубу.

Проспав всю ночь крепким сном, я услыхал утром рано страшный рев ветра, который около 8-ми часов дул уже настоящим ураганом. Слышны были командные слова командира и офицеров, беготня на палубе. Вдруг сильный толчок; книги и вещи, стоявшие на полке над рундуком, повалились на меня; вслед за тем другой толчок, но гораздо сильнее прежнего. Меня мгновенно сбросило с постели на середину каюты, как раз на пылающую печку; я машинально схватился правою рукою за трубу и сейчас же почувствовал, что у меня слезла с руки вся кожа.

Тут я понял, что пароход подрейфовало с якорей, что он ударяется о скалы и может разбиться; волнение развело большое. Я оделся как можно поспешнее и вышел на палубу. Мы были под самыми скалами; волны поднимали пароход, который, ударяясь о скалы, снова опускался и был стремительно опять бросаем вверх.

Рейд представлял картину ужасную. Все небо заволокло мрачными, быстро мчавшимися тучами, огромные волны с пенящимися верхушками неслись по направлению от S.W. во всю длину Севастопольской бухты. Несколько судов, стоящих на якоре и, между прочими, несколько линейных кораблей, дрейфовало. Мимо нас уже проносились обломки с судов, разби-

тых бурею в море, большею частью купеческих, служивших неприятельским флоту и армии; видны были раздутые трупы быков, лошадей и даже несколько людей утопленников проплыло мимо нас.

Между тем на «Эльбрусе» разводили уже давно пары и надеялись успеть отойти от берега.

Будучи на «Эльбрусе» гостем и не имея никаких обязанностей, мне пришла мысль попробовать выскочить на скалы, и, так как дом, где жили мои знакомые, был очень близко, я думал туда попасть.

Я начал прицеливаться, став на борт и держась за снасти.

Раза два-три, пользуясь поднятием парохода, я готов был броситься, но вдруг весь пароход стал быстро опускаться; скала, о которую разбивались волны, представляла поверхность наклонную, совсем скользкую, и была опасность попасть между пароходом и камнями и быть раздавленным. Наконец, когда пароход был снова брошен кверху, я уловил самый благоприятный момент и выскочил прямо на скалу; но тут надо было торопиться, не дожидаясь следующего вала. Я пополз на четвереньках по скале и живо очутился на вершине, успев уйти от волны, катившейся за мною; одни только всплески настигли меня. Сила ветра была так велика, что трудно было держаться на ногах. Я кое-как дотащился до домика, где был штаб князя Меншикова, и, отворивши дверь, вошел прямо в комнату, где знакомые мои сидели, прислушиваясь к ужасному шуму урагана, от которого весь домик дрожал. Они, конечно, очень удивились моему появлению в подобную минуту. Я тут же почувствовал сильную боль от содранной с руки моей кожи, боль, о которой в только что пройденные мною тревожные минуты я и не думал.

Я был вынужден остаться целый день на северной стороне и только на следующее утро поехал на южную сторону. Первое лицо, встретившееся мне на Графской пристани, был адмирал Нахимов, прохаживавшийся, как в обыкновенное мирное время, с трубою в руках. Он подозвал меня и сказал: «Я любовался, как яхта ваша отстаивалась на якоре, между тем как так много военных судов, пароходов и даже несколько кораблей подрейфовало». Он одобрил мои распоряжения, что было мне весьма приятно.

Я узнал потом от князя Паскевича и князя Уру-

сова об их впечатлениях во время шторма. Они говорили, что, сидя в большой каюте, они увидели вдруг над собою в люке бушприт парохода, навалившего на яхту (это был «Громоносец»). Они были в большой опасности, пароход легко мог потопить яхту; но, к счастию, они распутались и пароход отошел. Оба князя дали себе обет, что больше не будут жить ни на яхте, ни на пароходе, а преспокойно на суше.

Этот шторм 5-го ноября был самый жестокий изо всех случившихся во время осады Севастополя и причинил много беды союзным войскам и флоту. Французский линейный корабль «Henry IV» был выброшен на берег у Евпатории, экипаж же был спасен. У входа в Балаклавскую бухту стоял только что прибывший из Англии огромный пароход «Prince», нагруженный запасом теплого платья для всей английской армии. Не успев войти в узкую Балаклавскую бухту, он отстаивался в открытом море, был выброшен на скалы и погиб, как я слышал, со всею командою и грузом. Несметное множество судов купеческих погибло в этот день в открытом море и у берегов, и весь берег от Севастополя до Евпатории был усеян выброшенными обломками и трупами. Нашим казакам досталась выгодная и легкая добыча, и они долго еще продавали лошадей, скот и разный товар, бочонки с ромом, провизию, предназначавшиеся для англо-французских войск. В неприятельских лагерях палатки были снесены ветром. Союзные войска понесли большие материальные убытки; но главное, это был повод им опасаться возможности продолжать осаду, так как они не владели довольно просторною и безопасною гаванью. До этой бури много военных судов стояло на якоре в открытых местах, как в Каче и Евпатории; но вскоре после нее все военные суда неприятельские втянулись: французы — в Камышовую, а англичане — в Балаклавскую бухты. Надобно признать, что союзники показали большую решимость, так как их положение было далеко не безопасно. Не быв в состоянии обложить Севастополь с северной стороны, они дали нам этим возможность оставаться в сообщении с внутренними губерниями России, и подкрепления могли постоянно подходить к нам. Весь исход войны зависел от того, которая из воюющих сторон успеет их доставлять более и скорее.

* * *

Одна нз замечательных личностей, с которыми я познакомился во время осады Севастополя, был князь Урусов, служивший в гусарском фельдмаршала Радецкого[32] полку, тот самый, который жил на моей яхте на Севастопольском рейде и подвергался вместе с князем Паскевичем большой опасности во время урагана 5 ноября 1854 г.

Он приехал в Севастополь после первого бомбардирования и вскоре после Инкерманского сражения[33] с намерением участвовать в защите с гарнизоном, находящимся в городе. Он был прикомандирован, сколько помню, к Камчатскому пехотному полку, понесшему страшные потери в Инкерманском сражении, и поступил прямо на 4-й бастион, состоявший под командой адмирала Новосильского.

Этот бастион, как всем известно, в первые месяцы осады служил главною целью атаки союзников, считавших его ключом Севастополя. Можно было беспрестанно ожидать его штурма, и бастион подвергался неумолкаемому убийственному огню. Того и искал Урусов.

Он был в чине майора, и ему дали батальон, что было легко, так как в Инкерманском сражении были убиты или выбыли из строя, кажется, все батальонные командиры полка.

Сколько я мог судить по наружности, Урусову тогда было 26 или 27 лет от роду. Он был очень высокого роста, стройный, с красивыми чертами лица, с выражением большого добродушия, даже кротости и невозмутимости. В свободное от службы время он навещал своих знакомых и часто приходил ко мне. Я занимал в то время с товарищами по службе Петром Алексеевичем Шестаковым, Львовым (племянником адмирала Лазарева), Лихачевым и бароном Крюднером дом контр-адмирала Истомина[34], рядом с домом Нахимова, при котором я состоял после смерти адмирала Корнилова.

Урусов ходил постоянно в первое время в гусарской форме, синей с золотым шитьем, и представлял собою весьма видную мишень для неприятельских стрелков. Побыв около месяца на 4-м бастионе, он находил эту службу слишком монотонною: ни одного штурма со стороны союзников, ни одной большой вы-

лазки с нашей, частые тревоги без важных результатов! Роль, которую играл гарнизон бастиона, была только оборонительная. «Хоть бы я был раз ранен,— говаривал он,— а то большую часть дня и ночи проводим в блиндажах, в длинные вечера скука смертельная, не знаю, что делать. Я бы попросил вас дать мне прочитать какие-нибудь книги».

— Какие хотите? Исторические или романы?

— О нет! дайте мне сочинения по высшей математике, например, если можете достать, книгу о теории вероятностей.

Я очень удивился, но обещал поискать; действительно, через несколько дней успел я добыть желаемую книгу у одного флотского офицера.

В следующее свое посещение он пришел с лицом, сияющим от удовольствия. «Что такое?» — спрашиваю я. Он показывает дыру в шинели, которую расстегивает, потом открывает свою грудь, и я вижу на ней царапину. «Это первая моя рана! Я очень счастлив и могу все-таки продолжать службу. А что же обещанная вами книга? Достали ли ее?» Я взял со стола и подал ему. Он был в восторге. «Это именно, что я хотел, теперь вечера покажутся мне сноснее»,— взял ее под мышки и ушел на бастион. Через несколько дней зашел он опять ко мне с выражением самым довольным и сказал: «Как я вам благодарен за эту книгу! Я провел прелестнейшие ночи в ее чтении; такого наслаждения я давно не испытал. Это лучше всякого романа, всякой другой книги».

У него был замечательный голос, баритон; он играл на фортепьяно и особенно хорошо на виолончели, которую он возил с собою и оставил потом на моей квартире. У меня составились хоры, между прочими бывал Грейг [35], у которого был тоже хороший голос, и еще другие, и мы пели хоры нз «Гугенотов» [36], «Пророка», «Нормы» [37] и пр.

Урусов был известным игроком в шахматы, одним из первых в России, и играл по переписке со знаменитыми лондонскими, парижскими и нью-йоркскими игроками. Он взялся играть разом три партии, с тем чтобы не смотреть на шахматные доски, и предлагал сделать это у меня. Я стал осведомляться об игроках в кругу знакомых офицеров и отыскал трех человек, согласившихся сразиться с Урусовым.

Был назначен вечер. Я пригласил знакомых с южной и северной сторон, чтобы присутствовать при состязании, и, между прочим, пленного французского полковника m-r Pierre, командира батальона зуавов[38], взятого в плен при отбитой атаке французов на один из наших редутов. Он сам был хорошим игроком. Поставили три стола, за которыми уселись три противника Урусова, а против них к каждому столу по одному лицу; их обязанностью было исполнять указания Урусова, которому они громко должны были передавать каждое движение противников. Я был в числе лиц, заменявших его у одного из столов. Он сам сел у другого конца комнаты, спиною к шахматным столам. Игра началась в седьмом часу вечера. Каждый стол имел свой номер. Урусов начал с первого. Он говорил громко, например: «У стола № 1 четвертая пешка с левой стороны два шага вперед»; тогда ему передавали, какой шаг сделал противник. Вслед за тем он переходил к столу № 2, и когда ему сообщали о ходе противника, то он переходил к столу № 3 и потом возвращался опять к № 1, и так далее.

Все следили с напряженным вниманием за игрою; была мертвая тишина, слышны были только голоса тех, которые объявляли о ходах той или другой стороны. Надобно заметить, что во все это время присутствовавшие подвергались довольно большой опасности, потому что конгревовы ракеты[39], пускаемые с английских батарей на Инкерманских высотах, направлялись каждый вечер на пункт, где мы находились, и на близлежащую местность, и беспрестанно мы слышали кругом, в самом близком расстоянии, взрывы этих снарядов. Попади одна ракета в крышу, она пробила бы ее и могла бы пронизать оба этажа дома, а взрывом разрушить совершенно жилые комнаты. Несмотря на сильные сотрясения, с треском и шумом от этих ракет, Урусов продолжал невозмутимо свою тройную игру, прихлебывая при сем по глотку из стакана чая. Вдруг, по истечении двух или трех часов от начала партии, он говорит мне: «Подвиньте коня на такую-то клетку». Я ему отвечаю: «Этого сделать нельзя, потому что тут стоит королева». «Не может быть»,— возражает он. Игра остановилась. Я призываю присутствующих и назначенных нами самими судей; все подтверждают мои слова. Тогда Урусов начал вспоминать каждый шаг свой и противни-

ка у этого стола за 20 ходов назад, из чего заключил, что королевы на сказанной клетке быть не может. Вышло, что это я ошибся. Надобно было исправить происшедшую ошибку, что он сделал скоро и легко. Состязание кончилось далеко за полночь. Урусов выиграл две партии, один из его противников — одну.

Я не могу не вспомнить здесь об одном факте, особенно характеризующем тот род жизни, которую вели тогда в Севастополе, где беспрестанно выбывали из рядов знакомые, всех оружий военные, и где весть об убитых, как вещь самая обыкновенная, никого не удивляла и не поражала. Когда был убит на Малаховом кургане храбрый его защитник Владимир Иванович Истомин, тело его принесли в занимаемый мною его дом. Мы одели его в полную адмиральскую форму с шитым воротником, с Георгием 3-й степени на шее, и положили его на стол посреди комнаты. Так как голова была оторвана ядром, то над воротником была пустота; собранные кем-то остатки черепа и мозга были завернуты в носовой платок и положены около места головы. Отпевание происходило сейчас же, и мы его понесли на гору, на то место, где были уже похоронены адмиралы Лазарев [40] и Корнилов и где предполагалось строить новый храм. В тот же самый вечер ко мне пришли разные знакомые, между прочими Урусов и Грейг, и пели хоры, и играли на фортепьяно и виолончели.

Весною потери на бастионах делались более и более значительными, и так как было запрещено хоронить на южной стороне, то покойников приносили на Графскую пристань, откуда на гребных судах, для того предназначенных, возили их хоронить в северную сторону. По пути от бастионов к пристани были устроены в известном расстоянии одна от другой станции, на которых укладывали убитых офицеров *. Моя квартира была выбрана начальством как один из этих пунктов; каждый день приносили ко мне покойников. Ближе к бастионам стояла постоянно военная музыка, она раза два или три в день приводилась в движение и забирала по пути на всех станциях убитых офицеров и сопровождала их под звуки погре-

* Нижних чинов убитых было так много, что их возили гуртом и хоронили также на северной стороне. *(Прим. автора.)*

бального марша до Графской пристани *, так что по нескольку раз в день приносили тела на мою квартиру и выносили их из нее; остальное время мне слышны были постоянно день и ночь монотонное чтение Псалтыря [41] и пение дьячка в бывшей нашей столовой, которую мы должны были обратить в усыпальный покой.

Жизнь на бастионе все-таки не удовлетворяла Урусова; она казалась ему слишком однообразною, несмотря на частые, но не очень значительные с нашей стороны вылазки, на страшный огонь, направленный на наши укрепления, над которыми весь вечер и всю ночь летающие и разрывающиеся в воздухе бомбы представляли вид чудовищного фейерверка. Он вздумал просить начальство о назначении его в траншей-майоры. Эта должность, самая опасная из всех во время осады крепостей, состоит в заведовании теми частями войск, которые впереди линии укреплений, то есть на пространстве между бастионами и неприятельскими батареями, там, где находятся самые передовые ложементы [42], в которых сидят стрелки; особенно опасен момент смены солдат.

Урусов говорил, что по правилам статута военного ордена св. Георгия траншей-майор, прослуживший бессменно один месяц на этом посту, получает обяза-

* Кроме тел убитых, в конце дня с перевязочных пунктов приносили к той же пристани в мешках отнятые ампутацией члены: руки, ноги, и также перевозили на северную сторону на шлюпках, имевших это назначение. Одним из главных перевязочных пунктов служил офицерский клуб; день и ночь в залах, и особенно в большой бильярдной, можно было видеть медиков без сюртуков, с засученными рукавами и в белых окровавленных фартуках, режущих руки и ноги. В большой танцевальной зале, где я часто участвовал в прежние времена в веселых и оживленных вечерах, стояло множество кроватей с ранеными, за которыми усердно ухаживали сестры Крестовоздвиженской общины и некоторые из севастопольских дам. Из последних особенно отличалась жена лейтенанта Мусина-Пушкина (служившего у меня на бриге «Эней» старшим офицером). Она принялась одною из первых, в самом начале осады, когда еще не было Крестовоздвиженской общины, ухаживать за ранеными Она ходила каждый день на бастион № 4, где служил ее муж, сопровождаемая матросом-вестовым. Один из них был убит при ней. Я ее упрекал в том, что она подвергалась такой опасности; она отвечала: «Поверьте, князь, что я не знаю, что такое чувство страха, никогда его не испытывала». В другой раз, во время болезни ее мужа, которого перенесли в город на квартиру, я их посетил, и в тот же день упавшую бомбу разорвало в соседней комнате: она осталась на квартире и ничего не боялась. *(Прим. автора.)*

тельно Георгиевский крест. Начальство приняло его просьбу, и он поступил траншей-майором на тот же бастион № 4, где все, предшествовавшие ему в этой должности офицеры были убиваемы одни за другими. Он остался 28 дней цел и невредим и требовал Георгиевский крест; ему отказали, не помню, по какой причине; он был очень обижен, но продолжал еще целый месяц эту службу и все-таки Георгия не получил.

Впоследствии, признавая его необыкновенную храбрость и военные достоинства, его назначили командиром Полтавского пехотного полка. С этим-то полком он стоял на бастионе № 2 и блистательно отбил штурм французов в июне 1855 г. Тогда только он получил Георгиевский крест.

С тех пор, то есть со времени осады Севастополя, я с ним не встречался, но слышал, что он жив и находится в Москве, где продолжает быть одним из лучших шахматистов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Составитель пользуется приятной возможностью выразить искреннюю благодарность за разностороннюю помощь в работе над этой книгой Л. Н. Клименюк, А. М. Конечному, К. А. Кумпан, В. Ф. Муленковой, З. И. Розановой.

В примечаниях (кроме особо оговоренных случаев) все цитаты из А. И. Герцена приводятся по изд.: Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. М., 1956—1957. Т. 4—6.

Сведения о декабристах даются по изданию: Декабристы: Биогр. справочник / Под ред. акад. М. В. Нечкиной. М.: Наука, 1988.

Н. А. БЕЛОГОЛОВЫЙ

Из воспоминаний сибиряка о декабристах

Печатается с сокращениями по изд.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1898.

[1] *...к декабристам Юшневским...— Юшневский* Алексей Петрович (1786—1844) — генерал-интендант 2-й армии. Член Тульчинской управы Союза благоденствия и Южного общества. Приговорен к пожизненной каторге. *Юшневская* (урожд. Круликовская; 1790—1863) Мария Казимировна. В 1828 г. добилась разрешения следовать в Сибирь за мужем.

[2] *Муравьев Артамон Захарович* (1793—1846) — декабрист, полковник, командир Ахтырского гусарского полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член Союза спасения, Союза благоденствия и Южного общества. Приговорен к пожизненным каторжным работам.

[3] Борисов *Петр Иванович* (1800—1854) — декабрист, один из основателей Общества соединенных славян. Приговорен к пожизненным каторжным работам. С 1839 г. на поселении в Иркутской губ. Художник-акварелист.

[4] Борисов *Андрей Иванович* (1798—1854) — декабрист, один из основателей Общества соединенных славян. Приговорен к пожизненным каторжным работам. Страдал психическим заболеванием. Жил вместе с братом, после скоропостижной смерти которого покончил с собой.

[5] *Якубович* Александр Иванович (1796 или 1797—1845) — декабрист, участник заграничных походов. Участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к пожизненным каторжным работам. Жил на поселении в деревне Б. Разводная. По ходатайству Якубовича, он был переведен в 1841 г. в село Назимово Анцыферовской волости Енисейской губернии.

[6] *...на почтовой гоньбе.*— Почтовая повинность.

[7] *...за каким-то помещиком...*— Анастасьевым, от которого имела дочь Софию Алексеевну.

[8] *Панов* Николай Алексеевич (1803—1850) — декабрист, поручик лейб-гвардии Гренадерского полка. Член Северного общества, участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к пожизненным каторжным работам. Жил на поселении в селе Михайловском Иркутского округа с 1839 г.; с 1844 г.— в селе Урик.

[9] *Бестужев Николай Александрович* (1791—1855) — писатель, декабрист; член Северного общества. Участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к пожизненным каторжным работам. Художник-акварелист.

[10] *Бестужев Михаил Александрович* (1800—1871) — декабрист, член Северного общества, участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к пожизненным каторжным работам. Братья Бестужевы жили на поселении в Селенгинске.

[11] *...под литературным именем Марлинского...*— Бестужев (литературный псевдоним: Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — прозаик, критик, поэт. Декабрист, член Северного общества, участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к двадцати годам каторжных работ. В декабре 1827 г. по высочайшему повелению определен рядовым в действующие полки Кавказского корпуса. Погиб в стычке с горцами на мысе Адлер.

[12] *...укрывал от утренников...*— Утренник — весенний или осенний утренний мороз.

[13] *Вадковский* Федор Федорович (1800—1844) — декабрист, член Южного общества. Приговорен к пожизненным каторжным работам. В 1840 г. отправлен на поселение в село Оёк Иркутского округа.

[14] *Муравьев Никита* Михайлович (1795—1843) — декабрист; участник заграничных походов. Один из основателей Союза спасения, член Союза благоденствия, член Верховной думы Северного общества. Автор проекта конституции. Приговорен к каторжным работам на 20 лет.

[15] *Лунин* Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист, член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества. Приговорен к каторжным работам на 20 лет.

[16] *Поджио Александр Викторович.* (1798—1873) — декабрист, член Южного общества. Приговорен к каторжным работам на 20 лет.

[17] *...где он через несколько недель и скончался.*— Поджио вернулся в Россию в 1873 г. и умер в имении декабриста С. Г. Волконского, в селе Воронках Черниговской губернии.

[18] *Трубецкой* Сергей Петрович (1790—1860) — декабрист, член Союза спасения, председатель Союза благоденствия. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Приговорен к пожизненным каторжным работам. С июля 1839 г. на поселении в селе Оёк.

[19] *Волконский* Сергей Григорьевич (1788—1865) — князь, декабрист, член Союза благоденствия и Южного общества. Приго-

ворен к каторжным работам на 20 лет. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Генерал-майор. С 1837 г. жил в селе Урик, с 1845 г.— в Иркутске.

[20] *Сутгоф* Александр Николаевич (1801—1872) — декабрист, член Северного общества, участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к пожизненным каторжным работам. С 1842 г. жил на поселении в селе Малая Разводная. В 1848 г. определен рядовым в Кавказский отдельный корпус.

[21] *Муханов* Петр Александрович (1799 или 1800 — 1854) — декабрист, литератор, историк, член Союза благоденствия. Приговорен к каторжным работам на 12 лет. С 1842 г. жил на поселении в селе Усть-Куда Иркутской губ., с 1848 г.— в Иркутске.

[22] *Вольф* Фердинанд (Христиан-Фердинанд) Богданович (Бернгардович) (1796 или 1797—1854) — декабрист, штаб-лекарь. Член Союза благоденствия и Южного общества. Приговорен к каторжным работам на 20 лет. С 1836 г. на поселении в селе Урик, с 1845 г. жил в Тобольске.

[23] *Бечаснов* (Бечасный) Владимир Александрович (1802—1859) — декабрист, член Общества соединенных славян. Приговорен к пожизненным каторжным работам. С 1839 г. жил на поселении в селе Смоленщина Иркутской губернии.

[24] *...и сослан в Акатуевский рудник...*— Речь идет о сочинении Лунина «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года», переданном в 1841 г. доносчиком генерал-губернатору Восточной Сибири В. Я. Руперту. В марте 1841 г. Лунин был отправлен в Акатуевский тюремный замок при Нерчинских горных заводах. 3 декабря того же года Лунин умер в Акатуе.

[25] *Волконская* Мария Николаевна (урожд. Раевская; 1805—1863).

[26] *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) — греческий писатель и историк. Автор «Сравнительных жизнеописаний» знаменитых греков и римлян.

[27] *Муравьева* (урожд. Чернышева) Александра Григорьевна (1804—1832) — жена Никиты Михайловича Муравьева. Последовала за мужем в Сибирь.

[28] *Нарышкина* (урожд. Коновницына) Елизавета Петровна (1802—1867) — жена декабриста Михаила Михайловича Нарышкина. Последовала за мужем в Сибирь.

[29] *Ентальцева* (урожд. Лисовская) Александра Васильевна (1790—1858) — жена декабриста Андрея Васильевича Ентальцева. Последовала за мужем в Сибирь.

[30] *Фонвизина* (урожд. Апухтина) Наталья Дмитриевна (1803 или 1805—1869) — жена декабриста Михаила Александровича Фонвизина. Последовала за мужем в Сибирь. Во втором браке за декабристом Иваном Ивановичем Пущиным.

[31] *Анненкова* (урожд. Гёбль) Прасковья (Полина) Егоровна (1800—1876) — жена декабриста Ивана Александровича Анненкова. Француженка. Последовала за Анненковым в Сибирь и обвенчалась с ним в 1828 г. в Чите.

[32] *Ивашева* (урожд. Ле-Дантю) Камилла Петровна (1808—1839) — жена декабриста Василия Петровича Ивашева. Последовала за Ивашевым в Сибирь и обвенчалась с ним в 1831 г.

[33] *...Мишеля...*— Михаила Сергеевича Волконского (1832—1909).

[34] *...Нелли...*— Елену Сергеевну Волконскую (1835—1916),

[35] *Руперт* Вильгельм Яковлевич (1787—1849) — генерал-губернатор Восточной Сибири в 1837—1847 гг.

[36] *Толстой* Иван Николаевич (1792—1854) — сенатор, приезжавший с ревизией в Западную Сибирь в 1842—1843 гг.

[37] *...камлотовую шинель...* — то есть шинель, сшитую из суровой шерстяной ткани.

[38] *Канталупы (канталупки)* — «порода лакомых дынь, сплюснутых, рубчатых, бородавчатых» (В. И. Даль).

[39] *Поджио* Осип (Иосиф) Викторович (1792—1848) — декабрист, брат А. В. Поджио, член Южного общества. Приговорен к 12-ти годам каторжных работ. С 1834 г. жил на поселении в селе Усть-Куда.

[40] *Раевский* Владимир Федосеевич (1795—1872) — декабрист, член Союза благоденствия. Приговорен к лишению чинов, дворянства и ссылке в Сибирь на поселение. С 1828 г. жил в селе Олонках близ Иркутска.

[41] Раевская *Александра* Владимировна (р. 1830).

[42] *...а меньшей Елизавете...* — Ошибка памяти мемуариста. У В. Ф. Раевского были еще две дочери: Вера (1834—1904) и Софья (1851? — до 1902).

[43] *...со своими тремя дочерьми...* — Александрой (1830—1860); Елизаветой (1834—1923 или 1918) и Зинаидой (1837—1924).

[44] *Муравьев*-Амурский Николай Николаевич (1809—1881) — граф, государственный деятель и дипломат. В 1847—1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири. Руководил экспедициями по Амуру в 1854—1855 гг. и содействовал освоению края.

[45] *Смирнова* (в замужестве Поджио) *Лариса Андреевна* (1823—1892) — классная дама Иркутского института.

[46] Поджио *Варвара* Александровна (1854 — не ранее 1921).

[47] *Петр Иванович* — см. о нем прим. 3 на с. 668.

[48] *Беляев* Александр Петрович (1803—1887) — декабрист, мичман Гвардейского экипажа. Один из основателей тайного «Общества Гвардейского экипажа» (1824). Участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к каторжным работам на 12 лет. С 1832 г. на поселении в Илгинском винокуренном заводе Иркутского округа. В 1833 г. переведен в Минусинск, с 1839 г. поступил рядовым на Кавказ. С 1846 г. в отставке. Мемуарист.

[49] *...больной брат...* — см. о нем прим. 4 на с. 668. К делу были приложены его особые приметы: «Лицо белое, продолговатое, нос средний, глаза серые, взлысоват, волосы на голове и бороде темно-русые, бороду бреет, сухощав» (Декабристы. Биографический справочник. М.: Наука, 1988). Могилы братьев не сохранились.

[50] *...поджег свой дом в Разводной...* — ни одна из этих версий не подтверждается фактами.

[51] *Якушкин* Иван Дмитриевич (1793—1857) — декабрист, один из основателей Союза спасения, член Союза благоденствия. Приговорен к каторжным работам на 20 лет. С 1836 г. на поселении в Ялуторовске. Мемуарист.

[52] *...вдова... Петра Михайловича Волконского...* — Волконская Софья Григорьевна (1785—1868). *Волконский* Петр Михайлович (1776—1852) — генерал-фельдмаршал; в 1813—1814 гг. начальник главного штаба, 1826 г. министр императорского двора и уделов.

[53] *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881) — хирург, анатом, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии. Участник Севастопольской обороны (1854—1855).

[54] *...и заключением Парижского мира.*— Заключен 18 марта 1856 г. между Россией, Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией. Завершил Крымскую войну 1853—1856 гг. Россия вернула Турции Карс. Черное море было объявлено нейтральным.

[55] *Горбачевский* Иван Иванович (1800—1869) — член Общества соединенных славян. Приговорен к пожизненным каторжным работам. С 1839 г. был на поселении в Петровском заводе, где и умер. Мемуарист.

[56] *Завалишин* Дмитрий Иринархович (1804—1892) — декабрист. Пытался создать организацию «Орден восстановления». Вопрос о членстве Завалишина в Северном обществе не решен. Приговорен к пожизненным каторжным работам. На поселении в Чите с 1839 г. После амнистии остался в Сибири. По представлению Н. Н. Муравьева-Амурского, был выслан из Читы в Казань в 1863 г. «под бдительный полицейский надзор». В Казани получил разрешение переехать в Москву, где и умер. Мемуарист, публицист, этнограф.

[57] *Лепарский* Станислав Романович (1759—1838) — комендант Нерчинских рудников и Читинского острога.

[58] *...большую семью с весьма скудными средствами.*— В. А. Бечаснов был женат на сибирской крестьянке Анне Пахомовне Кичигиной и имел семь человек детей.

[59] *...написать еще одну главу...*— Н. А. Белоголовый написал впоследствии очерк, посвященный жизни декабриста по возвращении его из Сибири,— «Декабрист А. В. Поджио. 1859—1873 гг.». Напечатан в кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи.

К. С. АКСАКОВ

Воспоминания студентства 1832—1835 годов.

Печатается с небольшими сокращениями по изд.: Аксаков К. С. Воспоминания студентства 1832—1835 годов. Спб., 1911.

Е. А. Ляцкий, подготовивший воспоминания К. С. Аксакова к отдельному изданию, писал в предисловии к ним: «На суровом и жестком фоне николаевской эпохи воспоминания К. С. Аксакова о годах, проведенных под университетской сенью, кажутся живыми, не вянущими цветами высокого юношеского идеализма. Тайна их прелести — энтузиазм чистой и кроткой души, горевшей любовью к людям, неустанно искавшей истины в ее приложениях ко благу родной земли» (указанное изд. С. 4).

[1] *...притом с моим Азом...— Аз* — первая буква славянской азбуки.

[2] *Победоносцев* Петр Васильевич (1771—1843) — переводчик и журналист; профессор русской словесности Московского университета. В связи с этим рассказом Аксакова И. А. Гончаров замечал в письме к А. Н. Пыпину: «Это было, но отнюдь не с Победоносцевым, а с Гавриловым, профессором славянского языка. Победоносцев по вечерам никогда не читал лекций. Я не застал его; кафедру эту закрыли, но студенты, по свежему преданию, рас-

сказывали мне, что они неоднократно встречали его таким образом, то есть славянскою песнею» (Лит. наследство. Т. 56. С. 268). Ошибки памяти К. С. Аксакова связаны с тем, что воспоминания были написаны им в 1855 г., т. е. спустя 20 лет после окончания им университета.

[3] *...по старинным преданиям...* — Победоносцев читал свой предмет по архаическим учебникам риторики.

[4] *...когда же ты мне хрийку напишешь»...* — Хрия (гр.) — риторическая речь по данным правилам.

[5] *Терновский* Петр Матвеевич (1798—1874) — профессор богословия и церковной истории. См. о нем подробнее в записках Б. Н. Чичерина.

[6] *Кубарев* Алексей Михайлович (1796—1881) — адъюнкт римской словесности Московского университета.

[7] *Оболенский* Василий Иванович (1790—1847) — адъюнкт греческого языка и словесности; переводчик.

[8] *Геринг* Иоганн Христофор Эргард Николаевич (1796— после 1863) — преподаватель немецкого языка и словесности Московского университета.

[9] *Куртенер* Федор Федорович (1795—1870-е) — преподаватель французского языка в Московском университете.

[10] *Коркунов* Михаил Андреевич (1806—1858) — экстраординарный академик, член археографической комиссии.

[11] *Гастев* Михаил Степанович (1801—1883) — профессор статистики Московского университета.

[12] *Геральдика* — гербоведение; со второй половины XIX в. вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы. В первой половине XIX в. — составление дворянских, цеховых и земельных гербов.

[13] *Тит Ливий* (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский писатель и историк.

[14] *Двигубский* Иван Алексеевич (1771—1839) — ректор Московского университета в 1798—1833 гг.; профессор физики и естественной истории.

[15] *Станкевич* Николай Владимирович (1813—1840) — общественный деятель, философ, поэт; в 1830-х гг. возглавлял философский кружок в Московском университете.

[16] *...об этом необыкновенном человеке...* — К. С. Аксаков не оставил воспоминаний о Станкевиче.

[17] *Клюшников* Иван Петрович (1811—1895) — поэт, прозаик; член кружка Станкевича.

[18] *Петров* Павел Яковлевич (1814—1875) — ученый-ориенталист.

[19] *Строев* Сергей Михайлович (1815—1840) — историк.

[20] *Красов* Василий Иванович (1810—1854) — поэт.

[21] *Бодянский* Осип Максимович (1808—1877) — филолог-славист; с 1842 г. профессор Московского университета.

[22] *Ефремов* Александр Павлович (1814—1876) — студент, позднее преподаватель всеобщей географии Московского университета.

[23] *...Станкевич уехал за границу...* — Это было в августе 1837 г.

[24] *Надеждин* Николай Иванович (1804—1856) — критик, ученый, журналист; в 1831—1835 гг. профессор Московского университета по кафедре изящных искусств и археологии.

[25] *Голохвастов* Дмитрий Павлович (1796—1849) — председатель Московского цензурного комитета; с 1847 г. попечитель Мо-

ского учебного округа. Историк, двоюродный брат А. И. Герцена.

[26] *Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, критик, сторонник классицизма; профессор археологии, русской и всеобщей истории и статистики, истории и литературы славянских наречий. С 1837 г. ректор Московского университета. Академик с 1841 г. Журналист и переводчик. Издатель журнала «Вестник Европы» в 1805—1830 гг.

[27] *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — историк литературы, критик, поэт; с 1832 г. преподаватель, в 1837—1857 гг. профессор русской словесности и педагогики Московского университета. С 1841 г. редактор (совместно с М. П. Погодиным) журнала «Москвитянин».

[28] *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — профессор русской истории Московского университета, с 1841 г. академик. Историк, писатель, драматург.

[29] *Давыдов* Иван Иванович (1794—1863) — профессор филологии и философии; с 1831 г. возглавил кафедру русской словесности Московского университета; академик Петербургской АН (с 1841 г.).

[30] *Снегирев* Иван Михайлович (1793—1868) — профессор римских древностей и латинского языка; цензор Московского цензурного комитета.

[31] *Ивашковский* Семен Мартынович (1774—1850) — профессор греческой словесности Московского университета в 1819—1835 гг.

[32] *Кистер* Федор Иванович (1772—1849) — доктор права Московского университета.

[33] *Декамп* Амедей (? — 1837) — преподаватель французской словесности Московского университета.

[34] *...читал вступительную лекцию.*— С. П. Шевырев читал вступительную лекцию 15 января 1834 г.

[35] *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, философ, публицист. Хомяков, писал Н. Бердяев, «по справедливости должен быть признан одним из крупнейших русских умов. <...> Целые поколения русской интеллигенции от Хомякова отделяли его славянофильские заблуждения, с которыми исторически ассоциировались слишком тягостные для нас впечатления. Некоторые стороны славянофильского учения Хомякова были захвачены нечистыми руками, и от прикосновения их были загублены мессионистские мечты о высоком призвании русского народа; вера в самобытную национальную культуру, в национальное долженствование наше превратилась в проповедь человеконенавистничества и насильничества. Романтик и идеалист,— Хомяков с ужасом должен был бы отвернуться от этих «русских собраний». Дорогой ценой искупает этот большой человек, так беззаветно любивший свою Россию и веривший в ее великое творческое будущее, свой грех перед будущим России — идеализацию отсталых форм жизни, пытавшуюся приковать творчество национального духа к этим заставным формам» (Бердяев Н. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900—1906 гг.). Спб., 1907. С. 191).

[36] *...очарование продолжалось недолго...*— Герцен писал: «Шевырев вряд даже сделал что-нибудь как профессор. Что касается до его литературных статей, я не помню во всем писаном им ни

одной оригинальной мысли, ни одного самобытного мнения» (Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. Т. 5. С. 166).

[37] *Погодин, заняв при нас кафедру всеобщей истории...*— Это было в 1833 г. Герцен писал: «Погодин был полезный профессор, явившись с новыми силами <...> на пепелище русской истории, вытравленной и превращенной в дым и прах Каченовским» (Герцен А. И. Т. 5. С. 165).

[38] *...и исторический скептицизм Каченовского...*— Каченовский возглавлял так называемую «скептическую школу», направление в русской исторической науке первой половины XIX в., требующее критического отношения к древнерусским историческим источникам.

[39] *К другому профессору.*— К И. М. Снегиреву.

[40] *...«О великих людях <...> большого роста».*— И. И. Давыдов действительно утверждал: «Когда мы представляем в воображении человека великого, то даем ему и рост необыкновенный; когда описываем предметы важные, то употребляем стихи длинные» (Давыдов И. И. Чтения о словесности. М., 1838. Т. III. С. 37).

[41] *...о некоторых тогдашних профессорах.*— Стихи о профессоре И. И. Давыдове.

[42] *Минерва* — в древнеримской мифологии — богиня мудрости, покровительница наук, искусств и ремесел.

[43] *Блер* (Блэр) Хьюг (1718—1800) — английский теоретик искусства. Имеется в виду его труд «Лекции по риторике и изящной литературе».

[44] *Что худо в ней, что хорошо...*— «Что подчеркнуто, это хорошенько не помню»,— писал К. С. Аксаков в прим. к этому стиху.

[45] *Коссович* Каэтан Андреевич (1815—1883) — студент Московского университета, впоследствии профессор-санскритолог Петербургского университета.

[46] *...«Новоселье», альманах...*— Вторая книга альманаха «Новоселье» вышла в 1834 г.

[47] *...«Коляску» Гоголя...*— «Коляска» была опубликована: «Современник», 1836, № 1.

[48] *Морошкин* Федор Лукич (1804—1857) — профессор гражданских законов Московского университета.

[49] *Сазонов* Николай Иванович (1815—1862) — публицист, участник студенческого кружка Герцена — Огарева. Эмигрировал во Францию. Герцен писал о нем: «Сосредоточиться в себе, отдаться внутренней работе, не ожидая толчка извне, он не мог, это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд,— но на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении и притом при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов...» (Герцен А. И. Т. 5. С. 582—583).

[50] *Прозелит* (гр.) — приверженец, сторонник чего-либо.

[51] *Уваров* Сергей Семенович (1786—1855) — президент Академии наук с 1818 г. В 1833—1849 гг. министр народного просвещения.

[52] *Ретивый конь, осанку горду...*— Строки из стихотворения Г. Р. Державина «Водопад».

[53] *Мерзляков* Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, переводчик, литературный критик. В 1804—1830 гг. профессор Мос-

ковского университета по кафедре российского красноречия и поэзии.

54 *Пришло 12 января 1835 года.*— Двадцатилетняя годовщина со дня основания Московского университета.

55 *Строганов* Сергей Григорьевич (1794—1882) — в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа. Ср. с воспоминаниями о Строганове Б. Н. Чичерина.

56 *...и ему дается ход.*— Комментируя эти слова, Е. Ляцкий писал: «Позднейшая приписка автора, сделанная, вероятно, тогда, когда дозволено было студентам поступать в университет без ограничения в числе» (указ. изд. С. 39).

А. И. КОШЕЛЕВ

Записки

Главы III и VIII печатаются с сокращениями по изд: Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884.

1 *Нессельроде* Карл Васильевич (1780—1862) — граф, министр иностранных дел в 1816—1855 гг., член Государственного совета.

2 *Кошелев* Родион Александрович — по-видимому, двоюродный дядя А. И. Кошелева. В главе II своих «Записок» Кошелев писал: «После кончины моего отца попечителем надо мною, по просьбе моей матери, был дядя мой и друг моего отца Родион Александрович Кошелев, который жил в Петербурге и пользовался особенною дружбою Александра I» (указ. соч. С. 10).

3 *Голицын* Александр Николаевич (1773—1844) — министр духовных дел и просвещения в 1816—1824 гг. Известный мистик и масон. Герцен писал: «Вместе с министерством Голицына пали масонство, библейские общества, лютеранский пиетизм, которые <...> дошли до безграничной уродливости, до диких преследований, до судорожных плясок, до состояния кликуш и бог знает каких чудес» (Герцен А. И. Т. 4. С. 284).

4 *Мартинизм* — масонство.

5 *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный и политический деятель в царствование Александра I. В 1819—1821 был генерал-губернатором Сибири.

6 *Кочубей* Виктор Павлович (1768—1834) — князь, министр внутренних дел в 1802—1807 и 1819—1823 гг. С 1827 г. председатель Государственного совета и Комитета министров.

7 *Лаваль* Иван Степанович (?—1846) — граф, французский эмигрант, приехавший в Россию в начале Французской революции. При Александре I был членом Главного правления училищ. Позднее управляющий 3-й экспедицией особой канцелярии Министерства иностранных дел.

8 *Крузенштерн* Александр Иванович (1808—1888) — выпускник Лицея, сенатор, член Государственного совета. Сын адмирала И. Ф. Крузенштерна.

9 *Одоевский* Владимир Федорович (1803 или 1804 — 1869) — князь, писатель, музыкальный критик.

10 *...женился на О. С. Ланской...*— Ланская (в замужестве Одоевская) Ольга Степановна (1797—1872).

11 *Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт, литературный критик.

[12] *Титов* Владимир Павлович (1807—1891) — писатель. Принадлежал к литературному кружку Веневитинова, затем был посланником в Константинополе; «...человек честный, благородный, с разносторонним образованием, о котором остроумный поэт Тютчев говорил в шутку, что он создан был для того, чтобы составить инвентарь творения...» (Чичерин Б. Н. Воспоминания. М., 1929. Ч. 11. С. 55).

[13] *...и там продержан двое или трое суток.*— При въезде в Петербург в ноябре 1826 г. Веневитинов был арестован. С этим арестом друзья и близкие поэта связывали его безвременную смерть (15 марта 1827 г.). Племянник Веневитинова писал: «Простудился ли Дмитрий Владимирович в том помещении, где был арестован, или подвергся какому-нибудь вредному влиянию,— об этом не сохранилось точных семейных преданий, которые ограничиваются указанием на гигиенические условия места заключения как на главную причину окончательного расстройства в здоровье моего дяди...» (Веневитинов М. А. К биографии поэта Д. В. Веневитинова // Русский архив, 1885, № 1. С. 122—123).

[14] *Лаваль* (урожд. Козицкая) Александра Григорьевна (1772—1850) — жена И. С. Лаваля, хозяйка известного в Петербурге салона. У графини Лаваль был блестящий дом на Английской набережной, собрание картин, древностей и скульптур.

[15] *Карбонари* — здесь: революционер.

[16] *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — в 1832—1838 гг. министр внутренних дел; в 1855—1864 гг. президент Петербургской Академии наук. Председатель Государственного совета (1862—1864) и Комитета министров (1861—1864). Автор «Донесения следственной комиссии» по делу декабристов.

[17] *...но характером он был слаб и труслив.*— В противоположность Кошелеву, В. А Соллогуб называл Блудова человеком «обширного ума и непреклонных убеждений» (Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 496). Наиболее проницательную характеристику Блудова оставил Герцен: «Блудов <...> принадлежал к числу государственных доктринеров, явившихся в конце александровского царствования. Это были люди умные, образованные, честные, состарившиеся и выслужившиеся «арзамасские гуси» <...> От них много надеялись, они ничего не сделали, как вообще доктринеры всех стран. Может быть, им и удалось бы оставить след более прочный при Александре, но Александр умер, и они остались при своем *желании* делать что-нибудь путное» (Герцен А. И. Т. 4. С. 304—305). Ср. также с рассказами Ф. Ф. Вигеля о Блудове. См.: Русские мемуары. 1800—1825. М., 1989.

[18] *Дашков* Дмитрий Васильевич (1788—1839) — государственный деятель и дипломат; министр юстиции с 1829 г.

[19] *Булгаков Константин Яковлевич* (1782—1835) — петербургский почт-директор.

[20] *Карамзина Екатерина Андреевна* (урожд. Колываиова; 1780—1851) — вдова Н. М. Карамзина. В. А. Соллогуб вспоминал: «Самой остроумной и ученой гостиной в Петербурге была, разумеется, гостиная г-жи Карамзиной <..>; здесь уже царствовал элемент чисто литературный, хотя и бывало также много людей светских. Все, что было известного и талантливого в столице, каждый вечер собиралось у Карамзиной; приемы отличались самой радушной простотой <...> Но, несмотря на это, приемы эти носили отпечаток самого тонкого вкуса, самой высокопроб-

ной добропорядочности» (Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. С. 440).

[21] *Экарте* — азартная карточная игра.

[22] *Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856) — публицист, философ, литературный критик. Один из идеологов славянофильства.

[23] *Вист* — азартная карточная игра.

[24] *Бенкендорф* Александр Христофорович (1783—1844) — шеф жандармов и начальник III Отделения императорской канцелярии.

[25] *Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — историк, литератор, общественный деятель.

[26] *Муханов* Павел Александрович (1798—1871) — историк, собиратель и издатель материалов по отечественной истории. Член Государственного совета (1861), председатель археологической комиссии с 1869 г.

[27] *Россети* (Россет; в замужестве Смирнова) Александра Осиповна (1809—1882) — фрейлина, приятельница Пушкина. По свидетельству С. Т. Аксакова, Гоголь «был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум и живость которой были тогда еще очаровательны» (Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 282).

[28] *Елагина Авдотья Петровна* (1789—1877) — мать И. В. и П. В. Киреевских, хозяйка литературного салона в Москве.

[29] *Дельвиг* Антон Антонович (1798—1831) — поэт.

[30] *...как с издателем газеты.*— Дельвиг издавал «Литературную газету» (1830—1831) и альманах «Северные цветы» (1825—1831). По доносу Ф. В. Булгарина, Дельвига несколько раз вызывал к себе Бенкендорф. Издание газеты под редакцией Дельвига было запрещено «по высочайшему повелению».

[31] *...все творения Иоанна Златоуста и много из сочинений Василия Великого и Григория Богослова.*— Иоанн Златоуст (ок. 350—407) — византийский церковный деятель, епископ Константинополя (с 398), автор проповедей, панегириков, псалмов. В Византии и на Руси считался идеалом проповедника и обличителя общественной несправедливости. Василий Великий (Василий Кесарийский; ок. 330 — 379) — церковный деятель, теолог, философ-платоник, епископ г. Кесарии в Малой Азии. Автор «Шестоднева», где изложены принципы христианской космологии. *Григорий Богослов* (Григорий Назианзин; ок. 330 — ок. 390) — греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель; епископ г. Назианза в Малой Азии.

[32] *...к министру внутренних дел.*— В 1841—1851 гг. министром внутренних дел был Лев Алексеевич Перовский (1792—1856).

[33] *Я препроводил к нему самый проект предложения...*— Письмо Кошелева от 23 ноября 1847 г. начинается словами: «Утвердить на законном основании быт крестьян и дворовых людей и отношения к ним помещика,— было всегда живейшим моим желанием» (см.: Кошелев. Записки. Приложение первое, с. 3).

[34] *В это же время я написал статью...*— Статья Кошелева «Охота пуще неволи» была опубликована в «Земледельческой газете» в 1847 г. под заглавием: «Добрая воля спорее неволи».

[35] *...изданного 12 июня 1844 года...*— Кошелев имеет в виду закон 1842 г. об «обязанных крестьянах»; по этому закону помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости, давал им земельный надел в наследственное пользование на условиях, определяемых добровольным соглашением. За

пользование землей крестьяне обязаны были нести повинность в пользу владельца. Кошелев ошибочно называет дату законодат льства.

[36] *Заблоцкий-Десятовский* Андрей Парфенович (1808—1881/1882) — государственный деятель, экономист, участник подготовки и проведения крестьянской реформы.

[37] *Киселев* Павел Дмитриевич (1788—1872) — граф, государственный деятель. В 1837—1856 гг. министр государственных имуществ. Провел реформу управления государственными крестьянами. Сторонник отмены крепостного права.

[38] *Ревизские сказки* — именные списки населения России XVIII — первой половины XIX в., составлявшиеся во время ревизий.

[39] *...на основании вышеупомянутого приглашения 1847 года...*— Речь идет об ответе Л. А. Перовского на письмо Кошелева. Перовский писал: «Но если бы Вы, милостивый государь, с своей стороны, заключили с крестьянами своими условия для обращения их в обязанные, то это было бы вполне согласно с желаниями его величества и подало бы поощрительный пример для других владельцев» (Кошелев А. И. Записки. Приложение первое. С. 5).

[40] *Закревский* Арсений Андреевич (1783—1865) — дежурный генерал Главного штаба; в 1828—1831 гг. министр внутренних дел. В 1848—1859 гг. Московский генерал-губернатор. Отличался крайней реакционностью «...Москва,— вспоминал П. В. Анненков,— была отдана графу Закревскому в безграничное пользование, и там происходили оргии высылок, взяток и проч.» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 537).

[41] *...составился кружок единодушный и единомысленный.*— Речь идет о славянофильском кружке.

[42] *Шишков* Александр Семенович (1754—1841) — писатель, государственный деятель, адмирал. Глава литературного общества «Беседа любителей русского слова». С 1813 г. президент Российской академии. В 1824—1828 гг. министр просвещения. Консерватор по политич ским убеждениям, противник отмены крепостного права. Ориентировал русскую литературу на старославянский язык.

[43] *...по Сократовой методе.*— Метод постижения истины, при котором с помощью наводящих вопросов извлекается скрытое в человеке знание.

[44] *...хотя словом, насильственно.*— Ср. с характеристикой, данной Хомякову Герценом: «Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков. <...> Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. <...> Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый бретер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. <...> Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли *у него у самого* что-нибудь заветное» (Герцен А. И. Т. 5. С. 156—157).

[45] *...упрекал Хомякова в излишнем рационализме и в недостатке чувства в делах веры.*— Отчасти, косвенно, в статье «В от-

вет А. С. Хомякову» (1839), написанной в ответ на статью Хомякова «О старом и новом» (1839).

[46] *...помещенные в «Русской беседе»...* — Кошелев имеет в виду статью Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии» (Русская беседа, 1856, II, с подзаголовком: «Статья 1»).

[47] *Киреевский* Петр Васильевич (1808—1856) — фольклорист, археограф, публицист; брат И. В. Киреевского.

[48] *Самарин Юрий Федорович* (1819—1876) — публицист, философ, историк, общественный деятель. Один из идеологов славянофильства. Участник подготовки крестьянской реформы. Б. Н. Чичерин писал: «...у Самарина, при всей силе его логики, не было умственного качества, свойственного самым обыкновенным людям, имеиио простого здравого смысла, который побуждает человека прямо и трезво смотреть на вещи, видеть различные их стороны и избегать односторонних увлечений. <...> Хомяков сочинял теории; Самарин же не высказал ни одной оригинальной мысли: он только развивал и доказывал чужие, проявляя свою силу особенно в изыскании слабых сторон противника». И далее: «...всякий внешний почет, всякие мелкие побуждения были ему противны: он весь был предан идее общего блага» (Чичерин Б. Н. Воспоминания. Ч. I. С. 245, 246, 248).

[49] *Аксаков Иван Сергеевич* (1823—1886) — публицист и общественный деятель. Один из идеологов славянофильства.

[50] *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) — философ, публицист

[51] *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, общественный деятель, профессор всеобщей истории Московского университета с 1839 г.

[52] *Павлов* Николай Филиппович (1803—1864) — писатель.

[53] *...кончались настоящими словесными дуэлями...* — См. об этом подробнее: Герцен А. И. Былое и думы. Ч. IV. Гл. XXIX—XXX.

[54] *...во время борьбы славян на Балканском полуострове...* — Кошелев отразил в своих записках недовольство русского общества политикой Англии и Австрии, опротестовавших условия Сан-Стефанского мира, который завершил русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Россия не желала примириться с тем, что европейские державы умалили результаты освободительной войны. В 1878 г. для пересмотра условий Сан-Стефанского мира был созван по инициативе Англии и Австро-Венгрии конгресс, заставивший Россию сделать ряд уступок.

Б. Н. ЧИЧЕРИН

Воспоминания

Печатаются с сокращениями по изд.: Чичерин Б. Н. Воспоминания. М., 1929.

[1] *...а второму брату, Василию...* — Чичерин *Василий* Николаевич (1829—1882) — дипломат.

[2] *...с матерью...* — Чичерина (урожд. Хвощинская) Екатерина Борисовна.

[3] *...и маленькую сестру...* — Чичерина (в замужестве Нарышкина) Александра Николаевна.

[4] *...отец...*— Чичерин Николай Васильевич (1801—1860).

[5] *Яниш* (в замужестве Павлова) Каролина Карловна (1807—1893) — поэтесса и переводчица.

[6] *Соболевский* Сергей Александрович (1803—1870) — библиограф, поэт.

[7] *...Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны...*— герои повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики».

[8] *Мельгунов* Николай Александрович (1804—1867) — беллетрист и публицист, связанный с кружком Герцена и со славянофилами.

[9] *Редкин* Петр Григорьевич (1808—1891) — профессор Московского университета в 1835—1848 гг. и Петербургского университета в 1863—1878 гг. Правовед.

[10] *Кавелин* Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк, либеральный общественный деятель, публицист. Автор одного из первых проектов отмены крепостного права; участник подготовки крестьянской реформы.

[11] *Крюков* Дмитрий Львович (1809—1845) — профессор римской словесности и древностей в Московском университете, участник кружка Герцена в 40-х гг. «Милый, блестящий, умный, ученый Крюков»,— писал о нем Герцен (т. 5, с. 131—132).

[12] *...стекались в университетскую аудиторию.*— Герцен вспоминал: «Заключение первого курса было для него <Грановского.— *И. П.*> настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику,— все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета» (т. 5, с. 126).

[13] *...поучение Мономаха...*— Владимир II Мономах (1053—1125) — великий князь Киевский (с 1113) в «Поучении» призывал сыновей укреплять единство Руси.

[14] *Кирилл Туровский* (ок. 1130-х гг.— не позднее 1182) — древнерусский писатель, проповедник, епископ г. Турова. Автор торжественных «Слов», поучений.

[15] *...«Слово Даниила Заточника»...*— памятник древнерусской литературы XII в.

[16] *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — поэт.

[17] *Крылов* Никита Иванович (1807—1879) — профессор Московского университета по кафедре истории (с 1835 г.); цензор.

[18] *Попов Александр Николаевич* (1820—1877) — историк, близкий к славянофилам.

[19] *Помня уроки Измаила Ивановича...*— Сумароков Измаил Иванович, кандидат Харьковского университета, преподавал историю молодым Чичериным, приезжая на лето в Караул.

[20] *Лоренц* Фридрих Карлович (1803—1861) — историк, профессор Петербургского главного педагогического института. С 1857 г. профессор русской истории Боннского университета.

[21] *Когда мы дошли до разделения церквей...*— Разделение христианской церкви на католическую и православную произошло в 1054—1204 гг.; в XVI в. от католицизма откололся протестантизм.

[22] *...на знаменитый его магистерский диспут...*— 21 февраля 1845 г. Грановский защитил магистерскую диссертацию «Волин, Иомсбург и Винета». «Тем, которые присутствовали на этом диспуте, памятны еще умеренность и спокойствие, с какими Грановский отвечал на более чем горячие возражения оппонентов. Слу-

шатели и студенты при этом случае выказали свое сочувствие автору диссертации и не воздержались от выражений неодобрения некоторым из его противников. Друзья последних начали толковать, что в университете был бунт» (Станкевич А. Т. Н. Грановский. Биографический очерк // В кн.: Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 1. С. 137).

23 *...является из университета Василий Григорьевич...*— В. Г. Вязовой был сыном тамбовского извозчика. При содействии Н. В. Чичерина поступил в гимназию, затем учился в Медицинской академии, откуда перешел на математический факультет университета. Преподавал математику братьям Чичериным.

24 *Чивилев* Александр Иванович (1808—1867) — историк, статистик, экономист. С 1835 г. профессор Московского университета.

25 *Сципион Африканский* Младший (ок. 185—129 до н. э.) — римский полководец. В 146 г. захватил Карфаген, завершив 3-ю Пуническую войну. Предание изображало Сципиона Африканского поклонником древней эллинской культуры.

26 *Ришар* — танцор.

27 *...но я не отказался от своей страсти к птицам...*— С. В. Бахрушин приводит рассказ Б. Н. Чичерина из неопубликованной части его воспоминаний: «Одно время у меня развилась страсть к птицам, и я несколько лет только ими и бредил... Любовь к птицам соединялась у меня с страстью к рисованью, которою я был одержим с самых малых лет... Мне непременно захотелось нарисовать всевозможных птиц с натуры акварелью. Сначала я составил себе альбом в маленьком виде, но потом это показалось мне слишком ничтожным, и я завел себе большой альбом, в который срисовал маленьких птиц в натуральную величину, а больших в уменьшенном виде. В течение нескольких лет я их нарисовал около сотни» (указ. изд., с. 18).

28 *...мне в саду устроили вольерку.*— Вольер (вольера) — площадка для содержания зверей (в основном пушных) и птиц; огорожена металлической сеткой.

29 *...переход «Москвитянина» под редакцию Ивана Васильевича Киреевского.*— «Москвитянин» — научно-литературный журнал, издавался в Москве в 1841—1856 гг. М. П. Погодиным. И. В. Киреевский был редактором журнала в январе-марте 1845 г. Ои попытался отстранить от руководства журналом Погодина и С. П. Шевырева и опубликовал основополагающие статьи идеологов славянофильства.

30 *...он издавал журнал «Европеец»...*— «Европеец» — «журнал наук и словесности». Издавался в Москве в 1832 г. И. В. Киреевским. Вышло два номера. Журнал был закрыт в связи с публикацией статьи Киреевского «Девятнадцатый век», в которой проблемы просвещения России рассматривались в связи с общеевропейским развитием.

31 *Шеллинг* Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.

32 *Пантеизм* — религиозно-философское учение, отождествляющее бога с природой.

33 *Баадер* Франц Ксавер фон (1765—1841) — немецкий религиозный философ, врач, естествоиспытатель.

34 *...Герцен написал... статью...*— Речь идет о статье Герцена «Москвитянин и вселенная» (Отечественные записки, 1845, № 3).

35 *..заандамский работник...*— Петр 1. В другой главе своих

воспоминаний Чичерин писал: «В наших поездках, разумеется, не был забыт и Заандам, эта колыбель русского величия. С глубоким благоговением вошли мы в низенький деревянный домик, где жил могучий гений, создавший новую Россию; мы видели простые стулья и убогую кровать, на которой богатырь едва мог растянуться. Здесь он в униженном виде работал неутомимо для славы своего народа <...>» (указ. изд., ч. III, с. 134). В Заандаме Петр I работал на судостроительной верфи как простой плотник.

[36] *Терлик* — кафтан с перехватом и короткими рукавами.

[37] *Сенявин* Иван Григорьевич (1801—1851) — товарищ министра внутренних дел.

[38] *Жена его...* — Сенявина (урожд. д'Оггер) Александра Васильевна (?—1862).

[39] *Языков* Николай Михайлович (1803—1846) — поэт.

[40] *...вписал в него стихотворение...* — В конце 1844 г. Языков написал два стихотворных памфлета: «К ненашим» и «К Чаадаеву». По поводу этих памфлетов Герцен записал в дневнике 10 января 1845 г.: «Стихи Языкова с доносом на всех нас привели к объяснениям, которые, с своей стороны, чуть не привели к дуэли Грановского и Петра Киреевского... После всего этого, наконец, личное отдаление сделалось необходимым» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 403). В послании «Константину Аксакову», написанном тогда же, Языков призывал К. Аксакова порвать отношения с западниками.

[41] *...Чаадаев назывался «плешивым идолом строптивых баб и модных жен».* — Строки из стихотворения Языкова «К Чаадаеву»: «Но ты стоишь, плешивый идол Строптивых душ и слабых жен!»

[42] *«И ты, красноречивый книжник...»* — Неточная цитата из стихотворения Языкова «К ненашим». Вероятно, последняя строка изменена Чичериным не без умысла. У Языкова она звучит иначе: «Беспутных мыслей и надежд».

[43] *...следующее стихотворение...* — «Н. М. Я<зыков>у. Послание К. Павловой» — ответ на обращенное к ней стихотворение Языкова «К К. Павловой».

[44] *Щербатов* Алексей Григорьевич (1776—1848) — князь, московский генерал-губернатор в 1843—1848 гг., член Государственного совета.

[45] *...митрополит Филарет.* — *Филарет* (Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867) — московский митрополит с 1826 г.

[46] *Спасский* Иван Тимофеевич (1795—1859) — профессор кафедры минералогии и зоологии Петербургской медико-хирургической академии.

[47] *Магзиг* — садовник, служивший у Н. В. Чичерина в его имении Караул.

[48] *...с широким умом, с разносторонним образованием...* — Ср. с характеристикой Герцена: Уваров «удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец на прилавке просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала» (т. 4, с. 127).

[49] *...горячая любовь к просвещению.* — Чичерин несколько преувеличивает любовь Строганова к просвещению. Сохранился рассказ о том, как Строганов «беседовал» с Герценом и Грановским, угрожая последнему увольнением из университета. В заклю-

чение «беседы» Строганов произнес следующую сентенцию: «Есть блага выше науки, их надобно сберечь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и все училища» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II. С. 462).

[50] *Корш Евгений* Федорович (1810—1897) — участник кружка Герцена, редактор «Московских ведомостей». Чичерин писал о Корше в этот период его жизни: «Приветливый, обходительный, с тонким умом, с необыкновенно разносторонним образованием, с разнообразным, занимательным и остроумным разговором <...>, он был в то время чрезвычайно приятен в личных отношениях. Скромный дом его был центром, где и в Петербурге и в Москве любили собираться друзья» (указ. изд., с. 184).

[51] *Иноземцев* Федор Иванович (1802—1869) — врач и общественный деятель, основатель научной школы.

[52] *Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, академик (1872), ректор Московского университета (1871—1877). Соловьев, писал Чичерин, «был неутомимый архивный труженик, и притом труженик, руководимый мыслью и образованием. <...> У него был и верный исторический взгляд. Он к изучаемым фактам относился не с предвзятою мыслью, не с патриотическими фантазиями, а как истинный ученый, основательно и добросовестно, стараясь уловить настоящий их смысл <...> воздерживаясь от собственного суждения, он хотел, чтобы факты говорили сами за себя, предоставляя читателю выводить заключения. <...> Тихая, ровная, всегда спокойная его натура чуждалась всего, что имело характер заносчивости или нетерпимости. Всякое резкое возражение его оскорбляло; он уверял, что оно ослабляет ему мысли» (указ. изд., с. 186, 187, 188).

[53] *Кудрявцев* Петр Николаевич (1816—1858) — литератор, магистр всеобщей истории Московского университета. Чичерин вспоминал о Кудрявцеве: «Его обширные познания, его основательная ученость и усидчивое трудолюбие делали его авторитетом в деле науки; а с другой стороны, его чистая и возвышенная душа, его тихая, кроткая и любящая натура привлекали к нему общее сочувствие» (указ. изд., с. 186).

[54] *Леонтьев* Павел Михайлович (1822—1874) — журналист, профессор греческой словесности Московского университета. «Достойным сподвижником Каткова,— писал Чичерин,— был Леонтьев. Маленький, горбатый, с умною и хитрою физиономиею, он на всем своем нравственном существе носил отпечаток своего физического уродства. Это был основательный ученый, умный и образованный, без большого таланта, но трудолюбия непомерного, и вместе человек весьма практический <...> Грановский <...> называл Леонтьева не иначе как «злой паук» (указ. изд., с. 182, 183).

[55] *Буслаев* Федор Иванович (1818—1897) — филолог и искусствовед, академик Петербургской академии (1860).

[56] *Катков* Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, издатель журнала «Русский вестник» (с 1856) и газеты «Московские ведомости» (1851—1855; 1863—1887). В 30-х гг. примыкал к кружку Н. В. Станкевича. В 50-х гг. умеренный либерал, с начала 60-х гг. апологет реакции. В другой главе своих воспоминаний Чичерин пишет о Каткове: «Он с самого начала произвел на меня неблагоприятное впечатление. Его маленькие, тусклые и блуждающие глаза, обличавшие что-то затаенное и недоброе, глухой его голос, его то смутная, то порывистая речь, то растерян-

ные, то слишком решительные приемы, отсутствие той искренности, которые привлекают и связывают людей, все это несколько меня отталкивало. Я чуял в нем недостаток истинно человеческих чувств...» (указ. изд., с. 173—174).

[57] *Венский Конгресс* — конгресс европейских государств в сентябре 1814 — июне 1815 гг., завершил войны коалиций европейских держав с Наполеоном I.

[58] *Эйхгорн* Карл Фридрих (1781—1854) — немецкий историк-юрист.

[59] *Пухта* Георг Фридрих (1798—1846) — немецкий юрист, представитель исторической школы права.

[60] *Савиньи* Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист, глава исторической школы права.

[61] *Гумбольдт Вильгельм* (1767—1835) — немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.

[62] *Бекк* Иоганн Тобиас (1804—1878) — немецкий богослов.

[63] *Гримм,* братья: Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) — немецкие филологи, основоположники так называемой мифологической школы в фольклористике.

[64] *Ранке* Леопольд фон (1795—1886) — немецкий историк.

[65] *Гизо* Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк; с 1830 г. министр, с 1847 г. глава правительства, свергнутого революцией 1848 г.

[66] *Тьерри* Огюстен (1795—1856) — французский историк, один из создателей теории классовой борьбы.

[67] *Тьер* Луи Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк. Глава исполнительной власти с февраля 1871 г. В 1871—1873 гг. президент Франции. Подавил с исключительной жестокостью Парижскую коммуну.

[68] *Минье* Франсуа Огюст Мари (1796—1884) — французский историк либерального направления.

[69] *Мишле* Жюль (1798—1874) — французский историк.

[70] *Черкасский* Владимир Александрович (1824—1878) — князь, государственный деятель, публицист. Славянофил. Участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.

[71] *...брат знаменитого адмирала.*— Нахимов Платон Степанович (1790—1850) — в 1834—1848 гг. инспектор Московского университета. Брат Павла Степановича Нахимова.

[72] *Синопское сражение* — произошло 18 (30) декабря 1853 г. в Синопской бухте во время Крымской войны 1853—1856 гг. Русская эскадра вице-адмирала П. С. Нахимова уничтожила турецкую эскадру Османа-паши.

[73] *Боткин* Василий Петрович (1811—1869) — литературный и музыкальный критик, переводчик. Сын богатого московского купца.

[74] *Кетчер* Николай Христофорович (1809—1886) — врач, литератор, переводчик, друг Герцена. «Его косматая голова, резкий тон, громкий голос, угловатые манеры, всегда небрежное одеяние обличали полное презрение к внешним формам. Многих это отталкивало, иных оскорбляло; но те, которые подходили к нему ближе, знали, что под этою несколько дикою наружностью скрывалась горячая и любящая душа. <...> Друзьям он был предан всею душою и всегда был готов для них на всякое самопожертвование, хотя подчас неумолимо преследовал их слабость». Кетчер, писал далее Чичерин, «замечательный пример сочетания удивительной нравственной чистоты и возвышенности с полным

отсутствием религиозных потребностей» (указ. соч., с. 192, 193—194).

[75] *Сатин* Николай Михайлович (1814—1873) — поэт, переводчик, участник кружка Герцена.

[76] *Краевский* Андрей Александрович (1810—1889) — издатель и журналист.

[77] *Анненков* Павел Васильевич (1813—1887) — литературный критик, мемуарист.

[78] *Панаев* Иван Иванович (1812—1862) — писатель, мемуарист, журналист.

[79] *Свербеевы* — речь идет о доме Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1876), у которого собирались западники и славянофилы.

[80] *Ганс* Эдуард (1798—1839) — немецкий юрист и философ, ученик Гегеля.

[81] *..начало развития личности в древней русской истории.*— Речь идет о статье К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России».

[82] *Беляев* Иван Дмитриевич (1810—1873) — историк, славянофил, профессор Московского университета (с 1852).

[83] *...пришли к одному и тому же правильному взгляду на русскую историю...*— Кавелин и Соловьев были историками так называемой государственной школы, которая считала государство и его деятельность основной движущей силой исторического процесса, и противопоставляли историю России истории Западной Европы.

[84] *Костомаров* Николай Иванович (1817—1885) — русский и украинский историк, писатель.

[85] *Сектатор* — последователь или член секты.

[86] *...предметом своей докторской диссертации избрал аббата Сугерея.*— «Осенью 1849 г. появилась в печати диссертация Грановского на докторскую степень «Аббат Сугерей». Диссертация представляла жизнь и деятельность человека, при могущественном участии которого в делах царствования Людовика Толстого было положено во Франции начало правильного центрального правительства. При участии аббата Сугерея нз феодального порядка выступала во Франции монархия, власть, призванная поддерживать в пользу всех и против всех справедливость и порядок. Днссертация указывала на заслуги аббата, не вполне оцененные историею» (Станкевич А. Т. Н. Грановский. Биографический очерк.— В кн.: Т. Н. Грановский и его переписка. Т. I. С. 223). Сугерей (ум. 1151) — французский государственный деятель, с 1122 г. настоятель аббатства в С.-Дени, советник Людовика VI и Людовика VII.

[87] *Сисмонди* Жан Шарль Леонар де (1773—1842) — швейцарский экономист и историк.

[88] *Гогенштауфены* — династия германских королей и императоров «Священной Римской империи» в 1138—1254 гг. Среди них Фридрих I Барбаросса, Генрих VI, Фридрих II Штауфен.

[89] *Конрадин* — в 1252—1268 гг. герцог швабский, последний потомок Гогенштауфенов.

[90] *Энцио* (ок. 1220—1272) — побочный сын императора Фридриха II Гогенштауфена, короля Неаполя и Сицилии, король Сардинии.

[91] *Людовик IX* Святой (1214—1270) — французский король с 1226 г.

[92] *Филипп Красивый* — Филипп IV Красивый (1268—1314) — французский король с 1285 г.

[93] *Рубини* Джованни Баттиста (1795 или 1794 — 1854) — знаменитый итальянский певец (тенор).

[94] *Малибран* Мария Фелисита (1808—1836) — французская певица (меццо-сопрано). Сестра Полины Виардо.

[95] *Я выбрал борьбу Новгорода с Иваном III.— Иван III* Васильевич (1440—1505) — великий князь московский (с 1462 г.); в период его правления сложилось территориальное ядро Российского государства; было свергнуто монголо-татарское иго (1480) и присоединен Новгород (1478).

[96] *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880)—декабрист, участник войн с Наполеоном; поэт и публицист.

[97] *Назимов* Владимир Иванович (1802—1874) — с 1849 г. попечитель Московского учебного округа. Завел в гимназиях военные порядки, назначал директоров гимназий из военных. С 1855 г. Виленский военный губернатор, с 1861 г. член Государственного совета.

[98] *Шлоссер* Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк, автор труда «Всемирная история» в 19-ти т.

[99] *...разбор библейских памятников Эвальда в его «Истории еврейского народа»...*— Эвальд Георг Генрих Август (1803—1875) — немецкий гебраист и арабист, критик библейского текста. Профессор восточных языков в Геттингенском университете с 1827 г. В своих трудах утверждал, что Пятикнижие — не произведение Моисея, а переработка нескольких древних источников многими авторами, жившими в разное время. «История еврейского народа» — основной труд Эвальда,— вышла в Геттингене (т. 1—7, 1843—1859).

[100] *Штраус* Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий теолог и философ. Считал Иисуса Христа исторической личностью, отрицал достоверность Евангелий (труд «Жизнь Иисуса», т. 1—2, 1835—1836).

[101] *Бабст* Иван Кондратьевич (1823—1881) — экономист и историк.

[102] *Нибур* Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античности; основатель научно-критического метода в изучении истории. Вероятно, Грановский дал Чичерину труд Нибура «Римская история» (т. 1—3).

[103] *Неволин* Константин Алексеевич (1806—1855) — историк, автор «Энциклопедии законоведения», академик Петербургской АН (1853).

[104] *Эверс* Иоганн Филипп Густав (1781—1830) — немецкий историк и юрист. С 1803 г в России. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (с 1809 г.). Преподавал географию, статистику и русскую историю в Дерптском университете (с 1810 г.). С 1826 г. занимал там же кафедру государственного права. Один из зачинателей теории родового быта, оказавшей значительное влияние на русскую историографию.

[105] *Рейц* Александр Магнус Фромгольд (1799—1862) — историк русского права. В 1820—1840 гг. занимал кафедру русского права в Дерптском университете. Вместе с Эверсом положил начало теории господства родового быта среди русских славян.

[106] *...диссертацию Кавелина...*— «Основные начала судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях». М., 1844.

[107] *...первую диссертацию Соловьева.*— «Об отношениях Новгорода к великим князьям». М., 1845

[108] *«Русская правда»* — свод древнерусского феодального права. Существует три редакции в списках XIII—XVIII вв.

[109] *«Уложение»* — речь идет об «Уложении» 1649 г., сборнике законов царя Алексея Михайловича.

[110] *Щербатов Александр Алексеевич* (1829—1902) — московский городской голова в 1862—1869 гг.

[111] *Капустин* Михаил Николаевич (1828—1899) — юрист, профессор Московского университета в 1852—1870 гг.

[112] *Соболевский* Сергей Александрович был внебрачным сыном А. Н. Соймонова и Анны Николаевны Лобковой.

[113] *Смит Адам* (1723—1790) — шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии.

[114] *Сей* Жан Батист (1767—1832) — французский экономист.

[115] *Росси* Пеллегрино Луиджи Одоардо де (1787—1848) — итальянский экономист, криминалист, государственный деятель. Был профессором уголовного права в Болонье. С 1815 г. во Франции, потом в Женеве. Пэр Франции.

[116] *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский теоретик анархизма. Чичерин имеет в виду сочинение Прудона «Система экономических противоречий, или Философия нищеты»

[117] *...о родовых отношениях русских князей.*— «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». М., 1847.

[118] *Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1642) — князь, боярин, полководец. В 1613—1618 гг. руководил военными действиями против польских интервентов.

[119] *Баршев* Сергей Иванович (1808—1882) — профессор уголовного права и полицейских законов Московского университета в 1863—1870.

[120] *Лешков* Василий Николаевич (1810—1881) — юрист, профессор кафедры международного, затем полицейского права. Первый председатель Московского юридического общества.

[121] *Мильгаузен* (Мюльгаузен) Федор Богданович (1820—1878) — профессор финансового права Московского университета, брат жены Т. Н. Грановского.

[122] *Ровинский* Дмитрий Александрович (1824—1895) — юрист и государственный деятель, исследователь истории искусств, почетный член Академии наук и Академии художеств. С 1870 г. сенатор уголовного кассационного департамента. Губернский прокурор.

[123] *Тучков* Павел Алексеевич (1803—1864) — генерал-адъютант, член Государственного совета, московский генерал-губернатор.

[124] *Тургенев Николай Иванович* (1789—1871) — экономист, декабрист. С 1824 г. в эмиграции.

[125] *Пандекты* — сочинения древнеримских юристов по вопросам частного права.

[126] Самарин *Владимир* Федорович (1827—1872) — студент Московского университета, позднее поручик лейб-гвардии Гусарского полка.

[127] *Бентам* Иеремия (1748—1832) — английский публицист и философ.

[128] *Хрулев* Степан Александрович (1807—1870) — генерал-лейтенант, герой обороны Севастополя.

[129] Самарин *Петр* Федорович (1830—1901) — тульский помещик.

[130] *...во Франции произошла революция...*— Февральская революция 1848 г.

[131] *...прения Франкфуртского сейма и Берлинского депутатского собрания.*— Франкфуртское национальное собрание 1848—1849 гг., общегерманское национальное собрание в период Революции 1848—1849 гг. в Германии. Берлинское депутатское собрание — национальное собрание Пруссии, созванное 22 мая 1848 г. в Берлине. Цель собраний — выработать конституцию для Германии и Пруссии — не была достигнута.

[132] *Кавеньяк* (Каваньяк) Луи Эжен (1802—1857) — французский генерал, буржуазный республиканец, военный диктатор в июньские дни, глава правительства в июле—декабре 1848 г.

[133] *...переписку с графом Киселевым, напечатанную в жизнеописании последнего...*— Речь идет о книге А. П. Заблоцкого-Десятовского «Граф Павел Дмитриевич Киселев и его время». Спб., 1882.

[134] *Экзерциргауз* — здание, в котором проходило строевое обучение солдат.

[135] *Кола* — ныне город (райцентр) в Мурманской области.

[136] *Голицын Дмитрий Владимирович* (1771—1844) — московский генерал-губернатор, литератор.

[137] *...в карете цугом...*— Ц у г — запряжка, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за другой.

[138] *Зажора* — подснежная вода в яме на дороге.

[139] *Василий Григорьевич* — Вязовой.

[140] *Варнкениг* Леопольд Август (1794—1866) — немецкий юрист и историк.

[141] *Штейн* Лоренц фон (1815—1890) — немецкий юрист и экономист. Заинтересовавшись учениями французских социалистов, в начале 1840-х гг. отправился в Париж для изучения социалистического движения. Автор книги «Социализм и коммунизм современной Франции» (1842). Это первый опыт истории изучения социализма и научной его критики.

[142] *Энтомология* — раздел зоологии, наука о насекомых.

[143] *.. графиня Закревская* Лидия Арсеньевна — дочь А. А. Закревского.

[144] *Маркевич* Болеслав Михайлович (1822—1884) — писатель и крупный чиновник.

[145] *...графиня Нессельроде* (урожд. Гурьева) Мария Дмитриевна (1786—1849) — жена К. В. Нессельроде.

[146] *Ростопчина* (урожд. Сушкова) Евдокия Федоровна (1811—1858) — писательница.

[147] *Орлеанисты* — монархическая группировка во Франции, возведшая на престол Луи Филиппа в 1830 г. Группировка поддерживала также притязания на корону и других представителей орлеанского дома. В данном контексте орлеанисты — сторонники герцогов Орлеанских.

[148] *Дюшатель* Шарль Мария (1803—1867) — граф, французский государственный деятель, защитник теории Мальтуса. В 1836—1837 гг. министр финансов.

[149] Трубецкой *Николай Иванович* (1807—1874) — двоюродный дядя Л Н. Толстого.

[150] *Опекунский совет.*— В 1763 г. в Москве и в 1772 в Петербурге были основаны два опекунских совета для управления

воспитательными домами и учрежденными при них кредитными установлениями.

[151] *Голицын Сергей Михайлович* (1774—1859) — поэт-дилетант, с 1830 г. попечитель Московского университета.

[152] *...с графом Толстым...*— По-видимому, с Иваном Матвеевичем Толстым (1806—1867), министром почт и телеграфа.

[153] *Витгенштейн* Петр Христианович (1769—1843) — генерал-фельдмаршал, участник Наполеоновских войн.

[154] *Человеколюбивое общество* — филантропическое общество, основанное Александром 1 в 1802 г. «для вспомоществования истинно бедным в столице».

[155] *Сухово-Кобылин* Александр Васильевич (1817—1903) — писатель. В 1850 г. был заподозрен в убийстве своей любовницы Луизы Симон-Деманш. Находился семь лет под следствием, дважды был заключен в тюрьму. Советские исследователи биографии Сухово-Кобылина утверждают, что писатель был непричастен к убийству.

[156] *Соллогуб Лев Александрович* (1812—1852) — брат писателя В. А. Соллогуба.

[157] Васильчиков *Александр Васильевич.*— Ошибка памяти мемуариста: речь идет об Алексее Васильевиче Васильчикове (1776—1854), сенаторе.

[158] Васильчикова *Александра Ивановна* (урожд. Архарова; 1795—1855) — тетка В. А. Соллогуба (сестра его матери).

[159] *...жены...*— Свербеевой Екатерины Александровны (1809—1892).

[160] *Сушков* Николай Васильевич (1796—1871) — драматург, поэт и журналист.

[161] *Жена его..* — Сушкова (урожд. Тютчева) Дарья Ивановна (1806—1874).

[162] Тютчева *Екатерина Федоровна* (1835—1882) — младшая дочь Ф. И. Тютчева от первого брака. Выйдя из Смольного института, Е. Ф. Тютчева жила у Сушковых. Философский склад ее ума отмечал Л. Н. Толстой (см. его записи в дневнике 1857—1858 гг.).

[163] Чичерин *Андрей* Николаевич (1834—1902).

[164] *Икар* — в греческой мифологии юноша, который пытался, убежав из заточения, перелететь море на крыльях из перьев и воска, сделанных его отцом Дедалом. Икар поднялся слишком высоко, солнце расплавило воск, а Икар, упав в море, утонул.

[165] *...свой перевод «Валленштейна».*— Речь идет о переводе «Смерти Валленштейна» Шиллера, выполненном К. Павловой.

[166] *Орнатский* Сергей Николаевич (1806—1884) — юрист; в 1848 г. занял в Московском университете кафедру энциклопедии права.

[167] *Вернадский* Иван Васильевич (1821—1884) — экономист, профессор Киевского и Московского университетов в 1846—1856 гг.

[168] *Бастиа* Фредерик (1801—1850) — экономист.

[169] *.. о губных старостах...*— то есть о старостах, заведующих уголовными делами.

[170] *Целовальник* — продавец, сборщик казенного имущества. Так же назывались сидельцы в питейных домах и кабаках при казенной и откупной продаже вина.

[171] *Никитенко* Александр Васильевич (1804—1877) — профессор русской словесности Петербургского университета, литера-

турный критик, цензор, академик (с 1855 г.). В письме к Б. Н. Чичерину, к которому было приложено письмо к А. В. Никитенко, Т. Н. Грановский хвалил диссертацию своего ученика.

[172] *Локк* Джон (1632—1704) — английский философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины либерализма.

[173] *...его сочинение об основаниях этики.*— «Задачи этики» К. Д. Кавелина (Спб., 1885).

[174] *Сеченов* Иван Михайлович (1829—1905) — основатель русской физиологической школы. В 1866 г. вышел классический труд Сеченова «Рефлексы головного мозга». Кавелин в книге «Задачи психологии» (Спб., 1872) открыл полемику с Сеченовым (полемические статьи обоих авторов печатались в журнале «Вестник Европы» в 1872—1874 гг.).

[175] *Милютины:* Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — граф, государственный деятель, генерал-фельдмаршал; в 1861—1881 гг. военный министр и член Государственного совета. Умеренный либерал. Провел буржуазную военную реформу. Николай Алексеевич (1818—1872) — государственный деятель, фактический руководитель работ по подготовке крестьянской реформы 1861 г.; Владимир Алексеевич (1826—1855) — публицист, экономист, представитель социалистической мысли России 40-х гг. XIX в.

[176] *Барятинский* Александр Иванович (1815—1879) — князь, генерал-фельдмаршал.

[177] *Переход через Балканы...*— Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

[178] *Ланской* Сергей Степанович (1787—1862) — деятель крестьянской реформы. Член Государственного совета (с 1850 г.), министр внутренних дел (с 1855 г.).

[179] *...а приведение в исполнение выработанного им Положения вверено было пустейшему фразеру...* — Чичерин имеет в виду Петра Александровича Валуева (1815—1890). В 1861—1868 гг. Валуев был министром внутренних дел, руководил земской и цензурной реформами. В 1872—1879 гг. министр государственных имуществ. В 1879—1881 гг. председатель комитета министров.

[180] *Вспыхнуло польское восстание.*— Восстание 1863—1864 гг. против царизма.

[181] *Берг* Федор Федорович (1793—1874) — генерал-фельдмаршал. С 1863 г. наместник в Польше.

[182] *Шувалов* Петр Андреевич (1827—1889) — граф, реакционный государственный деятель, дипломат, генерал от кавалерии. В 1861—1864 гг. начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением. В 1866—1874 гг. шеф корпуса жандармов и начальник III Отделения. Доверенное лицо и ближайший советник Александра II. В 1874—1879 гг. посол в Лондоне.

[183] *Набоков* Дмитрий Николаевич (1827—1885) — сенатор с 1864 г.; с 1867 г. главный начальник собственной его императорского величества канцелярии по делам царства Польского. С 1876 г. член Государственного совета. С 1878 г. министр юстиции.

[184] *Арапетов Иван Павлович* (1811—1887) — однокашник Герцена по Московскому университету; впоследствии чиновник.

[185] *...за известную маловскую историю.*— Малов Михаил Яковлевич (1790—1849) — профессор права в Московском университете (1828—1831). На лекциях защищал крепостнические порядки. Был уволен из университета после обструкции, устроенной ему студентами.

186 *...которая к нему привлекала.*— Об этих же чертах Тургенева пишет П. М. Ковалевский в своем очерке «Некрасов».

187 *Доде* Альфонс (1840—1897) — французский писатель.

188 *Ханыков* Николай Владимирович (1822—1878) — ориенталист.

189 *...на Дон-Кихотов и Гамлетов.*— Речь идет о статье И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот».

190 *Виардо*-Гарсиа Мишель Полина (1821—1910) — французская певица, композитор. Близкий друг И. С. Тургенева.

191 *...в свите Софьи Фоминичны Палеолог...*— С о ф ь я П а л е о л о г была замужем за Иваном III Васильевичем. П а л е о л о г и — династия византийских императоров, последний из которых, Константин XI, был дядей Софьи Палеолог.

192 *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель.

193 *Ковалевский* Максим Максимович (1851—1916) — историк, юрист, социолог. Профессор Московского и Петербургского университетов, член Государственного совета, член 1-й Государственной думы, земский деятель.

194 *Муромцев* Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, публицист, земский деятель, профессор Московского университета (1877—1884).

195 *Бугаев* Николай Васильевич (1837—1903) — математик, профессор Московского университета. Отец Андрея Белого.

196 *Юрьев* Сергей Андреевич (1821—1888) — писатель и переводчик. С 1878 г. председатель Общества любителей российской словесности; в 1880—1885 гг. редактор журнала «Русская мысль».

197 *Плевако* Федор Никифорович (1842—1908/1909) — юрист, адвокат.

198 *Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1749—1791) — деятель Великой Французской революции. Был известен как блестящий оратор, обличающий абсолютизм. С 1790 г. тайный агент королевского двора.

199 *«Варенька Ульмина»* — повесть Любови Яковлевны Стечкиной, опубликованная в «Вестнике Европы» (1879, № 11—12).

200 *...пересылки денег Огаревым его жене...*— Кружок Герцена — Огарева обвинял Некрасова в том, что с его ведома А. Я. Панаева незаконно присвоила деньги М. Л. Огаревой, первой жены Н. П. Огарева.

201 *...в этом мизерном семинаристе...*— Б. Н. Чичерин относился к Н. Г. Чернышевскому крайне отрицательно, как, впрочем, и писатели, постоянно сотрудничавшие в «Современнике»,— И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой.

202 *Мусин-Пушкин* Михаил Николаевич (1795—1862) — попечитель Петербургского учебного округа в 1845—1856 гг. и председатель Петербургского цензурного комитета.

203 *Норов* Авраам Сергеевич (1795—1869) — писатель, библиофил, историк. В 1854—1859 гг. был министром народного просвещения.

204 *...встать, «как всеславянский царь».*— Стихотворение Ф. И. Тютчева «Не гул молвы прошел в народ» (1854).

205 *Им управлял военный генерал...*— Владимир Иванович Назимов, попечитель Московского учебного округа в 1849—1855 гг.

206 *Альфонский* Аркадий Алексеевич (1796—1869) — хирург, с 1823 г. профессор, в 1842—1848 и в 1850—1863 гг. ректор Московского университета.

[207] *«Восточный вопрос с русской точки зрения»* — см. об этой статье подробнее в очерке о Б. Н. Чичерине.

[208] *Монго-Столыпин* — Столыпин Алексей Аркадьевич (1816—1858) — родственник М. Ю. Лермонтова. В дружеском кругу получил прозвище Монго.

[209] *Батенькова он тридцать лет без всякого повода держал в одиночном заключении.*— Батеньков Гавриил Степанович (1793—1863) — подполковник корпуса инженеров путей сообщения. Декабрист. член Северного общества. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Был приговорен к каторжным работам на 20 лет. В июле 1826 г. отправлен в Свартгольмскую крепость, в августе того же года переведен в Петербург и заключен в Алексеевский равелин. В 1846 г. отправлен на жительство в Томск.

[210] *Мурчисон* Родерик Импи (1792—1871) — английский геолог, иностранный почетный член Петербургской АН (1845). В 1840—1841 гг. вел геологические исследования в России.

[211] *Самур* (Сэймур) *Гамильтон* (1796—1880) — английский посланник в Петербурге в 1851—1854 гг.

[212] *...стихами, в которых возвеличивал нового царя...*— Стихотворение Пушкина «Нет, я не льстец, когда царю...» («Друзьям», 1828).

[213] *Тургенев был посажен на гауптвахту за сочувственную статью по поводу смерти Гоголя.*— В 1852 г. Тургенев написал некролог о Гоголе для «Санкт-Петербургских ведомостей», который был запрещен цензурой. Тургенев опубликовал его в «Московских новостях», за это был посажен под арест, а затем выслан на жительство в свое имение под надзор полиции. Однако главной причиной недовольства Тургеневым были «Записки охотника».

[214] *Вронченко* Федор Павлович (1780—?)—министр финансов.

[215] *Меньшиков* — по-видимому, речь идет об Александре Сергеевиче Меньшикове (1787—1869). Светлейший князь, адмирал. С 1827 г. начальник Главного морского штаба. Во время Крымской войны был главнокомандующим в Крыму (1853—1855).

АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН

Из книги «Николаевская Россия»

Печатается в извлечениях по изд: Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930. Вступ. статья, редакция и прим. С. Гессена и Ан. Предтеченского. Пер. с фр. Я. Гессена и Л. Домгера. В прим. к наст. книге использованы комментарии С. Гессена и Ан. Предтеченского к указ. изд. С. Гессен и Ан. Предтеченский изменили авторское заглавие книги Кюстина: «Россия в 1839 году».

[1] *Пилястра* (фр.) — выступ в стене в виде части встроенного в нее четырехугольного столба, обработанного в форме колонны.

[2] *Перистиль* (гр.) — в античной архитектуре — колоннада, портик, галерея вокруг площади, двора, сада.

[3] *Кок Поль* Шарль де (1793—1871) — французский писатель, популярный в России в первой половине XIX в.

[4] *Автократия* (гр.) — самодержавие.

[5] *Здесь она хотела дождаться венчания дочери...* — великой княжны Марии Николаевны (1819—1876), вступившей в 1839 г. в брак с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским (1817—1852).

[6] *...Кавалергардский полк, один из самых красивых во всей армии.* — Императрица Александра Федоровна была с 1826 г. шефом полка. С 1831 г. он именовался поэтому «Кавалергардским имени ее императорского величества полком».

[7] *Новый царский дворец...* — В декабре 1837 г. возник пожар в Зимнем дворце. Удалось спасти лишь Эрмитаж и драгоценности. Через год с небольшим дворец был восстановлен в своем прежнем виде. Следствием поспешного восстановления дворца были человеческие жертвы.

[8] *Могу ли я спать у Кулона...* — Гостиница Кулона в Петербурге.

[9] *...колонны Адмиралтейства...* — Адмиралтейство было построено по проекту зодчего Андреяна Дмитриевича Захарова в 1806—1823 гг.

[10] *...благодеяние нового закона...* — Не ясно, какой закон имеет в виду Кюстин. В 1827 г. вышел закон, по которому помещики лишались права обезземеливать своих крестьян. Закон же об «обязанных крестьянах», по которому помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости, давая им земельный надел, вышел только в 1842 г.

[11] *...стать государственными крепостными.* — Кюстин имеет в виду крестьян, принадлежавших в XVIII—XIX вв. государству, то есть казне. В 1837 г. было создано министерство государственных имуществ во главе с П. Д. Киселевым, который предложил проект самоуправления казенных крестьян, несколько облегчивший их положение.

[12] *Шнитцлер* Иоганн Генрих (1802—1871) — историк и статистик, живший в 1820-х гг. в России.

[13] *Репнин*-Волконский Николай Григорьевич (1778—1845). По словам С. Гессена и Ан. Предтеченского, князь Репнин «не занимал исключительного положения, приписанного ему Кюстином. С 1816 по 1834 г. он был малороссийским губернатором, пользовался широкой популярностью и уважением. Около этого времени на него был сделан донос о присвоении каких-то сумм. Оскорбленный клеветой, Репнин подал в отставку и выехал за границу» (указ. изд., с. 292). Однако, ошибаясь в случае с Репниным, Кюстин прав в том, что влиятельных лиц, попавших в опалу, тотчас забывали, во всяком случае, упоминать о них было не принято. Так было с А. Д. Меншиковым, значительно позднее — с Е. Р. Дашковой и многими другими. Той же участи подвергался А. В. Суворов, попадая в опалу.

[14] *...что русские заставляют уважать эту «конституцию».* — Кюстин имеет в виду государственные перевороты в России, перед которыми трепетали все русские императоры.

[15] *Представьте себе дворец, выстроенный на природной террассе...* — Петергофский дворец построен в первоначальном своем виде зодчим Жаном Батистом Александром Леблоном (1679—1719) в 1716—1717 гг.

[16] *Армида* — героиня поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

[17] *...ее внука...* — то есть Александра I.

[18] *Но смертная казнь отменена.* — Официально смертная казнь

была отменена в России при Елизавете Петровне, но тем не менее применялась постоянно; для ее применения изыскивались разнообразные «стыдливые» уловки.

[19] *Император Николай составил новое уложение.*— В 1832 г. вышел 15-й том Свода Законов, куда вошли и законы уголовные.

[20] *Монферран* Август Августович (Огюст Рикар де Монферран; 1786—1858) — русский архитектор, француз по происхождению. С 1816 г. работал в России. В 1834 г. воздвиг в Петербурге Александровскую колонну. Торжественный подъем колонны произошел в августе 1832 г. и сопровождался большим стечением народа. Открыта колонна была через два года.

[21] *Гальванизм* — здесь: источник возбуждения честолюбия.

[22] *...на ряд классов, не имеющих никакого отношения к происхождению соответствующих индивидуумов.*— Кюстин имеет в виду Табель о рангах, законодательный акт в России XVIII—XX вв., определивший порядок прохождения службы чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал 14 рангов (первый — высший) по трем видам: военные, штатские и придворные.

[23] *Две турецких кампании...*— Русско-турецкие войны 1806—1812 и 1828—1829 гг. показали не только слабость правительственной политики, но и силу русского оружия.

[24] *...создают величественное целое.*— Сухарева башня была построена в Москве в 1692 г.

[25] *...творит чудеса в Бородине.*— На Бородинском поле в 1839 г. был заложен памятник П. И. Багратиону. В честь этого события состоялось пышное празднество.

[26] *...в точном воспроизведении Бородинской битвы...*— Николай 1 в этом театрализованном представлении командовал одним из «французских» корпусов.

[27] *...я не могу забыть несчастную княгиню Трубецкую.*— В главе XVII Кюстин не совсем точно рассказал историю княгини Екатерины Ивановны Трубецкой, последовавшей в Сибирь за своим мужем, декабристом С. П. Трубецким. Завершая свой рассказ, Кюстин писал: «Теперь для меня нет больше сомнений и колебаний, я составил себе суждение об императоре Николае. Это человек с характером и волей — иначе он не мог бы стать тюремщиком одной трети земного шара,— но ему совершенно чуждо великодушие» (указ. изд., с. 191). Комментаторы книги Кюстина отмечали: «...неверный в подробностях, рассказ Кюстина верно передает общие краски этой трагедии и различное отношение к декабристам, господствовавшее в высших кругах. Нечего и говорить о том, сколь верно зачерчено отношение к ним самого Николая...» (указ. изд., с. 304).

Н. В. БЕРГ

Записки

Печатаются в извлечениях по изд.: Русская старина, 1889, № 6. Редакционное заглавие «Посмертные записки» в настоящем издании изменено.

[1] Глинка *Авдотья Павловна* (1795—1863) — поэтесса; дочь поэта и переводчика, куратора Московского университета Павла Ивановича Голенищева-Кутузова (1767—1829).

[2] *...состоя адъютантом при графе Милорадовиче...*— В 1818 г. Глинка был назначен «находиться по особым поручениям» при петербургском военном губернаторе графе М. А. Милорадовиче (1771—1825).

[3] *...но никуда не определять.*— 6 июня 1826 г. Ф. Н. Глинка был освобожден из заключения в Петербургской крепости и переведен в гражданскую службу в Петрозаводск под надзор полиции. В 1830 г. он был переведен в Тверь, в 1832 г.— в Орел и только в 1835 г. поселился в Москве.

[4] *Миллер Федор Богданович* (1818—1881) — поэт, переводчик. С 1841 г. преподавал в 1-м Московском кадетском корпусе. Переводил Шиллера, Мицкевича, Гейне, Шекспира.

[5] *Рабус Карл Иванович* (1800—1857) — живописец, пейзажист.

[6] *Вельтман* Александр Фомич (1800—1870) — писатель.

[7] *Горчаков Владимир Петрович* (1800—1867) — товарищ Вельтмана по Московскому учебному заведению для колонновожатых. С мая 1822 г. участник топографической съемки Бессарабской области. С января 1826 г. в отставке. Горчакову принадлежат воспоминания о пребывании в Бессарабии и о встречах с Пушкиным.

[8] *Инзов* Иван Никитич (1768—1845) — генерал от инфантерии, в 1820—1823 гг. временно исполнял обязанности наместника Бессарабии.

[9] *Крупенникова* (урожд. Кубе) Елена Ивановна (1816—1868) — писательница.

[10] *Подолинский* Андрей Иванович (1806—1886) — поэт.

[11] *...при жизни его первой жены, родом молдаванки.*— Первая жена Вельтмана, Анна Павловна Вейдель (1812—1847), была троюродной сестрой писателя. На Крупенниковой Вельтман женился спустя два года после смерти Анны Павловны, в 1850 г.

[12] *Оттоманки* — мягкие диваны с подушками, заменяющими спинку, и двумя валиками.

[13] *Вскоре после появления «Банкрута»...*— Речь идет о комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» («Банкрут»), принесшей признание драматургу. Была написана в 1849 г., но на сцене появилась только в 1860 г.

[14] *Бартенев Юрий Никитич* (1792—1866) — чиновник почтового департамента.

[15] *...кутить и играть в карты когда угодно.*— В своих воспоминаниях Берг упрощает, а отчасти и искажает характер отношений Пушкина с Соболевским.

[16] *...Соболевский заказал... Тропинину портрет Пушкина...*— Портрет заказал Тропинину в начале 1827 г. сам Пушкин. Этот портрет он подарил Соболевскому, который всюду возил с собой небольшую копию с этого портрета. Уезжая в ноябре 1828 г. за границу, Соболевский отдал портрет на сохранение И. В. Киреевскому, жившему у своей матери А. П. Елагиной. Вернувшись в 1833 г., Соболевский обнаружил, что портрет подменен и у Елагиной осталась лишь плохая копия его. Позднее подлинник оказался у князя Михаила Андреевича Оболенского, купившего его по случаю. В настоящее время портрет находится во Все-

союзном музее Пушкина в Ленинграде. Подробнее об этом см.: Баранская Н. «По случаю отъезда Соболевского в чужие краи...» — Прометей, 1967. Кн. 2.

[17] *...с кабалистическим перстнем...* — то есть с перстнем, которому Пушкин придавал магическое значение.

[18] *Щербина Николай Федорович* (1821—1869) — поэт.

[19] *Хиос* — остров в Эгейском море.

[20] *Морея* — средневековое название острова Пелопоннес.

[12] *Акафист* — христианское хвалебное церковное песнопение.

[22] *...где он назван «гостинодворским Коцебу»...* — Эпиграмма Щербины «Четверостишие, сказанное близорукой завистью» (1853):

Со взглядом пьяным, взглядом узким,
Приобретенным в погребу,
Себя зовет Шекспиром русским
Гостинодворский Коцебу.

Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761—1819) — немецкий писатель. В 1781—1783 и в 1800—1802 гг. на русской службе. Был шпионом царского правительства и агентом Священного союза. Убит прогрессивно настроенным студентом К. Зандом.

[23] *...Жив и здравствует Сушков!* — Второе четверостишие напечатано под заглавием «Двойное горе (У гроба Гоголя)»:

Слышим вопли, стон и клики
Лучших родины сынов...

[24] *Щепкин* Михаил Семенович (1788—1863) — актер.

[25] *Вигель Филипп Филиппович* (1786—1856) — мемуарист, участник общества «Арзамас». См. о нем подробнее в кн.: Русские мемуары. Избранные страницы. 1800—1825. М., 1989.

[26] *...лучшая критика его — разбор пьесы гр. Соллогуба «Чиновник»...* — См.: Павлов Н. Ф. Разбор комедии гр. Соллогуба «Чиновник». М., 1857. Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — писатель, мемуарист.

[27] *...крестьянином графа Ростопчина...* — Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — государственный деятель; главнокомандующий в Москве в 1812 г. М. П. Погодин был сыном крепостного, отпущенного на волю в 1806 г.

[28] *...очень известной в России жены.* — Е. П. Ростопчиной.

[29] *Корф Модест Андреевич* (1800—1876) — лицейский товарищ Пушкина, крупный чиновник.

А. В. ЩЕПКИНА

Воспоминания

Первая глава из книги А. В. Щепкиной «Воспоминания» печатается с небольшими сокращениями по изд.: Щепкина А. В. Воспоминания. Сергиев-Посад. 1915.

[1] *Павлов* Михаил Григорьевич (1793—1840) — ординарный профессор физики, минералогии и сельского хозяйства Московского университета. «Павлов,— вспоминал Герцен,— стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента

вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» <...> Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ» (т. 5, с. 13).

[2] *Миткаль* — бумажная ткань для обивки; ненабивной ситец.

[3] *Гуммель* Иоганн Непомук (1778—1837) — австрийский композитор, пианист, дирижер, педагог.

[4] *..гросфатер и экосез...* — Гросфатер — «немецкая пляска, где за журавлиной походкой следует резвое, бешеное прыганье» (В. И. Даль); экосез — старинный шотландский танец.

П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

Детство и юность

Печатается в извлечениях по изд.: Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Т. I. Пг., 1917.

[1] *...в старой усадьбе моего деда...* — Николая Петровича Семенова.

[2] *Инвеститура* — здесь: права на владение поместьем.

[3] *Старший брат мой Николинька...* — Семенов Николай Петрович (1822 или 1823 — после 1878) — сенатор, государственный деятель.

[4] *Бунина Анна Петровна* (1774—1828) — поэтесса, двоюродная бабка П. П. Семенова-Тян-Шанского.

[5] *...сестра Наташа...* — Семенова (в замужестве Грот) Наталия Петровна.

[6] *Золотуха* — заболевание, близкое к туберкулезу кожи и лимфатических узлов у детей. Термин вышел нз употребления.

[7] *...с широкими фалборами..* — оборками.

[8] *Рюрик* — согласно летописи, предводитель варяжского военного отряда, призванный ильменскими славянами княжить в Новгороде. Основатель династии Рюриковичей. Последний Рюрикович — царь Федор Иоаннович.

[9] *Форейтор* — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом.

[10] *Вакации* — каникулы.

[11] *Меншиков* Александр Данилович (1673—1729) — сподвижник Петра I, светлейший князь (1707), генералиссимус (1727). Сын придворного конюха. При Екатерине I фактический правитель государства. Сослан в Березов Петром II.

[12] *Конфидент* — доверенное лицо.

[13] *Скобелев* Иван Никитич (1778—1849) — был адъютантом Н. Н. Раевского; под Бородиным — адъютант Кутузова. Потерял руку во время заграничных походов. В конце жизни был комендантом Петербурга. Дед генерала М. Д. Скобелева.

[14] *Бланк Карл Иванович* (1728—1793) — русский архитектор, представитель барокко и раннего классицизма. Воспитательный дом был построен в 1764—1770 гг.

[15] *Толстой Дмитрий Андреевич* (1823—1889) — государственный деятель. Обер-прокурор Синода (1865—1880), министр на-

родного просвещения (1866—1880), с 1882 г. министр внутренних дел и президент Петербургской АН. Деятельность Толстого носила реакционный характер.

[16] *Данилевский Николай Яковлевич* (1822—1885) — публицист и социолог. Автор книги «Россия и Европа» (1869), в которой развил идеи панславизма. Разделявший эти идеи Ф. И. Тютчев писал, что в Данилевском ему удалось «встретить и приветствовать *ревнителя* в уровень с моими чаяниями и притязаниями. Куда как вполне убежденный человек стал в наше время редким и освежительным явлением» (Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 341).

[17] *Кукольник* Нестор Васильевич (1809—1868) — писатель и драматург.

[18] *Брюллов Карл* Павлович (1799—1852) — живописец.

[19] *Асенкова* Варвара Николаевна (1817—1841) — актриса Александринского театра.

[20] *Дюр* Николай Осипович (1807—1839) — комический актер.

[21] *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — трагический актер.

[22] *Брянский* (наст. фамилия Григорьев) Яков Григорьевич (1790—1853) — актер.

[23] *Сосницкий* Иван Иванович (1794—1871/1872) — комедийный актер.

[24] *Тальони* Мария (1804—1884) — итальянская артистка балета. Выступала в Петербурге в 1837—1842 гг.

[25] *Линней* Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира.

[26] *Драгоман* — официальный переводчик при дипломатических правительствах и консульствах на Востоке.

[27] *...лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме...* — Измененная цитата из Плутарха, который писал: «Говорят, что, когда Цезарь перешел через Альпы и проходил мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели в шутку спросили со смехом: «Неужели и здесь есть соревнование в почестях, спор из-за первенства, раздоры среди знати?» — «Что касается меня,— ответил им Цезарь с полной серьезностью,— то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме» (Плутарх. Избранные биографии. М.; Л., 1941. С. 325).

[28] *Комаров* Александр Александрович (? — 1874) — преподаватель русской словесности во 2-м кадетском корпусе, поэт.

[29] *Прокопович* Николай Яковлевич (1810—1857) — поэт, преподаватель русской словесности в Петербургских кадетских корпусах. Друг Гоголя.

[30] Карцов Александр Петрович (1817—1875) — генерал от инфантерии. С 1860 г. принимал участие в военных операциях при покорении Западного Кавказа. Исправлял должность начальника генерального штаба кавказской армии; был помощником главнокомандующего этой армией

[31] *Гиппология* — наука о лошади.

[32] *Миддендорф* Александр Федорович (1815—1894) — естествоиспытатель и путешественник, академик. Вел селекционную работу по коневодству и скотоводству.

[33] *Ростовцев Яков Иванович* (1803/1804—1860) — государственный деятель, генерал от инфантерии. С 1835 г. был во главе

военного образования в России. Один из руководителей крестьянской реформы 1861 г.; председатель редакционных комиссий.

[34] *Ленц* Эмилий Христианович (1804—1865) — русский физик и электротехник, академик (с 1830), ректор Петербургского университета (с 1863).

[35] *Куторга Степан Семенович* (1805—1861) — ученый зоолог, профессор естествознания Санкт-Петербургского университета.

[36] *Брандт* Федор Федорович (Иоганн Фридрих; 1802—1879) — русский зоолог, академик Петербургской АН (1833). Основатель и первый директор (с 1831) Зоологического музея АН.

[37] *Шиховский* Иван Осипович (1805—1854) — ученый ботаник.

[38] *Ценковский* Лев Семенович (1822—1887) — русский ботаник и бактериолог, член-корреспондент Петербургской АН. Поляк по национальности. Разработал метод получения вакцины против сибирской язвы.

[39] *Гофман* Эрнест Карлович (1801—1871) — участник кругосветного плавания О. Е. Коцебу; исследовал Северный Урал, Сибирь и Южную Россию.

[40] *Савич* Алексей Николаевич (1810—1883) — участник кружка Герцена, астроном.

[41] *Чебышев Пафнутий Львович* (1821—1894) — математик, создатель Петербургской научной школы, академик Петербургской АН (с 1856).

[42] *Судебник Иоанна III* (1497) — сборник законов русского государства. Кодифицировал нормы обычного права, уставные грамоты, княжеские указы.

[43] *...до Уложения царя Алексея Михайловича...* — Соборное Уложение 1649 г. — свод законов русского государства, принятый Земским собором в 1648—1649 гг. во время царствования Алексея Михайловича. Основной закон в России до первой половины XIX в.

[44] *...и камералистам...* — Камералистика — направление в развитии германской экономической мысли XVII—XVIII вв. Представляла собой совокупность административных и хозяйственных знаний по введению камерального (дворцового, в широком смысле — государственного хозяйства). С середины XVIII в. в германских университетах читался курс камералистики. Во 2-й половине XIX в. камералистика преподавалась в русских университетах.

[45] *Бекетов Андрей Николаевич* (1825—1902) — ученый, один из основоположников эволюционной географии и морфологии растений, основатель отечественной научной школы ботаников-географов. Дед А. А. Блока.

[46] *Плетнев Петр Александрович* (1792—1865/1866) — поэт, критик, академик Петербургской АН (с 1841). Друг Пушкина.

[47] *Фурье* Шарль (1772—1837) — французский утопический социалист. Предложил план будущего гармонического общества, в котором смогут раскрыться все человеческие способности. Первичная ячейка нового общества — «фаланга», сочетающая промышленное и сельскохозяйственное производство.

[48] *Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский мыслитель, социалист-утопист. Перспективы исторического развития видел в развитии научных знаний, морали и религии.

[49] *Оуэн* Роберт (1771—1858) — английский социалист-утопист. Пытался практически обосновать идею улучшения жизни рабочих в рамках капиталистического общества (на прядильной фабрике в Нью-Ленарке в Шотландии). Опыты Оуэна потерпели неудачу.

[50] *...в записках ее...* — См.: Грот Н. П. Из семейной хроники. Спб., 1900.

[51] *Мельников* Павел Петрович (1804—1880) — ученый в области железнодорожного транспорта, почетный член Петербургской АН (1858). Один из авторов проекта строительства железной дороги Петербург — Москва.

[52] *...«по манию царя»...* — «И рабство, падшее по манию царя...» — строка из стихотворения Пушкина «Деревня» (1819).

[53] *Струве* Василий Яковлевич (1793—1864) — астроном и геодезист. Академик Петербургской АН (с 1832). Основатель и первый директор Пулковской обсерватории.

[54] *Гельмерсен* Григорий Петрович (1803—1885) — геолог, академик Петербургской АН (с 1850); один из организаторов и первый директор (с 1882) Геологического комитета.

[55] *Кеппен* Петр Иванович (1793—1864) — ученый, статистик, этнограф, библиограф. Академик Петербургской АН (с 1843).

[56] *Бэр* Карл Макс (Карл Эрнст; 1792—1876) — естествоиспытатель, основатель эмбриологии, один из учредителей Русского географического общества, академик Петербургской АН.

[57] *Литке* Федор Петрович (1797—1882) — мореплаватель и географ, президент Петербургской АН (1864—1882), адмирал.

[58] *Муравьев* Михаил Николаевич (1796—1866) — граф, генерал от инфантерии; министр государственных имуществ (1857—1861), в 1863—1865 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края. За жестокость при подавлении Польского восстания 1863 г. прозван «вешателем».

[59] *Ханыков Яков* Владимирович (1818—1862) — в начале 1820-х гг. был секретарем Русского географического общества; автор картографических трудов. Позднее оренбургский губернатор.

[60] *Заблоцкий-Десятовский Михаил* Парфенович (? — 1858) — статистик и метролог. По поручению Русского географического общества редактировал «Сборник статистических сведений о России» (Спб., 1851).

[61] *Григорьев* Василий Васильевич (1816—1881) — ориенталист. Много работал в географических и археологических обществах.

[62] *Срезневский Измаил Иванович* (1812—1880) — филолог-славист, этнограф. Академик Петербургской АН (с 1851).

[63] *Порошин* Виктор Степанович (1811—1868) — экономист, профессор статистики и политической экономии Петербургского университета.

[64] *Майков Валериан* Николаевич (1823—1847) — литературный критик и социолог.

[65] *Мей* Лев Александрович (1822—1862) — поэт и драматург.

[66] *Плещеев* Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт, участник кружка М. В. Петрашевского.

[67] *Майков Аполлон* Николаевич (1821—1897) — поэт.

[68] *Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич* (1821—1866) — революционер, утопический социалист. Руководитель об-

щества петрашевцев. В его программу входила демократизация политического строя России и освобождение крестьян с землей. В 1849 г. приговорен к пожизненной каторге.

[69] *Спешнев* Николай Александрович (1821—1882) — петрашевец. Участвовал в создании тайной типографии; один из наиболее радикально настроенных членов кружка. В конце декабря 1849 г. отправлен в Александровский завод Нерчинского округа. С августа 1856 г. на поселении, с 1859 г. правитель путевой канцелярии Н. Н. Муравьева. В 1860 г. возвратился в Петербург.

[70] *...двух Дебу...* — Дебу Константин Матвеевич (1810—1868) — инженер-путеец. К моменту ареста служил в Азиатском департаменте министерства иностранных дел. С 1848 г. посещал кружок Петрашевского. Был также членом кружка Н. С. Кашкина. Его брат Ипполит Матвеевич (1824—1890) — юрист, служащий Азиатского департамента министерства иностранных дел. С Петрашевским познакомился в студенческие годы. Был участником кружка Петрашевского, а также Кашкина.

[71] *Дуров* Сергей Федорович (1816—1869) — литератор. Участник кружка Петрашевского. В марте 1849 г. совместно с А. И. Пальмом организовал у себя кружок, носивший вначале литературно-музыкальный характер. Однако весьма скоро кружок стал политическим. Приговорен к четырем годам каторжных работ. Отбывал каторгу вместе с Ф. М. Достоевским.

[72] *Пальм* Александр Иванович (1822—1885) — писатель; псевд. П. Альминский. Входил в кружок С. Ф. Дурова.

[73] *Кашкин* Николай Сергеевич (1829—1914) — организатор кружка «чистых фурьеристов». Окончил Александровский лицей, служил в Департаменте общих дел министерства иностранных дел, затем в Азиатском департаменте. Собрания его кружка носили в основном теоретический характер, на них занимались изучением системы Фурье. В кружке бывали братья Дебу, Спешнев, Д. Д. Ахшарумов, братья Европеусы и др.

[74] *Жемчужников* Алексей Михайлович (1821—1908) — поэт, один из создателей Козьмы Пруткова.

[75] *Конт Огюст* (1798—1857) — французский философ.

[76] *Шенье Андре* Мари (1762—1794) — французский поэт и публицист.

[77] *...что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению.* — В «Записках из Мертвого дома» Достоевский неоднократно упоминает С. Ф. Дурова, называя его «товарищем из дворян». На каторге Достоевский и Дуров отдалились друг от друга, но позднее, в письме к Ч. Валиханову (14 декабря 1856 г.) Достоевский просил: «Поклонитесь от меня Дурову и пожелайте ему от меня всего лучшего. Уверьте его, что я люблю его и искренно предан ему» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. С. 250).

[78] *...Риттеровой «Азии»... — Риттер* Карл (1779—1859) — немецкий географ, иностранный почетный член Петербургской АН (1835). Автор 19-томного исследования «Землеведение», посвященного Азии и Африке.

[79] *Здекауер* Николай Федорович (1815—1898) — врач; один из основателей общества охраны здоровья в России.

[80] *Мускус* — вещество со специфическим запахом, применяемое обычно в парфюмерии.

Д. Д. АХШАРУМОВ

Записки петрашевца

Печатается по изд.: Ахшарумов Д. Записки петрашевца. М., 1930 (главы 1, 2, 3, 16).

[1] *...когда начинали зеленеть деревья.*— Ахшарумов был арестован 23 апреля 1849 г.

[2] *...взято много других...*— Было арестовано 23 человека.

[3] *Орлов*— Алексей Федорович.

[4] *Белецкий* Петр Иванович (1819 — ?) — преподаватель истории 2-го Кадетского корпуса. Взят по доносу П. Д. Антонелли, хотя «пятниц» Петрашевского не посещал. В июне 1849 г. освобожден и отдан под тайный надзор полиции. Преподавать Белецкому было запрещено. Вскоре после выхода из тюрьмы Белецкий встретил Антонелли и, ударив его, назвал доносчиком. За это был выслан 23 июля в Вологду. В 1853 г. был прощен; в 1859 г. получил разрешение преподавать в гражданских учебных заведениях.

[5] *«А...— агент наряженного дела».*— Антонелли Петр Дмитриевич — тайный агент III Отделения, приставленный к Петрашевскому, а затем проникший в его кружок.

[6] *...досаду на Петрашевского...*— Ахшарумов имеет в виду неосторожность Петрашевского и его неразборчивость в выборе знакомых.

[7] *Гершель* Уильям (Фридрих Вильгельм; 1738—1822) — английский астроном, основоположник звездной астрономии, иностранный почетный член Петербургской АН (1789).

[8] *Консидеран* Виктор (1808—1893) — французский социалист-утопист, последователь Ш. Фурье.

[9] *Ястржембский* Иван-Фердинанд Львович (1814—1880-е гг.). Поляк по национальности. Преподавал с 1843 г. политэкономию в Технологическом институте. Посещал «пятницы» Петрашевского с начала осени 1848 г. Убежденный фурьерист. Приговорен к шести годам работы на заводах. В 1857 г. ему было возвращено дворянство.

[10] *...письмо Белинского к Гоголю...*— Достоевский прочел письмо 15 апреля 1849 г. в присутствии 20-ти человек.

[11] *...но были высказываемы осуждения существующего порядка...*— По-видимому, Ахшарумов не знал о политических проектах членов общества Петрашевского.

[12] *...оно доходило до ста...*— Взысканиям по этому делу подверглось 63 человека. 50 человек были допрошены и оправданы.

[13] *...словарь употребительных в русской речи иностранных слов... государственного управления.*— «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» не был напечатан Петрашевским. Его издал Н. Кириллов, фамилия которого стояла на титульном листе словаря. Это дало повод полагать, что Н. Кириллов — псевдоним Петрашевского. После выхода 2-го выпуска словарь был конфискован (1846), а в феврале 1853 г. все конфискованные экземпляры сожжены.

[14] *...были и другие...*— Кроме кружков, названных Ахшарумовым, существовали еще кружки Дурова и Плещеева.

[15] *Европеус* Александр Иванович (1827—1885) — знакомый Петрашевского. Фурьерист. На «пятницах» Петрашевского не бы-

вал; посещал собрания кашкинского кружка. Был сослан рядовым на Кавказ.

[16] *Ханыков* Александр Владимирович (1825—1853). Бывал у Петрашевского с 1846 г. Был также членом кашкинского кружка. Определен рядовым в Оренбургский линейный батальон.

[17] *Ващенко* Эраст Герасимович (1825 — ?). Посещал кашкинский кружок. В сентябре 1849 г. освобожден и отдан под тайный надзор полиции.

[18] *...меньшой брат Европеуса...* — Европеус Павел Иванович (1829 — ?) — привлекался к дознанию в связи с его присутствием на обеде в честь Фурье.

[19] *Есаков* Евгений Семенович (1824 — ?) — посещал кружки Петрашевского и Кашкина. Освобожден в конце сентября 1849 г. за недостатком улик.

[20] *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825—1888) — государственный деятель. В 1880—1881 гг. министр внутренних дел.

[21] *Хаджи-Мурат* (кон. 90-х гг. XVIII в.— 1852) — участник освободительной борьбы кавказских горцев, один из правителей Аварского ханства (1834—1836); наиб Шамиля. В 1851 г. перешел на сторону русских. Убит при попытке бежать в горы.

[22] *Плащаница* — изображение на полотне положения во гроб Иисуса Христа.

[23] *Львов* Федор Николаевич (1823—1885) — штабс-капитан. Член кружка Дурова. Разрабатывал предложенный П. Н. Филипповым план создания тайной литографии для печатания антиправительственных статей. Приговорен к 12-ти годам каторжных работ.

[24] *Филиппов* Павел Николаевич (1825—1855). Посещал кружок Петрашевского с осени 1848 г. Был членом кружка Дурова. Сослан на 4 года в военно-арестантские роты. Погиб от ранения во время штурма Карса.

[25] *Момбелли* Николай Александрович (1823—1902). Посещал Петрашевского с осени 1848 г. Приговорен к 15-ти годам каторжных работ.

[26] *Григорьев* Николай Петрович (1822—1886) — офицер гвардейского конно-гренадерского полка. Посещал «пятницы» Петрашевского с конца 1848 г. Бывал и в кружке Дурова. Приговорен к 15-ти годам каторжных работ.

[27] *Толль* Феликс Густавович (1823—1867) — преподаватель Главного инженерного училища. По происхождению немец. Посещал Петрашевского с 1846 г. Приговорен к двум годам каторжных работ.

[28] *Тимковский* Константин Иванович (1814—1881) — чиновник министерства внутренних дел. В течение месяца в 1848 г. посещал «пятницы» Петрашевского. Приговорен к 6-ти годам арестантских рот.

[29] *Головинский* Василий Андреевич (1829—1870) — правовед. Был у Петрашевского два раза; выступал по вопросу об освобождении крестьян. Бывал в кружках Дурова и Плещеева. Определен рядовым в Оренбургский линейный батальон.

[30] *Всех нас было 23 человека...* — На казнь вывели 21 человека.

[31] *...23 декабря.* — 22 декабря 1849 г.

[32] *...Спешнев — на 20 лет...* — См. прим. 69 к воспоминаниям П. П. Семенова-Тян-Шанского.

[33] *...в городе Минусинске Енисейской губернии...* — Петрашевский умер 7 декабря 1866 г. в селе Бельском Енисейской губернии.

П. М. КОВАЛЕВСКИЙ

Встречи на жизненном пути

Печатается по изд.: Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания. Спб., 1912.

[1] *Ковалевский Егор Петрович* (1809 или 1811—1868) — путешественник и писатель, почетный член Петербургской АН (с 1857). В 1847—1848 гг. исследовал Северо-Восточную Африку. В 1855 г. участвовал в обороне Севастополя. В 1857—1864 гг. был помощником председателя Русского географического общества, затем почетным его членом.

[2] *...«Сибирь. Думы. Стихотворения Е. К.»* — Книга опубликована в 1832 г.

[3] *«Трагедия в 5 действиях, в стихах, Е. К.»* — Эта трагедия в стихах вышла в 18 2 г.

[4] *Озеров* Владислав Александрович (1769—1816) — драматург.

[5] *Охабень* — «верхняя долгая одежда, с прорехами под рукавами и с четвероугольным откидным воротом» (В. И. Даль).

[6] *Аргонавты* — греческие герои, совершившие на корабле «Арго» плавание к берегам Колхиды (древнее название Западной Грузии). Здесь: отважный мореплаватель.

[7] *...а нашел войну...*— речь идет о военных действиях, вызванных посягательством Австрии на независимость Черногории.

[8] *Горчаков* Александр Михайлович (1798—1883) — министр иностранных дел в 1856—1882 гг., с 1867 г. канцлер.

[9] *Татищев* Дмитрий Павлович (1767—1845) — государственный деятель, дипломат. Был посланником в Неаполе, Мадриде, Гааге, послом в Вене (1826—1841). Член Государственного совета.

[10] *...при муравьевском штурме Карса...*— Штурмом Карса в 1855 г. руководил Н. Н. Муравьев, бывший в ту пору главнокомандующим Кавказским корпусом.

[11] *«Четыре месяца в Черногории»* — Этот очерк был издан в 1841 г.

[12] *Меттерних* (Меттерних-Виннебург) Клеменс (1773—1859)— министр иностранных дел, фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг. В 1821—1848 гг. канцлер.

[13] *Перовский* Василий Алексеевич (1795—1857) — генерал от кавалерии. Руководил неудачным Хивинским походом 1839—1840 гг.

[14] *...присвояет это название целому ряду рассказов о совершенных им странствованиях.*— Книга Е. П. Ковалевского «Странствователь по суше и морям» (ч. 1—3, 1843—1845).

[15] *Сю Эжен* (1804—1857) — французский писатель.

[16] *...барон Брамбеус, не признававший Гоголя...*— Барон Брамбеус — псевдоним Осипа (Юлиана) Ивановича Сенковского (1800—1858), писателя, журналиста, востоковеда. Сенковский отрицательно относился к творчеству Гоголя и к реалистическому направлению в русской литературе.

[17] *«Русский архив»* — ежемесячный исторический и историко-литературный журнал, издавался в 1863—1917 гг. в Москве. Публиковал преимущественно материалы по русской истории и литературе XVIII—XIX вв.

[18] *Ракалия* — «(от рака и каналья) негодяй, бестия, наглый подлец» (В. И. Даль).

[19] *Крестовский Всеволод* Владимирович (1840—1895) — писатель. Автор известного романа «Петербургские трущобы» (1864—1867).

[20] *Невахович* Александр Львович (ум. в 50-х гг. XIX в.) — драматург, начальник репертуарной части императорских театров.

[21] *Порфира* — длинная, обычно пурпурного цвета мантия, надеваемая монархами в торжественных случаях.

[22] *...в место покрепче его киргизского укрепления...* — то есть в Петропавловскую крепость.

[23] *Орлов* Алексей Федорович (1786—1861) — с 1844 г. шеф жандармов.

[24] *Перовский* Лев Алексеевич (1792—1856) — государственный деятель, участник Отечественной войны 1812 г.; с 1841 г. министр внутренних дел; с 1852 г. министр уделов.

[25] *...(он описал и Африку и Китай).*— Книги Е. П. Ковалевского: «Путешествие во внутреннюю Африку» (1849) и «Путешествие в Китай» (1853).

[26] *Кайданов* Иван Кузьмич (1782—1843) — с 1811 г. профессор Царскосельского лицея, автор учебников истории.

[27] *Греч* Николай Иванович (1787—1867) — писатель, мемуарист, филолог.

[28] *...как воскресить Лазаря...*— Евангельская легенда о воскрешении Лазаря, который четыре дня лежал мертвый в пещере (Евангелие от Иоанна, гл. 11).

[29] *Мейендорф* Петр Казимирович (1796—1863) — посланник в Берлине в 1839—1850 гг. и в Вене (1850—1856).

[30] *Горчаков* Михаил Дмитриевич (1793—1861) — генерал от артиллерии; в 1854 г. главнокомандующий Дунайской армией, с февраля 1855 г.— Крымской армией.

[31] *Игнатьев* Николай Павлович (1832—1908) — посол в Турции в 1864—1877 гг.

[32] *Дружинин* Александр Васильевич (1824—1864) — литературный критик, журналист, писатель. По инициативе Дружинина в 1859 г. был основан Литературный фонд (Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым). Первым председателем Литературного фонда был Е. П. Ковалевский. П. В. Анненков писал: «Трудно представить ныне ту степень благорасположения публики к литературному фонду. Люди, дотоле не признававшие даже и существования литераторов в России, собирались теперь на помощь сословию, от влияния которого старались прежде охранить нашу публику. Дело в том, что в литературном фонде, под руководством и представительством Егора Петровича Ковалевского, видели тогда признак времени и торжество взглядов, с которыми волей-неволей приходилось считаться» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 454).

[33] *...у брата, министра народного просвещения...*— Ковалевский Евграф Петрович (1790—1886) — министр народного просвещения в 1858—1861 гг.

[34] *Горбунов* Иван Федорович (1831—1895) — писатель-юморист и комический актер.

[35] *...книга «Гр. Блудов и его время».*— Вышла в свет в 1866 г.

[36] *Верстовский* Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор, театральный деятель.

[37] *«Жизнь за царя»* — старое заглавие оперы Глинки «Иван Сусанин» (1836).

[38] *Индижестия* (фр.) — несварение желудка.

[39] *Глюк* Кристоф Виллибальд (1714—1787) — немецкий композитор, дирижер, органист, скрипач.

[40] *...фантазия на «Камаринскую».*— «Камаринская» (фантазия на темы двух русских песен — свадебной и плясовой; 1848).

[41] *Чернышев* Александр Иванович (1785/1786—1857) — светлейший князь (1849), генерал от кавалерии (1826). Участник Отечественной войны 1812 г. В 1832—1852 гг. военный министр, в 1848—1856 гг. председатель Государственного совета. Член Следственной комиссии по делу декабристов.

[42] *Лонгинов* Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф и историк литературы. С 1871 г. начальник Главного управления по делам печати.

[43] *Струговщиков* Александр Николаевич (1808—1878) — переводчик немецкой поэзии и прозы.

[44] *...затеянной им же «Иллюстрации».*— Издавалась в 1845—1847 гг.

[45] *Булгарин Фаддей Венедиктович* (1789—1859) — писатель, журналист.

[46] *«Северная пчела»* — русская политическая и литературная (с 1838 г.) газета. Издавалась в Петербурге в 1825—1864 гг. Ф. В. Булгариным, в 1831—1859 гг. им же совместно с Н. И. Гречем.

[47] *Серов* Александр Николаевич (1820—1871) — композитор, музыковед, музыкальный деятель.

[48] *Иванов Александр Андреевич* (1806—1858) — живописец.

[49] *...в первый раз узнала из знаменитого письма Гоголя...*— Речь идет о письме Гоголя к М. Ю. Виельгорскому, напечатанному в «Выбранных местах из переписки с друзьями» под заглавием «Исторический живописец Иванов» (1846). Гоголь, в частности, писал: «Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явления еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо да Винчи».

[50] *...головою Магдалины перед Христом.*— Речь идет о картине Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1834).

[51] *Овербек* Фридрих (1789—1869) — немецкий живописец, автор религиозных и аллегорических картин.

[52] *Траттория* — ресторан, трактир в Италии и некоторых других странах Западной Европы.

[53] *Корнелиус* Петер фон (1783—1867) — немецкий живописец.

[54] *Тициан* (Тициано Вечеллио; ок. 1476/1477 или 1489/1490—1576) — итальянский живописец, глава венецианской школы Высокого Возрождения.

[55] *...писал двадцать лет свою картину.*— Иванов писал картину «Явление Христа народу» в 1837—1857 гг. Первоначальный эскиз картины был создан им в 1833 г.

[56] *Капуцин* — член католического монашеского ордена, основанного в 1525 г. в Италии.

[57] *Чимабуэ* (наст. имя: Ченни ди Пепо; ок. 1240— ок. 1302) — итальянский живописец.

[58] *Джотто* ди Бондоне (1266 или 1267—1337) — итальянский живописец.

[59] *Федотов* Павел Андреевич (1815—1852) — живописец и рисовальщик.

А. В. ЭВАЛЬД

Воспоминания

Отрывки из воспоминаний А. В. Эвальда печатаются по изд.: Исторический вестник, 1895, № 8.

[1] *Остроградский* Михаил Васильевич (1801—1861/1862) — математик, академик Петербургской АН (с 1830). Автор исследований по интегральному исчислению и др.

[2] *Эйлер* Леонард (1707—1783) — математик, механик, физик и астроном. Швейцарец по происхождению. С 1727 г. жил в России. Академик Петербургской АН (1766). В 1741—1766 гг. работал в Берлине.

[3] *...из замка...* — Инженерного замка, где находилось Петербургское военно-инженерное училище.

[4] *Ревель* — ныне г. Таллинн.

[5] *...по случаю войны...* — Крымской войны.

[6] *Цитадель* — здесь: крепость, господствующая над городом.

[7] *Лафет* — боевой станок, на котором укрепляется ствол артиллерийского орудия для стрельбы.

[8] *Единорог* — старинное русское гладкоствольное орудие. Использовалось для сопровождения пехоты в бою.

[9] *Блокгауз* — оборонительное сооружение со стенами, покрытием и жилым помещением, предназначенное для ведения кругового артиллерийского огня.

[10] *...Дурасов послал Жвирждовскому требование...* — Эвальд был подчиненным Жвирждовского по инженерным работам. Поручик Жвирждовский, как пишет мемуарист, был карьеристом, человеком недобросовестным и нечестным. По словам Эвальда, он «употреблял старое и полугнилое дерево там, где требовалось новое и крепкое; показывал в отчетах сто человек рабочих, где было только десять...» (Исторический вестник, 1895. № 8. С. 587).

[11] *Дек* — палуба на морских судах.

[12] *Лайба* — морское каботажное парусное судно (в Финском заливе).

В. И. БАРЯТИНСКИЙ

Из воспоминаний

Печатается с сокращениями по изд.: Русский архив, 1904, № 11, 1905, № 1.

[1] *Дормез* — старинная большая дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

[2] *Воронцов* Михаил Семенович (1782—1856) — государственный деятель, генерал-фельдмаршал, светлейший князь. В 1823—1844 гг. новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. в 1844—1854 гг. наместник на Кавказе.

[3] *...брат мой Александр...* — А. И. Барятинский. В. А. Соллогуб писал об А. И. Барятинском: «...князь Александр Иванович Барятинский, старший в роде и наследник богатого майората <...>, был одним из выдающихся и способнейших любимцев

молодого императора <Александра II.— *И. П.*>. Все четыре брата Барятинские были красивы, но, разумеется, красивее и виднее всех все-таки был князь Александр. Кроме того, он имел очень тонкий и все разумеющий ум, большое изящество в приемах и мягкость (когда хотел, впрочем) в обращении, редкую способность угадывать или, скорее, взвешивать людей и несколько поверхностную, но тем не менее довольно обширную начитанность. Храбрость его не имела границ; спокойная, самоуверенная и смиренная вместе — это была чисто русская беззаветная храбрость, храбрость русского солдата. Но с этими замечательными способностями у Барятинского были также недостатки. Как все Барятинские, он почитал себя испеченным из какого-то особенного, высокопробного, никому недоступного теста. Его высокомерие, доходившее до наивности, не имело границ» (Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 539—540).

[4] *...иначе как с оказиею....*— «Оказиею,— поясняет в примечании В. И. Барятинский,— назывался караван, который по временам образовывался из едущих по делам службы лиц. Обыкновенно ждали, чтобы таких лиц собралось довольно много, и тогда давался, смотря по степени опасности в том месте, конвой из пехоты, артиллерии и конницы» (Русский архив, 1905, № 1. С. 86).

[5] *...и за них требовался более или менее значительный выкуп.*— Такая ситуация описана в рассказе Л. Толстого «Кавказский пленник».

[6] *Шамиль* (1799—1871)—руководитель освободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни. В августе 1859 г. взят в плен русскими войсками в ауле Гуиий и сослан в Калугу. Умер по пути в Мекку, в Медине (Аравия).

[7] *Багговут* Александр Федорович — генерал от кавалерии. Участник русско-турецкой войны.

[8] *Бартоломей* Иван Алексеевич (1813—1870) — генерал-лейтенант; нумизмат. С 1850 г. на Кавказе. Участник Крымской войны. Составитель абхазского и чеченского букварей.

[9] *Слепцов* Николай Павлович (1815—1851) — участиик Кавказских войн, генерал-майор.

[10] *Владикавказ* — ныне г. Орджоникидзе.

[11] *Корнилов* Владимир Алексеевич (1806—1854) — вице-адмирал. С 1849 г. начальник штаба, с 1851 г. фактически командовал Черноморским флотом. Во время Крымской войны руководил подготовкой обороны Севастополя с суши.

[12] *Эволюция* — здесь: тактическое учение войск.

[13] Эту часть воспоминаний В. И. Барятинский продиктовал по-французски своей сестре Ольге Ивановне Орловой-Давыдовой в мае 1855 г. Остальная часть воспоминаний написана в 1888 г.

[14] *Рангоут* — совокупность круглых деревянных или стальных частей оснащения судна, предиазиачеииых для постановки парусов, сигнализации.

[15] *Сеид-паша* (1822—1863) — правитель Египта с 1854 г.

[16] *Ванты* — снасти стоячего такелажа, которыми производится боковое крепление мачт, стеньг или брам-стеньг.

[17] *Ватерлиния* — здесь: черта вдоль борта судна, показывающая предельную осадку судна, имеющего полную нагрузку.

[18] *Румпель* — рычаг для поворачивания руля.

[19] *Стеньга* — верхняя часть наставной мачты.

[20] *Бушприт* — горизонтальный или наклонный брус, выставленный вперед с носа судна (у парусных судов); служит для вынесения вперед носовых парусов — для улучшения маневренных качеств судна.

[21] *Бизань-мачта* — самая задняя мачта.

[22] *...в предыдущую турецкую войну...* — война 1828—1829 гг.

[23] *...он испытывал ужасные страдания.* — Прим. издателя записок В. И. Барятинского: «По словам служителя князя Виктора Ивановича, Ф. К. Крикунова, бывшего тоже тогда на «Одессе», Осман-паша все говорил несшим его матросам: «Яваш», что значит «потише» по-турецки. Наши же про себя говорили: «Знаем, брат, что ты теперь наш» (Русский архив, 1905. № 1. С. 100).

[24] *Гардемарин* — воспитанник старшего класса морского кадетского корпуса в дореволюционной России.

[25] *Кивер* — военный головной убор, высокий, с плоским верхом, часто с султаном.

[26] *Айвазовский* Иван Константинович (1817—1900) — живописец-маринист.

[27] *Шуазель*-Гуффье (урожд. Голицына) Варвара Григорьевна (1802—1873) — жена адъютанта М. С. Воронцова Э. О. Шуазель-Гуффье.

[28] Воронцов *Семен Михайлович* (1823—1882) — сын М. С. Воронцова, командир Кабардинского полка (1851).

[29] *Возвращаясь в декабре 1853 г. ...* — Начиная с этих слов, идет русский текст воспоминаний, написанный Барятинским в 1888 г.

[30] *Котляревский* Петр Степанович (1782—1852) — генерал от инфантерии. Во время русско-иранской войны 1804—1813 гг. взял штурмом Ленкорань (1813), что определило исход войны.

[31] *Урусов* Сергей Семенович (1827—1897) — Б. Н. Чичерин писал: «...князь Урусов был севастопольский герой и известный шахматный игрок, но отличался крайним скудоумием. Князь Виктор Илларионович Васильчиков рассказывал мне, в какой он был повергнут конфуз, когда однажды Хрулев предложил ему назначить Урусова начальником редута, и он, не заметив присутствия последнего, слишком резко отозвался об его умственных способностях. После войны князь Урусов вышел в отставку и принялся писать философские статьи» (Чичерин Б. Н. Воспоминания. Ч. I. С. 218). С Урусовым был дружен Л. Н. Толстой. В 1876 г. он писал о нем А. А. Толстой: «Это мой севастопольский друг, с которым мы очень хорошо любим друг друга» (Толстой Л. Собр. соч.: В 22 т. Т. 18. С. 780). Урусову принадлежат книги: «Руководство к изучению геометрии (начальной и высшей), алгебры и тригонометрии» (М., 1870), «Обзор кампаний 1812 и 1813 годов, Военно-математические задачи и О железных дорогах» (М., 1868), а также книга «Философия сознания веры», которая не была напечатана. Гостя в 1889 г. у Урусова в его имении Спасское, Толстой писал жене: «...слушал сочинение Урусова. Как и все его писанья — есть новые мысли, но не доказано и странно» (Толстой Л. Т. 19. С. 172).

[32] *Радецкий* Йозеф (1766—1858) — граф, австрийский фельдмаршал. Участвовал в подавлении революции 1848—1849 гг. в Италии.

[33] *Инкерманское сражение* — 5 июня 1854 г. близ Инкермана (восточнее Севастополя). Окончилось неудачей.

[34] *Истомин* Владимир Иванович (1809—1855) — контр-адмирал. Командир линейного корабля в Синопском сражении. Руководил обороной Малахова кургана во время обороны Севастополя. Убит в бою.

[35] *Грейг* Самуил Алексеевич (1827—1887) — государственный деятель; в 1878—1880 гг. министр финансов.

[36] *«Гугеноты»* (1836) — опера Джакомо Мейербера (1791—1864).

[37] *«Норма»* (1831) — опера Винченцо Беллини (1801—1835).

[38] *Зуавы* — вид легкой пехоты во французских колониальных войсках XIX—XX вв. Формировались в Северной Африке из французов и арабов.

[39] *...конгревовы ракеты...* — тип пороховых ракет, изобретенных английским конструктором Уильямом Конгревом (Конгривом) (1772—1828).

[40] *Лазарев* Михаил Петрович (1788—1851) — мореплаватель, адмирал. В 1833—1850 гг. главнокомандующий Черноморским флотом.

[41] *Псалтырь* — часть Библии, книга псалмов.

[42] *Ложемент* — старинное название небольшого стрелкового или орудийного окопа.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] Курсивом обозначены страницы вступительной статьи и примечаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Русские мемуары. Избранные страницы.
Р 89 (1826—1856) / Сост. вступ. ст., биогр. очерки и прим. И. И. Подольской.— М.: Правда, 1990.— 736 с.

ISBN 5—253—00071—2

В третью книгу сборника «Русские мемуары» включены воспоминания, охватывающие период 1826—1856 гг.,— время царствования Николая I. Среди авторов сборника П. П. Семенов-Тян-Шанский, Д. Д. Ахшарумов, П. М. Ковалевский и другие, не менее интересные представители эпохи.

Р $\frac{4702010100-1996}{080(02)-90}$ 1996—90 84 Р 1

Литературно-художественное издание

РУССКИЕ МЕМУАРЫ

Избранные страницы
1826—1856

Составитель
Подольская Ирена Исааковна

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
Р. А. Клочков

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 1996

Сдано в набор 03.07.89. Подписано к печати 06.07.90. Формат 84×108[1]/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 39,48. Усл. кр.-отт. 40,74. Уч. изд. л. 42,36. Тираж 200.000 экз. Заказ № 43. Цена в переплете 7Г — 3 р. 50 к., цена в переплете 7Е — 3 р. 60 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Радянська Донеччина» Донецкого обкома Компартии Украины. 340118, Донецк, Киевский проспект, 48.

